Тамара КАТАЕВА

Другой ПАСТЕРНАК

Личная жизнь. Темы и вариации.

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Роман-монтаж «Другой Пастернак» – это яркий и необычный рассказ о семейной жизни великого русского поэта и нобелевского лауреата. За последние двадцать лет в свет вышло немало книг о Пастернаке. Но нигде подробности его частной жизни не рассказываются так выпукло и неожиданно, как в новом исследовании Катаевой «Другой Пастернак». «Боттичеллиевский» брак с Евгенией Лурье, безумная страсть, связавшая Пастернака с Зинаидой Нейгауз, поздняя любовь с Ольгой Ивинской – читателю представляется уникальная возможность узнать о личной жизни Пастернака с абсолютно неожиданной стороны.

Перефразируя Толстого, Катаева говорит о своих книгах: «В „АнтиАхматовой“ я любила мысль народную, а в „Другом Пастернаке“ – мысль семейную».

- Тамара Катаева Другой Пастернак: Личная жизнь. Темы и варьяции
  - Вступление
  - Доска придворного идиота
  - Размокшая баранка
  - Прошлым летом в поссенхофене
  - Jam-session
  - Родительский инстинкт в 1926 году
  - Крейцерова соната
  - Как развивались события
  - Пусть зина вернется на свое место
  - Я знал, что вы это знаете
  - До 35-го года
  - Ужас парижский, или утаенная любовь
  - Критика толстовства
  - Позиционная война
  - Сыночек бледный
  - Правила сервировки независимости
  - Вот идет моя жена
  - Второй сон евгении владимировны
  - Щитовидная железа жени
  - Плотоядная семейственность
  - Мальчики и девочки
  - Несыгранный гамлет
  - Офелия-мать
  - Литературоведы по праву рождения
  - Не до конца прожитые жизни

- Альтернатива арине родионовне
- Любовь
- Лара – это мы
- Мертвая львица
- На даче бодрствуют
- Земляничные поляны имени лили брик
- Во всю ширину плаща
- Критика Розанова
- Я – поле твоего сраженья…
- На теплоходе музыка играет
- Дело доктора живаго
- Серия невынужденных ошибок
- Чертков в юбке
- Последние стансы к августу
- Список источников
- Электронные ресурсы

- notes
  - Note2
  - Note3
  - Note4
  - Note5
  - Note6
  - Note7
  - Note8
  - Note9
  - Note10
  - Note11
  - Note12
  - Note13
  - Note14
  - Note15
  - Note16
  - Note17
  - Note18
  - Note19
  - Note20
  - Note21
  - Note22
  - Note23
  - Note24
  - Note25
  - Note26
  - Note27
  - Note28

- Note29
- Note30
- Note31
- Note32
- Note33
- Note34
- Note35
- Note36
- Note37
- Note38
- Note39
- Note40
- Note41
- Note42
- Note43
- Note44
- Note45
- Note46
- Note47

Тамара Катаева Другой Пастернак: Личная жизнь. Темы и варьяции

Вступление

Герой моего романа – Пастернак. Это он влюбляется, женится, разводится на страницах моей книги. Начинается это повествование в его женатые года, женатым он и уходит в могилу.

О великом поэте и обаятельном человеке Борисе Пастернаке в последние пятнадцать—двадцать лет вышло много мемуарной литературы. О его личной и главным образом семейной жизни рассказывают очень много, очень подробно и более откровенно, чем принято в случаях, когда живы участники описываемых событий. Личная жизнь великого русского поэта Бориса Пастернака – то, чего никто не скрывал, не берег, как свою частную жизнь, – это то, куда начали впускать всех. У него самого уже не спросишь. За него теперь действуют гаранты сохранения определенного представления о его частной жизни – наследники и другие мемуаристы.

Книга основана на опубликованных материалах. Все факты, характеристики, жизненные обстоятельства, сведения о любви и любовных томлениях, изменах и выплатах алиментов взяты из доступных источников, подробнейших и откровенных жизнеописаний, сделанных людьми, действовавшими в его судьбе, и если такой ракурс для чужого исследования кажется неуместным, то это вопрос к ним.

Степень этичности (не говоря уже о вкусе) такой откровенности – личный вопрос каждого, вопрос того, насколько решится он приоткрыть перед публикой частную жизнь своих близких. Семейная же история Пастернака в ее интимных деталях явлена публично, обиженные с обидчиками (пусть это иногда один и тот же человек) разбираются сами. Перед автором этой книги – стерильный материал для собственных наблюдений.

Автор не проводил самостоятельных исследований, не привлекал для написания книги неопубликованные материалы и устные свидетельства.

Называя героев (они же – авторы) цитируемых книг по фамилиям, именам, уменьшительно-ласкательным именам, прозвищам и просто – не будучи знакомой лично – по имени и отчеству, автор ни в коей мере не обращается к ним как к реальным и частным лицам, а лишь как к героям тех произведений, которые они выпустили в свет и оказались таким

образом уже – персонажами.

«Другой Пастернак» – действительно другой. Он отличается и от любого вымышленного персонажа, и от документально исследованной личности. Он – продукт авторского о нем представления.

Разница между вымышленным героем и персонажем биографического романа очевидна. В первом случае автор знает о герое все, знает самым достоверным образом обо всех его мыслях и движениях души; в биографии ровно наоборот – не известно на самом деле ничего, герой может в любой момент рассыпаться как карточный домик. Но он несомненно был, действовал, и какие-то события его жизни для всех неоспоримы. И они – вехи, между которыми автор может плести свою сеть и уже в нее ловить ту рыбу, какую хочет. Для читателя же оба героя одинаково нереальны.

У каждого Пастернак – другой.

Доска придворного идиота

Итак, его семейная жизнь. Женился он в нужную пору, в начале четвертого десятка, не без дружественной подсказки родни невесты. Любовь к жене исследовал и распалял. Женщина была недомовитая, тяжелая характером, с творческими амбициями. Родили сына. В 30-м году влюбился в жену друга, пианиста Генриха Нейгауза, – очень красивую, легкую на результативную домашнюю работу, пианистку.

Свою жену оставил, Нейгаузову отбил, женился вторым браком. В 35-м пережил страшный всплеск ревности к давнему, почти отроческому роману супруги, усугубленный принудительной отправкой на заграничный конгресс. Первую жену не бросал, помогал до конца дней материально, с сыном тщательно поддерживал близость. Во время войны был с семьей в Чистополе, вернулся. У Зинаиды Николаевны в День Победы скончался от туберкулеза старший сын, она ушла в свое горе. Пастернак искал жизни. Нашел в бойкой редакторше из «Нового мира» Ольге Ивинской. Любовь и дружба до конца жизни. Смерть.

К рассматриванию личной жизни Бориса Пастернака приступаю с начала его жизни семейной. Любови, бывшие до брака, – не личная жизнь, не частная. Это то, о чем юноша хочет кричать во весь голос или (разные юноши – по разному) играть на флейтах водосточных труб. А вот личная жизнь – предмет предлагаемых наблюдений – начинается, когда двое получают на руки бумажку и вывешивают ее с наружной стороны закрытой изнутри двери: «Don't disturbs Вышибала дверь не я. Я просто прочла протокол осмотра управдомом, для чего-то опубликованный родственниками и иными действующими лицами, – и сделала свои выводы.

В 1922 году Борис Пастернак женился, под некоторым давлением родственников невесты, на Евгении Лурье, студентке ВХУТЕМАСа. Впоследствии ее всегда будут называть с уточнением: «художница». Брак был нерадостным – со счетами, придирками, небольшой, тщательно разрабатываемой мужем любовью, с его покорностью. Жили в квартире (части квартиры, коммуналке) родителей Пастернака, уехавших к тому времени за границу. В 1923 году у супругов родился сын Евгений (старший из сыновей Пастернака; второй, Леонид, родится в 1937 году от брака с Зинаидой Нейгауз).

«Летом Пастернак познакомился с Евгенией Владимировной

Лурье. Она училась во ВХУТЕМАСе <…>. Главным в ее характере было стремление к самостоятельности и вера в свои силы. Она была очень способна к живописи, владела сильным рисунком и мечтала стать художником».

ПАСТЕРНАК Е.Б., ПАСТЕРНАК Е.В. Жизнь Бориса Пастернака. Стр. 185.

Так солидно, согласно биографу-наследнику, начиналось это знакомство.

«Однажды он принес ее на плечах на общую кухню и познакомил с нею соседей по квартире».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 15.

«Уезжая в Питер, Женя оставила на память свою детскую фотографию с куклой на руках…»

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 20.

Несомненно, были и другие фотографии, но эта производила наилучший эффект. Письмо вдогонку, без «здравствуй» и «до свиданья», начинается, как и было задумано: «Женичка ласочка, одной рукой ты прижимаешь куклу, а другой держишь ее за ножку, тебе шесть (?) лет и я люблю тебя!»

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 17.

Женя очень хороша. Задача брата, Семена Владимировича, облегчалась.

«То, что я услышал, едва Пастернак ушел в кухню, было по меньшей мере нерасчетливо. Ни с того ни с сего Евгения Владимировна мне поведала, что их поженил ее брат. „Сеня, он самый умный в нашей семье, прямо сказал Боре, чтобы он на мне женился“. Не моргнув глазом я выдержал и это, но она разговорилась… »

ВИЛЬМОНТН.Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. Стр. 63.

«Евгения Владимировна была мила и интеллигентна, но, но, но… она воображала себя великой художницей, и на этом основании варить суп для всей семьи должен был Борис».

ЧУКОВСКАЯ Л.К. Записки об Анне Ахматовой. В 3 т. Т. 2 (1952—1962). Стр. 429.

«Она всегда была бездеятельна, ленива…»

ВОСКРЕСЕНСКАЯЦ. Что вспомнилось…Стр. 145. Цит. по: Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак. З.Н.

Пастернак.

Воспоминания. Стр. 44.

«…грех <…> прежний, – неглубокости, необязательности нашего брака… »

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 581.

«Я любил Женю, я (просто, необязательно и добродушно) люблю ее и сейчас, но возможность измены, потенциальная измена никогда нашего дома не покидала».

ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 8. Стр. 486—487.

Лев Толстой тоже женился, потому что у него наступил возраст, когда надо жениться (тот же возраст, что и у Пастернака). Он, правда, жениться и семью завести мечтал еще с тех времен, когда только о поэзии любви задумываются, но тут и время уже решительно подступило, да еще и крепостное право отменили. (Здесь, наверное, и прекратилось бы производство детишек, так напоминающих характерные толстовские черты, – их до сих пор много среди туляков и тулянок – один, такой знакомый тип лица: по-простонародному мелкие неправильные черты, глубоко и близко посаженные глаза-буравчики, нос уточкой, у кого подлиннее, у кого покороче, плоские небольшие губы.) Но женился он не по желанию родных невесты, даже наоборот – нечиновные благородные родители Софьи Андреевны, хоть мать и была из старинного, близкого Толстым семейства, знали и признавали разницу в положениях, и Толстого не ловили. Именно это делало ее ровней. *«Двоюродная бабушка перестала даже бывать у сына одного нашего друга-нотариуса на том основании, что тот женился на принцессе и спустился, таким образом, в ее глазах из почтенного положения сына нотариуса до положения авантюриста, чего-то вроде лакея или конюха, которых, говорят, королевы дарили иногда своей благосклонностью» (ПРУСТ М. В сторону Свана).*

«Это она – милая, добрая, с высоким открытым лбом и с „улыбкой взахлеб“ удостоила меня своей дружбы»

ТАРКОВСКАЯМ. А. Осколки зеркала. Стр. 14.

Марина Тарковская о Евгении Владимировне пишет не оригинально. О ней все пишут однообразно – и словно по обязанности, будто полагается пересказывать Пастернака, пересказать не только своими словами, но и с добавлением обязательной «улыбки взахлеб». Так писали об Анне Ахматовой – обязательно о гордости, о величии и пр., но там сама Анна Андреевна строго смотрела, чтобы канон был соблюден. А

Евгения Владимировна – она и для себя-то не особенно жила, ей ли еще образ свой блюсти было? Но люди хотят прикоснуться к легенде, вот они и рядом с ней – выстроив ее сами.

Некоторые улыбку эту видели по-другому. *«На диване возле уже накрытого обеденного стола, поджав под себя ноги, сидела с томиком Чехова Евгения Владимировна, улыбаясь широкой, ничего не выражавшей улыбкой Моны Лизы».*

ВИЛЬМОНТН.Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. Стр. 126.

По многослойности изображений Вильмонта ясно, что Мона Лиза – это самоопределение (пусть внутреннее), присутствием Моны Лизы дарила Евгения Владимировна мужа и гостей.

«Я ушел непривычно рано с тяжелым чувством. В какое смешное положение она его ставила!»

Там же. Стр. 63.

«…кривя душой, говорил, что Евгения Владимировна „очень милая“ – из уважения к избраннице дорогого мне человека. До конца их брака (да и позже, когда это не имело никакой цены) я держался с ней преувеличенно учтивого тона. Никогда насчет нее не судачил, хотя и видел ее насквозь с возраставшей прозорливостью. Да поверит мне читатель, я всеми силами старался в ней отыскать скрытые достоинства, прежде чем вынести окончательный приговор. И кое в чем даже преуспел. Мне нравилось, когда она молча лежала на тахте с открытой книгой и, не глядя в нее, чему-то про себя улыбалась. Тут я неизменно вспоминал строфу Мюссе:

Elle est morte. Elle n'a pas vecu.
Elle faisait semblant de vivre;
De ses mains est tomble le livre,
Dans lequel elle n'avait rien lu.
(Она умерла. Но она не жила,
Только делала вид, что жила…
Из рук ее выпала книга,
В которой она ничего не прочла.)
Но, к сожалению, она не всегда молчала».

Там же. Стр. 64.

В первый год брака молодые ездили в путешествие (о котором много будет потом мелких, тяжких, упрекающих воспоминаний) в Европу, к родителям Пастернака. Возвращались пароходом, хорошо не было никому.

В Европе роли распределились в соответствии с представлениями Евгении Владимировны о своей

самостоятельности и вере в свои силы: путешествие она потребовала считать ее личной рабочей поездкой ради нужд ее художественного гения. А Пастернак был финансово и организационно обеспечивающим спутником при ней. Жене полагались самые большие комнаты, маршруты составлялись под нее.

«Убедившись в том, что живописи в Берлине учиться не у кого… »

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 226

«…учиться мне не у кого. Одна надежда и желание найти ателье, жить и работать одной», – писала она Б.Л. Пастернаку в Москву.

ПАСТЕРНАК Е.Б., ПАСТЕРНАК Е.В. Жизнь Бориса Пастернака. Стр. 198.

«Женя мечтала о Париже и думала, что брак с Борей избавит ее от земли. Она разочаровалась».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Пожизненная привязанность.

Переписка с О.М. Фрейденберг. Стр. 169.

Париж – и ничего больше; ничего более конкретного – никаких учителей, никакой работы, никаких планов. Она так там ни разу и не побывала, даже когда Пастернак настойчиво предлагал своей (родительской) семье выкинуть ее в Париж как щенка в воду – «для науки», он искренне верил, что погибнуть ей там не дадут – он сам, например, первый. Но такого «Парижа открытых возможностей» она не захотела. Париж нужен был такой, какой Ларисе Огуда-ловой, чтобы оплакивать проданную невинность, ну или принять со скорбью, если предложат честно, как Пастернак (ей казалось, что он предлагал Париж) или Фейхтвангер

(Пауль, брат писателя – об этом позже) – тоже брак, тоже Париж, но уже совсем выдуманный.

В путешествии обнаружилось, что Женя беременна. Поспешили назад. Никто особенно не радовался. Ожидали каких-то запредельных забот. За это они не замедлят явиться, и Пастернак впоследствии, через двадцать лет, уже пятидесятилетним, радостно чистя общественные уборные (в эвакуации, в качестве трудовой повинности), так это и назовет: «непосильный труд по уходу за ребенком».

Пока же – май 1924 года. Женя с маленьким Женечком уезжает на дачу, под Ленинград, с ней два человека персонального штата: няня и прислуга. Но Пастернак остался в Москве: «Видишь,

Боря, ты в письме пишешь, что тебе не сладко, а мне так кажется, что всю тяжесть я взяла на себя, уехав с Женей».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка… Стр. 116.

Женя едет на поправку, как всегда раздраженная и впервые потрясенная – тем, что все-таки это ей, а не Пастернаку пришлось родить и какие-то проблемы (Пастернак пишет всем, что Женя измучена кормлениями, обычно же именно этот период у матерей – самый спокойный и безмятежный, но Пастернак – внушаем) с ребенком взять на себя. Он страшно переживает о ее дороге, хотя и здесь все было устроено с приемлемым уровнем комфорта: «…подняли верх и положили крахмальное чистое белье». Дорогу удалось пережить, она попадает в просторную квартиру своих родителей. Питание такое, что она даже описывает в письмах дневные меню, ребенка удалось пристроить. «Же-нюрка, – пишет Борису Женина мама, – конечно, худенькая, раздражительная <…>, но надеюсь, что она скоро поправится у меня, нянек много: Нюня и Феня, я и Паня». Женя, однако, недовольна:. «Паня (прислуга мамы) еще совсем маленькая». Но это не главное: «…сказала я маме, что все-таки неосторожно было с ее стороны выписывать меня с Женей, когда она сама всецело занята папой, погода плохая и дача не приготовлена… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка… Стр. 36—38.

Плохая погода сильно увеличила вину Пастернака. А тут еще заболел Женечок. «…я, вероятно, дала ему сразу слишком много, вот его и несет, третьего дня раз 8, вчера 4, а сегодня тоже желудок зеленый…» (Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка… Стр. 43). У Жени не остается ни одного тормоза, чтобы воздержаться от обвинений Борису. «Получила твои три письма сразу <… > Не радость мне принесли твои письма, целый день навертывались слезы, а ночь не спала, но разбирать почему да как – не выйдет. <… > никогда мне не было так трудно, безотрадно и мучительно жить, как с тобой, я не говорю, что ты в том виноват, может – разность темперамента и (для меня, увы, бывшей) работы» (Там же. Стр. 57).

Еще только полтора года назад сам Пастернак был мужем при жене-художнице. Сейчас, увы, что-то мешает ей. Няньки никуда не годятся, и Пастернак боязливо вторит: «Паня и Феня верно не годятся, потому что они через тебя о нем (Женечке. – Авт.) заботиться будут, а это посредство уже вредное: ты ни о ком заботиться с чутьем неспособна (тут Женя поднимает бровь), потому что лишена даже простой здоровой заботы о себе» (Там

же. Стр. 55). Ну, это понятно: нужна какая-то особенная, независимая в суждениях и приемах няня, профессор педагогики, возможно, а на такую у Бориса средств нет, – что делать Жене, как смириться? «В будущем, ЕСЛИ НЕ ПРИДЕТСЯ РАБОТАТЬ – буду завистлива, несчастна и зла – в лучшем случае не буду жить, это выйдет как-нибудь само собой. Не могу писать, слезы застилают глаза. (Страшно подумать, что было бы, если б Женя смогла работать, каких перспектив Пастернак с пришедшим через него материнством ее лишил, а ей есть с кем себя сравнить.) Пока я только с завистью думаю о тех людях, которые, приезжая в Петроград, ходят по Невскому, по набережным, засматривают в витрины книжных лавок – таким я представила себе Маяка, видела афишу о его вечере» (Там же. Стр. 58).

Вот так! Маяковский ходит по набережным, а ей, Жене Лурье, приходится стул у ребенка подсчитывать. Потому что ясно: две домработницы, две няньки и отлынивающая ради ухода за отцом мать все равно не могут избавить ее полностью от обязанностей по ребенку. Хотя по набережным, наверное, пройтись все-таки смогла бы. Не хватает ей, очевидно, афиш.

Письмо и длинное не очень, и фразы короткие. И каждая из них – как укус, как рывок, как упрек и обвинение. Же-ненок, взрослый и старый, счел нужным это письмо построчно прокомментировать и еще более уныло описать их семейные претензии к Пастернаку. Комментирует (вернее, пересказывает своими словами), не добавляя ни подробностей, ни объяснений – строчку за строчкой. «Что касается веры в тебя – то есть в твою работу – то неужели ты не понял то, что каждый, кроме тебя, например, Дмитрий, понял, почему я не советовала тебе поступать на службу и почему иногда <…> горячилась. Но и тут, как и во многом, ты оттолкнул меня». Вот перевод на понятный язык этой слишком сложной для обывателя фразы: «Мама припоминает, как с верой в его успех с горячностью сопротивлялась его желанию поступить на службу а он спорил с нею».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 58.

Евгения Владимировна своим умом – интеллектом, который все признавали в ней (по сравнению с Зинаидой Николаевной) – до Фрейда догадалась о самом для мужчины болезненном, но непродуктивном (если за продукт считать желание приблизить этого мужчину к себе) оружии. Ей уже, пожалуй, хотелось и оттолкнуть – под афишами по Невскому он не ходил, в витрины не заглядывал. Вот, додумался – даже на службу по статистической части поступить. И она будет, таким образом, не

женой поэта, первейшего в России, ей под стать, Маяковскому вровень, а женой мелкого совслужащего! Ей, правда, иного вроде по рангу и не полагалось, но она уже к своей роли привыкла. Видя, что у Пастернака с карьерой какие-то сбои («Сестра моя – жизнь», «Поверх барьеров» – не в счет), она сравнивает его со вполне удавшимся отцом (сравнение – не в пользу сына, естественно). «О твоем отце часто думаю, о том счастье, которое было у вас, которое вы не полностью оценили и использовали. (Слово „использовали“ заменяет, очевидно, целый ряд тонких и сложных соображений, но вот она в небрежности семейного письма пишет только это. Пишет – и о его прямом значении тоже знает.) <… > Папа все это пережил и всех вас заслонил собою». Читатель, вам понравилось бы прочитать такое в письме своей жены? А Женечок восторженно подхватывает (интересно, понравилось бы ему самому, если б одна из его жен раздраженно сравнила бы его в письме с отцом, вроде: «Борис Пастернак заслонил тебя собою»?): «Мама глубоко угадывала роль дедушки Леонида Осиповича, который каторжным трудом вывел свою семью из узости мещанской среды в артистический круг образованного общества».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 58—59.

Борис Пастернак вообще-то тоже вывел Женю Лурье из узости мещанской среды в артистический круг образованного общества. Теперь ей стало этого мало и захотелось афиш и витрин.

Глоток свежего воздуха – необиженный голос Пастернака. Он не замечает тона жены (и как будто не предвидит тона сына) и пишет восторженное письмо – очень длинное, такое длинное, что сразу вспоминаешь: не пишется ему сейчас оригинальных текстов. Скорее всего он тренируется, набивает руку. Часть его переписки с Женей, женой – действительно очень любовная. Женечок справедливо замечает, что в мировой литературе подобного уровня любовной эпистолярной лирики нет – и это действительно жанр, род литературы. Да не обидится Пастернак в гробу за сравнения – как «ZOO, или Письма не о любви» Шкловского, где тот очень, очень влюблен в Эльзу Триоле, влюблен какой-то испепеляющей, несравненной любовью – ну прямо как Маяковский в ее сестру Лилю Брик, и, несмотря на подлинные имена, любви там нет, есть только определенного уровня литература. Очень высокий уровень литературы у Пастернака. Вот и поверишь в реальное и осознаваемое всего пятью чувствами существование любви, и поставишь галочку в анкете – потому что всякому ясно, что Борис Евгению Владимировну не любит, как ясно, что на дворе ночь, когда она

наступила, а не день. Читаешь письмо – любит, закрываешь книгу – нет, не любит, не о чем и говорить. Потом, полюбив Зинаиду Николаевну, просто прожив жизнь с ее реальными чувствами, он так и пишет: не любил – а зачем писал письма, не говорит.

Надо быть Пастернаком. В дни, когда хочется работать и хочется всего, он рефлексирует мало. Ему тридцать четыре года. «Нежно любимая моя, я прямо головой мотаю от мучительного действия этих трех слов, – я часто так живо вижу тебя, ну точно ты тут за спиной, и страшно, страшно люблю тебя, до побледненья порывисто. <… > ты всего меня пропитала собою, ты вместо крови пылаешь и кружишься во мне, и всего мне больней, когда раскинутыми руками и высокой большой грудью ты ударяешься о края сердца, пролетая сквозь него, как наездница сквозь обруч, о сожмись, сожмись, мучительница, ты же взорвешь меня, голубь мой, и кто тогда отстоит твою квартиру?! <…> Красавица моя, что же ты все худенькая еще такая! < > Здоровей и поправляйся, толстей, толстей, радость моя. Нельзя, недопустимо быть щепкой при таком голосе, при таких губах, при таком взгляде. <…> А как ты чудно о папе пишешь. И как пишешь вообще. Умница моя!»

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 59—61.

«О „безвольности“, – говорила мне Евгения Владимировна, жалуясь на „женскую стихию“ – капризы – Бориса».

ЧЕРНЯК Я. Записки 20-х годов // Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 123.

Она словно приглашала всех оглядеть его и посмеяться вместе с ней. Безвольность и женственность мужа – это последнее, что может стать известным о нем кому бы то ни было, кроме жены.

«Такова моя первая женитьба. Я вступил в нее не желая, уступив настойчивости брата девушки, с которой у нас было почти невинное знакомство, и ее родителей. Если бы они знали, как восставала против этого моя совесть, если бы они догадывались, как, давая свое согласие, я обдумывал уже, как нарушу свои обещания и обязательства, как обману их вскорости, они удержались бы от открытой настойчивости. Это были совсем простые и наивные люди, в тысячу раз добрее и честнее меня, но более низкого и неизвестного мне до тех пор круга, с которым у меня не было ничего общего и который меня подавлял и удручал. Этот обман длился восемь лет. От этих отношений, которые не были ни глубокой любовью, ни влекущей страстью, родился

ребенок, мальчик».

ПАСТЕРНАКБ.Л. Полн. собр. соч. Т. 10. Стр. 519—520 (письмо Б. Пастернака Жаклин де Пруайар).

«Его чувство выливалось в письмах к ней, равных которым, как мне кажется, в эпистолярной лирике нет».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 8.

«Два часа тому назад отбыла в Геленджик (Северный Кавказ) Женя с мальчиком и с прислугой. Я остался тут.

Не только потому, что на всех бы не хватило денег, но и потому, что для дальнейшего их поступленья мне надо и поработать и походить в здешние издательства».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Пожизненная привязанность.

Переписка с О.М. Фрейденберг. Стр. 147.

Женя пишет из Геленджика: «Всю ночь шел дождь. Не спала, вероятно, скоро придет мое нездоровье <… > Пока Маня (няня. – Авт.) меня от Женички почти совсем не освобождает, даже письмо написать трудно. Может, все образуется. Но вообще призадумайся, было бы ли тебе по вкусу и по средствам <… > приехать сюда <… > с Прасковьей Петровной». То есть это еще и с домработницей. Пастернак отвечает немедленно: «Милая гулюшка! Сообщи мне, не откладывая, как и куда посылать тебе деньги, то есть простым ли почтовым переводом <…>?Можно ли тебе прислать 300руб.? как к тебе относятся кругом, и хорошие ли вас окружают люди?»

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 255.

Н.Н. Пунин, «муж», «третий муж» Анны Ахматовой, пишет своей предыдущей жене, которую он сохранил в доме, тоже находящейся на отдыхе на Черном море в те же примерно годы: «…я получил Ваше (супруги – на „вы“) письмо и очень сердился. Откуда у Вас это легкомыслие с годами? Разве я могу Вам выслать хотя бы 5р: мы живем в обрез <…> что я могу Вам выслать?Еще более легкомысленно звать меня – ну, подумайте: я брошу <… > все, что здесь есть. И покачу – допустим, где-то еще взяв денег – на неделю в Анапу. Откуда это приходит к Вам? От моря, от песка или?»

ПУНИН Н.Н. Мир светел любовью. Дневники, письма. Стр. 314.

Впрочем, немного не по себе становится все-таки и

Пастернаку: «Мне только показалось трудно выполнимым везти еще и Пр<асковью> Пет<ровну> в дополненье к Мане. Я тебе объясню. Не то что это невыполнимо, но меня бы смущало и печалило то, что нам приходится так глупо и сложно расходоваться вокруг самих себя, там, где у других при больших заработках это делается проще и экономнее: оттого и одеваются хорошо люди, и квартиры имеют и путешествуют. Я не сравниваю, потому что в большинстве это все бездетные, так сказать, примеры».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 258.

Не отметить сразу предупредительно то, что окружают себя многочисленной обслугой люди только бездельные, бездетные – Пастернак боится. Через три года появится многодетный пример Зинаиды Николаевны. Перед лицом потери Пастернак бояться Евгении Владимировны перестанет, но потакать привитым ей прихотям не прекратит.

«На моей первой жене я женился как-то случайно и бездумно. Она мне нравилась, но мы даже не успели сблизиться, как вмешались родители. Я думал: ну ладно, женюсь, что тут особенно страшного, там видно будет. Нет, я и тогда сознавал, что это что-то мерзкое, отвратительное».

МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 252. Жестче, чем Масленниковой, он не сказал никогда.

«Моя жена порывистый, нервный, избалованный человек» (Пастернак – Цветаевой).

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 132.

Кто ее баловал под именем жены? Избалованными берут чужих дочек, жены – такие, какими им позволил быть муж.

«Папа восхищался смелостью, с какой мама решилась самостоятельно жить одна в немецком пансионе».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 176.

«Мне, Боричка, кажется, что я не встречала еще так согласно тяжело проводимой жизни, где озабоченность и тяжесть уже на грани культа».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 222.

Это про родителей Пастернака. Борис делал домашнюю работу без озабоченности и тяжести, но когда увидел, что в семье

может быть и по-другому, посчитал, что нашел счастье, которое может длиться всю жизнь.

Вот как были устроены мелочи и не мелочи семейного быта.

В Москве, в Советской России, во МХАТе, ставят – как-то очень удачно – «Воскресение» Толстого, используя в сценографии иллюстрации отца Бориса Леонидовича, – работы его из музея принесли в театр, в фойе и т.д. Для старого Пастернака – незримое присутствие на родине. Сыну бы пойти посмотреть. «… зрелище <… > ничего, кроме удовольствия, не обещало, я еще и должен был пойти, чтобы не обидеть автора переделки, просившего меня на премьеру».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 479.

С Женей счеты ведутся в более точных единицах.

«А тут я не только упустил возможность, но еще и должен был попросить извиненья, что не смогу воспользоваться билетом. Прислан был один, а Женя у меня… обидчива; Женичка чем-то хворал; накануне, в аналогичной ситуации, я ходил с знакомой (Женя не могла пойти <…>) на генеральную „Коварства и любви“ в новой постановке. Вышло бы, что я каждый день хожу в театр, а она прикована к дому. Получилось бы нечто мрачное, а свету и так кругом и дома не много».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 479.

Женатый князь Андрей Болконский предостерегает молодого друга от опасного шага женитьбы: «поставят на одну доску с придворным идиотом». Борис Пастернак старательно тянет женатую лямку, и радостная сила его натуры показывает ему в его ярме еще и положительные стороны – он сам находит их.

«…Ты как-то сказал про Уру и Марию (это про знакомых – художника Уречина и еще более художницу, во всяком случае в семейной иерархии, Марию Синякову), что ж мне, Урой стать? <… > очень хорошо, что хоть один мужчина такой нашелся, и то его жалеют, <…> а женщин таких „хоть пруд пруди“». Вот как справедлива Женя – практически, реально она требует себе привилегированного, обеспечивающего именно ее творчество положения, но теоретически, на словах, готова признать, что это не должно быть узаконенным. Видит к этому препятствия: «Да этого и не может быть. Ты талантлив, ты на ногах, а я ни то, ни другое (странно звучит для Евгении Владимировны), во всяком случае, пока… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 171.

«…по отношенью к Жене общие и поспешные выводы из положенья: „могут, мол, другие матери… “ были бы неосновательно жестоки и несправедливы… »

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 315.

«Женя была человек крайне требовательный не только внешне, но и внутренне. <… > В быту Женя все время требовала помощи БЛ»»

ЧЕРНЯК Я. Записки 20-х годов //Воспоминания о Борисе Пастернаке.

Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 133.

Женя Лурье принесла в брак свою дезавуированную публично сыном невинность – впрочем, вполне, по тогдашним нравам, пригодную для использования по назначению. Пастернаку на тот момент подтвердить свою состоятельность было затруднительно. Женя использовала экономический феномен «условно упущенной выгоды», и Пастернаку было предложено, в виде уступки за свою по крайней мере недоказанную состоятельность, поступиться: выплатить «аванс» – принять фамилию Лурье. Он был потрясен и отказался, хотя мог начать плыть по жизни размокшей баранкой – прекрасный, как Венеция. Не зря еще в юности ему пришел в голову такой неожиданный образ, для него здесь не было ничего удивительного. Женя взяла реванш при рождении сына: в их семейной жизни все события заносились в дебетовую или в кредитную строку. Пастернаку не по чину было иметь сына со своим отчеством и со своей же еще фамилией. Женя дала ему свое имя. Принципиально.

«Мама рассказывала, что назвала меня своим именем потому, что <… > ей хотелось, чтобы в сочетании с отчеством в моем полном наименовании присутствовали бы оба – и мать, и отец».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 27.

Женю НАЗЫВАЛА одна мама, Ленечку внешне в каждом жесте демонстративно покорный Борис Леонидович НАЗЫВАЛ, не спрашивая уже ничьего согласия. Был ли спор при рождении первенца и не его ли отголоски – при рождении первого ребенка у самого Женечка? «Он <Б.П.> как будто бы огорчился, узнав, что мы уже назвали сына Петей, и сказал, что ничего не имел бы против, если бы мальчику дали имя Борис. Ведь он тоже назвал Леню в честь дедушки, когда тот был еще жив. Меня это взволновало, и я обещал, что его именем мы назовем своего следующего сына».

Там же. Стр. 531.

Леню назвал он, когда заимел право раздавать имена своим сыновьям, а Женечка назвала мама. «Мы назовем» – это уже семейное согласие – но в другой семье.

Про фамилию. «В ответ на мой – вовсе не призывавший к исповеди – вопрос о ее петроградских впечатлениях она неожиданно заявила, что очень огорчена переменой фамилии: „Я так просила Бореньку, чтобы он принял мою девичью“. Но, не дав мне проронить ни слова (да я бы и не проронил), Борис Леонидович с каким-то покрывившимся лицом уже загудел с явно наигранной веселостью: „Видите, какой она еще ребенок? Я ей сказал напрямки, что уже кое-что напечатал за своей подписью. Наконец, это фамилия папы, а того, что он сделал, хотя бы в общении с Толстым, уж никак не вырубишь топором! А она – все свое!.. Но простите, Коля, я пойду ставить самовар“».

ВИЛЬМОНТН.Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. Стр. 62—63.

Молодая обиженная жена остается при госте.

Ольга Остроумова-Лебедева, написавшая три тома воспоминаний о своей жизни – о своих трудах, говорит: «Она note 2 предложила мне (это было после выставки моего портрета) вступить в члены общества «Лига равноправия женщин». Ей поручили мне это передать. Я подумала и отказалась, сказав ей, что моя защита прав женщин будет осуществляться в моей работе и ее успехе. Я этим лучше всего докажу право женщин на равноправие».

ОСТРОУМОВА-ЛЕБЕДЕВА АЛ. Автобиографические записки. Стр. 123.

Свое равноправие (скорее, превосходство) Евгения Владимировна доказывала всю жизнь, имея возможность не работать, получая от Пастернака пожизненную пенсию и занимаясь любимым хобби. Самым неукоснительным образом в любой литературе ее именуют художницей, и всегда получается более чем невпопад, поскольку ее цеховая принадлежность указывается всегда в контексте, где о профессиях не говорится (она ведь не вращается там, где один – художник, другой – певец, третий – архитектор, где она – там просто мужья и жены, она здесь – по этой линии). Но именуется строго по специальности.

Женя с сыном за границей, хлопочет о том, чтобы квартира, которой Борис должен озаботиться, была бы максимально большой. «Теперь слушай, Боричка, мы, даст Бог, справимся. Конечно, 1) у тебя должна быть комната для работы и 2) Женичка при нашей с тобой занятости должен быть в наибольшей степени изолирован от влияний».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 208.

Борис только что писал о «жидове», о соседях, – Жене-нок должен быть огражден от соплеменников самым надежным образом. Но поскольку очень занятые отец и мать заниматься им не смогут, он должен иметь, конечно, свою комнату.

Пастернаку стало уже невмоготу тянуть на себе тяжелую, капризную и ленивую Женю с Женечком, и он хотел бы от них избавиться. Женечка он в 26-м году пробовал пристроить в семью Жони – сестры. Радостной, полной жизни семьи с ребенком не получалось, о нем шли какие-то «абсолютистские» разговоры о «необходимости безусловного избавленья», которые, заставляя продираться сквозь возвышенно-восторженные описания тонкости и глубины ребенка и почтительно-трусливые описания болезненности и таланта Жени, сводятся к однозначной и неприятной констатации, что Евгении Владимировне ребенок был в тягость. Он умилил бы ее только на руках у кормилицы – или во сне, как она описывает это со свойственной ей поэтичностью и чувственностью (немного слишком явно расчетливой, поскольку письмо имеет почтовый штемпель и отправляется к далекому мужу, холостые мысли которого должны иметь такой же конкретный, как на конверте, адрес). «О, если б можно было стать просто кошкой, лечь около него, отодвинуть его бочком, чтоб он со сна с закрытыми глазами потянулся к твоей груди и замурлыкал по-кошачьи сладко».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 113.

Если сын в тягость матери – противоестественно отцу испытывать плотоядную семейственность. На этом этапе ребенок находится в юрисдикции плотской заботливости, а у мужчины этот инстинкт отсутствует. Самый любящий отец стоит рядом и смотрит глазами жены. Отцовская гордость, впрочем, может заставить посмотреть и самостоятельно. Если нет нянек и чтобы дать жене естественный отдых, муж берет на себя часть обязанностей и по уходу. Но не делит их тщательно пополам из-за ее лени и дурного нрава.

«Ревнуя к Копернику». Женя ревнует к Маяковскому – за то, что он, приехав с выступлениями в Ленинград, ходит (возможно) по Невскому и разглядывает витрины. А по городу расклеены его афиши. Женя пишет Пастернаку об этом с не пожелавшей себя сдержать откровенностью, злостью и небольшим вздохом облегчения: нашла чем ранить – отец Пастернаков, Леонид

Осипович, был удачливее и успешнее сыновей. Сама Женя считает, что не имеет возможности ходить по городу, будучи связанной ребенком (который сидит с бабушкой и двумя нянями). Витрины, впрочем, Жене, вероятно, и впрямь недоступны: «Пастернак с помощью А.М., занимавшегося нумизматикой, продал золотую медаль, полученную по окончании гимназии, чтобы расплатиться за дачу в Тайцах».

ПАСТЕРНАК БЛ. Поли. собр. соч. Т. 7. Стр. 531.

(Е.Б. таких деталей семейственного быта не скрывает: ему важно вписаться в тезис Надежды Яковлевны Мандельштам о признаках истинной любви: сколько он на вас истратил?) Женя-большая пока его за это ненавидит. Маяковскому не надо ничего продавать, Лиля Брик может ходить с ним по Невскому под ручку. Женя Лурье уж не хочет быть столбовою дворянкой.

Плохо богатому (если богатство небезгранично, а сам богач скуповат, расчетлив или просто хочет знать, куда и зачем он тратит свои деньги, – и тем более если тратить он их решает не сам, а соответствующие указания даются ему новыми родственниками из семьи жены). У живущего в Германии Леонида Осиповича в только что переименованном в Ленинград Петрограде живет сестра. У этой тети Аси дочь Оля – старая дева, великий филолог, почти любовь юного Пастернака, кузина. Но Анну Осиповну больше (так говорят – «больше», хотя на самом деле, может, и немного меньше, но все-таки слегка превышающе границы, положенные истекшим после непосредственного родственного общения временем и расстояниями) заботит семья брата. Расклад в ней тете Асе ясен. Сын брата небогат (хоть и довольно успешен в не определившейся пока со статусом сфере литературы и даже – это еще чуть-чуть ненадежнее – поэзии) и женат на изящной женщине. Дочь (опять же брата) не чрезмерно хороша собой, но замужем за банкиром и человеком богатым. И вот тетя Ася, плененная стилем и явной (явленной) претензией Жени на лучшую долю, собирается писать письмо мужу дочери своего брата, мужу племянницы: он должен помочь шурину – его милой жене. «Тетя Ася была преувеличенно дурного мненья о состоянии наших финансов и о моих видах, и я только с трудом уговорил ее от писанья писем вам и зачем-то Феде».

ПАСТЕРНАК БЛ. Полн. собр. соч. Т. 7. Стр. 517.

У молодых Пастернаков есть жилье, они сыты. В годы, которые Анна Ахматова обозначила под пунктом № 2 в биографическом утверждении «пережила четыре клинических голода» (это были года, когда она действительно недоедала; во время войны и после ее знаменитого жданов-ского Постановления

она жила жирно и сыто, как никто), семья Пастернаков не голодала. Женя, правда, была щуп-ловата, что шло вразрез с мужскими вкусами ее супруга, но над тем, куда бы отправить ее на поправку, ломать голову не приходилось – да просто-напросто к ее матери.

Та за причину признавала не скудость рациона, а напряженность нервов из-за не оправдывающего себя замужества («Женюрка, конечно, худенькая, раздражительная»). Меню, однако же, никаких нареканий вызвать не может: «Утром горячие оладьи на кислом молоке, яйца, кофе, в два часа – рыба, картошка, яблочные оладьи, какао, обед – уха, котлеты с макаронами, кисель… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 38.

У Пастернаков были средства на двух человек прислуги для обслуживания их троих. Хотя, пожалуй, сам Пастернак почти и не в счет: он делал много домашней работы. Женя была ленива, мнительна, бездеятельна, уже сам процесс управления прислугой был чрезмерно для нее тяжел и раздражал тем, что его не взял на себя кто-то другой.

Но в общем, жить было можно. Однако Федора, кстати, тоже с фамилией Пастернак, мужа сестры Бориса Пастернака, все же решили напрячь. Женя заслуживала большего.

« нам надо жить так, чтобы Женя поправилась и, главное, могла поработать, чтобы уяснить себе, человек ли она или нет (так высоко вопрос выставляется по интонации Жениных писем к Пастернаку – затеянных ею из привычки спорить и из желания заполнить пустоту отношений с мужем фантомом ее работы, таланта, независимости и несвязанности им), так как в жизнь она вступила, не успев себя полностью узнать и обнаружить»

ПАСТЕРНАК БЛ. Полн. собр. соч. Т. 7. Стр. 517. В жизнь – только семейную, потому что другой, самостоятельной, отдельной, у нее, к счастью, не случилось, – Женя вступила, всего лишь желая вступить в брак. В 1924 году у нее было все, о чем можно было бы (при наличии любви) желать: достаток, жилплощадь, ребенок, даже состоявшаяся поездка за границу (раньше Жене и до революции выезжать не приводилось, Борис вообще предоставил ей уровень жизни выше, чем был в ее семье), во время которой, впрочем, она впервые однозначно хотела обозначить их роли: ехала она, художница, а Борис – при ней, вроде компаньона, шаперона или еще кого-то более неудобного, не оправдывающего надежд.

Гастроль Маяковского Жене была компенсирована.

Новый 1927 год Женя встречает в гостях – с «Асеевым, Маяком и всей лефовской компанией». Пастернак оставлен дома, за хозяйку, с ребенком. «В 6-м часу Женя закашлял <…> Я стал ему греть молоко, по страшной рассеянности делая страшные глупости с примусом <… > Со встречи вернулись Ж<еня> с Маяковским. Он был вторым поздравителем в эту ночь».

Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть.

Письма 1922—1936 гг. Стр. 312.

Женя в компании Маяковского, возможно, как опасался Вильмонт, «не всегда молчала», но компанию считала подходящей себе по статусу. В это же приблизительно время в Лефе, как в «Битлз», произошел конфликт, он же конец, спровоцированный недовольством «хозяйками». «На одном из Лилиных „вторников“ был подвергнут разносу фильм, сценаристом которого оказался Шкловский. Тот стал огрызаться – резко и грубо. Вмешалась Лиля – лишь для того, чтобы спор погасить. Шкловский не понял – он уже закусил удила. „Пусть хозяйка, – закричал он, – занимается своим делом – разливает чай, а не рассуждает об искусстве!“ <…> Шкловского тотчас изгнали».

ВАКСБЕРГ А. Загадка и магия Лили Брик. Стр. 230. У Пастернака, как мы видим, за хозяйку выступал он сам. И управлялся с немногим – самовар там, молоко, вещи на лето прибрать. Сын об этом многократно пишет – то ли полагая, что это физически действительно так трудно, не для женских сил, то ли как-то на самом деле считая, что не деньгами же все откупаться (за загубленные Женины молодость, талант и красоту), надо и потрудиться. Хозяйство, на котором у Маяковского Лиля Брик, – Россия. «А с Маяковским – раннее утро на Б. Лубянке, громовой оклик: Цветаева!Яуезж<ала> за границу – ты думаешь, мне не захотелось сейчас, в 6 часов утра, НА УЛИЦЕ, без свидетелей, кинуться к этому огромному человеку на грудь и проститься с Россией? Не кинулась, п.ч. знала, что Лиля Брик… »

Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть.

Письма 1922—1936 гг. Стр. 169.

В семье Пастернаков было устроено так. Новый год встречала не с мамой, а с Маяковским. Вровень.

Где-то в Австралии, на биологической станции или в обезьяньем питомнике, зоологи проводили исследования о пределах интеллектуальности приматов. Довольно скоро обнаружили, что обезьянам доступны весьма отвлеченные

категории. Они смогли различать, например, людей и животных. Самой способной ученице сотрудники дали пухлую пачку фотографий, какие нашли на станции, показав, как хотели бы их разделить. Смышленая мартышка быстро разложила снимки на две кучки. В первую отправились животные – ее многочисленные родственники, мать, сестра, братья, жившие в заповеднике собаки, лошадь. А во вторую она, нисколько не задумываясь, между фотографиями директора заповедника, Жаклин Кеннеди и служительницы, которая раздавала обезьянам бананы, положила свое собственное фото.

Размокшая баранка

Первый брак Пастернака длился восемь лет. У Жени было много достоинств – среди них и такие, без которых ему было бы трудно жену представить: миловидность лица, приятная округлость тела (иногда уменьшавшаяся, к его вполне простительному в тридцать лет отчаянию), неподдельный (она видела в нем единственный для себя реальный выход и прорыв в высшие социальные сферы) интерес к его литературной карьере и к возможностям выстроить даже свою. Плюс «толстовские» установки: эту семью он хотел бы сохранить, совсем вхолостую пустить свою жизнь тоже как-то не хотелось, и он старался интенсивно, до глубины проживать то, что было. Получалось, правда, безрадостно. Он наблюдал, констатировал, пытался все осмыслить, но отношения – это не дождь, который идет не по заказу, и потому каждый счастлив, когда он проливается на него. Никто не наполнял его паруса мощным дареным ветром, колесо приходилось крутить самому.

Заедал быт: когда не текла вода из крана, когда не было эффективных и безопасных моющих средств, не грелись батареи, не было одноразовых средств гигиены, а у женщины – высокие требования к окружающему ее комфорту и нежелание работать самой.

Пастернак не только покорился своей доле и покорно проживал все, что жизнь подсовывала ему по прихоти игравшей злую игру жены, но и по мере сил выискивал какие-то радости.

Эта жизнь не закалила его – он и не к таким трудам был готов, Пастернак бы выдержал многое, то есть он не отогнал от себя эту Женю с ее постоянными требовательностью и неудовольствием, и жизнь не сломала бы его – он все еще верил в то, что есть, бывает другая жизнь – она его размочила баранкой. Такими словами он описал город Венецию – поразивший своей несуразностью Бродского образ. Так он назвал непраздный, мистический, праздничный, намытый морем город, будто растерялся, побоялся смотреть – попал туда по-студенчески без копейки, но с воспоминаниями о буржуазном великолепии чаеторгов-ских наследниц мамзелей Высоцких – и отогнал от себя этот никогда больше не понадобившийся ему образ странного города. Раз он в воде – пусть размокнет. Пусть плывет баранкой.

Сильно размок и Борис Пастернак, и Жене останется покорен до конца жизни. Еле-еле сохранит форму бублика – дырку внутри, но Жене и этого будет довольно.

«Я же играю только служебную роль в твоей жизни: в твоей, горькой по этой причине жизни, и в возмущенном требованьи счастливой».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 138.

«…ты, не ведая, что творишь, расписываешь, пункт за пунктом, что ты могла бы меня любить, как средство в жизни».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 177.

Вдвоем не по средствам ездить и в Крым, что ж говорить о заграница? При представившейся возможности едет одна Женя – с сыном. Но конечно, и за границей ребенок должен быть на кого-то переложен.

«Ей приходится <…> напирать на этот пункт избавленья ее от забот о Жене с <…> абсолютистской нотой <…>. Это пункт очень простительного и понятного при надорванном здоровье эгоизма».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 276. Еще в начале минувшего века (если к нему относить и двадцатые годы) люди позволяли себе быть слабого здоровья. И не только еще самим цепляться за этот имидж, но и находить в себе силы подряжать на его обслуживание окружающих. Такие роли чаще всего исполняли подкаблучники мужья при не нашедших себе иного применения женах. Сейчас, когда лечиться легче, когда есть лекарства, хорошие врачи, разносторонние диагностические методики, когда можно позволить себе предаваться холению своих слабостей днями, неделями, годами, – никто особенно не лечится, и уж, во всяком случае, «публично больных» нет вовсе. Здоровье не подорвано ни у кого. Родившие балерины через два месяца танцуют перед публикой, родившие просто девушки созваниваются со своим тренером по фитнесу уже в послеродовой палате, наслаждаясь даже первоначальной проговоркой специализированных программ и прочее. Которые кормят грудью – похваляются, гордятся, рассказывают, какую очень чистую пьют воду и на что обращают внимание при выборе фруктов. Обычно бывает всего одна няня, две – если мать работает.

Викторианские слабости в известном кругу дотянулись до, как мы видим, конца двадцатых годов. Женя была не только восхитительно слабого здоровья, но и женщиной – не тряпкой, она за себя постоять умела, и вот Пастернак делает страшные глаза и водевильным шепотом уверяет сестру, что он хлопочет, при поездке Жени за границу, об абсолютном условии того, что от ребенка ее там избавят совершенно – втайне от самой Жени,

просто будучи не в силах смотреть на ее страдания. «Про мои вопросы о предположительной поездке Жени <…> молчок! Я этого не писал, ты не читала. Ясно?» (Там же. Стр. 276). Так, на «слабо», тоном романтического простака из водевиля, он подталкивает сестру поскорее обсудить с матерью в Берлине, кто из них возьмет на себя тяжкий груз Жениного раздражения: «… если бы она не нуждалась в безусловном месячном хотя бы отдыхе и поправке, то есть если бы не надобность подкинуть мальчика на этот срок… » «Я Жене сказал, что думаю тебе об этом написать, – она на меня накинулась» (Там же.

Стр. 277).

То, что он стал подкаблучником – полудобровольным, но все же, – было его заграничной семье очевидно, и он, чтобы сгладить впечатление, преувеличенно страстно описывал свое неукротимое желание увидеть (ощутить) Женю пополневшей. Ему казалось более маскулинным пожертвовать своей поездкой по своей Германии (при историческом раскладе, какой случился, ему не приходилось выбирать, и эта страна уж могла считаться «его» – а кто мог выбирать больше?) ради таких «грубых» желаний, чем казаться просто уступившим лишние деньги в семье более требовательной жене.

Пастернаку (senior) в простоте о внуке писать нельзя, нужны бы тома. И Леонид Осипович старается. Хоть обычно он более прост, приятен, но слабостям сына надо потакать – прекрасная родительская черта, не всем и присущая.

«Ах какой дорогой и душевный мальчик! О нем и о наших впечатлениях надо бы целый том исписать <… > золотой, сердечный, преумница, голосок… »

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 307. В Берлине произошел «эпизод» на вокзале: «Мальчик, увидев бабушку, испугался ее и замахнулся на нее рукой». Мальчику – два года. «Досадная история, доставившая всем немало огорчений».

Там же. Стр. 306.

Леониду Осиповичу приходится отписываться и по этому поводу, так просто не отмахнешься. А дел-то всего: Розалия Исидоровна – уже вполне «бабушка», у нее сильно провисли щеки, подбородок, седая корона волос, как у доброй или злой волшебницы. Как ни готовь ребенка, но на перроне его совершенно неожиданно, бесцеремонно, властно забирает себе на руки и целует – или кусает – огромная незнакомая старуха… Безо всяких обид Леониду Осиповичу тут особенно задумываться бы не

над чем, но переписка пухнет.

Нет дальше родства, чем семья брата жены. Свояк обращается со смиренной просьбой к свояку как мужчина, которого почему-то должен содержать другой мужчина, будто тот женился на этом чужом ему человеке и взял некие обязательства. Борис Пастернак писал мужу своей сестры неуместно длинные и форсированно-родственные письма. К несчастью, он обращался не только как к денежному мешку, обязанному поддерживать талант, и не только как брату (тот не был братом, и тон родственного доверия надо было действительно снизить), а смешивал и то и другое. Супруге горько и язвительно ругал скаредность и приверженность собственному вкусу в устройстве жизни (своей и своей жены) и ей же сетовал на то, что художника поддержать материально мало кто хочет, а вот порассуждать об искусстве, знакомством погордиться – это да. Хотя родство – это не знакомство, которое выстроено, а значит, выстроено хорошо или выстроено плохо, то есть может и прекратиться, родство – это выпавший злой или счастливый шанс, и счастье или несчастье родства – его непрекращаемость.

Пастернак потом проговорится – когда не удастся его план оставить сына «на год» (кавычки – к предполагаемому, возможно, и более дальнему сроку) в богатой и бездетной (обстоятельство, по мнению Пастернака, накладывающее обязательства по отношению к тем, кто для себя наследников родил) семье Федора. Пастернак вознегодует в адрес тех, которые любят поговорить о художниках, об их трудных судьбах и божественных талантах, а когда представляется возможность открыть на их имя счет – прижимаются.

А на мецената и щедрого родственника рассчитывать не зазорно. Вагнеру Людвиг Баварский предоставил роскошные условия для жизни и для работы – плохо, что это было единоличное его желание и благодеяние; сейчас артист зависит от более широкого круга лиц, а значит, может практически никого не признавать благодетелем. Ну, купил ты его пластинку или билет на концерт – его жена тебя, стоя, встречать в гостиной не будет. Пастернак хотел поверить, что нашел в лице Федора своего мецената (не на его ли славе тот и женился?) – такое везение, но захотел расширить диапазон своих эмоций. Этот вожделенный меценат – не чужой человек, ценитель, который ценит не тебя, а твое искусство, а он еще и родной, его векселя должны быть еще и согреты родственной теплотой.

Он (Пастернак) пишет неискреннее, льстивое в самой своей словообильности и художественности (на засухе жесткой необходимости как-то ублажить Женю – особенно не расчувствуешься) письмо. Федя мог бы надеяться, что просто из соображений хорошего тона его избавят от обязанности разбирать все эти ерзанья перед попыткой высказать вполне конкретные и материальные просьбы – и не будут заставлять чувствовать себя обязанным за получение вот такого объемного и высокохудожественного текста.

Подкидывать мальчика, по каким-то очень утонченным соображениям, предстояло в семью, где деньги зарабатывал Федя, письмо было – ему. Женечку было три года, а третье лето Пастернаку уже было невозможно навязать его матери, Жене, – пусть на дачно-курортный сезон, но все в той же, родной стране. Советский быт – не сахар. С деньгами (в любом случае достаточными, раз жили) и с персоналом при одном ребенке выкрутиться можно было бы, но Женя завела в семье атмосферу отчаяния, войны, ненависти, страшного надрыва (Пастернак покорно подтверждает: «непосильный труд по уходу за ребенком»). Ей надо было бросить кость. Жизнь и работа Пастернака ей уже принадлежали, он мог дать еще только заграницу. Дать – выпросив. И он просит, пишет письма. Пишет письмо шурину.

Его нельзя читать без неловкости за каждое слово. Это письмо – то, что сделала Женя Пастернак с Пастернаком. Жене никаких курортов не надо. Заграничные Пастернаки, в стремлении минимизировать будущие стеснения, вызванные обширными и неопределенными (и даже угрожающими) планами по приезде Жени, пытались дать свое, рациональное, определенное (не бесконечное и восторженное по-пастернаковски) предложение разных вариантов пребывания. Если Жене необходимо действительно лечение, Федор готов предложить курорт. Ведь если ей нужно семейное тепло и привет родных – для этого не надо уезжать от родного мужа и по крайней мере ехать не к своей родне. Но Борис, который сам всегда ОТКУПАЕТСЯ и справедливо считает это привилегией, от других, которые не художники, требует расплачиваться (они не признают за собой долга, но их и не спрашивают) натурой, жизнью.

Пастернак пишет подробно, будто то, что он обнаружит полное владение ситуацией, сделает его претензии на заботу чужих (Федя, муж Жони – совсем чужой для Жени Пастернак) о своей жене законными.

Итак, «ей нужны отдых и поправка, то есть все то, что добывается у Феррейна, у Чичкина, и, наконец, летом в двадцати верстах от Москвы. Если мы заговорили о заграница, то, собственно, поддаваясь побужденью показать мальчика нашим, потому что, как критически я к нему ни отношусь, он даже и меня часто умиляет <… > идут соображенья об отдыхе Жени и ее поправке: то есть не будет Вхутемаса (как впрочем и на даче), последует жизнь в геркулесе, молоке, масле, рыбьем жире, мышьяке и пр. и пр. (как впрочем, при ее упорстве лишь наполовину, уже и тут)». Очевидно, предугадав изумление Федора при известии о необходимости участвовать в преодолении Жениного упорства, Пастернак переходит, «прямо и без обиняков», к другой теме: «Простите за наглость и навязчивость, но тут можно говорить только прямо, без обиняков. В согласьи с этим, прибавлю несколько слов в том же духе. Так как в смысле денежной самостоятельности я показал себя в эти годы в преплачевнейшем виде, должен прибавить, что поедут они только на свои деньги, и я в учете поездки не принимал в соображенье только (всего лишь такой пустяк!) таких вещей, как самостоятельное хозяйство, гостиница и пр., так как допущенье этих вещей уничтожало бы и возможность поездки, превращая ее в бессмыслицу (в смысле Женина отдыха). <… > Взвесьте и этот пункт, то, стало быть, что не в гостиницу».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 279.

Уф! Кажется, понятно. Прямо и без обиняков.

Пастернак безудержен и восторжен в своих письмах до жалости. Они – навязывание откровенности, неуместной и ненужной его корреспонденту: она ведь все-таки не к каждому встречному-поперечному у Пастернака в письмах проявляется, только к избранным. К родным. Хочется тепла, понимания, хочется, чтобы не щелкнули по носу. За это несомненное желание его и жалко. За эгоизм – будто все только и думают, как, получив письмо от Бориса, вскочить и помчаться выполнять его неимоверные фантазии, вместе с ним презрительно отметя собственные нужды и желания, – он получит от них раздражение.

Пастернак собирает жену с сыном за границу. Женечка, может, подобреет к нему. А лучше – если бы прельстилась чем-то, да там бы и осталась. Но надежды мало: здесь, в России, он берет на себя бремя единоличной заботы о семье, и она это знает, а там… Где найти такого простака, да при деньгах, да еще, может, она условием поставит какую-нибудь творческую профессию. И чтобы быт, сколь ни был бы он отлажен там, безоговорочно взял на себя… И ее ребенка… Надежды – мало. Но в любом случае

отъезд семьи дает ему, Борису, передышку, дарит одинокое лето в городе, дарит жизнь. Может, есть все-таки надежда придержать Женю с Женечкой за границей подольше. Пастернак захлебывается в письме к отцу, – мы простим его: почти реальность такой возможности помутила ему голову.

«Мне очень хочется, чтобы она попала в Париж в полном сознаньи своей свободы и открытых перспектив. <…> Может быть, вас ужаснет глубокий эгоизм моего рассужденья. Может быть, всех вас, и в особенности маму изумит свобода, с какой я обхожу вопрос о мальчике, как бы бросая его вам или Жоне на руки и отдаваясь комбинации вольных масштабов».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 302.

Дед отделывается, как ему кажется, более чем прозрачными и твердыми намеками. Порассуждав о безграничных, в глазах родителей, достоинствах внука, желает им (и своей семье): «Дай Бог вам его на счастье вырастить!» (БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 307) Внук уже отправлен в Германию, демарш «молодых» Пастернаков, возможно, уже вот-вот состоится, дед заключает свое письмо заклинанием: ВАМ, ВАМ растить его.

«А скрещеньем первых (ног. – Авт.) он и вызван к существованью».

Там же. Стр. 298.

Женя была феминистка. Но денег не зарабатывала.

«…грех <…> неглубокости, необязательности нашего брака… »

Там же. Стр. 581.

«Я перечла все твои письма. Плачу. Гнусность – вот ответ».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 162.

Пожалуй, мы с Быковым переоценили ее интеллигентность и литературность слога. Гнусность – это слишком патетическое выражение. В длинном письме без запятых (так, кажется) она перечисляет претензии месячной, полугодовой и годичной давности – противным тоном, мелочно и очень настойчиво. Пастернак ей все простит – не в этот год, когда она пригрозит ему изменой и вернется (он будет счастлив, что ничего менять не надо), а простит потом, во всю долгую, оставшуюся практически совместной жизнь. Женя будет проучена уже навсегда и со свойственным ей прилежанием (не в делах, требующих физических усилий) будет вести себя смирно, самоотверженно и

дружественно (не без срывов, но легких – без «гнусности» и другой безвкусицы). Боюсь, что иногда в своей длинной жизни она просыпалась ночами и долго не могла прийти в себя: неужели это случилось, «въехало в ее жизнь», как было просто уступить ему, и сейчас было бы все, а Зина вернулась бы на свое место, она даже бы и не приходила бы к ним с него.

Пока она не подозревает о возможности сопротивления с его стороны и надеется на выигрыш всухую. «Мои чувства, убитые трудной, жестокой зимой без всякого участия и помощи с твоей стороны…» «Я не раз писала тебе, что больше всего мне бы хотелось опять попробовать работать, что хоть слегка насытившись работой, можно ощутить всю потребность любви. На следующий же день ты принялся за работу (он думал, что по-мужски правильно понял ее упрек) и ни слова не было тобою сказано о том, как осуществить мою. <…> Тогда будь последовательным <…> к чему у тебя этот тон проповедника <… > почему ты так прямо по небесному… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 163—164.

Женя была за границей три раза: в 1922-м, 26-м и 31-м годах, соответственно в 24, 28 и 33 года. Художественного законченного образования она ни разу ко времени поездки не имела, профессиональные же амбиции – внутренние и с готовностью признаваемые справедливыми – присутствовали в полной мере каждый раз. Достижение – портрет «Киноартистка Тамара Макарова», художественные сверхзадачи и технические приемы которого вполне соответствуют старательно исполненной красотке из дембельского альбома. «Мама мечтала продолжать свое художественное образование, причем Боря надеялся в этом на помощь и участие своего отца, профессионального преподавателя (добавим: и художника, которому видеть самоутверждение Жени Лурье за счет ремесла – дела его жизни, которое он полагал недоступным только из желания самоутвердиться, было очевидно неприятно). Маме хотелось ехать в Париж, для чего она получила рекомендательное письмо от своего учителя по ВХУТЕМАСу П.П. Кончаловского. <…> Попытки связаться с преподавателем в Париже, которому Кончаловскийрекомендовал маму, не удались. Ехать наугад одной она не решалась».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 24.

Прошлым летом в поссенхофене

«Чтобы дать маме отдохнуть от забот обо мне и укрепить ее здоровье, Федя и Жоня, по папиной просьбе, послали ее в пансион в небольшом городке Поссенхофен, расположенном на берегу живописного Штарнбергского озера, в 20 км от Мюнхена».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 172.

И при семи няньках бывает мать заботливая, а бывает отчужденная, ленивая. Вовсе не обязательно упрекать Же-

ню только на том основании, что при ребенке всегда была няня (а при ней самой – горничная). Имея и няню, и гувернантку, и любой другой штат прислуги, заботливая мать всегда будет жить заботой о ребенке и никогда не будет в праздности, она всегда будет занята детьми и никогда не устанет от этих забот. В этом и есть разница между хорошей и плохой матерью.

Уваженный в будто бы собственной просьбе Пастернак поражен: «Напиши мне, пожалуйста, как родился Поссен-хофен, как ты в нем очутилась и что делаешь?»

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 173.

Состоятельные и бездетные (это сочетание, как правило, заставляет предполагать безудержную склонность к филантропии и самопожертвованию) Федя с Жоней опасаются, что их гостеприимство будет толковаться расширительно (не ошибутся и даже будут раздражаться за не по годам наивный эгоизм), но ошибутся в превентивной тактике (попробуют дать больше): конкретно «пансионата» Пастернак не просил, но написал Жоне бешеное письмо о необходимости и крайней желательности для него, чтобы жена Женя за границей пополнела. «Ты не можешь представить, как меня это терзает! <… > умоляю тебя, когда ты немного освободишься, займись этим немного <…>» Рисуется душераздирающая картина: Женя, « отставляющая стакан с молоком или тарелку с яичницей <… > Тогда ты перебарывай это чувство – заставляющее Женю так поступать. И вообще, учреди, организуй это через прислугу».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 314.

Пастернак деликатно делегирует обязанности Жони

прислуге, непременному атрибуту богатого дома, чтобы Жоня не заподозрила, будто он предлагает ей самой придвигать Жене тарелки и стаканы, а может, даже пощелкать пальцами или придумать забавную считалочку для ложек, хотя ведь и сам знает, что организовывать или учреждать что-либо через прислугу – такой же дополнительный труд, как и всякий другой. На дворе у нас конец двадцатых годов двадцатого века. Домашняя прислуга в Европе вполне оформилась в нормальную профессию, часто весьма квалифицированную или себя таковой считающую, люди выполняют свою работу. Пастернак же имеет патриархальное представление о челяди – бестолковые помещики, крепостное право, комнаты набиты «людьми», девками: эта – голову чесать, эта – сны рассказывать. Следить за Жениной рукой, решительно отодвигающей стакан с молоком… В Париже еще в 1847 году Александр Иванович Герцен восхищался рациональностью бытового обихода: Петрушу возить с собой не надобно, и даже без лакея можно обойтись, так все прогрессивно отлажено: «О тягости, несправедливости, взаимном стеснении и взаимном разврате, происходящем от лакейства, говорят давно; но, не будучи диким или Жан-Жаком, как же обойтись без частной прислуги?» Выход найден: коммунальная прислуга, не для статуса, для реальной помощи, портье. «Портье чистит вам платье и сапоги, портье натирает паркет, обтирает пыль, моет окна, портье ходит за табаком < > Вы всегда можете за делом позвать портье – затопить ли камин, бросить ли письмо в ящик; но, разумеется, он помер бы со смеху или разразился бы ругательствами, если бы вы его позвали на пятый этаж затем, чтоб он набил вам трубку или подал платок из другой комнаты» (ГЕРЦЕН А.И. Письма из Франции и Италии). Ну, или там Женя яишенки решительно бы отказывалась покушать и надо было бы что-то учредить через прислугу.

«Кроме того, вероятно, ее утомляет Женичка, с которым она, вероятно, проводит целые дни. Не взять ли ему человека? Нельзя ли в этом отношении что-нибудь придумать?»

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 315.

Пастернак всегда щепетилен в денежных делах. Когда у него есть деньги, он дает и просящему, и не просящему. За себя и услуги для Жени безусловно платит сам. Когда денег нет, а дело серьезно – тогда вот просит что-то «придумать». «Напомни ей, что ведь ей Вхутемасовская зима предстоит и потребует сил».

Там же. Стр. 315.

Напомнить надо в смысле уговора съесть яичницу. Женя, в свои 28 лет, еще и студентка. В семье нет денег ее учить, для Жени это повод для истерик, Пастернак чувствует себя виноватым

и всячески подчеркивает, что этот вопрос даже не обсуждается – наоборот, скорее Женя забудет, но не он не найдет возможности. «Если можно, не показывай писем этого сорта Феде. На мужской взгляд они смешны. В жизни же я не только тряпка».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 314—315. Федя с Жоней «придумали» пансионат, надеясь выданным авансом приглушить аппетиты, но, как видно из дальнейшего, просчитались. Пастернаку «казалось, что Жонеч-ка, привязавшаяся ко мне, с радостью возьмет на себя и дальнейшие заботы» – Пастернак придумал оставить Женечка за границей.

Там же. Стр. 203.

Но сейчас речь не об этом.

Оставшись наконец одна в придуманном и оплаченном пансионате, Женя предалась мечтаниям о принце. У немецкого писателя Лиона Фейхтвангера был родной брат, мюнхенский банкир (владелец банка). Отдыхал ли он где-то в окрестностях озера, имел ли на его берегах недвижимость, или просто имя его было упомянуто в газете – неизвестно, но… В несколько дней он будто бы увидел Женю, познакомился с ней, безумно, очевидно, влюбился (об этом – ни слова) и сделал ей предложение: «человек предложил мне жизнь, богатство, Париж».

Там же. Стр. 204.

У Жени с мужем дела были плохи, переписка шла о разрыве («к разводу отношусь спокойно и светло» – Борис), за границу ее послали осмотреться: не найдется ли какого-нибудь варианта, чтобы остаться там навсегда.

Но банкир Фейхтвангер как-то все-таки чем-то не подошел. О его существовании и предложении жизни было сообщено под большим секретом одному только Пастернаку.

Сейчас такое лекарство пропишут в два счета. Вы несчастны из-за недостатка денег? Закройте глаза и представьте себе, что вы безмерно богаты. Представляете, сколько других проблем возникает и скольких никакие деньги не смогут решить? Как, вам лучше? Женя очень хорошо подлечилась во время прогулок вокруг Штарнбергского озера.

Possen – по-немецки «шутка», «фарс». Hoff, как известно, – «двор». Оказавшись при «дворе фантазий», Женя, у которой волшебство жизни рядом с Пастернаком и возможность неспешно обучаться и в полную меру потребностей практиковаться в живописи без остатка уже съели девичью пену воображения,

поднимавшуюся над ровными глубокими кругами ее житейской устроенности, разыграла все-таки фарс на берегу Штарнбергского озера. Как удержаться, когда тебе само название кричит в уши!

Готовому к услугам Фейхтвангеру не надо было напрягаться, чтобы придумывать, что (что конкретно) сложить к ногам m-me Жени Пастернак. Все их семейные планы с Борисом, которые составлялись совместно (какие – прямо по ее требованию, какие – чтобы снять с него обвинения, что ему оказывается преимущество), на которые изыскивались или ни при каких усилиях не могли быть изысканы средства, – все эти планы в точности, без дополнений или изменений (ничего в голову банкиру не пришло новенького) он и озвучил. Как по мановению волшебной палочки.

Например, «Париж».

Жене: «Поедешь ли ты в Париж и начала ли переписку о визе?»

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 173.

Жоне: «Еще было бы замечательно, если бы папа собрался в Париж и они поехали с Женей вместе. Об этом мы часто мечтали с ней. Далее он прибавляет серьезно, будто сообщая что-то оригинальное, продуманное, взвешенное: Я уверен, это была бы замечательная поездка для нее… разобью эту фразу, чтобы расставить акценты… и ему было бы весело». Пожилому и заслуженному художнику, без больших средств, с тяжелой и в тягость невесткой, недоучившейся дилетанткой, присматривающей себе новую судьбу? «Не смею грезить о таком счастье. К сентябрю я ей переведу денег на эту поездку».

Там же. Стр. 160.

Те же самые грезы – и у Пауля Фейхтвангера. И по счастью, ему легче собрать денег к сентябрю. Он ли бросит работу, или молодую жену отпустит во французскую сторону, прямиком на Монмартр? «Мне только что предложил человек свою жизнь, богатство, возможность работы, Париж – все, что я хочу».

Там же. Стр. 204.

«Разговорный немецкий был ей труден. Но гимназические знания позволяли объясняться в пределах необходимости».

Там же. Стр. 176.

И банкира Пауля Фейхтвангера, выходца из богатой, образованной семьи, племянника философа Макса Шеллера, брата писателя и доктора философии Лиона Фейхтвангера, уровень коммуникации, достаточный для раздачи поручений

горничным, вполне устроил.

«…Продолжительное пребывание за границей. Не потому, чтобы я считал вообще жизнь там жизненным для себя идеалом. Как раз наоборот, в противоположность <…> Жене, которая все рвется туда».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 350.

…вырвалась, без нелюбимого мужа, настойчиво подталкивающего ее к «свободе»… Но герр Фейхтвангер был все-таки как-то не то… Где-то там, неподалеку, по теплой тесной Европе, то тут, то там проезжал маленький и грустный, холостой, тридцатиоднолетний (на три года старше), немного, правда, легкомысленный принц Уэльский Эдуард… Ведь может же случиться!..

Какие-то похожие, и при этом реальные, истории непрерывно случаются. Мстислав Ростропович вознамерился жениться на замужней даме: познакомился, влюбился, решил отбить у мужа – все за четыре дня. Правда, ему она была известна как прима Большого театра, ему тоже было как ей представиться в понятных терминах: он был оркестрантом Большого (для нее – чин небольшой), преподавателем Московской консерватории. Но они были люди широкие и видели друг в друге гораздо большее, должности не были для них главным. Боюсь, что в Праге, где были они тогда на гастролях – в одном, тесном, дружественном, едином, как закрытое общество, кругу коллег, – они на улице с кем-то, пусть даже симпатичным, таинственным, одиноким и пр., знакомиться не стали бы. Тем более – «жизнь» предлагать.

Альфред Нобель тоже в считанные дни собрался жениться. Он – по объявлению. При всей случайности возможного выбора уже принятым решением было желание не просто знакомиться с приятными женщинами, а именно жениться.

Нобель дал объявление о найме секретарши. Как ученый-естественник, он быстро рассчитал: если давать простое брачное объявление с реальными автохарактеристиками, то работы по отсеиванию кандидаток хватит на многие годы. А так он мог встретить действительно работящую, скромную женщину, не ищущую лучшей доли за счет чем-то и почему-то обязанных ей мужчин, – такую, которую только он по своему выбору может решить осчастливить. Но нашлись лукавее его.

«"Состоятельный и высокообразованный пожилой джентльмен, проживающий в Париже, изъявляет желание нанять особу зрелого возраста с языковой подготовкой для работы в качестве секретаря и экономки". Этой особой оказалась 33-летняя обедневшая графиня Берта Кин-ски, до этого работавшая

гувернанткой в Вене и со скандалом уволенная за роман со своим воспитанником, который был младше ее на 15 лет. Нобель очень привязался к своей новой компаньонке и даже вновь стал подумывать о женитьбе. Однако тут умерла мать молодого возлюбленного Берты – барона Артура фон Зутнера, и она оставила Нобеля, чтобы соединиться с бывшим воспитанником узами законного брака».

www.gzt.ru/world/2004/10/04/095254.html .

Для опытного глаза деловое предложение Нобеля было брачноемким. Из осторожности он ничего не обещает – кроме обязательства платить за услуги. Очевидно, hrabina Kinska (польки, особенно на международной арене, редко бывают не графинями) работы не боялась (по некоторым сведениям, с работы в Вене ее еще никто не увольнял, но она не предвидела значительного карьерного роста – и отправилась на собеседование в Париж). Из других претенденток ее выделили – на Нобеля произвели впечатление ее «внешность и скорость перевода», и Альфред объявил о своих истинных намерениях. Все произошло за одну неделю. Лучшего нельзя желать, но – вот они, романы Дюма: случилась смерть той, которая, возможно, даже высказывала свое предпочтение этому состоянию пред возможностью стать свекровью. Мать Артура получила оба худших варианта, Берта Кински – оба лучших. В ее положении было только одно обстоятельство, способное добавить горечи в любую удачу: мучения выбора.

Расклад был такой: в 1876 году Альфреду Нобелю было 43 года («пожилой господин» – и это так и было), Берте Кински – 33, барчуку – 18 (возраст, когда такие романы считаются любовью, да еще какой! Во взрослом состоянии, очевидно, бывает как-то неловко, когда женат на собственной гувернантке, но это сейчас не наша проблема). Мужчина в 18 лет имеет очевидные преимущества, которым довольно трудно противостоять. Может, она и сердечную привязанность к нему имела большую, чем к Нобелю: знакомы были дольше. Он был нестрашен, ясен, понятен ей, как ребенок («как» можно убрать), а неженатый Нобель в стране Синей Бороды, может, и пугал. А тут он еще и изобретатель «безопасного порошка», динамита. Брата подорвал вместе с заводом в Петербурге… А тот мальчик был еще и бароном. Польки (и, наверное, не только они) очень падки на титулы, еще они то в русские царицы метят, то во французские императрицы, и всё в какие-то с душком. Но в нашем случае все чисто: Берта стала и баронессой фон Зутнер, и даже, в 1905 году… лауреатом Нобелевской премии мира – вот так надо уметь строить на том, что есть в руках (или проплывает поблизости).

Что до Жени Пастернак, то тут все попроще. Неизвестно даже, познакомилась ли она на самом деле с Паулем Фейхтвангером, человеком, который на второй день «предложил ей жизнь» (Париж и пр.), или нет. Борис Пастернак, например, не верил.

В определенном возрасте трансформировать приятное впечатление от знакомства с замужней иностранкой в желание изменить свой абсолютно сложившийся статус – это что-то из Остапа Бендера. А ведь немецкие банкиры не самые большие авантюристы на свете.

Женя гуляла над озером, и на нее никто не смотрел – ни принцы, ни маркграфы, ни директора банков, она была хороша собой, таинственна, припорошена елочным, мишурным декором неопределившейся, неконкретной жизни без обязательств, она была взрослая женщина с ребенком, она знала, что у нее есть многое ей обещавший муж, она говорила (едва) по-немецки и могла бы рассказать о себе много фантастического, нереального, о чем ее образ жизни позволял ей мечтать и даже считать, что эти мечты существуют в реальности. И на ней лежал явственный отсвет того, что она замужем за знаменитым человеком. Она бы не поверила, что она – зулусская принцесса: ее муж имел полное право претендовать на место в европейском мире. Но за две недели конкретного спроса на нее не нашлось.

Две недели – слишком мало. Даже роман принца Уэльского, короля Эдуарда VII, который бросил британскую корону ради тоже замужней и амбициозной дамы, какое-то время потребовал для прохождения описанной теоретиками стадии кристаллизации. Пару лет как минимум. Елена Дьяконова (будущая Гала Дали) познакомилась с Евгением Гринделем (будущим Полем Элюаром) тоже на курорте, в Давосе, в Швейцарии. Ей было девятнадцать лет, ему восемнадцать. Через четыре года они поженились.

Рассказам (одному рассказу подзадориваемому мужу) было бы слишком трудно поверить.

Евгения Владимировна издалека видела гуляющего по дорожке брата знаменитого писателя Фейхтвангера, ей показали его, ей было у кого спросить про него, он был из самых значительных гостей (несомненно, они жили в разных отелях) – как банкир, естественно, не как родственник писателя. Из писателей она была сама. Перебрав в уме все возможные фантазии о том, на каком круге своей прогулки она встретится с ним еще раз (если Пастернак и давал ей читать Пруста, то уже

после того, как описание преследования на прогулках герцогинь могло ей быть полезным), как повернется разговор, как выйдет он на тему «не согласилась ли бы она сделать его вечное счастье», как не обидеть его отказом (это уже более поздние фантазии, когда срок пребывания подходил бы к завершению и устную новеллу было жалко бросать, и ей придумывался бы грустный конец), она, такая фантастическая женщина, Женя Лурье, сделала вдруг замечательный по силе шаг – она заставила себя посмотреть на ситуацию под другим углом: увидеть в Пауле Фейхтвангере зримый образ того, что она уже имеет, – и знаменитого писателя, и вероятное богатство.

«Выходит, что я талантливая девочка <…> Из дома, где не было ни одной книги – к писателю, из провинции – к известности, не имея ни гроша в кармане – к возможности большого богатства…»

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 204.

«Мамочка мне как-то сказала: „Ты, говорит, вполне добилась своего, ты хотела известности, славы – ты ее имеешь“. Это про нашу жизнь с тобой».

Там же. Стр. 205.

Это она по неосторожности пишет в том же письме Пастернаку, где сообщает о своем успехе у Фейхтвангера.

Если было бы что-то более реальное, об этом и писалось бы. Когда «человек предлагает свою жизнь», об этом человеке хоть что-то пишется. Не обязательно подробности о нем, но какие-то повороты, возможные в собственной жизни, возможные в этом новом русле, – реальное предложение наполняет реальным смыслом даже предположения. Реальная «жизнь», даже всего лишь «трогательного и печального» человека, – это все-таки не шутка. Это не «все, что я хочу», «Париж» и пр. – такими словами соблазняют легковерных, но приличных дам, которым не предложишь деньги.

Женя отвергла, боясь обидеть. Пастернак был доволен. Анна Ахматова в таких примерно случаях начинала писать: «Ты напрасно мне под ноги мечешь /И величье, и славу,

и власть». Пауль Фейхтвангер тоже старался понапрасну. Евгения Пастернак, как пишет биограф, имела в своей жизни случай отклонить лестное предложение «жизни» еще раз. На этот раз, через семь лет, когда Женя была уже ничьей женой, за ней ухаживал (охотно верим) и делал предложение Борис Пильняк. Он был знаменит, импозантен, богат, у него был автомобиль и свой дом в Москве, был он и талантлив. Судя по нравам

писательской среды (несомненно, неписательской тоже, но писатели имели больше досуга, средств и бездельного зуда), до браков и даже до предложений доходило не так часто, как об этом сообщается из дружественных неприступным дамам источников. Ну например, Анне Ахматовой тоже Пильняк предложение делал (ей не делал только ленивый или чересчур подвижник, вроде папы римского, которого она любила ставить в различные положения среди своих знакомств – для наглядности необходимого при общении с ней уровня). Уж ей-то и Пастернак делал предложения. Дважды. Нет, трижды. Цифры, как и сама ошеломительная новость, из одного источника – от нее самой. Она их точно не помнит – вспоминать начала уже в шестидесятых (конечно, когда Пастернак уже умер). Люди верят, что «мне-то он нисколько не был нужен». Иосиф Бродский – он наглец, он думает, что ему все можно, – дает нам объяснения: «Он был ниже ее ростом. И моложе». Моложе он был на один год. Короче, всех заворачивали. Женя, завернув весьма статусного писателя (а как мы помним, она умела это ценить), вышла замуж за случайного человека, просто предложившего руку, – инженера, квартиранта у Пастернака на даче. Разошлись, отметившись, через год.

Пастернак уверен, что Женя человека выдумала, но надежда – вдруг что-то такое все-таки было – у него напоследок возникает: перед ее отъездом из-за границы он предлагает ей еще раз взвесить: «Сегодня я с тревогой подумал: не упустила ли ты случая вырваться из нищенских тисков „естественной данности“. Не было ли бы лучше и Женечке? О, а потом – потом бы я вас нагнал и отнял».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 212.

Забота о материальном состоянии жены и ребенка всегда похвальна. Если это мыслимо, то есть может быть подвергнуто осмыслению, не лишает смысла всего оставшегося после отдачи чужим этих членов ближнего круга, то почему бы и нет? Семья эта была, скрывать нечего, немного с червоточиной. И тогда, при таком благовидном предлоге – пусть отдает; можно даже при случае о жертвенности говорить. Но вот эти «О!», «а потом – потом», «нагнал и отнял» – это уже излишне. Понятно, что без этого оправдываться после перед женой было бы трудно, но уж слишком предупредительно звучит. И отнял бы ведь не у захватчика, не у татя – отнял бы у добросовестного приобретателя, у кормителя чужих жен и детей, тот-то тогда ради чего бы старался?

В общем, во взращивании ячейки общества Пастернак был

готов на любые эксперименты.

Женя ставит себе в заслугу, что она предпочла реального Пастернака мечте о банкирах. Это не так уж мало, некоторые остаются мечтать до смертного одра – эта жизнь бесспорно проиграна. Семейная вера в реальность фантазий – дело довольно обычное.

Что значит – «Париж»? Русским в России всегда кажется, что за границей – это значит сразу «Париж». Он что, Фейхтвангер, бросит свой банк и уедет с новой женой в Париж?

То, что у банкира был брат писатель, не важно. Разоблачительной опасности он не представлял, в России Лион Фейхтвангер был тогда неизвестен.

Брат Фейхтвангера – это даже лучше, чем сам Фейхтвангер: братством своим он дает и близость к известному человеку, полную его доступность для утонченной и образованной дамы, но сам дает и несравнимо большую респектабельность, приличную отдаленность от немного рискованной с точки зрения комильфо – Boheme.

От такой близости рождаются сероглазые короли.

Странный образ, сказочный: 6 августа Женю отправили в пансионат, вероятно, недорогого толка – в переписке фигурирует долг в 10 долларов (это суммы, которыми оперирует Пастернак), а 22-го Женя уже сообщает мужу в письме о предложении, которое ей сделал «печальный, одинокий и трогательный» – «человек». Кто такой – было сказано только сыну, впоследствии, Пастернак ничего не знал, не догадывался. Когда Фейхтвангер (Лион) приезжал в Москву, никаких приветов не привозил, – возможно, Женя не сочла нужным себя называть. Хотя как-то же им надо было начинать знакомство, когда молния-то пролетела, следовало найти приличный предлог представиться друг другу и хоть о чем-то заговорить – где же лучший повод для женщины сообщить хотя бы о своем замужнем статусе, ну а уж потом назвать и фамилии. Странно, как они обошлись без этого. Впрочем, времени было действительно мало, возможно, с предложения он и начал: мол, смотрю-смотрю, дай, думаю, предложу. Вот как решаются судьбы – за две недели (если прямо на следующий день после написания безмятежного письма мужу Евгения Владимировна знакомится с банкиром). Банкир тоже знакомится, влюбляется, делает предложение – не потрудившись узнать поближе, не познакомившись с родней, не вступив даже в интимные отношения (для взрослых людей – более чем

естественный шаг, у Жени вроде не было с этим проблем и когда она из девушек замуж выходила), в дамском романе, который Женя писала в своей голове, это было совершенно правдоподобно. И даже то, что она «в некотором роде замужем» – не смущает его.

Где те озера!

«Слушай, что я скажу тебе. Мне только что предложил человек свою жизнь, богатство, возможность работы, Париж – все, что я хочу. Это сделала не я, это сделало солнце, озеро, горы, быть может, моя постоянная печаль о нашей жизни и желание другого меня утешить. Это человек печальный, одинокий и трогательный. <…> НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не рассказывай ничего никому и в особенности моим… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 204—205.

Женя представляет, что будет с мамой и с братом Сеней, если они узнают, какими перспективами она разбрасывается и кого – Пастернака, самое заинтересованное лицо, эгоистически заинтересованное – выбирает в конфиденты. О таких вещах рассказывают только СВОИМ – обсуждают, прикидывают. Правда, там отговорки про солнце и горы не пройдут – свои-то уж не поверят ничему.

Реакция Пастернака: «Яне знаю, тобою ли и Жоней вымышлен этот человек, или он придуман Богом, горами и озером, то есть живою действительностью, и действителен и сам: и выдуман хорошо».

Там же. Стр. 207.

Когда впервые встречаешь упоминание об этом «романе», о том, что брат Фейхтвангера, банкир, делал предложение Жене Пастернак, хотел жениться, – думаешь: тут какое-то знакомство через Федора, довольно высокопоставленного банковского служащего, все-таки была в Германии Евгения Владимировна не так уж, по нынешним меркам, мало – с июля по сентябрь, может, были какие-то возможности для встреч, сближения, общие знакомые, представление друзьям, а вообще-то хорошо бы и родным – хотя в их возрасте и положении как-то для формального предложения слишком все-таки скоропалительно. Оказалось, все гораздо более кинематографично: Женя Лурье гуляет вдоль озера, и директор Мюнхенского банка тоже гуляет вдоль озера. Как тут не пожениться?

Предложения бывают только принятые. Было предложение – стал брак. Непринятые предложения – это что-то такое, что нужно называть по-другому, иначе звучит это как-то несерьезно – по-

спортивному, на очки, тщеславно и более или менее неправдоподобно. В жизни обычно бывает, например, так: «У них был роман, но она не хотела выходить за него замуж, потому что… » Или: «У них был роман, но он не хотел жениться» (здесь, как правило, уже достаточно без «потому что»). Формальные предложения с последующим отказом – это из оперетт.

Озеро Штарнбергер – самое близкое к Мюнхену из чрезвычайно популярных у местных жителей окрестных озер; стало быть, маловероятно, что Пауль Фейхтвангер выбрал эти места для проведения отпуска. В его среде отпуска (они не были ежегодными) – дело серьезное и планируются специально: поездки за границу, в дальние имения, к родственникам, круизы по холостому его состоянию и пр.; скорее всего он проводил там уик-энды (даже с авто и водителем к открытию банковского дня ежеутренне, пусть без пробок, не наездишься). Сколько у нас получается уикэндов за две недели?

На озере катаются на лодках, организуются романтические прогулки для отдыхающих дам, в этом озере утонул сказочный принц, безумный король Баварии Людвиг II, на месте, где было найдено его тело, поставлен красивый крест… Такие ли еще истории могут здесь прийти в голову женщине, три месяца живущей без мужа!

Она могла увидеть его издалека на прогулке вокруг озера – печального, одинокого и трогательного, и подумать: почему бы ему не предложить ей стать его женой? И увидела, что у нее самой есть готовая равноценная замена.

Действительно: там богатство – и здесь богатство, большое богатство. Что ж менять шило на мыло? В характеристике, данной Женей своему (и Бориса) браку, их взаимоотношениям и взаимосвязанности, нет ни одного слова личного, касающегося их двоих, мужчины и женщины, Жени и Бориса, просто мужа и жены. Читаем снова по порядку, из чего этот предназначенный к распаду (к замене на более блестящий, пусть и выдуманный) брак состоит: писатель, известность, возможность большого богатства; известность и слава. Пересчитывает на пальчиках и Женя, и по ее выходит, что этого – довольно. Для видимости выбора и прочувствованности – будто бы встревоженно предупреждает: «Не подумай, Боричка, что мне вдруг стало жалко тебя, то есть, что ты против своей воли меня разжалобил. Нет, Боричка, я по-прежнему (а в данном случае это должно быть тебе любо, дорого), думаю о себе, о своей правде».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 205.

Это для нее – доказательство искренности. Ну и он ее знает, не усомнится.

Исследователи все как один делают вид, что сюжет этот – хотя и чрезмерно тонкий, видимо нелогичный, но изощренно-благородный, с высочайшими характеристиками участвовавших персонажей – имел место в реальности. «Ее встреча в Поссенхофене и отказ от весьма выгодного предложения со стороны благородного человека значили <… > очень много. Мама потом вспоминала, как <…> он был очень внимателен и нежно заботлив по отношению к ней, так что ей было трудно отказать ему, его не обидев. И папа вторил ей в тон: да, это, конечно, не Миша Штих. И когда она мысленно представила обеспеченную и открывающую ей широкие возможности жизнь с другим человеком, она внезапно поняла, насколько ей дороже и ближе ее реальное и трудное существование и любовь к моему отцу».

Там же. Стр. 205—206.

Ну, это понятно. В семьях бывают легенды и пофантастичнее.

Писаному – верят:

«В том же августе в пансионе на берегу Штарнбергско-го озера Евгения Пастернак встречает преуспевающего банкира Пауля Фейхтвангера, брата писателя; тот делает ей предложение, она отказывает ему. И этот случай становится своеобразным катализатором, сразу укрепившим чудесным образом и любовь, и семью Пастернаков. С той поры наступает „мир в доме“».

КУБЛАНОВСКИЙЮ. Неостывшая переписка//Новый мир, 1999, № 1.

Цит. по: http://magazines.russ.rU/novy*imi/1999/1/recen4*.html .

Никакого чуда, однако, не было. Текст Жениного письма таков: сразу после слов «человек печальный, одинокий и трогательный» (даже через жалость к этому бедняге приходится Жене переступить!) следует: «Но Боричка, позволь нам (то есть тебе и мне) еще раз судьбе довериться, может, все-таки солнце взойдет над нашей жизнью. Больше мне ничего не нужно». И далее – цитировавшийся выше пассаж об известности, возможности большого богатства: «неужели я продажная» и пр. Никаких рефлексий или замечаний, или чувств, или хоть чего-то реального по поводу печального банкира – полная пустота. И никакого движения мысли от предложения нового брака к соображениям, подвигнувшим на сохранение старого, – ни мысли, ни вздоха, ни одного междометия. И в предыдущих письмах нет следов, что появилось, например, интересное знакомство, или хотя бы простенькое: «я вызываю интерес у некоторых людей» –

чего-то в этом роде. Нет: мне только что предложил человек свою жизнь и богатство, не указаны только часы и сколько длилось предложение.

На самом деле перед Женей лежит тетрадка (на тетрадку) многостраничных писем Бориса к ней в Германию. Такие – отрезвят.

«…ты, не ведая, что творишь, расписываешь, пункт за пунктом, что ты могла бы меня любить как средство в жизни. <… > Не хочу, не хочу и не могу жить с тобой».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 177-178.

«…ты, Женя, адресуешь письмо к слабому, нуждающемуся в тебе человеку, который без тебя пропадет, который молит твоей любви <…> который ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО хочет жить с тобой, и вот ты ему перечисляешь свои условья, при которых пойдешь на эту жертву. Это не мой случай, Женя».

Потребность твоя во мне неясна и чужда мне. Потребность твоя во Вхутемасе с этим не связана и она во всяком случае будет удовлетворена».

Там же. Стр. 175.

«…все требованье, все мимо, мимо. На что мне знать, как много тебе нужно, чтобы СОГЛАСИТЬСЯ жить со мною, когда я не НАВЯЗЫВАЮСЬ! Я не зову тебя назад <…> и к разводу отношусь спокойно и светло».

Там же. Стр. 175, 178.

Чтобы не отступать с позором – литературно необработанный, житейски недостоверный и тактически наивный прием: сообщает о ЧЕЛОВЕКЕ.

Найденное решение кажется очень удачным. Женя внутренне успокаивается и игриво, сама себе и своей власти веря, начинает новое письмо (таких обращений в их переписке не было и больше не будет): «Боричка, не печалься, мой мальчик, твои письма такие грустные».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 204.

Его письма не грустные, они независимые, жесткие и рациональные – в его новой готовности, не оттолкнув и не погубив, приспособить небогатый и неудачный, не любовью выбранный ее человеческий склад под свою жизнь.

Jam-session

В это время и у Бориса Пастернака роман, который тоже не закончится, по его натуралистическому выражению, скрещеньем ног.

Любой русский замирает – роман Бориса Пастернака и Марины Цветаевой. Он был и остался только на бумаге – возможно, его даже не существовало у них в головах, в мыслях. Это был jam-session, как в джазе, когда двое садятся к роялю и с искренней страстью, на разрыв аорты, играют величайшую любовь, получая цветы и аплодисменты. Так и Пастернак бросался к письменному столу и писал все, что чувствовал и мог бы почувствовать, и Цветаева тоже не верила своему счастью – оказывается, можно получать такие тексты со своим именем в адресе, а самое главное – можно писать ему.

«1926 у Цветаевой – ее звездный год, когда она лихорадочно дирижировала двумя великими поэтами».

ГАСПАРОВ М. Записи и выписки. Стр. 58.

«Ее отщепенство < > через много лет выдало ее незрелость: отщепенство не есть, как думали когда-то, черта особенности человека, стоящего НАД другими, отщепенство есть несчастье человека – и психологическое, и онтологическое, – человека, недозревшего до умения соединиться с миром, слиться с ним и со своим временем, то есть с историей и людьми».

БЕРБЕРОВА Н. Курсив мой. Стр. 245.

С историей и людьми Пастернак, пожалуй, тоже не слился, и со временем путался: «Какое, говорите, у нас на дворе тысячелетье?» – но что-то жизнь для него обозначала: природа, женщина, ребенок. Он не увидел никогда хорошего любимого ребенка, но знал, что это – хорошо, как приметила все на свете видящая и всяким талантом злимая Ахматова: «И почему-то у него там везде дети».

То есть с жизнью его было чему связывать, он не родился самоубийцей, он не мог жениться на Цветаевой – он не смог даже себя заставить повести дело так, чтобы оказаться с ней в одной постели. Пережившие знают: страшно вспоминать то, что было с тем, кого не просто нет, а который выбрал и сделал ЭТО сам.

«Удивительно, но в мамином письме сказалась та же женская ревность, которая проявилась и у Марины Цветаевой, заявившей Пастернаку в это время о своем нежелании получать от него

письма, подобные тем, что он пишет в Германию своей жене».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 164.

По счастью, и это сохраняет накал полярности в ее творчестве, Цветаева остается женщиной с женским самоослеплением: ослепляют ее и ослепляет она. Это все она выплескивает в письме Рильке, которому вообще нет до этого дела: и пишет, что Пастернак прервал с ней переписку, и кричит сама – это я ему сказала: «Хватит, нет!»

«Дорогой Райнер, Борис мне больше не пишет. В последнем письме он писал: все во мне, кроме воли, называется тобой и принадлежит тебе. Волей он называет свою жену и сына, которые сейчас за границей. Когда я узнала об этой его второй заграница, я написала: два письма из-за границы – хватит! Двух заграниц не бывает. Есть то, что в границах, и то, что за ними. Я за границей! Есмь и не делюсь. Пусть жена ему пишет, а он ей. Спать с ней и писать мне – да, писать ей и писать мне, два конверта, два адреса (та же Франция!) – тем же почерком, делать сестрами… Ему братом – да, ей сестрой – нет. Такова я, Райнер…»

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 164.

Цветаева, письма к которой он начинает подобным образом: «Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно… »

Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть.

Письма 1922—1936 гг. Стр. 262. Публикатор в данном случае не ревнивый Женечек.

Как частный человек, Евгений Борисович Пастернак достоин всяческого уважения, и со страниц книг, которые он составлял и комментировал, появляется образ правдивого, трудолюбивого, благодарного сына и милого человека. В этом качестве он заслуживает полагающегося отношения (и даже больше, чем он просит, – деликатной отстраненности, неприлично же пристально наблюдать и судить незнакомого человека, ведь как частный человек он относительно мало с кем знаком).

Но, вступив в качестве автора – и героя – в литературный контекст, он не может рассчитывать на иное место, кроме как Женечка, взявшегося судить персоналии мировой литературы с точки зрения добродетельного сына, защищающего никого не интересующую честь безымянной мамочки. Е.Б. Пастернак, составитель сборника «Переписка Бориса Пастернака с Евгенией Пастернак», пишет, что Райнер Мария Рильке прервал переписку

с Мариной Цветаевой из-за того, что та употребила циничное выражение по отношению к мамочке некого Женечка – наверное, «спать с ней»…

«Письмо Цветаевой не сохранилось, но о его содержании можно судить по цинично откровенному пересказу, который она послала Рильке 14 августа 1926 года. Эгоистическая жесткость этого чувства вызвала строгий отпор со стороны Рильке, оборвавшего после этого свою переписку с ней».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 164.

Переписка оборвалась по совершенно не имеющим отношения к цинично поруганному достоинству мадам Пастернак причинам. Во-первых, 30 декабря того же года, через четыре месяца после получения упомянутого письма, Рильке умер. В августе он был уже предсмертно болен, но в своем действительно эгоизме Марина Ивановна (а если б творческие люди не были эгоистичными и заботились бы только о нас с вами, о чем бы они нам писали? Как бы свою душу перед нами разверзали, если б только о наших житейских делах пеклись?) на его сетования о плохом здоровье внимания не обращала, а Е.Б. Пастернак, например, и на смерть не обратил. Во-вторых, в письме содержались гораздо более напрямую относящиеся к нему (Рильке) слова, к которым он лично, не учитывая ничьих других интересов и чести незнакомых дам, не прислушивался: «Если ты в самом деле, глазами, хочешь меня видеть, ТЫ должен действовать, т.е. „Через две недели я буду там-то и там-то. Приедешь?“. Это должно исходить от тебя. Как и число. И город… Да, еще одно: денег у меня нет совсем < > Хватит ли у тебя денег для нас обоих?» Далее А. Саакянц, не дочь и не племянница, пишет: «На это письмо Цветаевой Рильке ничего не ответил. Любовь, как всегда у Цветаевой, закончилась разминовением».

СААКЯНЦ А.А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. Стр. 467.

Не родственная, но еще более крепкая связь и поклонение – в слове «разминовение», вот и все. В-третьих, сам Рильке, который – человек, а не орудие приструнивания распоясавшихся дамочек, всегда роящихся вокруг видных, талантливых и особенно вокруг входящих в славу и моду женатых мужчин. «У него была потребность жить вполголоса, и потому больше всего раздражал его шум, а в области чувств – любое проявление несдержанности», – с тонкой проницательностью замечал Стефан Цвейг. Он приводит слова молодого Рильке: «Меня утомляют люди, которые с кровью выхаркивают свои ощущения, потому и русских я могу принимать лишь небольшими дозами: как ликер».

Там же. Стр. 267—268.

Марина Цветаева, конечно, сошла с ума от самой возможности переписываться с Рильке и Пастернаком – пусть они никто были не нужны друг другу, но говорить про них все-таки можно было, и она говорила (писала) много, страстно и совершенно несдержанно. Рильке подходил гораздо менее Пастернака для этого жанра, а за четыре месяца до смерти вчитываться в едкие, реальные, имеющие конкретные цели перепалки по поводу чужой жены и сына; знать, что Марине Ивановне тридцать четыре года и все это так далеко от вечности… – возможно, эта часть письма Цветаевой была ему наименее интересна. Но Женёнок округляет глаза и многозначительно шепчет: очень циничное выражение – «спать с ней», надо же! Конечно, Рильке прервал переписку из-за такой вульгарности.

«А мне от ее писем часто больно. Значит, ТАКИХ писем не должно быть». Не значит ли это чего-нибудь другого? « … и Марине, и тебе, и мне должно казаться естественным ТВОЕ желание читать мне письма».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 171.

Женя пишет очень чистенько, очень справедливо, и с житейской точки зрения все совершенно так и должно быть, и все мы должны соглашаться с мемуаристами, что Женя была «вровень» с Пастернаком – но лучше все-таки отстранить ее от руления судьбами русской литературы.

Пастернак не хочет играть в поддавки, он хочет, чтобы все было честно. Марина Цветаева – что бы на нее ни было у Жени, не может исчезнуть из жизни или слов Пастернака, если она есть и если он ею дорожит. «Цветаева раскритиковала Шмидта. Ей не нравится, что я дал его, а не себя… »

Там же. Стр. 180.

Женя не отстает, услышав, что Марина Цветаева берется судить Борину работу: «Меня радует, что ей не нравится Шмидт, как лишнее подтверждение враждебности ее облика всему моему существу. „Я < > была страшно рада, что ты перешагнул < > от своей юности (Пастернаку тридцать пять) в зрелый возраст. Сделал самый трудный шаг от эгоистического (без эгоистического Пастернаку никуда) субъективизма, когда во что бы то ни стало насаждаешь свою личность (действительно, где Пастернак, а где – лейтенант Шмидт!) – к широкому, мягкому, где этот руководящий затаенный субъективизм (вы что-нибудь понимаете?)

смешивается с большой реальной правдой, со всей сложностью и тонкостью ощущений (уф!). О Господи, как сильно хочу я любить (не пугайтесь – это Женя пишет, потому что Пастернак готов развестись из-за того, что устал воевать с женой, которая его не любит, а Женя высчитала, что за ним – „слава, богатство, известность“, и решила кое в чем принципами поступиться), – до жестокости к окружающему могу я впитывать все кругом, а приносить в одно место. Я поняла, ты думаешь, что я страдала четыре года, потому что не любила. Неправда… “

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 194—195.

«Свой язык» – довольно приторная вещь. «У бога всего много», а у человека-творца – один талант. Марина Цветаева писала свою прозу, имеющую ценность в каждом слове – и отделяла их одно от другого знаком тире. Без них ее прозу и не прочитать. А так – читаешь слово – понимаешь – понимаешь все – понимаешь еще больше – читаешь второе. В какой-то момент (начитавшись больше своих сил) понимаешь, что мыслей во всем этом пропасть, слова подобраны единственные, что они еще к тому же и красивы, как в песне (из какого-то сказочного языка она их взяла?) – и в какой-то момент эта единственно правильная манера письма с тире начинает надоедать. В этот момент хорошо почитать прозу Пастернака. У нее совсем другой графический рисунок – вязь, длинные сложные слова в старомодной форме, никаких тире, будто пишет он по-грузински – рисует фразы, абзацев не видно.

Устаешь и от этого. Упоенье, увлеченье, усилье, освобожденье…

Такие отношения, как у Пастернака с Цветаевой, – точечны на карте жизни, они осуществляются методом перфорации, бурения на глубину и, как правило, с исследовательской целью. Закончив процесс, можно просто не замечать этой маленькой дырочки. Ее так легко заклеить самым пустяковым пластырем любых поверхностных отношений. Что пережили в своей переписке Цветаева и Пастернак – с увлечением измеряя, на какую глубину их бур может опуститься, что там они могут найти, что это знание даст им – в этих ли отношениях, в других ли? Увидели: ничего. Проба пера. Исписав бумаги на увесистый том переписки – твои возможности, человек! – оказалось возможным просто не видеться, когда Цветаева вернулась в Россию. Визит вежливости – и все. Он даже помогал ей – житейски, материально – через силу, без легкости, с которой делал это для других: с радостью, как

пьют воду в тяжелый душный день.

В промышленных масштабах попереписывалась (издание в 776 страниц) с бывшим другом семьи и Надежда Яковлевна Мандельштам. Нашла себе достойного собеседника после гибели супруга. Он был и польщен этой перепиской, и заинтересован, и пытался приладить ее как-то к жизни – а потом просто не ответил на одно из писем. Больше не ответил никогда. «И вот произошло нечто, лишенное всякого основания и смысла. В один из послевоенных годов я эту переписку оборвал. < > Я до сих пор не понимаю, что заставило меня прекратить переписку с Н.Я. Очень твердо помню, что все наши письма были самые дружеские. Никаких споров мы в них не вели и поэтому обидеть друг друга не могли. Мой поступок мучил меня, и я искал для него всяческих объяснений. < > Сведения о Н.Я. доходили до меня из разных источников. Каждый раз, слыша о ней, я вспоминал о своем безобразном поступке. Но я не пытался восстановить наши отношения… »

КУЗИН Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка. Стр. 178.

Жизнь Цветаевой такова, что лучше бы ее не было: Цветаева б была, а ее жизнь – нет… Лучше бы, если бы ее стихи написал неизвестный, легендарный автор, как «Песнь песней», или б просто продиктовали ей их, как Моисею скрижали. Ей и диктовали, как всякому гению, который, не на жесткой скамейке ожесточившимся задом сидя, сам сочиняет. Но Моисея мы не знаем, только представляем себе обильные седые космы, и нам хорошо – впечатляет, и Моисею приятно: может, его и не было вовсе, может, и промелькнуло божье призрение мимо него мимолетно, так, что он и не заметил: жил, записывал, народ водил – без перенапряжения, без надрыва, как пашут землю. Марина же Цветаева надрывалась всю жизнь. Надрывалась не по охоте, а значит – непоучительно. Какой урок можно извлечь из упавшего на голову метеорита или еще какого-то непредсказанного, неспровоцированного, не выбранного несчастья?.. У нее не было никакой радости в жизни. Детей любила, но жила она не для них, а для нас. Сейчас любая артистка публично признается честно и откровенно и глубоким голосом, что всю бы свою славу (заслуженную не столь многим, как у Марины Цветаевой) не променяла бы на свое материнство (как правило, для детей мечтается о карьере на том же поприще – но позначительнее, поэтому жертва кажется не такой уж и бескорыстной). Марина Цветаева Бога не гневила и за чужой счет щедрой и нестяжательной быть не хотела. Бог дал – Бог взял. А

талант оставил. Лучше бы он ей не давал ничего.

Она многих любила так же сильно, как Бориса Пастернака, а некоторых и больше, сполна, но такой же пушкинской, страстной, измеряемой чудными мгновениями, оскорбительной, безразличной, обильной любовью.

Мало в тех любовях было инфернальности, вызова, декаданса. Она любила старомодным образом – за красоту глаз, кудрей, голоса, за свою способность эти красоты воспеть. Записывала стишок в альбом (свой, не его/ее) и шла искать, кого целовать и воспевать дальше. Маятник качается вправо – и Пушкин завершает классическое воспевание любви к гордым красавицам. Достоевский любит уже Аполлинарию Суслову. Это разгар сезона любви к роковым и неправильным. Обязательно – на всю жизнь. Когда не только полюбливают черненьких, но черненьких-то для любви и ищут. Марина Цветаева соединила роковую любовь к собственному мужу и гусарские набеги на курятники зазевавшихся молодых и старых поэтов и поэтесс. Пишет в свои черновики им посвященные стихи и прозу. Работает очень много. Тот, Кто ей диктует, показывает нам очень наглядно, какое из искусств более великое и Божье: стихи иль проза. Любовная проза – черновики Цветаевой прекрасны, невиданны, четки, так же лаконичны, как стихи. Как стихи же отмеренны, каждое слово написано из-за верности его звучания и правильности количества слогов и места ударения, по стихотворческим законам. Но когда читаешь стихи (ее письма и того же времени стихи созвучны темой и настроением), с их режимными застенками метрики и рифмы – поражаешься, насколько точнее и правильнее, тоньше выбраны эти, казалось бы случайные, ради рифмы взятые, слова. Стихи, которые невозможно пересказать прозой, где невозможно изменить ни одного слова – или тома писать, чтобы объяснить окольными путями. Будто сказано ею было не думая, стихами или прозой. Слова имеют значения. Имена мужчин/женщин и истории, с ними связанные, не значат ничего. Замени Родзевича на «Геликона» – и ничего не случится. Ничем не выделяется и Пастернак. Они ничего не могли друг другу дать.

Талант не питается талантом, он питается землей. Генрих Нейгауз был природным медиумом на пути к Шопену. Но чтобы Пастернак мог заговорить с Шопеном на равных, чтобы он мог выдать что-то равновеликое Шопену, ему было недостаточно слушать аутентичную (Ней-гауз был словно растворившийся в музыке серебряный проводок) музыку – ему надо было жениться на Зинаиде Николаевне.

«Тарелки вымыть не могла без достоевщины», – говорил Пастернак о Цветаевой.

ГАСПАРОВ М. Записи и выписки. Стр. 123. Женя безумно ревнует к Цветаевой. Женя – та, которой Пастернак пишет огромные письма. Их можно почитать, сын публикует их и с гордостью объявляет, что это лучшие в мире из лирических писем. Письма хороши, в любовь не веришь. Мы можем ошибаться, но не верит и Женя. В чем бы можно было сомневаться, получив в конверте такое: «Я вижу тебя полураздетой в лодке, твое столько мне давшее и столько прекрасной золотой тяготы мне стоившее тело < > меня волнует особой женской прелестью, заставляющей преклоняться, припадать, превозносить… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 227.

Женя не верит и ревнует к другой женщине. Действительно, Цветаевой Пастернак пишет не хуже.

Письмами, словами, писаниной Женя решает пренебречь – все равно здесь невозможно ни в чем разобраться и не на чем его ловить. Это поле она отметает как несущественное, и теперь для нее главное – не дать состояться личной, реальной встрече.

Встреча намечена всемирного масштаба. «Возник план совместной с Цветаевой поездки к Рильке в Швейцарию – не больше и не меньше, но – который разрушал папино обещание поехать летом с нами втроем за границу».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 132.

Каким образом нарушал – догадаться трудно, не на целое же лето в Швейцарию собирались, но «…это очень огорчало мамочку и вызывало тяжелые и мучительные объяснения. Возникли разговоры о необходимости расставания. Но мама остановила „взрыв категоризма“ и попросила отца остаться». Когда на пути Евгении Владимировны оказывается другая женщина (Цветаева, Зинаида Николаевна), она не уходит и просит, требует, давит – чтобы он остался. Когда они наедине – она всячески показывает свою незаинтересованность, создает ему невыносимые условия, симулирует самостоятельность, востребованность, то, что ей кажется гордостью.

Положение Евгении Владимировны было безвыходным. Письма Пастернака к Цветаевой – это не строчки, которые можно вылавливать в письме и предъявлять как улику, это не слова, вышедшие за рамки дозволенного женой, это не изъявленные чувства, которые можно истолковать по-своему. Когда хотя бы одно из этих писем уже написано – и Пастернак не верит и не

ждет разрешения, он ошеломлен и счастлив, что такие письма есть кому писать, то куда его деть? От чего еще Евгении Владимировне защищаться? Это уже «въехало в ее жизнь», как через пять лет въедет Зинаида Николаевна, у которой будет такая прекрасная грудь, какой не было и нет у Марины Ивановны (это так, в нашей великой литературе есть и такие сюжеты).

В женской жизни Евгении были кошмарные – или, наоборот, анестезирующие своей однозначностью истории. Не было никакой возможности разоблачить, принизить, истолковать попроще глубину связи Цветаевой с Пастернаком: они ринулись в эпистолярную страсть бесстыдно, эгоистически, урывая каждый для себя как можно больше наслаждения, восторгаясь и верифицируя реальность, как любовник теряет голову от доступности любовницы и ее невыдуманности.

И так же не было никакой возможности объяснить влечение Пастернака к Зинаиде Николаевне ничем, кроме как его восхищением перед ее красотой. Евгений Борисович настойчиво пишет, что это Зинаида Нейгауз организовала роковую поездку дружественных семейств под Киев, сама искала дачи и селила соседей, но все было решено и до Ирпеня, и красоты украинских ночей были подарены Пастернаку просто так – за то, что он умел такое ценить. Сюжет этих двух увлечений мужа Евгении Владимировны был на удивление прямолинейным: Марина Ивановна была глубока и вдохновенна и не имела ни капли женственности, была сера лицом, плоскогруда, худа.

Худоба даже у посторонних женщин – это боль Пастернака, хула на Бога, победа дьявола; он вычитывает из писем Цветаевой, что она не упитанна (провидчески, духом читает), и осторожно, безнадежно описывает Женю: «Бывает хороша собой, и очень редко в последнее время, когда у ней обострилось малокровье».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 132.

А ведь «малокровье» – это эвфемизм, то слово, которое он боится бросить Цветаевой в лицо: не пышнотела. Если неполной он назовет Женю, все про себя поймет и Марина. Пастернак предчувствует, что роман его с Мариной никогда не состоится. Он и смог возникнуть, потому что они не виделись. Что до Зинаиды Николаевны – все с аккуратной точностью наоборот. Она «думает головой, а не каким-то другим местом» (ее письмо Борису), и, кладя его в гроб, хочет высказаться: «Прощай, настоящий коммунист». Только горячесть тела и невыдуманная прелесть лица были их связью – но связью непреодолимой, от которой невозможно отказаться, той крепости, о которой Лев Толстой писал: «как собственной души с телом». Пастернаку крупно

повезло в жизни, что такое тело, с которым он хотел бы связаться, нашлось для него. Он не искал бесплодно.

Две любви – духовная и телесная. Духовная лишена телесности, телесная – духа. Обе счастливые, обе огромные. Где здесь было место для Евгении Владимировны? Она оба раза просила (или принуждала) его остаться. Он в первый раз подчинился, точнее – выбрал. Во-первых, потому что денег на поездку всей семьей за границу не было. О том, чтобы ехать одному для того, чтобы ему, Пастернаку, Цветаевой и Рильке встретиться, в его семействе не могло быть и речи, поэтому в Европу поехала Евгения Владимировна Пастернак с сыном. Этот вариант и не обсуждался, и только раздражал ее тем, что при достаточных на двоих с сыном деньгах и благодаря теплому приему, организованному родней мужа, что-то все-таки делать приходилось самой, мужа для мелких поручений не было. Во-вторых, появилась надежда, что она там поправится (пополнеет). Он пишет умоляющие письма, нецеломудренные в настойчивости, описывая, как нужно увещевать Женю поесть яичницы и не позволять ей отодвигать стакан с молоком. Спохватившись, что Жоня (сестра, адресат) сочтет такие поручения неуместными, подсказывает: «организуй это через прислугу». Дает деньги на санаторий: то ли почувствовал, что Жоня Жене стаканы двигать не станет, то ли догадался, что силы жены уходят на изживание претензий к родне мужа, не желающей полностью (а только в значительной мере) освободить ее от ребенка. В санаторий ведь Женя решительно отправилась одна. В-третьих, оказалось, что и Евгении Владимировне можно писать. Он даже Зинаиде Николаевне потом писать будет. Стихи-то он кому писал? Себе.

Когда придет время Зинаиды Николаевны, Пастернак даже не даст себе труда колебаться. Душа связывается с телом не задумываясь. Женя будет бегать по парторганизациям, Женечок стоять с поленом у порога (это позднейшие интерпретации – в те времена он действовал вместе с мамой административными угрозами («мы просто его не пустим. Надо позвонить дяде Шуре, чтобы он привез его чемодан»).

Что Евгения Владимировна могла противопоставить самым добросовестным образом скрываемому (просто существующему – и все) эротизму Зинаиды Николаевны? При первой разлуке с женихом (тогда еще любовником, подходящим в женихи его признали дома, куда прибыла она, переполненная своими новыми впечатлениями) – оставляет свою детскую, шести лет, фотографию с куклой. Полнокровный Пастернак с восторгом всматривается, как она держит куклу за ножку; разогревшись на

южном солнце, она пишет Пастернаку о бессоннице – «наверно, скоро придет мое нездоровье». Пастернак должен поторопиться к ней или по крайней мере предпочесть прогулкам по летнему городу воспоминания в тиши квартиры о ней. Однозначные, очень-очень тонкие, готовые к отступлению, эротические подтексты говорят о том, что в реальности ей еще предстояло поработать над собой и сделать какие-то решительные усилия. Зинаиде Николаевне это все было неведомо.

Закончились главные любови Пастернака (не переживание и не доживание, как с Евгенией и с Ольгой) сообразно их внутренней логике. Марина лишила живущих (Пастернака – только в их числе) своего божественного духа, умертвив свое тело, Зинаида Николаевна сделала безжизненным собственное божественное (уже только для Пастернака) тело, умерев духом с началом смертельной болезни сына.

Что было делать Пастернаку? Не возвращаться же к никуда не уходившей, вплотную стоявшей у границ пас-тернаковского мира, придвигавшейся ближе или дальше, в зависимости от наполненности его собственной жизни, Евгении Владимировне? Нашлась Ольга Всеволодовна, которая всем была хороша.

«В „Охранной грамоте“ он [note 3] похвалил простоту и чувство реальности, свойственные Ахматовой, тогда как гению Марины Цветаевой посвятил несколько страниц» (ФАЙНШТЕЙН Э. Анна Ахматова. Стр. 314). «Когда я рассказала об этом его сыну, Евгению, в 2003 году (стоит предположить, что с текстом „Охранной грамоты“ он был знаком не по рассказам иностранок и значительно раньше 2003 года, но, впрочем, нас здесь интересует его комментарий), он сказал, что большая теплота Пастернака в отношении к Цветаевой могла объясняться тем, что у них когда-то был роман» (Там же. Стр. 406). А еще чем объяснить? Только романом! – с постелью там, без постели – но Борис Пастернак мужчина серьезный и просто за красивые глазки комплименты раздавать не будет. Ну а биограф Ахматовой считает, что Цветаева, не будем преуменьшать ее значения, – «одна из величайших русских поэтесс XX века, по таланту равная Ахматовой» (Там же. Стр. 238).

Родительский инстинкт в 1926 году

А тем временем Женя до осени 1926 года оставалась еще в Германии.

Семья была случайная, необязательная. Пастернак был готов «как господин и как господь велел / Нести свой крест „по-божьи, по-верблюжьи“», чтобы не осрамиться перед Мариной Цветаевой. Она сама не была ангелом. Она повесилась перед детьми, но не оболгала им жизнь своим словом. Анна Ахматова, пристроившая сразу после рождения единственного сына матери и сестре Гумилева (у нее был расцвет славы после выхода первой книги: «Ни один не дрогнул мускул просветленного и злого лица», «Мальчик сказал как это больно. И мальчика очень жаль» – и прочее: любовники, поэтические вечера), писала Цветаевой со светским поджатием губ: «Сын мой после развода остался у родных мужа».

Пастернак семьи не бросил. Но для ее же блага пытался иногда кому-нибудь навязать, описывая возможным благодетелям сложность, утонченность и благородство нахлебников. Довольно неблагодарное занятие и малоэффективный прием. Попыток было две.

Первая – в 1926 году, когда будто бы слабую грудью Женю (тогда «грудная болезнь» была приговором, от нее помилования никто не получал, но почему-то считалось неопасным имитировать, хоть это и называлось у проницательных интересничаньем. Когда попозже появился более современный бич – рак, томно закатывать глаза и ссылаться на него, вздыхая, уже не стали), которой никакое лечением Крымом не помогало, отправили «на воды», в безводный Мюнхен, вместе с Женечком. Пастернак решил – и, как всегда, решил за всех, – что ему будет гораздо легче, если в Советскую Россию, в его комнату на Волхонке, вернется одна Женя, для битвы один на один, а Женечок, тяжелое орудие матери, останется у родителей или у сестры с мужем… ну, скажем, потому что крайне зловредные обстоятельства (проживание в действительно все уплотняющейся коммунальной квартире) «не дадут < > здесь развить его до полной пользы для мальчика. < > Не только нам не справиться с трудностями этого критического года» (), как оказалось – ничего невозможного нет, «если Женички не предложат взять на год, но и его мы обречем на худшее, несоизмеримо худшее существованье здесь, нежели в истекшую зиму».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 196, 197. Евгений Борисович лоялен. Он и

примет, как закономерные, покаяния отца: «сколько горя я доставил вашей семье» – в 1958 году для него все еще актуален подсчет битий отцом себя в грудь, – но и сердцем он отца, какого-никакого, простит, ведь нельзя не признать жестокими жизненные трудности, выпавшие на его долю, – это ведь и на мамочкину: «…отца страшило наше окружение в московской квартире. С симпатией относясь к Фришманам (соседям, приехавшим из местечка), он опасался, что я усвою особенности их произношения».

Там же. Стр. 203.

Опасность для ребенка, имеющего интеллигентную мать, няньку – бывшую фрейлину и отца – Бориса Пастернака, налицо. Хотя «ему казалось, что Жонечка, привязавшаяся ко мне, с радостью („радость“ для Пастернака всегда наипервейшее условие) возьмет на себя и дальнейшие заботы, дедушка (старуха мать, больная, тоже принималась в расчет) и Федя категорически восстали против этого плана, оберегая Жонечку, которая после нашего летнего житья у нее нуждалась в отдыхе, несмотря на взятую специально для меня няню, прислугу и благополучную жизнь в Мюнхене».

«Мне страшно перебирать теперь все эти подробности, сознавая, каким я был несносным ребенком и каких мучений стоил своим родителям, теткам и бабушке. Дело в том, что требования к кормлению, гулянию, сну и тому подобным элементам детской жизни были очень высоки»

Там же. Стр. 203.

Хочется заступиться за несчастного ребенка, Жененоч-ка, взять его из холодных материнских рук и погладить: да полно, какой ты там ужасный ребенок? Хороший маленький ребенок, такой же хороший, как все.

Ребенок в тягость Пастернаку реально (еще реальнее – жене Жене), он пишет об этом большое деловое письмо папе, в душе, конечно, не верит в возможность радостных принятий на себя забот и хаоса своей жизни чужими людьми – потом даст выход своему разочарованию в рассерженном, язвительном письме Женечке, своей напарнице по тяглу, а пока, излагая «как трудно, как невозможно мне рассказать, откуда это притязанье черпает силы, настойчивости и видимого бессердечья, и кажущейся бессовестности…» (Там же. Стр. 198), оттягивая предчувствуемый миг отрез-вленья, уж пусть разом все излагает – и самые дальнейшие свои «деловые», и «реальные» планы на жизнь… за границей, в какой-то неведомой стране (Австрии? Швейцарии? Зурбагане?) «в горах, в скромной, дешевой обстановке. (Вот она, реальность-то!) <>… мечта о жизни втроем в каком-нибудь

величественном горном захолустьи так велика, так притягательно-предельна…» (Там же. Стр. 197).

В таких мечтах можно и ребенка на время подкинуть дровосекам.

Вторая попытка. Когда в 1931 году, для жизни с Зиной, Пастернак хотел на заграничных родственников оставить уже и саму Женю с сыном. Кричи: «Волки, волки!» – никто не поверит. Для всех было слишком памятно, как здоровый, обеспеченный и знаменитый Борис, при живой неработающей жене (учащейся – но сколько можно этих «педагогически исчерпывающих и определяющих» (Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка… Стр. 197) штудий для дамы на четвертом десятке, без видимого таланта и изнуряющих – не только ее, а весьма требовательно – и окружающих) – с напором и готовностью к оскорблению отдавал им всем своего сына. После того не принять Женю все были готовы заранее и несгибаемо. В первом случае, ошеломленные, от Бориса хотели откупиться: «Федя предлагает свою помощь (все, что угодно, но не чужие люди в его доме), чтобы снять нам с мамой комнату в Берлине и оплачивать няню для меня в случае, если мы захотим остаться».

Там же. Стр. 203.

Во втором случае деньги уже предлагал Пастернак, но размах его возможных притязаний был заранее заявлен, и никто не хотел делать ему – ничего. Пусть Женя вернется на свое место!

Что за напасть? От Женечка все время стараются избавиться.

Дела четы Пастернаков в 1926 году действительно переживали кризис – сначала Пастернак с легкостью поверил в фантастический рассказ Жени о «человеке», готовом забрать к себе и ее, и ребенка – в Париж, в богатство, в работу, мол, банкиры ведь всегда озабочены тем, чтобы жены их работали, особенно когда рядом такой неукротимо творческий человек, как Женя Лурье. Даже когда все стало ясно, Женя выговорилась, написала на бумаге свою фантазию, получила покорно поверивший ответ «не думай, что я ревную…», простила душой своей Пастернака за все и стала готовиться к возвращению домой, – он все-таки не смог удержаться, чтобы не проверить, а нет ли здесь хоть какой-нибудь зацепки, чуть менее богатого человека, чуть менее блестящего – не было, но Женя бы и не удовлетворилась, как прожила она потом всю жизнь, не подлавливая себе попроще судьбу. Она действительно осталась женой Пастернака, потому что других занятий у нее не было. Пастернак же помечтал: не хочешь ли другой судьбы? Нет так

нет, оставить Женю с Женечком за границей не выходило, Женю никто не брал. Оставался Женечок. Его, по представлениям отца, с радостью должны были взять на себя родственники – родные и свойственники. Самому целую семью тащить казалось не по силам.

Если оставлять в лучшей доле четырехлетнего сына – зачем его было вообще рожать? Тогда уж заворачивать в розовый конверт и подкладывать на крыльцо Букингемского дворца. Ради каких каш и колбас двое взрослых, молодых, здоровых людей собираются навязать своего единственного ребенка на житье другим – невосторженным, холодно отвергающим это беспардонное вмешательство? Составитель пишет, что папочка был убийственно ироничен, когда утрировал свою «благодарность» шурину за то, что тот оказал – будто этого на самом деле слишком мало – «гостеприимство и нарушил порядок, заведенный в своем доме по своему вкусу». Ирония в том, что тот вроде не перестарался в гостеприимстве и не нарушил порядок (в своем доме, установленный действительно по своему вкусу). Все так, и ирония жалка, как всякая неуместность. Составитель не пробегает ее стыдливо – из песни слова не выкинешь – он обижен вместе с папой, ему, очевидно, хотелось бы начать свою биографию с «воспитывался в Германии в семье банкира Ф. Пастернака и семье своего деда, знаменитого русского художника Л. Пастернака…» Ради немецкого языка? Он нужен, чтобы жить в стране, говорящей по-немецки. Учить иностранные языки – разумеется, это совершенно необходимая часть образования, в семье Пастернаков к этому подходили тоже нормально, серьезно, без надрыва. Это не имеет ничего общего с тем, чтобы отдать четырехлетнего ребенка в чужие семьи – речь шла даже не о семье (родителей, сестры), а о семьях: кто возьмет? Возьмет – потом, быть может, передаст еще кому-то. Они такой судьбы хотели своему малышу? Обижались. Расставание предполагалось, – чтобы уж говорить прямо – навсегда. «Поселимся в домике в горах…» Им домика могло не достаться – но если предположить, что сына хотели отправить, чтобы хотя бы он мог выбирать: горы или долины – как выкидывают из горящего дома, то все-таки и в эту версию нельзя поверить. Пастернаки не считали, что дом их горит. Жить в Советском Союзе было непросто, но они еще не ощущали, что дом их горит, гниет или тонет, – сами они его покидать не собирались. Когда нет смертельной нужды, сына не спасают через отказ от него. Сын сильно мешал Пастернаку. Участие отца означало его согласие на обеспечение высоких стандартов в их домоводстве, будь то кормление, уборка в доме, присмотр за нянями – и даже беспокойство о веснушках. Ухода и

нежной, но не допускающей необязательности заботливости требовала и Женя-большая – тоже сверх обычных в тогдашних семьях масштабах (это сейчас столь требовательные женщины, как правило, обеспечивают свою эмансипацию одиночеством – все-таки оказалось почти невозможным находить мужчин, пригодных к такой роли).

Не то чтобы такие, как Пастернак, были чрезмерно распространенным типом, но у него были свои счеты. Он решил своей жизнью заплатить за свою мать, своей жертвой – за ее жертвенность.

Свобода дана человеку на все времена одинаково, и в молодости Розалия Исидоровна сделала свой свободный выбор так же свободно, как мы выбираем более розовые или более лиловые тона для платья – совершенно вольно, не жертвуя ничем для осуществления желания выбрать лиловый и не требуя наград и признания за выбор розового. Сколь ни могуч был пианистический талант мадемуазель Кауфман – она рожала детей.

Жертва – какое-то неосторожное, запечатывающее слово. Никому не нужные и ни на что не пригодные сорванные печати плавают по поверхности жизни, а ими хотели удержать давление в атмосферы – вернее, эту их роль просто, для красного словца, так называют. Кому, чем и почему пожертвовала Роза Кауфман? Ну не вышла бы замуж, разъезжала бы с концертами по России, не имея дома, преподавала бы в Одесской консерватории – бесполая (надеюсь, не имела бы в любовниках студентов, а смирные профессора и сами не стали бы связываться с талантливой, преданной делу, несексапильной и эксцентричной преподавательницей). Сделала ли бы мировую карьеру и мировое имя? Жертву принесла, Борис Леонидович, Мария Юдина, одинокая, больная, преданная музыке и религии (требовалось вербальное, философское тепло, предания и обычаи, огонь музыки слишком высок и стерилен даже для девственницы), а не Роза Кауфман. Отказаться от семьи – гораздо большая жертва. Не отказаться ни от чего, ничем не пожертвовать, поставить все в подчинение себе, а когда подарок отняли – весьма рационально не стать в непродуктивную позу жертвы, настоять, чтобы выплачивали компенсацию, могла только Евгения Лурье. Только это – среди наших героев. В жизни эти типы в каком-то определенном соотношении к популяции встречаются регулярно; они бесплодны и самодостаточны, уходящие бесследно. Если ты не погибнешь – не возродишься. «Забери Женю сейчас, а не когда-то там». Женя не погибла. Но жить хотела – вечно.

Погружаясь в семью, даже желая отвязаться от этой семьи, но действуя нерадикально, Пастернак не оставил Женю, стоившую ему неимоверных сил (взять одни письма, которые сын восторженно называет «не имеющими равных в эпистолярном жанре», – нелюбимой тяготящей жене), с Женечком просто так на произвол судьбы в 1926 году. Он заботливо, старательно, весьма выгодно пристраивал их ЗА ГРАНИЦУ (это многое значит для новосоветских людей; погружаясь в семью, человек теряет свое индивидуалистское достоинство)! Борис Пастернак не бросал семью, а откупался – тем единственно доступным ему капиталом, который вроде не должен был пачкать ему руки. Не случилось.

Женю с Женечком – вернее, в 26-м году речь (речь, не мысли) шла только о сыне – сбыть на руки родственникам не удалось. Они не захотели даже за деньги, и Пастернак пускается на последнее средство, которое ослабевший дух предоставляет ему как утешение: он пишет сестриному мужу Феде, отказавшемуся «радостно принять» на себя заботы о сыне Бориса и Евгении (принять – значит взять жить к себе в дом), письмо – язвительное и с подтекстом. Вот на такие поступки люди идут ради семей, даже ради распада семей. Бенефицианту, естественно, все это не кажется чрезмерным. «Папино письмо к Феде сохранилось у Жони в Оксфорде. Оно < >содержит благодарность за „ласку и тепло“, которые он расточал маме и мне. Скрытый смысл письма усматривается лишь в чрезмерно подчеркнутой признательности за то, что наше пребывание нарушило „привычную тишину раз навсегда по своему и Жониному вкусу заведенного тона“. Но в особенности, писал ему папа, повышает мою признательность, и как раз к тебе, то повышенное чувство, которое к тебе питает мальчик, выделив тебя из общих семейных симпатий».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 214.

Тут же публикуются и ошеломительные в своей простоте письма Пастернака к непристроенной Жене, приезд которой был уже неотвратим, и Пастернак был готов принять его, как любую другую трудность жизни: «Я не мог испытать острой и живейшей радости, что увижусь с мальчиком. Дай Бог, чтобы этого простого и понятного чувства было достаточно, чтобы упорядочить тот хаос, от которого ФЕДЯ („Федя“ – выделено Пастернаком, ах, какой плохой Федя!) не хочет или не может помочь мне избавиться. Эта сторона дела меня огорчила и не могла не огорчить. Два года подряд тетя Ася, Паветти, Бари и др. знакомые только и знают, что дивятся, как это мы не обратимся к Мюнхенской помощи (на момент писания письма Женен-ку 3 года – значит, с годовалого его возраста здравомыслящие

родственники удивляются, как это родители не отдали свое дитя В МЮНХЕН! К людям, которые удивились бы, узнав, что называются теперь не по именам и не по отношениям, которые сами выбрали для себя: я – Федя, глава семьи, муж Жони, я – Жоня, берлинская дама, жена герра Пастернака, Феди – Теодора, очевидно, – нет, они именуются „мюнхенской помощью“). Настолько это кажется естественным, очевидным и не выходящим за пределы мыс-лимости. Кроме того, я знаю множество семейств, где родные за границей, не всегда поставленные в такие условия, как Федя (для чего еще Феде могут быть нужны его, им заработанные деньги, им достигнутые „условья“), думают, по-видимому, иначе и берут на себя этот, конечно, высокий и великодушный труд (а вот Федя не хочет брать!), внимательнее разбираясь в аномалиях, трудностях и опасностях эпохи. На днях я написал Феде серьезное и очень большое письмо, ни словом не заикнувшись о Женечке, в котором благодарил его за ласку и гостеприимство… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 210.

Решившись откупаться, Пастернак заявляет и о своем капитале, с какого он требует такие кредиты: «Тогда бы он не бедного родственника во мне увидал, с нелепыми и неосуществимыми притязаньями, а его самого бы потянуло помочь мне в этом из склонности к прелестям культуры, из желанья приложить и свою руку < > наконец. Просто бы из того факта, < > что сам он многим хорошим обязан России». Когда через пять лет Пастернак будет так же неоткрыто, в надежде на высшие восторги желать, чтобы его родные – и почти не родные ему свойственники – взяли бы к себе жить уже не только «питающего повышенное чувство» к ним Женечка, но и Женю, поскольку с ней-то в России, которой стольким был обязан Федор (тоже Пастернак), да хоть и где, новой семьи с Зинаидой Николаевной не построишь, он уже такие тонкие и высокие аргументы приводить не будет. Тогда в вину родственникам будет ставиться только то, что не дали Жене с Женечком остаться у них, раз те вырвались из мрака сталинского СССР. Пастернак был слишком чист и это не педалировал (спохватился, когда Жени вернулись в захлопнувшуюся ловушку), пока они были у родных – писал им восторженные письма о том, что никогда их не любил так, как сейчас (особенно Женю-боль-шую, на этом настаивал). Кое-что уже понявшие родные (особенно Федор и отец – они не хотели остаться в дураках и играть в навязанную игру) не совсем справедливо видели одно лишь желание: сдать семью. Ну а самому с Зиной занять освободившуюся комнату –

что делать, реалии были таковы, как это ни грустно. (Дико звучат стихотворные – рифмованные – строчки «Зимой мы расширим жилплощадь /Я комнату брата займу», но писал это лично Пастернак, никто не тыкал в него револьвером, не пинал сапогом. За эту же дикость быта и приходится прощать.)

В общем, хотя бы в 26-м году Пастернак может апеллировать к высоким мотивам своих неосуществившихся по причине жестокосердия родственников притязаний. «А потом они (не протянувшие руку помощи гениям богатеи) продолжают читать книги и биографии авторов этих книг, и смотрят трагические фильмы в кино, и все это чувствуют, и в путешествиях заводят знакомства, поразительные по тонкости взаимного пониманья. Но бросим об этом говорить».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 211.

Когда на себя смотришь как на третье лицо, наделяешь себя какими-то собирательными признаками, тогда сам к себе, хотя бы пока говоришь, не имеешь интереса. Ради семьи, ради блага Женечка готов пожертвовать своей личностью и перейти в третье лицо даже Борис Пастернак.

Крейцерова соната

Журавли, летя клином, кричат громко – слышно на земле – и, известно всем, печально. Кто знает, кричат ли они от печали, или от боли непрерывно работающих мышц, или прочищая горло, или от страха, как кричит роженица, знающая, что остановить процесс, в который она включена, никто не в силах. Она сама – меньше всех. Жалуйся, сожалей, откажись, напряги все силы на то, чтобы единый конец скорее наступил – свершается воля не твоя.

Страх и обреченность журавлей, снявшихся с места и знающих, что тяжкий их труд закончится не скоро – и только там, куда они направились и летят, – заставляет сжаться сердце того, кто во время прогулки по лесной опушке встревожен неясными звуками из вышины – с неба? – поднял голову и долго еще, весь день, предавался грусти. Пастернак, впрочем, наверное, воодушевился бы таким зрелищем необыкновенно – ему все в те времена было в радость: радовался, как богата и разнообразна жизнь, в которой он будет вершить свою судьбу и строить ее счастливо.

В 1930 году он, после восьми лет супружества, с Евгенией Владимировной и сыном Женей отдыхал на даче в Ир-пене под Киевом с компанией московских друзей и родных, снимавших соседние дачи. Одними из этих соседей были Генрих Густавович (знаменитый уже в ту пору пианист Генрих Нейгауз), его жена Зинаида Николаевна, тогда тридцатидвухлетняя, и их двое сыновей. Все семьи были знакомы и дружны еще по Москве, супруга Нейгауза в Москве Пастернаку довольно-таки нравилась, а на Украине, должно быть, под влиянием летней жары, темных, без керосина, ночей, фортепьянной музыки в яблоневых садах и того, что Зинаида Николаевна хорошо и быстро вела дом, любила всякую домовую физическую работу, и она у нее получалась, – симпатия эта стала перерастать в восхищение. На восхищении можно бы было и остановиться, но она еще была и безоговорочно красива, в ярком, редком стиле. Мела, чистила, бегала, собирала хворост. А вот с супругой Бориса Леонидовича, как он сам пишет, было по-другому: «В отношении последней у меня за годы жизни с ней развилась неестественная, безрадостная заботливость, часто расходящаяся со всеми моими убежденьями и внутренне меня возмущающая, потому что я никогда не видал человека, воспитанного в таком глупом, по-детски, бездеятельном, ослепляющем эгоизме, как она».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Пожизненная привязанность.

Переписка с О.М. Фрейденберг. Стр. 179.

Иными словами, она устроилась так, что все по дому – уборку, присмотр за ребенком – делал сам Борис Леонидович. Евгения Владимировна с самого начала сожительства поставила дело таким образом: «Я принимала все абсолютно». «Особенно ей нравилось, как Пастернак сам ставил самовар».

БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 187.

Так о причинах возникновения романа пишут недоброжелатели второй жены. И на самом деле, может, оно так и было – Бог с ними, с причинами.

Пастернак влюбился, объяснился в поезде на возвратном пути, услышал в ответ (ей одного его внутреннего жизненного сюжета было недостаточно, ей еще более значительной казалась собственная история: она считала, что влюбленность Пастернака – это завершение ЕЕ истории), что такой любви она недостойна, поскольку в ранней юности (совсем немного слишком ранней) у нее был неплатонический роман со старшим двоюродным братом. На эту тему Пастернаку хватило переживаний на много лет, с Зинаидой Николаевной он захотел соединиться навеки, обещал оставляемой жене всяческое содержание, Генриху Густавовичу – неумаляемую дружбу (надо ли говорить, что до конца жизни все исполнял).

На этом основная любовная история заканчивается – были только некоторые квартирные перипетии, в 1937 году родился общий ребенок, в 1948-м Пастернак познакомился с Ольгой Ивинской, но второй семьи не бросил (может, потому, что обещался в свое время Зинаиде Николаевне; а Евгении Владимировне – возможно, словами такого обещания не было высказано: когда по молодости женятся, подразумевается само собой, что это – навеки, специально не оговаривают. Тем и руководствовался для простоты).

«Неужели все это, все чуждое мне сокровище женской прелести, будет вечно мое, такое же привычное, как я сам для себя?» (Лев Толстой. Война и мир). Несомненно, он предполагал, что и Генрих Нейгауз будет вечно принадлежать ему со всей прелестью его игры.

Когда человек влюблен, он уверен – это переменился и жаждет какого-то успокоения, какой-то ласки весь мир. Ведь он же, Борис, в порядке – вот руки, вот ноги, он их переставляет, он что-то куда-то несет и доносит, он садится за стол – значит, что-то случилось с миром и это с ним надо что-то делать. Что в его, слабых Бориса, силах? Голос его срывается, он едва может

поворачивать голову – ведь все же видят, что он следит глазами за Нейгаузихой, руки его немеют – ведь понятно же, ЧТО он хочет держать этими руками! Но слава Богу, силы есть у Гарри, он поднимает свои руки…

Удар, другой, пассаж, – и сразу В шаров молочный ореол Шопена траурная фраза Вплывает, как больной орел. Гарри умеет что-то делать конкретное. Он умеет справляться с Нейгаузихой. Он не боится этого мира, не боится Нейгаузихи, он знает, что сказать всем этим людям, собравшимся посмотреть на них, узнать, что случилось, у него можно просить помощи.

«Пришел», – летит от пары к паре, «Пришел», – стволу лепечет ствол. Потоп зарниц, гроза в разгаре, Недвижный Днепр, ночной Подол.

Всё. Все получат сейчас всё от Гарри, а его, Бориса, оставят в покое. Говорят, что он не был даже на этом концерте, но для него было главное, что на него ПРИШЕЛ Гарри. Где бы в эту ночь ни был Борис – Гарри был на Подоле, и между ними была вольтова дуга. Это Гарри и он были проводами под током.

Концерт и парк на крутояре.

Недвижный Днепр, ночной Подол. У Бориса тоже была эта ночь, он видел те же зарницы, ему так же пахли цветы. Жаркий ветер в ночи принадлежал точно так же и ему. Никто не смел не давать ему еще и Зину…

Если не хороша Зинаида Николаевна Пастернак, вторая жена Бориса Пастернака, внутренне или внешне (была бесспорной красавицей в молодости и таким же бесспорным бегемотом, вставшим на задние лапы, – биографы не стесняются приводить цитаты и имена цитируемых авторов, впрочем, дело прошлое, – в последние годы), то тем больше в абсолютном исчислении любовь к ней Пастернака. А то, что она все-таки ведь и не совершенное зло – в стандарты неизящной эпохи вполне со своей внешностью укладывалась и даже выглядела импозантно, была домовита, работяща, чадолюбива, имела твердый и несклочный характер, была предана мужьям, и для любого, кто о судьбе ее слышит в первый раз – фантастическое дополнение, – она была незаурядной пианисткой: с ней в четыре руки играли Горо-виц, Рихтер и Генрих Нейгауз (о нем ниже) – то есть наличие у нее достоверных достоинств тоже не умаляет любви Пастернака, он ее достоинства не взвешивал в коробочке, он полюбил ее посредством удара молнии. Не без того – полюбил за красоту и живой нрав, как бывает просто в песне. Вся эта книга написана только потому, что Борис Пастернак полюбил ее, смог полюбить, о любви и книга.

«А потом я увлекся Зинаидой Николаевной. Просто она тогда была очень красива, и это была тяга, которая должна была сокрушить препятствия».

МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 252.

Известные своей яркостью и красотой истории любви интересны, как правило, красотой того времени, когда любовь уже началась и длилась. О тех любовях, о которых мы знаем, нам известно благодаря описаниям их сладостного течения: о недолгих и недостоверных любовях Пушкина, описанных в таких стихотворениях, что когда нам надо описать какое-то неподвластное негениальному языку чувство, мы можем не ломать себе голову в поисках слов; о длящейся всю жизнь несомненной любви Блока к Прекрасной даме – замирает дух от явственного ощущения незримого и реального электрического поля между хмурой, закисающей Любовью Дмитриевной и вечной его женой; о восхитительной любви Маяковского (самое восхитительное, что кто-то пролюбил эту любовь за нас, мы можем знать ее, как уже открытую Америку, репетировать, как провинциальный трагик привычный ему репертуар, сопереживать и страдать сильно и безопасно, в общем – потреблять), неизменной в пронзительности, вне зависимости от бурной и мелкой суеты, созданной для него – пусть Бриками, пусть хоть кем угодно, нам все равно – повседневности.

Любовь Пастернака к Зинаиде Николаевне ничего нового или поучительного нам не сообщает. Течение ее было обыденно. Она даже более скоро, чем обычно бывает, закончилась.

Такой бы любви только начинаться и начинаться, но – никогда не начаться. Для НАЧАЛА ЛЮБВИ трудно придумать объект более достойный и бесспорный, чем Зинаида Николаевна Нейгауз. В ней все было прекрасно.

Ее лицо было прекрасно. Ей не надо было и смотреться в зеркало. Пожалуй, оно было бы и вредно: увидя такое, что представляло собой отражение Зинаиды Николаевны, надо было находить объяснения такой красоте – и о многом задумываться. Ее красота в наших широтах – да и не в наших, в родной ее Италии такая легкость маслиновых глаз и светлая радость улыбки, белизна зубов, легкость волос, геометрическая гармоничность – практически не встречается. В каменоломнях творенья, что на Апеннинском полуострове, почти все – рабочие наброски, совершенства отдельных черт, неприлаженных друг к другу, слишком много прекрасных, античного образца деталей на коротких ногах, при больших носах, при каменных подбородках,

при матовой черноте кожи, при выкаченных глазах. Большой эстет Карл Брюллов во всех италийских странствиях не нашел женского облика прекраснее, чем у внебрачной дочки русского вельможи, дани куртуазной обязаловки странствующего по Италии иноземного богача, – графини Юлии Строгановой. Никого бы не нашлось и красивее Зины Еремеевой (Джотти).

Хороша была и фигура. Русская женщина не может быть худа. Красавица, входящая в зал, вровень с Владимиром Маяковским, Татьяна Яковлева, смогла вытянуться и высушиться к старости только благодаря повелителю поколений топ-моделей, «дьяволу, не одетому в Prada», своему мужу Алексу Либерману.

Что за судьба (физическая судьба – в сантиметрах и килограммах – ее тела) была бы у нее, вернись она с Маяковским в нашу страну, в обеспеченную им возможность демонстрировать отсутствие голода, или если жить не для зависти другим, а себе для выживания – поддаться инстинкту и при малейшей возможности подращивать подкожную жировую прокладку!

Посмотрите на фотографии наших первых манекенщиц – с темными лицами, короткими шеями, со свернутыми в бесполый пупок губками, узловатыми голенями и утрамбованными талиями – и топ-моделей с Запада, с самых давних времен… Фотографию Коко Шанель с балеринами Дягилевского балета. У нее – самые тонкие и длинные ноги и гибкий торс. У нее – самые длинные руки. У нее – трепетное трагическое лицо. Над ней одной нет директора, и, разорвав или потеряв контракт, она не останется на улице. Оставшись – будет знать, что делать. Русские балерины – это было то, что нужно русскому балету, потому что в этом искусстве идею хореографа не выразишь на пальцах, без группы голодных (но урывками про запас утолщающими свои бедра и плечи) девушек, во втором поколении потомков вековых крепостных.

Но Борис Пастернак по кафешантанам себе любовниц, а тем более жен, не искал. От еврейства, от прелести невесомой Лили Брик и дерзкой – вот он, черный квадрат хореографии – авангардной Иды Рубинштейн отрекался. Зинаида Николаевна была более чем в самый раз. Потом, с годами (небольшими), она тоже утрамбовалась, это был не на сладком винце взболтанный жирок Ольги Всеволодовны, это был стратегический запас, невостребованный, но строго учтенный. Однако к тому времени Зинаида Николаевна выбыла и из списков мужчин и женщин, и практически из списков живых. В тридцатом же году по московским квартирам, по концертным залам, по лугам на киевских дачах она была прекрасна, как сама жизнь, если поверить – а глядя на нее, поверил бы самый закоренелый

мизантроп, – что жизнь прекрасна. Жизнь была ужасна, прекрасной была Зинаида Николаевна, так ведь все, что задумал, Бог так и воплотил: черным и белым. Пастернак полюбил белое.

У Зинаиды Николаевны была прекрасная душа: ей некому было завидовать, нечего желать, не с кем соперничать.

У нее была хорошая одежда. Она никогда не увлекалась этим, но ей, красавице, легко было и обойтись. У Пастернака не было шансов.

«Эта женитьба, сказал мне как-то Боря с улыбкой, просто была формой моего увлеченья Гарриком Нейгаузом, а потому и его женой».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Пожизненная привязанность.

Переписка с О.М. Фрейденберг. Стр. 201.

Когда жена гения (любого, в данном случае – гения для Пастернака, Генриха Нейгауза) бегает быстро, без труда преодолевает все советские расстояния, не болеет грудью, не говорит, что болеет или слаба грудью, когда часто улыбается и слушает, блестя глазами, когда гений все посвящает ей, когда она сама готовит и стирает, гордится тем, что у нее все получается, и радуется этому, когда она чистит кастрюлю для того, чтобы она была чистой и блестела, а потом, когда она ставит ее на стол (кастрюли уже ставили даже в таких домах), никому не стыдно за грязную посудину, и ей не приходит в голову, что поскольку это она почистила ее, то в следующий раз это должен сделать кто-то другой…

Пастернак очень любил, когда предметы проявляли при нем свои лучшие свойства – гром гремел очень громко, кастрюли блестели ярко. Зинаида Николаевна была ему по вкусу. Любовь норовит угнездиться в самом слабом, незащищенном месте. Потому что туда либо никого не пускали, либо, как в случае Пастернака, – там никого не было. Евгения Владимировна сидела совсем в другом месте, там, где ее не ждали, где никого Пастернаку нужно не было, где никакой самоутверждающейся, амбициозной, стремящейся что-то завоевать женщины ему не недоставало. Но Женя уже была, Пастернак как мог по-мужски устраивал свой быт (и Женин, и Женечка). А оказывается, какой малости не хватало – женщины, которая чистит кастрюли. И при этом – улыбается. И играет на фортепьяно – по-настоящему! Неудивительно, что Женю выперло, выбило из его жизни, как пробку из бутылки шампанского в свадебный день.

Был ли при всем при том Генрих Нейгауз гением? До той степени приближения, которая достаточна, чтобы влюбиться в его

жену. Пастернак любил его всю жизнь, восхищался, дружил, был даже практически влюблен, под конец жизни насмешничал и был, конечно, не презрителен, но подчеркнуто снисходителен – это в те годы, когда и собственный гений Бориса выгорел дотла. Жизнь проживаешь, расходуя что-то. Они оба стали подрастратившимися старичками. А что было в тридцатые годы? Борис выхватывал из воздуха сгущавшиеся в нем слова, Нейгауз переселялся, становился Шопеном. У Шопена ведь других шансов заставить в себя поверить не было. Вот они и кружились – Шопен с Пастернаком. Кому по чину была Зина? К кому сердце легло.

Мы сейчас – о «Крейцеровой сонате».

«А как замечательны последние сонаты Бетховена, особенно „fur Hammer Klavier“, который мы тут слышали!». Написано 11 сентября 1930 года в Ирпене.

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 501. Может, сами сонаты были не так уж и хороши?

Пели птицы и бегали по лесным дорожкам под ногами.

«Имежду ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств» (ТОЛСТОЙ Л. Крейцерова соната).

Кроме красот природы, которые доставались только им одним, и удодов, летящих только для их компании, природные явления – причем очень чувствительные, осязаемые – фокусировались на них при стечении публики, и становилось очевидно, что ОНИ, герои ИХ романов, ИХ мужья и личные соперники становились центром жизни огромного количества людей. Гвоздь в их сапоге ощущался всем миром явлением Фауста, а улыбка Зинаиды Николаевны вызывала овации тысячи ладоней. «Во время I'istesso tempo в й'тоИ'ном эпизоде этого произведения вспыхнула слепящая молния, прокатился гром, рванул ветер и полился дождь. Но дорвавшаяся до слушания Нейгауза киевская публика, подняв воротники и спешно раскрыв зонтики („Ах, простите, я вас задела!“ – „Нет, нет, ничего, не беспокойтесь!“), внимательно дослушала весь концерт. Но только он отзвучал и смолкли аплодисменты (на которые тоже ушло какое-то время и низверглось достаточно дождя), как все пустились в бегство. И мы тоже».

ВИЛЬМОНТН.Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. Стр. 176.

Примечательно, что это было не в Москве, а в Киеве, впрочем, Нейгауз, как мотылек, опылял их страстями Россию даже и за Уралом. И главное – музыка, главное – Шопен. «Его творчество насквозь оригинально не из несходства с соперниками, а из

сходства с натурою, с которой он писал. Оно всегда биографично не из эгоцентризма, а потому, что, подобно остальным великим реалистам, Шопен смотрел на свою жизнь как на орудие познания всякой жизни на свете и вел именно этот расточительно-личный и нерасчетливо-одинокий род существования» (ПАСТЕРНАК Б. Шопен).

Пастернак мог чувствовать себя центром мира со своей немаленькой любовью.

Почему на обложке модного журнала никогда нет модели с ласковой, хитрой или задорной полу– или полной улыбкой? Взгляд в лучшем случае хищный, агрессивный – воплощенное зло, в худшем – мы видим уже жертву этого чьего-то зла: загнанную, истерзанную, замученную, в забытьи предлагающую нам под побоями утрированную, как в патентованном средстве для импотентов, сексуальность. И некого наказывать, да и жертва уже прошла этап желания отмщения. Она уже в золотых тенях, со сложной прической, с клочком шелка в двадцать тысяч долларов на плечах, – она уже решила не жаловаться. Жюстина – самый модный тип, ему, кажется, предлагается следовать. Пастернака этот тип привлекал, Зинаида Николаевна явилась ему не на фотографии, но он знал откуда, или, наоборот, – он, как сказочный герой, мог ворваться под обложку и участвовать в сюжете.

Конечно, он переносил силу и прелесть игры Нейгауза на непреодолимую прелесть Зинаиды Николаевны. Мы так любуемся котенком – так бы и съели его, мы приходим в возбуждение от мощной талантливой игры – и вот она подворачивается, Зинаида Николаевна. То есть, может, он и влюбился в Нейгауза больше, чем в его жену, но Нейгауз был для него тупиковым вариантом – рубильником, который перекрыл выход пару. Зинаида Николаевна природой была устроена иначе.

Восприятие музыки Толстым было гораздо грубее, чем у Пастернака. Тем, что Толстой вообще воспринимал ее, возможно, он обязан какой-то чисто физиологической особенности устройства слухового аппарата: ухо было способно воспринимать какие-то тона, мозг – синтезировать, а уловленная гармония сообщала приятные ощущения, как тепло или вкусная еда. Обычно Толстой в своих проявлениях грубее. Я написала машинально: «вкусная еда», а Толстой был и к ней равнодушен.

Над гурманами он подсмеивается, в «Анне Карениной» с гордостью за героя пишет, что хлеб с сыром ему вкуснее, чем

французский обед. Спит на кожаной подушке – сиденье от дивана, молодая жена Софья Андреевна не знает, как уговорить его воспользоваться ее московскими перинами из приданого, вычищает овраг – отхожего места целый овраг, – сыплет песок на грунтовые увязающие дорожки. Сажает цветы! Из уюта Толстой любит только запах свеже-заваренного чая, солнце на веранде, а грязного белья ему просто не доводилось видеть вблизи. Стихов, понятно, не любил.

Было бы логичным ожидать от него полной глухоты к музыке.

Изощрен и восприимчив он был только к прелести человеческого духа.

Музыка (скрипичная, конечно, в максимальной степени) – он знал, о чем писал в «Крейцеровой сонате», – действовала на него физиологически. С физиологией у него все было в порядке, и он точно знал, куда эта музыка его влечет. После этого он уже не начинал открывать новые и новые утонченности и прелести в натуре дамы, попавшейся ему на глаза под звуки музыки, а выжигал в себе дьявола. Жечь был готов бескомпромиссно: «А почему бы и не перевестись роду человеческому».

Сам Лев Толстой продолжал жить с женой и горевал по смерти семилетнего сына Ванечки. Но – не обманывал сам себя. Он хотел бы, чтобы на НЕМ прекратился род человеческий, а заодно и дьяволы в женском обличье. Не было только сил…

Но Лев Толстой – это потому и есть вершина человечества, что другие находятся ниже его. Пастернак, конечно, – гораздо ниже. Заслышав звуки виртуозной игры на фортепиано Генриха Нейгауза, он описал томами писем (письма заменяли ему дневники) эту игру, а также все, что попадалось под руку вокруг, в том числе кастрюли и сковородки Зинаиды Николаевны.

«Это судьба распорядилась так, – говорил он, – в первый же год соединения с Зинаидой Николаевной я обнаружил свою ошибку – я любил на самом деле не ее, а Гаррика, (так он называл ее первого мужа – Генриха Густавовича Нейга-уза), чья игра очаровала меня»

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 29.

А сам-то Генрих Густавович – не Моцарт, не Бах, даже не Скрябин (перед другими исполнителями ниже его ставить не берусь – звук его игры давно растворился в воздухе. Сравнивать исполнителей прошлых лет мы можем только как в суде, когда ночь занесенных ножей осталась уже в прошлом и главную роль начал играть соревновательный характер искусства адвокатов

сторон. Но вот истина ли рождается из силы их красноречий?).

Сам Пастернак считал, что Нейгауз был рожден, чтобы стать мировой звездой (как Владимир Горовиц – его друг и партнер по музицированию для Зины), а раз не случилось (уже в тридцатые годы было ясно, что не случилось и не случится), то нечего и биться. Нейгауз попивал… В общем, не видно особой разницы в том, в кого влюбился Пастернак – в Зину или в Гаррика. Чего-то стоящего, настоящего ему точно тем летом хотелось…

А «аисты, журавли, иволги, удоды» – этого разве мало? Читатель, вы ручаетесь за свое душевное спокойствие, если жарким летним утром вы увидите рядом с домом журавля? Представьте себе его детально, в натуральную величину: полтора метра ростом, с красной головой, длинным кудрявым хвостом – настоящего, пританцовывающего, издающего свои необычные, потрясающие неслыханностью (в прямом смысле), природные звуки. Разве вы не будете целый день еще ждать чего-то более удивительного? Разве вы не захотите для себя чего-то дивного, не встреченного ранее, но такого, что покажется вам необычайно природным, естественным, роднящим вас со всей вселенной?

А аист – в наших широтах элегантнее нет ничего летающего – на тонких красных ножках и с тонким красным клювом? Тоже больше метра ростом, человеческих масштабов, на прекрасных тонких ножках дрожит, живет настоящей жизнью. Небольшое белое тельце… Когда вы видели это в последний раз? Не думаю, что вам легче было бы справиться с переполохом в душе. Если бы вы увидели вблизи иволгу – у нас такого размера разве что голубь или ворона, но это не голубь и не ворона, вы сразу это поймете. Иволга – желтая. Вы подумаете, что она из райских садов. Вам тоже захочется в рай, и вы целый день будете искать глазами, с кем отправиться в рай… Удод – если кто давно не видел – этот вообще с хохолком и загнутым книзу длинным клювом. А тут еще Нейгауз с бетховенскими сонатами «fur Hammer Klavier», который, может быть, не так уж и хорош, но в это лето – лучше не бывает. И черноглазая работящая Зинаиды Николаевна. Влюбляемся во всех!

Все виделось по-другому оставляемой семьей. Вернее, виделось так же, но этикетка наклеивалась другая. Такая, какой захотел видеть – и показать другим, это главное – участник семейной драмы, переживший всех и имеющий возможность писать историю семьи сейчас. Сын, Женечка. У него для катастрофы матери другое объяснение. «Тяжело пережитая ею смерть матери, окончание института, дипломная работа, слабое

здоровье, и, с другой стороны, сознательное отталкивание отца в то время от писательских организаций и официальных сторон жизни и потому постоянные отказы с их стороны на его просьбы о предоставлении квартиры в строившемся тогда писательском доме или о временном выезде за границу. Это в конечном итоге и стало основной причиной того, что мои родители в 1931 году разошлись».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 9.

По счастью, Борис Пастернак совсем не такой человек. Он – человек наоборот. На него трудности действуют вот как: «Пишу тебе с большой любовью, удвоенной и усиленной большой горечью по поводу перегородки».

Там же. Стр. 218.

Перегородкой он хотел из комнаты сделать две, но мешали неимоверные сложности: и стоила она 250—300 рублей, и разрешение на перепланировку требовалось, и строить было трудно, а штукатурить – вообще: сохнет три недели и надо подтапливать, а уж осень, и пр. За этим, по-пастер-наковски, следует: «с большой любовью, удвоенной и усиленной…» Евгений Борисович уверен в непреодолимом убеждении его читателей, что Анна Каренина бросилась под поезд, потому что ее «среда заела». Но нам как-то грустно осознавать, что Пастернак страшно влюбился в Зинаиду Николаевну Нейгауз не потому, что муж ее Генрих Густавович очень хорошо играл на фортепиано – то есть доставлял Пастернаку самое большое чувственное удовольствие, доступное в нечастной жизни, – а сама она была очень (и оригинально, и с сильным сексуальным оттенком) хороша. И даже не потому, что эти летние радости он жадно воспринимал, чтобы не зацикливаться на самоубийстве Маяковского, на расстреле знакомого молодого поэта Силлова, на запрете ему самому ехать за границу (захлопнули), – все не потому, а что дали бы вот ссуду денежную вовремя, и папочка остался бы при мамочке на веки вечные. Что вы там рассказываете, будто Гете влюбился и на старости лет? Вот Боричка не такой, он бы не влюбился…

Заодно надо отмести и еще один довольно щекотливый намек: перечисление трудностей, с которыми Пастернак столкнулся в семейной жизни в первом браке (хотя уходил не из брака, а к другой женщине, которая ни писательских организаций и официальных сторон не принесла, ни квартир) – будто бы начинает список подобных эпизодов в жизни Пастернака, когда бросал он женщин из-за трудностей. На начетнический взгляд можно провести некоторые параллели: Зинаиду Николаевну он

душой оставил после того, как она оставила его телом, всецело предавшись своему горю и видимости деловитого доживания, а с Ольгой Ивин-ской он решительно собирался порвать после ее лагеря, опасаясь, что подурнела, опустилась. На самом деле он отступал не перед невзгодами, а перед отсутствием жизни. И в Зине больше не было жизни до конца ее дней, и в Ольге он боялся найти смерть. Если нет жизни – тогда вот нечего говорить. Сочетающийся верным и вдохновенным браком с покойницей абсолютно мертв сам, мертвее ее – она живая хоть в памяти.

Обвинить Пастернака в том, что он сбежал от Жени, убоявшись коммунальных невзгод, довольно к нему неуважительно; это – очернение его. «Он бросил ее в бытовых тяготах, а она потом одна, сама, мужественная маленькая женщина, на хрупких плечах с ребенком… » – это не так, они вольготно и с сознанием своих прав досидели у него на руках до конца его жизни.

«У Пастернаков той весной появилась домработница Елена Петровна Кузьмина, удивительной души человек, бывшая впоследствии преданной помощницей им и Елизавете Михайловне (гувернантке), которая также поехала в Ир-пень. Пастернак остался в Москве, чтобы, как в прошлые годы, убрать квартиру… »

ПАСТЕРНАК Е.Б. Борис Пастернак. Материалы для биографии. Стр. 468.

Глава о 1930 годе, в котором он познакомился с Зинаидой Николаевной и летом которого в нее влюбился, а зимой расстался с первой женой Евгенией Владимировной, матерью составителя сборника Е.Б. Пастернака (и соответственно свекровью второго составителя – Е.В. Пастернак), охотным эхом названа «ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПОЭТА».

В лихорадочном состоянии Ирпеня Пастернак пишет письмо за письмом родителям. Сказать правду боится, возбуждение скрыть – не умеет. Говорить хочется нестерпимо.

Бесстыдное «у нас был роман с ней». Резкое, кровосмесительное упоминание о разгоревшихся летом на даче отношениях с женой в письме к родителям. Ведь роман с собственной женой на даче почти наверняка не платонический? Сыновья часто пишут о таком – не могут удержаться. Матери ревнуют, отцы злятся, мудрые родители уж наверняка тревожатся: что-то здесь не так, как бы не распалась сынова семья.

«Когда я стал читать твое письмо, надо мной наклонилась Женя и предложила читать его вместе, т.е. то, чего я совершенно не умею. Я предложил ей прочесть его даже до меня, но только отдельно. Она на меня так обиделась, что и до сих пор его не читала и не хочет читать».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Пожизненная привязанность. Переписка с О.М. Фрейденберг. Стр. 171. Письмо от 21 августа 1930 года.

Начался роман, как и сказано в заявке, летом на Украине, под Киевом. Бывали ль вы на Украине летом, под Киевом? Как там не начаться роману! Летом самое время романам начинаться.

Пастернак – снежный человек. При любом иностранце скажи «Доктор Живаго» – сразу ясно: лес, зима, снегу по колено, Пастернак написал стихотворение «Метель». За это судьба подарила ему в живых чувствах и ощущениях явленное «Лето в Ирпене». Летом кто о таком не помечтает!

«В конце лета Пастернак почувствовал пробуждение глубокой привязанности к Зинаиде Николаевне».

ПАСТЕРНАК Б. Чтоб не скучали расстоянья. Стр. 215. Голос автора-наследника. Ему не хочется употреблять слово «любовь», но ведь «глубокая привязанность» для его случая – еще хуже. Глубокая привязанность, долгая привязанность – по крайней мере хоть это надо оставить его матери.

«В конце августа были написаны „Две баллады“, посвященные Генриху Нейгаузу и его жене, и через некоторое время стихотворение „Лето“, посвященное Ирине Сергеевне Асмус».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 322.

Последняя попытка «понепридавать» значения факту существования жены Генриха Нейгауза. Мол, ей посвящались стихи – посвящались и другим соседкам.

Зимой, до Ирпеня, Пастернак (если бы не Нейгауз, он бы уже догадался) еще сам не знает, что влюблен; как хмельной студент – кричит, хохочет, отпускает дурацкие и несмешные шутки. Родители читают его письма, очевидно, хмурясь. Пастернак разливается, как зощенков-ский герой, он не может писать ни о чем, кроме встреч с Нейгаузами, он к ним возвращается все время. « Отлично играл Нейгауз, мастерски, brillante <>. Кончилось „Al-legro brillante“, идет артист и думает: спасибо, что не побили. К себе нас тянули, им из Ташкента ученик сига привез и большую дыню. Но Жене на другой день рано надо было вставать, и мы все упирались, так что от brillante пошли нас

провожать до подъезда, скучнейше и обидней-ше, – и еще мы предупреждали гостеприимно, что зазвали бы, да Жене вставать, и у нас суховато, звать не на что. И вдруг, оказывается, утром кету выдавали (тоже, ведь, для вас даль – вроде квинтета, вроде Гржимали!), а мы забыли. И забыл я, что за три дня перед тем вбежали и заорали: „За водкой очередь“, и я побежал и стал. Так что и водка оказалась. И уломали, остались (жена у него красавица, какой, по-видимому, судя по свидетельствам и судьбе, была Мария Стюарт), остались и пили, и я их обоих все Шуманами звал, а потом предлагал за него, и просто – покойным Робертом».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 502.

«Маме очень не нравились подобные времяпрепровождения < > Восторженное поклонение кокетничавших с ним женщин оскорбляло ее чувство».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 314.

Вероятно, ПОКЛОНЕНИЕ может и ОСКОРБЛЯТЬ.

Сцепка эта должна быть очень тонкой и необычной, – в обычном поклонении оскорбительного, как правило, мало. Как было в этом, таком уникальном, случае? Поскольку никаких тонкостей не объясняется, картина скорее всего была не столь мутна и патетична, а всего лишь банальна: женщины восторгались Пастернаком. Кто-то был просто поклонницей, кто-то кокетничал, самой Жене было на самом деле оскорбительно быть Пастернаку «поклонницей» – в этой семье ХУДОЖНИКОМ была непризнанная (обществом, не семьей) – она. Кокетничать с ним она тоже не могла – вообще была не кокеткой и любила его как статусного супруга, а не как мужчину. Пастернак же был совестливым, страстным, латентным ходоком – на такую наблюдательность Жениной заинтересованности в муже хватило. Она боялась, что раз взъерошенный и красный Васька Денисов не выдержал атмосферы всеобщей влюбленности и сделал предложение пятнадцатилетней Наташе Ростовой, может не выдержать и Пастернак. До предложения вроде бы дойти было не должно – по счастью, уж хотя бы незамужних дам удалось в компании избежать, но хорошего ждать все равно не приходилось. Некомпанейская Женя была встревожена и озлоблена. Очевидец живописует, мало заботясь о правдоподобии.

В любовь Пастернака к Зинаиде Николаевне никто не верил. Она быстро сдала – будто бы поджидала этого момента, чтобы воспринять последнюю любовь, послужить кому-то для любви в последний раз. Потом уже только топтала луга, огороды и

советские гостиные. Даже Анна Ахматова, которой по горячим следам могли доходить слухи о неземной красоте Зинаиды Николаевны, ничего о ней будто не помнила. Она не признавала ничьей красоты – но эту даже не опровергала. Запомнила только про мытье полов. Полы мыли все – почему он влюбился именно в нее? А уж старую, некрасивую, толстую и грубую Зинаиду Николаевну обложили со всех сторон. Дмитрий Быков утверждает, что «Зинаида Николаевна на спор с подругой соблазняла Пастернака… Она даже бралась мыть пол». Для нее тут никакого «даже» не было – мытье полов было ее СИЛЬНОЙ СТОРОНОЙ и занятием самым что ни на есть привычным. Вот если б, например, Евгения Владимировна взялась за такое эротически провокативное действо! – «И демонстративно становилась в определенную позу, чтобы произвести впечатление на поэта. И, надо сказать, произвела. Хотя об этом я писать не стал, но мне достоверно известно».

СОКОЛОВ Б. Кто вы, доктор Живаго? Стр. 165.

Здесь представляет интерес степень достоверности ПОРОЧАЩИХ сведений. Порочащих? Может, и ничего, если женщина сама решила завоевать мужчину? Тем более что ей не надо было от него ни денег, ни респектабельного брака («богатства, славы», как Жене Лурье) – это все у нее и без него было, оставалось только заполучить лично его, мужчину, Бориса Пастернака. Ну если и на пари – это хороший прием, чтобы избежать насмешек и угадываний со стороны очевидцев: вот я признаюсь, что ловлю на спор.

Боюсь, здесь плохо обстоит и с предметом. Пастернак всю предшествующую зиму все зазывал к себе домой ней-гаузовскую компанию фокстроты до утра отплясывать – Зинаида Николаевна отказывалась, Генрих Густавович был человеком более веселым, приходил. В фокстроте, если удавалось приобнять жену пианиста, гораздо легче соблазниться – или соблазнить, с чего-то же началось их взаимное улавливание. «Единственная отрада нашего существованья – это разнообразные выступления < > моего друга < > Генриха Нейгауза, и у нас, нескольких его друзей, вошло в обычай после концерта остаток ночи всей компанией проводить друг у друга. Устраиваются обильные возлиянья с очень скромной закуской < > До 6-ти часов утра пили, ели, играли, читали и танцевали фокстрот».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам.

Стр. 475—476.

Что им было до лета тянуть и позы определенные принимать? Да и откуда быть ДОСТОВЕРНЫМ сведениям о споре с подругой? Кто мог сообщить Дмитрию Быкову, 1967 года рождения,

ДОСТОВЕРНЫЕ сведения о требующем столь интимной вовлеченности деле? Ирина Асмус – наиболее вероятная спорщица, безответно влюбленная в Пастернака и заинтересованная непосредственно в исходе спора – скончалась в 1946 году. Чье слово: выдумка, фантазия, наговор или пересказ наговора – могло бы сойти за достоверные сведения? Это все легко понять и еще легче простить (не с нами и не с нашей женой пари заключали), если бы исследователи не вступали бы со всей серьезностью в чужую игру.

Ирпень представляется страной Шарля Перро, отсюда родом Красная Шапочка. Удивительно сравнение с ней старой Зинаиды Николаевны, каменной глыбы верещащего мяса, носорога. Прозрачные леса из кудрявых деревьев, широкие гладкие тропинки, реки с низкими берегами, дровосеки. Дровосеки могут быть в киевских лесах, где нет сухостоя возле каждого дома, где можно собрать хворост. На Украине есть такая экзотика, как топка печей соломой, так что хворост у них – как в средней полосе дубовые полешки. Где хворост в цене, там вычищеннее лес, приветливее лужайки. «Эта дачная местность в двадцати трех километрах от Киева не поражала особыми красотами природы. Река Ирпень здесь протекала вдоль плоских берегов, лишенных всякой древесной тени. Смешанный лес с преобладанием хвои казался мне худосочным. По лесным тропинкам пробегали жирные удоды и подвижно стлались ужи или гадюки. < > По обнаженным высоким стволам сосен кружили белки, опасливо поглядывая на довольно редко встречавшихся пешеходов. Повсюду тянулась, вся в паутинах, колючая проволока, окаймляющая „запретную зону“ не совсем понятного для нас назначения: до польской границы было еще далеко. В перелеске понуро паслись волы с их коровьими головами на мощных телах. < > Было тоскливо и знойно. Поэтичность сообщали Ирпеню стихи Пастернака».

ВИЛЬМОНТН.Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. Стр. 169.

«Дорогой Б<орис>, я теперь поняла: поэту нужна красавица, т.е. без конца воспеваемое и никогда не сказуемое, ибо – пустота et seprete a toutes les formes*. Такой же абсолют – в мире зрительном, как поэт – в мире незримом».

Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922—1936 гг. Стр. 554. Если б она была мужчиной, она поняла бы это раньше. Казалось бы, красавицу можно увидеть во всякой, но натуральная, не выстраданная воображением

красавица нужна для пущей производительности.

«Мы лето провели с семьей музыканта (удивительного!) Н<ейгауза>. Я к ним привязывался день ото дня все больше. Действовали силы, к<оторы>м я никогда не умел сопротивляться: его одухотворенный дар <… > и ее удивительная красота, высокой, ходовой, инстинктивной одухотворенности.

Это называлось дружбой, каждая встреча кончалась признаниями, я обращал их к обоим, и в игре свойств, которые меня к ним притягивали и в них ослепляли, он и она казались мне иногда как бы братом и сестрой между собою (ты понимаешь?); я не мог отделаться от чувства одинаково беспредельной свободы по отношенью к обоим».

Там же. Стр. 531—533 (Пастернак – Марине Цветаевой).

* Готова принять любую форму (фр.).

«… к Жене всегда относился почти как к дочери, и мне всегда было ее жалко. Между тем я не представляю себе положенья, в котором я мог бы пожалеть Зину, так равна она мне каким-то эмоциональным опытом, возрастом крови, что ли».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 557.

Какое-то чересчур уж ошеломляющее впечатление произвело на Пастернака время начала Зинаидой Николаевной половой жизни – пятнадцать лет. Хотя и няня пушкинской Татьяны со своим замужеством в тринадцать лет, и княжна Нина Чавчавадзе, ставшая мадам Грибоедовой в пятнадцать, – все это тянуло и в пастернаковские времена совершенно реальный шлейф. Но просто крестьянская девочка (девка, молодуха) – это одно, поди их там разбери, до совершеннолетия ей сколько, и дворянская не учащаяся девушка также чинно и скромно сидит в почти длинном платье подле матери, а гимназистка – это совсем другое, это написано на лбу: все табу, все запретности, все игры – все предъявлено в школьной форме и фартучке. За это – больший срок, как за нападение на милиционера, если он не в штатском, а в мундире.

Про свой роман в пятнадцать лет Зинаида Николаевна тоже пишет без особого надрыва, с течением лет – даже с некоторой солидностью. Будто бы это и не ее факт биографии, а факт биографии жены ее мужей. Они – помнят. Придают значение.

Нейгауз был нервный, пьющий, музыкальный, субтильный –

распространенный тип эротомана; может, тема эта как-то муссировалась в их браке? Может, это он ей велел помнить? Ей-то – за детьми, за бурной (для помогающей мужу жены) развивающейся карьерой, старением, – Пастернак ее молодость схватил на излете, не догадался, что это последние год-два, думал: это такая юность, такой тип юности – с червоточиной, с изъяном, с пороком, со сладостью самой настоящей физической юности (тридцать лет – это ведь совершенные пустяки), – было не до того. Сама по себе Зинаида Николаевна культивировать в себе стыд и вину за ранний роман не стала бы, подзабыла…

Великие люди не бывают сластолюбцами, они просто гиперсексуальны чаще всего. Тонкие штучки эротизма описывать недосуг, даже гомосексуалистов среди великих – на той вершине, где их так мало, – практически почти и нету. Даже смотреть в ту сторону не интересовались особенно – разве что Достоевский не побрезговал. Но знаменит не тем.

Пастернаку пришлось включить пикантный эпизод в свою пожизненную биографию. Не могло быть иначе – начинался роман не с него. «Как я все это знал про вас!» – вскричал он, услышав про детский (да почти взрослый!) роман жены Нейгауза. Она была вполне половозрелая девица, со своими итальянскими кровями она ни через что особенно не преступала, поясом верности здесь был только школьный фартук, из-за него и был сыр-бор. В воспоминаниях действующие лица и включившиеся в сюжет другие герои – мужья – сами выглядят не совсем безупречно с педалированием этого факта. Трансвеститы перверсивны не только сами по себе, но с ними и те, кто ими пользуется. Зинаида Николаевна была немного ряженая – в девочку.

Он услышал про эту историю, когда приблизился уже к точке кипения, уже обжигало все, что касалось ее. Известие о раннеюношеском романе Зины Еремеевой слилось со становящимся воспоминанием о нестерпимости разогретой влюбленности в нее ирпеньским летом. И роман этот не сразу находил, куда ему вылиться, – а тебе будто еще порнографические карточки глухонемые в поезде подбрасывают, ты и не смотреть должен, и ребенка защитить, а тут вот она, сама, тридцати-с-чем-то-летняя женщина стоит, мать двоих детей. Придется считать, что факт сей имел серьезное значение для воспоследовавших отношений. Кстати, а зачем она ему рассказала это? Не обязательно вовсе ему было знать. «Я такая плохая» – да полно, никто бы и не догадался, что такая. Несомненно, могла бы и промолчать.

А сам факт хорош – мало кому удалось перещеголять. Ольге Ивинской, например, не удалось. И «у мамы были десятки мужчин до классюши, и ни одного – после», и что попутчику в поезде отдалась – рассказывала; большого впечатления не произвело. Для Пастернака железная дорога, поезда, вагоны – это что-то особое, но место это, куда Ольга Всеволодовна хотела влить своего кипятка, оказалось занятым… Как оглушил его в тридцатом году этот разговор с Зинаидой Нейгауз! Она произносила сама эти несколько фраз, как она… девочкой… под вуалью… в гимназической форме – а время было за полночь!..

Весь день перед тем он провел в обихаживании своей семьи: Евгения Владимировна была белоручка, лентяйка, кислая светская барынька тринадцатого года. Ее будто бы восхищало то, что Пастернак сам ставит самовар (сейчас уж малые дети на такое не ведутся: «А вот какой Мишенька молодец, а вот как он маме помогает!»), – у него выбора не было, с Евгенией Владимировной он бы пил чай раз в день, а то и не во всякий… Узлы в дорогу ему в его доме укладывала соседская жена Зинаида Николаевна. Случайно зашла и, увидев, что дел, на него женой возложенных, не провернуть, не раздумывая взялась помогать. Пастернак и накануне не выспался, закрутился отъездными делами, стоял в прокуренном коридоре поезда. Зинаида Николаевна ничуть своей прелести от дыма и поздней ночи не теряла – стучало в голове от бессонницы, стучало под ногами стуком непроверенной юности – вагонными колесами, – и слушал и не верил своим ушам. Становилось ясно, что это известие в такой момент заставит думать о ситуации постоянно…

Ну что после этого «отдалась попутчику в поезде»? Ну и отдалась.

Борис Пастернак заплатил дань поездам. Набирал впечатления, разращивал в себе эту пропасть – ход поезда и свой полет в нем по российским просторам к Уралу, к сестрам Синяковым в Харьков. Харьков – город какой-то в любовном плане мистический, как черная дыра романов, – каких только историй в первой половине двадцатого века туда не ухнуло! И воспоминания чьи-то читаешь – все в Харькове, в Харькове, и начиналось что-то невообразимое, и кончалось страшно, – все в нем, и в романах о нем же пишут. А из Харькова по Европе – в Марбург. В Марбург, кроме как по железной дороге, не попадешь. Стало ли слово «Марбург» для Пастернака когда-нибудь не синонимом несчастной любви – и поезда, едущего в другую сторону?

«"Нет, настоящее"? – Анна хотела сказать „Гельсингфорс“, но

не хотела повторить слово, сказанное Вронским».

На утренних поездах…

Вопрос о молодости: интересно ли еще человеку ездить на поездах? Глянуть ночью в слепое окно, придвинуться поближе, когда станет видно, что за стеклом неподвижно стоит жизнь – не пробегает мимо, вот в чем загадка, вот за чем не поспевает мысль, – что все стоит на месте: и этот дом, и этот, этот с почти погашенными огнями, и этот только с одним, где не спят… «Вот опять окно, где опять не спят, может, пьют вино, может, так сидят… » Читать стихи вовсе не обязательно, в ночном поезде каждый сам себе поэт – пока молод…

По-настоящему молодому (Пастернаку сорок лет) и не до стихов – ему уж непосредственно хочется жить в каждом из этих домов… в каждой деревеньке. В каждом заброшенном рабочем поселке, что двумя домами промелькнул вдоль путей, а остальными – неполным десятком, безо всякого подобия улиц, вразброс брошенными ничьей рукой, полунедостроенные, полузаброшенные, намертво – больше цепляться не за что – обжитые неведомыми людьми… Они разные, эти люди, ты мог бы быть одним из них, видеть их всех, знать, жить своей непохожей на их жизнью, возможно, непохожей и на твою собственную. Как бы все это получилось?.. А тут тебе вместо такой призрачной – понятно, что гипотетической (тебе хочется и в ночном поезде быть реалистом) – новой судьбы стоит живая, реальная, более чем подходящая – такая красота, такая удача, такой муж! – Зинаида Николаевна Нейгауз, доверяет тебе такие тайны! И понятно, что ты находишься в волшебном поезде, где сейчас, одним своим словом, одним взглядом, ты изменишь все в своей жизни…

О таком случае в поезде мечтает каждый…

Зинаида Нейгауз запечатала ему эту тему. Отныне он будет попутчиком только ей.

Женя Лурье ничего особенного не делала, чтобы ловить Пастернака, ему пришло время жениться, и ей вроде не рано было выходить замуж. Зинаида Николаевна была старше Жени Пастернак на три года. Когда муж уходит к женщине старшей, это совсем неприятно. Анна Ахматова называла знакомым свою соперницу-ровесницу «молоденькой медсестрой». Им обеим было по пятьдесят семь. «Медсестра» была профессором медицины.

То, что Пастернак выбрал женщину старше жены, делает более отчетливыми ее достоинства: из ревности (женщины) или для очистки совести (мужчины) легче всего сослаться на молодость разлучницы. Зинаида Николаевна, несмотря на то, что разница была всего три года (не больше – иначе появятся свои

отговорки: опять же обезличенный интерес к СТАРШИМ ЖЕНЩИНАМ), все-таки не могла не записать свои года себе в актив. В 1930 году одной женщине было 34, а другой только 31, каждой было что поднять на щит.

Фотография новой семьи Пастернаков 1934 года на групповом снимке в доме отдыха в Одоеве: Зина со Стасиком во втором ряду, сам Пастернак – в третьем, стоит с напряженным, деятельным, погруженным в себя, решительным лицом, как молодожен. Он отрешен от всего, кроме своего положения мужа при молодой жене, и по диагонали они стоят рядом, чуть-чуть касаясь друг друга. Пастернак очень красив, редко для себя благообразен, хороша при своей необычайной нефотогеничности Зинаида Николаевна, и, конечно, очень хорош с полуулыбочкой переросший уже детскую пору Стасик Нейгауз. Никто из большой груп-

пы других отдыхающих не стоит изящно, никто не изыскан в одежде или в позах, хотя есть и белые платья, и ожерелья. Одна Зинаида Николаевна сидит с утомленным, тоже как у новобрачной, лицом и являет собой совершенство женщины, которой ничего не нужно, у которой все есть и которая готова принять это во всей трудности и сложности. Спокойствие это таково, будто весь путь ее записанным лежит перед ней, и она запись уже прочла, все поняла, но касания ее соседей слева, мужчин, которым она сидит по правую руку – Стасика Нейгауза и Бориса Леонидовича, – делают ее недосягаемой и неуязвимой. Правда, такой, с какой никто бы не захотел поменяться местами – как с Мадонной.

Как развивались события

В то лето так много всего происходило, что объять это взглядом, найти объяснения, понять их и признать – было некогда, да и неинтересно заниматься теориями. Пастернак попробовал описать в послесловии к «Охранной грамоте», в виде посмертного письма к Рильке – кому еще он мог бы попытаться объяснить, что с ним произошло? – внешности двух дам (из шести, ТОПТАВШИХ ЛУГА). Может, внешность действительно и была важна – это то, что он видел в первую очередь, натолкнувшись взглядом на дачной террасе на Зинаиду Николаевну или на Женю. Пастернакове-ды стали считать, что эта малость действительно имела большое значение для Пастернака. И что что-то определяла в женщинах и в нем самом.

«Тогда у меня была семья. Преступным образом я завел то, к чему у меня нет достаточных данных, и вовлек в эту попытку другую жизнь и вместе с ней дал начало третьей.

Улыбка колобком округляла подбородок молодой художницы, заливая ей светом щеки и глаза. И когда она как от солнца щурила их непристально – матовым прищуром, как люди близорукие или со слабой грудью. Когда разлитье улыбки доходило до прекрасного, открытого лба, все более и более колебля упругий облик между овалом и кругом, вспоминалось Итальянское Возрожденье. Освещенная извне улыбкой, она очень напоминала один из женских портретов Гирландайо. Тогда в ее лице хотелось купаться. И так как она всегда нуждалась в этом освещеньи, чтобы быть прекрасной, то ей требовалось счастье, чтобы нравиться.

Скажут, что таковы все лица. Напрасно. – Я знаю другие. Я знаю лицо, которое равно разит и режет и в горе и в радости и становится тем прекраснее, чем чаще застаешь его в положеньях, в которых потухла бы другая красота.

Взвивается ли эта женщина вверх, летит ли вниз головою; ее пугающему обаянью ничего не делается, и ей нужно что бы то ни было на земле гораздо меньше, чем она сама нужна земле, потому что это сама женственность, грубым куском небьющейся гордости целиком вынутая из каменоломен творенья. И так как законы внешности всего сильнее определяют женский склад и характер, то жизнь и суть и честь и страсть такой женщины не зависят от освещенья, и она не так боится огорчений, как первая».

ПАСТЕРНАК Б. Охранная грамота. Но на самом деле всех деталей было бы не перечислить – и каждая из них уводила его за каждый раз новый и новый поворот судьбы.

«Улыбкой широкой как глобус» – так ли уж безупречен этот комплимент? Зинаиде Николаевне ставят в строку слова о том, что она «прекрасна без извилин». Думается, речь идет не о желательных для ссорящихся школьниц извилинах, а широкая, как глобус, улыбка тоже не слишком изысканно украшает лицо. Одно оправдание для Жени – оно же ей упрек, – что улыбку, как маску, она выбирала к случаю и к зрителю.

Ревность без любви – это зависть, жадность. Досталось другому, другой. У Жени были холодные глаза, готовые откликнуться только Пастернаку, и тонкие, широко и открыто вырезанные, ухватывающие все, что впереди нее, что может быть доступно – или захвачено – ноздри. Жадные нервные ноздри забирают в себя всю женскую прелесть. С раскрытым носом труднее всего примириться, когда мужчина берет себя в руки и пытается тем взглядом, который кажется ему рациональным, взвесить, что в женщине все-таки есть простого, непосредственного, неподдельного – того, чего нельзя предать. Женщина с захватывающими ноздрями кажется уже и так захватившей слишком много прав. «Прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен». Зинаида Николаевна не имела ни одного изъяна во внешности – и вся жизнь Пастернака зависела от нее.

Когда после лета семейства вернулись в Москву, ситуация была такова: Пастернак был страстно влюблен, все это видели. Он являлся с любовными балладами к Нейгаузам. Мужчины плакали, Зинаида Николаевна неукоснительно обихаживала детей и воспалялась любовью к страстно музицирующему Нейгаузу. «Крейцерова соната» – как радиация, она не признает границ и поражает все вокруг себя. Женя по инерции считала очень грозным оружием недовольство, придирки, запатентованную свою требовательность. Пастернак наслаждался предвкушениями и самым удобным, устраивающим всех вариантом считал отправку жены с сыном за границу к родителям и сестре (к сожалению, рассчитывая на то, что те с радостью возьмут на себя заботы о его брошенной жене и устроят их там самым наилучшим и наиудобнейшим образом, удовлетворяющим самые притязательные требования Жени). Был восторженным лицемером – можно от недоброжелательства и так назвать, – а может, был уверен, что, как ни повернись, Господь все равно все и всех устроит прекрасно.

Женя раньше пылинки в глазах Пастернака выжигала истериками, сейчас он хотел целую крупную женщину прилепить

к себе и приглашал ее способствовать и радоваться. Она не могла этого понять (как она смогла это понять в конце жизни? она и не поняла, просто он ослабил путы и дал ей иллюзию) и была близка к безумию. Со сладкими трудами Пастернаку удалось добиться благосклонности Зинаиды Николаевны, а Женю отправили все-таки за границу.

Уже в Ирпене ему казалось невообразимым вернуться в Москву и там увидеть не новую жизнь, не второе рождение – а все старое. Женю надо было срочно куда-то деть. Поскольку связь его с ней была прочная, нерасторжимая, «невыдуманная», как он сам выражался, он не мог дать ей советский развод и стать снова свободным. Она куда-то должна была деться, в какие-то такие же недостижимые, невозвратные, небытийные края. Не к своей же родне, к братцу, который ловко их женил, нет; они были олицетворением житейского мира, он должен был отправить ее к своим родителям. Это они родили его, родили и все его проблемы, пусть заберут их назад, тем более туда, где они сейчас, – за границу, это точно уже не этот мир, в котором есть место только ему, Пастернаку, и Зинаиде Николаевне.

«Это странное письмо не на шутку взволновало <…> родителей <…>непонятные <… > слова о „счастье и спасении“, которые принесла бы ему поездка жены за границу. И недаром – в это время у Бориса Пастернака назревала семейная трагедия».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 503.

Семья составителя сборника переживала трагедию распада. Ленечке Пастернаку эта трагедия готовила триумф – рождение, приход в этот несовершенный мир.

Два лагеря – две правды. «Утверждение Н.Я. Мандельштам <> о том, что стих Мандельштама „Ночь на дворе, барская лжа…“ (неточность в цитировании: у Мандельштама это – два предложения, с точкой между ними – ну да ладно, если неточно цитируют и самого Пастернака в монографии о нем…) (конец марта 1931 г.) представляет собой „ответ“ на пастернаковские строки в стихотворении „Красавицамоя, вся стать…“ (начало марта 1931 г.) – безосновательно».

ФЛЕЙШМАН Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. Стр. 134.

Стихотворение это публикуется по рукописной записи Надежды Яковлевны, она с Мандельштамом к моменту его написания прожила больше десяти лет в редкой близости и вовлеченности, все его повседневные дела и впечатления знала

как свои – они все были общими – и знала, что это – о Нейгаузе, о Пастернаке, о Зинаиде Николаевне.

Возможно, самому Осипу Эмильевичу Зинаида Николаевна казалась чрезмерно крупноватой дамой, Анне Ахматовой – такой, что от вида на нее Пастернаку переставало хотеться писать стихи, исследователю Пастернака Дмитрию Быкову – вызывающей стихи под стать себе, слишком прямолинейные и без извилин. Ну и в книге Флейшмана, вышедшей с посвящением Евгению Борисовичу Пастернаку и Елене Владимировне Пастернак, над мнением Надежды Мандельштам выносится академический приговор: безосновательно.

Комментаторы самого Мандельштама не согласны. Они к мандельштамовской строчке о толкотне в гардероб припомнят еще его же о Пастернаке же: «А читатель его – тот послушает и побежит… в концерт».

МАНДЕЛЬШТАМ О.Э. Сочинения в 2-х т. Стр. 508.

А что «в концерте»? «Опять Шопен не ищет выгод» датировано тем же числом, что и «Рояль» Мандельштама. Пастернак называет Шопена, Мандельштам пишет и зачеркивает слишком ловкую комбинацию «Листа листал листы». Для исследователя Пастернака – ничего личного, а комментаторы Мандельштама считают необходимым уточ нить: «Описывается концерт пианиста Генриха Ней-гауза (1988—1964). В 1931 году, после ухода его жены, З.Н. Нейгауз, к Б.Л. Пастернаку, – он нередко срывал концерты, хлопал рояльной крышкой и т.п.»

Там же. Стр. 512.

Пастернак был гипердеятелен, заведен. Устраивал вечеринки, погони за Зинаидой Николаевной, травился, ходил к Нейгаузам объясняться и клясться, напал на брата братовой жены, Вильмонта, за то, что тот «отговаривал» Зинаиду Николаевну связываться с ним, и Вильмонт должен был ему дословно передавать свои разговоры. «Она прямо спросила меня, могу ли я ПОРУЧИТЬСЯ за то, что ваша любовь „всерьез и навечно“ (ее слова). Конечно, было бы куда проще отрапортовать: „Ну, разумеется, могу“. Но так сказать язык не повернулся. Я высказался, однако, не менее твердо: „Дорогая Зинаида Николаевна, я знаю только одно, что Борис Леонидович никогда и никого не любил так сильно, как любит вас. А ручаться „навечно“ посильно разве богу и вашему ответному чувству на его чрезвычайную любовь“. Похоже это на отговаривание?»

ВИЛЬМОНТН.Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. Стр. 205.

Ревнивый Пастернак был прозорлив и предвидлив, и Вильмонту пришлось оправдываться по максимально далеко

уходящей линейке упреков: «Это была обвинительная речь < > что он „от меня этого не ждал“, „что я не желаю ему счастья“ и т.д. < > Было сказано и то < > что я-де „сам в нее влюблен, сам хочу на ней жениться“».

Там же. Стр. 204.

Каббалистика Цветаевой.

«Но верь моему нюху: четверо легче, чем трое, что-то – как-то – уравновешено: четверостишие. Трое, ведь это хромость (четыре ноги). И еще: весь вес на одном. <… > Нет, слава Богу, что – четверо».

Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть.

Письма 1922—1936 гг. Стр. 535 (Марина Цветаева – Пастернаку).

Четырехугольник – это действительно не страшно. Треугольник – это всегда драма, а то и трагедия. Если двое мужчин и женщина – это гораздо более hard, это всегда сильный эротический накал, даже если – чаще всего – один из мужчин еще, уже или принципиально не является сексуальным партнером. Если две женщины – это всегда гораздо слабее, хотя практически без вариантов мужчина с более или менее внятными объяснениями сожительствует с обеими. Если в этом случае отношения «откровенны», «свободны» или даже в силу этих-то физиологических предпочтений и создавались – накал всегда не тот. Накал эротики, имеется в виду. Женщины всегда или перемежают занятия любовью с бытовыми материнскими заботами о нем, или выстраивают собственнические, психологические – отнюдь не исключительно сексуальные – отношения. А часто он и вовсе говорит жене, что пошел к любовнице, а любовнице – что пошел к жене…

«24.02.1932. Пришел Пастернак с новой женой Зинаидой Николаевной. Пришел и поднял температуру на 100°. При Пастернаке невозможны никакие пошлые разговоры, он весь напряженный, радостный, источающий свет. Читал свою поэму „Волны“, которая, очевидно, ему самому очень нравится, читая, часто смеялся отдельным удачам, читал с бешеной энергией, как будто штурмом брал каждую строфу, и я испытал такую радость, слушая его, что боялся, как бы он не кончил. Хотелось слушать без конца – это уже не „поверх барьеров“, а „сквозь стены“. Неужели этот новый прилив творческой энергии ему дала эта миловидная женщина? Очевидно, это так, потому что он взглядывает на нее каждые 3—4 минуты и, взглянув, меняется в лице от любви и смеется ей дружески, как бы благодаря ее за то,

что она существует».

ЧУКОВСКИЙ К.И. Дневник. Т. 2 (1930—1969 гг.). Стр. 49.

«Когда мы собрались уходить, я услышала, что Вера Васильевна <> предлагает Зинаиде Николаевне и Борису Леонидовичу остаться у них ночевать. Меня удивило не то, что Вера Васильевна оставляет москвичей на ночь, а то, что в буданцевских двух комнатах ни дивана, ни кушетки, вообще нет никакого другого ложа, кроме супружеской двуспальной кровати. Видимо, прочитав удивление в моих глазах, Зинаида Николаевна очень просто сказала: „А нам с Боренькой ведь все равно, на чьем полу ночевать. У нас сейчас своего угла нет. Так вот и кочуем“».

ИВАНОВА Т. Воспоминания //Воспоминания о Борисе Пастернаке.

Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 239. Вот вам и разошелся с первой женой из-за того, что не ставили в очередь на кооперативную квартиру!

«Пастернаки note 4с первого взгляда очаровали меня и произвели впечатление на редкость ладной и дружной пары. <> Я недоумевала, когда узнала, что они разошлись, но недоумение мое полностью рассеялось, как только я увидела Бориса Леонидовича (в 1932 году) с его новой женой Зинаидой Николаевной. Мы встретились в гостяху Сергея Буданцева. Тогда мы со Всеволодом только что вернулись из первой нашей совместной заграничной поездки. Всех присутствующих очень интересовали наши рассказы. Но Борис Леонидович, всегда так живо на все откликавшийся, был неузнаваем. Он ничего не видел и никого не слышал, кроме Зинаиды Николаевны. Он глаз с нее не спускал, буквально ловил на лету каждое ее движение, каждое слово. Она была очень хороша собой, но покоряла даже не столько ее яркая внешность жгучей брюнетки, сколько неподдельная простота и естественность… »

ИВАНОВА Т. Воспоминания // Воспоминания о Борисе Пастернаке.

Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 238—239.

«Осенью я понял, что люблю ее, понял с той восхитительной ясностью, немного страшной, как это понимают в начале жизни. Я написал обоим по балладе. <…> Потом мы переехали в Москву. В каком-то надломе самовнушенья я продолжал обращаться к обоим, не разделяя их, и не любил попадать туда в отсутствие Г<енриха> Г<уста-вовича>. Но когда мы собирались втроем, нам ясно становилось, что это уже действует ее власть, ее судьба

и история, что моя жизнь их разделила и выдвинула ее вперед.

1 января он уехал в труднейшее по теперешним <… > условиям концертное турне по Сибири. Я не хотел этого, я страшно боялся его отъезда.

Я знал, что раньше или позже наши судьбы скрестятся <…>. Но в его отсутствие во все это могло замешаться что-то нечестное. Однако он должен был уехать. Он возвращается через две недели. Я жду его с нетерпеньем, без всякого чувства вины. Я вновь и вновь забываю, что все случившееся касается его непосредственно, а вовсе не через меня и мою неизменившуюся привязанность к нему…»

Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть.

Письма 1922—1936 гг. Стр. 531—533 (Пастернак – Марине Цветаевой).

«Когда десять раз на дню я поражаюсь тому, как хороша З.Н., как близка мне работящим складом своего духа, работящего в музыке в страсти в гордости в расходовании времени, в мытье полов, в приеме друзей из Тифлиса, – как, при большой красоте и удаче, проста и непритязательна и пр. и пр.».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 515.

«Чем ты будешь богаче, независимее, чем счастливее настроеньем – лично биографически, – тем ты мне роднее и ближе… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 227.

Это он пишет Жене в 1926 году, она этому поверила – раз придумала биографически обогащающего человека. А Зинаида Николаевна была со всем своим богатством вся на виду: с афишами, поклонниками, с сыновьями, генералом-отцом и любовником – ни дать ни взять Вронским: в отдельных кабинетах и под вуалью.

Пастернак любил биографические сложности. Хотел, чтобы Женя была богаче – чтобы он у нее был не первым.

Или хотя бы не единственным. Это действительно мало кому нравится, надо быть по крайней мере Толстым. Вот тонкий ценитель женских «тайн» – тайнам научивший и падкую на декадентские осложнения свою сожительницу Анну Андреевну Ахматову – Николай Пунин пишет об этом обстоятельно, с примерами (для примера выбрана другая его любовница – Лиля Брик): «Когда так любит девочка, еще не забывшая географию, или когда так любит женщина, беспомощная и прижавшаяся к жизни – тяжело и страшно, но когда Лиля Брик], которая много

знает о любви, крепкая и вымеренная, балованная, гордая и выдержанная – хорошо».

ПУНИН Н.Н. Мир светел любовью. Дневники, письма. Стр. 132.

Женя любила как не забывшая географию – но и романов начитавшаяся.

История Зинаиды Николаевны, вне всякого сомнения, зацементировала его страсть в неотплавляемую от него амальгаму «ее особой красоты <…>, ее крови, ее тайны, ее истории…».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 528.

Ольга Всеволодовна Ивинская тоже была дамочкой не без прошлого.

Мужчина, ждущий от женщины не чистого листа, желающий получить плотный клубок, распутывать его от нитей других сюжетов, перебирать пальцами узелки других мужчин – это такой тип, который не считает женщину человеком, равным себе. Для него женщина – не цельная и ровная половинка, с которой можно строить жизнь, а загадочный узор, забава с секретом, головоломка для решения на досуге; не ведро картошки, а устрицы во льду, да еще приправленные чем-то особенно тонким и неуловимым (очень важным для улавливания), баловство.

Пастернаку все давалось легко: хотел запутанных страстей, биографических богатств – пожалуйста, в начале тридцатых ему выбросили сюжет на двух «Докторов Живаго».

«Он [note 5] человек очень противоречивый, хотя все улеглось именно к истекшей осени, у него все же бывают состоянья, когда он говорит Зине, что когда-нибудь в приступе такой тоски убьет ее и меня. И все же с нами встречается почти что через день, не только потому, что не может забыть ее, но не может расстаться и со мною. Последнее доходит до трогательных курьезов».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 557.

Пусть зина вернется на свое место

Весной Женю все-таки собрали, уговорили сфотографироваться. Евгения Владимировна почти всегда тонка и изысканна в письмах, ускользающе-миловидна на фотографиях, никаких округляющихся улыбкой подбородков, никакой крутолобости, никакой улыбки взахлеб, холод и сексапил, Грета Гарбо. Свояк Пастернака ненавидел ее, такую милую, и видел ее самые безоговорочные и разоружающие очарования – видел и отмечал ее улыбку. Называл – широкой, ничего не выражающей. Как он мог тогда ее разглядеть? Отказывающий женщине в прелести, как правило, находит взамен одному ему видимые недостатки. Этот увидел то, что видели и чем восхищались все, – и ненавидел это в ней, видел пустоту, в которую не хотел, чтобы проваливался Пастернак.

Пастернак с Зинаидой Николаевной и ее детьми заняли комнату на Волхонке, и вслед Жене полетели письма.

Страшно представить, что творилось в душе Евгении Владимировны, когда ее губы выговаривали: «Зина». По своей тихости ядоизливания самое сильное, что она могла придумать, было – «свое место». Ей хотелось бы указать Зине ее место. Поставить каждого, а тем более Зину – на свое место – желание любого обиженного. К сожалению, свое место было у Зины не очень-то захудалым. Как место оно было и не хуже положения Евгении Владимировны – жена Генриха Нейгауза на своем месте смотрелась неплохо. Можно возразить, что акцент Евгении Владимировны был на «вернется» – пусть вернется назад, уйдет отсюда, но фраза была такой, какой была: «пусть Зина вернется на свое место». Может, и правда жалобный беспомощный крик – но все равно с максимально возможным оскорбительным смыслом: а вдруг Зина окажется еще слабее и ранится?

«Зачем ты меня любишь так ультимативно-цельно, как борец свою идею, зачем предъявляешь жизни свое горе, как положенье или требованье, вроде того, что ли, вот, дескать, мое слово, теперь пусть говорит жизнь, и я умру, если она скажет по-другому. Зачем ты не участвуешь в жизни, не доверяешься ей, зачем не знаешь, что она не противник в споре, а полна нежности к тебе и рвется тебе это доказать, лишь только от отщепенства предварительных с ней переговоров < > ты перейдешь в прямую близость к ней, к сотрудничеству с нею, к очередным запросам дня, к смиренному, вначале горькому, затем все более

радостному их исполненью».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 357—358. Женя никогда не изменила своей позиции и ничему учиться не собиралась. Такую же твердокаменность проявил и сам Пастернак в своей семейной жизни. Зачем он не дал Женечку жить, зачем он как борец любил свою идею о том, что если он будто бы с позиции силы покорится Жене во всей внешней жизни, чтобы она не осталась ущемлена, то на его свободе не будет никакого пятна?

С отправленной за границу Женей – освободившей комнату на Волхонке (квартирный вопрос!) – Пастернак бурно переписывается. Фантазирует, верит счастью, что она останется там, со всеми проблемами, а ему останется только грусть. Женя за границей, в Париже, для работы, на деньги Пастернака, остаться не захотела – побоялась: бытового труда, независимости, необходимости хоть сколько-то рассчитывать на свои силы, немного верила и в возможность вернуть еще Пастернака назад. Чем она собиралась мериться с Зинаидой Николаевной? Евгения Владимировна пишет свои ответные письма в горечи, в забытьи, стонет, как горлица, – почти без позы, то есть почти не надеясь, что ей удастся заставить слушать свои ультиматумы. Только в санатории в Германии, почти в сумасшедшем доме, она отвлекается от своего безумного горя и рассказывает фантастические, высокомерные и вздорные небылицы тяжело больной соседке.

«Она призналась также, что никогда не видела настоящих мужчин. Что их на свете нет. Если бы она могла опереться на руку человека, который бы ее вел, она стала бы спокойнее и нашла себя. Она говорила, что ей незачем сохранять верность своему мужу, потому что она ему не верит».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 312.

Женя, находясь в санатории, смотрит на себя со стороны, глазами пусть даже и умирающей, но все-таки слушательницы. Предназначенная выжить была бы предпочтительнее: живая, с живыми советами, с живым завистливым взглядом на все-таки неоспоримые Женины жизненные завоевания. А таковые были: крепкий (развалившийся в одночасье, но не трещавший по швам каждую былую минуту) брак, удачный, любимый отцом, любимый настолько, что крепко усаживался на чаше весов напротив пусть и перевешивающей, но не сметающей, как пушинку, Зинаиды Николаевны, сын. Ну и уникальное положение Пастернака – это труднее всего объяснить, учитывая раздраженные жалобы на безденежье, на тяжесть жизни, как этому поверить, но Женя не

молчит, рассказывает… Со стороны ей самой лучше видно, что до Пастернака ей нет особенного дела. Оскорбление быть брошенной, быть брошенной ради другой – это да, но Пастернак здесь только название. Нужен ей – мужчина, который бы ее ВЕЛ (так называет это она, так переводит угасающая фрау, какой еще уж лучше Пастернака ВЕДУЩИЙ ее бы устроил?), – в Париж ли, в работу – весь словарь ее фантазий. О сохранении верности – это она проигрывает сцену перед незнакомкой – о верности в ее семье речь давно не идет, муж давно подбивает ее на создание «интересной» биографии, ее любая связь была бы для него счастьем – он не любит быть виноватым.

Виноватому надо страдать, и вина проходит только тогда, когда его перестает винить другой – зависимая и безвыходная ситуация. Он будет рад через несколько лет пристроить ее за дачного сторожа. Женя поджимает губки: ее решение – «верности не хранить». Мужу она «не верит». Не верит его письмам о Зине? Это она дует на обожженную руку: говорит, лишь бы произносить звуки. Откровения попутчиков в поезде: «Навру с три короба, пусть удивляются… » – здесь приобретают более однозначное толкование: эти попутчики уже точно не увидятся в этой жизни.

Собеседница умирает, Женя пишет ее ремесленнически-тщательный, лишенный от неумения руководить своей кистью даже приличной комплиментарной миловидности портрет на заказ родственникам. Женя пытается себя разогреть, вдохнуть силы и надежды, как пять лет назад она сама зажглась, воодушевилась и даже предприняла практические шаги – вернулась к мужу, поверив в собственные фантазии о бароне или графе, о Фейхтвангере.

«Зачем ты Жене пишешь такие письма, которые она принимает не так, как ты хотел бы, а так, как ей хочется, то есть письма твои носят характер настоящей влюбленности, действительность же и факты говорят противное. < > имей мужество не быть двойственным перед нею. Это ее убивает. Ах, томы надо писать – сил уж нет!Ведь ясно, что ты предлагаешь ей дружбу – так делай и говори более определенно, ибо в письмах твоих все неопределенно, туманно, и она – опять-таки – истолковывает это в свою пользу».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 520.

Родне Пастернака несимпатична Зинаида Николаевна, с двумя детьми оставившая мужа (весьма статусного мужа – это ведь и жене титул статской советницы пожизненный – или до первого повторного брака). К чести старых Пастернаков, они

никогда эти несомненные и весомые – во все времена так было – титулы не поставили на одну доску с тягостными обязательствами Пастернака по отношению к сочинившей саму себя Жене. Женя одна тем не менее была им никто. Раз муж сказал ей: «Свободна!» – она должна была и не притираться к ним. Альтруизм Пастернака за их счет их всех раздражил ужасно.

Пастернак – муж, который страстно желает, чтобы жена не вернулась к нему из поездки, в которую он ее отправил, чтобы избавиться от нее, сильно скучающий по сыну и по ней самой, абсолютно уверенный в том, что он ничего не сделал для того, чтобы склонить ее к мысли о невозвра-щенстве. Об этом письма. При страшном советском неустройстве он имеет легальную возможность отговаривать ее от СКОРОГО возвращения.

«Раньше весны сюда не собирайся. Но только из соображений здоровья».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 349.

Пастернак много пишет о том, как Зина любит его, – это еще хуже, чем писать о своей любви к Зине, ведь Зине не возбраняется любить его, Зина может его любить, ее любовь будет с благодарностью и восторгом принята, а ее, Женина, ненужная – отвергнута. Никто не спрашивает ее, любит ли она Бориса или нет. Это никого не интересует. О Зининой любви – с почтением, о Жениной – с пренебрежением. Лучше бы влюбился только он, в этом потом можно покаяться, и это в конце концов можно простить – это дело двоих. Простить то, что была еще и Зинина любовь, что Зина раздавала награды и ей целовали за это край платья, – это все равно что самой Жене припадать к ее стопам.

Письмо горлицы.

«Я звонила тебе сегодня по телефону. < > Молю Бога, чтобы расстояние и телефон были причиной того чужого и холодного голоса, который я слышала. Неужели непонятная дикая потребность во что бы то ни стало убить нашу близость принесла уже такие результаты? В том состоянии, в котором я сейчас нахожусь, я не знаю, зачем мне ехать в Париж, зачем таскать за собой Женю. < > Пробыв месяц, два в Париже (ты скажешь, зачем два, больше, до весны, – а что там делать, можно посмотреть, поучиться – но работать, жить можно только дома, а потому должен, должен существовать дом < > (Ни в каком доме с ней уже не хотел быть Пастернак.) Боже, Боже, я не могу понять, как, почему этот кошмар въехал в мою жизнь, ни зеркало, ни люди не

дают мне ответа. Я жду и дико боюсь того момента, когда утрачу совсем рассудок (утрата рассудка – дело самодисциплины), и отвернувшись от испуганных Жениных глаз и его беспризорности (при матери – все-таки ребенок не беспризорен? Евгения Владимировна и сыну предъявляет свои высокие требования: раз уж он стал таким неудачником, что лишился (отец его себя не лишил) отца – то пусть и будет беспризорником. А тут уж и родня этого мужа тоже не хочет искупать рода своего грехи и забрать внука или племянника (или племянника жены) к себе – ну, беспризорник он и есть беспризорник. Женя во всей истории жалеет только себя), прикончу свою боль (естественнее желание прикончить себя, потому что на это нужно меньше сил физических и организационных, говорить, правда, об этом заранее, а не в найденной посмертной записке – безвкусно. Действует не на многих. Вернее – на многих, почти на всех, но в обратную сторону). Больно, больно, не хватает воздуху (этому веришь, за это ее действительно до слез жаль, даже не нуждающаяся в кислороде Русалочка, героиня мультфильма, в похожей ситуации – спортсменка, озорница, девушка действия и подвига, и при этом ПРИНЦ ЭРИК держит за руку другую, – беспомощно трепещет ручкой в запястье, оседая вдоль стенки и ловя ртом ненужный ей воздух). Я не героиня, я не могу ею быть, у меня нет сил. Помоги. Спаси меня и Женю. Пусть Зина вернется на свое место».

«Неужели же я как-то по-другому устроена. < > Неужели думать и чувствовать так с кровью и плотью неправильно. Неужели мир устроен совсем наоборот и как я могу тогда в нем существовать. < > что может этому помочь? – Мое здоровье (здоровая, она возьмется за вселяющий в Пастернака радость труд – и воздействует неестественностью своего завоевывающего труда, как эстетически воздействует трансвестит на хорошего здорового натурала?), мое присутствие (от которого едва избавились), улыбка (она была использована творчески, Жене в долготу дней был выдан титул „женщины с улыбкой взахлеб“, для интимного пользования эта улыбка не пригождалась), мольба (ну разве что это – пусть читает, если сил хватит – клин клином – Марину Цветаеву: „Мой милый, что тебе я сделала?“ – и прочее)».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 344– 345. Кстати, этому письму предпослан комментарий (сына, естественно, Евгении Владимировны): «Обещанного письма от папы, которое он собирался написать сразу по приезде < > мы не получили (МЫ – или он что-то важное хотел написать ТОЛЬКО ЖЕНЕ?). По-видимому, на нем

мама строила свои расчеты на будущее. Не дождавшись, она 1 ноября позвонила в Москву. Разговор шел о поездке в Париж, куда маму тянуло. Там в то время жил Роберт Рафаилович Фальк, ее любимый учитель по Вхутемасу».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 344.

Кажется, здесь все-таки было не до тяги в Париж.

Пастернак пишет за границу поверх барьеров. Поверх непреодолимого барьера Зины, которая не пропустит на старое место Женю, и поверх непоколебимого возмущения благополучных и любящих заграничных родственников, которым запальчивым и восторженным – нереальным и несерьезным, поэтическим, пастернаковским – образом пытаются навязать навсегда, на полное содержание, на деликатное, не дай Бог обидеть или что-то ДАТЬ ПОНЯТЬ, обхождение – семью Бориса, которая, по его полному убеждению, заслуживала всего самого наилучшего.

«Папочка все еще надеялся, что родители и сестры возьмут на себя заботу обо мне и освободят от этого маму».

Там же. Стр. 344.

«Сдержанно-измученный и скрытно-отстраняющий тон» письма Жони – Пастернак все видит. Сначала он писал им так: «Я знаю, что дико, безбожно, неслыханно стеснил вас и – и. Ах, что тут сказать!»

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 517.

Они тоже посчитали, что – стеснил. Пусть не «дико», «безбожно» и «неслыханно», но они пожелали, чтобы обошлось без «и – (беспомощно-виноватый вздох и разведение руками) – и». Женю с Женечком отправили назад.

«Что я себе представляю в дальнейшем? Свободу, свободу, полнейшую свободу для Жени; свободу, которая будет впервые истинной большою связью моей с нею. Мне будет грустно без них обоих. < > Но с грустью разлуки я справлюсь».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 512.

Придумано не им: «свободна» – это формулировка признания свершившегося развода. Вершитель, как всегда, – мужчина. Пастернак пишет с чистотой и восторженным доверьем, но сути дела это не меняет.

Пастернак фантазирует на разные темы, в том числе о том,

что Женя, может, и вернется (в Россию) – и все это тоже будет прекрасно. «Спустя какой-то промежуток, большой, вероятно, мы встретимся и, если Бог даст, полная (т.е. с Зиной) совместная жизнь потечет у нас по-новому».

Там же. Стр. 512.

«Зина спит (это декабрь 1931-го, письмо бедной Жене, Зина спит на кровати Пастернака – бывшей и Жениной – в комнате квартиросъемщиков Пастернаков на Волхонке). Она встала сегодня очень рано и отвела своих ребят в первый раз в детский сад (Бог с тем, что не нанято няни для ее „ребят“, Женю это не утешит) , потом, вернувшись, легла досыпать недоспанное».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 357.

Что Жене думать? Может, недоспанного набралось так критически много не только из-за ребят? Женя ведь не может об этом не думать?

И это была она, Женя, которая относилась к Пастернаку как к «тому несчастному, уступчивому уроду и полуживотному, которое ты из меня делаешь, подчиняя своим собственническим инстинктам».

Там же. Стр. 190. Куда теперь ей деть свою принципиальность?

Пастернак женственен в истории с Женей – Зиной. Так ведут себя только женщины, когда они попадают в историю, где они могут выбирать. Как правило, это бывает с замужними, где и муж влюблен, и другой – гораздо более силен и к тому же хочет жениться. Различие женской и мужской ролей (в треугольниках с лишним мужчиной или с лишней женщиной) в том, что «второй» мужчина может расхотеть жениться, а «вторая» женщина может перестать быть такой любимой. Женщине страшно оказаться без второго брака, уже пожертвовав ему первым, а мужчине жалко лишиться такой сладкой игрушки – возможности страстно, самозабвенно любить. Желание сохранить и того, и другого – это самая характерная женская черта поведения в треугольнике. Пытаться сохранить обоих пробует почти каждая. Какое счастье, если это можно пытаться делать долго, оттягивая, погружаясь в сладостные подробности, очень тонко объяснять, почему все должны остаться вместе, как обогатится их внутренний мир и отношения в результате параллельного проживания двух линий супружеской жизни (это так и есть, но этого не бывает). И главное – непрерывно пощипывать упоминанием о сопернике: или

нейтральным тоном (где, правда, невозможно поверить в простодушие – вот и у Пастернака Зина непрестанно то спит, то лежит, то только встала…), или – высший пилотаж – наивно-страстным.

Пастернак настойчиво пытается заставить Женю поверить именно в эту наивность, когда, письмо за письмом, пишет: «Зина удивительная», «Я так люблю Зину» и пр. Жене ясно и без этого, что Зину он любит, но ему важно писать – подробно, со сладостной точностью подобранными словами, – как именно. Это очень женская черта, женщины делают так, пока их не оборвут. Отец Пастернака обрывает его, Женя не может. Она надеется, что ласка его слога убаюкает его самого и он не сможет оторваться и от нее, Жени.

«…Раньше весны сюда не собирайся».
Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.
Переписка… Стр. 349.

А ей негде было жить. Родители (его) – боялись, Жо-ничкин муж Федя решительно заявил, что его семье надо дать отдохнуть от наезда чужой семьи, в которой муж посчитал очень для себя благородным предоставить бросаемой жене самые комфортабельные условия – но в чужих, пусть и довольно богатых, семьях. В Париж она могла поехать только одна – ведь начинать новую жизнь для нее было представимо только без ребенка. Ребенок для нее отнюдь не был ее личным богатством и наградой, он был ее взносом в семейный капитал, физиологическим взносом, а все, что вокруг, – воспитание, содержание, ответственность, – это дело тех, кому ею предоставлен наследник. Ее ребенка никто не хотел брать: ни Борис, пока она не сказала ему об этом с простотой, с какой брат Сеня предложил ему жениться, ни его родня, подталкиваемая, правда, не прямыми просьбами, а восторженными и путаными намеками и предположениями пастернаковских писем.

Пастернаку с Зиной тоже негде было жить в Москве, он занял свою бывшую комнату, – это называлось «привел», «привел с ребенком», – и пишет о соображениях здоровья, которые должны бы задержать Женю за границей, даже если не было надежды пристроить ее там к кому-нибудь навсегда. Для него с Зиной здесь важен каждый день. Ахматова называет Пастернака великолепным лицемером, – он не был лицемером, он действительно допускал возможность, что страдание опустошит Женю и пустая ее восхитительно женственная оболочка наполнится новой жизнью.

Ему не верилось, что такую никто не подберет… «Тоненькую, стройную, с прекрасным лбом, нежным, узким овалом лица, черными, откинутыми назад, в прическу, густыми волосами. В ней была замедленная грация – и в движениях, и в интонациях мелодического голоса, скорее меццо-сопранового тембра».

КУНИНА Е. О встречах с Борисом Пастернаком // ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 11. Стр. 113.

Почему у Женюры не случилось еще одного Фейхтвангера? Не было ли у писателя третьего брата? Двоюродного?

Насколько фантастическим был шикарный пятилетней давности роман!

Все действительно случившиеся в реальности истории таковы, что окажись один из несостоявшихся супругов свободен, разведясь, овдовев или просто переменив какие-то взгляды, – всегда можно обратиться к тому, кто был когда-то отвергнут. Если история, конечно, была настоящей и серьезной.

Впрочем, если история была попроще, то это даже лучше в случае Жени. Серьезная и «настоящая» история, любовь, может случиться с кем угодно, с самой простенькой женщиной, а вот НЕОЖИДАННОЕ предложение от преуспевающего банкира, брата знаменитого писателя, говорит о том, что она была хороша как просто подходящая партия для такого завидного жениха.

Почему не повторились предложения от других? Потому что не было того первого, не было и последующих. Женя с «довеском» – амбициями художницы, очень легко возникающими в России, пережившей лихорадку начала века сильнее прочих участников христианского летоисчисления, поддавшейся прессингу округляющихся цифр и даже пострадавшей интенсивнее многих, как одни дети болеют какой-то болезнью интенсивнее других, – вот с этим довеском полная холодом и эгоизмом Женя, никчемная и эффектная, как колба с жидким азотом, напускающим туману на сценическую площадку, никому не была нужна на рынке ходовых невест.

Тогда, в 1926 году, Женюра манипулировала Пастернаком, вызывая ревность к своим тщеславным фантазиям. Он же был в восторге от того, что ничто не придумывается, что все случающееся в жизни случается в реальности – в том числе и материализация фантазий.

«Когда все узнали, что около тебя есть другой человек, то все сразу испугались. <> За три месяца у меня [note 6] ни разу никто не был, Жоня бы приехала, но <> Федя не позволит <> реальную помощь, о которой и я, конечно, могла мечтать, чтобы мы остались, пока суд да дело, в Мипсквп'е. Женичка бы ходил в

школу, потом был бы на воздухе, в саду или с детьми, я бы понемногу работала. < > но в итоге я умоляла оставить нас < > на 4 дня < > мне не хотелось, чтобы нас, как багаж опасный, поскорее увозили, я только вернулась из Sanatorium, и Федя в истерике почти что мне сказал – это мой дом и моя жена, и я хочу, наконец, чтоб у меня дома был покой. < > Я ведь не могу огорчать папу, маму твоих и ссорить Федю с Жоней. Ведь они все, папа, мама, Федя, в конце концов правы – «я или не должна была уезжать – или осенью должна была быть в Москве» – это их слова, – и тогда, вероятно, ты бы расстался с Зиной. < > < > проездом Эренбург, увидав мое одиночество и страх перед всем < > стал уговаривать меня поехать в Париж. < > Я позвонила – и тут случилось – как же мне было собираться в Париж, когда все тянуло домой, и ты говорил с Волхонки < > я просыпалась с диким страхом, понимая, что ты на Волхонке и не один < > я умоляла папу и маму взять нас на время к себе, что мне очень больно, очень страшно < > С трудом для себя взяли Женичку, а меня врач отправил в Sanatorium, где мне что-то вспрыскивали, массировали, давали пилюли от страха < >».

Письмо близится к концу. Пастернак ничего не просит, но Женя дает ответ на могущую возникнуть просьбу – вдруг он одумается?..

«Как же я могу с тобой когда-нибудь увидеться, когда ты, как что-то очень счастливое, преподносишь – остаться с Зиной, взять Женичку, что Ирина с Шурой не понимали, как это ты хотел к нам вернуться. В состоянии тоски и отчаяния я писала тебе письма об осени, о том, что все возвращаются домой, – что ж ты значит решил, что наш дом с тобой уже не наш, что можно и без меня. Зачем же, зачем же мне тогда с тобою видеться, ведь ты уже решил, что у нас дома нет. Ну хватит. Твоим родителям письма кажутся чудными… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 353—354.

«К этому письму она приложила фотографическую карточку – вот уж подлинно: „каким еще оружьем вас добить?“. Здесь выражения их лиц трудно описать, карточка воспроизводилась многократно – Евгения Владимировна с торжественно-скорбным лицом обнимает и словно предъявляет зрителю сына Женю, глядящего на мир с выражением тягостного недоумения и незаслуженной обиды».

БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 400.

Призрак будущей жизни, одной без Бори с ребенком, встал перед Женей сразу в прекрасной обстановке заграницы. Вернее,

призрак труда и одиночества, еще вернее – не одиночества, а предоставленности самой себе, без привычного исполнителя ее воли и безволия.

«По приезде в Берлин, подсознательно желая нам блага – то есть отправить нас поскорее к тебе, нас оставили одних, чтоб я на деле убедилась, что мне одной с Женичкой не справиться – что мне нужно только думать о том, как бы поскорее вернуть тебя к нам».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 353.

Это тот ракурс, в котором всегда рассматриваются отношение и обязанности Пастернака к оставляемой семье. Весьма неожиданный – Жене надо было ОТКРЫТЬ ГЛАЗА на то, что и так составляло ее главную цель. Будто труд по воспитанию ребенка был ей хоть когда-нибудь в радость: она не только растила, но даже баловала его чужими руками, будто она рвалась показывать «гордость» и опрометчиво делала жесты по бросанию супруга – и будто не взваливают (не имея возможности даже рассуждать о посиль-ности) на себя этот труд миллионы бросаемых женщин. Жене – не справиться. Пелена с глаз спадает – остается только вернуть Пастернака.

«Маму пригласили к себе папины друзья < >, которые жили недалеко от Берлина. Меня восхищала самостоятельность их сына Марка (по-домашнему Маки), который был на год младше меня и один ездил в Берлин на поезде. В нем воспитывали мужественность и независимость».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 355.

Женичку воспитывали по-другому. Вообще-то это было бы справедливо, если бы за плоды такого воспитания – за «последствия», как Пастернак называл позже старшего сына – Пастернак разделил бы ответственность. Но с другой стороны, это было его поддавками Жене. Не любовь к жене – а разделенный «непосильный труд по уходу за ребенком».

Человеческое дитя создается по мерке человеческих сил. Место человека в этом мире было задумано таким ничтожным, что человек запросто может быть выброшен из жизни, но род человеческий от таких регулярных случайностей не выводится – другой зачавший докормит дитя. Если Жене вдвоем с Борисом (плюс штат) было еще возможно осуществлять уход за ребенком, а одной стало абсолютно невозможно – значит, отнюдь не половина трудов была на ней. Так, что-то номинальное, показушное, необязательное.

«Я хочу, чтобы ты восстановил семью. Я не могу одна растить Женю. Если вопреки всей правде ты не хочешь быть с нами вместе, возьми, но не в будущем, а сейчас, Женю. Учи его понимать мир и жизнь».

Там же. Стр. 344—345.

Речь идет не о «правде», «мире» и «жизни», а о пеленках.

«Папа твой тоже, видя < > что деньги у меня пока есть, тоже мне сказал, что если я и правда о работе мечтаю, то место мне только в Париже».

Там же. Стр. 354.

«…денег, которых у тебя будет, надеюсь, всегда больше, чем ты захочешь принять».

Знаменитые стремление к самостоятельности и вера в свои силы на таких условиях были, казалось бы, максимально близки наконец-то к реализации.

«В том положеньи раздавленной несчастьем женщины, в каком она явилась бы обузой даже для своих собственных родных, вы сделали для нее больше, чем мог бы кто-нибудь на свете».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 535.

«Обуза» и «родные» – это слова, которые в непосредственной близости могут стоять только («только» сказано в виде художественного преувеличения; имеется в виду, что тип Пастернака в этом отношении – довольно редок) в пастернаковском тексте или кружиться в ЕГО голове. Обуза – сын для матери, сестра для брата…

После всего было еще последнее время подумать, принять решение, – от Бориса пришел ответ еще более неутешительный, и Женя вступает в новую жизнь, определившуюся до конца ее дней. Они возвращаются в Москву, к БОРЕ.

«Носильщик, такси. Вещи втащили в нашу квартиру на Волхонке. Было холодно и неуютно, из разбитых и заклеенных бумагой окон дуло. Ощущение чужого дома, никакой радостной встречи всей квартиры. < > Страшнее всего был вид из окон, куда меня подвел папочка. В лунном и фонарном свете громоздились груды каменных глыб и битого кирпича от недавно взорванного Храма Христа Спасителя. В соседней комнате я увидел две полузастеленные кроватки. Вскоре должна была прийти Зинаида Николаевна с детьми. Может быть, папа думал, что мы будем жить в освободившейся Шуриной комнате, но это было совершенно нереально. Мамочка рвалась уйти. Нас повезли к дяде Сене в Арсеньев-ский переулок».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.
Переписка… Стр. 363.

«Мамочка рвалась уйти» – оказавшись в своей бывшей квартире не по мановению волшебной палочки. Она оказалась там после встречи с Борисом на вокзале, где была возможность спросить: «Куда мы едем? Ты живешь тоже там? С кем ты там живешь, Боря? В моей квартире живешь с другой женщиной и ее двумя детьми?» Вопросы ужасные, такие лучше не задавать никогда – на них всегда все знают ответы заранее, но тем тяжелее, когда этих вопросов не задают, а совершенно очевидные ответы хотят лично увидеть.

Женя вошла в комнату, в которой сиживала на стульях и леживала на кроватях Зинаида Николаевна, где ели и баловались ее дети. Про детские кроватки все понял и ее сын – увидел, где в его квартире спали другие два мальчика, очевидно, гораздо лучшие, чем он, – раз его родной папа хотел жить с ними, а не с ним, – и с ИХ гораздо соответственно лучшей мамой, чем его. Все это Женя захотела показать Жененьку, вместо того чтобы догадаться, какой будет ответ, если она спросит Бориса прямо. Да он и писал. Восторг его писем, сводивший ее в Германии с ума (и сведший), относился к его радости о том, что в непосредственной близости от него, где бы это ни случилось, в будущем – в том светлом и радостном будущем, которое он взахлеб описывал Жене – будет спать Зинаида Николаевна.

Да хоть с кем еще – с кем захочет – хоть со своими мальчиками, хоть с самим Нейгаузом. Принял же яд (йод в пузырьке) Борис в их доме, чтобы там начали за ним ухаживать, звать врача, откачивать – и уложили спать в одной комнате с Зиной (Генрих Густавович, взбешенный, лег в другой комнате. Взбешенный, правда, по неминуемости их взаимоотношений – из-за бессердечности Зинаиды Николаевны к Пастернаку). А уж Женю с Женечком в соседней комнате поселить! Это совсем пустяки – раз они не хотят принимать других решений. Это их желание – жить рядом с ним и Зинушей, зачем препятствовать, так даже лучше. По Жененьку не будет болеть сердце, Женя тоже со временем должна будет окунуться в радость его любви, понять и простить его – да не простить, быть счастливой его счастьем! И так далее…

Оказавшись в реальных декорациях, Женя представила себе, как она начнет распаковываться, а Боря предупредительно будет подсказывать ей, чем теперь она может пользоваться, чем – нет, что теперь будет ее, что – Зинино, он ведь любил порядок. И возможно, она успеет рассказать Боре немного о «папе с мамой», о Жоне, о своих успехах в живописи (когда б не житейские

неурядицы, работалось бы совсем не так!) – но тут придет Зинаида Николаевна с черными глазами и подвижным большим телом, решительная и грозная, как полки со знаменами, и Боря будет думать только о том, как чуть-чуть развеселить ее. Возможно, в этот момент все-таки решится и скажет, чтобы Женя уехала. Ей некуда, и она не обязана, это все так, но здесь главное было бы, что – скажет. Не ради нее, ради Зины.

За этим она и приехала на Волхонку. Можно было бы не приезжать – «мамочка рвалась уйти». Она разве не знала, что все так и будет?

Я знал, что вы это знаете

Когда в 1931 году Пастернак отправил Женю с Женен-ком к родителям (и сестре с мужем) в Германию, будто бы развеяться, его целью было, чтобы родные забрали его бывшую жену с сыном к себе. Было бы, собственно говоря, логично – раз Борис завел себе новую семью, а жизнь в Советском Союзе становилась все страшнее. Но прямо об этих планах никто не говорил, потому что сказать об этом – значило возложить на кого-то обязанность объяснить Жене, что ей придется, несмотря на обещанную помощь Бориса, все-таки как-то о себе позаботиться и самой. Но при всей ее милой кротости и интеллигентности храбрости встать перед ней с объяснениями ни у кого не нашлось.

Женю принять не захотели. Действительно, Борис повел себя глупо и безответственно, не объяснившись с родными откровенно (семья – это жертвы), но уж тогда они должны были потребовать сами откровенности от него и сообщить, насколько для них это тяжко и неудобно, и, как водится, сторговаться наконец по условиям. Само собой, Жене на излишнюю сентиментальность и деликатность рассчитывать бы не приходилось тоже. Таков был бы должный расклад.

Все были тонки, восторженны, эгоистичны, каждый надеялся, что пронесет.

Проблема имелась одна: активная сторона, не принимающая, выталкивающая – это находящаяся в безопасности (увы, тоже – последние годы, но даже путча в Мюнхене еще не произошло) и материальном благополучии семья заграничных Пастернаков. Вытолкнуть Женю назад, будто бы к мужу, на самом деле просто от себя – значило вытолкнуть ее обратно в СОВЕТСКИЙ СОЮЗ.

Из Германии, по встрече родственников, отец прислал ему гневное письмо. «ТАКОЕ, т.е. после которого мне кажется, что у меня с ним было два разговора: один – всю жизнь, другой – в этом письме. Он обращается ко мне как к разоблаченному недоразуменью. И добро бы шел этот гнев на меня, преступника, об руку с любовью к пострадавшим. Но, к ужасу моему, я в словах его прочел боязнь, не свалено ли ВСЕ ЭТО ему на шею, – и тут сердце у меня сжимается за своих, потому что ни на что, кроме нравственной поддержки и развлекающего участья, я в их сторону не рассчитывал, матерьяльно сам обеспечу…»

Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть.

Письма 1922—1936 гг. Стр. 537.

«Папе и маме длинных писем писать не в состояньи. Начинаю и плачу. Они мне непонятны. И я, наверное, переоцениваю тягостность этого открытья: ничего из того, чего у меня к ним не стало, им не нужно и не нужно было никогда».

Следом идет письмо, датированное началом апреля 1932 года, по случаю отцовского семидесятилетия и юбилейной выставки: «Дорогие папа и мама! Всей душой участвую в вашем празднике и разделяю общую радость. Страшно рад за папу: он должен был испытать настоящее, никаким посторонним осадком не отравленное удовлетворенье… »

Письмо достаточно длинное и не слишком лицемерное – в конце он на всякий случай забрасывает (ответа не получил – намек пропустили мимо ушей): «…находясь у Шуры, я только подчинился семейно-торжественной традиции, унаследованной им, с детства мне чуждой и недавно доказавшей мне правоту моего чутья».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 538—539.

«Яс известной стороны < > узнал папу и маму в условь-ях, в которых это потом уже никогда не забывается. < > непосредственность отношенья к ним < > теперь утрачена навсегда. Я их люблю, как любят родителей, но с ощущеньем, что жизнь моя протекает на их глазах, им близка и чем-то может их порадовать, расстался. < > мне многое сказали факты, которые родителям показались естественными, а мне нет».

Там же. Стр. 537.

Пастернак деликатно (ну что тут распространяться, писать все равно нельзя, а думать, как выкручиваться иносказаниями, не хотелось, тем более что уже все было позади. Женя с Женеком были отторгнуты от сытого семейства, в предоставлении убежища – будем называть вещи своими именами – им было отказано) описывает обстановку в России так: «…если не везде, то в некоторых местах жизнь идет не только не по справедливости, а как раз наоборот, наперекор логике».

Там же. Стр. 554.

Писал эти строки Пастернак, вернувшись с Зиной из поездки («творческой командировки») по Уралу, где он должен был осмотреть новую жизнь и «что-нибудь» написать. Спустя тридцать лет настоящая коммунистка Зина вспоминает: «…дали нам домик из четырех комнат. Время было голодное (Бывали неголодные? Ей так казалось потому, что Пастернак, как увидим дальше, впредь

отказался ездить в творческие командировки и уже не все видел), и нас снова прикрепили к обкомовской столовой, где прекрасно кормили и подавали горячие пирожные и черную икру. В тот же день к нашему окну стали подходить крестьяне, прося милостыню и кусочек хлеба. Мы стали уносить из столовой в карманах хлеб для бедствующих крестьян. Как-то Борис Леонидович передал в окно крестьянке кусок хлеба. Она положила десять рублей и убежала. Он побежал за ней и вернул ей деньги. Мы с трудом выдержали там полтора месяца. Борис Леонидович весь кипел, не мог переносить, когда кругом так голодают, перестал есть лакомые блюда, отказался куда-либо ездить и всем отвечал, что он достаточно насмотрелся. Как я ни старалась его убедить, что он этим не поможет, он страшно возмущался тем, что его пригласили смотреть на этот голод и бедствия затем, чтобы писать какую-то неправду, правду же писать было нельзя».

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.

З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 278—279. Пастернак родителям пишет уже устало (ясно, что он сокрушался, что писал родителям на Запад слишком восторженно, когда переживал роман с Зиной: сложно, радостно, уверенный, что его поймут и устроят даже лучше, чем он представляет, – во всяком случае, дадут не меньше, чем он все-таки (постфактум, когда было уже поздно, он не скрывался и писал прямо) просил.

Он был уверен, что все были так же влюблены, как и он. В кого? Как и он – во всех. Он был влюблен в Зину, в Женю («никогда так не любил Женю и Женечка, как сейчас»), в Гаррика (так, что сейчас говорят – только в него), в родителей, в сестер… Гормоны его дрожали в унисон с Зини-ными, а ведь у других-то эндокринный фон был совершенно спокоен! Почему это не пришло ему в голову? Отец зло одергивал его в письме за восторженную многословность, Пастернаку казалось – единственно имеющую отношение к истинной жизни, оказалось – бессмысленно сломавшую то, что можно было подклеить и поставить в другое место; муж сестры Федя (сестра не заступилась) злобно указывал на дверь Жене. Борис Леонидович проявлял преступную инфантильность – он должен был взять себя в руки и открыто написать родителям, чего бы он хотел у них попросить. На каких условиях принять Женю, в чем ей помочь, сколько он намерен им выплачивать за ее поддержку (надежд на ее самостоятельность – при всем ее «стремлении» – не было).

Ее сын пишет в биографии своего отца самые далеко отстоящие от правды слова, характеризующие Евгению Лурье, ничего более далекого от ее характеристики, чем то, что написал любящий сын, нет. Сделал ли он это нарочно, чтобы этим

вызывающим холодом притушить могущее разгореться пламя критики у читателя, который, не имея намерения особенно разбираться в характере Евгении Владимировны (и тем более выводить ее на чистую воду), так, бегло составляя себе очерк близких Пастернаку лиц, удовлетворился бы одной лестной фразой, а потом стал удивляться, что вовсе все не так? Или, может, пел свою песню любви к мамочке, мало заботясь о том, насколько походила смуглая леди его сонета на реальную барышню. «Главным в ее характере было стремление к самостоятельности и вера в свои силы».

ПАСТЕРНАК Е.Б., ПАСТЕРНАК Е.В. Жизнь Бориса Пастернака. Стр. 185.

Ну, стремление к самостоятельности – так стремление к самостоятельности. Действительно, ведь не то чтобы сразу после гимназии замуж выйти – куда-то там поехала, поступила учиться. Ни разу в жизни не работала, дверь ключом открыть не умела, продукты из бумажек развернуть, – да какое нам дело…

Вот такую Женю Пастернак чувствовал себя обязанным оберегать и впадал за нее в «…состоянья бредовые и полусумасшедшие».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 554.

Биограф его Е.Б. Пастернак считал это справедливым.

Если кто не писатель, не жена, не сын, а простой – то может попасть в круговорот голода и звериной нищеты. Люди жили в звериных условиях, но наказывались еще и за инициативу (благодаря которой звери выживают и не теряют хотя бы звериного облика). Народ наш мелок, малоросл, много очень плохих зубов, жестких волос и непромытой кожи (бесперебойная горячая вода, кажется, и сейчас еще в дефиците?). Идеология заставляет, однако, иметь еще и восторженный пропагандистский взгляд; понятно, никто его не имел, но знание того, какой вид надо принять, если себя случится предъявить (у нас полагалось – не себя, а воплощенного в себе счастливого рабочего или колхозницу), вносило еще большую хаотичность, неосмысленность в вид массы людей. Все это наблюдал Пастернак, проехав по России до Урала, увидел Таньку Безочередову, дочь Юрия Живаго, сестру Женечки. Возможно, уже знал, куда логика, наконец проявившись, приведет: «Мне иногда мерещатся разные ужасы в будущем, общие, всенародные… »

«Вот почему я хотел, чтобы они были за границей, и вот отчего меня так испугали твои и Федины меры. Я знал, что вы это знаете».

Там же. Стр. 554.

«Эти ужасные видения, многие годы спустя вставшие перед его глазами, снова возвращали его к не осуществившимся по вине родителей и Ф. Пастернака мечтам о том, чтобы его сын с матерью остались за границей».

Там же. Стр. 555.

Если рассмотреть историю последнего пребывания на Западе абортивных масс семьи Пастернака, «с болью оторванных от себя» Жени с Женечкой, с точки зрения таких еще памятных многим отказников, невозвращенцев, тех, кто переплывал Финский залив на надувных баллонах, кто под огнем перелезал через Берлинскую стену, – то поступок «толстовской закалки» пастернаковской семьи кажется совершенно диким. Людям удалось выпрыгнуть из клетки – как поднять хлыст, чтобы загнать их обратно? Никто не обязан за Пастернака воспитывать его жену – но сдать ее назад было бесчеловечно с чьей бы то ни было стороны. Как ни смотри на заграничную семью и ни удивляйся холоду стариков – только Борис мог бы оградить их от непременно воспоследовавших бы упреков: если б это старики взяли на себя труд без сантиментов открыть Жене глаза, то, оставшись по их настоянию, Женя задушила бы их упреками и своим «требовательным упрямством и невещественным теоретизмом».

Там же. Стр. 557.

Вина полностью Бориса Леонидовича, что он не пожелал отвлечься от такой сладкой картины всеобщей любви и сожительства – «только тут, в этой обстановке чистого и взаимно восторженного доверья, можно было бы впервые увидать и решить, как нам жить и расти всем дальше, как воспитывать детей и что им сказать».

Там же. Стр. 517.

Ему никто не чинил препятствий, и он экспериментировал в строительстве Города Солнца. Не удалось: Зина рассыпалась перед недоуменным взором ребенка в сломанную игрушку, Женя осталась ненужным другом на всю жизнь, родителям писались почтительные и по-старому (еще более формально, а если откровенные – то чересчур откровенные, презрительно откровенные, как будто человек не потрудился прикрыть свою оскорбительную наготу, а не дарил доверием) восторженные письма. А с другой стороны – кто им обещал Город Солнца? Кто из них так уж заслужил его?

Женю никто не был обязан привечать в Германии. Бросать жену с ребенком на родственников – это было бы слишком хорошо для устраивающихся в личной жизни мужчин. Другое

дело, что родственники могли понимать, что Женю не просто выдавливали из дома, а – так совпало – на переломе судьбы дали шанс устроить ее еще и в лучшую сторону: она уже оказалась на Западе.

Впрочем, и Женя должна была проявить себя как отдельная дееспособная личность – не как обмяклая, бездельная, требовательная и избалованная кукла. Она не хотела ни с кем обсудить свое положение, свои перспективы. Она не хотела с благодарностью принять гостеприимство – при всем холоде Пастернаков ей на время могли бы его предоставить. Она хотела навсегда остаться при чьей-нибудь семье гостьей. Все равно при чьей: Жониной с детьми и чужим Жене человеком – главой семьи банкиром Федей, или деятельных и амбициозных «стариков» Пастернаков, которым тоже не улыбалась перспектива иметь – и содержать – при себе ущербную родственницу. Даже если при всей широте их взглядов они могли сочувствовать американской ментальности, согласно которой держать в семье недееспособных членов (они были и практически во всех знаменитых американских семьях – просто по причине многочисленности кланов их подсовывала туда статистика) было вовсе не обязательно с точки зрения морали, вполне было достаточно поместить их в достойные и для них подходящие условия.

Гостем же Женя собиралась быть долговременным (кто-то должен был ей «растить Женечка», а это не год и не два) и не скромным. Пансионаты, студии, магазины – все в том ритме, в каком живут желанные, на краткий срок приехавшие гости, которых хозяева переживают напряженно, возбужденно, на пределе сил. Борис, знавший все о Жене – «ее ребяческий эгоизм», «привычка баловать Женечка чужими руками», – затаился. Подробно и таинственно описывал он родителям на многих страницах тонкости своих чувств с Зиной, сидя с ней в Москве, готовясь жить долгую счастливую жизнь и стараясь не заглядывать за будущий железный занавес, надеясь, что кто-то где-то устроит его семью. Он восторженно описывал родителям его нескончаемую связь с Женей (отец был прав, холодно и резко одернув его), чтобы и они включились в этот всемирный поток непрерывных (как было бы хорошо!) связей, подспудно обрезая родным пути к отступлению: как, вы хотите таким тонким, трепещущим отношениям выставить счет за содержание?

Людям неприятно чувствовать себя марионетками. Пастернак был разгадан. Его игры – не игры пусть холодных, но не подневольных родных. Женя была готова прятаться до последнего. Пастернак никогда не смог бы себя заставить прямо написать: «Попробуйте уговорить Женю остаться, здесь никаких

перспектив у нее нет, слишком долго лечить» и потом платить по счетам. Леониду Осиповичу на старости лет тоже выпала задача не из приятных: из блестящего художника, самоотверженного отца, человека, которому выпала честь быть равным соучастником полета великого духа в бренном мире, – все это создал его родной сын! – вместо этого надо было напрячься и сказать невестке, что ей крупно повезло: и удалось сбежать из СССР, и найти первоначальную поддержку у родственников. Однако не более того. На фронте и в тюрьмах нет даже шизофрений (никто не будет им потакать), а уж легкие дамские истерии, нажитые в семье и при муже, который готовит жене чай, – они вообще убираются одной фразой, сказанной суховатым тоном.

Женю мучили долго. Читали письма, которые она без особого напряжения принимала за любовные, умоляли всех родных «попринимать» ее, как путешествующую принцессу (вместо того чтобы оплатить курсы стенографисток), РАДОСТНО ждали в Москве.

До Жени им не было дела, они были очень эгоистичны, Пастернаки. У них все делалось расчетливо, все денежные помощи тщательно фиксировались, учитывались, и когда Жене можно было бы реально помочь – действительно ей было бы лучше вырвать, оторвать старую жизнь и начать новую, – его родня не захотела ее принять. «…ещераз о Зине. Истекшей зимой, перед возвращением Жени она хотела очень написать вам, несколько раз порывалась, и только я этому препятствовал < > (она бы об этом не писала, но ты бы не мог не сделать этого вывода) – из ее письма тебе стало бы ясно, что Жене лучше остаться за границей, а это меньше всего тогда хотелось тебе слышать».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 542. Тема даже не обсуждалась, чтобы не объявлять войны.

Фотографии на память остались вполне приличные, очень живые, полные намеков на семейные тайны (семейство было не простецкое), и виной Бориса оказалось плоское неприличие того, что почтенный человек Леонид Пастернак отказал в гостеприимстве невестке с внуком, не дал им раскрыть рты в его доме. В общем, все были раздражены, что Пастернаку пришла в голову такая коварная мысль – перехитрить всю родню и сдать ей брошенную жену. Хитрость действительно хитростью и попахивает, но за исключением того, что план этот надо бы было

объявить открыто, оставить Женю за границей оказалось бы лучшим вариантом. Объективно говоря, почему бы ей было и не устроить действительно свою судьбу, свой Париж?

Муж ей сказал с древней простотой: «свободна», дал денег, употребил свой статус для возможности отъезда за границу; было здоровье, начатки образования, связи, совершенно дееспособное женское обаяние – что-то из этого списка помогло бы ей устроиться и начать новую жизнь, – она не захотела.

Конечно, не художеством, но устроиться – да, на какой-нибудь мизерной службе (у нее разве были данные к другой?), выйти замуж она бы смогла. Забывать семейную драму вдали легче, бесповоротность само по себе сильнейший анестетик, но Женю даже погостить в Жоничкин дом не пустили.

Впрочем, одного позволения остаться могло быть мало. Возможно, Женю и уговаривать еще надо было: становиться нищей эмигранткой, чего доброго, как Марина Цветаева, ей совсем не хотелось. Уже ей было ясно, что Пастернак в России всегда обеспечит ей определенный уровень («возможность большого богатства, слава, известность»).

Откупались: «…Бабушка < > покупала мне все необходимое. Мы с ней отправились в огромный магазин детских товаров, который назывался KDW. К нам приставили приказчика со стулом, который он тянул за собой за высокую спинку, – на него накладывалась горка отобранных бабушкой вещей. Результаты этой экспедиции заняли большой фибровый чемодан, купленный для этого случая, и который пережил тяготы войны, эвакуации и перемены нескольких квартир. Тогда была куплена мне непромокаемая „пелерина лоден“, под которой можно было носить школьный ранец, вызывавшая удивление и насмешки моих московских сверстников. Лоден верно служил также и нашим детям. Купленные тогда белые рубашки с отложным воротником баварского фасона я носил вплоть до войны. Какой-то свитер из тех, что дарила мне бабушка, донашивала кузина моей жены в I960 годы».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 361.

«…со стороны моих родных ты не нашла той сердечности, в которой я, дурак, был почему-то уверен».

Там же. Стр. 351—360.

Женщины глупее мужчин. Мужчины верят письмам, улавливающим их в литературные сети сдвоенного брака только

до тех пор, пока не убедятся, что тот, Второй, не узнав или не оценив возможности поиграться в этом двойном браке, просто женится. Весь карточный домик распадается, и каждый из мужчин свое решение принимает довольно быстро. Евгения Владимировна посвятила чужой игре всю свою жизнь. Она воспитала сына в необыкновенной близости к отцу – и в близости к его семейной жизни.

Евгения Владимировна была столь же эмансипирована внутренне (в сути своего женского и материнского естества), сколь женственна внешне. Развод поставил перед ней проблему, решение которой она обозначила очень четко, но вряд ли это решение приобретет ей многих сторонников: «Если вопреки всей правде ты не хочешь быть с нами вместе, возьми, но не в будущем, а сейчас, Женю. Учи его понимать мир и жизнь».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 344—345.

«Я не могу одна растить Женю».

Там же. Стр. 344.

Официально нейтральное «Женя» звучит угрожающе, с холодным осознанием своих прав и пастернаковских обязанностей, «учи его понимать мир и жизнь» – издевательски. А предмет ее насмешек – «мир и жизнь» ее ребенка.

«Она предлагает мне взять его, но в данную минуту мне взять его некуда, потому что я и Зина можем существовать фантасмагорически, везде и нигде, Женечка же в эти условия нельзя ставить».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 534.

Зина с Пастернаком существовали фантасмагорически, везде и нигде не вдвоем, а с Зининими детьми, с Адиком и Стасиком, которые просто были «не так избалованы, как Женечок».

Странные, жестокие, детоубийцынские пути приводят женщину к вытягиванию на сцену ребенка, когда решается ее разрыв с мужем. Как ни посмотри на эту проблему, как ни определи место ребенка при разводе родителей, как только его предъявляют отцу, как только упомянут его имя (а ведь он часть отца и никто не может прибавить или убавить что-то в их взаимных отношениях), пути эти начинают иметь только одно название: спекуляция.

И при этом – «…естественное чувство материнства», которое несомненно есть у Жени… Тем хуже.

Подставной муж Варвары Тихоновой, в крепостнических

традициях юридический отец дочери Горького, дяги-левской (от голода) балерины Нины Тихоновой, пока не был расстрелян, высылал на содержание эмигрировавшей семьи деньги – их хватало благодаря организованным Горьким заработкам в Советской России. Горький не только сам жил, по-принцевски сына с любимой невесткой содержал, но и алименты за счет молодой республики платил. Смог бы прокормить в Париже семью и Пастернак. А там и в банк бы сын работать пошел, а еще лучше – действительно по инженерной части. Великие князья считали за удачу.

Как Пастернаки понимали друг друга в переписке? Они не виделись много лет, только обменивались многостраничными письмами, в которых так трудно разобраться. Во всяком случае, когда речь идет не об отвлеченных понятиях, которые, как игры в бисер, интересно рассматривать и читать партии, а о житейских суровых делах – распаде первой пастернаковской семьи, – отец сына резко одергивает: «Мама с папой звонили. Бред, – девятилетняя разлука, и вдруг этот ночной разговор, верный одной-единственной теме, что квартира должна быть очищена (то есть чтобы Борис с Зиной съехали из комнаты на Волхонке к приезду Жени), как гипнотическое внушенье. (С их стороны – святость, горячо мной оцененная: разговор с родным сыном и шесть минут только о деле, только о внуке. Только о внуке и больше ни о чем)».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 524. Когда родители звонили, Женя с Женечком были уже в пути. Родители испытывали необыкновенное облегчение – было ясно, что их не выпустят еще раз, клетка захлопнулась прочно, но нужно было быть еще и уверенными, что мама с сыном будут жить в комфортных условиях, что их никто не выгонял в неустроенную неизвестность. Роли поменялись: теперь родители Пастернака хотят Боринымиими руками устроить комфортное существование Жени с Же-ненком и демонстрировать заботу об этом. Ведь «очищать» квартиру или не «очищать» – теперь должен был разбираться Борис, а родителей, после того как они выдали свою порцию семейной взаимовыручки, можно было бы попросить не беспокоиться. Что-то вроде этого Борис и сделал: когда Женя приехала, ее с Женечком торжественно и радостно повезли в комнаты на Волхонке (за Пастернаками числилось две, вторую занимали Борис с Зиной и ее двумя детьми). Женя «рвалась уйти» (и вырвалась). Других вариантов ни за какие деньги по Москве было не найти. Разве что Зина с Борисом ночевали на полу у знакомых, Женя отправилась к брату Сене. Родители Бориса

показали себя со святой стороны. Ролевые игры.

Бесплодие – большой грех, просто так не лишат потомства. Отец (тогда еще будущий) Пресвятой Богородицы не был выслушан односельчанами на собрании за то, что не имел детей: что он может понимать о проблемах людей, их истинных планах, какой инстинкт проверит его мудрость? Его просто выставили вон, чтобы он не балаболил попусту среди людей, которые могли решать вопросы жизни и смерти, – они уже кое-что из этого короткого, но важного списка выполнили. Имеющий детей далек – настолько, насколько это можно представить себе теоретически – от самого страшного, по учению нравственного закона внутри нас, продиктованного и записанного буквами в каждой религии греха – самоубийства. О чем думает собирающаяся кончать с собой мать, оставляющая ребенка? Нервный, избалованный, ни к чему не готовленный Жене-нок, не нужный родным бывшего мужа (она не пыталась пристроить его к – этого все-таки можно было бы ожидать – более отзывчивой СВОЕЙ родне), – на кого она его бросала? СВОЯ родня могла приютить сиротку – но даже самый умный брат Сеня не смог бы заставить Пастернака жениться вторично.

«На вопрос, как же она решается оставить своего ребенка (это Женя еще надеется в Sanatorium, что родные виноватого мужа избавят ее от Женeнка и она отправится в новое плавание хоть и без надежной опоры, но и без обузы), мама сказала, что сейчас не может его видеть, потому что чувствует себя злой и безумной. Она пыталась покончить с собой, и это не получилось, но ей незачем жить и лучше умереть. С грустью и болью записывала мамина собеседница эти слова и добавляла от себя: „Ах, если бы у нее было хоть немного самообладанья. И такой эгоизм“».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 333.

«Иногда мне кажется, что ты и наши готовы теперь пожалеть, что я своевременно, то есть весной, не открылся вам определеннее, что тогда все было бы по-другому, и Женя не была бы отослана на явную пытку < > и для того, чтобы застраховать себя от действительно непосильного ухода за ребенком (здоровым девятилетним мальчиком), человека уговорили сделать ложный шаг».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 522.

В стране, куда «большие» Пастернаки с негодованием вернули Женю, начинались тридцатые годы, – но люди не живут

политическими эпохами, они живут своими личными жизнями.

До 35-го года

Не ею устроенной судьбы за границей не получилось, Женя вернулась, готовая своим – придавленным, неотступным, неотвязным – способом бороться здесь.

«Пелагея Васильевна Балашова, уже старая женщина, бывшая в двадцатые годы председателем партколлегии Московского горкома партии, рассказала (6.10.67) об одном случае, происшедшем на пороге тридцатых годов. Пришла к ней очень интеллигентная молодая женщина „по бытовому вопросу“. Она жаловалась на мужа-писателя, который уходит от нее с сыном к другой женщине.

Предупредила, что хотя муж и беспартийный, за него, по-видимому, заступится Луначарский. Просила воздействовать на мужа. А этим мужем оказался Пастернак.

И вот П. Балашова решает этого «беспартийного мужа» вызвать на серьезный разговор в присутственное место. К ее удивлению, он приходит незамедлительно, спокойно выслушивает ее увещевания и деловито спрашивает – что ему надлежит делать.

Не встретив никакого сопротивления, Балашова предлагает ему написать письменное обещание исправиться. Он охотно берет перо, под ее диктовку неторопливо пишет это «обязательство», прощается и уходит… »

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени.. Стр. 64.

М-me Пастернак, бывшая Женя Лурье, несомненно была очень интеллигентной женщиной и хотя бы поэтому знала, что именно это ее качество, тонко продемонстрированное, может произвести впечатление на бывалую партийку. Жены-то у писателей отнюдь не всегда настолько интеллигентны.

Вряд ли и решение о походе в горком далось Жене не без труда. Скорее всего совершенно без малейшего труда. Миг показался счастливым, когда она вспомнила еще и об этой возможности – пусть он там сто раз «беспартийный».

Отвертываются от Бога в сторону свободы, а уж какие мерзостные формы принимает совершенно неизбежное принуждение в рамках этой свободы – вот мы видим. Женя Лурье сует голову под епитрахиль Пелагеи Балашовой.

Силы иногда оставляют Евгению Владимировну, и она тогда срывается со своего тона, который сделал ей репутацию на всю жизнь: мягкого, тонкого и интеллигентного, тона человека, при безупречности манер умеющего постоять за себя и имеющего что

сказать. Письмо – как приложение, как документ к походу очень интеллигентной (как для писательской жены) дамы Евгении Владимировны, бывшей Пастернак, в профком с ходатайством о возвращении ей мужа. Странным образом эпистолярные крики в стиле кухонной разборки (не наедине – при свидетелях, лучше – при свидетельнице, сестре или лучшей подруге) появляются в тонком, жалком, пронзительном в понятности горя («Как и почему это въехало в мою жизнь?» – это новая Федра) «письме горлицы»: «Ты заткнул мне рот на 6 месяцев <…> Ты ведь ходишь с расстегнутыми штанами. Люди делают вид, что тебя понимают и слушают, а отвернувшись, удивляются <…> Я не хочу шататься по миру <…> Я не могу одна растить Женю. <… > Возьми, но не в будущем, а сейчас, Женю. Учи его понимать мир и жизнь. <…> Зачем таскать за собой Женю… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.
Переписка… Стр. 344—345.

Пастернак чувствовал, что просто разойтись будет мало и все будет зависеть от того, захочет ли уйти насовсем Женя. Но Женя была перфекционистка, и Пастернака она должна была доработать так, чтобы он был ее – и ничьим другим мужем. Довольно рано ей открылась полная недостижимость этой цели в этой жизни, в этом рождении. Как бы ни исправился Пастернак, как бы он ни раскаялся, но одного дня, когда он сказал «Зина – моя жена», а она, Женя, у которой было столько прав, у которой у одной только и были права на Пастернака, была не женой, – одного этого было достаточно, чтобы тот день был и никуда не мог уже исчезнуть. В раскладе судьбы это существовало, а значит, Жене было не под силу это стереть из картины мира. Ну а Пастернаку соответственно избавиться от нее было тоже невозможно – разве что отправить за железный занавес, в другую реальность. Иллюзия, оттяжка времени. Там не захотели принять, а здесь было интереснее самой Жене, она сама не захотела, чтобы ее миновала сия чаша. Она чувствовала, что не над ней будет милосерднее судия, а она сама не познает жалости ни к кому. Женя своего не уступила.

«Недавно <> у Жени в мое посещенье сделалась истерика, Женек был ей свидетелем. Улучив минуту, когда она вышла в уборную, он торопясь говорит мне: „Пойми, это нервный припадок. А ты разговариваешь и все ухудшаешь“. Вдруг он весь выпрямился, глаза у него налились слезами. „Ивообще, когда ты, наконец, к нам переедешь?“ – и пошел и пошел, дав волю чему-то давно мучившему и накопленному. Сила, вложенная в эти

расспросы и упреки, была невероятна. Я ушел уничтоженный. Он отстранял мои ответы с азартом взрослого, коротким языком изнывшей и взорвавшейся воли». Все было тысячи раз проговорено матерью. «"Я не могу и пр.", – туманно отвечал я. „А ты моги!“ – „Ты когда-нибудь поймешь, Женек“. – „Яи теперь все понимаю“. – „Кто тебя научил так говорить?“ – „Этому учит природа“.

Возвращенье Жени в комнату застало его возбужденно бегающим по ней. Он говорил обо мне в третьем лице и точно отдавал приказанье. «Мы просто не отпустим его. Я его знаю. „Когда-нибудь…“! Это значит никогда. Надо просто запереть двери. Я не выпущу его. Звони дяде Шуре, чтобы перевезли его чемодан!»»

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 535.

«У подъезда бывшей квартиры Пастернака вижу женскую длинную фигуру в новомодном пальто, к-рое кажется еще таким странным среди всех прошлогодних коротышек.

Она окликает меня. Узнаю в ней бывшую жену Пастернака, которую видел лишь однажды. < > Пришли. < > Через минуту, как вошла Евг. Вл., стало ясно, что приходить ей сюда не следовало. З.Н. не сказала ей ни слова. Б.Л. стал очень рассеян, говорил невпопад, явно боясь взглянуть нежно или ласково на Евг. Вл. Пильняки ее явно бойкотировали, и ей осталось одно прибежище: водка. Мы сели с ней рядом, и она стала торопливо глотать рюмку за рюмкой, и осмелела, стала вмешиваться в разговоры, а тут напился Габричевский и принялся ухаживать за ней – так резво, как ухаживает-ся только за «ничьей женой». З.Н. выражала на своем прекрасном лице полное величие. < > По дороге она рассказала о том, что Пастернак не хочет порывать с нею, что всякий раз, когда ему тяжело, он звонит ей, приходит к ней, ищет у нее утешения («а когда ему хорошо, и не вспоминает обо мне»), но всякий раз обещает вернуться. < > Теперь я понял, почему З.Н. была так недобра к Евг. Вл. Битва еще не кончена. Евг. Вл. – все еще враг».

ЧУКОВСКИЙ К.И. Дневник. Т. 2 (1930—1969 гг.). Стр. 58.

Лидия Корнеевна Чуковская в год смерти Пастернака подсчитывала (возражая Анне Ахматовой, ворчливо пресекавшей причитания – что там безвременного – пожил!): был рассчитан на 100 лет, а умер в 70, в 60 был влюбчив, как юноша.

В сорок же он был влюбчив, как сбитый с ног гормонами подросток. Гормоны были не только физиологические: бродила в крови, мутя ее, творческая, все уловляющая в сети любви

закваска. Все – его. Подать сюда Зинаиду Николаевну! Или этот мир не обещался ему?

Совсем небольшое проходившее время пресловутую пелену съедало, как всякий туман. Никто не ошибался, когда расписывал, как поражен был Пастернак, все более осознавая, что с ним произошло всего лишь временное наваждение. Тем более тенденциозными кажутся теории, притягивающие объяснения к какой-то концепции. Биограф-наследник полагает, что самая сокрушительная любовная история в жизни Пастернака произошла из-за того, что с героиней предыдущего романа у него было только две комнаты в коммуналке, а отнюдь не отдельная квартира, и книги печатались несколько меньшими тиражами, чем впоследствии при второй жене, и Литфонд отказал в денежной ссуде. Как для Пастернака – вполне достаточно. Есть и теория, что ушел от правоверной еврейки к гойке (или шиксе), называется такое поведение – «жлобский уход от первой жены». Автора не хочется даже указывать, будем считать, что так говорят в народе.

6 марта 1930 г. «Дорогая мамочка! …Я очень устал. Не от последних лет, не от житейских трудностей времени, но от всей своей жизни. Меня утомил не труд, не обстоятельства семейной жизни, не забота, не то, словом, как она у меня сложилась… »

ПАСТЕРНАК Е.Б. Борис Пастернак. Материалы для биографии. Стр. 464. Пунктуальные «не» обозначают «да» – утомил кризис в работе, безрадостные отношения с женой, неразделенная забота – вся жизнь.

Любовь, как вещь абстрактная и беззащитная в своей абстрактности, формально может воспринять любую теорию. Пиши какое хочешь объяснение, любовная история в своей канве будет соответствовать ей. Такие теории объясняют позицию теоретика, не теоретизируемого.

В общем, Пастернак сделал ошибку в первый раз, потому что его подловили обстоятельства, а он подумал, что ошибку легче будет исправить, чем отвертеться от совершения. Второй раз ошибку совершил по зову сердца и крови. Успел вроде и насладиться – но время, отпущенное ему на безрассудную любовь к Зинаиде Николаевне, таяло на глазах. Он слишком много рассуждает в письмах. Кроме привычной для него беззастенчивой обнаженности, – которую он рассматривает и изучает вместе со своими корреспондентами, – виден холод, который неумолимо под-стужает их отношения с Зинаидой Николаевной, как холодная балтийская вода равномерно прибывает в камеру к княжне Таракановой. Пастернак не мечется, руки не заламывает.

То, что его не убило, сделало его сильнее: раздирающая жалость к первой оставленной семье (они ни одну слезинку не проглотили молча и не на виду) сделала его жестким и жестоким к Зинаиде Николаевне. Золотую свою девочку Ольгу Ивинскую он вообще встретит внимательным к своему душевному, чувственному, интеллектуальному и бытовому комфорту циником.

Истории Зинаиды Николаевны просты и прямолинейны. От того бывают иногда смешны. «Когда я бросила Генриха Густавовича, его отец написал мне суровое письмо. Там была такая фраза: „Гарри говорит, что Пастернак гений. Я же лично сомневаюсь, может ли гений быть мерзавцем“. Но к всеобщему удивлению, этот самый отец, придя к нам на Волхонку познакомиться с Борисом Леонидовичем и навестить своих внуков, сразу же влюбился в него и, несмотря на свои девяносто с лишним лет, стал ежедневно приходить к нам пешком с Трубниковского, не считаясь с дальностью расстояния… »

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.

З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 277.

Густав Вильгельмович сохранил свою влюбленность до конца.

«Я < > навещала Анну Андреевну и раза два заставала у нее Пастернака. Однажды это было уже „под занавес“… Заканчивая беседу, он перевел разговор на свое, домашнее. Недавно умер тесть. Пастернаку досталась его шуба. Теплая. „Сейчас пойду проверю“, – ловко прощается он, быстро надевает в передней шубу и уходит в морозную ночь. Странно было видеть его уютную светскость в этом жилище беды».

ГЕРШТЕЙН Э.Г. Мемуары. Стр. 215.

Судя по дате, «у Пастернака» умер старик Густав Ней-гауз и оставил ему, как самому близкому (сын Генрих сам был богатый артист) человеку, шубу. Назвать его тем, кем он ему приходился на самом деле – отнюдь, как легко высчитать, не тестем, – постеснялся, Анне Андреевне хватило бы издевок на всю оставшуюся жизнь, да и другие дамы, надо полагать, были бы фраппированы, но шуба явно была отказана ему от души.

«Говорит Пильняк, что в Японию ему ехать не хочется. < > Жаль, что не едет со мной Боря. Я мог достать паспорт и для него, но – он пожелал непременно взять с собою З.Н., а она была бы для нас обоих обузой, я отказался даже хлопотать об этом. Боря надулся, она настрюкала его против меня, о, теперь я вижу, что эта новая жена для П<астерна>ка еще круче прежней. И прежняя была не золото: Боря у нее б<ыл> на посылках, самовары ставил, а эта… »

ЧУКОВСКИЙК.И. Дневник. Т. 2 (1930—1969 гг). Стр. 59.

«Она очень обижается, когда до нее доходят сведения о моих восхищеньях ею с этой хозяйственной стороны, замечая, что эти кухарские лавры ей не льстят и она их не добивается, но и трагедии из нынешнего нашего образа жизни не делает».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 589.

Восхищенья не питают любовь, они пугают возлюбленную: любые таланты могут пойти на убыль, любовь должна быть беспричинна. За кухарство быть любимой обидно даже Зинаиде Николаевне.

«… в вечной беготне между разными очагами хозяйства, поочередно сваливаясь то от воспаленья легких, то от операций < > в особенности последнюю зиму, Зина и сейчас работает не покладая рук. < > Второй год, отчасти по вине моей милости ей приходится стирать, мыть полы и пр. и двое детей на руках у ней».

Пастернак, обдумывая Спекторского: «…в мыслях я поселил его в нижнем этаже одного двухэтажного особнячка на Тверском бульваре, где когда-то, кажется, помещалось датское консульство. Жизнь обернула все так, что < > в полувоображаемое место полувоображаемого действия попал я сам. Я переехал сюда позавчера, это две комнаты с еще недоделанной ванной и непроведенным электричеством, временная квартирка, предоставленная мне, Зине и ее детям Всероссийским Союзом писателей»

Там же. Стр. 543.

«…Зина чуть ли не ежедневно стирает и моет полы, т.к. кругом ведутся строительные работы, и когда входят со двора, следят мелом и песком. Через неделю мы вчетвером поедем на Урал и на этот срок брать работницу не имеет смысла».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Пожизненная привязанность. Переписка с О.М. Фрейденберг. Стр. 178.

«Несмотря на бедную обстановку, мы были очень счастливы. При доме был садик, где я гуляла с детьми, а обеды мы брали тут же в литфондовской столовой. Таким образом, я обходилась без работницы. („При Женичке воспитательница, и у Жени пожилая опытная прислуга“.) Так мы жили спокойно три месяца. Потом опять появилась Евгения Владимировна. Квартира ей очень понравилась, и она попросила нас поменяться с ней. Мне очень не хотелось расставаться с этим уютным и обжитым углом, к тому же я не доверяла ей и боялась, что снова придется куда-нибудь переезжать».

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.

З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 276—277. Поменяться все же пришлось.

«У Жени хорошая двухкомнатная квартирка. Она ровна душой».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 554.

Ну и слава Богу.

«Памятуя мое берлинское увлечение музыкой, бабушка распорядилась, чтобы ее рояль папа при нашем переезде отдал мне, и его перевезли к нам в квартиру на Тверском бульваре».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 378.

Бабушка не полюбила Женю за годы ее брака. Два раза не захотела забрать к себе внука, даже выполняя желания родителей – невысказанные, конечно. Легче всего в их семье такие отношения манифестировались через деньги и ценные вещи. Расплачивался вместо внимания деньгами с родными и друзьями сердца и совести Борис Пастернак; бабушка из-за границы двигала ферзем. В Волхонскую квартиру, отремонтировав и ее, как она отремонтировала выданную ее семье Тверскую, но пожеланную Женей, въезжала пианистка Зинаида Николаевна с сыновьями Генриха Нейгауза. Они-то Розалии Исидоровне были никто, но четвертый член новой семьи был чуть не состоявшийся музыкант, прошедший самостоятельно консерваторский курс, сын ее родной Борис, для которого к тому же мамоч-кино фортепьяно составляло самое вещественное из оставшихся вещественных воспоминаний о детстве, о мире, о семье, о маме с папой.

Музыка – это почти как запах, мощная и нефильтрую-щаяся субстанция. Как-то так Господь нас пожалел, что, кажется, в мире благозвучия и благовония больше, чем зловония и какофонии. Божественные (музыке очень трудно учиться, мало кто из бесталанных не бросает тяжкую зубрежку, остаются заниматься ею по большей части те, кому кто-то высший что-то насвистывает в ухо) звуки или запах лаванды и сосен – вот тебе и рай. Не абстрактный, слащавый (обычно фантазии ни у кого не хватает, чтобы хоть сколько-нибудь привлекательно рай описать), а такой, от какого никто бы не отказался. «Мне так и не удалось оправдать этот подарок, мои уроки музыки не увенчались успехом. Но, приходя к нам, папа подолгу играл на нем. Этот инструмент обладает удивительным звучанием, бабушка сама выбрала его на фабрике Бехштейна в 1880-х годах. Папина игра на рояли была продолжением нашей прошлой совместной с ним жизни, когда он регулярно вечерами импровизировал. На Волхонке было пианино,

на котором иногда играла Зинаида Николаевна, профессиональная пианистка. При ней папе было стыдно несовершенства своей музыкальной техники, и он играл только у нас».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 378—378.

Что и требовалось Евгении Владимировне. Она достигала своих целей не собственными подвигами, а заставляя других чувствовать себя неспособным к ним. Пастернак был способен ко всему.

Зина уже родила двух прелестных, заживших самостоятельной, полной прав и деятельности, жизнью мальчиков, и было ясно, что она сможет родить еще много мальчиков и девочек – людей, и что в любой ситуации она будет действовать решительно, ответственно, имея целью не создавать видимость, а выжить, и – выживет. А Женечка родила клона – Женёнок опустошительно был похож на отца, и чего тогда было от него ждать? Что он наполнится его, пастер-наковским, содержанием – зачем? Все это не внушало радости созерцания действительно новой жизни. Ну а работы – главнейшей составляющей жизни, по-пастернаков-ски, – это еще более очевидно – тоже было не дождаться: Женечка работать руками, телом не могла и не хотела. В доме Пастернака хозяйка не ставила и самовара.

«Я неизменно носил с собой, как талисманы: постоянную мысль о З.Н… »

ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 9, стр. 44.

Конечно, в Зине было за что зацепиться надежде.

До 1937 года, правда, не смогла родить и Зина – «причина была в ней». Выбранная, чтобы родить Пастернаку новый мир, Зина не могла родить ребенка – такая ошеломляюще банально звучащая причина. Не это ли охлаждало Пастернака к жене?

Ужас парижский, или утаенная любовь

Звезду пастернаковской любви застили пятна. Она очень рано, очень неуклонно стала покрываться пятнами. Мало кто мог (пройдет совсем немного времени) чуть ли не без содрогания видеть саму Зинаиду Николаевну, мало кто мог не поражаться взаимоотношениям супругов.

Были, однако же, и протуберанцы.

В 1935 году Пастернака, чтобы показать, как свободны в Советской стране и лучшие, не только самые плохие, писатели, отправили на антифашистский конгресс в Париж. Отправляли под дулом советской риторики. «Поскребышев сказал: „А если бы была война и вас призвали – вы пошли бы?“ – „Да, пошел бы“. – „Считайте, что вас призвали“».

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.

З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 281. Он был болен (дошло до психиатров и санаториев) к тому времени нервным расстройством на почве приступа фантомной ревности к связи, что была в ранней юности у Зинаиды Николаевны с двоюродным братом. Воспоминания о чужом прошлом дались ему так тяжело, что он не смог отвлечься на наконец случившуюся личную встречу в Париже с проживающей там Мариной Цветаевой, перепугал своим состоянием приехавшую к нему в Берлин на свидание сестру Жозефину, не повидался – просто не захотел, не смог заехать, завернуть, сделать остановку – с родителями (не нужно было быть поэтом, провидцем и пророком, чтобы знать почти наверняка, что другого раза не будет), и на обратном пути с полными чемоданами подарков Зинаиде Николаевне – вязаных платьев – его сняли с поезда и оставили в Ленинграде, до Москвы он доехать уже не мог. Плакал, поджидая Зину.

Ну чем не история о любви? О ней много свидетельств: Жозефины, Марины Цветаевой, Али Эфрон, Зинаиды Николаевны, Бориса Пастернака (этих последних как-то не принято в расчет брать, впрочем). Конкретные даты, факты, но все-таки заинтересованные толкователи высказались об этом периоде по-своему. Задача была – Зинаиду Николаевну в расчет не принимать. Биограф-наследник написал, что надрывные письма (которые всякий теперь может почитать) – письмами, а ничего особенного с папой Борей вовсе не происходило. Анна Андреевна

Ахматова, писем Бориса к Зине не видевшая, воспоминаний дочери Цветаевой и ее самой писем не знавшая, в семью Фрейденбергов (кузины, у которой положили остывать от горячки Бориса Леонидовича) не вхожая, однажды (в годы после смерти Пастернака, конечно), поджав губы, огорошила знавшую все ее жизненные обстоятельства Лидию Чуковскую: «Мне он делал предложение трижды. < > С особой настойчивостью, когда вернулся из-за границы после антифашистского съезда».

ЧУКОВСКАЯ Л.К. Записки об Анне Ахматовой.

В 3 т. Т. 2 (1952—1963 гг.). Стр. 429. Дожить бы ей до публикации антифашистской переписки! Но репутации Анны Андреевны ничем не поколеблешь. Вот и Дмитрий Быков, изучатель Пастернака, с изумлением пишет: «Есть темное свидетельство Анны Ахматовой (куда бы уж яснее!), будто Пастернак (почему „будто“? разве он не верит?) в июле 1935 года „делал ей предложение“». И тут же с облегчением ставит все с ног на голову, с Ахматовой так привычнее: «преувеличение собственной женской притягательности было непременной и, пожалуй, невинной составляющей ее лирического образа. Уверенность, что все в нее влюблены, не безвкусна, а трагична и величава».

БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 548.

Как говорится, кто бы сомневался.

Ситуация, однако, была очень острая.

Нам не за что благодарить здесь Зинаиду Николаевну: никаких ее гребенок или ног он не описал нам: частным образом, молча, физиологически прожил эту ревность, оставил только сомнительного вкуса сюжетную линию в «Докторе Живаго».

Когда Зинаида Николаевна писала свои воспоминания – она писала только воспоминания, она не составляла книгу «Воспоминания и письма». Она никогда к письмам Пастернака читателя не отсылает. Собственно, она их продала – Пастернак довольно сильно запутал свои дела к смерти, не нашел в себе сил сопротивляться хаотичному и злокозненному планированию Ольги Ивинской – той хотелось и себе побольше набрать, и, вне зависимости, Зинаиду Николаевну обездолить. В одинокую старость он выпустил Зинушу нищей, беспомощной (сын Ленечка был слаб, сын Пастернака Женек жив и полон своих – не имеющих отношения к смерти, а только к новой, славной, отмщенной жизни – планов). Зинаида Николаевна письма к себе Пастернака продала, очень задешево, разумеется. Как это всегда бывает в таких случаях. Ее за это сильно осуждают все, кто презирает и ненавидит ее, все, кто считает ее глупой, некрасивой, неподходящей своему мужу и пр., как будто у нее было перед

этими строгими судьями обязательство соответствовать. Не продавать – ей бы это ничего не прибавило к репутации, но критики чуть-чуть пощадили бы свои нервы. Она же – продала, а за воспоминания взялась с неохотой, с неумением.

Многие мемуары написаны без учета того, что в пику им появятся ДОКУМЕНТЫ (так же мало отражающие реальность, как и воспоминания). О письмах Пастернака забывала даже их адресатка, тем более не была уверена, что они сохранятся. Продавала случайным людям и за случайные суммы по невнятным распискам. Сама перечитывала своей рукой сделанные малодостоверные копии (приобре-тательнице тоже сама, еле живая, потрудилась сделать копии – чтобы та побережнее относилась к пастернаковским оригиналам).

Одно – из Парижа – стоит того, чтобы его привести полностью. Просто для Пастернака (его письма, безусловно, надо публиковать полностью), а не для реноме Зинаиды Николаевны (ей ничто не поможет) и не для самозваных муз.

Зинаиде Николаевне (пока письма не было у нее перед глазами) запомнилось из него следующее: «Из Парижа я получила только одно письмо на 13 страницах, где он пишет, что хотел бы остаться там полечиться, но со всеми выезжает через Лондон в Москву».

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.

З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 282.

Поистине прозаична и хлопотлива о мнозем (слишком узко понятом) была муза Бориса Пастернака.

«Дорогая моя, Ляля моя, жизнь моя. < >

И сердце у меня обливается тоской и я плачу в сновидениях по ночам по этой причине, что какая-то колдовская сила отнимает тебя у меня. < > Я не понимаю, почему это сделалось, и готовлюсь к самому страшному. Когда ты мне изменишь, я умру. Это совершится само собой, даже, может быть, без моего ведома. Это последнее, во что я верю: что Господь Бог, сделавший меня истинным (как мне тут вновь говорили) поэтом, совершит для меня эту милость и уберет меня, когда ты меня обманешь».

Там же. Стр. 149.

У Пастернака были еще два момента ревности (скорее ОТНОСЯЩИЕСЯ к ревности – он не из ревнивцев) в жизни. Все в сумме три были безосновательными. Их можно сравнить. Первый: он ревновал – НЕ РЕВНОВАЛ! – к Жене, получившей (в ее фантазиях – к сожалению, использованных для манипуляций охлаждающимся мужем) предложение от богача, ценителя искусств, сторонника равноправия женщин и права их на труд (изысканный и утонченный труд художественного творчества), –

предложение руки и сердца («Париж, богатство» и пр.).

В такой ситуации ревность как-то должна была себя обозначить: присутствием или пусть даже отсутствием, в любом виде. Вылилось – в соображение, что вроде бы было и неплохо пристроить на передержку (как выражаются собачники) Женю с Женечком (и даже это было натяжкой – он совсем в это не верил, но избавиться хотел). «А потом бы – о! – нагнал и отнял», – пишет он в перспективе отчета перед требовательным Жениным разбором: так-то ты боролся за меня! – после того как Женю бы подкормили, да и сам Пастернак стал бы на ноги.

Второй, не по времени, а так, по значению, – с Ивин-ской. Арест Ивинской вызвал неясную тоску, беспокойство, даже недовольство и озлобление – к обстоятельствам, отнявшим ее у него, которые он по-пастернаковски смело (потрясающе неожиданно для непастернаков) назвал РЕВНОСТЬЮ. Да, может быть, ревновать женщину к обстоятельствам – это более утонченно, чем обычная ревность (ревновать к застенку, к несвободе), но все-таки там – не измена. Что ревновать, если она сама, ее душа и тело, насколько она сама допущена ими управлять, – ему верна. Она – не изменяет.

Пастернак готовится умереть, если Зина – лично Зина, сама – закроется от него и откроется другому. Он ревнует самой простой, стандартной и самой лютой ревностью.

Ревность над погасшей любовью – дело известное. Вспыхивает, как пламя над потухшим костром, к удивлению участников пикника. Охладевший, это видно, к Анне Вронский тоже, как Пастернак, готов умереть (и предпринимает для этого усилия) из-за боли от ее измены – Анна ушла от него к смерти. Но в любом случае это доказывает, что любил он ее вначале сильно – даже больше, чем был способен. Ревность Пастернака выжигает в нем такие закоулки его души, вылизывает огнем такие каверны, что диву даешься: как же бушевал в нем вулкан страсти, скажем так, чтобы оставить после себя такие катакомбы!

«В 1934 году мы отправились в Ленинград на пленум грузинских писателей. Поселили нас в „Северной“ гостинице (ныне „Октябрьская“) < > Я попала в Ленинград впервые после 1917 года. < > Мне была дорога эта поездка, я припоминала свое детство и мой первый роман с Николаем Мили-тинским. Как-то я сказала Н.А. Табидзе: „Как странно, что судьба забросила меня в ту самую гостиницу, куда я, пятнадцатилетняя девочка, приходила в институтском платье, под вуалью на свидание с Н. Милитинским“. Никогда не думала, что она передаст этот

разговор Борису Леонидовичу. С ним я была осторожна и бдительна в отношении моего прошлого, так как с первых дней нашего романа почувствовала непримиримую враждебность и ревность к Н. Мили-тинскому. Это мне было совершенно непонятно: я не испытывала никакой ревности к его прошлому. Особенно меня поразил один случай: когда мы жили на Волхонке, приехала дочь Н. Милитинского Катя с Кавказа и привезла мою карточку с косичками. Эта карточка была единственной, которая уцелела от моего прошлого, и я ею дорожила. Катя неосторожно сказала при Борисе Леонидовиче, что отец, умирая, просил меня передать ее мне со словами, что я была единственной его женщиной, которую он любил. Через несколько дней карточка пропала, и я долго ее искала. Борису Леонидовичу пришлось признаться, что он ее уничтожил, потому что ему больно на нее смотреть. Уж если карточка имела такое действие, то что с ним было, когда Н.А. рассказала, что я встречалась с этим человеком в гостинице. По приезде в Москву он заболел нервным расстройством – перестал спать, нормально жить, часто плакал и говорил о смерти. Я начала его лечить у доктора Огородова, но ничего не помогало. В 1934 году я повезла его на дачу в Загорянку и всячески старалась успокоить и поддержать, но состояние его ухудшалось. Я не могла понять, как человек может так мучиться из-за моего прошлого».

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.

З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 280—281. Классический пример того, как любой уважающий себя биограф почтет за честь принять любую версию, кроме как принадлежащую непосредственному участнику событий. Кому хочется верить жене и сделаться вместе с ней предметом насмешек? Ну да, у Зинаиды Николаевны свое, мелодраматическое объяснение событий. У кого иное? У двенадцатилетнего Женечка, который, по примеру Анны Ахматовой, очень искренне, но немного слишком раздраженно удивлявшейся разговорам о Лиле Юрьевне Брик в связи с ЯКОБЫ исключительной ее ролью в жизни одного поэта: «При чем здесь вообще Лиля Юрьевна?» – своя, очень научная теория.

О кризисе 1935 года Женечок пишет на половине странице, биографы вторят ему в непридавании значения всяким там любовным терзаниям – ничего ведь не произошло. Он, правда, вспоминая разговор с мамочкой у Бори в больнице, передает его слова о том, что лирика, ставшая его профессией, изменила предназначенный, традиционный, правильный, крепкий, толстовский уклад жизни, – иными словами, Богом данную жену Женю он сменил на какую-то другую в силу производственной

необходимости. А вот значило ли что-то в жизни профессионального лирика переживание, изложенное на 13 страницах (так в автографе) его письма из Парижа к терзающей жене, – Же-ненок отвечает пренебрежительным умолчанием. О чем тогда это письмо?

«Если для чего-либо я сел писать тебе, то только с одной целью: чтобы сказать несколько слов о тебе».

Там же. Стр. 149.

Обычно письма пишутся, чтобы сказать несколько слов о себе. Сейчас источник страданий Пастернак видит не в себе, а в Зине. Ненавидеть ли поэту ту, которая лишила его сна и отдыха, – страдания сухие, не выплескивающиеся в поэзию? Иосиф Бродский рассуждает о поэзии Анны Ахматовой и признает, что свои материнские терзания (какие были) о судьбе арестованного сына она плодотворно превращала в строки и что необходимое отстранение от описываемой ситуации, нужное для того, чтобы оценить качество получившегося переработанного продукта, будто бы сводило ее с ума. Ее – не сводило. Когда пишешь гениальные стихи (ей не удавалось), реальная ситуация как-то необыкновенно лично не переживается или не задевает. Это не твоя трагедия. Если трагедия действительно произошла, никто ее не описывает. Пишут тексты – может, и зная предмет. Пастернак от правила отступил: трагедию пережил трагически, а в «Докторе Живаго» описал ее водевильно. Пока же, в Париже, в гостинице – в «отеле» – он страдает невыносимо, отчаянно, хуже, чем Фауст от гвоздя у себя в сапоге. «…полуразвратной обстановки отелей, всегда напоминающей мне то о тебе, что стало моей травмой и несчастьем…»

Там же. Стр. 150.

«Дорогая моя, Ляля моя, жизнь моя <>. Ты единственно живое и дорогое для меня на всем свете. Все мне тут безразличны. Более того: я не видал даже родителей. Они были в Мюнхене, когда я проезжал через Берлин, и в Берлин для встречи со мной приезжала одна старшая сестра с мужем. А со стариками я говорил по телефону. Я обещал им, что на обратном пути заеду в Мюнхен и там остановлюсь на неделю, и вот видишь, как легко изменяю своему слову, нисколько об этом не думая».

Там же. Стр. 147—149.

Одна и та же история: не верить непосредственным участникам событий и считать более прозорливыми мнения предвзятых, тенденциозных, но разрушающих (в поддержку собственной концепции) «наивную» версию наблюдателей. Такая

последняя «правда» на стороне более сильных. Сын обиженной матери считается нейтральным исследователем. Пастернак не повидался с родителями, будучи в Европе, по своей собственной воле – «я вдруг все передумал < > и решил ехать через Лондон» (ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 9. Стр. 29) – не через Мюнхен. Знает о самостоятельности его решения и Марина Цветаева: «Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери, на поезде – мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет – не жди. Здесь предел моего понимания, нашего понимания, человеческого понимания. Я, в этом, ОБРАТНОЕ тебе: я на СЕБЕ поезд повезу, чтобы повидаться».

Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть.

Письма 1922—1936 гг. Стр. 558.

Что ему стоило сказать ей наедине, с глазу на глаз, в Париже, в ее квартире, – что у него нет такой возможности? Где ответ на вопрос: что его остановило? Собственно, не раскрыть ей глаза на то, что это такой иезуитский трюк – вывезти сына в Европу и, как Емельку Пугачева по Москве в клетке, прокатить перед глазами родителей, клетки не приоткрыв, – это было бы подлостью с его стороны по отношению к семейству Марины Цветаевой. Ни столько злобы к ней (нисколько!), ни столько страха перед властью (он как-то, почему-то – не коснулось! – не боялся) – у него не было. Не сказать ей, если б его действительно не пустили, это значило бы намеренно скрыть, заманить в западню. По счастью, он этого не делал.

«Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию… Я не знал, что ей посоветовать, слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас трудно и неспокойно. Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения» (ПАСТЕРНАК Б. Люди и положения //

ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 3. Стр. 339).

И не имел на сердце сознательного умолчания?

Но Женечок тверд: никаких бессонниц, никаких слез, о ревности он даже не подозревает (к кому?!). Все просто и однозначно. Позиций, правда, две. Взаимоисключающих. Первая: нервное расстройство все же было (в официальной биографии о ней нет ничего, кроме неожиданного «ему стало лучше» (после чего наступило улучшение – тайна), в «Переписке с родителями» – не выбрасывать же письма – глава называется «Срыв»), причина его – «Весной 1935 года у Бориса Пастернака началась тяжелая нервная депрессия, сопровождавшаяся бессонницей. Пребывание в санатории не помогало, он очень страдал».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 636.

Без причин, может, из-за безделицы какой, а так – Пастернаку

было не холодно и не жарко возле второй его жены.

Что касается отказа повидаться с родителями на обратном пути, уж если очень настаиваете, то здесь тоже никакой лирики: «…ни о каком свидании с родителями на обратном пути из Парижа, как планировалось, речи быть не могло. Цветаева писала Пастернаку с возмущением, что она никогда не поймет, как он мог проехать мимо матери, не повидавшись. Но для советского человека, члена делегации, самостоятельные путешествия по семейным надобностям были невозможны. Не могли понять этого и сами родители».

ПАСТЕРНАК Е.Б., ПАСТЕРНАК Е.В. Жизнь Бориса Пастернака. Стр. 305. А ведь проще простого было им так и написать. И они бы поняли, и человечнее это было бы, но Пастернак изводит письмо за письмом, объясняя все так, как есть: что он не мог заехать по своим внутренним причинам, что он страдал так сильно, что не мог ничего. Женечок это признавать отказывается – в публичной биографии, где решает выставить отца жертвой режима – просто, плоско, беспроигрышно, на известные ему лично, как практически свидетелю, современнику (сколько обманутого доверия!) события набросить пелену умолчания, искажения. Все для того, чтобы не допустить мысли о том, что отец мог страдать и мучиться из-за женщины, ради которой он бросил маму Женечка.

Пастернак даже из уважения к родителям не лжет. Никаких запретов члену советской делегации не устраивали. Причины «невстречи» были его внутренние, и он считает более достойным всех говорить о том, что было, не считая никого младенцем или кретином. Разве они не видели «…летнего заграничного моего казуса? Но не видели ли меня Жоня и Федя, или они были слепы? Разве им не ясно было, что перед ними находился человек с временной отсрочкой существованья, ет Nichts <>? Разве они этого не видели?

И, наконец, разве не через Берлин я ехал, не вам в Берлин посылал телеграмму, не вас в Берлине хотел видеть? Этого бы я не постеснялся, потому что так пришлось бы, рельсы бы так привели, как привели, попутно, в Париж к Цветаевой и в Лондон к Ломоносовой. Потому что так путь лежал».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 673.

Родители Пастернака смышлены: они понимают, что он демонстративно решает «перетончить»: сообщает, что повидал бы родителей (после 12 лет разлуки), если б, уж так и быть, по пути стало, деваться бы некуда. Решился бы предстать в искалеченном нравственном безобразии, а еще одного труда – брать себя в руки,

притворяться счастливым – не осилил бы, и перед ними так откровенен именно для того, чтобы подчеркнуть серьезность своей душевной болезни. Он будто бы уверен, что они его поймут и что им легче не прикидываться, что не поняли, и обижаться. Вообще-то все и поняли.

Дмитрий Быков, самый обстоятельный жизнеописатель Пастернака, полностью принимает версию затушевывающего Зинаидины роль и рок в судьбе если не Пастернака, то его семей – биографа. Особенно страдать Пастернаку от того, что родителей он не заехал повидать, было нечего. Просто обстоятельства так сложились. «Да ведь он ничего не решал. (Все решал, решал определенным образом, писал об этом родителям, признавался и оправдывался.) Ему не дали времени заехать в Мюнхен по пути в Париж. (Ни о времени, ни о поездке в Мюнхен никто не спрашивал – Пастернак не собирался заезжать в Мюнхен.) < > а обратно ему предстояло бы ехать через фашистскую Германию (с антифашистского-то конгресса) (а туда – НА антифашистский-то конгресс! доехал…). Щербаков запретил ему отклоняться от общего маршрута (см. выше – запрет не на что было накладывать). Пастернак при всем желании не мог объяснить Цветаевой, что ослушаться уже нельзя».

БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 549.

При МАЛЕЙШЕМ желании – можно и нужно. У Пастернака не было этого ЖЕЛАНИЯ, потому что вопрос стоял не о нежелании ОБЪЯСНЯТЬ, а о НЕЖЕЛАНИИ ЕХАТЬ навещать родителей. Тут спору нет: еще как могли ему запретить, и не пускать, и вообще удивительно, что его с такой анкетой вообще выпустили, – все так, но данный случай, случай Пастернака на антифашистском конгрессе, был случаем наоборот. Ему все разрешали, а он не захотел сам. Вот ЭТО Цветаевой объяснить было бы труднее, хотя, очевидно, можно, но только сил и на это не было. Было Пастернаку в этот момент не до Цветаевой. Ну а Быков далее прочувствованно цитирует и разбирает патетическое цветаевское обращение к французской песенке о вырванном материнском сердце (помните в фильме у Василия Шукшина, когда герой тоже хочет показать щедрость и жертвенность любящей души на этом же примере, надрывную выдумку разоблачают) «Не больно ли тебе, мой маленький?», и даже пускается в детали: «В оригинале мягче – Не больно ли тебе, дитя мое?»

БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 549.

Оба варианта приводятся также по-французски. У Цветаевой, правда, родителей не было в живых, возможно, она и вправду готова бы была тащить на себе поезд и пр., – но к делу о девочке

под вуалью в кабинетах этот сюжет отношения не имеет. < > < >

«Мы сидели среди книг и апельсинов у тебя в гостинице, и ты был страшно влюблен (в Зину!) и нечленоразделен. Потом мы ходили с тобой в магазин и покупали ей маникюрный прибор и платье, и ты пытался объяснить мне ее рост и размер на моем росте и размере и в это время глядел на меня, но мимо и сквозь».

ЭФРОН А.О Марине Цветаевой. Т. 9. Стр. 31.

Ира Емельянова, дочь Ольги Ивинской, также имеет свою точку зрения на причины кризиса 1935 года. «Он тогда был на грани нервного срыва. Его подкосило увиденное в Сибири, где он еще совсем недавно пробыл несколько месяцев: сорванная со своих мест, гибнущая, замерзающая на полустанках, раскулаченная Россия».

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка.

Стр. 236—257.

Это со слов Али Эфрон. А ее о Париже же («ты ни во что не вникал и думал о своем, о домашнем») (САКЯНЦ А.А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. Стр. 621) – ни слова, будто и не было. Ариадна, дочь Цветаевой, – в дружбе с Ивинскими. Они не уводили от нее с матерью Пастернака. С Зинаидой Николаевной – никого. Ей нет соперниц, нет подруг.

Марина Цветаева, которая имела возможность разговаривать с Пастернаком на любые волновавшие его темы – будь то бессонница или какое-нибудь «придание ему несвойственного значения» и пр., – описывает суть его состояния и отрешенности по первопричине: «Только ПОЛ делает вас человеком, даже НЕ отцовство. Поэтому, Борис, держись своей красавицы».

Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть.

Письма 1922—1936 гг. Стр. 559.

«Пастернак note 7 искал шубу для Зины и не знал ее размеры, и спросил у Марины, и сказал: «У тебя нет ее прекрасной груди»».

АХМАТОВА А. Собр. соч. в 6 т. Т. 5. Стр. 157.

А на фотографии 1934 года мы видим и грудь, и еще необъятной ширины живот – или это необъятной ширины таз: в любом случае там нет места для тонкой талии, которая должна бы сообщать различные оттенки поэзии груди и бедрам. Красота Зинаиды Николаевны заскорузла в несколько лет последней любви, но Пастернак любил ее и такой – вернее, ему страшно было думать, что он любит ее в сочной молодой гибкости: такой ее любил и Милитинский, то тело принадлежало и ему. Делить

можно и воспоминания, живое тело – нет, пусть ему достанется хуже – но только ему.

Самые серьезные, непозерские, осторожные письма Пастернака – к Але Эфрон. Это некое свидетельство того, кого на своем веку он считал равным себе – раз безоговорочно признавал, что Але Эфрон доводилось бывать собеседницей кому-то не проще его. Ахматовой он писал вычурно, льстиво, ей на потребу. Кто угодно бы увидел, что двухстраничные надписи на книгах бессмысленно цветисты, ей ничего не оставалось делать, как иронизировать над ними, а по известной ее недоброжелательности и завистливости выходило, что сдержаться она не может, чтобы не ущипнуть Пастернака. То есть как ни посмотри, становясь адресаткой Пастернака, она оставалась в дураках.

Женам он писал искренне, Жене – искреннее всех, у них был партнерский брак, его партнер свои обязательства выполнял ненадлежащим образом, он ему (ей) добросовестно пенял и все делал для осуществления дружественного слияния. Зинаида Николаевна явилась классической музой. За музу он ей и отрабатывал неслыханно поэтическими письмами. Трудно представить, что это он не разогревал ими сам себя, как пианист разыгрывается гаммами и упражнениями. Хотя письмо с антифашистского съезда под «и раз, и два, и три» не напишешь, человек страдал на самом деле. Тогда выходов было два: или замолчать навсегда и уйти в безумие, или позволить себе выписать его. Он писал, писал – и выжил.

Ревность, зависть – любовные и не любовные, к любви или к славе – не были темой Пастернака, он не испытывал этих чувств. Это тема героинь его житейских романов, тема женщин, у которых ничего нет в жизни, кроме этого – разрушать.

Женщина по состоянию вещей не может созидать, «инь» – символ разрушения, ревновать – это разрушать чужую рождающуюся или рожденную любовь, разрушать свою, разрушать себя, разрушать своего партнера. Его любили требовательно, привычно или авантюристски – три вида притязаний по числу главных муз Пастернака.

О любви писать особенно нечего – она крепка как смерть, и только; и обычно описание любви – счастливой и тем знаменитой – оканчивается описанием смерти Ромео и Джульетты (истории запутанных житейских обстоятельств, которые мешали осуществлению любви, – сюжет романов, называющих себя

любовными, а на самом деле являющихся бытописательскими, описывающими те самые житейские перипетии, про которые мужчинам читать зазорно и скучно; дамские «романы» не о романах – не для них).

Пишут о ревности. Она люта, как преисподняя, и такой сюжет не может развалиться. Пастернак никогда никого не ревновал, да и не завидовал. Скорее всего он не любил ни одну из своих главных муз – так, как любят любовью, которая может закончиться ревностью. Чтобы любить так, надо признать за объектом страсти отдельную личность, а Пастернак самозабвенно, чисто, восторженно любил только себя в своей креатуре: «И увидел он, что это хорошо», и был безмерно счастлив. Это он создал такое совершенство, это он генерировал такую всепоглощающую любовь, это его отраженным светом сияет и лучится этот ставший – его властью! – ослепительным объект. Что тут и к кому ревновать?

Как бы там ни было, Марина Цветаева была вовлечена в семейную жизнь Пастернака как действующее лицо. С Женей она была на равных: та – жена, и эта – жена, космическая и найденная; уживались, как сестры. У Цветаевой был простор (Пастернак очень ценил духовность, и акции Цветаевой были не такими, какими можно пренебречь). Когда же Женя потеснила ее своим мягким телом с высокой грудью и круглыми улыбками, отправившись по соседству с ней, в Европу, и письма как под копирку полетели в два адреса, – возмутилась и переписку с Пастернаком оборвала (на две недели, но зато решительно).

Когда появилась Зинаида Николаевна и когда сам, целиком, Пастернак приехал в Париж, оказалось, что ей в его жизни не то чтобы простора, вообще нет никакого места. Там не было места уже никому. Цветаева начинает писать беспомощно, бессвязно, озлобленно, не зная, как уколоть чужого человека, как отстраниться и самой от него. «…вы от всего (всего себя, этой ужасной жути: нечеловека в себе: божества в себе), как собаки собственным простым языком от ран лечитесь – любовью, самым простым. И когда Ломоносова мне с огорчением писала о твоей „невоздержанности“, по наивной доброкачественности путая тебя с Пушкиным и простой мужской страстностью истолковывая твой новый брак, – да, милая, – слава Богу… »

Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть.

Письма 1922—1936 гг. Стр. 559. Но по крайней мере ясно, что проблема была все-таки в женщине, в высокой или низкой болезни по этой женщине, а не в происках руководителя делегации советских писателей тов. Щербакова, как бы ни

хотелось биографам назначить Пастернаку соперником – его.

«…плакала я потому, что Борис, лучший лирический поэт нашего времени, на моих глазах предавал Лирику, называя всего себя и всё в себе – болезнью. (Пусть – „высокой“. Но он и этого не сказал…)».

СААКЯНЦ А.А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. Стр. 620.

Да, предавал Лирику. Этого никем не любимой и никого не любящей больше, чем свои стихи, Марине Цветаевой было не понять.

«А мне всегда казалось, что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне» (ПАСТЕРНАК Б. Люди и положения).

Критика толстовства

Жененок, отвлекая внимание от Зины, пишет везде о том, что с родителями Пастернак не повидался в 1935 году потому, что от делегации не мог отделиться, а родителям такого было бы не понять. Зачем же тогда Пастернак сам на себя наговаривает и пишет родителям о том, что не едет к ним, потому что таково его решение, что он не в силах? Уж куда бы проще и ему было бы отписаться, что самостоятельно разъезжать он не имеет права.

Ну а родители – они сами не поехали к нему из Мюнхена в Берлин, не видя его те же самые 12 лет, что не видел их он. Никакого поезда на себе тащить и им не надо было.

О неискренности Пастернака к родителям. Его восторженные, почтительные письма и особенно телеграммы к ним. Такое скрепленное почтовым штемпелем поклонение у него было еще разве что к Ахматовой – там тоже: не то прилагательное, не тот эпитет – и будет выяснение отношений (тайное, беспрерывное) на десятилетия. Холод, равнодушие, отсутствие истинного уважения. Как не похоже на простую и нежную сыновью почтительность к своим не имеющим достоинств мирового значения родителям у Бродского. Пастернаки считали, что Толстой задал им камертон. Но на самом деле они познакомились с Толстым, когда семейная жизнь (преданная, уважительная, исключительно внимательная между супругами, так тонко и так отрешенно от посторонних, как это бывает в бездетном браке; да и правду сказать, отношения их с Борисом не слишком похожи на нелитературные и нетеатральные, на просто семейные) – уже сложилась, и приобретенная марка толстовства только маркой и служила.

«Я боялся холода, который мог появиться к Жене, как к разведенной».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 522.

Пастернак – какой-то неученый ребенок. В 1925 году он ведет с родными переписку: устраивает (втайне от родителей) приезд, туристкой, сестры Жони в Москву. Ему это интересно по разным причинам, Жоне – нет причин возражать. В один прекрасный день приходит и письмо от отца.

«Очень жаль, дорогой мой, что ты не поинтересовался – прежде чем все устроить и уладить возможность этой поездки (на этот момент Леонид Осипович – глава зарубежной семьи Пастернаков) – как я и мама относимся к этой затее. Я подчеркнул твои слова: „и даже с их точки зрения полезно“. Значит, ты знаешь какую-то точку нашу, по которой это полезно».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 257.

Для письма тридцатипятилетнему сыну такая ирония, что «ты знаешь какую-то точку нашу» – показывает, как не в новинку и не в радость Пастернакам-старшим деятельная восторженность старшего сына. Деятельная, но перекладывающая деятельность (и последствия) на других.

Пастернак видел фотографию с картины отца. Пишет отзыв.

«Дорогой, золотой, чудо-папа! < > Ну и портрет!Какая молодая работа! Сколько напряженья и воли, сдержанного самообладанья и свободы. Сколько вообще вложено в вещь жизни, лаконизма и того, что коротко приходится называть художественностью. < > Эта вещь будет стоять передо мною как безмолвное художническое внушенье, как немой завет, до исполненья которого мне все равно никогда не подняться. Что за молодчина!»

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 256—257.

Такая рецензия от постороннего критика вряд ли обрадовала бы автора – дружеская, искренняя, заказная. Видно, что Пастернаку понравился портрет (или – не не понравился), он сел за письменный стол, включил программу самовзвинчивания, подхлестнутого восторга, отказа от сдержанности – немного оскорбительно для адресата, будто тот иначе не поймет, на взвешенность тона обидится. Думаю, Леонид Осипович сыновьей оценки никому с гордостью не цитировал. Важно кивнул: сын должен быть почтительным, однако ж в художественных кругах совсем он не влиятелен, отметился черновым славословьем – ну да и ладно. Такие письма разъединяют близких. Одну дежурную похвалу надо загладить годами реального, придирчивого интереса, такая отписка лежит между людьми, как деньги, когда-то, в начале связи, перешедшей в любовь, предложенные женщине.

Борис Пастернак очень многих поддерживал материально. Очень многим давал деньги, мало кому писал для поддержки, мало кого пришел хоронить, он откупался деньгами: так, как во всех делах, где мы платим за услуги деньги – и садовнику, и повару, и горничной, – чтобы наслаждаться подстриженным цветущим садом, здоровым обедом и свежим уютом дома. Пастернак платил – и меньше мучился бедствием друзей, исправно выполнял и обязанности по содержанию (духовной поддержке) родителей. Искусством отца он не интересовался, посылал ему векселя восторженных писем.

Леонид Осипович был сам истинный художник – интересовался детьми (и творчеством сына своего Бориса) меньше, чем собственным искусством. Впрочем, поскольку искусством своим не вырвался в какие-то неподсудные высоты, как велеречивый его сын, то можно сказать, что он был более эгоистичен. Вернее, просто: он был эгоистичен, Борис – нет. А интересовался только собой, потому что производил великую поэзию именно он. Так почему же он должен был быть необыкновенно искренно заботлив о других и писать им соответственно великие (если не отписываться, а вполне выражать себя) письма? Нет, гораздо проще (и правильнее) – достать чернил и записать: «Дорогой, золотой папа, чудо-папа, мне никогда не подняться» и т.п.

Толстовский взгляд на мир – что в мире нет какой-то страшной обиды. Круглый сирота Лев Толстой явил миру образец, как счастлив во всех сферах жизни может быть человек. У него даже имение его родовое называлась – ЯСНАЯ ПОЛЯНА. Он, конечно, тоже потом умрет, но перед этим будет долго крутиться, оглядываясь, нет ли на самом деле какой-то лазейки в бессмертие: если честно и добросовестно поискать, неужели не найдешь? По счастью, он был лишен мистического легковерия, и искания его были величественны и поучительны, – все всё равно знали ответ, что «ответа не будет». Свое счастье Толстой встречал радостно и с благодарностью. Те, кто считал, что свет жизни им идет от Толстого – Пастернаки, например, – были счастливы тоже. Мемуары Жененка обстоятельны, неущербны, и все в его жизни светло и ясно. Обиженность его мамы была тактической. Мама лавировала и выжидала, между делом наслаждалась моментом. Вот мемуары Марины Тарковской. За давностью лет она находит в себе силы вспоминать свое детство тоже обстоятельно, хоть известно, чем закончится все в жизни и для нее, и для ее близких. По крайней мере (для отца, матери, брата) все уже и закончилось, она этот сюжет поняла, приняла и поучилась, но на каждой вехе жизни их семьи кто-то был обижен…

… с их двора (дома ее отца и его жены – богатой писательской жены) уходят приглашенные ради входящей моды на бардов, на салоны пара певцов, которым не дали даже обеда – кормить не стали, не дали даже чаю – «спины…». Это не «второго на всех не хватит» – Зинаида Николаевна стоит подбоченясь напротив Зои Масленниковой, и та, сама сытая, жадная до впечатлений, напросившаяся, аккуратно заносит в книжечку эпизод. Если Арсений Тарковский знал (мужья знают градус

гостеприимства своих хозяек), что певцам не дадут еды, зачем он слушал их песни, тем более раз они ему нравились? Масленникова допущена в дом была Зинаидой Николаевной, Пастернак сам обязательств не принимал – но тарелку встал и налил.

Арсений Тарковский пишет письмо Андрею – по указке КГБ. Мог бы и не писать. Варлам Шаламов бесшабашной девочке Ире – «Не ходи в киноинститут!», Тарковский пошел. Отец ради своих переводов пишет ему письмо, цитирует Ахматову, которая просто торговала своим сыном… «Он не беспокоился о последствиях, которые мог навлечь на него отказ Андрея от возвращения, он тревожился лишь о судьбе сына и писал ему, что русский художник не может жить и работать без России, не должен лишаться своих корней и своей среды». Польский может, американский может, югославский может – русский не может никак. «Папе было семьдесят шесть лет. Мне говорили, что он писал письмо и плакал». Наверное, его лучше было все же не писать: мальчик тоже был уже большой и ничего, кроме неприятных минут – стыда за отца, что он вроде ради только отцовских чувств, а их партия «отец—сын» была давно уже сыграна и в жизни, и даже на публике, в «Зеркале», и без таких поддавков, – не взял на себя труд отказаться от комедии – не принесла. Может, еще досада – что тот писал такое письмо все-таки без удовольствия, отрываясь от дел, переживая – а Андрей вовсе не собирался его отвлекать и не навязывал свои проблемы… Если Арсений (а дочь Марина – она не может снять «Зеркало», она только пишет всем простившую книгу о холоде и смерти поодиночке у них в семье, – включилась с жаром в игру и тоже стала писать «…не ему, а тем, кто будет это письмо читать: Дорогой Андрей, я так и знала, что ты не собираешься навсегда покинуть Родину…» (ТАРКОВСКАЯ М.А. Осколки зеркала. Стр. 221) предполагал, что своим «частным» письмом он даст Андрею шанс высказаться также «частно», то, как бывалый человек, оценивать должен был этот шанс в мизер и уж, во всяком случае, писать без «писал и плакал». «Стыдно, наверное, было директору „Мосфильма“, сидевшему рядом с ним в маленькой комнатке Дома ветеранов кино» (Там же. Стр. 217).

Фатоваты – с усиками, с бантами, востроносые, сидят гоголями, с чуть-чуть выпущенной из губ улыбочкой, и Леонид Осипович Пастернак и Генрих Густавович Нейгауз. Нейгауз и «в жизни» носит удлиненные пиджаки и лакированные ботинки, как у чечеточника, – но его артистичность гораздо менее напускная. Леонид Осипович отграничивает себя своим видом от других, нехудожников («художникам надо ездить по Европам ведь!») –

Нейгауз такой есть, и ему не прикинуться «простым».

Выехав в Европу, как многие другие художники, Пастернак не стал там ни Шагалом, ни Кандинским, а Нейгауз не стал так знаменит, как его друг Горовиц, только потому, что не уехал. Художнику, может, и надо ездить по Европам, например, если он выставляется там – это тоже до конца жизни его развивает, делает не простачком, но это не влияет на его творческий процесс, если он уж не совсем конъюнктурщик и не творит прямо под заказчика. Пианисту же не надо знать, что сейчас играют в Европах, он не станет интерпретировать Баха по-иному, исполняя его в Америке, единственное отличие – он, пианист, свой шедевр не может упаковать, застраховать и отправить в Америку малой скоростью, а сам следом на самолете; он, как фокусник, садится с белыми манжетами перед роялем и создает то, что он создает: сейчас – в Америке, завтра – в Японии.

Если после смерти Пиросмани найдут рулоны расписанной клеенки, он займет свое место с самыми признанными и знаменитыми художниками, пианист же может играть у себя в квартире долго и гениально – это никогда не достанется людям. Нейгауз уже с 1933 года до конца жизни был вынужден продолжать свою карьеру великого музыканта, имея в своем распоряжении «аппликатурное хозяйство» за гранью «подходящее – не подходящее для музицирования» – разбитое полиневритом. «Да, вот и приходится прощаться с пианизмом! Руки никуда не годятся. Мне все советуют заделаться дирижером» (ВИЛЬМОНТ Н.Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. Стр. 177). И при этом у него не было такого простого, действенного и безотказного средства, способствующего продвижению и творческому долголетию, как честолюбие. В Советском Союзе для такого музыканта, как он, это было благом.

Сравнить любовь к отцу у Пастернака – никогда не непосредственную, только ценящую и оценивающую – и у Иосифа Бродского, который не искал в своем отце особых достоинств. Хотел запечатлеть существующие – почему нет: он отстаивал свое право, раз может все вспомнить об отце, – но удовлетворился бы и отсутствием таковых.

«Сколько их, бабушек и дедушек, других, бедных и скромных, сердечных без толстовства».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 529.

«…все дурное, что в ней есть, завелось от столкновенья ее чистой непосредственности с той скрытой жестокостью, на которой заквашена „толстовская“ доброта нашей семьи».

Там же. Стр. 522—523.

Толстой виноват. «Он [note 8] решительно протестовал против «толстовства» и даже говорил иногда о своих последователях: «Это – „толстовец“, то есть человек самого чуждого мне миросозерцания».

ПОЛНЕР Т. Толстой и его жена. Стр. 178.

Девочки были из простых. Женин папа держал писчебумажную лавку, Сонин – был московским доктором. В Кремле, правда; там же и квартировал – но дворянство получал (восстанавливал, но все же) за выслугу. У Жени в доме не было книг, Соня писала повести. Денег, конечно, в домах было мало. Соня ни о какой славе не мечтала – у Жени не было «достаточных данных», чтобы мечтать о той, которая досталась. Соня вышла замуж осенью и первую весну, уже, конечно, беременная, встречала в Ясной Поляне. Подписывала письма, не сумев даже руку заставить вывести свое новое имя полностью: «гр. Соня Толстая». Женя пишет смело, ее не остановить: «Я хотела известности, славы – я ее имею». Рожденным ребенком тяготилась и считала, что мужу он нужен больше, чем ей. За богатого и знаменитого были счастливы выйти замуж обе. Соня прилепилась к своему и любила его до последнего вздоха, Женя сразу сочла, что она масштабом вроде бы вровень Пастернаку, и с самого начала стала привередничать. Графиню Софью Андреевну заставили обходиться без няни – она яростно защищала эту прихоть своего умного и ученого мужа. У Евгении Владимировны всегда была воспитательница-фрейлина при сыне и опытная горничная для своих нужд. Семьи имели точку схода – мать Пастернака музицировала под слезы Толстого, Женя не была музыкальна, и непонятная ей игра Генриха Нейгауза разбила ей жизнь.

Оба наградили жен титулами. Соня стала графиней, Е.В. Пастернак – художницей.

На эти параллели в книге будет много оглядок.

Для романа воспитанья: «Ради Бога, простите меня. Из нелепого допущенья, что нахалами бывают только в молодости, я напустил на себя наглость, чтобы показаться вам моложавым».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 598.

Пастернак посылает отцу свой перевод «Антония и Клеопатры» в 1944 году. «Дорогой отец, ты и твой путь всегда передо мной. Ты сделал так непомерно много, и такой

совершенный артист, что я покрываюсь стыдом, когда думаю о роковом ничтожестве и вынужденной непроизводительности своей деятельности».

Там же. Стр. 754.

Мысль Пастернака может следовать за каждым его словом, и мы верим, что каждое его слово обеспечено, но иногда его вера в свои слова кажется слишком абсолютной – настолько, что одно слово бесповоротно перечеркивает предыдущее: или «покрываюсь стыдом», или «ВЫНУЖДЕННАЯ непроизводительность». Как стоять рядом этим утверждениям? Такое ощущение, будто он не очень себя утруждает подбором точных слов, говоря с родителями – с оставшимся только отцом, – он будто наговаривает им мантры, в надежде, что и они вчитываться не будут, подпоют. Домашние его – не люди слова. Простили, наверное, и «отца»: плохо, неискренне менять привычное обращение, при каких бы обстоятельствах ты ни адресовался к самым близким. Евгения Борисовича с трудом, но можно простить за «папочку» (его «Боря» и «Боричка» – вообще всего лишь вопрос вкуса), «отец» – это уже не на публику, а ДЛЯ публики. Бедный овдовевший отец ждал чего-то для себя лично…

Реальная переписка у Пастернака только с Мариной Цветаевой – они пишут о том, о чем только они могут писать. Когда Пастернак пишет родителям – это смолоду взятый тон нескромного, обнажающегося и в этом уже неуважительного откровения перед родителями в переписке. Он должен писать о самых простых житейских делах, родители его не стоят творческих писем – это их не очень интересует, да и не должно по высшему закону интересовать, они не тот сборный «читатель», перед которым он обязан раскрываться полностью и игнорировать их частную, обыденную сторону.

С родителями все наоборот, он проигрывает перед ними темы и варьяции произведения несвойственного ему жанра – бытописательного романа. Письма Пастернака – они многочисленные и объемные, адресатов у него не так много, и тем хуже. Он начинает считать этот эпистолярий все более и более обязательным для себя, и исследователи радостно называют его переписку частью его творчества. Слишком реальной это на самом деле было частью – обязаловка одухотворенного бытописательства родителям вывела его на форму «Доктора Живаго», откуда лучше бы было убрать сюжеты, очевидно, казавшиеся ему такими ловкими, и всякие семейные его идеи. Его семья – не связанная никакими ни перед кем обязательствами чувственная и беспредельно возвышенная в

самой чувственности страсть к Зинаиде Николаевне. И лямка с неудачными сыновьями. Семья ли это?

Семейные письма он пишет семье – папе, маме и сестрам. Все взбешены. Если бы он не был знаменит (они там знают это) и богат (он из беспредельно нищей страны отправляет им жену с сыном и грозится сам приехать – то один, то с новой женой, представляет это как радостные фантазии, будто загвоздка вся только в его решении, желании, расположении духа и пр.), – по крайней мере собственные фантазии он оплачивает сам и в расчетах очень щепетилен, – если бы не это, его тона выдержать они бы не смогли. «…за это время последнее у тебя (т.е. от тебя) было много писем, одно за другим и объемистых ко мне, нашим, Жене и т.д. … и каждый раз новые планы в связи с Женей и Женечком, а из опыта я знаю, что пока я терзаюсь на 10 страницах (довольно жестко и пренебрежительно сказано) <… > – в это время уже новый назрел план, противоположный предыдущему, сопровождающийся письменным оправданием, что напрасно я трачу живые соки души, это было лишь выражено как некое неосуществимое и само собой понятное, а может быть, плохо понятое вовсе и т.д.».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 322.

Отец пишет пародию на Бориса. Борису Леонидовичу 36 лет, его речи передразниваются. Отсылая восторженные письма note 9, прилагает квитанции (он совершает небольшие банковские операции – поддерживает родственников и родственников родственников небольшими суммами в российских рублях, а за границей эти переводы возвращаются ему, накапливаясь, в валюте – те самые деньги, которые он, в ужасе перед возможностью оскорбить щепетильность Жени, называет «Жениным заработком»).

В Париж Пастернак ехал не в широком плаще Чайлд Гарольдом, движимый охотой к перемене мест. В Германии к 1935 году родители кое-что знали о Советах. Из Мюнхена в Берлин, первым классом, они могли бы приехать и сами. «Он телеграфировал родителям, что пробудет в Берлине целый день и сможет с ними увидеться, но они были в Мюнхене, и к нему приехала только его сестра Жозефина с мужем».

ПАСТЕРНАК Е.Б., ПАСТЕРНАК Е.В. Жизнь Бориса Пастернака. Стр. 302.

Такси, дочь с зятем поддержали бы под руки – двенадцать лет разлуки. Они для всех – годы. Для отца с матерью, казалось бы, тоже…

После описываемых событий слабые здоровьем родители еще

многое что предпринимали, например, собирались возвращаться в СССР: поездка туда – это не четыреста пятьдесят километров из Мюнхена в Берлин, да еще со всем скарбом, жизнью, картинами; сколько было предварительных переговоров, поездок – на встречу в тот же Берлин к Бухарину, например. Надо было четко договориться об условиях жизни в СССР (приглашали уже не в Россию), Леонид Осипович хлопочет «…о предоставлении квартиры и гонораре, при котором я не нуждался бы и мог бы работать, а также о возможности приезжать хоть раз в год повидать детей (Жоню и Лидка – с Борисом как-то удалось перетерпеть) („и художнику необходимо также „посещать Европы“, ведь?!“)».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 658. Написано все правильно – разве что последнее утверждение верно для художника в молодости, в учении, в конкуренции. А в том возрасте, когда уже даже до сына после двенадцатилетней разлуки не доехать, пожалуй, можно обойтись и без «Европ». Другое дело, что художник – да и всякий человек, как ни обидно это для художников – хочет чувствовать себя свободным, но Леонид Осипович насчет СССР не обольщался и свобод хотел хотя бы только для себя лично, для отдельно взятого художника.

«Им нравились оперные арии, тенора, кинозвезды их молодости; живопись, напротив, не волновала, в искусстве привлекало все „классическое“, решение кроссвордов доставляло удовольствие, мои литературные занятия озадачивали и огорчали. Думали, что я заблуждаюсь, моя судьба внушала им тревогу, но поддерживали меня насколько могли, потому что я был их ребенком. Впоследствии, когда мне удалось кое-что напечатать там и сям, они были польщены и временами даже гордились мной, но я знаю, что, окажись я обыкновенным графоманом и неудачником, их отношение ко мне было бы точно таким же. Они любили меня больше, чем себя, и, скорее всего, не поняли бы вовсе моего чувства вины перед ними. Главное – это хлеб на столе, опрятная одежда и хорошее здоровье. То были их синонимы любви, и они были лучше моих».

БРОДСКИЙ И. Полторы комнаты.

Представления Бродского о жизни, те, которые зиждились на детских, семейных, физически-родовых ощущениях, возможно, давали ему повод воспринимать участников – своих родителей – их авторами или соавторами. Что-то раннее непонятно откуда пришедшее, – может, что-то великое в его душе создавалось его родителями? Ведь «Следует ли отнестись к содержимому своего черепа как к тому, что осталось от них на земле? Возможно»

(БРОДСКИЙ И. «Полторы комнаты»).

Было ли желание разделить свой гений на троих? Разве что при беглом просмотре отвергнутых вариантов: какие-то объективные достоинства у родителей были, он их называет – и идет дальше, проявляя свое сыновье теплое уважение не объективными – фальшивыми и натянутыми – достижениями, а просто своей любовью и неотделимостью от них. Думаю, вздохнул облегченно, что не надо делать стойку и зорко следить, не обидел ли кто отца, верно ли понял статус, не перепутал ли что, не упустил. А главное облегчение – свобода от сравнений. Думаю, он считал свой жребий удачнейшим: никто не придет к нему расправляться с ним, как он с Лидией Корнеевной Чуковской, едва их представили друг другу.

«"Ваш отец, Лидия Корнеевна, – сказал Бродский, слегка картавя, но очень решительно, – ваш отец написал в одной из своих статей, что Бальмонт плохо перевел Шелли. На этом основании ваш почтеннейший pere даже обозвал Бальмонта – Шельмонтом. Остроумие, доложу вам, довольно плоское. Переводы Бальмонта из Шелли подтверждают, что Бальмонт – поэт, а вот старательные переводы Чуковского из Уитмена – доказывают, что Чуковский лишен поэтического дара". – „Очень может быть“, – сказала я. „Не „может быть“, а наверняка!“ – сказал Бродский. „Немне судить“, – сказала я. „Вот именно, – сказал Бродский. – Я повторяю: переводы реге'а вашего свидетельствуют, что никакого поэтического дарования у него нет“. – „Весьма вероятно“, – сказала я. „Наверняка“, – ответил Бродский. „Иосиф, – вмешалась Анна Андреевна, – вы лучше скажите мне, кончилась ли ваша ангина?“»

ЧУКОВСКАЯ Л.К. Записки об Анне Ахматовой.

Т. 3 (1963—1966 гг.). Стр. 71.

Анна Андреевна боялась Бродского и никогда не перечила. Боялись все: сам прозванный (правда, гораздо позже) «литературным киллером» критик Виктор Топоров боялся с детства:

«… я всегда чрезвычайно нервничал в его присутствии. Демонстративно отказывался знакомиться (однажды мы около часа гуляли втроем с общей приятельницей, ухитрившись не познакомиться формально; в другой раз – более ранний – мать (какие бывают на свете совпадения – адвокат Бродского на его процессе в 1962 году!) в соседней комнате подсунула ему мои стихи, но я категорически отказался выйти к нему за державинским благословением), объясняя это – и себе и другим – тем, что общаться с ним на равных не чувствую себя вправе, а общаться по-другому не привык и не хочу».

ТОПОРОВ В.Л. Двойное дно. Признания скандалиста. Стр. 151.

Бродский, будучи младше Анны Ахматовой на пятьдесят лет, не искал с ней знакомства, хоть это и было довольно высокой ступенькой для литературной карьеры. Но тонкая ее лесть и отточенное к семидесяти годам искусство обольщения (разница в возрасте сглаживала самое слабое ее место – она как-то довольно безвкусно претендовала, чтобы все в нее были не очень платонически влюблены, а еще более – чтобы предлагали жениться) – здесь уж было не до любви. Ему не нужны были покровители. А учителя – они сами приходят. Был еще жив Пастернак, но Бродский никаких протекций не просил – а вдруг бы пришлось побывать в доме, где стены были завешаны картинами Пастернака-старшего?..

«На стенах висят рисунки углем Леонида Пастернака <>. Среди них наброски с натуры, портреты. Легко узнаются Толстой, Горький, Скрябин, Рахманинов. Там есть наброски, сделанные с Бориса Пастернака, его брата и его сестер в детстве, дам в широкополых шляпах с вуалью… Это во многом мир ранних воспоминаний Пастернака, мир его стихов об отроческой любви».

КАРЛАЙЛ О. Три визита к Борису Пастернаку // Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак,

М.И. Фейнберг. Стр. 648.

Хуже, лучше старика Чуковского?

А дом полон крепких мужчин – сыновей и друзей хозяина. Это не сырая квашня Лидия Корнеевна.

Есть похожий эпизод, но кто знал Бродского – понимает, что накал не тот, бойцы не те.

«Помню одну из таких встреч. Правда, она не делает нам, „молодым“, чести. Но что было, то было. Мы собрались дома у Стасика за праздничным столом в день его рождения. Был Борис Леонидович с Зинаидой Николаевной, Генрих Густавович с женой Милицей Сергеевной, Борис Николаевич Ливанов со своей супругой. <> За столом сидела и наша „молодая гвардия“ – молодые актеры художественного театра. Зашел разговор о музыке и поэзии. О ужас! Как смело, уверенно и безапелляционно высказывались мы и как деликатно, как бы извиняясь за наше невежество, Борис Леонидович и Генрих Густавович. <> Кончился вечер тем, что не понятые нами Борис Леонидович и Генрих Густавович, смущенно улыбаясь, стали собираться домой. И я очень хорошо помню Бориса Леонидовича в передней уже одетого, он держал кепку в руке и говорил, улыбаясь: „Ну что же особенного? Ведь бывает так… вот лежит под забором пьяный, а где-то рядом кричит петух – „ку-ка-ре-ку!“. А пьяный отвечает:

„Ну и что? Ку-ка-ре-ку! Ну и что? Ку-ка-ре-ку! – ну и что?“ И так без конца. Вот так мы „победили“!!!“

АНАСТАСЬЕВА М. Б.Л. Пастернак в жизни нашей семьи // Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак,

М.И. Фейнберг. Стр. 373.

В общем, ЗДЕСЬ дуэль не состоялась, ТАМ, наверное, – тем более.

Позиционная война

Семья не разделилась надвое, а удвоилась. Зина за непрошенное, неожиданое счастье должна была заплатить, Жене за отказ в просимом стали выплачивать компенсацию. Зина готовилась к счастью и не мелочилась, Женя проверяла, на сколько ей дадут продвигаться.

«В то время в другом, лучшем флигеле Дома Герцена жили жена и маленький сын Пастернака. Это был период известной семейной драмы Бориса Леонидовича, когда он расходится с Евгенией Владимировной, чтобы жениться на Зинаиде Николаевне Нейгауз. Я не раз видела, как из писательской столовой с суетливой озабоченностью выходил Пастернак, обе руки у него были заняты полными судками – он нес обед своей оставленной семье. При встречах с друзьями он ставил кастрюльки куда-нибудь на приступок и долго, почти со слезами рассказывал о своих семейных делах. Иногда его собеседниками оказывались не друзья, а просто знакомые. Потом его стенания и откровенности передавались из уст в уста».

ГЕРШТЕЙН Э.Г. Мемуары. Стр. 29.

«За четыре дня, на которые папа ездил в Ленинград, чтобы окупить летние долги (включая, естественно, Женин Кисловодск) серией авторских вечеров, Зинаида Николаевна позвала стекольщика вставить стекла, выбитые зимой (Женя с ребенком так и жила) взрывной волной при разрушении Храма Христа, сама перетянула продавленные диваны и натерла пол».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 377.

Е.Б. (будем так называть здесь биографа) честен и добросовестен: заслуги Зинаиды Николаевны не проигнорированы. Единственное: их описание – это пересказ письма Пастернака к родителям: «На Волхонке, куда мы переехали, не было ни одного целого стекла в оконных рамах, плинтусы не только прогрызены, но и сорваны крысами, в одной из комнат (крыша худая) текло с потолка и во время дождей пришлось подставлять ванну; <> нельзя было добиться ничего от домоуправленья за совершенным отсутствием стекол и прочих нужных матерьялов. <> Я это говорю для того, чтобы вам понятна была моя озадаченность, когда я, вернувшись через четыре дня домой, застал квартиру неузнаваемой и особенно комнату, отведенную Зиной для моей работы. Все это сделала она

сама с той только поправкой, что стекла вставлял стекольщик. Все же остальное было сделано ее руками, – раздвигающиеся портьеры на шнурах, ремонт матрацев, совершенно расползшихся (из одного она сделала диван). Сама натерла полы в комнатах, сама вымыла и замазала на зиму окна».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 549—550.

«Наша семья теперь состояла из Елены Петровны, которая готовила еду (питались в литфондовской столовой, стало быть, Елене Петровне, кухарке, приходилось резать бутерброды и ставить чай – то, что делал раньше Пастернак) и убирала – благодаря ей мамочка могла заниматься живописью, ежедневно приходившей Елизаветы Михайловны (няни), мамы и меня».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 377.

Жененок всегда оправдывается. А было бы пусть снобистски и вызывающе – но в полной силе своей правоты справедливо, если откровенно сказать: «Мамочка была не из таких, чтобы стоять у примуса».

Зинаида Николаевна имела возражение: «В Ирпене < > мне все меньше нравилась Евгения Владимировна. Она всегда была бездеятельна, ленива, и мне казалось, что она не обладает никакими данными для такой избалованности».

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.

З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 264.

Но Зинаида Николаевна в свое время как-то очень быстро «осоветилась»: а почему обязательно женщине иметь какие-то «данные», чтобы сделать свой выбор из альтернативы – стоять у примуса или не стоять? «Ленива» – вот это, конечно, уже безвкусно. От этого и защищает ее Же-ненок.

«Женин заграничный заработок» – о таком таинственном предмете пишет Пастернак родителям, и Е. Б. поясняет: «"Жениным заграничным заработком"Пастернак называет деньги, оставшиеся в Берлине после возвращения Евгении Владимировны в 1931 году. Они были накоплены из посылавшихся Борисом Пастернаком по просьбе родителей регулярных переводов по России».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 579. Нормальное исполнение уложения семейного кодекса – деньги, заработанные в семье, считаются общей собственностью обоих супругов. Правда, не заработком одного, не работавшего.

«Заработанное» в семье остается собственностью Жени,

Пастернак распоряжается только тем, что зарабатывает при Зине. Иногда распоряжается тоже только в пользу Жени. «Не было ли каких-нибудь новых поступлений мне сверх Жениной, неприкосновенной суммы? Если были, то переведите ей на Торгсин, у Женички опять нарывы, но это не страшно, это только в виде роскоши пожеланье».

Там же. Стр. 569.

Е.Б. все видится по-другому: «…просьбой о деньгах на Торгсин: мальчик (это он о себе) худ и истощен, у него авитаминоз и фурункулы, нужны продукты и фрукты, которые можно было купить только на валюту в специальном магазине».

Там же. Стр. 568 (текст составителя Е.Б. Пастернака).

Сейчас, без Торгсинов видя изобилие «фруктов и продуктов», все знают, что от авитаминоза в январе самое первое средство – квашеная капуста, из доступных в Москве еще продуктов – мороженая клюква, сухофрукты из подмосковных плодов – отнюдь не переложенные папиросной бумагой импортные ватные яблоки. А впрочем, если мальчик «худ и истощен» до нарывов, то мать начинает кормить не няньку и «опытную домработницу», а берется за домашнее хозяйство сама и на освободившиеся деньги питает ребенка. Если, разумеется, при отлаженном гарантированном довольствии в писательской столовой все-таки действительно дошло до истощения и фурункулов. Если нет, то, конечно, посылки из Торгсина от виноватого супруга очень уместны – но по другим причинам.

«Женя, уступи, пожалуйста, если возможно, иждивенческую промтоварную свою книжку Зине. Если можно, сделай это в границах просимого: то есть только эту книжку, без отказа от всяких других, от встреч со мной и пр. < > Прошу тебя об этом без тревоги за тебя, потому что если бы узнал, что отдача этой книжки оставляет тебя без выхода, постарался бы найти какой-нибудь другой. И не делай из этого истории».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 366.

«Старая квартира пришла в окончательный упадок, и я рад, что Женю удалось переместить в лучшие условия (созданные малопоэтичным ломовым трудом Зинаиды Николаевны, которой же и предстояло из упадка возрождать и старую квартиру. Пастернак рад, что это УДАЛОСЬ, – что Женя не капризничала и не гордилась, а трезво оценила, где лучшие условия, и показала пальцем: „Хочу“. Родители Пастернака, для Жени потрудиться не захотевшие (справедливо), от сына, на расстоянии, требовали безукоризненной озабоченности ее комфортом, и он с

удовольствием отчитывается. < > Желанье переехать на Тверской бульвар исходило от нее, и выбора у меня не было, пришлось совершить полный обмен, то есть поставить ее в отношенье питанья в наши (то есть мои с Зиной и ее мальчиками) прежние условья, потому что, если бы я отказался от столовой и от прод. книжки, то есть оставил последнюю у нее, нам не из чего было бы наладить питанье».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 548—549. И они вместе с Зиниными мальчиками умерли бы от голода. Оправдание со скрипом приняли.

«Полученье новой квартиры < > затрудняется тем, что я должен был бы сдать мою часть Волхонской квартиры в обмен на новую. Но это значило бы Женю с Женечком на будущее время ограничить одной комнатой. Мне при всяких условьях было бы непобедимо трудно отнимать у них теперь что бы то ни было свое, однажды бывшее их и общим. <…> Поэтому я прописан у ней, персональный паек, пищевой и вещевой, отдал ей, живу непрописанный, как при нашей системе регистрации немыслимо… <…> И все это в такое время, когда мою деятельность объявили бессознательной вылазкой классового врага… »

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 534.

Материальное обеспечение Жени не было для Пастернака чем-то обозначающим его эксклюзивное отношение к бывшей жене. Такая пожизненная забота – случай довольно редкий хоть в писательской, хоть в какой другой среде. Но он не был выражением специфических чувств Пастернака к Евгении Владимировне, хоть она ценила факт регулярной присылки денег ничуть не меньше, чем сами деньги. Алименты на западный манер – находившейся на иждивении бывшей жене. В Советской России, впрочем, формальный закон тоже вроде был, да только жен, находившихся на доказанном иждивении, мало, да и алименты поди стребуй. У известных людей, у писателя Тарковского вон, дети с голоду пухнут, при самых элегантных по Москве новых женах, а уж с бывшими-то кто будет разбираться…

Кормление Пастернак имел от толмачного дела. Подрядчиком был рьяным, незлобливым, искательным и безотказным.

Вот он пишет деловое письмо («Дорогой Саша!») председателю Союза писателей, соседу Александру Фадееву, просит заказа на перевод – напористо требует, апеллируя к

заслугам перед Россией, русской литературой, называя имена: «улица Горького и площади Маяковского, < > дурачок (это ерничая) Достоевский. И в какой-то доле, где-то между Блоком и Есениным, и тобою – (Александром Фадеевым, отнюдь не дурачком) и еще кем-нибудь, этому способствовал, как это мне самому ни кажется непредставимым, потрясающим и незаслуженно-невероятным, – и я».

ПАСТЕРНАК БЛ. Полн. собр. соч. Т. 9. Стр. 566.

Согласен или нет Фадеев, чтобы Пастернак втирался в компанию с ним, председателем правления, – но заказы распределяет он. Еще Александр Зиновьев в своих, из научной среды, романах писал, что диссертацию сработать – это самое плевое дело. Но кто тебе даст ее защитить? И Фауста у нас кто хочешь переведет – ты, главное, получи заказ.

Пастернаку нужны деньги.

«Жизнь довольно запутанная. Ты не представляешь себе, в какое количество рук приходится мне раздавать заработок и сколько зарабатывать». Возможно, такой аргумент сильно раздражил Фадеева. Какое ему дело до того, что Пастернак приучил многих тянуть руки? Да, он помогал родным Цветаевой, Нине Табидзе и прочим, обиженным властью, от которой сейчас он просит заработка, обещаясь выслужиться, – логика с большим ущербом. Фадеев для себя выстроил другую цепочку и не собирался чувствовать себя пристыженным пастернаковским сомнительным благородством. Да и в 1949 году вся Москва знала о совсем других руках, которые запутали жизненные обстоятельства Пастернака.

В сорок девятом году вся Москва гудела, обсуждая, с каким смаком села на пастернаковские хлеба голодная и алчная, бесшабашная попрыгунья Ольга Ивинская, – какие тут Ариадны Эфрон!

«Я < > заботу обо всех людях на свете, долг каждого, кто не животное, должен символизировать в лице Жени, Нины и Марины…» – пишет Пастернак.

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.

З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 180.

Фадеев за собой таких долгов не знал. От него родила Маргарита Алигер – он и думать забыл про эту дочь. Он не писал Пастернаку писем. Он приходил к нему пьяный на дачу вести разговоры, «оскорблявшие Пастернака своей откровенностью», – можно представить, сколь безудержны и из какой области были эти откровения. Но очевидно, Фадеев считал их равными просьбам Пастернака о деньгах для Ивинской с семьей, гусары ведь не бесплатно, – разве Фадееву не понять!

И Женя Пастернак получала конверты и переводы – просто деньги, вовсе не признания в вечной любви.

Елизавета Борисовна Черняк, жена литературного критика и историка: «В январе 1955 года Яша заболел. < > (Пастернак ни навестить друга, ни хоронить не пришел.) Однажды утром появился шофер Б.Л. и передал мне письмо и довольно значительную сумму денег. Меня от денег покоробило, захотелось тут же их вернуть. Но меня отговорила Лидия Корнеевна Чуковская (она очень дружила с Б.Л.), сказав, что Б.Л. широко и легко всем помогает, что это от души и что он обидится, если я откажусь».

Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 140—141.

«Брошенная жена, Женя, однажды захотела стоять на трибуне во время демонстрации (одно время была такая мода) и потребовала у Бориса, чтобы он достал ей пропуск».

МАНДЕЛЬШТАМ Н.Я. Вторая книга. Стр. 340.

Надежда Мандельштам знает все о мужчинах и женщинах. Она знает, что брошенная Женя – требует.

Сыночек бледный

«А от любови бедной сыночек будет бледный» – так по-окуджавовски. По-пастернаковски – веснушчатым: за «неглубокость, необязательность» их брака. «Мне всегда нож в сердце его веснушки. Откуда они у него такие и зачем это все так? Тут даже какое-то запредельное, до конца не высказываемое „за что“, которое меня всегда терзает до утери реальности, до душевного, если можно так сказать, головокруженья. Ну, допустим, велик мой грех – ну, перед Женей, скажем, или перед Богом < > (но не теперешний, не грех разрыва, а прежний – неглубокости, необязательности нашего брака). Но тогда, ведь, я должен был бы все это искупать. За что же это ребенку? А если бы вы знали, как он тонок и восприимчив, как (внутренне) он лучше многих! Но, несомненно, это забрызганное крапинками личико, забрызганное до того, что этой сеткой ослабляется выразительность его глаз, столь глубоко говорящих, – несомненно, это уже влияет и в будущем повлияет еще больше на его судьбу».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам Стр. 581.

Зачем мужчине говорящие глаза? Он хотел готовить его в актеры? Говорящие глаза – это плохо, это профессионально, если уж это дано природой, надо маскировать, хоть веснушками, что ли. Пастернак – красавец и артист, он и сына разглядывает как бы из-за плеча его перед зеркалом, и, по счастью, юношеское отчаяние перед прыщами и веснушками – это только у папы. Что делал Леонид Осипович, получив это письмо: тревожился? разделял понятную озабоченность? досадовал? закатывал глаза? Наверное, простил…

Горестное изумление Пастернака перед веснушками неожиданно: довольных собой и радующих родителей веснушчатых детей хоть пруд пруди, это стильно во все времена, все рыжеволосые, яркие и роковые – все с веснушками. Мальчики и девочки его крови часто бывают рыжеволосыми и веснушчатыми, что это он так всколыхнулся? Рыж и веснушчат был юный Иосиф Бродский – веснушчат не до неаппетитности пастернаковского забрызган, забрызган крапинками до того, что ослабляется и пр., – был весьма сексапилен и вполне в духе ровесницы Пастернака Анны Ахматовой.

Пастернак предлагал веснушки свести. Как на все беды, которые существовали от века, всегда были действенные и изуверские средства. Пастернак был готов подвергнуть сына дермабразии во имя подчеркивания красоты глубоко говорящих глаз (а заодно и мужественности). Женя психовала. Женечек

задним числом, может, и поддался бы отцу (но тогда уже Пастернак без всяких тонкостей обязан бы был к ним переехать навсегда с чемоданом), но, слава Богу, в реальности до этого не дошло. «…Мне они кажутся объективными. Но любые движенья, диктовавшиеся мне кругом подобных ощущений (сведенья ли веснушек, более ли мужественного и грубого и не такого изолированного от детей воспитанья и пр.), всегда воспринимались Женей как черты мнительности, почему-то оскорблявшие ее и взрывавшие».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 581.

Женя взрывалась потому, что она считала себя достойной совершенства в штанах: такое случается, когда не любишь, но ОН подходящ и – женился. Желать больше нечего, быть счастливой – невозможно, остается требовать совершенства. Не получив (гений – это не совершенство, он еще более далек от него, чем любой из негениев, его слишком уже перекосило в некую сторону), она «почему-то» оскорбляется и взрывается. Мнительный субъект вместо положенного самоуверенного и наглого – такого, кто сам всем бы на рожи веснушки наклеил!

Трагедия с веснушками происходит четвертого августа, Женечок проводит лето в санатории, полном педагогических затей, ведь дети могут быть непростые, с веснушками. «Несомненно, что та же тусклая паутина, которая лежит на его хорошо вылепленном облике, опутывает уже и его отношения с детьми и положенье в школе и пр. и пр.».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 581.

Бедные пастернаковские родители, живущие в Германии, где только что пришел к власти Гитлер, беспокоятся все о своем. «И тут дело не в вещах, на которые у вас обращают так много вниманья, потому что мальчиков и девочек его крови больше, чем достаточно, везде, и в школе, и в той же санатории… »

Там же. Стр. 581—582.

Но за еврейство членов их семьи не любит пока только Борис Леонидович.

После лета на воздухе веснушки, конечно, расцвели и поярчели, проявился рисунок, лицо стало еще более задорным (Женечок очень хорош, весь в родителей) – просто напряженность в отношениях с отцом, отсутствие непосредственности и всегдашняя недетская забота, как бы его подловить или хотя бы закрепить в повороте в свою сторону (сторону их семьи с мамой), делают ужасным и непривлекательным для Пастернака контраст: уморительность пестрого детского лица и взрослая женская ловля мужчины. Пастернак хочет ему помочь – он переживает, что глубоко говорящий взгляд не так ВЫПУКЛО очевиден.

«…на Ярославском вокзале < > кругом почти сплошь жидова – и – это надо послушать – словно намеренно в шарж просятся и на себя обличенье пишут: ни тени эстетики. Стоило ли Москву заполонять! Скоро десятый год, хоть бы говорить и вести себя с тактом научились! И безысходное до неутешности сознанье: за самого последнего, уже на грани обезьяны, за все его безобразье – ты до конца дней – ответчик. Он будет грушу есть и перекашиваться в ужимках – а ты нравственно отдуваться за его крикливое существованье. На это же обречен и мальчик. Иногда я содрогаюсь от того, что наделал!»

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 200—201. Такой вот антисемитизм для начинающих. Почему он себя идентифицирует по едящему грушу? Почему бы не по вычисляющему формулу или сочиняющему симфонию – тоже довольно типичное еврейское положение? Почему для точки отсчета для Женeнка он выбирает рожу на вокзале? Там можно насмотреться и на таких татар, что татарин захочет забыть, что он татарин, и на русских – с грушами и без груш бывают такие, что специально так не перекривишься. Антисемитизм Пастернака был незаразителен, с годами не малигнизировался, было состояние пожизненной стойкой ремиссии. Прожил всю жизнь с неприятием еврейства в себе и полным игнорированием (что похвально) этого НЕДОСТАТКА в других, так что можно заключить, что ему просто не нравились некоторые неэстетичные рожи на вокзалах, и он нашел для них быстрое словцо, каким их заклеймить.

«Бахтин: Русское дворянство, в особенности < > именитое никогда не было заражено антисемитизмом. < > Это чисто мещанское явление. < > Прав Гегель, у нас духовенство, даже католическое духовенство, – в нем совершенно не было никакого антисемитизма. Это как раз антисемитизм – явление специфическое, людей, чуждых всякой религии, воспринимавших религию только как обряд, как быт какой-то. Вот все эти черносотенцы, они в большинстве случаев тоже были церковниками и так далее, но для них церковь – это какая-то часть их быта. А настоящие представители религиозной мысли в России никогда не были антисемитами».

Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. Стр. 248. Пастернак постиг глубины и высоты человеческого духа, потому что не распылялся, а копал перпендикулярно под собой и отрывался, чтобы посмотреть в небо. Религия – нечто большее, что смешивает верх и низ и дает полную, объемную картину мира, –

его как метод проживания жизни не заинтересовала. Даже явное для него еврейство не стал рассматривать с точки зрения религии, принадлежащей его народу.

Пастернак звал Мура (знал по фотографиям) – наполеонид. Маленький, своего еще нет, все – раса, тип.

«У меня есть теория. Красота есть отпечаток правды чувства, след его силы и искренности. Некрасивый ребенок – следствие отцовского преступления, притворства или терпеливости взамен естественной привязанности и страстной, ревнивой нежности. Несправедливость и горе в том, – что не я, виновник, а мой старший сын, неповинный в моем преступлении, обезображен веснушками и розовой кожей».

ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 10. Стр. 520 (письмо Б. Пастернака Жаклин де Пруайар).

Женёнок строг к условиям, которые предоставляет ему отец. Он помнит много из того, что плохо характеризует отца.

Вот, выдавленный отцом за границу, но не взятый родными на постоянное проживание, он, как мальчик-с-паль-чик, возвращается с мамой в Москву. Боже, как Женя ждет чуда: Зина на своем месте, Борис встречает ее и сына – так мало кто чего-то ждет и об этом молится. Чуда не происходит, Борис («папа Боря») встречает и везет в их оставленный дом. Жене ясно, что там живет Зина. С чужими (Борису, отцу их родного сына) сыновьями и т.д. Все это ясно с первых моментов встречи.

«На столе нас ждал остывший ужин: картошка с селедкой».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 363.

Это ужин, приготовленный Пастернаком и остывший, пока он был на вокзале, встречая берлинский поезд с Женей и Женёнком («носильщик, такси…»). Зинаида Николаевна с детьми ушла на время встречи из дома и ужина не разогревала. «Некуда идти» было и Евгении Владимировне, и Зинаиде Николаевне. В свой дом (в свою комнату) Пастернак ждал Зинаиду Николаевну. В соседней Евгения Владимировна жить не хотела (не могла, конечно) – и «их повезли» (ее с сыном) в дом заставившего Пастернака жениться брата Сени. «Здесь нас первым делом сытно накормили».

Там же… Стр. 363.

Дети очень материальны. Хотя, напомнив эти подробности через много лет, как-то даешь понять, что кто-то знает свои

обязанности, а кто-то – нет. «Хозяйством дяди Сени занималась Гитта». Это были родные брат и сестра

Евгении Владимировны, на которых точно так же, как на родственников Бориса, можно бы было рассчитывать, что они помогут ей «растить Женю». «Гитта < > перекармливала меня сладким до тошноты, несмотря на трудности с продовольствием».

Там же. Стр. 363.

По сравнению с папой – были благодетелями, по сути – откупались.

Пастернак тоже откупается. Но его куски, чтобы быть сладкими, должны быть не купленными за деньги, а – отнятыми у Зины и ее детей. Женя принимает и другие подарки, попроще, вернее, берет то, что ей полагается, но эти – приятнее. Это восполнение не прямого ущерба, а морального вреда.

Конечно же, откупалась с самого начала и Женя. «Не посвящая ему всей себя, она в то же время баловала Женёчка косвенно, кутала и нежила руками Паши < >и еще как-нибудь, как бы от него откупаясь тратами на него и на привлеченных к нему людей».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 713.

Женечка Пастернак однажды отказался продвигать как «вундеркинда» – для освобождения от армии. Родительская стезя еще тем неблагородна, что родитель не может желать иметь великого ребенка. Кто хочет родить гения? Кто хочет родить сына – Осипа Мандельштама? Кто хочет быть матерью Марины Цветаевой? Слава Богу, родители не дожили ни до их конца, ни до того периода их жизни, когда гениальность была уже неминуема и неотвратима. Пресвятая Богородица родила Иисуса. Хорошо хоть сама она не молилась о таком даре судьбы. Евреи не заметили ее события. Они продолжают молиться, чтобы никому из них не остаться бездетным и чтобы когда-либо в их именно колене появился Мессия. Очень гигиенична в смысле профилактики родительских психозов и фрустраций религия, можно расслабиться, но существует еврейский же анекдот, записанный еще Голдой Мейер в ее записках: «И надо же именно нам исполнить вековые чаяния!»

Борис Пастернак простачком не был и теоретически о наследственном «генийстве» не мечтал, но не видеть ясно и подробно то, что родил, – тоже не мог. Лев Толстой сокрушался, что из милых, топочущих по комнатам мальчиков выросли бородатые мужики, играющие в вист за большими столами

(хорошо хоть удались некоторые девочки – это только дочки могут так нерассуждающе преданно ходить: хоть за своим отцом, хоть за отцом своих детей). Монстр нравственного совершенства – это бы он считал «гением» – не родится, он становится от большой работы над собой, над тем, чтобы стать «вполне хорошим». Это не удалось Толстому даже на бумаге, Андрею Болконскому пришлось умереть в расцвете лет. Для Пастернака гении должны обладать не нравственными, а интеллектуальными и эмоциональными качествами, отличающими их по богатству и силе от других людей. Женёнок гением не стал. Но был до упрека похож на папашу. Был похож внешне: «У него много общего с Борисом Леонидовичем – длинное, крепко слаженное лицо, внезапная широкая улыбка, высокая, сухая, сильная фигура. Волосы только светлые, мелко вьющиеся и кожа, как у рыжего, с веснушками».

МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 203.

Мягкий знак везде ставил, укорачивая слова, старательно усложнял стиль писания, трепетно и преданно любил жену (вторую – но это не важно, главное, что по наследству передалась способность любить жену) – так явно, так нестыдливо, что вряд ли искренне, ну да никто и не обязан искренне любить жену, как, впрочем, и показывать, как сильно любишь, пусть неискренне. Такое сходство – бессмертие наоборот: вот, все похоже на тебя полностью, но ты в нем исчезаешь бесследно.

«В письмах к отцу Евгений Борисович несколько раз сослался на сходство с ним, на родство по крови. Кажется, именно это Пастернака взбесило больше всего; дело не в том, что он находил в сыне ухудшенную, „разбавленную“ копию себя, отягощенную материнскими комплексами и капризами. < > „Ты пишешь: „Мы с тобой одной крови, папочка“. А на чорта мне эта кровь, твоя или моя? Мне брюхом, утробой, а не только головой ближе всякой крови „Фауст““.

БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 701.

Детские обиды конкретны. Ребенок не может поверить, что его не любят. Потому он и обижается, что рассчитывает на любовь. «Не любишь» – это на его языке значит «не жалеешь», «хочешь наказать». Мотивация этих родительских жестокостей – «непонимание». Все ими истолковывается превратно. Женёнок все объясняет более основательно и не романтично. «У Женички, при всей тонкости, не было таких нервов. < > Он весною кончает среднюю школу и, верно, попадет в солдаты. Я хотел добиться, чтобы он побывал до этого в университете, как бывало в наше время, и сначала хлопоты, как казалось, могли увенчаться

успехом. Но для этого пришлось бы идти по очень нескромной линии и выдавать его за вундеркинда, чего на самом деле нет и мне не хотелось. И у Жени осталось такое чувство, точно я недостаточно по отношению к нему заботлив».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 232.

В детском, подростковом возрасте любовь отца нужна мальчику больше всего – но неосознанно. Любой ребенок, претендующий на любовь отца сознательно, – маленький вымогатель. Наверное, эти слова надо писать в кавычках: слишком ясно, что это потребительство внушено оставленной матерью – это она внушает сыну, что папочка хочет только откупиться деньгами, а нам нужна любовь. Оставленные женщины разрушают все вокруг себя. Ребенку трудно сформулировать свои желания. Он хочет получать любовь из воздуха, отовсюду из своего окружения, но меньше всего от родителей, а из них двоих – меньше всего от отца; ребенок стесняется этого, только самая естественная, ежедневная любовь может заставить его не замечать ее, не стесняться, – и тогда только питаться ею. Если он хочет потребовать сколько-то этой любви точно, до грамма, столько, сколько ему положено, – это все на совести матери. Такая любовь у Женечка в детстве случилась, отец любил его, но Женечок хотел штампа в паспорте.

Во взрослом состоянии сознательно претендовать на любовь – скорее на дружбу (почему бы и нет, с таким-то отцом?) – более естественно. С кем еще более полезно и поучительно было бы дружить, как не с великим поэтом, виднейшим представителем культуры своей страны и пр.? Евгений не предлагает равноправной дружбы, не претендует – и тогда снова требует любви, ссылаясь на кровь. Получает по полной программе: «На чорта мне кровь?» Отец упоминает Фауста – Фауст ему ближе по крови, ближе и Ольга Всеволодовна со своей дочерью Ирочкой и сынишкой. Евгений понял этот намек? И тоже кровь здесь стала ни к чему: на смертном одре он про них не вспомнил – не хотел видеть. Толстой тоже не захотел видеть Софью Андреевну, на то она и есть трагедия смерти, долгого умирания, здесь нет романной легкости и симметрии, ничего эффектного. Когда они были моложе и Софья Андреевна готовилась к смерти (перед операцией кисты), они друг с другом – не с детьми – прощались наедине несколько часов, тогда жизнь и смерть лежали перед ними, как две страницы книги, правая и левая, и Софья Андреевна переворачивала одну из них очень по-христиански, красиво, а сам Толстой перед своей смертью был почти не жив

уже. Он был более прав – но с его правами не считались и при жизни.

«В прошлом году, в самые мучительные для Жени моменты у нее вырывалась просьба, чтобы я взял Женю к себе».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 549.

И чем тогда намеревалась утешаться Женя?

«Я все дни думаю о Женичке и меня беспокоит, как бы ты не упустила сроков к определенью его в школу. < > Я боюсь, что вскипев по поводу моей озабоченности, как пустой фразы < > ты в этой моей несостоятельности и в своих счетах со мной всю суть вопроса и усмотришь, позабыв, что Женичке перевес твоей правоты над моей неправотою школы заменить не может… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 369.

«Из школы, куда его определяет Женя, до сих пор нельзя получить окончательного ответа, примут его или нет – так все переполнено».

«Он еще не в школе, но, вероятно, будет в нее помещен».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 549, 554.

И вот наконец: «Он в восторге от школы, в которую я его не без труда среди года определил».

Там же. Стр. 558.

«…"показательная", школа № 25, где учились дети Сталина и Молотова и куда меня устроил папа в 1934 году…»

Там же. Стр. 441.

«Я плохо помню обсуждения родителей, с какого языка начинать мое образование и где найти учительницу. Решили, что надо с французского, так как он улучшает произношение на других языках, в то время как начальный немецкий дает акцент во французском и английском».

Там же. Стр. 304.

Подходящую учительницу нашли. «Поседевшие волосы были собраны в пучок, подтянутый к макушке, – получалась серебристая коронка. Черные брови и светлые зеленоватые глаза. Длинное, на высокий стоячий воротничок и плотные манжеты застегнутое платье в талию. Никакой мрачности – открытость и отзывчивость».

Фрейлина и Лопухина – княгиня по мужу.

«…зачем мне ехать в Париж, зачем таскать за собой Женю. Он пишет, читает по-немецки, начал ходить в немецкую народную школу, французский успел забыть. Пробыв месяц, два в Париже (ты скажешь, зачем два, больше, до весны <…>) восстановит французский, забудет немецкий».

Там же. Стр. 344.

Языки давались без особой легкости.

Правила сервировки независимости

О причинах разрыва первых Пастернаков иногда удавалось продвинуть официальную версию Евгении Владимировны. «Осуждать тут нельзя. Призвание говорило сильнее, чем любовь, чем сознание долга; не было понимания несоразмерности их дарований. Так эти две дороги не слились воедино. Оба были людьми искусства. Оба нуждались в заботе, в освобождении от житейских тягот. И оба страдали».

КУНИНА Е. О встречах с Борисом Пастернаком // ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 11. Стр. 119. Говорило сильнее вовсе не призвание. Призванию была дана возможность высказаться в полный голос, когда Женю с деньгами, неограниченными (так казалось всем участникам истории по обе стороны государственных и семейственных границ), с ребенком (нельзя было оправдаться: я не могла уехать без сына) отправили за границу, в Германию. Отправили к свекру, который переставал быть свекром, но оставался дедом, отцом заклинающего о вечном неоставлении заботами сына и был вполне успешным и включенным в успешное жизнеустройство художником, как минимум со всеми связями, нужными Жене для воплощения призвания, становления человеком искусства и прочих беспрекословно почитаемых Борисом Пастернаком амбиций. Жене оставалось только воспользоваться всем этим – в Париж! в Париж! – призывал Борис, но никакое призвание в ней не заговорило сильнее, чем последняя отвага слабой и уязвленной писательской жены.

«Неужели подсознательно я продажная и готова продать себя за славу, за богатство».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 205.

Раньше, когда диснеевских фильмов детям (русским) не показывали, большими достоинствами, референтной точкой для морализаторства считались бедность и трудолюбие. Золушка достигала всего, чего бы и пожелать всякой девушке, хорошим покладистым характером, усердием, добротой и вежливостью, красотой, конечно, и – непедагогичный тезис – удачей. Слово «Золушка» говорили и когда кто-то выбирался куда-то повыше, – это не было выражением «из грязи в князи» (где «грязь» имела отчетливый морально-нравственный, а не только социально-экономический оттенок) – просто чтобы не заводить долгого

рассказа о волшебной и счастливой трансформации участи, и еще: работать можно было, как «Золушка», – не надрываясь душой, с доброй и легкой любовью к своему нехитрому делу. А тем временем, оказывается, во всем мире с Золушкой все было совсем не так. Ставим диск. Золушка спит в комфортабельной кровати подолгу, на зов работодателей является, огрызаясь и фыркая, не поспешая и не перетруж-даясь; когда до нее доходят слухи о местном бале, она, заподозрив, что ее могут туда не взять, определенно противным голосом, настойчиво и казуистически вопрошает: «Это почему же?» Спина очень прямая, взгляд тоже прямой, все права, и главное – ответственность ее семьи за препятствия в их осуществлении ей известны очень хорошо. Словом, это совсем другая сказка. Или не сказка. Когда Золушке становится ясно, что победа на кастинге почти наверняка у нее (поскольку полоумная старуха фея наградила башмачками почему-то именно ее), она швыряет на руки сестрам ворох грязного белья, только что с рабочей гордостью принятый в производство, и идет к себе в комнату приводить себя в порядок перед важной встречей (как героиня «Секса в большом городе» – придирчиво обнажая зубы перед зеркалом, поднюхивая дыхание), покачивает бедрами. Голос у нее – когда она поет дуэтом во время первой встречи с принцем – грудной, поставленный, сексуальный и полновесный… Вот оно, оказывается, что – а мы удивлялись, что золушкиного в «Pretty women»? Проститутка почувствовала слабинку в клиенте и играет по-крупному: тратит с умом его деньги, ссорит с друзьями, ставит на голубые фишки, дальновидно отказываясь от солидного, но разового гонорара.

Изменилась и наша отечественная Золушка. Большой театр после большого перерыва едет на гастроли в Англию, везут «Золушку». Исполнительница заглавной партии дает интервью: «Моя героиня – девушка, которая не даст себя в обиду, сумеет за себя постоять». Везут и в Москву одноименный спектакль из Новосибирска. «Золушка <>, сирота с претензиями – ноет, капризничает, работать не любит. <> маленькая хищница, вцепившаяся мертвой хваткой в выгодного жениха».

Татьяна Кузнецова, Коммерсантъ, 21 марта 2007 года.

Главная сказка жизни Жени Лурье удалась. «Выходит, что я талантливая девочка».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 205.

В этом контексте слово «девочка» особенно неприятно режет слух.

«Женитьба же только прибавила ему забот и ответственности,

особенно после рождения сына. Вероятно, хозяйственные хлопоты все же легли на молодую хозяйку, как на всякую на ее месте. Но она была художница! Талантливая портретистка. И ей вовсе не улыбалось пожертвовать своим призванием… »

КУНИНА Е. О встречах с Борисом Пастернаком // ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 11. Стр. 119.

Как во всяких правилах хорошего тона: главное не то, что ты не пролил соуса на скатерть, а то, что ты не заметил, как это сделал другой. Не то чтобы главное, но более продвинутая ступень. Пастернаку надо было не просто создавать Жене независимость, а делать вид, будто он не замечает ее беспомощности, зависимости от него. Ее зоркий глаз был на страже хорошего тона.

Как сильный человек, Пастернак умеел проигрывать. На этом поле сражения Пастернак проиграл все. Он и варил щи (самолично, при людях, а когда появились деньги и Зинаида Николаевна – оплачивал Жене кухарку и прочие условия творческой работы), и признавал ее право, соразмерное его, Бориса Пастернака, собственному, на творческую деятельность и свою обязанность эту деятельность высоко ценить. Встревоженные, всерьез озабоченные вопросы о том, как идет ее работа, удается ли выкроить время, нет ли каких помех, он задает с периодичностью, будто заданной по календарю, покорно и покоренно: «Пишешь ли этюды и, если нет, то почему?»

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 173.

Это – в Германию. Представьте, что куда-то поработать и подлечиться уезжает Пастернак и кто-то участливо вопрошает его: «Пишешь ли ты наброски к стихам, а если нет, то почему?» Под скрип опадающего занавеса Пастернак добился вызова из Германии. Семейству, всем троим, было с места не сняться, одни только визы стали стоить по 300 рублей с человека вместо тридцати, выяснялось – кому нужнее. Женя ненавидела его за то, что он не мог обеспечить ей лучший уровень пребывания, но поехала, разумеется, она. «Обстоятельство, например, что за границею ты, а не я – для тебя НЕ ФАКТ только оттого, что матерьяльно я не мог справиться со всем тем, что ХОТЕЛ для тебя сделать перед тем, как уехать с Женичкою к нашим».

Там же. Стр. 178.

Проиграна и эта ситуация, в 1922 году Пастернаку не хватило комнаты, в этот раз – вообще поездки. Пастернак благородно подписывает капитуляцию: «Пишешь ли этюды?»

Наверное, такие события не проходят бесследно. Женя была мнительна, щепетильна, истерична, ненависть ее к Пастернаку, увиденная им в их первые годы и закрываемая неподдельным уважением – Женя была достаточно интеллигентна, – могла проявиться для него, уже привыкшего к теплой дружбе, крайне болезненно. Запрограммировав себя на бесцельный, протокольный и опасливый интерес к ее творчеству, он взял себе за правило вести себя так и с другими, чтобы казалось, что эта «вежливость» – свойство его характера, а не Женина требовательность.

Он принял на себя готовность яичницу любого человека сравнить со своим Божьим даром. Это им была послана телеграмма: «Я отказался от Нобелевской премии, дайте работу Ивинской». Сын Жени Женечок удивляется: «У меня мороз пробежал по коже < > Я живо представил себе < > шокирующую несопоставимость двух полюсов: переводов Ивинской из корейской поэзии и высокой чести первой литературной награды мира».

Там же. Стр. 539.

В отношении с Женей Пастернак себе истерик не позволял.

Как всегда, особое положение у Зинаиды Николаевны.

Не зря она вышла из каменоломен творенья: быв женой Нейгауза и Пастернака, она не демонстрировала своей профессиональной музыкальности и не понимала поэзии Пастернака. Продолжала не понимать, когда при ней читались стихи об Ивинской.

Борис Леонидович то напишет отцу, как Женя продвинулась в рисунке и какого сходства добивается, то опишет, какие успехи сделала за «рабочее» лето: «сделала несколько карандашных портретов с большим сходством и технической свежестью, прекрасный масляный этюд дуба с солнечным передним планом и тенистою заглохшей глубиной заднего…» Тот, будучи совершенно профессионален, вежливо отписывается: «сообщение твое насчет художественной поездки Жени большой (валюта всех государственных чиновников: привораживание дам средствами из государственной казны, поклонник Жени был ответственным работником писательского станка – и организовал включение „художницы Пастернак“ в состав группы представителей советской творческой элиты по каким-то теплым и сытным краям) и насчет ее художественных успехов меня порадовало».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 51, 587. Играть при Зинаиде Николаевне на рояле Пастернак стеснялся, описывать Женины художества перед Леонидом Пастернаком – нет.

Когда из Англии после войны сестры и Раиса Ломоносова прислали Пастернакам посылку с одеждой, Борис Леонидович, конечно, половину женских платьев отнес Евгении Владимировне. «Но она на другой день принесла его обратно. Она сказала < > что я с Зиной живу слишком крупными системами (это ее выраженье), что я перестал замечать людей и чувствовать по-человечески, что она не могла спать от мыслей и воспоминаний, что с нашей стороны пользоваться этими вещами свинство и вымогательство, что она возвращает платье, так как не участвовала и не хочет участвовать в нашей дележке, что ты и Жоня живете, наверное, гораздо хуже, то есть в гораздо больших заботах, чем я».

В работах Евгении Владимировны есть стиль – на протяжении всей жизни она работает все в одной манере, действительно немного импрессионистской. Когда работает с ответственными моделями – в надежде иметь их заказчицами, – не решается употребить и этот невеликий индивидуализм, рисует – не пишет – красками тщательно, как цветным карандашом.

«Денег попросила, потому что из 80 р. отдала половину доктору, а я избалована и без денег мне неприятно».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 492.

«Женя была больна весной и очень худа. Редко, когда она бывала довольна летним местопребываньем и за лето почти никогда не поправлялась. Не то сейчас. Она вернулась из Крыма, где ее окружало общество из того же литературного круга и где к ней чудесно относились, загоревшей и пополневшею, в ровном, спокойном и веселом настроеньи; мягка со мной… »

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам.

Стр. 698. Письмо 1937 года.

«На Волхонке нет ванны, на Тверском бульваре (в той квартире, которую Женя отняла у Зины) – есть. Женя большая в Крыму».

Там же. Стр. 671.

«Она сделала ощутительные успехи в рисованьи. Только теперь научилась она передавать живое сходство в рисунке, и в какой-то манере, очень по своему благородству особенной, хотя и робкой».

Там же. Стр. 583. Письмо от августа 1933 года.

«Мама говорила потом, что на долю ее семейной жизни с папой пришлись годы безденежья и трудностей с изданиями, а вторая женитьба совпала со временем широкой папиной известности и большого количества выходивших тогда книг».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 382.

«…годы безденежья и трудностей с изданиями» – а разве она верила в него: в великого, но не признанного писателя, за которого она вышла замуж, поддерживая его на его поприще? Все было наоборот: она вышла за неудачника без перспектив (ну, из хорошей семьи, ну, будто бы выдающегося поэта – так ведь ненадежнее этого поприща нет), мать мечтала, что перебесится и станет, например, коммерсантом. Художницей – хоть ей все-таки надо было обрести и приличный замужний статус, – художником, с обязательствами достичь «широкой известности и большого количества» продаваемых картин, – в этой семье была она, целеустремленная Женя. Ее заслуги в том, что у папочки возникла широкая известность (совпавшая с каким-то другим периодом в его жизни), не было никакой. Она ни за какого деятеля с предполагаемой широкой известностью не выходила. Такового ей не досталось.

Типичная ситуация первой «новой русской» жены. Сначала девушка выходит за того, за кого может, кого удается подцепить. Не за дипломата, не за сына директора магазина – за того, за кого смогла пристроить родня, как семейство Жени Лурье никого респектабельнее Пастернака для нее не подыскало (Иду Высоцкую, чаенаследницу, например, за него не отдали). Супруги живут не бог весть как дружно, расходятся, муж идет в гору (один, без ее помощи – соратники расходятся по-другому, как дружественные или недружественные партнеры), и дама уже не удовлетворяется ролью оставленной жены с завидной для всех бывших подружек суммой алиментов, которых никогда бы не заработать. Хочет заводов, газет, пароходов.

«Она сама мне рассказывала, что, когда они ездили в 1922 году в Берлин, сняла себе большую студию, при которой имелась комнатка для Бориса Леонидовича. То есть она ощущала себя художницей, при которой существовал ничем особо не примечательный муж».

МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 311.

Женёнок упреждает удары: пишет и об оранжерейности

мамочкиного творчества (ему ничего не оставалось делать – он действительно опубликовал переписку, принадлежащую его семье и ему как главному прямому наследнику, со многими некупюрами, с ними все было бы бессмысленно пресно). «Отец регулярно давал маме 1000рублей в месяц (зарплата одной из самых высокооплачиваемых категорий – офицеров, например; учительница получала 500), что, с одной стороны, делало ее независимой от начальства (вот оно, реализовавшееся стремление к независимости) и избавляло от унижений официальной работы (вот так), с другой – лишало необходимой стойкости, которая приобреталась в соперничестве и составляла главную черту художественной судьбы дедушки Леонида Осиповича, чьим примером всегда мерили свои достижения мои отец и мать. (Где его отец и где дедушка Леонид Осипович! Где Леонид Осипович Пастернак и где милая Женя!) Как неоднократно говорил мне папа, мамина работа не получила той закалки которую приобретает профессиональный художник, встречаясь на своем пути с холодным и враждебным внешним миром. Вступать с ним в противоборство заставляет его гордость. Так достигается радость победы. Мамино искусство волею судьбы (и обдуманной настойчивости) осталось в оранжерейной обстановке дружеского тепла, не сталкиваясь с тех пор с холодными глазами официального критика».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 485.

Товарка по санаторию, которая должна бы иметь сочувствие к брошенной жене, но не имеет и говорит об эгоизме. Эгоизм брошенной жены? Каков же он был у не брошенной?

25 сентября 1941 года, письмо в Ташкент в эвакуацию: «Я отправлял вам деньги дважды, послезавтра, в случае удачи, повторю».

«…горячее спасибо, что вы сами сумели так умно и энергично о себе позаботиться, избавив меня (как и Зина) от главных тревог и забот».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 425.

«Как и Зина» прибавлено, по всей вероятности, чтобы избежать всегдашних счетов: только ли о Жене Пастернак заботится, или что-то оттягивает на себя и Зина? Видно, споры окончены. Пастернак уступил и о любых благодеяниях должен упоминать со сноской, покорно подставляя опущенную голову для хлыста, что Зине тоже, не без того, перепало. Иное дело, что самостоятельность Зины во время эвакуации – совершенно для

нее естественное и привычное дело. В переезде она разве что не поезд на себе тащила. Была полезна, жестка и деятельна для целого вагона, а то и больше.

«…мамочка <> видела в нем загнанную лошадь, которую все эксплуатируют и любят постольку, поскольку живут во всех отношениях за его счет. Она говорила, что его ценят лишь как курицу, которая несет золотые яйца».

Там же. Стр. 564.

Все бы ничего, если бы сама Евгения Владимировна не прожила всю жизнь тоже за его счет во всех отношениях. Он не только оплачивал ее супы, котлеты, домработницу и санатории, но и изящную прихоть считаться художницей. Символами расширительного толкования ею счета, который, как она считала, золотая курица (даже не золотой петушок) Борис Пастернак обязан был от нее принять к оплате, были самое начало и самый конец их совместной, а вернее (как ни избито определение), параллельной жизни. Когда она самый первый раз она пришла к нему в дом и вышла с полным передником красок, оставшихся у Пастернака от отца, – а похоронили ее на Переделкинском кладбище, в ограде всемирно известной могилы Бориса Пастернака, на место в которой она не имела никакого права. Похоронил сын, которому только для него одного значимая память его матери была важнее уважения к прожитой судьбе его дорогого для многих отца. Посередине были писательские квартиры, писательские путевки, писательская эвакуация, писательские знакомства.

В Ташкенте: «К вам ведь хлынуло множество народа, среди которого немало людей известных и интересных. Вы наверное окружены целою галереей знакомых, вряд ли мама скучает».

Там же. Стр. 433.

Впрочем, если бы Евгения Владимировна НЕ пользовалась его «золотыми яйцами», упреком ей стала бы зависть к тем, кто «во всех отношениях живут за его счет». БЕЗупречная позиция (а она либо есть, либо нет) – это рассматривать Бориса Пастернака под каким-то другим углом, не сводя все, как делала это боттичеллиевская женщина Евгения Лурье, к деньгам, которые доставались ей и, к ее сожалению, кое-кому еще.

«Одну книжку малой серии „Skira“, посвященную Боттичелли, отец принес маме. Скрытая символика этого подарка не обсуждалась, но была душевно понятна им обоим. Кроме неизменного сопоставления маминой внешности с женскими образами итальянского Возрождения, папа помнил, что

Боттичелли как художник был ее глубокой любовью».

Там же. Стр. 532.

Она любила Боттичелли – и тем очевиднее становилась ее бесталанность. Не зная ее истоков, школы, смотришь довольно равнодушно на ее самодеятельную женскую (и женственную, бесспорно) живопись. Когда же при ней говорят «Боттичелли», первая реакция: «Какой плохой она художник!»

Как обсудить скрытую символику этого подарка? Евгения Владимировна внешне похожа на героинь картин Боттичелли, на «Рождение Венеры», на «Весну» – рисунком лица, позами, нежной колористикой, как это видно даже в дымке черно-белых фотографий. Здесь нечего обсуждать – здесь налицо сходство. Но как соединить боттичел-лиевскую идею мягкой женственности с записанной Пастернаком неуступчивостью, жесткостью Евгении Владимировны, вызовом, бессмысленной принципиальностью?

Идет весна, рождая все вокруг себя. Родившая одного ребенка Евгения Владимировна настаивает на своем бесполом, внекультурном, антиприродном праве отстраненно и отчужденно подыскивать, кому бы отдать его, раз муж – член Союза писателей и пр. – ушел из семьи. Насмотревшись на другие примеры, она постепенно стала оттаивать – видя, что Пастернак не лишает ее предназначавшихся бы ей карточек на привилегии, угождает от сердца, как не угождал мужем. Пастернак играет в игру (пока было интересно): я сделаю все, что можно, хуже – Зине, потому что я люблю ее больше жизни. Больше – значит, и любить ее (в смысле лелеять) – совестно.

22 ноября 1941 года, в Ташкент: «Удается ли тебе работать?»

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 433.

Что это значит? Уважительное, подчеркнутое (Женину самодеятельность надо называть работой, иначе она обидится, ведь это ей полагались мастерские, это ему она при бракосочетании предлагала взять ее фамилию и автору «Сестры моей, жизни» и «Поверх барьеров» – не навеянных Женечкой – стать Борисом Лурье) признание. Ведь это не вопрос: «Удалось ли тебе устроиться на работу?» Зинаиде Николаевне, например, удалось устроиться кухаркой в детский дом. А Марине Цветаевой посудомойкой в литературную столовую – нет.

В этом письме Пастернак пишет о том, какие деньги он намеревается заработать и как он поделит их между Женей (сын уже на государственном обеспечении, совершеннолетен и получил от отца уведомление – или разрешение на конкретный запрос? – жениться) и Зинаидой Николаевной с – уже почти – ЕЕ

(не ИХ) семьей.

Ноябрь 1941 года, Чистополь: «Если мои надежды не оправдаются, я наймусь истопником в Детдом, где работает Зина и где это никого не удивит потому что там кладовщиком и ее помощником служит человек с высшим обра-зованьем, доцент биолог».

Там же. Стр. 432.

Это уже не называется работать, это – жизнь.

Каприз, игра, счастливая – посчастливившаяся – возможность от горьких дум занять себя изящным хобби. Он поддавался ей – и иногда, чтобы подластиться, просто чтобы задать предписанный жестким протоколом вопрос, с тревогой, которую она должна оценить, спрашивает о работе: удается ли?

Зинаиду Николаевну держат строже.

Как всегда бывает в жизни – в случае, когда каприз и принцип могут дорого обойтись, самые беспомощные люди с легкостью справляются с трудностями: умно и энергично о себе позаботились, добившись качественной эвакуации. Позаботились обо всем сами. «… В конце концов это было исполненье моей частой к вам просьбы последнего времени».

Там же. Стр. 425.

Из творческих профессий художник (художница, конечно) – одна из самых удачных, она имеет наибольшее число плюсов и не накладывает почти никаких обязательств. Писатель Владимир Солоухин, в свое время давший себе установку на достижение не какой-то абстрактно карьерной, а именно светски высокой планки в завоевывании Москвы, отметил это очень четко: профессия должна быть ТВОРЧЕСКОЙ.

Престижнее всего быть музыкантом (классическим, конечно, инструменталистом, да, собственно, без вариантов: пианистом или скрипачом), дирижером, композитором, писателем, народным артистом или народным художником. Женщинам можно просто притвориться, если хочется от безделья – правда, «актрисе» нужно сказать, где снималась или, что еще хуже, где служила, «музыкантше» – очень трудно, они всегда слышат, кто учился, а кто нет, «балерине» – иметь вывернутые ноги, которые тоже или вывернуты, или нет. «Художнице» же достаточно «пачкать красками траву». Евгения Владимировна была, как во всем, безупречна в стиле: «< > ее изысканная живопись (портреты, цветы и натюрморты обычно блеклых тонов с одним-двумя яркими колористическими мазками) < >».

МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 310. Пастернаку не хватило в ней только одного – любить ее хоть чуть-чуть больше.

Евгения Владимировна чем-то по стилю – дальше не стоит углубляться – напоминает Марину Басманову, вечную «М. Б.» Бродского. Что ж ей было «Е.П.» не стать! Чем похожи? Художницы (рисуют на людях), холодно красивы, из хороших (подходящих) семей. Наконец, сходная тактика: молчат и заставляют себя любить. Евгении Владимировне – не мужа, мужа не удалось, да и так по большому счету никого выдающегося, не ставила целью. Цели такие не ставятся невлюбчивыми, нестрастными, бесцветными женщинами, при всей универсальности закона притяжения противоположностей в таких редко влюбляются – Мизгирь вот, Бродский. Евгении Лурье не выпало.

Иосиф Бродский со своим романом с Мариной Басмановой – роковым – на десятилетия структурировал свою судьбу. Суды, ссылки, измена, высылка из СССР, Нобелевская премия. Инициалы М. Б. через пятнадцать лет, грозно, как печать, набранные над стихотворением, значительные, как главная строка, как ключ. Кто-то ему, может, и делал судьбу, но любовь свою он выстроил сам, как роман, готовый к экранизации. Такие любви, правда, не выдумаешь, с ним просто случилось то, что не случилось у Пастернака с Евгенией Владимировной. Объяснения привели бы к необходимости рецепта. Борщ у Пастернака не удался, и его хозяйку никто не беспокоит. Хотя продукты были взяты первоклассные.

«Приезжая из Переделкина в свою московскую квартиру у Бородинского моста, звонила мне: „Зоя Афанасьевна, я приехала“. – „Очень рада, Евгения Владимировна“. – „Да, но мне нечего есть“. Я шла в диетический магазин, покупала еду, приносила ей. „Как, вы уже уходите? А кто же мне все это приготовит?“»

«Однажды мы ехали на машине Стасика из Переделкина с ней и Леней. Я очень спешила. <> Леня высадился где-то по дороге. Когда машина остановилась у ее дома, Евгения Владимировна спросила: „Как, вы не выходите? А кто мне откроет дверь?“»

«…при мне ей купили в комиссионном за пять тысяч рублей шубу, разорившую семью, в то время как тоненькая миловидная Алена [note 10]ходила в дешевой старой шубке из вывороченной кожи».

МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 311—312.

«Все, относящееся к закрытым распределителям, я оставил Жене».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Пожизненная привязанность.
Переписка с О.М. Фрейденберг. Стр. 177.

«Женя мечтала о Париже и думала, что брак с Борей избавит ее от земли. Она разочаровалась. Он привык к толстовскому укладу высокой порядочности, к одухотворенному быту, к семье „Войны и мира“, а Женя предлагала ему богему».

Богема – богемный образ жизни взамен творчества. При этом Женя была очень тонка. Она не хотела вульгарно понятого богемного образа жизни – менять любовников, Боже упаси! – пить, совершать какие-то эксцентричные поступки, она хотела быть выше всего этого.

«Он был очень сконцентрирован. Вероятно, гениальность Пастернака и выражалась в том, что, если ему не давали работать, он заболевал. Это было причиной того, почему они расстались с мамой. Она была художницей, живописцем, и ей тоже нужно было место и время для занятий искусством. А было невообразимо тесно, мы жили в одной комнате коммунальной квартиры, нужно было приносить воду, которая за ночь замерзала и стояла в коридоре, топить печки. У отца есть стихотворение „о временах немыслимого быта“. Они расстались, потому что два художника не могли ужиться в таких условиях. Мама думала, что он поступится своей работой, но для отца это было бы трагедией».

Е.Б. Пастернак. Интервью «Jewish news» (http://jn.com.ua/Interview/Pasterna*k2104*.html) Вот так. Семья у Пастернака попалась понимающая – поступиться ему своей работой, чтобы создать условия для Жени Лурье, все видели – было бы для него трагедией. Как-то уж слишком сильно неволить не стали, проявили чуткость, поступились своим.

«Катрин Денев считает, что зарабатывает достаточно. Для женщины».

ПЛАХОВ А. Катрин Денев от «Шербурских зонтиков»
до «8 женщин». Стр. 420.

Это она говорит в интервью 1998 года, когда эмансипация расцвела вовсю, но ничто в этом мире не изменилось.

Когда женщины знают, что что-то делают как женщины –

зарабатывают, имеется в виду, что им не надо тратиться на женщин. Они не должны платить другим женщинам.

Большие заработки нужны мужчинам, потому что они должны еще тратить их на женщин. Те мужчины, которые смеются над жалкими претензиями женщин воспользоваться их деньгами, – те не тратят денег на женщин. Они – женятся.

Замуж выйти – лучше всего. Некоторые женщины (гордые, самоуважительные, полные достоинства и пр.) хотят только замуж – и ничего кроме. Кто не может себе этого позволить и вынужден заниматься поденкой, иногда так и определяет себя в пролетарии. Француженки – Денев это прекрасно знает – считают, что этот бизнес не для истеричек и максималисток. Работа – это работа, есть в штате, есть free lance. Для некоторых это слишком хлопотно.

Евгения Пастернак рядилась в спецовку («рабочую блузу», как запросто, без церемоний, немного не по-русски ее называют) художника. Она определилась строго – замуж, этим и жила.

Ее личный профсоюз обеспечил ей и выходное пособие.

«Мамина живопись, например, ни разу не испытала встречи с жизнью и проверки действительностью благодаря искусственным условиям, которые ее от этого избавляли». Пастернак – сыну.

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 503.

«Я надеялась, что родные Б. Л. особенно теперь помогут мне выбраться, то есть мне казалось, что они помогут мне растить Женичку и устроят мне возможность несколько часов в день работать».

Там же. Стр. 343.

Возможность «работать» совершенно откровенно записывается в разряд не насущных необходимостей, а привилегий, на которые Женя считала себя вправе претендовать после расставания с Пастернаком. Привилегии затребовы-вались немалые, скажем прямо, гораздо выше обычных. Ребенка, предполагалось, будут помогать «растить»: откупаться деньгами Женя не позволила бы, постаралась бы пресечь, это она уже проходила – муж дает деньги, а ведь осваивать их – тоже немалый труд, находить нужных людей, инструктировать, осуществлять контроль и пр. приходилось ей. «Работать» – они все настойчиво употребляли это слово, – но шло оно по разряду изящных развлечений.

«Меня отдали в немецкую школу. Мамочка надеялась в освобождавшееся время начать работать. Но из этого ничего не вышло. Занятия начинались в 7 часов. Приходилось вставать к 6-

ти каждый день. Меня тошнило от непривычки к раннему вставанию… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 344.

Да, в таких условиях не поработаешь. Ей предлагается еще вариант – все из того же разряда фантастических, элегантных, воздушных, как в романе, способов устройства жизни.

« Она 1 ноября позвонила в Москву. (Звонок был ужасный – после отсутствия писем от Пастернака, в свою бывшую квартиру, где была, а в момент звонка – он был ночной – НОЧЕВАЛА Зинаида Николаевна. Женя ни о чем другом не могла думать, читать об этом тяжко. Но говорить надо было о чем-то.) Разговор шел о поездке в Париж, куда маму тянуло. Там в это время жил Роберт Рафаилович Фальк, ее любимый учитель по ВХУТЕМАСу. Мама могла рассчитывать на его помощь в первом устройстве. (На помощь Фалька с его практически всемирным признанием.) Эренбург приезжал в Берлин и посодействовал в получении визы». Как говорится, жить бы и жить – тем более что на заработки от такой «работы» никто, конечно, не рассчитывал бы, и эта сторона «Парижа» была бы со всей тщательностью отрегулирована из Москвы. Но нет, все равно возникают непреодолимые, единственные в своем роде, ни у кого не случавшиеся трудности: «Но снова вставал вопрос, что делать со мной».

Там же. Стр. 344.

Из-за ленивых и эгоистичных родителей и сестер (раньше эгоистом был один Борис – «с частотою частокола»

(Д. Быков): это определение было в письмах милой Жени к мужу) ни в какой Париж Женя не поехала.

Ни великой, ни просто профессиональной художницей она не собиралась становиться – не имела ни желания, ни способностей.

Виноватый Пастернак обеспечил ей на всю жизнь возможность играться со всеми внешними атрибутами художнического ремесла, и Женя Лурье так и осталась в истории Евгенией Пастернак, художницей. И уже на этом основании – человеком, масштабом вровень с Борисом Пастернаком.

Вот идет моя жена

«Зина сгорела в романе со мной». Пастернак тоже сгорел в романе с Зиной. Как это могло случиться за семь лет? То есть почему тогда тянулось так долго? Пожар был 1930 года (будем пользоваться его терминологией). Пятая категория сложности – в 1932-м («Я счастлив, Жонечка. Но я слишком сильно люблю Зину, и она чересчур – меня. Так можно жить месяц или два, а мы живем так второй год» (БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 543). Если в 1937 году он пишет родителям, что Зине лучше бы было сделать аборт, чем рожать так, как рожают они – не желанного (не путать с нежеланным) ребенка, – так пишут только озлобленные, совсем высохшие супруги, то как же тогда его письмо Зине из Парижа – всего лишь за два года до этого?

Что не опалилось в нем, если он стал способен подсылать к любовнице ее малолетнюю дочь с поручением сообщить, что с очевидно подурневшей после лагеря он, вероятно, встречаться уже больше не будет?

Выгоревшая в романе с Пастернаком Зинаида Николаевна – и размокший в браке с Женей Борис.

«…в Лаврушинском у окна – снег идет медленный, крупный, рыхлый, Борис Леонидович смотрит вниз на тротуар, подзывает меня и показывает: „Вот видите, идет женщина… Это моя жена… Это я сделал ее несчастной“… Он отвернулся, и мы долго-долго молчали».

ОЗЕРОВ Л. Сестра моя – жизнь //Воспоминания о Борисе Пастернаке.

Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 446—447.

Победила Женя. Зинаида Николаевна как объект любви таяла на глазах. Опомнившись, Пастернак увидел, что дом его до блеска надраен, ребенок его робок, жена его играет в карты. Тело ее, давшее жизнь трем сыновьям, отделиться от них, как оказалось, так и не смогло, и как только старший из них стал умирать, не смогла отдельно жить и Зинаида Николаевна. Когда умер Адик, она превратилась в камень. До этого было, правда, еще далеко, но Пастернак рано почувствовал, что чем-то таким и закончится. Он оставался один, и Женя плотно окружила его своим присутствием. Он ничего ей не мог дать, кроме удовлетворений ее требовательности, но ей и этого было достаточно.

«Может быть, если бы ты была на месте Зины, то есть второю, а не первою… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 370.

Это уже в 1932 году. Биография любви Пастернака к Зине была короткой. Он начал разлюбливать ее почти с самого начала. До конца жизни действительная, невыдуманная любовь к ней трещала в нем разрядами, треском коротких замыканий, страшных, как нерукотворные молнии с недошедшим еще громом. Это было потом – треск в кромешной тьме. Начиналось – пустотами темноты в ослепительном блеске любви. Приступы темноты – вот эта фраза Жене. Что он хотел сказать: если бы ты была второю? Он жил бы с Зиной, а тут увидел бы Женю и так же бы страшно в нее влюбился? Он не влюблялся в нее и в начале. Почему он в молодости, в начале их связи не любил ее? Как же он мог бы полюбить ее, пусть с роскошной грудью и призывной улыбкой, и с глубоким голосом, – но холодную, не вызвавшую в нем любви никогда? Это – лишенная смысла фраза, темнота, которая стала вкрапливаться в отношения с Зиной все чаще и чаще, а потом залила все.

Ленечку Пастернак сознательно обделял. Братья по матери не могут быть братьями. Отец наш небесный нам известен, назван: отец должен быть назван во всеуслышание и сам должен согласится. С матерью все проще и именно потому не имеет сакрального значения, мать – это только плоть. И вот при одном отце матери у всех разные, и все люди таким образом – братья. В общих чертах какие мы друг другу братья, нам известно: такие же, как Исмаил и Исаак, как Женечок и Ленечка. Мы забываем, за что ненавидим ближнего, а те, если б не знали, что они братья, – могли бы жить дружно. Братьев – как назвать еще людей, даже если мать одного из них сказала о матери другого своему мужу: «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим…», и отец их, папочка, выполнил требование законной супруги, – не помирит никогда и ничто. Это – двигатель нашей истории.

Мальчикам же Нейгаузам делить с Женечком нечего, потому что имущим далось, и лишний папа прибыл к ним в дом, их мама радовалась жизни и так же их воспитала. Тот, кто ждет от жизни подвоха, всегда накопит денег, чтобы купить билет на «Титаник». Похоже, у Жениного сына возможностей избежать жизненного краха – пока он был частью маминой жизни – не было. «…никого не спрашиваясь, старший мальчик Адик (Адриан), возвращаясь из

детского сада, затащил воспитательницу к Женичке, и потом еще раз заходил с ней к нему в гости» (БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 559). «Мальчики (старшему 7, младшему 6 л.) с Ирпеня его не видали и встретили с шумной радостью. Он для них часть меня, а меня они любят» (Там же. Стр. 549).

«А Женя напротив него сидела и палитру чистила, умная, грустная, дружелюбно понимающая».

Там же. Стр. 568.

Чистила палитру – это очень по-профессиональному, по-рабочему. Марина Басманова рисовала – Бродский перепишет это раздраженно: «питала пристрастье к люля и к финикам, рисовала тушью в блокноте», – чтобы это вспомнить в перечислении, нужно помнить, что уже тогда, в самый разгар своей самой большой в жизни любви, это не казалось присущим естественно, ждало лазеечки, чтобы вытекать раздражением. Марина Басманова рисовала в обществе, при людях, для многих; полем сражения Жени Пастернак был только один бывший муж, и чистила палитру она для него.

«Огорчительно только, что он (Женя, ему 16 лет, он „очень привязчив, сентиментален и просто-напросто надоедлив“) до сих пор еще ни разу не видел своего братца. Придти посмотреть на него он не хочет или не может, а для того, чтобы показать Леню ему и Жене, мне надо побыть в городе больше суток и устроить это посещенье не так просто».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 717.

Пастернаку надо показать своего нового сына Женёчку и даже Жене. Всего одна лишь капля сыновьей любви должна была бы разбередить закваску и братской близости: Же-нёчек раздвоился бы между жалостью к матери и плотской неразрывностью с отцом – и с другой частью его плоти, с братцем. Это тяжко бы было преодолевать. Но ведь на какие-то реальные страдания Пастернак свою оставленную семью обрекал? Или речь шла только о досадном ущемлении Жениного самолюбия и о скрупулезной заботливости – Женёчку? Женечек считал страдания для себя неуместными и никакими братцами и не братцами интересоваться не желал.

«Зину печалит моя радость по поводу того, что мальчик (Ленечка) растет в тесноте и в некоторых, относительных и очень призрачных, стесненьях».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 714.

Слишком мало добавилось с годами в восприятии Пастернаком Зинаиды Николаевны. Как обольстила она его красотой, мытьем полов, решительностью – так и продолжал он их ей перечислять в любовных письмах, которые под влиянием бог знает каких причин возникали еще и после многих лет угасания даже дружеских чувств. Другом она вообще была никудышным – в том смысле, что не для чего было дружить, там ведь все начинается с общности интересов, а то и с интереса. Чувство его не развивается – то есть не живет.

Пастернак сознательно опрощался в жизни. Однажды проговорился: потому что не получилось бы делиться нарастающим благосостоянием с Женей и ее семьей. При социализме нечем было делиться – отсюда карикатуры на бытовые темы: распиленный надвое при разводе автомобиль. А как еще его можно было поделить, когда автомобиль – это жизнь? Один автомобиль – одна жизнь. Как поделить дачу, которую за творческие успехи выдавало государство – и оставляло в своей же собственности? Разве что таким вот варварским (при живой Зинаиде Николаевне это и есть вивисекция) способом: «Женя с Женечком проводят Новый год на даче в Переделкине». С другой стороны, государство же предоставляло писателям неслыханную свободу: с дачи действительно алименты платить не полагалось – было ясно, что Пастернак исполнял свою волю. Затем следовали последовательные пассажи в письмах:«От новой городской квартиры я, вероятно, откажусь. < > Эта предполагаемая новая квартира в соединении с дачей оказывается в общей сложности больше моих истинных потребностей. Кроме того, как вы верно догадываетесь, я боюсь всякого резкого измененья к лучшему моих житейских условий, потому что мне не приходится делить их с Женёчком; я также боюсь, что необходимость содержать все это < > отвлечет мои средства в одну сторону, что мне не придется уделять их Жене в части, пропорциональной моему собственному быту».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 677.

Это было, конечно, охлаждение – полное: до жадности, до скупости доходящая ненависть к женщине. Не возьму себе, потому что МОИМ будет пользоваться и Зина, а Жене столько же выделить не смогу. Любовь (или это не любовь?) повернулась в обратную сторону, но уже ничего собой не представляла – как полый поплавок, только обозначала место, где она могла бы быть. Полюбить Женю заново он не мог, он ее не любил и сначала, Зину разлюбил: ЕЕ не любил, отпорхнула сама любовь. Оставалось

делить отсутствие любви: деньги. Вся последующая личная жизнь Пастернака – это секс и личный контроль за распределением финансовых (в непосредственно финансовом и – при социализме более распространенном и существенном – опосредованном в товарах и услугах виде) потоков между «женами» («женщин» и «любовниц» у него и не было).

«Яживу сейчас на даче, очень поместительной и обширной (два этажа, шесть комнат, с двумя террасами и балконом. <> Из Волхонской тесноты я попал в двухэтажный, наполовину мне не нужный дом <> требующий <> широкой радости в душе и каких-то перспектив в будущем. <> Чем же я жил эти три месяца? Тоской по Женечке Не сожаленьем, что „все это“ „достанется“ не ему, а тоской по нем, по себе самом, по своей жизни»

Там же. Стр. 677, 681.

«Во мне никогда не было плотоядной семейственности, властного любования своим гнездом и прочее, и еще меньше этого сейчас, с годами».

Это так. Разве что не «с годами», а – «с Зиной».

«…я теперь буду настойчивее и грубее <> она [note 11]все время плачется, что я создаю искусственные затрудненья, что если бы я не прилагал усилий, чтобы денег было мало, их было бы гораздо больше».

Там же. Стр. 713.

Это не было какой-то свободной, новой семейственностью. Женя с тихой улыбкой все приближалась к Пастернаку – но семью хотела только свою. «Ленчик с братьями» – это Леня Пастернак и Адик и Стасик Нейгауз. Же-ненок, близкий отцу по крови (но гораздо ближе – матери), увидел своего брата, носящего «старую» фамилию своей матери, только спустя несколько лет после его рождения. Женя с Женечком, будучи выше предрассудков, жили в доме Зинаиды Николаевны, но фотокарточку ее сына смотреть от казывались.

Поздравительную телеграмму родителям по поводу золотой свадьбы Пастернак посылает за подписью «Борис»; в двух открытках, в которых он оплакивает смерть своей матери (так приходилось делать и в открытках, и в длинных письмах – это долго выходит из человека), он пишет о реакции на утрату у Жени. Пишет нежно, по-семейному, сомнений у отца, очевидно, уже нет. А о страсти, которую он пережил к Зине, – вспышке, не нужной ни одному из них, сломавшей ей жизнь, – никто и не знает, к содержанию его писем адресаты давно научились относиться как к чему-то стоящему НАД его жизнью, мало ее

касающемуся… Никому эта история особенно не была интересна.

Пастернак писал обильно, восторженно, цветисто, искренне. Считается, что – убеждая себя в своей искренности. Влюбленное в Сталина стихотворение – опять же считается, что это ему казалось, что он полюбил его; огромная восторженная дарственная на своей книге, подаренной Анне Ахматовой, – трудно представить себе, что это он не себя так пылко любил, что нашел еще один, изощренный способ выражения этой любви – через мысли, якобы посвященные другому (в Ахматовой ему действительно нечем было особенно восторгаться).

Любил ли он в Зине только свою любовь? Похоже, что нет, даже если эта любовь имела признаки «простой» любви – реального присутствия в объекте достойных любви качеств. Зина действительно была красива (красота улетучилась в считанные годы), он еще считал ее потрясающей красавицей в 1935 году, но это было только визуальное эхо, явное лишь его обостренным чувствам. Она была работяща – но также и это достоинство, с недоумением воспринимаемое другими, теми, кто не должен был годами обслуживать астеническую ленивую Женю с ее полуулыбками, – с той же самой скоростью и это превратилось в ломовую работу ни для чего иного не предназначенной бабы. Зина всегда РАБОТАЕТ сама, уже никто ею не любуется, у нее вечно нет домработницы – и Пастернак это замечает. Он ищет трудностей для себя (за невозможностью разделить комфорт с Женей) – и наказывает ими Зину.

«Я, конечно, люблю ее, не так легко и гладко, и первично, как то может быть в нераздвоенной семье не надсеченной страданьем и вечною оглядкой на тех, других, первых, несравненно более правых. Считающих себя оставленными, но не оставленных… Не так, но по-другому, и, значит, все же как-то».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 697.

Слово найдено: раздвоенная семья. Была бы она просто новой семьей, как это чаще всего у всех и бывает, если б он не разлюбил Зинаиду Николаевну так панически быстро?

Вот уж действительно – награжден каким-то вечным детством: поиграл и бросил. Не совсем любимая поначалу Женя тем и была сильна, что ее почти нельзя было разлюбить. Могла ли быть следующая семья так крепка, что Женю с Женечком удалось бы оставить окончательно?

Не только оставить одну «Женю» – всегда оставляют и «Женечка». Женечков подхватывают другие семьи, другие,

бросившие собственных детей отцы, которые носят корм новой орлице, – и так до бесконечности.

Раздвоенная – это так и сказано. Что остается от семьи, которая раздвоена? Две семьи. У Пастернака просто было две семьи.

Переписка Пастернака (заменяющая дневники и часто более достоверная: в переписке – да, можно что-то писать напоказ, но зато есть и кому корректировать, если уж совсем уйдешь от курса) подтвердила то, в чем первую, более правильную, семью Пастернак убеждал всей жизнью: они равноправны, они не оставлены. Страшно за удары, сыплющиеся на бедную голову Зинаиды Николаевны. Видит Бог, она его не ловила – в мужья. Она не виновата.

В конце концов отношения наладились, какая ни есть семья закрепилась – все настолько, что в одном из писем он пишет: «Зина свинья, что ничего не написала, но, может быть, это от застенчивости».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 774. Свинья – это очень интимно.

Честный человек (мужчина в адюльтере) по-протестантски и по-католически, Марчелло Мастроянни заводит бурный роман со знаменитой американской актрисой. По ее протестантскому разумению он, как честный христианин, должен развестись с прежней женой и заключить новый брак с ней. Строгое же католическое воспитание Мастро-янни не допускает другой возможности, кроме истинно же христианского пути: никогда не оставить единственной жены, а своей новой любви предоставить все остальное, чем только он может располагать. Самокрещеный (только своим словом) в православие Пастернак, человек безусловно христианской культуры, ступил на путь достижения заповеданного блаженства, «яко кротций»: он дал законное прибежище одной женщине и не оставил другой.

Судьба Зинаиды Николаевны по интриге – поруганная и за то заслужившая особенно почтительную и страстную любовь – похожа на судьбу Настасьи Филипповны, а по развитию сюжета, однообразному на протяжении шестисот страниц, – Жюстины: невинность все поругается и поругается. Пастернак как-то не чувствовал колючек того венца, который во второй половине тридцатых годов нахлобучился на его голову. Он не был ни маркизом де Садом, ни скромным садистом, когда терзал бедную Евгению Владимировну, – он действительно надеялся, что создаст

новую реальность, пусть только в своей отдельно взятой семье, но ему было бы довольно.

Одной, по-своему счастливой, семьи не получилось, она раздвоилась на две несчастных, а деятельно ненавидел он Зинаиду Николаевну уже из холодного расчета: никакая извинительная (пусть даже так) страсть не ослепляла его. В дни приближающегося отцовства он описывает в письме родителям – нецеломудренно, бестактно (искренний тон подразумевает возможность ответной искренности, а он что, хотел бы прочитать что-то на эту тему из супружеской истории в ответном письме?) – как бездушная милитаристски ориентированная социально-демографическая политика Советской Страны не дала им с Зиной сделать аборт. Написано слово – «нас», почитайте:

«Когда меня посылали в Париж и я был болен < > мне очень хотелось иметь большее с ней продолженье, оставить будущему живую память о нас. < > Я чувствовал на себе дыханье смерти < >. Я прощался тогда со всей той бездонной неподдельностью, правдой и очарованьем, которые есть земля и жизнь и на прощанье хотел от нее ребенка. Но странно, причины физические мешали в этом именно ей, а не мне. Она ходила к врачам и лечилась и постепенно, свыкшись с сознаньем, что этого не будет и не может быть, я перестал понимать, как и зачем я этого хотел. Иными словами, нынешнее ее положенье – совершенная неожиданность, и если бы не запрещенье абортов, нас бы остановила недостаточность нашей радости по этому случаю, и она прибегла бы к операции».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 697.

Как бы коллегиально, в уважении всех имеющих право голоса, это решение ни принималось – сам аборт пришлось бы делать все-таки Зине одной. Ничто так не укрепляет семью, как сделанный женщиной аборт. Безапелляционная мудрость о том, что мужчина тем больше любит женщину, чем больше денег он в нее вложил, в женском варианте звучит с использованием вместо денег – крови. Женщина ведь редко когда имеет, и особенно имела в те времена, какие-то формальные, социально значимые активы – только физиологию. Вот она и считает: эта боль и эта ненависть – за что-то же они были заплачены, что-то она должна за это получить?

Их история имела счастливый конец: Пастернак не стал наказывать ее за то, что она перестала быть любимой, пожалел и оборвал этот круг: под конец жизни он звал ее Зиночка, Зинуша, мамочка, – Анна Ахматова возмущалась от «непонятности», – и дал ей умереть в своей постели, и даже на государственной даче.

Незваный сын Ленечка умер по писаной судьбе Юрия Живаго – на заснеженной московской улице, где-то неподалеку от остановки трамвая, везшего мертвого доктора, в 39 лет.

Евгению Владимировну Пастернак к себе на дачу пускал – даже демонстративно заселял. Но после его смерти, когда Зинаида Николаевна доживала еще шесть лет без зарубежных гонораров (доставшихся Ивинской), без отечественных (их как-то уже не причиталось), даже без простой пенсии (полагавшейся и домработнице), – если б женой стала Ивинская (при его жизни, несомненно, они так бы и жили на деревне), на следующий после похорон день Ольга Всеволодовна с Ирочкой командовали бы выносом узлов Зинаиды Николаевны. Борис Леонидович на такие мизансцены в жизни насмотрелся и, как повела бы себя «тихоня в быту», наверное, представлял.

«Зина рожала трудно, но она как бы для трудностей создана… »

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 706.

«Когда вы утешаете Женю в отношении моих чувств, вы недалеки от истины. Часто вечерами, когда я заработаюсь, выйду на прогулку и потом в рассеянности возвращаюсь домой, мне кажется неестественным и странным, что я попадаю не к ним и слышу в доме не их голоса».

Там же. Стр. 696.

Им, они – оставленная семья воспринимается как ВТОРАЯ. Пастернак никогда не бросит ни одной своей семьи – и не будет замечен в адюльтерах (чуть-чуть, очень тайно).

По прошествии любви Зинин труд уже безрадостен: «Эта женщина, с животом на 7-ом месяце с утра до вечера без работницы бьющаяся над самою черной работой, измученная всей предшествующей жизнью, а также и мною… » (Там же. Стр. 696), а избалованная бездельная Женя украшает собой «…уютное и располагающее к себе жилище, <> крохотная двухкомнатная Женина квартирка, изящная, чистая и просящаяся на полотно, как interieur» (Там же. Стр. 698).

Зина родила новогоднего мальчика, Пастернак живет с ней в Москве, в только что полученной квартире в Лаврушинском переулке, с оставшейся от щепетильных переделов мебелью и библиотекой: «Женя с Женичкой сейчас в Переделкине. Я не видел, как они устроились там на его каникулы и боюсь, что им будет скучно… »

Там же. Стр. 706.

«Не знаю, знает ли уже Женя о мальчике, но, вероятно, известие это до нее дошло. Наверное, все это тяжело ей, потому что переворашивает и растравливает старые огор-ченья».

Там же. Стр. 706.

Письмо пишется 6 января, Женя с прислугой отдыхает в переделкинском доме семьи Пастернак, пока Зинаида

Николаевна в роддоме. Новый год она встречает с сыном на новой даче Пастернака – тот Новый год, под звон курантов которого родился Ленечка. То есть, пожелав, Зинаида Николаевна не смогла бы оказаться в доме, принадлежащем ее законной семье. Женя с Женечком живут там, и Борис пишет об этом родителям с глухим вызовом.

От расстройства Евгения Владимировна вышла замуж. Отдыхает в Коктебеле в писательском санатории, там же и ее супруг-инженер. Пастернак пишет об отсутствии у себя плотоядной семейственности, но Евгению Владимировну защищает вызывающе и однозначно, как супруг: «За Женей осталась ее старая фамилия (то есть она – Пастернак)». Посчитал бы он свою врожденную фамилию «старой ЕЕ», если б она уходила к другому от него? Теоретически фамилией Пастернак она могла наградить и инженера Лясков-ского – вновь оживающее чувство, возможно, расширило бы генеалогическое благородство до таких пределов.

Брак Жени с молодым инженером длился ровно столько, сколько времени потребовалось на то, чтобы пережить самый острый период присылки «славному мальчику» костюмчиков из-за границы и расслабленности от лактационных гормонов Зинаиды Николаевны: зло ведь действенно только против того, кто зол сам. Счастливая Зинаида Николаевна не абсорбировала ненависть, она отталкивала ее, – это дало силы Евгении Владимировне пережить ситуацию, да и помог брак с инженером. Длился – год.

Плотоядная, защищающая холодность: он готов защищать ее от всех – и от своих родных, сильно помягчевших из-за разгорающейся заново приязни к старой, более ясной и приемлемой для них невестке. Если бы не Нейгауз, Зинаида Николаевна была бы со своим трудолюбием совершенно необъяснима и, очевидно, родителями отвергнута; такое бывает по семьям, и, как правило, сыновья сдаются. Родители родителями, но тут налицо и выпад против самой Зинаиды

Николаевны. Евгения Владимировна могла прибегнуть к стандартному оправданию: оставила не фамилию бывшего мужа, а фамилию сына. Как всегда, все это верно только до той поры, пока женщина не выйдет замуж за лучшего (в пастернаковском случае это было бы затруднительно) – или просто по-настоящему.

Через какое-то время охранная грамота за замужнюю честь Евгении Владимировны пролонгируется: он почти вернулся к ней, потому что не знал, что ему делать с Зиной. Зина не вернулась на «свое» место, но стала – пустым. Простила бы его Женя, если б он смог «благоустроить» Зину – он называет это единственно необходимым условием, при котором он мог бы с ней разойтись? Зину он брал с места комфортного, это был его долг перед Нейгаузом, – родители его бы не упрекнули, если б он ее оставил на улице, они с ней не переписываются, приветов не передают, у них речь идет о Жене с Жененочком.

Когда появится Ольга Ивинская и он отряхнет прах прошлых жен со своих ног – Женя тоже вернется на круги своя. У Ивинской будет больше досуга, чем у Пастернака, – голова ее занята только им, их романом, он был полем ее сражения. Во время боя думаешь только о стратегии этого боя. Враг номинально был у нее лишь один – Зинаида Николаевна, ее надо было победить во что бы то ни стало, а тут, оказывается, была еще некая Евгения Владимировна. То есть было очень много женщин Пастернак, все – его жены. Кому-то он предлагал и еще, был отвергнут, но могли бы засчитаться и они. И вот только она, такая неотразимая, такая нужная ему, нарезавшая ему сердце сурьмой по железу, такая ему подходящая – в этом она не сомневалась, это так и было, Пастернаку больше ничего не было надо, – но только ей было отказано даже стать вровень со сто лет назад оставленной первой женой. Он и не любил ее даже смолоду, он говорил ей это. Женился, потому что надо было жениться, он не хотел прожить каким-то тоскующим бобылем, он с готовностью влюбился и сделал предложение – и в таком незавидном положении Ивинской было отказано.

«Недавно без всякого ущерба для Жени мы оформили наш развод».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 584.

Что имела в виду, какие меры, Зинаида Николаевна, когда угрожала: «Брошенной женой Пастернака я не буду, я буду только его вдовой»? Какие у нее были рычаги? Она собиралась выкрикнуть над его могилой: «Прощай, настоящий коммунист!» – анекдотичная перекличка с историей о том, как на новоселье у

соседа, Федина, поднимается тост: «Выпьем за будущего советского писателя Пастернака!» Пастернак, к ужасу собравшихся, отвечает: «Идите вы в п-ду» (Гладков). Из гроба бы Зине смолчал. Что бы сделала она, буде захотел Пастернак увенчать свой закат новым законным союзом? Он понимал, конечно, что «сраженье» ведется не за свободу, братство или равенство, сраженье – за титул. Война черной и алой роз.

Ослабев, мужчины часто поддаются, дают себя вести в ЗАГС. И что бы стала делать Зинаида Николаевна? Она – женщина типа Настасьи Филипповны. Имя «Настасья», да старомодные «али», «боле», да страсти – все это похоже на роковую по-оперному, непонятную, условную красоту Зинаиды Николаевны. Судьба Зинаиды Николаевны – вариант «Идиота». Идиот – Борис Леонидович, злой идиот: зачем он приблизил к себе Женю, когда охладел к Зине? С Зиной в свое время он торжествовал свою с ней общую любовь; вновь оценив интеллигентность Жени, девочки будто бы своего круга, дал торжествовать победу над Зиной – ее единоличное отмщенье. Его когда-то не ловила Женя – и Зина тоже не ловила, наказывать ее было не за что.

Зинаиде Николаевне уходить было не с чем. Советские богатства эфемерны: распределитель, поездка в санаторий, государственная дача, машина с шофером – все это есть только в тот день, когда есть; в лучшем случае остается шуба.

«Зина страшно состарилась и худа как щепка». По нынешним представлениям должно было бы быть наоборот

(еще и Пруст заметил – худоба молодит), но Зина была старообразна уже в 34 года. У Бориса Леонидовича хватило инерции страсти не замечать и даже не видеть – ничего – в тридцать пятом.

Для посторонних вроде и малозначительная, но ими обоими воспринимаемая и культивируемая фатальность ее ранней половой жизни (опять-таки сейчас вроде бы и не смертельно – да и во многие другие времена тоже) – играть с собой не позволила и велела расплачиваться. Зинаида Николаевна взрослела – и старилась – с опережением не на четыре-пять лет (что уже совсем нормально для девичьей сексуальности), а – скачками геометрической прогрессии. Половую жизнь начала в пятнадцать, в сорок была матерой каменной бабой, к пятидесяти – старухой. За пятьдесят была страшна так, что о возрасте думать не хотелось – чтобы не вспомнить, что она женщина. Белые воротнички отрубали окольные пути фантазий окончательно. Не надевались ли с целью напомнить о гимназическом фартучке?

Великие русские писатели вопреки озлобленному сетованию Анны Андреевны Ахматовой как-то очень хорошо женились. По чистым, нестяжательным, нетщеславным, минутой влекомым мотивам. Чем более велик писатель, тем более неподходящая, более нужная ему у него жена. За это расплачивались с ними жизнями.

У Пастернака – то ему не по чину было в шикарное, на всю Россию гремящее богатством семейство Высоцких соваться, то жена Женя, не стесняясь, в любовном письме, распаляя себя, пишет, что хоть молодость отдана не даром, то Зинаиду Николаевну, взятую из самого что ни на есть концертирующего, профессорского, самого обеспеченного быта, некуда вернуть (и Нейгауз женился, и прелестная квартирка на Тверском отдана Жене), а уж потом делиться с Ольгой, которая в масштабах совписовских распределений ничего не понимала и аппетиты имела самые максималистски опереточные – слишком многое упиралось именно в деньги.

Деньги, которые, как с самого начала для себя установил Пастернак, будто бы упрощали все дела. Все имеет две стороны. Пастернак был щедр и заботлив, он рассылал деньги многим, помногу и подолгу. Он не поехал повидаться с родителями, не похоронил Олю Фрейденберг, не пустил к себе проститься суматошницу Ольгу Всеволодовну – но никого близкого и бедственного не найдется, кому бы он не помог или просто бы не дал денег.

Иногда люди гордились – хоть богаты мы только грехами, но перелитый излишек чужого богатства оскорбляет пуще невнимания. Обид на пастернаковские вспомоществования (при всех обидах никто их не называет подачками – и суммы были большими, и искренность жеста не подвергалась сомнению) много по разным мемуарам. Проницательные догадывались, что ДАТЬ ДЕНЕГ – это не дать ничего другого, но не иметь при этом угрызений совести. Пастернак был очень щедр. Он давал много денег Жене с Женечком, хотел бы давать еще больше, жалел, когда нельзя дать (от дачи оторвать терраску, например), и иногда все равно грустил. С Зинаидой Николаевной он никаких проблем не предвидел.

«Расстаться с Зиной я бы мог только в том случае, если бы оставил ее вполне устроенной и был бы на ее счет спокоен… »

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 681.

Второй сон евгении владимировны

Потом все изменилось. Первая жена будет с завидным хладнокровием и постоянством предлагать утешения нежной дружбы – без тени так расхолаживающей мужчин ревности, разве что с истериками по поводу недостаточности внимания к ее семье.

«После объяснения с мамой в конце января 1931 года папа ушел из дома. Всю последующую жизнь мамочка страдала, что велела ему уйти, когда он откровенно сознался, что полюбил другую и не в силах разлюбить. Ей мучительно было думать, что она сама прогнала его, вместо того, чтобы бороться за него и отстоять».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 324.

Первый сон Евгении Владимировны был о том, чтобы Зина вернулась на свое место (хорошо ли бы Жене стало на освободившемся? Очевидно, она считала, что – вполне сносно, как было Вере Набоковой доживать блистательную жизнь с отстоянным мужем.). Второй: пусть и Жене, раз уж так случилось, будет местечко здесь же рядышком, она прилепится, придвинется, она не даст себя оттолкнуть.

Сон сбылся.

Проживать в жизни нелюбовь к жене в безлюбовном браке Пастернаку было легче, чем ей: он (писатель) уже проживал чужие, им написанные любови, испытываемые не им, а его литературным персонажем. Жить тем, что не чувствуешь, он, таким образом, имел привычку и умел. Женя ни к чему подобному не была готова, и ей – за что-то – приходилось более однозначно, только реально и не более того, довольствоваться тем, что в ее жизни не случилось быть любимой мужем. Впрочем, отсутствие у нее проницательного и опытного взгляда на проблему сослужило ей хорошую службу: в непоколебимости своих прав на мужа она сомнений не имела. Деться ему вроде некуда было. От бескровности их семейной жизни Женя жила высушенными, воспаленными, больными чувствами – ревностью, подозрительностью, жестким вниманием к мелочам. Наслаиваясь на ее лень, это все создавало неподъемно тяжелую обстановку: Пастернак и обслуживал ее и домочадцев, включая требовательного сына, и был поминутно начеку, чтобы в слове, в намеке, в небрежении об исключении истолкования как намек –

Женя все схватывала на лету – не дать Жене повода для взрыва.

Всю девятилетнюю семейную жизнь Женя позволила себе – попустила, поскольку это был грех и перед собой, и перед мужем – быть крайне внимательной и непримиримой. Могла бы гордиться, что не поступилась ни миллиметром, ни микроном своего достоинства – если б потом этот же самый, так стерильно использованный, муж не привел к ней в дом, в ее коммунальную квартиру, в ее комнату, на ее постель – «в соседней комнате были две незастеленные постели»: чьим там постелям еще было быть, откуда их взять было? – другую женщину с ее собственными детьми. За них не хлестали на кухне Пастернака по щекам. Зина ничего от Пастернака не требовала, ни с чем не считалась, а даже наоборот: бросилась отмывать и отчищать все вокруг него, таскать сумки, делать ремонты – и что? Пастернак и без угроз и меморандумов прилепился к ней и так неразрывно с ним связанную Женю (она даже в профком ходила, чтобы убедиться в своей правоте и подключить товарищей) – оставил как НИЧТО.

Анна Ахматова: «Не люблю Женю Пастернак <… > Что за паразитическое существование. Борис Леонидович давным-давно бросил ее, у него другая семья, а она до сих пор все „Боря, Боря“, и ходит в Союз, чтобы лишний раз сообщить, что она жена Пастернака, и выслушать: бывшая. Потом плачет и всем рассказывает… »

ЧУКОВСКАЯ Л.К. Записки об Анне Ахматовой. В 3-х томах. Том 1 (1938—1941 гг.). Стр. 431.

Как было соединить в голове два этих положения? Знать, что и та – гордая принципиальная жена, и эта, тоже позволяющая себе покрикивать на бывшего мужа, имеющая полное право сохранить за собой все свои принципы и привычки, но все равно никуда не могущая деться, не спрятаться, не закрыть по-детски, в безумстве, глаза от реальной, невыдуманной, как сказал бы (и сказал) Пастернак, – Зинаиды

Николаевны, носящей уже их фамилию, – все это один и тот же человек, она, Женя.

Потом, со временем, можно бы было и подумать, что она восстановила свои позиции, – когда Зинаида Николаевна стала казаться чужим и чуждым Пастернаку человеком, когда их странно было видеть вместе и еще страннее осознавать, что они муж и жена, – тогда неприметная дружба Евгении Владимировны, необязательность и неизменность ее адреса для случайной искренности, изящная стандартность облика и принимаемые ею в течение всей жизни деньги (вещь крайняя и непреложная по

степени интимности) – все это, если не смотреть в строку в паспорте, вполне могло сойти за характеристику действующей жены. Наверное, так считала и Женя, этот статус хотел сделать очевидным и официальным – раз позиция Зинаиды Николаевны, с какой точки зрения ни смотри, самоустранялась – и сын его от первого брака, но всех переживший, единственный и «последний в своем роде», как князь Мышкин. К слову, Мышкин, мало что имевший от княжеских достоинства и спеси, просто так, чтобы дух перевести, отмеченный Достоевским этим титулом, походил на штатного дурачка из окрестностей Ясной Поляны. «У тебя какой чин? – Я князь Блохин, всех чинов окончил!» С этой же целью Толстой, у которого друг на друге князья с графьями сидят, решил попробовать Левина титула лишить, как Мышкину его автор титул – дать. Что, мол, будет? Ничего не случилось. Князь Мышкин и не граф Левин доказали – никакого значения титулы не имели, но и графы и князья в России не перевелись.

Сын Пастернака, награжденный при рождении своим званием еще более бессмысленно – бессмысленно для других, просто людей, не сыновей, никаких высоких целей для достижения упорным трудом нам не предлагающий (как и графы и князья своими), – за вымиранием основных фигурантов решил поставить приличную женщину на хлебный пост литературной вдовы (В. Топоров). Жене хлеба было не надо, после смерти Бориса и Зинаида Николаевна осталась ничем не лучше ее, – но вот при жизни все почти что и наладилось. Только оставался страшный и четкий вопрос: как и почему это въехало в мою жизнь? Бывают авторы одной книги, бывают женщины одной фразы. Женину стоит прочитать внимательно…

При жизни было проще: эту конструкцию – отвергнутой и не изгнанной жены – надо было с большим трудом выстраивать, и процесс наполнял собой всю жизнь. Под конец, и даже когда сын почти обеспечил ее официальным статусом, стало ясно, что все это ничего не стоило. Но что в конце жизни имеет ценность?

Женя выстраивала жизнь второй, теневой жены, придавала большое значение каждому ее признаку. Она, которой просто роль просто жены казалась мелковатой. Она была жена, да, но разве только это? Она была еще и художница, и равноправная, и за всем следила так строго! Как и почему это въехало в ее жизнь?

«О, мои жертвы – первая жена и сын – и не подозревали, каких мук мне стоило порвать с ними». Муки – да, были, но не стоили того, чтобы наполнять ими жизнь. Есть муки, которые не

отдашь ни за что, есть – напрасные. Он сделал надрыв со своей стороны, они со своей надрывать не стали, а прицепились к нему как можно крепче, тем более что в другую сторону не тянули – не царскими делами Зинаида Николаевна не занималась.

Зина была однажды любима, поэтому, как движение отношений, ее можно было разлюбить. Отношения к Жене были изначально никакими, хроника холостяцкого быта, поэтому, когда разрыва с ней не получилось и она постепенно прилепилась вновь, разлюбливать было нечего, оставалось только рассуждать: что такое «бросать», зачем бросать, кто установил правила разрывов и т.д.? Ведь только на первый взгляд кажется, что разрыв – это легче всего.

Разорвав многое, остаешься с малым. Никому больше не создать Большого Взрыва, на наших маленьких планетах лучше культивировать наши маленькие сады.

«Не бойтесь за Женю. Я не расхожусь с ней: в моем языке нет слова „навсегда“. На то ли на свете человек, чтобы к роковым вещам, как смерть, болезнь и прочее, прибавлять фатальности своего изделья?»

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 511.

Понятно, почему мужчины бросают и забывают детей – из самосохранения. Пастернак видит все, что касается его, – он правильно и правильными словами – и даже точными, краткими словами и без повторений записывает то, чем живет его сын: что он смотрит на «Зину» «как на мамину обидчицу». Женечку едва десять лет, у него есть мама – несомненно, самая любимая на свете мама, да еще такая нежная, беленькая, слабая, которая всегда кричит жестокости. Но Женечек знает, что она кричит от слабости и боли, она слаба даже для того, чтобы любить его, и готова отдать папе. У нее не хватает сил для двоих, но Женечку-то все равно – каждая мамина слабость только увеличивает его любовь. И вот такая любимая мама так страшно страдает, ее страдание не такое, за какое можно что-то сделать – ну хотя бы Бога поблагодарить, как за болезнь или смерть. Наверное, Женечек этого еще не знает, но чувствует, что страдания его мамы стыдные, некрасивые, «фатальности собственного изделья», как изволил выразиться папочка. Как жить ребенку, если его любимая нежная мама обижена – и обижена ОБИДЧИЦЕЙ? Кто папе эта обидчица? Могут ли люди быть большими врагами, чем отец и сын? Стоять на более далеких полюсах? Когда папа охладеет и к обидчице, мир вообще сходит с осей и к папе есть только небольшая жалость, совсем без той любви, которая была к

мамочке, ну – интерес, заинтересованность, если есть чем интересоваться. Папам все равно хотят отомстить, часто – от озлобленности и презрения – обирают. Их никогда не любят. Пастернаку повезло. Он хоть и признался в содеянном, и записал на свой счет, что ввел в жизнь собственного сына фигуру абсолютного зла, – «как и почему этот кошмар въехал в мою жизнь?» – маминой обидчицы, но не возненавидел, чтобы был повод забыть.

Грязные страдания. В чем «грязность» – трудно объяснить, но их нельзя показать. За это ее не любит папа, за это ее не любит никто. Собачья свадьба обмена жен перехватывает у всех дыхание, отводит всем глаза – никто не лезет разбираться и морализировать, увидев на обочине дороги клубок обезумевших животных, здесь страшно говорить о жалости – и их чаще всего именно в этот момент стреляют, бьют и терзают. А уж ту, которая при всем этом безобразии еще и морально страдает, – вообще выкидывают из круга.

О ненависти к страдающей знают все. Пастернак, знавший, что он дал маме своего сына обидчицу, старался оградить ее от поедания удачливыми в замужестве дамами (своей матерью, сестрой). Честно и пишет, что «боялся холода к ней, как к разведенной». Может, и токовал о любви к Жене не только от любви к Зине, но и от жалости сердца: обидчица слишком счастлива, чтобы драться, – не заклевали бы свои (им лишних двоих в гнезде кормить не хотелось). Они призывали Борю побыть мужественнее, поступить, как все мужчины поступают, бросить ее порешительнее, ну а Женя не пропадет. У нее тоже родня есть. Они посватали, они пусть и забирают назад. Леонид Осипович не был очень доволен, когда приходилось читать: «я никогда не любил так Женю».

Женя Пастернак – женщина-ревность. Никакого позитивного и конструктивного начала, ни творчества, ни чадолюбия. Поистине каждый погибнет от того, чего боится. «Твое стремленье приковать меня < > есть поверхностное выраженье глубокого желанья, чтобы я не был прикован никем другим. Положительное желанье тебя бы перерождало… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 190—191.

Анна Евгеньевна Аренс («Галочка», работающий врач, жена Николая Пунина) попала в такую же ситуацию, что и Женя Пастернак, когда Пунин, с которым они прожили восемнадцать лет, влюбился в Анну Ахматову. Разрешилась эта ситуация так,

как Жене могло только присниться в счастливом сне, – разве что Анна Андреевна не вернулась на свое место. На все были параллели. Пунин не оставил жены с ребенком, остался жить с ними (была дочь, она за участковым не посылала и дверей не запирала. Была злее Женечка – вообще была злая. А Женечок – добрый). Анне Андреевне была выделена комната в общей квартире, Пунин ночевал у нее, и Ахматова называла его мужем. Все знакомые, правда, называли всю компанию иначе: «Пунин с женой и Анна Андреевна», «Пунины и Ахматова». С Женей Пастернак было наоборот: когда она представилась «Пастернак», ее хотели ссадить с поезда как самозванку.

Были семейные праздники (пунинские), Ахматова уходила из дома к друзьям. Но все же Анна Пунина страшно страдала – так же страдала, как Женя Пастернак, ничуть не меньше. Здесь не перестанешь страдать, даже если соперница вернется на свое место.

Ненависть людей Анна Аренс чувствовала хорошо. В переписке с Пуниным она обнаруживала стиль худший, чем Евгения Владимировна, но в такой лживой ситуации мало что искреннего можно сказать – искренно здесь только вызывающее отвращение страдание.

Вот переписка 1932 года: Ахматова сожительствует с Пуниным на этих условиях («Новый быт!») десять лет, Анна Евгеньевна с Ирочкой, по пастернаковскому уложению, отдыхает в санатории. Пунин заботливо шлет ей письмо на полстраницы, два абзаца из четырех – про Анну Андреевну: «За молоком и хлебом хожу я (а ведь „Милый мой друг Галочка“ не спрашивает этих подробностей – те не молодожены, она не счастливая теща). А.А. делает обед и моет посуду; все это с большой охотой и вниманием, даже не очень медленно; не ожидал. Едим мы овощи да ягоды, что легче сварить: макароны, чечевицу. Ужинаем обыкновенно с Михаилом Матвеевичем».

ПУНИН Н.Н. Мир светел любовью. Дневники, письма. Стр. 316.

Как проводят время дальше, после ужина, оставляет догадываться Галочке. Такими милыми подробностями – что поделывает Зина, когда они не предаются «пленительной страсти» – полны и письма Пастернака к первой жене. Правда, это все только в первые года, да зато если страсть Бориса Леонидовича через десять лет остыла, то страдания Анны Евгеньевны – нет. Эта легкая в кулинарной обработке чечевица ее чуть не убила. Вот ее ответ:

«Милый мой друг Ни!

Прошло три дня, как получила Ваше письмо, дождя все нет

(про дождь – это к делу не относится, но зато в тон писем и записочек Анны Андреевны – так что Анна Евгеньевна не может не показать, как умеет и она сама), а получив его, я плакала, хотела писать сразу, но разболелась голова, нервы дрожали во всем теле (раз это пишет врач – наверное, как-то действительно было плохо), и решила ждать успокоения (Евгения Владимировна, конечно, гораздо более стильная – у нее никаких «Ни» («Бо»), никаких «Вы», никаких «шумят деревья»).

Сейчас жутко и грустно, темная ночь, ураган, скрипят ворота, окна, двери. Черные тучи уносит стороной, и звезды особенно светят. В доме впечатление моря на улице, радостно несет и человека и деревья. Бодрость всеобщего движения. Ира пока носится с Сашей, сегодня решила строить шалаш, очевидно, сильное впечатление произвел шалаш на берегу реки, в котором мы сегодня сидели. Возились на пляже, я делала гимнастики, кувыркалась через голову (ну, это понятно, для чего пишется), вообще Ира любит, когда я бываю молодой (и у Евгении Владимировны, и у Анны Евгеньевны обидчицы старше на четыре года, так что, собственно, этот аргумент можно было бы и не приводить, раз им уже не молодость предпочли), и находит, что, несмотря на самый солидный мой возраст, я моложе всех. Часто скучает и вспоминает Вас, говорит, что за прошлое лето привыкла быть с Вами. (Евгения Владимировна просто послала фотографию, изображающую, как сын грустит и вспоминает: «К этому письму она приложила фотографическую карточку – вот уж подлинно, „каким еще оружьем вас добить?“) (БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 400). Пастернак все понимает, все заглатывает, со всем соглашается и с готовностью отвечает: „Как ты хорошела! Но какие вы грустные-грустные!“ Пастернак очень счастлив. Пунин – не очень, но и на него такие заходы не действуют. „Странно, сейчас я читаю письмо совершенно спокойно, но когда получила, не знала, как удержать слезы, чтобы никто не видел. Где мне взять величие духа!“ Ах да – письмо от „Ни“ было не только об их семейных буднях с АА, но содержало также и абзац более общего характера: „Целую Вас нежно (такого по Пастернаку мы знаем из письма в письмо – видно, что он готов расцеловать весь мир. Пунин более избирателен), надеюсь, что Вы уже отошли от зимы, и хочу верить, что такой зимы больше не повторится. Гуляйте, веселитесь (вот на что отчет о проделанных гимнастиках) и набирайте спокойствия и величия духа. Немного осталось жить, не снижайте жизни и помогите мне ее не снижать. Крепко и дружески Вас обнимаю. Ваш Ника“

ПУНИН Н.Н. Мир светел любовью. Дневники, письма. Стр. 316.

Что-то напишет дальше на это Галочка? «Величие это приходит или перед смертью, или у людей немощных плотью и свободных от житейской суеты». Далее на полстраницы мало связанные друг с другом жалобы и вскрики, все с оттенком гордого отчаяния, надежды и психологизма: «чуть проснется какое воспоминание, все начинает кипеть» (это наука всем брошенным, но не оставленным женщинам: ЭТО не излечится по определению, не желайте этого), «бессилие, гордость, слишком униженной чувствую себя», даже залихватское «будь я мужчиной, я бы его убила» (кто-то сказал что-то о ее «деспотизме», она это вспоминает, потому что более лестно получить упрек в деспотизме, чем в растоп-танности). «Я решилась не писать психологических писем и вообще не писать больших писем, чтобы не задумываться, но Ваше письмо меня разбудило. Простите, жизнь свою я снизила и продолжаю снижать своею ревностью, своею бессмысленной лошадиной работой, притупляющей мозг и духовную жизнь». (В доме у Пуниных за столом громко говорили о «дармоедах», – Анна Андреевна не работала – и она с сыном Левой «замирали в гордых и обиженных позах». Сразу оговорюсь, что по малолетству Лева здесь ни при чем.) « Знаете, мне уже даже не любовь нужна и не ласка. Вы ведь хорошо знаете меня, я не сентиментальный человек, хотя плачу часто („плачу и плачу, как проклятая“, – просто пишет Женя) (я себя ненавижу за это, ведь это тоже унижение), мне нужна вера в Вас, что Вы мне не измените (под изменой понимаются уже чрезвычайно изощренные моменты, учитывая, что Пунин ночует в комнате у Ахматовой и Пунина берет себе ночные дежурства, чтобы не находиться ночью в той же квартире, или что она называет изменой?) и не предадите. О (без О трудно обойтись), тогда хватило бы у меня мужества на все. Мне нужно Ваше уважение, и мне кажется, я его заслужила, так говорят люди (у Жени все по-прежнему элегантнее: „Боже, боже, я не могу понять, как, почему этот кошмар въехал в мою жизнь, ни зеркало, ни люди не дают мне ответа“), я даже забыла об этом, и казалось, что все брезгуют мною».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 345.

(Вот чем это заканчивается!) «Я не могу понять, как я себя выношу и как еще считаю себя правой, доброй, честной и т.д., живя в таких условиях, и что Вы можете думать обо мне и кем считать?»

ПУНИН Н.Н. Мир светел любовью. Дневники, письма. Стр. 317—318.

Лиля Брик, сама бывшая любовница Пунина, – вернее, это Пунин был у нее в любовниках, здесь все уже расставлено по местам, – спустя много лет писала ему милое деловое письмо (Ахматова числится у него «в женах» уже почти десять лет). «18 мая 1931 года. Милый Николай Николаевич, очень прошу Вас разобраться с тов. Катаняном в Володиных матерьялах и дать их ему < >. Я совсем было собралась за этим в Питер, но не вышло, и Катанян едет вместо меня. Целую Вас и Анну Евгеньевну. Лиля Брик».

Там же. Стр. 312.

То есть и Евгения Владимировна, и, к ее радости, Зинаида Николаевна назывались бы женами только по благорасположению третьего лица, того, кто к ним обращался – Лили Брик, например. Кто бы как хотел, так бы их и звал. У Жени в реальности тем не менее выбора не было – ведь и эта двусмысленная ситуация могла быть только плодом услышанной мольбы. Но вот Зинаиду Николаевну это не устроило бы точно, она даже не догадалась бы о такой возможности, она была человеком не мольбы, а жеста. Нелогично, но не сомневаясь, она заявляла: «Брошенной женой Пастернака я не буду. Я буду только его вдовой».

ЧУКОВСКАЯ Л.К. Записки об Анне Ахматовой. В 3-х томах. Т. 2 (1963—1966 гг.). Стр. 261. Она была решительной женщиной. Пастернак не только уважал, но и любил ее за это. Кстати, понято заявление Зинаиды Николаевны может быть и в трагедийном (он же криминальный) смысле. Пастернак трусливым не был – и остается признать, что уважение и любовь были тогда все же чрезвычайно сильны. Ольге Всеволодовне приходилось довольствоваться плодами запахов своей пряной женственности и пр.

«Если цель обеда – питание тела, то тот, кто съест вдруг два обеда, достигнет, может быть, большего удовольствия, но не достигнет цели, ибо оба обеда не переварятся желудком. Если цель брака есть семья, то тот, кто захочет иметь много жен и мужей, может быть, получит много удовольствия, но ни в коем случае не будет иметь семьи» (Толстой. Война и мир). На самом деле, как показала практика, которой Толстому показалось слишком пошлым заниматься, все как раз наоборот: результат будет получен – жизнь будет прожита, но удовольствия в таком ее образе мало.

Выразительный портрет Евгении Пастернак остался в воспоминаниях певицы Галины Лонгиновны Козловской: «Она никогда не скрывала своих симпатий и антипатий, относилась непримиримо к людям и явлениям, которые считала дурными. …

Но удивительно, что резкость ее характера исчезала в живописи. …Кисть ее была лирична и полна удивительной нежности к самим моделям. …Природа наделила ее редкой силой – силой женской притягательности, и поклонение многих, увлекавшихся ею, казалось, не оставляло места для тоски и одиночества. …Две комнаты, выходившие окнами на Тверской бульвар. …Мольберты и подрамники стояли у стен, здесь было удивительно чисто, несколько предметов старинной мебели придавали комнате вид легкого, ненавязчивого изящества – ни следа богемного неряшества и беспорядка. А сама хозяйка, стройная и красивая, с особым разрезом казавшихся узкими глаз, с той же белозубой улыбкой „взахлеб“, была прелестна и в полной гармонии со своим жилищем. Чтение стихов Пастернака было какой-то особой потребностью ее души. …Он в ее отзывах получал для себя нечто важное и нужное».

КОЗЛОВСКАЯ ГЛ.

А вот внешность и убранство дома у Зинаиды Николаевны:

«…навстречу вышла плотная пожилая женщина с черными крашеными волосами. Лицо ее говорило о том, что когда-то она была красива».

МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 24.

«…коренастая плотная женщина в черном платье с белым воротничком (она вообще носила только черные платья) (и с только белыми воротничками). Темные, очень густые волосы были уложены по довоенной моде фестонами. Щеки подрумянены, лицо квадратное, со слегка отвисшими щеками, оно выглядело бы резким и мужским, если бы не прекрасные темно-карие глаза. Крупные, яркие, благородной формы, с чистыми голубыми белками, они были на редкость молоды и выразительны. < > Хозяйкой Зинаида Николаевна была отличной. Трудилась наравне с домработницей и очень умело. У нее не было вкуса к изящному в быту, но зато любовь к чистоте, к порядку и очень определенные, почти по-немецки пунктуальные навыки в домашней работе».

Там же. Стр. 275—276.

«Второе» ели из тех же тарелок, что и суп – после супа. Так делали почти во всех семьях – правда, по большей части из тех, где не было домработницы. Вчерашние обеды разогревались и подавались на завтрак (с картошкой, котлетами), к обеду глава семейства призывался стуком вилки по батарее. А ведь им хотелось видеть запотевший хрусталь, розы, фарфор и серебро, а ему хотелось (иногда почти всем хочется) об этом писать. Почему советский строй – в аспекте его повседневной жизни – не родил какого-то невиданного фантазийного поворота в искусстве? Ведь

быт был до такой степени однообразен и убог – при той же неисчерпаемости многообразия человеческих характеров (а людей было много, современные средства коммуникации развиты, возможности перемещаться по жизни велики, со столькими характерами можно было знакомиться), природа оставалась неисчерпаемой – ее тоже можно было хотя бы на поездах осматривать чаще и больше, чем в девятнадцатом, например, веке (сколько бы там Пушкин на лошадях обскакал?); железный занавес то эхом о каких-то событиях информировал, то книжонку откуда-то какую-то привозили, то вещицу – можно было каждый шов разглядывать, оттенок цвета определять: по одной детали можно все было реконструировать.

А сама по себе убогость внешнего мира – трамваев и сковородок, и возможности в немытую тарелку новое блюдо положить – это могло развивать какую-то невиданную фантазию. Для того детям и дают играть в кубики – только кубики сделают из ребенка повелителя вселенной. При электрической железной дороге он останется в своих мечтах разве что начальником станции.

Как они читали «Анну Каренину» – сцену обеда в имении Вронского? Пусть у Вронского целый штат – да ведь и хозяйство не то. У Пастернака были шофер, истопник и домработница. Для проживающей домработницы там вообще не было работы на «полную ставку» – учитывая, что хозяйка, чуть что, бралась по дому за самую черную работу. Может, хотела отвлечься, может, как Анна примеряла последние парижские модели для прельщения охлаждающегося Вронского, так и Зинаида Николаевна свои чары в ход пускала – раз на кастрюли в Ирпене клюнул, можно и сейчас. Но это вряд ли. В любом случае по дому работала гораздо больше, чем обычная хозяйка, имеющая помощницу, и, наверное, теперь Пастернака это уже охлаждало (насколько это возможно – или имеет значение – после прохождения нулевой отметки).

Кроме того, стандарты домоведения были низковаты, даже слишком низки, все-таки лишняя перемена приборов – это всего-навсего одна (для семьи Пастернака – максимум пять по числу обедающих без гостей) тарелка. В уборке после обеда – это капля в море, главное там – кухонная и сервировочная посуда, скатерть, салфетки, хлеб, напитки, соусы или хотя бы соль на столе, ее тоже надо подать, и убрать, и проследить, чтобы склянка (или серебро) были чистые. Что тут одна тарелка? Дом в Переделкине, несмотря на свой крейсерский вид, совсем небольшой внутри, неудобный, непоместительный, – но площадь в любом случае маленькая, и работнице там не перетрудиться. Это Зинаида

Николаевна завела там неаппетитные порядки, но уже похоже, что Пастернак других и не знал.

Вот дача Любови Орловой. Точнее – Григория Александрова и Любови Орловой, храм хорошего вкуса (и роскоши). Определение взято из книги биографа Орловой и Фаины Раневской (обе дамы – подруги бабушки и матери автора, те в доме бывали, в один из визитов мать шепнула: смотри и запоминай, все, что ты здесь видишь, – самого высокого вкуса).

Посмотрим и мы. Диван, самолично простеганный по шелковой обивке Любовью Петровной. Она сама пришивала пуговки, клала стежки – из тех же соображений и с тем же эффектом, что и другая роскошная дама готовила мексиканского тушкана. Лестница, изготовленная краснодеревщиком; видно, что театральным, человек не был обучен монотонно изготовить лестницу для употребления в жилом доме, – в разном масштабе и с разными стилями, она как бы взята из декораций к разным спектаклям: вся неровная, из дорогого материала, полированная, красная, нелепая и – самодельная. Грубо положенный кафель с серыми швами в палец толщиной над некачественной ванной, с претензией помещенной на некий подиум – как для Клеопатры; единственный санузел, три комнаты… Возможно, здесь в грязных тарелках блюда не подавали – в доме было меньше суеты, но вкус, стиль и роскошь были на те времена эталонными, это – все, что было.

Пастернак ничего не придумал оригинального в устройстве семейной жизни и медленно и банально дал проявиться самой предсказуемой ситуации: единственный ребенок, с которым были достаточно близкие отношения (немного экзальтированные, но все-таки и естественные для отца с сыном), и чтимая бывшая жена, а с другой стороны – становящаяся нелюбимой и мало что дающая взамен новая жена со своими собственными детьми. И ничего посередине, ничто не самовоспроизводится: не рождается любовь, не родятся дети. На первый взгляд так и кажется: ну что бы не вернуться к первой семье? Почудил немного и хватит. Дело к тому и клонится: Пастернак дает себе урок – обеспечить Зину материально (забрать ее из состоятельной семьи и выбросить практически на улицу, без образования, без работы – это чересчур даже для солнечного эгоиста), и все.

Писательская карьера Пастернака в литфондовских терминах идет на взлет, до позорного шага остается совсем немного – и поскольку Пастернак не находит в себе внутренних ресурсов, судьба указывает ему путь прямо. Случайно (забеременеть не удавалось почти семь лет), непредсказуемо Зина рождает их

общего ребенка и дает ему (мужу, Пастернаку) шанс сделать свою судьбу, пользуясь пастернаковским словом, «настоящей»: не любить, писать роман и стихи, отходить бог знает как далеко, но за маленький огонечек их короткой истории, который только он мог назвать своим – никогда не бросить ее.

«<> если из-за разделенности с Женичкой <> и непокладистости Жени я никогда не буду и не могу быть счастлив, ядром, ослепительным ядром того, что можно назвать счастьем, я сейчас владею. Оно в той, потрясающе медленно накапливающейся рукописи… »

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 694.

Рецензент на биографию Пастернака пишет о биографе: «Видно, что Евгения Владимировна нравится Дмитрию Быкову больше, чем Зинаида Николаевна». Да она и есть получше. Например, литературные способности: сравните письма Зинаиды к Нейгаузу: «А ты-то он и был», и безупречную тонкую жалобу Евгении: «А мы совсем простые» – которая выхватывается самым равнодушным взглядом. Эта строчка ранила и тех, кому особого дела не было до судьбы Евгении Владимировны, которые не о ней читали в переписке с ней Пастернака. Но безупречность тона жалобы – она всего только безупречность и есть.

Евгения Владимировна не была литератором – не пробовала ничего писать. Но письма ее складны, оригинальны, напеты в одной тональности – как это в любом из искусств может быть сделано только профессионально, только присутствие стиля выдает руку мастера. Строки из писем Жени, из той поры, когда жанр их назывался «плач», хороши, будто это действительно строки из песни. «Плачу и плачу, как проклятая», «За что это въехало в мою жизнь?», «А мы совсем простые». Даже «Пусть Зина вернется на свое место» – ведь это тоже она придумала, кто еще так говорил? Так просто, не грубо, так страшно обиженно?

«Дорогие мои!Горячо и от всего сердца благодарю вас за чудные письма, которые вы пишете Жене и Женеику, за нежные заботы о них, за чудесное ваше, сверхчеловеческое чутье».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 696.

Евгения Владимировна – подросшая Суок. Безбытная, очаровательная. Профессиональная писательская жена. Грустная маленькая женщина с еще более грустным мальчиком на руках. Биограф Дмитрий Быков заложил в описание их совместной фотографии конкретное толкование ситуации: «с выражением

тягостного недоумения на лице». Бросить нас? «Мы его не пустим. Надо просто запереть двери». Не Боре же решать нашу с мамочкой судьбу…

Кто-то выбирал себе самых красивых, кто-то отдавался в руки самых ловких – и был счастливее. Евгения Владимировна справедливо полагала себя вне обычной иерархии – все-таки ей достался Пастернак! Но, выпав из обоймы, она получила место даже худшее, чем могла бы: при эвакуации из Москвы на ее претензии первостатейной жены ей ответили, что таких жен у Бориса Пастернака нет. Кто? Евгения Пастернак? Нет, таких нет. Фамилия не помогла.

Разведенные жены у нас часто оставляют за собой «фамилии своих детей». Французский жестокий обычай отъ-ятия у оставленной супруги всего у нас не прижился бы. Самостийная матриархальная степная женщина не отдаст ничего. Однако объяснение берется именно это – когда не особенно берут замуж второй раз, когда фамилия бывшего супруга благозвучна или полезна. У Жени, естественно, никто ничего не отнимал, но во второй половине жизни фамилия висела на ней уже как-то демонстративно, как отданная недобровольно. Как счастливо, что Елена – Аленушка – Пастернак оказалась образованной женщиной, занялась благородным делом поддержания памяти своего – только по свойству, к сожалению, только по свойству – родственника. Как бы то ни было, не пропавшего бы и без нее.

Евгения Владимировна не научила сына жить настоящей жизнью; разумеется, Пастернак угадал, что ужас сыновнего бытия разожжен тем фактом, что тот делил его с оставленной отцом матерью. Жаловался на свою судьбу – мать подбивала его на то, чтобы он пытался разжалобить всесильного отца. Здесь чувствуется не желание додать что-то сыну, а отнять – у Зины. Пусть Зине достанется меньше.

Некоторых женщин материнство не украшает – тех, кто не очень хотел этого материнства. Оно же их не защищает.

Щитовидная железа жени

Нина Берберова очень красива – стильна, с восточинкой, стройна, прожила долгую жизнь, писала на пикантные темы (масонство – в ее исследовании на пикантности все и закончилось, баронесса Будберг, Мура – женщина похотливого, лживого, знаменитого, несчастного, многосильного Горького – магнита для дамского внимания), была замужем за персонажем Серебряного века Ходасевичем, имела личные истории с Горьким и Буниным, а легенды из нее не получилось. Несомненное ее замужество дает твердое основание не сомневаться в ее недевственности. Ей – право гордиться тем же. Где она видела столько презираемых девственниц, или многолетне прекративших сексуальную жизнь особей, или даже гермафродитов? «На мгновение я отчетливо представляю себе, как у нее (Симоны де Бовуар) все обстоит внутри:расширенные вены, перебои сердца, раздутые органы, ленивые железы… » (БЕРБЕРОВА Н.Н. Курсив мой. Стр. 597.) «Яс отвращением смотрю на слюдяные глаза девственников, на слишком белые руки монахинь, мне неприятно думать о щитовидной железе старых дев и внутренней секреции аскетов».

Щитовидная железа, имеющая, как все железы, влияние на половую сферу (более опосредованное, конечно, чем некоторые другие), ничуть не менее аппетитна, чем подвергшаяся естественным возрастным изменениям любая другая при всяком другом, сексуально активном, допустим, образе жизни. Здоровые физиологические отправления сами по себе малопривлекательны все – ничуть не более, чем когда их здоровый характер разрушается болезнью, возрастом или эксцентричным образом жизни. Мода, ориентированная на молодость, красоту и здоровье, диктует нам, что старость отвратительна. Под конец жизни вхолостую работать щитовидной железе (повторим, что только И ЕЙ ТОЖЕ) пришлось даже, например, у Коко Шанель. «Любовь? К кому? К старому человеку – какой ужас. К молодому – какой стыд».

ЭДРИХ М. Загадочная Коко Шанель. Стр. 222.

В год расставания с Пастернаком Жене было тридцать два года. Даже не сосредотачиваясь чрезмерно на ее щитовидной железе, можно понять, что у нее был в жизни период, когда устроить женскую жизнь не было бы ни стыдом, ни ужасом. Общественно приемлемые нормы в отношении сексуального поведения были в те времена, как сказали бы сейчас, репрессивными – секса не было, и жаловаться по этому поводу не

полагалось. Но имеющие аппетит справлялись с дефицитом в явочном порядке. Женя обошлась. Верни она Зину на свое место вовремя, добрая и веселая женщина Ольга Всеволодовна Ивинская все равно показала бы Пастернаку, чего он был лишен в боттичеллиевском браке.

«Пильняк сватался к маме, но она ему отказала».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 388. Почему Женя не вышла замуж за Пильняка? Простейший психологический закон говорит о том, что в таких ситуациях первейшее средство, за которое инстинктом ухватится каждый, – новый брак. От этого не отказывается никто. Даже те, кто не ждет, что боль пройдет, если на нее подуть, все равно первым движением – пробуют. Так женился Николай Заболоцкий, когда его бросила жена.

«Нужно жениться. Немедленно. И так, чтобы об этом знали все. Он позвонил одной женщине, которую знал мало и поверхностно, и по телефону предложил ей выйти за него замуж. Она сразу согласилась».

ЧУКОВСКИЙ Н.К. Литературные воспоминания. Стр. 310.

Писательские будни. По всему миру писателям разъезжать не давали, по крайней мере с сознанием, что: «вот я разъезжаю по миру, я – в путешествии. И еще один раз в этом году буду, удалось и в прошлом». Разъезжали они чаще только по одной шестой части суши, странное дело – стараясь и здесь по мере сил и административных возможностей оказаться в группе, на совещании молодых писателей, на семинаре. Только это было сладостно. (Корнею Ивановичу Чуковскому – нет, но вот Женечка Пастернак, которую бросивший муж хотел лишить этих знаков состоявшейся жизни, – она знает, чего может лишиться)… «… сказали, между прочим, что в Тифлисе – Пильняк. Было уже 4 часа. Я до этой минуты не ел, не спал, не нашел пристанища. Все гостиницы были заняты, я истратил на носильщиков и извозчиков около 50 рублей < > – и надежд на номер почти никаких не было. От отчаяния пошел я в гостиницу „Ориант“ („Orient“) и спросил, не тут ли остановился Пильняк. „Тут, в правительственных комнатах“. Я пошел туда – и в обширной столовой увидел стол, накрытый яствами, – и за столом сидит сияющий улыбками Пильняк. < > – и Евгения Влад. ПАСТЕРНАК, б/ывшая/ жена Пастернака и др. (Пильняк ухаживал за Евгенией Владимировной, и в эту поездку взял ее с собой он – включил в состав делегации как ХУДОЖНИЦУ. „Женичка Пастернак“ радостно ассистировала на рабочих встречах, как секретарь

комитета комсомола на партийных обкомовских конференциях.) Во главе стола сидел тамада Тициан ТАБИДЗЕ, осоловелый тучный человек, созданный природой для тамадантства.

Он тотчас же произнес тост за М.Б., за меня (причем помянул даже мою статью о Шевченко, даже мою книгу «От Чехова до наших дней»), и сейчас же Женичка побежала куда-то и устроила нас в своем номере «Орианта», а сама получила другой… »

ЧУКОВСКИЙК.И. Дневник. В 2-х томах. Т. 2 (1930—1969 гг.). Стр. 81.

«"Вы предлагаете мне стать вашей женой?" Он < >расхохотался < >. „Дорогая, – сказал он мягко, – отдавая должное вашему уму и потому не пытаясь предварительно соблазнить вас, я предлагаю вам стать моей любовницей!“»

МИТЧЕЛЛ М. Унесенные ветром.

Писатели будут, как в старом анекдоте про однолюбку, единственной любовью Евгении Владимировны, но – любовью платонической. В ней все социальные амбиции (разбитые слишком жестоко и слишком рано) и никакой физиологии. Чувственна в ней только ревность, и это другая, тяжкая песня.

Пастернак хлопочет о писательском санатории для Евгении Владимировны, лавируя между «для тебя неприемлема по отдаленности срока и длительности ожидания» (Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка… Стр. 368) и «обречь себя, в смысле труда, на каторгу», естественно, на все лето, с Женей и его гувернанткой. Путевки добился только Жене, на месяц, Женю маленького пристроили уже на месте в какой-то детский сад. «Кормили там впроголодь, манными котлетами, в которых попадались щепки. Мы снимали какую-то комнату, выходившую в грязный двор с огромной открытой выгребной ямой. С утра мы торопились поскорее уйти в парк, где сидели на лавочке и читали…» (Там же. Стр. 372).

Но Евгении Владимировне в санатории нравится, она снова просит Пастернака: ей хочется пользоваться его заботой – она реальна, а реального между ними осталось уже не так много, ну и, кроме того, невозможно было бы не воспользоваться крохами барства, какие только можно было добыть в этой стране. Пастернак отчитывается перед сыном: «Мама телеграммою попросила меня похлопотать по телефону, чтобы вам продлили срок пребывания в санатории. Я мог только телеграфировать человеку, указанному мамой, потому что я не в городе… < > Не знаю, что получится из моей телеграфной просьбы, и не верю в ее

удачу» (Там же. Стр. 375). Евгения Владимировна живет своими заботами – в писательском санатории ей хорошо – Жене-нок продолжает воспоминания: «Мы с трудом дождались конца санаторного срока. Возвращались в Москву кружным путем, поезда объезжали области, вымиравшие от голода и холеры… » (Там же. Стр. 375)

У Жени всегда так: то Пастернак, то брат Фейхтвангера, то Пильняк – все не то. Потом появляется дачный сторож, делает предложение, легко женится. Получив от завода комнату, исчезает бесследно.

Женя не давала Пастернаку права жить по своему усмотрению, поймала его за руку и не отпускала. Но режет по сердцу. За дело бьют собаку или для разгулки времени – смотреть не в удовольствие.

«Дожил я, можно сказать, и доработался, что о возможности жизни для себя и сына моя жена в моем присутствии должна говорить с посторонним… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 461—462. Скорее всего у Жени не вызвало сильного сочувствия описание страданий Зинаиды Николаевны, когда за свою жену заступается Пастернак. О ком-то другом, о другой женщине, Борис пишет Жене: «жена», и у нее нет права протестовать. Наверное, она до конца жизни не отдала своего права называться женой. То есть другая женщина спокойно взяла титул и пользовалась им законно – но Жене каждый раз приходилось делать страшное усилие, чтобы совместить это в голове: жена – это не она, это кто-то другой. Женя несколько раз в своей жизни лечилась в психиатрических клиниках, но не совсем понятно, как ей удавалось добиваться ремиссий.

Описывает Пастернак и организационную сторону жизни в Чистополе: «Я снимаю комнату на той же улице, где < > детдом Литфонда, место Зининой службы и Леничкина жительства. Стасик живет в другом месте. Мы его не видим почти никогда. Зину вижу почти ежедневно, она у меня иногда ночует».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 433.

С момента первой ночевки Пастернака у Зины прошло почти десять лет – она и Борис Леонидович помнят дату, Евгения Владимировна ее точно не знает, хотя жестокие письма его к родителям зачитывались ими вслух при «гостившей» (отправленной в надежде, что навсегда, из Москвы, где ей при квартирном кризисе буквально не было места), и в одном из них

было: «[note 12]уехал первого января в концертное турне по Сибири. Я боялся этой поездки и отговаривал его от нее. В его отсутствие на то, что было неотвратимо и случилось бы и при нем, легла тень нечестности. Я показал себя недостойным Нейгауза, которого продолжаю любить и никогда не разлюблю».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 511.

Может, на это было ответом: «Сегодня твой папа читал мне кусками твои письма к ним < > у меня от них волоса становятся дыбом».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 352.

Зинаида Николаевна тоже страдала: «С Пастернаком мы встречались редко, главным образом у Асмусов, где он продолжал бывать. < > Я чувствовала, что у меня пробуждается грандиозное чувство к нему и что все это жестоко по отношению к моей семье, Асмусам (из тех в Пастернака была влюблена жена – помните „союз шестисердый?“) и к его семье. В декабре Нейгауз поехал в большое турне в Сибирь. Борис Леонидович стал по три раза в день приходить ко мне. В конце декабря он пришел как-то ко мне очень поздно. < > Он остался в ту ночь у меня. Когда наутро он ушел, я тут же села написала письмо Генриху Густавовичу о том, что я ему изменила. < > Я была уверена, что он все это переживет, и написала письмо, считая это более порядочным. Он получил мое письмо в день концерта. Как рассказывал мне потом его импресарио, во время исполнения Нейгауз закрыл крышку рояля и заплакал при публике. Концерт пришлось отменить. < > Нейгауз отменил все последующие концерты этой гастроли и приехал в Москву. Увидев его лицо, я поняла, что поступила неправильно не только в том, что написала, но и в том, что сделала».

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.

З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 268—269. Мелковатая в масштабе, по версии первой семьи, Зинаида Николаевна кристально чиста перед мужем, а тут беда – соседи: им письмо не покажешь. Полный юношеского рыцарства Пастернак готов умереть на сцене: «Ангел мой, – прятки ни к чему не привели и не имели смысла. На лестнице передо мной спускалась старушка из вашей квартиры. На стук закрытой двери она обернулась назад и заметила меня и мое замешательство. Кроме того, как по команде, из Соколовской двери вышла их прислуга в тот же миг, что я – из твоей, и мы лицом к лицу столкнулись на площадке. Вид у меня при всем этом был, вероятно, идиотский».

Там же. Стр. 85.

Те страсти улеглись, и сейчас в Чистополе Зина ночует на

вполне законном и чуть опостылевшем основании, но Жене, очевидно, читать об этом больно, как вновь. Зачем писать об этом Жене? Женя читает письма Жененку. Он помнит, как читал эти строки? Если он посчитал их нейтральным бытописательством, то что он знает о любви (не только своих родителей)? Если понял так, как есть, то зачем пишет, что папочка был очень добр к мамочке?

Способна Евгения Владимировна была чувствовать ревность или радость от ежемесячных выплат была достаточной, чтобы погасить огонь преисподней? Радость, конечно, не просто меркантильная – радость оттого, что она сделала это: она его заставила считаться с ней.

К Пастернаку (в самые первые годы женитьбы) заходят на Волхонку друзья. «Яочень ясно помню наш первый визит к Б.Л. ранним летом 1922 года. Б.Л. жил тогда на Волхонке, 14, на втором этаже, в бывшей квартире своих родителей. <> О чем шел тогда у Пастернака разговор, я не помню. Но помню, что Б.Л. позвали к телефону и он, вернувшись, сообщил, что сейчас приедут Маяковский и Асеев. <> Б.Л. стал готовить чай и только успел разлить его в чашки, как в открытое окно его окликнул женский голос. <> Из разговора стало понятно, что она приехала из-за города. Она пришла, окинула комнату ревнивым взглядом и сказала: „А вы уже без меня устроились“. Так мы познакомились с женой Б.Л., Женей. <> Характер у Жени был нелегкий. Она была очень ревнива, ревновала Б.Л. к друзьям, на что не раз жаловались тогдашние ближайшие друзья Б.Л.».

Черняк Е. //Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр.128—129.

«Не буду скрывать, даже вскользь употребленное имя „Цветаева“, „Марина“ скребут по сердцу, потому что с ними связаны горькие воспоминания и слезы».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 105.

Марина Цветаева ничего не выдумала, она просто назвала (с нее, с поэтессы, и довольно) то, что с ней случилось: «ему братом – да, ей сестрой – нет». Ужасающий, как бездна, феномен многоженства – никто даже не хочет в него заглядывать, это – мерило несчастья. Несчастья случившегося и перед которым тебя поставят с открытыми глазами до конца дней смотреть, видеть – и даже участвовать, да еще со сладкими стонами. Там, где убивают из ревности, нужно нежно улыбаться. Жены должны быть как сестры. «Я рада, что моя сестра счастлива с этим достойным

человеком».

Именно потому, что существует рай узаконенного многоженства (муж ни на кого не смотрит – ему не на кого смотреть, все под черными покрывалами. Которые танцуют с голыми животами – те не годны в жены), существует и ад многих жен. Одна хочет быть старшей, другая, молоденькая, – любимой, каждая хочет быть единственной. Природу не обманешь, а с какими-то отдельными эскападами мужчины очень легко можно примириться: норки, куда можно укрыться самолюбию и ревности, нам всегда подготовит культура, или собственная терпимость, или здравый смысл (но это уже не о любви). Нет предела вычищению незапятнанности отношений (Софья Андреевна Толстая перед свадьбой горько убивалась из-за того, что Левочка не удержался до нее, Сонечки) – нет предела и числу уступок. Но за ними в конце этой лестницы – она должна остаться ЕДИНСТВЕННОЙ.

Цветаевой никто еще не предлагал быть женой, но она содрогнулась от мысли, что ей предложат и сестринство. Женя была женщиной другого накала – она согласилась быть недружной сестрой и гордилась. Впрочем, плакала. Попадала в психиатрические лечебницы. Это – «впрочем»? Или это и было ее жизнью? В романе с Пастернаком не выгорела только рыхлая полешка Ольги Всеволодовны – она не была горючей. Ивинская была бойкой дамочкой. У нее в сороковых годах был один выходной костюм, но – красный. На него она ловила влиятельных (не по-пастер-наковски, конечно) господ, он один и тлел.

Задача Евгения Борисовича по определению непосильна, не может сын оправдать мать, потому что его отец бросал не мать сына, а свою жену. Что сын может знать о собственной матери как о жене? На долгих страницах сыновьего писания Евгения Владимировна мила, привязана к Пастернаку и пресна. Увлеченность отца ею чем мог измерить сын? Ну, вот пишет, что тот деньги всю жизнь высылал. Сумма всю жизнь была одинаковой. «От Евгении Владимировны я знала, что Борис Леонидович каждый месяц приносит ей деньги».

ТАРКОВСКАЯМ.А. Осколки зеркала. Стр. 15.

Все знали.

Хоть и считается, что свойства людей не зависят от времени, в котором они живут, но, несомненно, проявляются по-разному. Несомненно, что мужчина темперамента Пастернака, живи он в нашу, более декларированно сексуальную эпоху, такую жену, как Женя, задвинул бы еще дальше, чем где она оказалась, и,

возможно, не вел бы с ней такой многотомной переписки, выясняя, чего же им все-таки не хватает для полного взаимного счастья, подсчитывая любовь и теплоту и прочие прелестные вещи. Скорее всего он прежде нашел бы себе более темпераментную подругу, а уже оставшиеся после разрешения этого вопроса проблемы, может, и выяснял в письмах. А то бы и закрыл тему личной жизни и – работал бы, работал…

«На школьные каникулы он предложил мне с мамочкой поехать в Переделкино. У них в большом пустом доме жил Дмитрий Владимирович Лясковский, дальний родственник Нейгаузов. <> Он работал на Московском автозаводе в отделе рекламаций и занимался газогенераторными автомобилями. Он преклонялся перед папой Борей и вскоре влюбился в мамочку. Папу это очень обрадовало, о чем он откровенно сказал Лясковскому, когда тот признался ему в своем чувстве. После этого Митенька решился сделать маме предложение, и она приняла его. <>Летом 1938 года папа купил нам путевки в литфондовский дом отдыха в Коктебеле. <> Мы с мамой пробыли там два месяца, в конце июля к нам должен был присоединиться Лясковский, мама хлопотала о покупке курсовок на всех троих. Папочка помогал ей в этом в Москве, присылал деньги».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 404—406.

«Жалко, что курсовки так дороги, но <> если у тебя нет другого, проверенного и легко исполнимого плана, их надо купить, что я и постараюсь сделать сам отсюда <> наличными или безналично или в рассрочку, выкуплю их Я и в срок, без опозданья».

Там же. Стр. 406.

«Дорогая Женя! Ты уже верно знаешь, что сердилась на меня напрасно, то есть письмо мое, написанное до твоих напоминаний, тобой получено? Так же наверное на месте и курсовки, оплаченные сполна наличными».

Там же. Стр. 407.

Получив квартиру, Пастернак еще и строит дачу. Приходится отчитываться. «Мне было очень трудно матерьяль-но, как раз в то время, когда ты с такой обидой и горячностью сомневалась в моих заботах о вас и приписывала ухудшенье в вашей жизни моей небрежности или равнодушью к вашей участи. Затрудненья эти (казавшиеся тебе выдуманными) были так явны, что на этот раз без моего побужденья сам Литфонд постановил придти мне на помощь. Мне вернули паевложеньеза дачу <>мне еще выдали

ссуду в2000. < > Это меняет на время все обстоятельства < >. Кроме 900я наверно еще переведу тебе что-нибудь да еще около тысячи будут готовы тебе к сентябрю. У вас ли Дмитрий Владимирович?»

Там же. Стр. 407—408.

Отдых удался.

Дмитрия же Владимировича даже такие неслыханные по советским, и не только советским, меркам условия не удовлетворили. До конца жизни сохраненная прелесть Евгении Владимировны не работала в том направлении, на котором обычно используется женская прелесть.

«Вскоре, получив от завода комнату, он ушел от нас».

Там же. Стр. 408.

Как говорится, ни Пильняк, ни Фейхтвангер бы так не поступили.

Плотоядная семейственность

«…могут быть последствия».

«Последствием» Пастернак в конце жизни назвал своего сына, стоившего ему как минимум двадцати лет жизни – изнурительных трудов по обеспечению его царственного младенчества; разъедающей тоски по разглаживанию неуклонно и рассчитанно раскапываемой мамой ямы, заполненной страданиями будто бы безотцовского детства; денег – ему казалось, что так нагляднее, оказалось – это только раздражало; лямки родительской внимательности к духовным запросам бездельного, беспомощного и умеющего поставить себя перед отцом сына.

«Ибо < > враги человеку домашние его».
Евангелие от Матфея. 10:36.

Был ли так уж чадолюбив Борис Пастернак? Про уже родившегося от совсем недавно любимой Зины Ленечку сообщает родителям, что рождению его не помешало только существование уголовной ответственности за аборт. Если бы дело подлежало только административному, например, праву или, лучше всего, совести – след любви Бориса Леонидовича и Зинаиды Николаевны в этом мире был бы гораздо менее материален.

Он и ушел, особенно не задержавшись.

Определение Пастернака – «человек, у которого большая семья», так про него пишут и в литературоведческих трудах: «был на поприще перевода халтурщиком. Гениальным, но халтурщиком. Кормил большую семью».

ТОПОРОВ В.Л. Жесткая ротация. Стр. 214.

Несколько небольших семей, объединившихся (объединенных и согласившихся) в одну большую. Потому что формально его семью составляли он да Зина, да сын их Ленечка. Был Зинин сын Стасик. Адик – умер. Но, опять же

формально (Зина была формальна, Борис был щедр и немелочен), Стасик был сыном еще одного многосемейного отца. «В Переделкино мы [note 13] перевезли свой «разбитый»рояль, и Стасик на нем занимался. Как-то Борис Леонидович сказал, что рояль необходимо заменить, так как Стасик уже созревший пианист и должен иметь хороший инструмент. Рояль поехала

покупать Зинаида Николаевна, а для консультации с ней поехал Генрих Густавович. У нее не хватило денег, и она взяла их у Генриха Густавовича, считая, что он тоже должен в этом участвовать. Я не помню Бориса Леонидовича таким рассерженным, как тогда, когда он узнал об этом».

Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак,

М.И. Фейнберг. Стр.551.

Сильно, в разы увеличивала «семью» поддерживаемая Пастернаком формация в виде старшего сына (что бывает, но до определенного все-таки возраста, неопределенно-малого, а чаще всего такой ребенок «рассасывается», как рассасывается второй плод в изначально многоплодной беременности – что в реальности гораздо реже заканчивается рождением действительно двойни). Феномен же «милого друга Жени» не встречается никогда. Исключения подтверждают правило. У Ольги же Всеволодовны Ивинской были двое детей от самоубийствами и смертельными болезнями мужей окончившихся браков (или не от мужей – ее дети щеголяли и такими намеками), мать с мужем (молодожены и они, чтобы добавить нестандартности к конфигурации «семьи»), бесконечные аборты, выкидыши, мертвые дети и пр. Кормить нужно всех, кроме несчастных нерожденных детей… «А я избалована и без денег мне неприятно».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 492.

Это Женя.

«В этот день мы встретились в „Гослитиздате“, где Боря должен был получить деньги».

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 103.

У Ивинской они так часто «получают деньги», что это не может быть только ее памятливостью (и напоминанием непонятливым), что все его денежные дела были ЕЕ рутиной и необсуждаемо подконтрольной областью, но что и он для простоты скрупулезно отслеживал, чтобы никакие денежные поступления не проскользнули мимо ока Ольги – так ему было проще. «…ей нужно что бы то ни было на земле меньше, чем сама она нужна земле». Это уже – Зина, так хотел Пастернак писать Райнеру Марии Рильке о Зине, и пусть это не касается сумм его ежемесячных выдач жене, но для чего-то написалась именно эта фраза. Наверное, Зине просто было выдано сразу столько (Борисом и еще кем-то), что ей действительно ничего уже было не нужно. Мы здесь судим Пастернака. Семья действительно была большая, приходилось работать, «ВЫГОНЯЯ (по собственному

признанию) до восьмисот строк в день. Переводил как бог на душу положит – порой вдохновенно, порой чудовищно».

ТОПОРОВ В.Л. Жесткая ротация. Стр. 214.

Каждый мужчина теоретически может быть единственным отцом всего человечества. Людей сколько? Примерно шесть миллиардов. Мужчина за одну эякуляцию выдает 3—6 миллионов сперматозоидов. То есть в среднем за 1500 половых актов можно произвести на свет все население земли. Если заниматься этим ежедневно, то за четыре года – всех, если раз в неделю (максимальная активность сперматозоидов – после 5—6 дней воздержания, то есть это уже почти наверняка) – через 25 лет. Все в рамках возраста полноценной мужской зрелости. Дать мужчине чуть больше лет на это дело – и родятся все человеки всех поколений, и до нашей эры и после. Этот физиологический символизм обозначает, что человек – мужчина – Бога собой и представляет. Подобен ему во всем. Кто создал мир? Он.

Женщин – сосудов греха – надо побольше, и то, что они никак не могут включиться в эту игру, женской плодовитости число красное – «20», ее место оно и определяет.

Косвенное доказательство Бытия Божия. Пример Гармонии, которая невозможна без существования Гармони-затора.

«…это было лето на папиной даче в Голицыне, папа с женой Татьяной Алексеевной приезжал довольно часто. <> Но меня давно интересовали подробности одного события <> и вот однажды <> за вечерним чаем в саду я собралась с духом и спросила Татьяну Алексеевну: „А помните ли вы вашу замечательную шубу? Из какого она была меха?“ Она не насторожилась, как обычно, от моего вопроса, а с воодушевлением стала рассказывать давнюю историю о покупке своей знаменитой шубы из нещипаной выдры. Шуба из мягкого коричневого меха была сшита с заграничным шиком – с глубокими карманами, с поясом и даже с хлястиками на рукавах. Такой шубы не было ни у одной писательской дамы, и Татьяна Алексеевна по праву гордилась ей. „Да, я помню, очень красивая была шуба. А скажите, в каком году вы ее купили?“ И в этом вопросе она не почувствовала ничего подозрительного и ответила, что шуба была куплена летом 1947 года. Татьяна Алексеевна зашла в комиссионку на Петровке, увидела шубу, прибежала домой, и папа дал ей денег на покупку. Вот это-то мне и надо было выяснить. Значит, покупка совершилась именно вторым послевоенным летом <> Я очень хорошо помнила то лето <> С собой в Малоярославец мама дала нам две буханки

черного хлеба и несколько селедок. Ермиловна готовила из селедочных внутренностей, лука и сыворотки окрошку <> Остаток этого лета мы провели под Москвой, в деревне около Петушков, жили одни в заброшенной, полуразвалившейся избе. <> Как это у Некрасова? „В мире есть царь, этот царь беспощаден…“ Да, нас мучил голод. <> Привезенные мамой скудные продукты исчезали очень быстро, и конец недели был самым мучительным. Мы рвали красную рябину, но, даже испеченная на костре, она не утоляла голод. Грибы в тех местах росли какие-то странные, похожие на белые, но горькие и несъедобные. Другого „подножного корма“ не было. <> А в ноябре Андрей простудился и заболел туберкулезом. Врачи сказали, что из-за сильного истощения защитные функции его организма ослаблены и не могут оказывать сопротивления палочкам Коха… Тогда на даче в Голицыне Татьяна Алексеевна не поняла, почему меня интересовали подробности покупки ее шубы из нещипаной выдры, случившейся почти тридцать лет назад. И слава Богу, а то начала бы что-то объяснять, оправдываться. А в чем она, собственно, была виновата?»

ТАРКОВСКАЯ М.А. Осколки зеркала. Стр. 62—65.

Пастернак – преданный, мягкий, совестливый, исполнительный муж. Муж-мечта. В какой момент он понял, что тихую Женю ему придется обслуживать, как нанятому за деньги? У него было два варианта – или начать с ней торговаться за каждое вынесенное ведро, или все безропотно делать самому, подразумевая, что он выше этого и не замечает своего униженного положения. Он, однако, столкнулся с необходимостью заключения завета, что она, жена, на которой его женили, не возьмет сама на себя все женские домашние заботы (оставшиеся от ежедневных усилий работавших на полную ставку няни и «опытной домработницы»). Без четких договоренностей, чуть ли не скрижалей, невозможно случиться, например, таким эпизодам.

О встрече Нового года: Женя с Маяковским, Пастернак – при сыне. Женя идет туда, куда ее пускают только потому, что она – ЕГО жена. Ей там нравится, приятно (не больше, чем было бы ему). Маяковский «провожает ее» из гостей – идет поздравить Пастернака. Кому еще ему пожимать руку в Москве в 1927 году? Возможно, останься Женя дома одна с ребенком, который кашлял, а Пастернак уйди на новогодний вечер – тоже как-то некрасиво для семьи, это их дело, как надо было сделать, пусть думали бы, но то, как получилось, – это слишком политкорректно. Наседку Цветаеву (не по преизбытку эстрогена) могло бы возмутить

чрезмерно. Зачем Пастернак ей пишет об этом? Он всю жизнь пишет одной женщине о другой и, как правило, не в забывчивости и не от избытка чувств, а осторожно, как кошка подбадривает лапой очумевшего, в шоке лежащего мышонка. От такого описания впору лишиться поклонницы. Цветаевой некуда деваться. У нее умер Рильке, ей не с кем на этом свете поговорить. Такое письмо дает ей оправдание говорить, не слушая собеседника.

Есть эпизод, где ропот его – склока? счеты? – объявлен определенно, родителям в письме. Тоже адресат неудачный – им о своем заслуженном, набравшемся славы сыне хотелось бы услышать что-нибудь иное, нежели описания его затурканности придирчивой женой. Женя недовольна браком, из рук, однако, не выпускает, отступиться – тоже: вот бы и повод, чтобы попеределывать под себя этого тюфяка-мужа? Вот прислали ему приглашение в театр, так бы и сказать: «Тебе прислали приглашение – ты и иди. Я самостоятельно дождусь, когда мне пришлют мое независимое приглашение». Что мое – мое. Что твое – посмотрим. В семье Пастернаков (несостоявшихся Лурье) смотреть нечего.

И третий эпизод – необходимость для Бориса в разгар начала романа с Зиной – еще и жить вместе нашлось где на время! – оставить ее и переехать назад к жене. Потому что заболел Женечок. И – и что? Советским размеренным бытом все ученые, всем известно, что мужей в таких случаях (скарлатина) ниоткуда (от женщин, к которым этот муж ушел – тем более) не вызывают. Заметим, что никому из участников не пришло в голову, как сразу бы пришло сейчас, что это маневр для оттаскивания его от Зины. Нет, здесь речь только о его обязанности сидеть с больным ребенком.

Поклон равноправию полов – сейчас брать больничный по уходу и даже «декретный» отпуск может любой из родителей, какому удобнее (ребенку, очевидно, удобнее с матерью), но берут их «не те» родители только в исключительных случаях, когда совсем уж какая-то необыкновенная ситуация, или, как в нашем случае, когда внимание к гендерным амбициям удовлетворяется с какой-то малонормальной, выбитой покорностью.

Вот он сел, Пастернак, сидеть с заболевшим ребенком. И чем занялась его самостоятельная и независимая бывшая жена Женя? Очевидно, работает. Пастернаку такая самостоятельность и стремление к независимости не по чину. Он сидит сиднем три недели, изредка выходит из зоны на встречи с Зиной, дезинфицируется карболкой – у той ведь тоже малолетние дети. Деньги на все и на всех – его. Другие варианты в этой семье не

рассматриваются. Ребенок, при всех помощниках и беззаботности о средствах, для Жени в тягость. Уход за ним действительно полагался тщательный – воспоминатель-сын это неоднократно с гордостью подчеркивает. Жеваным хлебом в тряпице никто не отделывался. Разница в быту по слоям населения была разительной. Графу Толстому казалось, что мать природой сделана по мерке требований ребенка. Теща не соглашалась.

«Мама была очень недовольна, что не было постоянной няни. Она говорила: „Левочка все чудит, хочет жизнь Сонечки по-бабьему устроить, а тут у нас и уход за ребенком и матерью не тот, что у баб на деревне, да и силы не те“.

КУЗМИНСКАЯ Т. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Стр. 230.

«Напомню, что при всем самопожертвованьи, составляющем главную мамину (Розалии Исидоровны) черту, у нас, как и во всех тогда домах, были детские (комнаты) и няни».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 315. Не отсутствовавшие и в доме Пастернаков. Изменившиеся условия – просто самоотверженную и тем счастливую мать – сам Пастернак заметил только к концу пятидесятых, когда родился внук. «Сопоставляя привычную ему строгую педантичность ухода за ребенком с тем, как моя Аленушка легко сама справлялась с мальчиком, он говорил: Может быть, вы и правы, что так просто его воспитываете. Наверное, так и надо».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 555.

На то существует женский глаз и материнская интуиция – чтобы видеть, что действительно требуется ребенку, а что может превратиться в навязчивый психоз или жупел для побежденного и истерически покорного мужа.

Для отца, Леонида Осиповича, семейственность – важнейшая черта жизни, но не «плотоядная», а скорее гигиеническая; а гигиена, когда она есть, – она не заметна, когда ее нет – становится источником горестей, болезни, отверженности. Леонид Осипович личной близостью к Толстому и знакомством с ним был очень доволен, надеялся, что его большое гнездо знавшим перипетии его жизни и круг знакомств будет подсказывать некоторые ассоциации; для Бориса выражение «толстовский дух» было словами ругательными, оно обозначало бездушие, равнодушие к его родительской озабоченности, которую он почти искусственно разжигал в себе по отношению к даже еще не оставленному Женьку. Отец пытается его привести в чувство: «Читая твои полные душевных страданий и боли письма и за маму (Женю-большую) и за ребенка и за себя и т.д. –

прямо от души тебя жалко и хочется скорее тебя унять, успокоить – мало у тебя и без этого душевного „добра“?! Нервы, видно, у тебя, и без того всегда взвинченного и развинченного, – теперь что-то развинтились на все 100%… Нельзя так, Бо-рюша! Это ведь начало твоей жизни – еще столько-столько впереди. Женёнок – прекрасный ребенок… »

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 309.

Пастернак подставляет щеки и ничего не желает для себя, дает просящему. Выхаживает ребенка по изнурительным стандартам слабой здоровьем Жени, подписывает резолюции в профкоме, вызвавшем его на разборку по жалобе оставляемой жены, обеспечивает жизненный уровень в соответствии с запросами требующих. Не зря он так плодовит – наглядно показывает, сколько времени и душевных сил можно сэкономить, если служить солдатом, а не военачальником. Он избрал себе другое поле сражения и командует не здесь.

Мальчики и девочки

И.П. сказала: «По „Живаго“ видно, что Пастернак не любил детей – они были для него только отяготителями женской доли, на которой он только был сосредоточен („в браке дети теребят“)».

ГАСПАРОВ М. Записи и выписки. Стр. 123.

Отцы всегда больше любят старшую дочь и младшего сына. А мать – младшего ребенка, младшего сына или младшую дочь. Младшего сына больше – потому что он большего лишится: первородного титула, майората. Это сидит в крови. И мать его подсознательно хочет защитить. Для отца же старший – тот, кто будет – лично – вместо него. Пастернак бунтует иногда против Жененка. Себя – такого – он хотел бы убить.

Толстому удалось осчастливить своих детей тем, что он дожил до своего позора – их зрелых лет. Толстой мечтал о детях как девушка – только до черты замужество-дети-няни-чай на веранде. Девушки (в те времена) дальше в мечтаниях не шли – взять, например, детьми реванш за свои неудавшиеся жизни – это новые возможности, предлагаемые современным обществом. При патриархальном укладе значимым было только не остаться вне этого маленького, закрытого круга. Вольной открытой дороги пугались все.

Мужчины во все времена были вольнее и знали, что все зависит от них самих. Мужчины часто хотят продолжателя своего дела. Какое дело жизни мог завещать своим детям Толстой? Пастернаку тоже наследник не был нужен. Ребенка со своим трудолюбивым, не очень опрятным, по старомодному, педантично, но нерационально организованным бытовым складом, он хотел, как хотел дождя, мороза – всякого природного явления, любое из которых принимал с благодарностью и жадностью: рассматривал, присматривался, поэтически изучал. Его слепки этих явлений: утренников, метели, ночи на даче – свежи, как будто вышли непосредственно из его рук, – в смысле, что они предварительно не создавались Творцом (с большой буквы, Создателем, изготовителем неба и земли).

Еще этим ребенком он хотел занять свою возлюбленную: ей ведь нечем было еще заниматься. Что за фантазия Евгении рисовать! У него была манера сверхвежливости, деликатности (механическая, он запускал ее и прокручивал до самого конца – пока не отшивал человека грубо и однозначно, нисколько не затрудняясь): он с большим пиететом, практически

издевательским, трепетал перед Жениным профессионализмом, она все принимала за чистую монету, в Берлине (куда вырвались из голодной Москвы, когда людям есть было нечего, а у Жени что-то женское – истерики, неудовлетворенность) требовала себе отдельную комнату для «занятий» – Пастернак в расчет не принимался, а сын их в 2005 году спокойно говорит в интервью: «Мама думала, что он поступится своей работой, но для отца это было бы трагедией». Это уже о Москве, где надо было просто работать по дому – и работу Пастернака она видела такой. Чтобы не заблуждались на этот счет и мы, «идеальный сын» – определение пастернаковского биографа Д. Быкова – поясняет: «для отца это было бы трагедией».

С чего бы это?

Пастернак – не ремесленник с гладкописными навыками, сквозь вывернутость его слога, особенно в письмах, можно продираться с раздражением, как сквозь нарочитость. Но она и есть нарочитость – только не в низком смысле: изощрюсь, чтобы было видно, что не как все, а изощрюсь – потому, что как все, – это слишком просто, это пренебрежительно к слову, это будто я не хотел потрудиться, я потружусь. И пишет (Почти все письма так. Горький был на него обозлен и какие-то письма вернул – все-таки был достаточно вульгарен и в «нарочитой» – вернее, нарочитой без кавычек, но с высоким смыслом заданной нарочитостью – манере увидел угодливость: дескать, старается

Борис Леонидович угодить, удивить неординарностью стиля.): «С осени эта потребность в двух комнатах приобретет громчайшую выразительность красноречивейшей очевидности».

ПАСТЕРНАК Е.Б., ПАСТЕРНАК Е.В. Жизнь Бориса Пастернака. Стр. 208.

Речь идет о рождении осенью ребенка.

Но литературная одаренность (очевидно, присущая великим писателям, невеликим литераторам и обыкновенным графоманам – все-таки они пишут, а не музицируют, – как необходимое, но недостаточное врожденное качество, как абсолютный слух, – без которого самые великие, правда, могут обойтись, – необходимый музыкантам) и многолетняя писательская хлебодобыча делают из Бориса Пастернака прелестного рассказчика:

«А сын Ленчик стал ходить и пресмешно. Он привык, чтобы его все за руку держали. А когда открыл, что можно самому, то ему все-таки так страшно расстаться с привычкой, что он либо прижимает кулачки к груди, либо собирает в горсть штаны на животе (чтобы что-нибудь держать) и ходит, качаясь и что-то громко распевая от воз-бужденья, как пьяный».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 718

—719. Стихов нет, сквозной темы отцовства нет – перед этим художник отступает. Человек – и гений – может творить вещный, природный мир; творить человеков – только в физиологическом плане. Писатель создает бессмертных, живых героев – но это калька их самих, наши дети – это самостоятельные существа, мы их можем родить, но не можем создать.

Лев Толстой с наслаждением создал большую семью и равнодушно отвернулся, когда бородатые мужики начали переживать страсти и затребовали по номерам шампанское. Пастернак раздраженно написал плачущемуся тридцатилетнему сыну: «Ты страшно все, может быть, под влиянием мамы, преувеличиваешь: безысходность своего положения, важность того, что будет с мамой <…> мое значение (несуществующее), мою сердечность (существующую еще меньше). <…> в течение долгого времени не пиши мне. Мне некогда, а оставлять тебя без ответа неловко и жалко. Ни во что не буду вмешиваться, о твоем письме не скажу ни маме, ни Тане. У меня совсем другие заботы, ничего я в этом не понимаю».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 503—504.

У Евгения Пастернака исправно работают перепавшие ему гены отца (говорят, генетически каждый отдельный человек больше имеет сходства с мухой, чем с ближайшим родственником). Он абсолютно честно публикует такое письмо, справедливо полагая (до поры), что людям интереснее прочитать что-либо написанное Борисом Пастернаком, чем сохранять в своем воображении как можно более незапятнанным (в смысле несомненной обласканности и оберегаемости законным отцом) образ Евгения Борисовича Пастернака (не все ведь о его существовании и осведомлены, на чтение биографий не у всех хватает времени и интереса).

Особенно плохо, что в ребенки Пастернаку достался сын. К Ленечке он впоследствии отнесся в, скажем так, хорошем смысле по-толстовски – «жестоко» дал ему жить самостоятельно и оставил пространство для жизни, а не для служения своему семени – для себя. Мужчине еще можно забыться до смешной роли чадолюбца и простительного плотоядства, если ребенок его – девочка. Взращивая девочку, собственного ребенка, можно оправдываться перед человечеством, что ты не себя, любимого, копируешь или какого-то удивительного деятеля воспитаешь; с девочкой ты можешь декларировать, что осчастливишь человечество единственной, чистой, честной и прекрасной, благородной и великодушной женщиной. Женщины в

материнской любви тебе не соперницы, а мужчины к такой затее могут отнестись и сочувственно. В общем, любить самозабвенно дочку дозволяется наипервейшим в мире мачо, мужественности это не убавляет.

Любить мальчика – не зря когда-то младенцев до окончания их младенческой поры одевали в белые платья, девочками, – можно только в этом платьице. Дальше это смешно и немужественно. Хороший парень, гусар Николай Ростов, из кучи детей, подаренных ему княжной Марьей, в любимицах держит дочку; старый князь Болконский, прусский король, страстно любит дочь, приличие и воспитание не позволяют ему нежничать с князем Андреем. Борис Пастернак заливает письма слезами по и без этого внимательно относящемуся к себе Женеику. С годами он сдру-живается еще больше с бывшей женой Женей, активно переписывается с ней, часто отправляемой им куда-то на отдых, в разные писательские заповедные места. Всегда пишет и Женеику. В приписках этих – задор, внимание, он интересуется, подбадривает – никогда нельзя отделаться от чувства неловкой натужности этих записок. Напоминает случай с маленькой Ирочкой Емельяновой, дочерью его свежевозведенной любовницы Ольги Ивинской, которая только начала вводить его в свою семью, прививать ему нужный ей – становилось ясно, что на него можно было рассчитывать – отеческий интерес к своей дочери.

Пастернак берет Ирочку с собой в поход в книжный магазин, где он хочет сделать ей подарок. «Он получил деньги и хочет сделать мне подарок».

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка. Стр. 210. Поскольку ясно, что Пастернак и без получки книжку подарить может, подразумевается, что Ивинские-Емелья-новы от мала до велика в курсе повседневных финансовых дел Бориса Леонидовича. Впрочем, Ирочка еще не совсем обвыклась.

«Я впервые наедине с этим совершенно непонятным для меня человеком < > Я безумно стесняюсь и не знаю, как себя вести. „Как мокро. Мы можем промочить ноги“, – говорю я. Б.Л. отзывается стремительно, целым потоком фраз, перекрывающим клокотанье ручьев и сливающимся с ним, так громко и взволнованно, что я с испугом озираюсь на прохожих. „Тебе кажется, что нужно что-то говорить. Что нельзя молчать, что нужно развлекать меня. Я тебя так понимаю, мне это так знакомо“».

Там же. Стр. 22.

Ему казалось, что нельзя молчать, когда пишешь Же-ненку, надо развлекать его жизненными предписаниями – Женеик был строг и требователен и свое хотел получать регулярно.

«В соседней комнате я увидел две полузастеленные кроватки. Вскоре должна была прийти Зинаида Николаевна с детьми».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 363.

Хоть бы у Зинаиды Николаевны были девочки! Нет – постель расстелена для двух мальчиков. Женёнок стоит в дверях и смотрит на их постели. Жаль, что он не помнит этого момента, когда хоронит свою мать в могилу отца (рядом, но это все равно), а больная, но живая Зинаида Николаевна одна лежит в своей бедственной кровати на даче, которую оставил ей Пастернак. Последнее ложе ее мужа раскрыли насильно; раскладушки мальчикам Нейгаузам Пастернак ставил сам, по своей страшной воле. Выросший свой мальчик добился жестокого, позорного (скорее в древнем – видимость, показушность – значении) и ненастоящего отмщения.

Не мужское это дело – продолжать дело отца. Тем более чтить его память. Как Измаилу Авраама чтить? Не роняя достоинства, он может только любить мамочку. Вычислено также, что если папа маму не бросал, а любил так же сильно, как и сын, то еще больше причин для ненависти. Об эдиповом комплексе говорят как о насморке.

В мужчинах, которые слишком трепетно, пусть и финансово заинтересованно, пусть и для карьеры – иногда бывает нужно и пр., то есть имея оправдание, – любят принародно своего родителя, поминутно приглашая восхититься тем, как это естественно – что-то есть от гермафродита. Они любят его немужественно, нецеломудренно, как бы от имени своей матери. Если мать – жена бывшая, то есть права голоса любви не имеет, берет слово сын, он – часть женщины своего отца.

Александра Толстая сидит в Америке на отцовском деле, как на троне, дочь Андрея Платонова необычайно скромно и плодовито работает в академических редколлегиях, профессионально занимающихся наследием (не наследством) своего отца (Платонов – не телесный человек, и откуда-то взявшаяся у него дочь явленно духовна), даже Арапова пишет книгу ненависти о Пушкине – ей прощаешь издалека. Мальчикам бы Ланским не простить никогда. Вмешиваясь в процесс обработки творческого наследия (Пильняк), мемуаристики (Заболоцкий), кровные родственники только умаляют посмертный образ классиков, снижают их реноме, унижают их память – будто некому о них написать, вспомнить, поработать. Вот и Наташа Ростова оскорбилась, когда на бале к ней подошла

сестра – будто не нашлось бы для нее флигель-адъютантов. В случае Пастернака, конечно, унизить его семейными альбомами трудно, но лучше бы было без этого. Написать вовремя свои воспоминания – это одно, выводить под видом научной работы свою версию семейной истории и вводить ее в почти научный обиход – не для ученых, а для незнающих, что еще хуже, – это другое.

Человек не так уж грешен в гордости, как наговаривают на него. Зачем тогда он хочет сына? Будучи великим, вполне достаточно иметь дочку, она и унаследовать сможет, и сохранить. Сын – это себя продолжить, сделать больше, СТАТЬ великим.

Если уж и Христа, без капли нужной крови, признали (кто признал) прямым потомком Давида, то ясно, что и чьи угодно линии сойдутся в нужной точке, но на прошлое никто работать не хочет. Для чего тогда стремиться родить сына?

Пастернак полюбил Ирочку Емельянову.

Периодически в культурах возникают периоды, когда расцветают, становятся заметными в социально-демографическом портрете общества институты приемных детей, их активно усыновляют и удочеряют – бездетные и имеющие родных детей семьи и одиночки. Такой период сейчас в западных христианских странах. Нам не миновать этой моды (плохое слово для часто благого дела, но уж так, видимо, дело обстоит); как всегда, немного отстаем. До сих пор у русских – ужас, жесткость, горькая судьба – своя или ребенка, которого почти постыдное добросердечие заставило не отпихнуть, не отбросить со своей дороги. Природа человека зверска, но с веками происходит умягчение нравов. Когда мы размягчимся до всеобщей пластилиновой любви, род человеческий прекратится. Но и твердокаменным сучком не годится стремиться быть – мы задуманы для самосовершенствования. Кто знает, что отольют из того пластилина потом! Лучше быть среди первых.

От семьи отрекаются еще до смерти. Татьяна и Александра, дочери, как жены-мироносицы, не рассуждая, не от большого ума, и еще более близкие к жизни, чем к смерти, а значит, еще дорожащие отцом – они могли чуть-чуть согреть могильный, не раскрывший своих тайн, холод, который уже объял Толстого, как объемлет когда-нибудь каждого. Дочерей у Пастернака не было, сыновей – как бы не стало тоже, сыновья нужны, чтобы красиво нести гроб на плечах, Ольга забылась, забывается все веселье

мира, – и осталось только благодарить Зину «за все». Вернее, это не осталось, это было сделано, осталось – всхлипывая, благодарить Зину. Этим уход обычно утешается.

Несыгранный гамлет

Перед войной Пастернак, уже полностью засвидетельствовавший свою преданность брошенной семье, занимается главным переводом своей долгой и плодовитой переводческой биографии – переводит Шекспира, «Гамлета». Женечек же пишет собственные стихи. «В моем детском стихотворении 1940 года о Гамлете (дитяти 18 лет) есть такие строчки…» – каких только строчек нет!

«Ты для меня выписываешь роль…»

«…рифм тугие завитушки…» Этими завитушками, пишет Е.Б., он боялся обидеть чувствительного Б.Л., но, возможно, замечает он, тот даже не стал читать стихотворения. Ну а то, что Пастернак корпел над страницей, выписывая для Женечки роль, – это ясно как день. Здесь не обидишь, цели пастернаковской работы сомнений не вызывают.

«Но нет, пиши – былого не вернешь». Уже в восемнадцать лет у него есть былое, которое он волен прощать иль не прощать, в зависимости от того, как будет убиваться за свои грехи папочка.

«Не все ль равно. Проезд тобой оплачен».

О Гамлете же Женечка пишет и школьное сочинение. «… окончив черновик, я приписал на нем просьбу к отцу: посмотри и проверь (Женя в выпускном классе), и лег вздремнуть… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 419.

Борис Пастернак, как известно, – виноватый родитель. Вскоре выйдет из печати его перевод «Гамлета», и он подарит Женечку экземпляр: «Будущему Гамлету, Жене. Папа».

Там же. Стр. 419.

Женя называет надпись «излишне многозначительной». Здесь и насмешка над суетливостью папочки, и с достоинством выраженная простота: никаких вопросов быть или не быть наследник решать не собирается, его дело – проследить, оплачен ли какой-то «проезд», какая-то, очевидно, дорога жизни, папочкой, кровью или наличными.

Разговор о младшем сыне в конце пятидесятых. «Сейчас Леня увлекся одной девушкой. Она в него сразу впилась. Он хотел на ней жениться. По-моему, это ни к чему, он очень молод, студент еще. Я с ним поговорил: Ленечка, помни, что могут быть последствия, которые будут тянуться всю жизнь. И рассказал ему о своем первом браке».

МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 252.

И назвал старшего последствиями.

«…она отвечает, что это вообще не люди (Нейгаузы) и сумасшедший дом, и что Зина не мать, и надо подождать, каковы вырастут дети (они и правда не так изнежены, как Женя)».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 559.

К сожалению, Женя дождалась – она увидела сына Зинаиды Николаевны ставшим Станиславом Нейгаузом, в то время как Женечок был вяло мятущимся офицером, тянущим из родных и знакомых записки по воинским инстанциям для ослабления ему офицерского тягла. Отправить его в благословенный для молодости край, далекий гарнизон – это было совсем не то, что снять Стасика с самолета, перечеркнув ему возможность участия в первом своем – шопеновском – конкурсе. Он был силен особенно в Шопене, таланты, положенные ему по наследству, падали в добрую почву (Женечок писал стихи – но скудна и неродяща была пашня). Пастернак говорил о нем: силен, как все пианисты, в Шопене, но пианисты здесь подразумевались с большой буквы, а о Шопене Пастернак свою работу написал в старости – когда пасынок проявил свои таланты, – возможно, и под его влиянием.

Старший Зинин сын, Адриан, был еще более ярок – более сильный, смелый, спортивный, жизнелюбивый; если бы не умер, после пяти лет мужественной борьбы и смертельных мучений, он стал бы, кем стал бы – но еще, кажется, он мог цементировать семью своей матери крепче, чем анемичный Женечок – своей.

Не зная, как уж разбудить в отце интерес к своей вялотекущей жизни, Евгений напоминает ему о страстях 1935 года. Из пушки по воробьям, самым тяжелым летом его отца – по своим служилым дрязгам. «Мы с тобой одной крови, папочка». Забота до конца жизни Пастернака о первой семье – жест его благородства, жиже нет назвать себя когда-то заблуждавшимся, связавшимся по ошибке и пр. (хотя и проговаривается: «последствия, которые тянутся всю жизнь», «результат отцовского преступления и притворства»). Все, что он делал для Жени с Женечком – он делал с подчеркнутой добровольностью. Однако играть на нем было не легче, чем на флейте. Разгадывал он делавшие честь уму сына приемы с гамлетовской легкостью. «На чорта мне кровь, твоя или моя».

В советском социуме лет за семьдесят образовалось несколько семейств, претендующих – настойчиво продвигающих и сдержанно, но однозначно поощряющих покорившихся – на звание «royal family», вроде семейства Кеннеди. Даже самым непопулярным давали прозвища, подтверждающие легитимность

претензий. «Советский принц или поющий глист» – никчемному, тощему, увлекающемуся сыну Горького Максиму, по волжскому своему происхождению числящему себя среди господ не без певческих талантов. «Я почти никогда не играл со своими сверстниками. < > какое-то время меня водили в группу художницы < > где занимались ритмикой и рисованием, водили гулять на скверы у Храма < >. Это не снимало приверженности к ухоженному одиночеству и подчеркивало привязанность к нему».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 244.

Что он хотел сказать современным, не двадцатых годов, женским словом «ухоженный»? Что при лени и утомленности матери он не ходил в коросте – так на то был персонал. Сын Гамлета, немного не то чтобы спекулирующий папиными сложностями, но как-то слишком расширительно истолковавший свои наследственные – но ведь только имущественные! – права.

Мемуары жен и любовниц более ценны и более обоб-щающи, чем мемуары детей. На месте жены или любовницы – или нежного друга – теоретически мог бы оказаться каждый (каждая), и это придает мемуарам характер нечастного случая, возводит их до литературы и послания человечеству. Дети – продукт ограниченно-штучный. Не доступный никому по собственному выбору и способностям и в этой роли не интересный никому, разве что с этнографической точки зрения. «Папочка» – зовет великого человека любовница, – и мы примериваем на себя, стали бы мы так его звать. «Папочка» в исподнем, входящий в детскую и описанный в таком виде только с целью показать нам, как папочке было уютно в этой детской (и ни в какой другой детской, кроме этой) и как никто бы не смог из нас попасть на место лежащего в кроватке веснушчатого дитяти, – интересен только внукам этого великого человека.

Сын пианистки Ленечка унаследовал материнскую музыкальность и способности к игре – при активном сопротивлении матери к «обезьянничанью» единоутробного брата, у которого концентрация музыкальности в крови была в полтора раза выше. Сын художницы Женечок даже не вспомнил о том, что какие-то творческие гены по изобразительной части могли бы проявиться. Писал стишата – согласно установленному отцовству.

Евгений пишет отцу, папочке, инфантильно-назойливые письма, это даже когда он очень старается не докучать ему своими просьбами об устройстве своей судьбы в более подобающем ему по рождению русле. «Папочка, очень бы хотелось узнать от тебя самого, что ты делаешь (он из

присланного журнала уже знает, что поделывает папочка, – ведь вопрос относится к высшей сфере деятельности отца, но ему, Жененьку, как-то не подобает пользоваться общедоступными источниками, из журналов каждый дурак узнает) и близок ли уже Юрий Андреевич (это Живаго, „мой брат двоюродный, Буянов“) к своему насильственному концу, в том же журнале аннонсированному». Письмо длинное. «Мельком я спрашивал, передала ли ему мама „мои плохие стишки“».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 507.

Зачем, почему он считает возможным нагрузить Бориса Пастернака получением – передали ли ему? – чьих бы то ни было, пусть даже его, Жененьки, «плохих стишков»? Зачем они Пастернаку? Читать только потому, что автор в родстве с ним? Откапывать талант? В его возрасте поэтический талант уже непременно бы проявился, но он очень хорошо знает свои права и настаивает на их удовлетворении. Пастернак отвечает длинным письмом.

Евгению тридцать один год. Он дико изнывает от безделья в благословенном, созданном для молодости и трудов краю. Он ненавидит службу, тяготится научной работой, под предлогом которой мечтает службу оставить, совершенно справедливо не верит в свои стихи, не хочет потрудиться над созданием семьи с молодой целеустремленной женой, проживает совместно с матерью, как декабристка приехавшей к Монголии, чтобы облегчить быт подросшего сына, благосклонно принимает встревоженные отцовские ремарки о запоздании в присылке им с мамочкой денег и требует, чтобы отец бросил все свои дела и писал бы ему отчеты.

«Я боялся, что ее [note 14] приезд отнимет остаток времени на собственные занятия и снизит и без того мизерные темпы моей работы».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 506.

Даже в пионерские лагеря родителей не пускают, закаливают характер, над самим Жененьком такие суровые жизненные эксперименты в свое время проводились с большим, конечно, трудом и многими рефлексиями. «Тридцатого я был у Женички в санатории. Там только раз в месяц разрешены свиданья с родителями, из соображений педагогических < > Он все время очень скучал по Жене < > тоска эта достигала таких тревожных форм, что < > знакомая потребовала, чтобы Женя к нему съездила, что та и сделала на следующий день. Но встретившая ее педагогичка упросила ее не показываться мальчику, ввиду

неожиданного перелома, наметившегося у него, и нежелательности нарушать это успокоенье при самом возникновеньи».

Там же. Стр. 580—581.

Как видно, труды педагогичек остались напрасны: когда мальчик подрос и на четвертом десятке был отправлен служить в Забайкалье, маме советоваться не с кем было, и она выехала.

«…ребенку предстоит лечь в больницу. Это тяжелое время для маленьких детей. Вид родителей напоминает ребенку, как сильно он по ним скучает. Он может душераздирающе плакать, когда им придет время уходить или даже на протяжении всего времени их посещения. У родителей создается впечатление, что он страдает все время. На самом деле маленькие дети удивительно быстро приспосабливаются к больничной жизни, несмотря на плохое самочувствие и неприятные лечебные процедуры. Они расстраиваются, только когда видят родителей».

СПОК Б. Младенец и уход за ним. Стр. 384.

«Маме здешний климат очень тяжел, равно и мой скверный характер. Тем не менее она все не может решиться выехать в Москву. Нам вдвоем много спокойнее… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 513.

Ответ Пастернака: «Дорогие мои!Простите, что задерживаю ноябрьские деньги. У меня в этом отношении заминка, которая продолжится еще не меньше недели».

Там же. Стр. 514.

Борис Леонидович, новоиспеченный свекор, видел «в сильном и здоровом характере Тани Руссиян (первой пас-тернаковской невестки) положительный момент моей жизни. Она действительно знала, что ей надо, и настойчиво продвигалась к поставленной цели, не останавливаясь перед препятствиями, а я метался и мучался ее отношениями с мамой и своим положением между ними двумя. Я понимал, что в Кяхте ей нечего делать и нет возможности заниматься ни конструированием самолетов, ни спортом, которым она серьезно увлекалась. Она уже тогда добилась больших успехов в планеризме, и даже гибель ее ближайшей подруги не могла отвратить ее от полетов. Она видела в папочке своего единомышленника и человека дела… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 501.

«Потекли отупело унылые дни. Зима установилась в ноябре. В свободное время офицеры базы ездили на охоту. < > Единственной моей отдушиной было тогда запойное стихо-

писание».

Там же. Стр. 499.

Стихописание получило затребованную оценку не по стихописцу высокого критика: «Элегизм содержания слишком житейски личный, слишком подчинен каким-то действительным счетам, недостаточно широк, не поднят до какой-то общей значительности. < > Я знаю, что мои грехи гораздо хуже и многочисленнее… < > Но я ведь < > как чумы боюсь разговоров о „стихах“ и просьбы дать отзыв о них».

Там же. Стр. 509.

«Родство по крови» Женечок ценит недешево: чуть что – «я слишком хорошо помнил папины страдания и тяжелую безысходность, которые мучили его в года нашего семейного разлада и расставания, чтобы не знать, какими силами далось ему нынешнее гармоническое спокойствие». Спокойствие с душком, как нам дается понять, поскольку сын подмечает за отцом: «не хотел рисковать своим спокойным знанием жизненных основ и заглядывать в те бездны». Ну, это не спокойствие уже, разумеется, а холодное равнодушие. А нам тут же предлагается описание «бездн» Пастернака-млад-шего: «Меня мучил „страшный хомут данного Тане (жене) зарока“, моя недающаяся диссертация. Я писал папе: „Сегодня у меня перед мамой, Таней и всеми моими друзьями и знакомыми предельно ложное положение, из которого я не знаю, как вылезать“. Я готов был доказать смертью искренность своего раскаяния в ложном самолюбии, не позволившем мне вовремя отказаться от этого, и просил папиной помощи в объяснении с мамой. Ей надо было дать понять, что мне невозможно продолжать работу без необходимых исследований, нужных приборов и консультаций с понимающими людьми» (Там же. Стр. 502). Вот она, БЕЗДНА: сказал маме, жене и зачем-то всем друзьям и знакомым, что напишет диссертацию. Не может написать – ну и ладно, но он считает, что положение ПРЕДЕЛЬНО (вот пределы) ложное. Про смерть ради искренности совсем непонятно (это фамильное косноязычие или добросовестно копированное, чтобы папаше легче было читать – как четырехлетние «говорящие» дети переходят с двухлетками на нечленораздельные возгласы, надеясь хоть так выйти на взаимопонимание), а чтобы сказать матери, что в далеком гарнизоне диссертации на технические и экспериментальные темы не пишутся, нужна была помощь для тридцатидвухлетнего мужчины – папы, «Борички». Речь идет, как мы помним, о Борисе Пастернаке. Опять же сказать маме просто все как есть тоже нельзя, даже Боричка не должен действовать так грубо и прямолинейно – ей надо «дать понять». И это еще не все.

«Прости меня, Боричка, – что я тебя в свои дела вмешиваю, прости, что не даю тебе спокойно работать. Но мне очень трудно, и состояние мое, как две капли воды, похоже на твое, пережитое неоднократно и особенно сильно, когда ты ездил в Париж… »

Там же. Стр. 502.

Пастернак писал тетрадки писем Марине Цветаевой – и о своих планах, и о судьбах своих героев. Писал не по ее небрежному требованию: «не подумай, что как-то мне это особенно нужно, но вот именно захотелось от тебя, от самого – то, что уже написано, анонсировано в журналах, о планах твоих, о Юрии нашем Андреиче… о чем еще?»… Большой том его писем к Цветаевой, писанных днями, ночами, – много его времени, проведенного над ними: «я хочу быть с тобой», «эту ночь я буду с тобой» – и прочее. Он пишет все, ему не жалко, что это никогда не повторится в его произведениях, – и вдруг на старости лет (ему жить осталось пять лет) он должен бросить все свои дела и сесть писать некоему весьма великовозрастному мальчику, пересказывать журнальные анонсы – просто потому, что тому «очень хочется» знать от него самого, чем Борис Пастернак занимается и чтобы сам он поделился с ним планами на судьбу своего главного героя. А ведь биография героя и перед Пастернаком не лежит – значит, делиться надо планами, замыслом. С кем и на каком основании? И ведь одернул Пастернак Женeнка совсем недавно: «на чорта мне кровь, твоя или моя, не докучай мне» – и Женeнок решился пожертвовать своими сложными обстоятельствами, не говорить о своих делах, раз папочка такой нервный и одергивает родного сына, будто бы тот не дает ему дела жизни окончить. Конечно, спохватится отец, напишет через неделю: «Боюсь, как бы предыдущее мое письмо не огорчило тебя своим мнимым холодом и кажущейся сухостью».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 504.

Женя ему в строку не ставит, письма публикует смиренно – пусть люди сами жестокосердие отца рассудят, он не в обиде на него. В общем, говорит уж о светских делах, на приличные в письмах темы, о пустяках: что поделываете, как наш герой?.. Об этом известно, конечно, но ведь для вас труда не составит собственноручно уж мне отписать… Мне и развлечение в моих забайкальских рудах.

Одно лето у Евгения Борисовича выдалось очень трудным – он и женился, и на службе маневры какие-то организовали. В общем, приехала мама, и пришлось подключать папочку.

«Боричка! Прости, что послала тебе телеграмму! Может, у тебя с деньгами плохо, может, ты болен. Это очень плохо, что я все лето не писала. Но было очень трудно. Женя в течение двух месяцев спал по 3—4 часа в сутки, а я, конечно, сочувствовала и старалась как-то ему облегчить».

Там же. Стр. 492.

Офицеры всегда жили на родительскую помощь, без родительских гарантий в иной полк не брали, – вести почетную гвардейскую, например, службу было накладно, – но этим занимались люди, делавшие на этом карьеру. Карьерой у Евгения Борисовича и не пахло.

Достоверность свидетельств Евгения Борисовича сомнений не вызывает. Если он пишет о каком-то факте, приводит какое-то высказывание Бориса Пастернака – скорее всего так оно и было на самом деле. Другое дело, зная готовность Пастернака щедро одарить собеседника ожидаемыми приятностями, хотелось бы видеть некоторую избирательность памяти и мемуариста. Вот у Евгения Борисовича рождается сын. «Марина note 15 потом рассказывала, как папочка говорил ей, что рождение Петеньки для него большая радость и этот ребенок – награда нам за все те горести, которые он, папа, причинил нашей семье».

Там же. Стр. 531.

А за что у других людей родятся дети? А ведь Евгений Борисович – публикатор писем Пастернака. Он их владелец. То есть даже если б НАМ он не показал ни письмишка, сейчас мы знаем, что он все-таки САМ читал – то, что его отец считал свой брак с его матерью «случайным и необязательным». За «горести», принесенные СЛУЧАЙНОЙ И НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЙ семье – «нашей семье». (Автор до жалости неточен в словах: не понять, кто здесь наши. Если они с мамочкой, то не жалко ли им младенца, которого неместные тащат по вагону их памяти? если семьей они считают себя и Бориса Леонидовича, то без Зинаиды Николаевны с Ленечкой? В общем, горе Пастернак принес не СВОЕЙ семье.) Не слишком ли велика расплата – целый человек? А случайная и необязательная женщина – ОНА не хочет попросить прощения у Пастернака за то, что заняла столько места в его жизни и с готовностью кивала на его изъявления чувства вины? Какой ЕМУ за нее подарок дала судьба? Евгений Борисович с достоинством принимает компенсации за несчастья своей семьи – такие ли уж неисчислимые, до множественного ли числа здесь? Евгений Борисович сам разведенный муж – до седьмого ли колена ему откупаться от первой жены?

«Трагедии пережиты взрослыми и на детей не перенесены» – так распорядились Нейгаузы.

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 559.

Вот выражение: «из какого сора растут стихи». «Не ведая стыда» – может, возводит их в поэтический ранг, потому что сор – он и есть сор, это не мелочи и не мелкие неприятности жизни – или уж все есть сор.

Воспоминания мусорного человека могут быть воспоминанием о мусоре. Воспоминания Е.Б. Пастернака (или как писать: воспоминания Е.Б. и Е.В. Пастернак?) – они, несомненно, о чистоте жизни БЛ. Пастернака; идя по жизни на глазах поодаль стоящего внимательного сына, он всю жизнь воспринимает радостно и объемно, не вглядываясь подозрительно и брезгливо в то, что под ногами… Не забытые сыном эпизоды подтверждения статусности Евгении Владимировны – она это сделала трудом жизни, и любящий сын благородно (все было бы полнее, если б он отдавал себе и нам, раз он пишет для нас, отчет) – выглядят как старательно обметенные кучки мусора на чистом полу.

Пастернаку оставленная его любовью Зинаида Николаевна кажется Красной Шапочкой. Так он говорит – и все ахают: если кто меньше всего похож на Красную Шапочку, то это Зинаида Николаевна. Скорее она напоминает смесь бабушки и Серого Волка. Бабушка, почему у тебя такие страшные зубы? Оставим какие-то представления о своей жене иметь Пастернаку – и по переделкинскому лесу потерянная сиротка бродила ОДНА, а он только возвращался каждый день посмотреть, как она там. Гладил по голове, давал книжки. Что читать Зинаиде Николаевне в своем доме в 1955 году?

«Если полный Андерсен, которого я однажды у вас видел, был вашей собственностью, а не из библиотеки, дайте его, пожалуйста, Зинаиде Николаевне на прочтение». Что значит ваш – не ваш? «Четырехтомное собрание Андерсена 1895 года, подаренное мне в свое время папочкой, оставалось у нас среди немногих книг, уцелевших за время войны. Но после чтения Зинаиды Николаевны к нам вернулся только последний том со „Сказкой моей жизни“».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 518—519.

О чем этот пассаж? О том, что Зинаида Николаевна была забывчива? Забудь и сам – она уже в могиле. Воровата? Или Зинаида Николаевна в отличие от Пастернака помнила провенанс четырехтомника и желала ущипнуть пасынка, с запозданием лишив его отцова подарка? Так об этом можно прямо написать,

эти воспоминания могут включить все разборы характеров, все оценки личности. Если же этот эпизод предполагает, что читатели сами ужаснутся коварству и мелочности Зинаиды Николаевны, – напрасно, мелочной здесь выглядит не она.

Интересно, что в 1955 году Ленечке, братцу, семнадцати лет, полного Андерсена требуют для Зинаиды Николаевны (ей про Красную Шапочку скорее всего ничего не говорится, да и читать дают не Шарля Перро), Пастернак воспитанием младшего сына не занимается, но вот все-таки в семье, где так близко муж двух жен к себе держит, – почему же десять лет назад ни разу Андерсен не перекочевал для чтения новому ребенку? У Женечки – и писательские утренники, и бабушкин рояль, ампирная мебель, библиотека из пастернаковского дома. А Ленечке даже на время Андерсена не дали (папа не просил, только видел в их изящном доме). Как в воду глядели – вот дали Зинаиде Николаевне, она и зачитала.

Для чего пишутся биографии? Неяркая звездочка Женя Лурье догорала в стороне от жизни Бориса Пастернака, она не удостоилась и оскорблений, какие через десятилетия Иосиф Бродский бросил вечной М.Б. – так, что даже издатели отказывались печатать. Но он выдал ей такие авансы, что мог бы на крышке гроба танцевать. А «случайная и необязательная» Женя всю жизнь, после «разрыва с тобой, прощанья с твоей властью, с твоими несчастными предпи-саньями и претензиями» (Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка… Стр. 190), получала от бывшего мужа милые записочки. Их переписка и ее жизнеописание, как роман воспитания, имеют значение только отрицательного примера.

Сын служит.

Конец мира. Место, где кончаются бурятские сопки и начинается монгольская степь. Кяхту, через которую шел в Россию весь чай.

«По совету Эренбурга у мамы родилась мысль написать письмо тогдашнему премьер-министру Маленкову с просьбой о содействии моему увольнению в запас. Она обратилась за помощью к папе. Он очень не хотел этого делать. Одним из самых твердых Бориных правил был отказ от каких бы то ни было льгот и привилегий, хотя бы и положенных по праву».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 498.

А есть и права на право Пастернака.

Брата Софьи Андреевны тоже после военного училища услали служить на границу империи – только на западную, в Польшу. Он

тоже жалуется в письмах сестре и ее мужу на скуку и отсутствие достойного его общества. Свояк ему отвечает. «<> Ты описываешь свою жизнь в жидовском местечке, и поверишь ли, мне завидно. Ох, как это хорошо в твоих годах посидеть одному с собой с глазу на глаз и именно в артиллерийском кружку офицеров. Не много, как в полку, и дряни нет, и не один, и с людьми, которых уже так насквозь изучишь и с которыми сблизишься хорошо. А это-то и приятно, и полезно. Я не могу представить себе эту жизнь без шахмат, книг и охоты. Ежели бы еще война при этом, тогда бы совсем хорошо… »

Лев Толстой, письмо А.А. Берсу от 28 октября 1864 года.

Что-то за сто лет, возможно, и не изменилось.

08 октября 1941. «Можешь жениться, если хочешь, но РАБОТАЙ, РАБОТАЙ».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 428.

Женeнку едва исполнилось 18 лет. Советский быт, когда деньги расходуются от копейки до копейки в каждое их получение. Нет никаких имущественных перспектив – нет и будущего. Брак строится так же от того момента, когда он заключился, до того, как он прекратился. Как и советский человек, брак тоже живет одним днем. «Разрешать» восемнадцатилетнему юноше, живущему на деньги матери, которая, в свою очередь, деньги получает от давно бывшего мужа, – это только у Пастернака такое объемное, глубокое, долговременное (нескончаемое), совершенно несоветское ощущение брака, – это разрешение на советский птичий брак. В пастернаковской семье раскрылся бы еще один клювик.

«…было отделение детей генералов и их знакомых, куда я и попал».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 436.

Женeнок – сын от самой нелюбимой жены. При жизни читает в чужих мемуарах откровения отца: «Мне пришло время жениться, я и женился», «Я думал, ну что тут такого страшного, женюсь, там видно будет», «Борис Леонидович говорил, <> что не успели они сблизиться, как родители их поженили» (МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 311) – и описывает в биографии отца тягостный и долгий роман своих родителей. Роман без страсти – это очень тонко. Пастернак очень тонок и подробен в своих письмах к Жене – такое тщание и

психологизм обычно посвящают своим литературным героям, там трудность задачи подзадоривает, в жизни, перевернув страничку, заглядываешь – что за ней? Письма к Зинаиде Николаевне тоже красивы, но, слава Богу, там было чем и жить.

Евгений Борисович Пастернак, Женёнок, сын нелюбимой жены, 1923 года рождения, жив, дай Бог ему здоровья. И прекрасно выглядит. Вспомнишь Лидию Корнеевну Чуковскую, подметившую о его породе: запрограммированы на 100 лет.

Рассуждать о том, как теряла рассудок от неразделенной (отвергнутой, замененной) любви его мать, – было бы абсолютно некорректно, если бы эту этическую планку не установил сам публикатор страшных писем. Кто бы назвал импозантного господина Женёнком, если б он сам не подождал столько, сколько ему одному отпущено права: пока живы те, чью прайвеси он хотел бы защитить. Свою, например. Сейчас, когда он сам ввел свою личную жизнь (и супружескую – своих родителей) в литературный обиход, с ним можно так же мало считаться, как с Наташей Ростовой. Как за героиню – за нее полно заступников, и женихи, и братья, и старик отец, а уж как литературный персонаж – да распекайте ее как хотите, даже Льву Толстому, наверное, это было бы все равно. Не так с «княжной» – а прототип всего лишь докторская дочка и мать незаконнорожденная – Кити Щербацкой, здесь автор нервно и претенциозно обвешивает ее несуществующими добродетелями. И княжна, и как-то необыкновенно горда… А Кити на самом деле ловила более блестящего жениха, а потом, правда, довольно искренне удовлетворилась тем, кто достался. Поражение не забыла, но по флегматичности отступилась, мать же ее смириться не могла. Толстой (бедняга, гений-художник) не мог этого не видеть и так и описал прямым текстом. Читатели почему-то закрывают глаза (тоже, может, чувствуя излишнюю личную щепетильность и задиристость супруга в его штиле), и Кити Щербацкая у нас числится по разряду пленительно-чистых героинь… Она даже на лису-то из виноградника не похожа: та только виноград за недозрелость обругала, а эта – злобно и бессмысленно (мы могли полистать страницы и пожать плечами: о чем это она?) оскорбляла сестру: «Я никогда не сделаю того, что ты. Ты можешь простить, а я – нет». Ее разве кто-то просил?

Евгений Борисович темпераментом Толстого не обладает.

Женёнок, вполне уже Евгений, не общался дружески с Ольгой Ивинской. Понятно, что враги наших врагов… Но семья через семью от нашей – это уже очень далеко. Он мстит за мать, но

слезами Зины. Не он виновник этих слез, и лучше ему на обаяние Ивинской не клевать (обаяние ее тоже было не ему).

От материнского горя мальчишеские судьбы кривеют. Самый распространенный способ помочь – уйти деликатно в сторонку, заняться своими подростковыми проблемами, не стать с матерью заодно. Отвернуться (от Нее и от Него). Мать можно утешить, только предоставив ей личную, от себя, любовь (поддержку, помощь, возможности). Ей не позавидуешь. Но несколько хороших психотерапевтических сеансов могли бы сделать ее непроницаемой, а то и накачали бы бездумной – хорошо! – гордостью: была его женой, вот дети, а что у вас?

Пастернак пишет в личном, влюбленном письме, как после отъезда еще не невесты Жени в Ленинград нашел за диваном ее заколку: «опять „ах, попалась“» – понятно, кто и при каких обстоятельствах попался. Евгений же Борисович проговаривает словами, называя все своими именами: «Так говорила Евгения Владимировна, когда он note 16 настигал и обнимал ее». Происходило все до свадьбы, в раскрытой тишине густонаселенной (давними знакомыми, не просто случайными соседями) коммунальной квартиры. Дело детей, вспоминающих родителей, – представлять их в по возможности бесполых родительских ипостасях. Самая эротически напряженная фаза родительского сожительства – ДО появления ребенка – не может, что логично, этого ребенка выставлять достоверным свидетелем (его уникальная и бесспорная роль – в освещении для общественности своих родителей в роли родителей, или даже просто своих сожителей). Остальное – фантазии (ведь не мама же ему об этом рассказывала?). Объект прилюдной откровенности небесспорный.

Хотя неполные семьи по определению негармоничны, и в них возможен какой угодно, самый тяжелый перекос. Вторая половина неполной семьи – ребенок, мальчик или девочка, сам состоит из двух половинок: материнской и отцовской. И вот эта отсутствующая в реальности, но присутствующая в ребенке отцовская часть может подвигать мать на какие угодно отклонения. Самое простое – вымещать на ребенке свою любовь и/или ненависть к оставившему ее мужу. Самое плохое – персонифицировать в ребенке оставившего ему часть своих генов отца. Тут можно дойти и до того, чтобы, опустив «а помнишь?», так и начать вспоминать, как Пастернак настигал и обнимал ее, и она тихо проговаривала, улыбаясь: «Ах, попалась». Какая действительно обаятельная была женщина, очень стильная: лицо

ее с круглой улыбкой, нежный голос, светлая живопись, теперь мы, к сожалению (но – невольно! не напрашиваясь!), знаем, что стиль ей не изменял и в интимные моменты. «Ах, попалась!»

Хорошо, что она (надеюсь, не сын), ограничилась приглашением читателей в участники их эротических игр до этого момента, избавив нас от смелых дальнейших шагов. Книга о Пастернаке – это все-таки не телевизионный канал, который можно выключить, а можно и вовсе не включать. Пастернака имеющие среднее образование обязаны держать включенным. Он насаждается пусть не так массово, как картошка, но зато обязательно, как руккола.

Не зря же дети так сильно переживают свою непохожесть. Дети – и самые маленькие, и подросшие – до тех пор, пока их еще можно называть детьми, так несчастны, если они в чем-то «не как все».

Старший сын был преданным и долгим поклонником Пастернака. Вроде поначалу и требовательным, и назойливым – стоял с поленом у двери, грозился участковым. Не получив ничего: «не пиши. Мне некогда. Ни во что не буду вмешиваться. У меня совсем другие заботы. Ничего я в этом не понимаю» (Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка… Стр. 701), – смирился, стал второстепенным, восторженным и преданным поклонником. Такие бывают у всех: Лидия Корнеевна Чуковская у Ахматовой, работоспособная – три тома каждодневных записок о великой написала (не догадалась быть льстивой – за это получила бы повышение в поклоннической иерархии), умная, порядочная. Ахматова в грош ее не ставила.

Разбавленная копия – никто не хочет быть похожим. Скажите кому-то, женщине (с женщинами легче приводить примеры, мужчина многого может не заметить и отреагировать не так наглядно), что она похожа на такую-то! Схожесть чаще всего карикатура, чаще всего основывается на утрировании недостатков. Если нос красив, то как быть его красивее? Остаются лица, похожие длиннотой носа, редкостью зубов, грубыми вихрами. Мало кого обрадует сходство, а уж «разбавленная копия» – это и есть карикатура.

Лев Николаевич Гумилев не хотел быть памятником матери, он ее любил, она его – нет, славы он хотел своей собственной (вернее, не славы, а просто судьбы, но для нее это были понятия разнозначные). К старости он стал на нее похож, мог бы стесняться, но из любви – не стеснялся. Был нежен даже в своих самых разъяренных материнскими оскорблениями письмах:

«Пусть лучше судьба будет плохой, а мама хорошей», когда она уже больше ничего не могла ему сделать хорошего, – схожесть была ее лаской (мама была красивой).

Другое дело, когда у потомков нет ничего, кроме сходства. Ужасны сыновья, похожие как две капли воды – внешне, резкими характерными чертами, рисунком темперамента (без его единственно значимого, творческого наполнения энергией), без таланта, разумеется, да еще, на беду, от нелюбимых мужьями матерей.

Сходство вызывает раздражение, оно источник настороженности и враждебности самых древних культов к двойникам. Кто не боится и не страшится двойников? Редкие культы не боялись близнецов, первое дело было – их убить. Славянкам не давали двойных орехов, рубили головы двойным козлятам, по разным и многочисленным племенам убивали одного из рожденных близнецов, а то и сразу на всякий случай обоих…

Сейчас в мире (западном, материально благополучном) рождается много близнецов – намного больше, чем раньше. Причина тому в гормональных контрацептивах. Женщины предохраняются ановуляторными таблетками, а когда решают забеременеть, должны предпринимать альтернативные меры в первые месяц-два. Как правило, мало кто знает, для чего этот период нужен, большинство – еще не родилось поколение, не знавшее рабства боязни нежелательной беременности, еще фертильны женщины, не верящие и как жупела страшащиеся «гормонов», – считает, что воздержание нужно, чтобы «гормоны» выветрились, а на самом деле это всего лишь для того, чтобы «на отмену» освобожденные яичники не выбросили больше обычного яйцеклеток: вместо полагающейся в норме одной-две – три, а то и четыре. Из этих яйцеклеток оплодотворяются не все, которые оплодотворились, – не все приживаются в матке. Многоплодная беременность развивается не очень легко и спокойно. Совсем не редкость предмет шуток: кое-кто из эмбрионов «рассасывается» – погибает и действительно бесследно рассасывается. Ну а иногда все же многоплодная беременность завершает свой победоносный ход – рождений двоен и пр. действительно в мире сейчас гораздо больше. Неустанно поставляют близнецов и все более распространяющиеся вспомогательные репродуктивные технологии.

Мы близнецов не боимся. Древние – и дикие – боятся. На свете все должно быть штучно, Бог не лепит на машинке. Тот, Кто слепил двойника, был не творец, хватило только на копирование.

Кто это был?

Как бы то ни было, видеть двойника сомнительно – об этом думаешь. Владельцам наследственных физиономий (не обязательно известных личностей, даже в рядовой семье, в большой семье, где члены ее видятся не часто – одинаковые лица, расползшиеся по поколениям, с трудом собираемые, когда трудно поверить, например, что это не дядя, а племянник и пр.) это должно быть неприятно – хоть они в отличие от всем принадлежащим выдающимся персоналиям и не обязаны ни перед кем отчитываться.

Быть знаменитым некрасиво, быть сыном знаменитого – конечно, ничего некрасивого, но что это и не служит украшением – бесспорно.

«Прости меня, Боричка, – что я тебя в свои дела вмешиваю, прости, что не даю тебе спокойно работать… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 502.

Наверное, сто раз пожалел Пастернак, что при каких-то обстоятельствах Женечке, Жененку, стали известны трудности некоторых периодов его жизни. Жизни Борички, и особенно трудности, когда он ездил в Париж. Париж упомянут с расчетом, можно бы было сказать – с подлым расчетом, но подлым он не был (это мы знаем не из этого письма) – это-то Пастернака и взбесило. Взбесило бы каждого. Сын знает ваши какие-то самые интимные тайны и при возникновении бытовых трудностей – «в разладе со службой, семьей, работой» – ссылается на них.

Свои трудности – неповторимы. И если кто-то называет свои «похожими как две капли воды» на ваши со знанием дела, зная, что вы не сможете отвертеться, что это известно из первого источника, – можно проклясть день, когда вы откровенничали с сыном. Деловито нажимая – «и особенно сильно, когда ты ездил в Париж», – если б это было из Достоевского, можно было бы ждать, что он сейчас попросит денег. Женечек не просит – он не интересант, советские времена были малоденежными, все было натуральным – Женечек бы хотел перевода в Москву и так далее. Пастернак, который от друзей и жен откупался просто деньгами – и только так мог сохранить их и свое достоинство, – должен был впрячься в поэтапное переустройство сыновьей жизни в более благополучный план – но по его подсчетам выходило, что на свою жизнь времени не останется.

Да и не только во времени было дело: неизвестно, захотел бы Пастернак выполнять отцовский долг под дулом пистолета.

Тонкий намек «и особенно сильно, когда ты ездил в Париж» – это ведь вполне похоже на выстрел, не зря же вставлено в конце сравнения. «… а то, что ты пережил особенно сильно во время поездки в Париж – это все как две капли похоже на мое состояние. Я это переживаю ежедневно, дважды в день, может быть».

Письмо датировано 1954 годом, в Париж Пастернак ездил в 1935-м. С мамочкой тогда уже не жил, с Женечком виделся мало, рассказывать тринадцатилетнему ничего не мог, холодная Зинаида Николаевна уж никогда бы ничего на такую тему пробалтываться пасынку не стала, остается одно – разоткровенничался однажды сам Борис Леонидович. За это разбавленная копия и фамильярничает с ним: «состояние мое как две капли похоже на твое».

«На все, что ты написал мне, скажу тебе одно. Ты страшно все, может быть, под влиянием мамы, преувеличиваешь… »

БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 701.

А может, мама его и подзуживала, может, и факт Парижа известен из откровенности Пастернака с Евгенией Владимировной – тогда еще хуже намеки Евгения на слабости отца: он как бы деланно бодр, озвучивая при больном симптомы его недуга. А вот это мы сейчас хлороформчиком! Евгении Владимировне педалировать фамильное сходство психических отправлений Пастернаков на руку – просто такое врожденное свойство, влияния Зинаиды Николаевны на парижскую историю нет никакого. При чем тут вообще Зинаида Николаевна?

Евгений Борисович приоткрывает над отцом край покрывала, как сын Ноя. Тот хоть, может, с отцом тоже напился пьян – этот пишет обдуманное долгое письмо, не без литературности.

Париж, этот «ужас Арзамасский» Пастернака, был спровоцирован не только кровавыми мальчиками гостиничных номеров, хотя Борис Пастернак сам называет их травмой и несчастьем своей жизни. В тридцатом он ликовал с Зиной – после убийства Силлова и самоубийства Маяковского, жизнь далась ему как с чистого листа. Любовь его возродила, «все еще любовь» – исключила из жизни. Марина Цветаева в Париже спрашивает его: «Но какая она, твоя жена?», он отвечал: «Ах, она красавица. Просто красавица». Мы видим на прошлогодней фотокарточке – она просто чудовище. Слова из его гимна «Ее пугающему обаянию ничего не делается» значат: что-то его пугало. А уж было ли это обаяние или что-то другое – не важно. Тем больше, значит, его любовь – как он объяснит и опишет ее нам точнее? Превращение

Зинаиды Николаевны за пять лет из еще почти стройной – позволяющей угадывать и почти видеть будто бы только-только ушедшую стройность – в то, во что она превратилась, приписывалось темным силам. Ведь не сама же любимая отнимала у него свою красоту – это мог сделать только тот ужасный соперник, Милитинский. Знать его фамилию, его возраст (давно лежащего в могиле), степень его родства с Зиной, держать в руках вещи, которые трогал он (любовался, вспоминая то, что никогда не достанется Пастернаку), фотографию пятнадцатилетней Зины – вот что пугало его в пожираемой тучностью красоте Зины. Он упрекал (обезумев, конечно) оголодавшую парижанку Марину Цветаеву (вскорости уклоняющийся возлюбленный назовет ее «худенькой старушкой» – шурин Пастернака, адресат безадресной, – это была просто сила вскипевшей в ней самой любви – влюбленности Марины Цветаевой, давая указания прислуге «худенькую старушку» гнать): «У тебя нет прекрасной груди Зинаиды Николаевны». Ту грудь с трудом можно обнаружить среди боков, плеч и климактерически отвисших предплечий. Пастернаку полагались привилегированные писательские пайки – даже разделенных между профессиональной художницей, фактически профессиональной женой Евгенией Пастернак и новой семьей хватало на наращивание мышечной массы и подкожной жировой прослойки. Кроме помешательства на своей любви, Пастернак родством и дружбой жалел Цветаеву – он слишком сомневался, что она сможет верно и результативно поставить себя в ряд соискателей этого трудного (Михаил Булгаков даже прославивший его впоследствии роман на эту тему написал) пайка. Об этом шли разговоры их с Цветаевой в Париже: возвращаться ей или нет, – вернее, конечно, ехать ли ей в эту страну.

Женя похвалился знакомым, что напишет кандидатскую диссертацию – вот вам и ситуация, похожая как две капли воды на страсти Пастернака. В кяхтинской степи он увидел тень отца, Борички, на бесконечном горизонте.

Офелия-мать

В 1943 году и из Чистополя (где был Пастернак), и из Ташкента, где в основном спасались писатели (Женя), все засобирались назад в Москву. Провинции душили. «Всю зиму я работал как каторжный. < > Жил трудно и отвратительно. Сейчас часть колонии вывозят из Чистополя на пароходе прямого сообщенья до самой Москвы. На нем поеду я со Стасиком, и может быть, Зина с Ленечкой, для вывоза которых пока нет денег. Это решится завтра-послезавтра в результате телеграфного запроса о ссуде < >. Унизительно вечно жить благодеяньями начальства, когда я здоров, полон сил и желания работать < > Зина тут доработалась до чахотки. < > Неописуемым униженьем был мой и ее разговор по поводу возможности или желательности ее возвращенья в Москву < > Дожил я, можно сказать, и доработался, что о возможности жизни для себя и сына моя жена в моем присутствии должна говорить с посторонним…»

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 461—462. «Жена и сын» – это его гамлетовский удар Офелии: «Вам пришлось бы постонать, прежде чем притупится мое острие».

В. Шекспир. Гамлет.

На него ответил другой сын другой жены, Женёнок. По счастью для себя, он сделал иной акцент – на том, где чувствовал себя сильнее папочки. «Со свойственным мне фанфаронством я пытался утешить папочку в его огорчениях и невзгодах („фанфаронство“ составитель употребляет для себя тогдашнего, а издевательские „огорчения и невзгоды“ – сейчас, когда к Пастернаку можно быть более снисходительным), которые, как мне казалось, должны были развеяться прахом по приезде в Москву. „Мне кажется, – писал я ему, – что под влиянием ожидаемого переезда твое положение рисовалось тебе в красках („фанфаронство“ – слишком снисходительное слово, чтобы назвать им эту попытку нежданной и непрошеной психотерапии), к тебе не относящихся. (Боролся ли он с таким пародийно-точным копированием стиля без его смысла? Или ради забавы оттачивал „фамильную“ литературную манеру?) Мы с мамой с самого начала войны придерживаемся во всех вопросах материальной жизни стихотворения Тютчева, которое привожу: Не рассуждай, не хлопочи!..“

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 464—465.

Стихотворение цитирует до конца. Не пытается, конечно,

утешить, а поучает: они с мамочкой живут шире и независимее.

Хлопотать, впрочем, было кому поручить.

Жене большой сейчас не до Тютчева. «Я думаю, что лишнее тебе писать, что в Ташкенте оставаться дальше не могу. Что даже затягивать мое пребывание здесь нельзя. < > Может быть, тебе будет проще прислать мне пропуск через Союз сов. писателей, потому что все семьи уже уехали в Москву, и не только все жены и дети, но вообще все свойственники и родственники, работницы, двоюродные сестры, жены, матери детей и т.д.».

Там же. Стр. 464.

«Матери детей» – это, конечно, седьмая вода на киселе писателям. Особенно по сравнению со статусом Жени Пастернак.

Не может быть, чтобы она писала это просто так – только о переезде, только о пропусках.

Пастернак по максимуму выжил ситуацию с Женей. Пастернак – состоявшийся Дмитрий Нехлюдов (у Толстого все, кто ошибается, ищут и исправляются, – Нехлюдовы, этот – из «Воскресения», обидчик Катюши Масловой). Женей он не пользовался, невинностью не лакомился, сто рублей в конверте на столик не клал, жениться не собирался – но и не увильнул. За грех посчитал – но перед собой, а уж по широте воззрений – и перед ней. Пострадала, мол, и она, что нелюбящий взял, – она-то сама себя «счастливой девочкой» считала: так в простоте и писала ему, что счастлива попасть в более высокий круг. Она считала это СЕБЕ за преимущество: ЕЙ удалось удачно устроить брак, ЕМУ – нет. Ведь можно удивиться ее недальновидности, когда она признается ему, что муж он для нее более чем выгодный, – неосмотрительно так раскрываться, но Женей, оказывается, Пастернак был изучен лучше – ее победа ей и засчитыва-ется. А когда Пастернак решил (решилось за него, рождение – второе или какое еще – не наших рук дело и не ума) исправить свою жизнь, Женя предъявила счета.

По исполнительному листу Пастернак, следовательно, платил исправно. Но Жене, конечно, мало. Любой женщине мало. Вон в Америке – попробуй укрой центик, полагающийся к выплате алиментами! Боятся, не укрывают. И что – меньше слез?

Она вводит себя в транс, раскачивается, выводит буква за буквой: «свойственники и родственники, работницы, двоюродные сестры, жены, матери детей и т.д.». Неужели это она пишет? Неужели ей, Жене Пастернак, ставить свою подпись под одним из этих жалких, унизительных определений? «Уехали даже МАТЕРИ ДЕТЕЙ»! Она, Женя, которой Пастернак шубы на зиму нафталином перекладывал и суп варил, – она теперь ему не

повелительница. «Мать детей». Слившийся в сладкую амальгаму титул «жена Пастернака» превращается в строчку большого списка: «матери».

И он, и она чувствуют, что, бросив ей это оскорбление, – назвав «матерью детей», – он все-таки просто ею ее не оставит. Она навсегда останется в жизни другим: Женей. Пастернак навечно останется при ней чем-то чужим – завоеванным трофеем, перемещенной ценностью, фризами Парфенона, – но законным. Лучше убить врага, чем в своем музее выставить его вазу. Врагов не жалко: побежденные в последних мировых войнах рассказывают, как веками удобрялась почва их великого искусства непрерывностью развития их же культуры и как чужды любой другой земле их сокровища, а звал-то их кто? Лев Толстой вон как рассердился и сомневаться даже не стал, вывел у себя на страницах. «А и то сказать, кто же их к нам звал? Поделом им, м… и в г…», – вдруг сказал <Кутузов>, подняв голову. И, взмахнув нагайкой, он галопом, в первый раз во всю кампанию, поехал прочь от радостно хохотавших и ревевших ура, расстроивших ряды солдат». Отдавать никто не должен, но и брать, тем более хвалиться потом – нехорошо.

Женя навязывалась Пастернаку – утюг на живот не ставила, но брату не препятствовала настаивать. Решение (о капитуляции) – Пастернака. Фамилия – ее законный трофей. Взмахнув нагайкой и захохотав, Женя мчится перед строем не так удачно повоевавших писательских жен и «матерей детей».

Пастернаку на четверых (своя семья и пасынок), дети оба малолетние – полторы тысячи, Жене большой одной – сын-курсант на всем готовом – тысячу. Зинаида идет на черный труд при кухне, Женя рисует киноартисток. «Улыбаясь, сетовала, что знаменитые советские дамы, Тамара Макарова и Людмила Толстая, так и не купили написанные ею свои портреты».

ТАРКОВСКАЯМ.А. Осколки зеркала. Стр. 15.

«Я был вчера у Макаровой. Очень милые, благородные работы, очень сильного сходства с ней я на портрете не установил. <> обычный у тебя отпечаток робости и неопределенности» (Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка… Стр. 450—451). «23.12.42 На твое имя пошла рукопись <> и 1000 р. В конце января, надеюсь, тебе переведут две, а может быть, и три тысячи, я распорядился» (Там же. Стр. 457). «Здесь, если оценить Зинин труд, прокармливающий ее и Леничку, и прибавить мои взносы за себя и за Стасика, мы при жизни впроголодь проживаем в месяц до полутора тысяч» (Там же. Стр. 440).

Женя не хотела быть вровень с Пастернаком, она хотела быть отдельной личностью. Стала – редко встречающимся придатком.

Созданная для ответной любви, не создавшая любви сама.

Женя – как птичка из сложенного листа бумаги, искусственная, неживая, симметричная жизнь. Начало своей взрослой женской жизни прожила с Пастернаком, на пустом месте строя собственную ходульную, призрачную самостоятельную судьбу и умудрившись фоном для этой тщетной борьбы избрать ненависть к Пастернаку. «…твоя способность ненависти ко мне…» (Там же. Стр. 191).

Ненависть была живой и плотной, невыдуманной, собственно, только она и жила, Пастернак пытался стряхивать ее несколько раз – не удалось. Тяжесть была такая, что, казалось, всей-то Жени уж точно будет не скинуть никогда, – поразительно, с какой силой распрямилась пружина в Пастернаке. И тем поразительнее новая половина жизни Жени: опять же, по всем законам, ненавидеть бывшего мужа ей был бы самый очевидный удел – она стала любить его.

Е.Б. методично перечисляет денежные выплаты его семье: ему, бывшей жене Жене, Аленушке на день рождения, внуку и пр. Собственно, для публикации любой другой семейной переписки такие сведения были бы излишними, это вроде те самые бытовые подробности, повторяющиеся десятилетиями, которые со спокойной душой можно упустить. Но Е.Б. не устает приводить письма из года в год. Боря: «Извини также, что тебе так задержали деньги» (Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка… Стр. 547). Евгения Владимировна: «Я остаюсь здесь note 17 еще на месяц. Можешь ли ты выслать мне деньги за июль? Живется мне здесь хорошо» (Там же. Стр. 548).

(За «июль» Борис Пастернак обязывается в 1959 году.)

Что обозначает неслучайное перечисление интимнейших (от показа тумбочки откажутся еще определенней, чем от всей спальни) обстоятельств? Все то же, Надежда-Мандельштамовское: «Сколько он на вас потратил?». Грубо? Но для чего-то нам подсунули расходную семейную тетрадь.

«Зинаида Николаевна радостно сообщила нам, что Боря получил известие из Инъюрколлегии о том, что на его имя пришли деньги из Норвегии и Швейцарии. Этих денег так много, что теперь им будет обеспечена безбедная старость».

Радоваться стоило бы не только Зинаиде Николаевне, но и Евгении Владимировне – ее безбедность тоже зависела от Бориного благосостояния и благо-душия (слово даю не в

современной скороговорке, в смысле сытого доброжелательства, а – душевного благородства, совестливости и опасливости).

Здесь тяжко и тяжело Зинаиде Николаевне – если она думала об этом, если не простилась со спокойствием раз и навсегда, еще сходясь с Борисом и привозя ему своих детей, – что деньги Борис давал не Женеку и Жене: как можно ей не дать, как не поддержать бывшую жену, если есть возможность, а у нее (по лености, по абсурдности профессиональных неосуществимых амбиций и по оплаченной Пастернаком возможности просуществовать без кабалы замужества пониже рангом, чем первое) – нет. Деньги Борис давал СЕМЬЕ. Под конец жизни, когда немолод был уже и старший сын, завел ребенка (первого) и без лицемерных отнекиваний – мол, ни к чему старое вспоминать, принял отцовы биения в грудь: ребенок послан как награда за страдания, которые он, Пастернак, причинил их семье. Логика покаяния казалась безупречной. СЕМЬЯ была названа, семье платились деньги.

О Жене.

«…если бы не любовь Пастернака к этой женщине, если бы не безупречное душевное благородство ее писем и не идеальный сын, которого она вырастила… »

БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 184.

Начнем сначала. Женщины этой Пастернак не любил. Женился без любви, очень себя за это корил и ждал кар. Некоторых – веснушчатость сына – считал, что дождался.

Второе. Письма Жени, может, иногда и ровны, обтекаемы, затаенны по части уколов, но когда ей хоть что-то свое надо отбить, она не церемонится: у нее и «гнусность», и «спущенные штаны», и сам Быков находит и удивляется: «эгоизм вообще мелькает с частотой частокола» (Там же. Стр. 248).

«Эгоизм» – для самоотверженного и отстаивающего свои интересы только в силу сознания ответственности перед собой и перед Тем, кто в него – эгоиста – вдохнул дар Пастернака. Ее письма с той полнотой, как пастернаковские в его «полном» собрании сочинений, не приведены, но есть их отголоски в письмах еще настоящего или уже бывшего мужа: «< > я терпеть не могу этой фурии и не от нее ждал письма» (Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка… Стр. 177). «Написано оно неприятным, чужим, ОПАСНЫМ человеком. Не надо мне его. < > ДЛЯ МЕНЯ письмо твое – развод» (Там же. Стр. 174). «1926 год. Мне было очень трудно матерьяльно, как раз в то время, когда ты с такой обидой и горячностью сомневалась в

моих заботах о вас» (Там же. Стр. 407). (1938 год, Женя в свадебном путешествии в Крыму, шлет благородные письма.)

Женя любила свой разбившийся брак и любила Пастернака как пару себе.

«Сам он < > говорит о ее образе „мстительницы, карательницы суровой, неумолимой госпожи“ – веет Захер-Ма-зохом».

БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 184.

«Должна страдать любящая женщина, которую поработили. Но должна страдать и нелюбящая, которую сделали госпожой».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 155.

Нелюбящая страдает от того, что определить бы сам Киркегор не додумался: бесится с жиру, от попустительства. Борис Пастернак грешил – смотрел за женой плохо.

К масштабу личностей. Как мало надо понимать в Пастернаке, чтобы считать Женю Лурье вровень ему ростом. Делают это, как правило, по сравнению с Зинаидой Николаевной. Быть посерее личиком – не сжечь раскаленное нездешней красотой лицо в обугленную и разбитую головешку, уметь тихо – без выброса на люди – просеменить всю жизнь подле, выдавая за общность, пачкать краской – будем справедливы – мило, женственно, профессионально, – возможность образования выбивалась даже в дни совершающегося развода – это все значит быть с ним вровень? не бросить художества, как бросила музыку Зинаида Николаевна – потому что это было слишком большое очарование, а она уже не хотела никого очаровывать? уметь очаровывать посторонних, чужих (а родных людей у нее уже не было – не отказался только сын)? Сама она думала именно так и попробовала потягаться с ним, написала письмо. Он ответил. «Будь в моих границах; знай столько языков, сколько я, стольких людей, как я, не буди моего самолюбья, моей ревности. Ужасное письмо. …Я тебя не удерживаю».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 175.

Тогда она придумала печального банкира, Фейхтвангера. Проиграла.

Никакая женщина никого не выбирает. Она только готовится к выбору, чтобы ее выбрал тот, кого бы выбрала она. Кого могла выбирать Соня Берс, молоденькая барышня Софья Андреевна – по

жесткому немецкому воспитанию она называлась для всех молодых людей своего круга только так? Кроме друзей братьев, воспитанников училища правоведения, выбрать она могла, по старинному знакомству со стороны матери, незаконной ветви близкого Толстым семейства, и молодого графа Толстого, как сделала ее старшая сестра Лиза (помните Веру из «Войны и мира»?): «две гувернантки <> по очереди напевали старшей сестре, что граф увлечен ею. <> Лиза сначала равнодушно относилась к сплетням, но понемногу и в ней заговорило <> сердце».

Так же могла выбрать и Сонечка. И что? Выбор, сделанный в том круге, который уже предварительно выбрал мужчина, – это еще хуже, он оставляет ей еще меньше свободы. Хотя: «Я достойна такого-то, я даю ему знак» – действительно, это очень много. Срабатывает очень часто, но к выбору женщины отношения не имеет. Мужчину расхолаживает – согласная на него женщина автоматически переходит в разряд тех, которых не нужно добиваться, а значит, надо поскорее распрощаться. Если подобная история затягивается и затягивает, захватывает надолго обоих, то это тот самый счастливый случай, к которому не подготовишь никакими теориями. Лев Николаевич Толстой не был «выбором Софи». Любви ее страстной и преданной к нему на всю жизнь это нисколько не помешало. Не помешало и увлечению-посмешищу композитором (у нее тоже все писатели, композиторы) Сергеем Танеевым, после смерти самого (последние – они всегда самые) любимого сына Ванечки, лет в пятьдесят с хвостиком.

Такое случается часто, со вдовами – постоянно, женщины не видят особенной разницы в мужчинах. Она (Софья Андреевна) была выгоревшая, почти как Зинаида Николаевна, но Толстой был ей как каменная стена, и она билась, трепыхалась от своей тоски, не знала уж, что и придумать. Смотреть всем было неприятно. И все понимающему супругу, конечно, хотелось бы от жены большего мужества. Зинаиде Николаевне побиться головой было не об кого, и она окаменела сама. Эти истории не о любви. О любви – то, что во время невыбранного женщиной брака любовь возникает с тем большей вероятностью, чем рациональнее был выбор мужчины. Поэтому нигде не сказано, что любви женщины надо просить и что ее можно добиться. Удачно составившая партию Женя Лурье в 1942 году, через десять лет после разрыва с мужем и уходом его к другой, пишет письмо победившей орлицу горлице. Имя этой победы – любовь, она не могла не возникнуть, потому что эта история, пусть бледная, бесцветная, но была в жизни Пастернака и была задумана для чего-то. На небесах все истории записаны не в земной поступательной линейности, что-

то там, может, и сзади наперед; движение есть – и ладно, ради него и затевалось. История любви Жени и Бориса рассказана с конца. В любви Жениной Пастернак уже не сомневается, но она ему уже не нужна.

Письмо из Ташкента. И Пастернак с Зиной, и Женя с Женечкой в разных городах по эвакуациям; Пастернак на короткий срок вырывается из Чистополя в Москву, улаживает там разные дела, ходит по улицам, ездит на электричке, живет один, холостяком, разлюбивший двух жен вечный юноша, заслуживший свой поиск и свою юность. Ему очень плохо. «Если бы я был моложе, я бы повесился. Я не понимаю этой Москвы и людей кругом. Неужели никогда ничего не изменится?»

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 448.

В Москве, конечно, никогда ничего не изменится. Пастернак готовится к переменам в себе самом. Для него за четыре года произойдет много нового, он много увидит, и ему ничего не останется, как возродиться. Женя уже знает, к каким возрождениям он способен, и благодарна ему и за то, что она может стоять рядом с ним. «Ночью проснулась на мокрой подушке, из глаз сами собой лились слезы, не от горя, нет, какие-то теплые, радостные. Я годами привыкаю о тебе поменьше думать. И сегодня ночью я как-то ясно поняла, что очень хорошо удается выработать отношение к человеку, когда этот человек находится на одном месте, в одном состоянии. И вот он переезжает, возникает опять острое представление, и рывком тебя бросает к нему, ты следишь, ты все время видишь. Я могла бы в эту бессонную ночь написать тебе много горячих слов о своей преданности и о том, как близки и дороги мне твое состояние, твоя судьба и жизнь. А на таком далеком расстоянии, с мыслью, что, может, мы никогда не увидимся, это не стыдно и тебя ни к чему не обязывает».

Там же. Стр. 449.

Возможно, у этого романа появится когда-нибудь автор. Тот, кто напишет о ней, Жене Лурье, шаг за шагом, год за годом, поворот за поворотом. Почти за рамками той книги

останутся ее достижения в живописи и крупные запросы, уважительная преданность к ней Пастернака и общества – а будут только ее бездны и тонкие, чуть пульсирующие над рвущейся, раненой, вечно живой душой и трагической судьбой видимые только ей события. Будет благословенная долгота дней, ни один

из которых не будет прожит машинально, и Пастернак это не все и заметит, но тем хуже для него, он будет героем второго плана, фоном, задающим глубину ее перфомансу, задником, выполненным гениальным художником, – а примой, выбранной для этого спектакля из сонма претенденток, будет она, Женя. Точный и сильный выбор. Большой, подробный, поэтический роман в непоявившемся еще у нас жанре «биографии в английском стиле» (Лев Данилкин).

Утраченные и обретенные времена Евгении Владимировны, взрослая Люверс и девочка Одетта де Кресси, старая Жильберта.

Литературоведы по праву рождения

Все на свете принадлежит кому-то.

Написанное рукой Бориса Пастернака принадлежит его наследникам, и они своим наследством распоряжаются.

Е.Б. Пастернак об издании переписки своих родителей: «Сделать эту книжку было особенно трудно, потому что в ее основе – ранняя трагическая любовная история, первая (не совсем так) любовь двух молодых людей, окончившаяся браком, созданием семьи, просуществовавшей всего 10 лет. Поэтому я долго не решался предать гласности эти письма и подумывал даже об их уничтожении как слишком личных, слишком близких».

http://www.vestnik.com/issues/98/0623/koi/nuzov.htm

А как же насчет «не знающей себе равных эпистолярной лирики»? Право решать, что оставить потомкам, а что предать огню – не у Бориса Пастернака.

Поразительная молодость Пастернаков! Той истории, уходу Бориса Леонидовича из семьи – почти восемьдесят лет, а у сына болит так, что он готов уничтожить для человечества письма Бориса Пастернака из-за своей личной обиды за мать. И никакого на это нет закона, можно публично, для миллионной пастернаковской аудитории, сообщать о своей личной (к Борису Пастернаку никакого, кроме юридического и биологического, – или большего за Пастернаком не числится? – отношения не имеющей) воле, в компенсацию своего не слишком безоблачного детства распорядиться представлением о Пастернаке. Не наложить запрет на 50 лет, не назвать лиц, ухода которых следует дождаться, а просто, как сдирают старые обои, – бывает, и с легкой грустью – разорвать бумаги пастернаковских писем.

Е.Б. Пастернак был непоследователен – в своей книге про родителей, где только он решал, насколько полно и откровенно стоит рассказывать об их интимной жизни, он оказался щедр, но отыгрался потом, в том формате, который по определению не предполагает пристрастного и личного цензорства ни с чьей стороны – в «Полном собрании сочинений» Бориса Пастернака.

«Все – суета и томление духа! И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает: мудрый ли будет он, или глупый? А он будет распоряжаться всем трудом

моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем».

Екклесиаст 2, 17:19.

Евгений Борисович Пастернак с супругой издали – собрали и откомментировали – первое полное собрание сочинений Бориса Пастернака. Творческое наследие – тело, мясо, суть любой книги, любого сборника текстов, все изданное и неизданное принадлежит наследникам, их же право – позвать, выбрать, назначить, разрешить, пустить слух о возможности, увенчать чью-то карьеру, определить, кто, какое светило, какой им приведенный коллектив ученых, какой уровень научных достижений поставят на службу гениального наследодателя. Бывают подвижники, мирового значения специалисты именно по каждому конкретно дядюшке или папочке – и именно они определят уровень издания, создадут живой и величественный памятник. Наследники Бориса Пастернака выбрали себя.

Великий филолог Михаил Гаспаров (1935—2005) уже не сделает работы никогда, да и вряд ли кто-то еще возьмется за это в ближайшие пятьдесят лет: тема, как говорится, закрыта.

«Несколько лет тому назад возникала мысль сделать академическое собрание сочинений Пастернака в Институте мировой литературы, но из этого, к нашему огорчению, ничего не вышло. Это делалось с очень малым нашим участием. Была создана группа, во главе которой стоял Михаил Леонович Гаспаров, но план этот не кончился ничем.

– Почему?

Е.Б.: Потому что денег не было. Группа не могла работать на одном энтузиазме. А тут издательство «Слово» предложило нам выпустить полное собрание. Академическое мы издать не можем – для этого необходимы специальные исследования, комментарий должен превышать текст в несколько раз. А издание, которое мы готовим сейчас (вышедшее полностью в 2005 году. – Прим. авт.), главным образом рассчитано на то, чтобы дать полный текст Пастернака в том состоянии, в каком он его оставил, когда в 1960 году его не стало».

www.gzt.ru/culture/2004/03/16/012143.html

Если бы греческий крестьянин, пасущий овец, случайно раскопал в своем огороде золото Шлимана и, будучи законным владельцем одной четвертой части найденных сокровищ, стал бы готовить о них научную монографию, вряд ли она получилась бы интереснее работ специалистов.

На великих – есть великие исследователи…

По-видимому, скромная цель – дать полный текст Пастернака – оказалась для составителей неподъемной. Тексты Пастернака в его полном собрании сочинений опубликованы не полностью. Суть любых переговоров – взаимные уступки и непоколебимость принципиальных позиций. Сторона издателя имела более сильные аргументы, чем тексты Пастернака.

О том, что имели место купюры, можно догадаться по косвенным признакам. Например, в примечаниях к стихотворению читаешь небольшой (в свою очередь, приведенный полностью ли, с купюрами ли – кто знает?) прелестный прозаический собственный комментарий Пастернака. Публикация писем вообще представляет собой некую произвольно составленную «биографию в письмах»: такой, какой видят ее составители, – и по своему выбору, по своему вкусу какие-то письма публикуют, а какие-то – нет. Об отсутствии письма можно догадаться, по заведенному обычаю, по примечаниям, если в них даются отрывки из писем, сочтенных недостойными публикации.

А сколько текстов, естественно предположить, не опубликовано – надеемся, все же не уничтожено – и без информирования читателя о том, что они существуют…

При этом целый том отдан воспоминаниям о Пастернаке.

«Конечно, в четыре тома писем Пастернака, которые вошли в собрание, вошли не все письма – там могло быть пять или шесть томов, но издательство нас ограничило».

Е.Б. Пастернак.

http://www.bigbook.ru/articles/detail.php?ID=2022

Мало места – остается только пожать плечами: или не нужен был такой издатель, или не надо было называть это собрание полным.

Отсутствуют оригиналы писем Пастернака, написанных им на иностранных языках.

Значительная часть художественных переводов также не нашла себе места на страницах полного собрания сочинений и приведена на прилагающемся CD.

Это – сторона количественная. Качественная еще более печальна: даже любитель вряд ли удовлетворится уровнем комментариев к текстам.

«Дляранних допечатных стихов, так называемых „Первых опытов“, такие комментарии были сделаны Юрием Михайловичем Лотманом и впервые опубликованы в тартуском сборнике. Мы выбрали из его статьи такие коммен-тарные

примечания. Эти вещи очень хотел делать Михаил Леонович Гаспаров в Институте мировой литературы, когда задумывали академическое собрание, но нам всегда казалось, что самое главное – объяснить изнутри, психологически, биографически возникновение какого-то стихотворения».

www.gzt.ru/culture/2004/03/16/012143.html . Желающие могут ознакомиться, например, с комментариями Гаспарова стихотворения Пастернака «Венеция» и сравнить их с имеющимися сейчас.

И наконец – чисто технический аспект: обилие (все-таки на дворе не начало девяностых годов) опечаток, необщепринятых сокращений, неправильно употребленных слов и пр.

Будто бы наш Пастернак не заслужил профессионального литературоведения.

В наш век, когда профессионализм и узкая специализация стали признаком хорошего тона в любом деле, когда совсем недавно были живы титаны со своим ярким организующим потенциалом, а фандрайзинг – такое же результативное дело, как всякое другое, – и при том, что тексты

Пастернака бережно сохранились, ничто не уничтожено, – казалось бы, препятствий для появления блестящего, полного, достойного вынесенного на обложку имени, ученого труда не должно было быть. Не сложилось.

Впрочем, разбор этого издания – дело исключительно профессионалов.

Я – просто листаю книги о Пастернаке и высказываю свои разрозненные замечания.

Обложки хороши. Рисунок под мрамор, благородного шоколадного цвета, неплохая бумага, обрезы не золотые.

Пастернаковедение Е.Б. и Е.В. Пастернаков – впрочем, они чаще идут в обратном порядке: «Е.В. и Е.Б.». Большой почет для жены сына Пастернака, дамы ученой, образованной – не более того, ее заслуги несравнимы с заслугами покойного Гаспарова. Составлять и комментировать собрание величайшего русского поэта доверили из галантных соображений, сделав «оммаж», – чьей-то жене. Евгений Борисович дарит Елене Владимировне Бориса Пастернака, как дарят любимой луну или звезды. Он очень щедр.

Несомненно законное в житейских обстоятельствах имя в контексте литературного поприща звучит шокирующе.

У сына есть имущественные права на исписанные почерком

Бориса Пастернака бумаги, и есть его личные воспоминания о его личной жизни, которая вся прошла под знаком влияния его отца, – и замечательно, если он поделится этими бесценными воспоминаниями с заинтересованной публикой.

Труд, который мог бы сделать Михаил Гаспаров, работа почти современников, – это особый вид литературоведения; те, РОДИВШИЕСЯ ПРИ ЖИЗНИ Пастернака, которым сейчас не дали поработать над его текстами, унесут с собой особое видение его поэзии, которое не повторится больше никогда. Только они могли придать ему многомерность, соборность. Последующие исследователи – если наше время не убыстрится настолько, что за пятьдесят лет поэты будут уходить в небытие безвозвратно (недавно вышедшую биографию Пастернака, написанную журналистом Дмитрием Быковым, коллеги, журнальные обозреватели встретили с удивительным и тем более неподдельным недоумением: что заставило его обратиться к такой неактуальной теме)? Почти современники сами собой приносят в исследовательскую работу аромат эпохи, ценный, как основной тон в букете вина. Вместо этого мы имеем вольные развлечения дилетанта. Будто Борис Пастернак жил в каменном веке, в пустыне, будто его сочинения появились неизвестно откуда, как «Слово о полку Игореве», без роду, без племени, к большому соблазну – и восторгу – появившиеся на небосклоне русской словесности. Одна уступка цивилизации – вступление Лазаря Флейшмана.

Лучше всего поступил Иосиф Бродский – у него есть наследница и есть душеприказчица. Первая – вдова, наследница имущественных прав и всех доходов с сочинений; вторая, его редактор и секретарь, – блюстительница его посмертного литературного имени. Первая не останется без справедливых (чрезмерных ли, ничтожных – это зависит от ее личных пожеланий) доходов, вторая не допустит, чтобы эти доходы (или отсутствие их – только цифру определяет наследница) были бы получены из недостойных великого имени источника, чтобы не появились несообразные составители, комментаторы, публикаторы и пр.

Это не «ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ», а ИЗБРАННОЕ. Одиннадцатитомник.

А где мой недоцитированный отрывочек? Может, я ради него приобретала одиннадцать томов?

Публикуется письмо от 15 августа 1955 года Нине Та-бидзе. К нему – комментарии. В п. 6 комментариев следует текст (мелким шрифтом, естественно, как все нормальные комментарии: «Получив от жены известие о том, как их принимали в Тбилиси, Пастернак 7 сент. 1955 года писал Н. Табидзе: „Спасибо Вам за ту бездну душевного тепла, которую Вы уделили Зине и Лене, и особенно за все, что Вы…“» (ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 10. Стр. 95), – и так далее весь (или не весь, этого не узнать) текст письма. За какую провинность оно не было опубликовано в основном корпусе книги, через три страницы, в соответствии со своей датой, а приведено в примечаниях – известно только, как выражался Леонид Осипович Пастернак, Аллаху. Письмо интересное, не проходное: «…о Леничке <> Двадцать пять лет живет и продолжается эта цельная, на части неразделимая повесть, вся захватывающая, вся из ОДНОГО звука, временами страшная, горькая, временами до божественности проясненная, небывалая, и эта повесть – моя жизнь, и моя тайная, глухая борьба, и бедная моя Зиночка и Леня жертвы моей судьбы и всего моего склада, и ближайшие доли этой повести…» (Там же. Т. 10. Стр. 95). Но места ему в книге не нашлось. А ведь как заявлена цель опубликования переписки? «Переписка в целом включает в себя письма, имеющие назначение простой передачи бытовых сведений или отчета о последовательности жизненных событий и фактов, или письма, написанные в жанре дружеского общения – ох как развил Пастернак этот ЖАНР! – письма-размышления или наблюдения» (Там же. Т. 7. Стр. 7). Ни под одно определение письмо к Табидзе, выходит, не подошло. За что из собрания сочинений, которое декларировало желание опубликовать все, что на сегодняшний день известно из написанного рукой Б. Пастернака, письма безжалостно исключаются – а за что всего лишь публикуются в примечаниях мелким шрифтом?

Писем Пастернака, не включенных составителем в «ПОЛНОЕ собрание сочинений», очень много, кажется, до трети от опубликованных. Чуть ли не к каждому письму – «примечание», и составитель перепечатывает в него понравившийся лично ему отрывок из неопубликованного письма: Ариадне Эфрон, Анастасии Цветаевой, Нине Табидзе, Крученых – все не проходные корреспонденты, не записка молочнику, сколько творогу приготовить.

На звездном небе русской литературы происходит аномальное явление – вмешательство смертных в дела богов, за смертными – адвокаты и авторское и наследственное право, Бог – бесправен.

Началось все с других книг, самая яркая – «Существованья ткань сквозная».

Проблема монолитна, как всякая невыдуманная трагедия. И как сын (сын ведь может вспоминать отца и хотеть кому-нибудь, кто готов слушать, рассказать о нем, что помнит), и как человек, что-то имеющий в руках (права на литературное наследство не украл – нотариусы преподнесли при свете дня). Это белая сторона, физиологическая, женская, инь. А есть и другая. Черная, мужская. Отвлеченная, умственная и духовная – ян – сторона читателей. Им нет дела до метрик и прав на проживание на определенной жилплощади согласно родственным отношениям. На совершенно публичное и общедоступное поле вынесли каравай личной жизни Бориса Пастернака, многотомный роман с работой, женщинами и детьми. Купив книгу в магазине, получив кассовый чек, каждый имеет право составить о прочитанном свое собственное мнение, не совпадающее с авторским. И то, что автор – почтенный человек, вроде бы все это не должно накладывать на читателя никаких дополнительных обязательств, так же как, купив селедку, мы не обязаны использовать ее каким-то определенным образом, а совершенно вольны в распоряжении ее дальнейшей, по вынесении из магазина, судьбой.

Личная жизнь Пастернака представлена без, казалось, приличной случаю деликатности. Парадоксально, но авторскому коллективу хочется сделать замечание о неуместности обнародования семейных щекотливых обстоятельств, когда живы непосредственные участники событий. Защищать их от них же самих.

Обычно в литературе это считается признаком дурного тона – зачем вдаваться в реальные подробности жизненных обстоятельств автора? Дело читателя и исследователя – только текст, что бы его ни вызвало к жизни. Последуем этому безупречному совету и мы: какое нам дело до того, кем являлся Борису Пастернаку Е.Б. Пастернак, и приходилась ли ему кем-то Е.В. Пастернак? Перед нами – тексты: переписка, например, Б. Пастернака с первой женой и комментарии к этим письмам. Текст, правда, не академический: провокативный, с вызовом. Бориса нашего Пастернака автор называет то «папочкой», то «Борисиком», то «папой Борей». Автор вышедшей после всех сыновних публикаций солидной биографии поэта вызова не принимает, «папочку» автору прощает, принимает его слова за чистую монету, верит, как в буквальном смысле первой инстанции. Задачу составителя: все представить так, что Пастернак первую жену свою очень любил, что была она сама чуть ли не великим человеком, справедливым в своих претензиях

к мужу считать ее ровней, никогда не оставленной, единственной и истинной вдовой, – великодушно не заметил, читал внимательно письма, верил комментариям.

Азарт составителя понятен: задача на уровне Семейной Идеи может кристаллизовать, наполнять смыслом и энергией жизнь, жалко только, что интересы Пастернака и его почитателей (что касается последних – достижимые: дать максимальную массу внятно изложенных фактов: что касается первого, Пастернака, с его «дайте мне проявиться», то адресовался он скорее всего не к гению сына) здесь второстепенны. Впрочем, по большому счету дела Е.Б. Пастернака могут быть мельче Борисовых, Пастернака же (и оба они быть Пастернаками никого не просили – сами ими стали, родились такими), а вот жизни их, страсти – равноценны. Потому что никто не изобрел ничего нового. Всех впускают в жизнь с пустыми руками и ничего не положат под конец. Ничего и набрать никакими трудами не удастся.

«Приехав к папе в следующее воскресенье, уже после публикации второго Бориного письма… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 541.

По тексту вроде бы выходит, что «папа» и «Боря» – не одно и то же лицо? Дети приехали к папе, а в это время какой-то Боря уже написал свое второе письмо… Если бы дети приехали к папе после публикации второго ЕГО письма, это было бы другое дело, но этим детям надо как можно чаще повторять, что Пастернак для них – «Боря». Если же называть его просто Борей, не чередуя с «папой», то вне контекста кто-нибудь может подумать, что этот «Боря», к которому, например, они приехали, – это просто какой-то приятель молодых Пастернаков, ровесник их, просто Боря (хотя в их возрасте, за тридцать, уже и собственных друзей перед посторонними – читателями – можно называть по имени-отчеству). Но про Пастернака в самых широчайших кругах распространяется, что он – «папочка», «Боря». Даже в детском саду дети воспитательницы знают, что маму домашним именем звать нельзя.

Очевидно, что в нейтральной ситуации, когда Ивинской надо было что-то сказать или что-то спросить про Пастернака, она называла его не «Борей» и, уж конечно, не «клас-сюшей», а просто-напросто Борисом Леонидовичем, как принято это в русском обиходе среди приличных людей.

Семидесятилетнего старика и в деревнях зовут по имени-отчеству, даже если молодым мужиком он пробегал Сергунькой, а

зрелым – стал Серегой, а старшему в доме скажут: «Здорово, Сергей Иванович».

Другое дело с вечными юношами. Лев Толстой до старости скакал верхом, и глаза его по-молодому блестели, за девками, правда, бегать перестал – ну и не был «Левочкой» никому, кроме жены, может, для свояченицы еще, брата, тетки и пр., – «Левочкой» престарелого отца в его кругу назвать бы было немыслимо. Кругами от Толстых пастер-наковское семейство разошлось недалеко. Еще у Леонида Осиповича толстовство ростовско-левинского лубка считалось переданным из рук в руки, Борис Леонидович полагал себя вправе этим толстовством родителей попрекать, как все наследники по прямой считают себя вправе критиковать родовые привилегии и проклятья. Отца Борис Леонидович звал восторженно «золотым» и «дорогим» папой, но до «Ленечки» не доходило и не дошло бы никогда. Что делать – изысканность во вкусах сходит на нет.

А может, этого «Борю» прививала сыну Евгения Владимировна, которая брошенных детей по нищенствующим остаткам писательских семей насмотрелась и отшлифовывала все реальные и искусственно созданные интимности между собой с сыном – и могущим уйти далеко и навсегда бывшим «Борей»?

Когда сын называет отца именем, которым его зовут жена и любовница, в этом есть что-то неопрятное. Возможно, в доме у них (я скажу «безвкусное», а кто-то – «предка „Борей“ звать – это круто») так и принято, но нормы приличия требуют, чтобы на люди выходили приодетыми в соответствии с культурной традицией. А не так, как дома, как бы ни было удобно и вольготно в трусах и в майке. Ивин-ская ладно – и он написал, какой у нее был халат, и она его уж – «Борей». Форма эксгибиционизма, когда на людях рассказать или еще раз вспомнить – и становится приятно. Таким приблизительно ароматом веет от слова «Боричка» – по отношению к отцу от слишком любящего сына.

«А. Мень: „Написано литературно, но серовато, безлично, совсем не „пахнет воспоминаниями“. Это и понятно. Ведь здесь – игра, а, видно, автор – плохой артист (вообще-то противно, когда она пишет „Боря“!). Нелепость какая-то!“»

МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 328.

«…папа ужинал позже… Когда папочка ел свой холодный ужин… Боря говорил о своем разочаровании в Кальдероне».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 550.

Разглагольствующего о Кальдероне с Шекспиром Борю с

трудом размещаешь в голове на правильное место. Софья Андреевна тоже пишет своей многолетней корреспондентке, родной сестре Татьяне Кузьминской: «Левочка много работает, переводит Евангелие». Ученая всего лишь немками-гувернантками, дама с отработанным вкусом, Софья Андреевна знает, что даже сестре назвав мужа Левочкой, она получает инструмент для выражения своего недовольства и максимально допустимой нелояльности. Это акт доверия к сестре: она не выдаст, что московской даме графине Толстой самозабвенные евангельские штудии кажутся нелепой экстравагантностью. Но вот пуститься в пересказ взглядов Толстого на что бы то ни было не бытовое с представлением говоруна как «Левочку» посторонним – это уж было бы оскорблением. За что жене оскорблять мужа?

Текст от публикатора переписки Пастернака с родителями и сестрами. «Удовлетворяя Борину просьбу, Евгению Владимировну отправили в санаторий < >, а Женечка остался с бабушкой и дедушкой у Жозефины в Мюнхене».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 321. Если не знать, чей это текст, и попытаться определить, кто его автор, то задача для свежего человека покажется неразрешимой. Кто это мог писать, называть Бориса Пастернака «Борей»? Его родители? Но они не звали невестку так важно – Евгенией Владимировной, они звали ее по-родственному и по-простому «Женей». Женечок? Да, он себя зовет «Женечкой», отца своего – «Борей», «Борич-кой», по-разному, это режет слух, но это он счел «академическим тоном» (или все-таки считать его издание беллетристикой? – хотя в выходных данных написано коммент. и подгот. текста Е.Б. и Е.В. Пастернаков, – получается, что труд все-таки научен). Но тут же рядом привычную «мамочку», для контраста, называет «Евгенией Владимировной» – воистину все в его руках.

Готовя текст, составители не могли не поставить перед собой хоть на минуту проблему: оставить скандального «папочку» или нет? На него не могли не обратить внимание самые лояльные друзья и нанятые корректные профессионалы. Безусловно, «папочка» придает тексту неповторимый аромат мемориальности, дает автору (одному, не двум, – очевидно, второму «папочкой» субъекта монографии называть не приходилось) уникальные преимущества перед любым другим пастернаковедом, любой степени близости и знакомства с живым или мертвым. Кроме того, принятое решение об использовании вероятно реального (кто знает, как еще они его там только не называли) имени (в

действительности – домашнего прозвища) дает возможность автору удовлетворить уже совершенно интимные, самые сущностные и не подлежащие ничьему суду (нашему он, правда, опубликовав, отдал) потребности. Он в той степени, в какой материальна книга, материализует возможность нового контакта с отцом – и видно, как он не отдаст никому своего права называть его «папочкой». Называет, в сотый раз замечу, не наедине с собой или со своими детьми. Называет при нас.

«Существованья ткань сквозная», указатель имен. Страница, посвященная всевозможным Пастернакам, например: «Пастернак Аленушка», «Пастернак Елена Владимировна (Вальтер…) (жена Е.Б. Пастернака)», «Пастернак Зинаида Николаевна – см. Нейгауз З.Н.». В книге, посвященной Борису Пастернаку, она должна быть одной из самых главных «Пастернак». Каким образом и когда она была «Нейгауз» – это зависит от подробности изложения, но она при Пастернаке – Пастернак.

В именном указателе сборника «Вспоминая Нейгауза» про Пастернак Зинаиду Николаевну написано так: «…мать С.Г. Нейгауза». Это – тоже титул…

Будем дальше знакомиться с собранием сочинений.

Уровень читателя, которого Евгению Борисовичу послал Бог, ему известен, но он не ропщет… «…я нашел немецкую рецензию, в общем положительную, но с жалобами на то, что после работ Джеймса Джойса, Фолкнера, Хемингуэя и Музиля роман кажется совершенно устаревшим».

ПАСТЕРНАК БЛ. Полн. собр. соч. Т. 10. Стр. 300. Ну, Джойс или там Пруст – наверное, люди слышали, а вот уже что такое Музиль, конечно, надо бы народу объяснить. К фамилии «Музиль» имеется сноска. Между тем Музиль выходил в Советском Союзе в 1984 году тиражом 50 тысяч экземпляров. Тираж полного («полного») собрания сочинений Пастернака – 5 тысяч. Полные собрания сочинений – это не томик стихов: покупают люди не случайные (и даже собиратель полных собраний – он для комплекта подберет и статусную зарубежную прозу). Покупатели собрания сочинений Пастернака покрывают число прочитавших Музиля. Но даются объяснения только того, до чего они, по всей вероятности, не доросли.

Составитель собрания сочинений берет на себя благородную миссию повышения общего культурного уровня читателей. Можно было бы таких задач перед собой и не ставить, ведь те, кто добрался до чтения девятого тома, прочли и стишки, и

знаменитый любовный роман, и взялись наконец за переписку – скорее всего люди все-таки хоть сколько-нибудь образованные, для штудирования переписок надо иметь довольно основательную привычку к чтению и, как следствие, некоторое уже знакомство с популярными культурными мифологемами.

Уж не думают ли эти просвещенные читатели, что культурных аллюзий сам Евгений Борисович не улавливает? Ну уж нет, этого допустить совсем невозможно. Там, где видит он, он важно дает сноски. «Евангельское подставленье левой щеки в дополнение к правой есть не…» (ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 9. Стр. 650). Сразу же – для неучей – ПРИМЕЧАНИЕ номер два: «Вы слышали, что сказано: „око за око, и зуб за зуб“. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Евангелие от Матфея. 5:39). Так что теперь тому, кто недоуменно хлопал глазами: что это за евангельские подставленья – все становится ясно. Читаем дальше.

Поучения для желающих за счет Пастернака обогатить свое образование, теологическое или светское, часты, но не регулярны. Регулярности и какой-либо системы в ПСС, увы, не наблюдается. Находится место, например, для цитирования статьи о Суинберне, некоторым образом связанной с идеей Пастернака, – но не настолько, чтобы восклицать о поразительном совпадении и быть вынужденным цитировать других исследователей. Пастернак: «Некоторые части перевода < > дают представление о несущемся ритмическом напоре Суинберна и для тех, кто не знает его в оригинале». Примечание: «Ср. слова историка английской литературы М. Гутнера о стремительности „звучания“ стихов Суинберна: „Его поэзия сближается с музыкой, потому что иногда представляет собой безостановочное течение аллитераций, перекликающихся друг с другом звуков – звуков без образов и красок. Антологий новой английской поэзии, Л, 1937. Стр. 432“.

ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 9. Стр. 756, 757. Мы не ограничены объемом, поэтому можем себе позволить перепечатывать г-на Гутнера целиком, но ведь Пастернака-то выкидывали, ПАСТЕРНАКА из его собственного полного собрания сочинений! – и вот взамен публиковали пассажи отдаленного сходства.

Если публикаторам переписки Пастернака неизвестен адресат письма, кто таков, то они просто ничего о нем и не пишут. Например, почему Пастернак кому-то написал, что было раньше или после письма, – просто нет комментариев и все. Справочный аппарат – как в отрывном календаре, для той же аудитории.

Sans scrupule переводится «без подробностей». Очевидно, потому, что scrupule – это деталь, мелочь, а точнее, просто фармацевтический термин «скрупул», а sans – это «без». В то время как выражение sans scrupule значит только одно: без излишней щепетильности, без стеснения, смысл «подробностей» здесь – и Пастернак именно это имел в виду, откровенно (в больших подробностях), открыто изъявляя свои надежды на то, что Евгению Владимировну, приглашенную в гости в Германию, будут принимать и обслуживать, как принцессу. Кто не ездил к родным в гости, даже и с сыном? Их родным племянником и внуком? Молодая, довольно-таки здоровая женщина с четырехлетним сыном разве требует при приезде таких трепетных приготовлений?

Описав подробно все услуги, которые надо будет оказать Евгении Владимировне, все овсянки, всех человеков и пр., которые дадут ей возможность отдохнуть от сына Женечки, Пастернак, вполне корректно употребив французское выражение, заключает: я имею наглость обратиться «sans scru-pule», а Женечок уже услужливо, как недоросль Петруша в «Капитанской дочке», подсовывает нам удобный для себя – ну до него ли нам в первом полном собрании сочинений Пастернака! – перевод: не пускаясь в подробности от излишней деликатности. В непрофессиональном переводе смысл заменен на прямо противоположный.

«Теперь о деле… К вам моего повесу… гм… „держать в ешо-выхрукавицах“… Что такое ежовы рукавиц? Это должно быть русска поговорк… Что такое держать в ешовыхрукавицах? – повторил он, обращаясь ко мне. – Это значит, – отвечал я ему с видом как можно более невинным, – обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах. – Гм… понимаю… „и не давать ему воли“… нет, видно ешовы рукавиц значит не то».

ПУШКИН А.С. Капитанская дочка.

Ляпы в переводах, как и всякие другие, отобраны без системы, просто попадались на глаза – именно потому, что я не хочу заниматься дилетантским исследованием.

«Писавшиеся на иностранных языках письма даются в переводе, который главным образом выполнен Е.Б. Пастернаком». Далее, через два абзаца, для тех, кто не понял: «Письма, полностью написанные на иностранных языках, даются в русских переводах».

ПАСТЕРНАК БЛ. Полн. собр. соч. Т. 5. Стр. 9, 10 (вступление

к тому 5, ко всей переписке).

Для чего тогда герои у Толстого изъясняются по-французски, почему граф не шпарит по-русски сразу? Он знает, как создать атмосферу, и если он на равных, с правом судить описывает героев, говорящих по-французски, то он приводит их речь так, как говорится она ими. Уважение к виртуальным креатурам. А к Борису нашему Леонидовичу? Для того читатель и покупает ПОЛНОЕ собрание сочинений, а не бульварное издание – он хочет, чтобы ему дали подлинник.

Если уж нельзя избежать, чтобы письма приводились в переводе, а оригинал бы нам не показывали, – положим, мы готовы терпеть, но тут же видим, что правило это печальное вдруг, ради уважения к какому-то другому писателю, нарушается, то я все-таки бы предпочла, чтобы без перевода вышел Рильке – не Пастернак. «Полное это собрание сочинений» – Пастернака, а не Рильке, поэтому Рильке пусть уж будет опубликован для информации, в переводе, без оригинала – и пусть дождется СВОЕГО часа, когда благодарные потомки и почитатели опубликуют его переписку в оригинале. Нет. Письмо Рильке (ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 7. Стр. 710—711) с полным почтением приведено в оригинале полностью, далее дан перевод.

Раскройте любое профессиональное собрание сочинений или публикации переписки: письма титульного персонажа приводятся в оригинале, перевод – мелким шрифтом.

Ведь это не собрание ПЕРЕВОДОВ уважаемых (не поименованных, названных словом «по-большей-части») переводчиков.

Вот письмо, написанное Б. Пастернаком одному французу по-французски. Поскольку г-н Пастернак в своем полном собрании сочинений не удостаивается публикации написанных им писем, вместо которых с почетом публикуются чьи-то переводы, данное письмо также идет в переводе. Замечательно. Через пару абзацев после начала письма следуют две фразы, написанные латиницей, на иностранном языке. На… французском. К этим фразам идет сноска. Две сноски: одна звездочкой (перевод двух фраз внизу страницы), вторая – номером – объяснение в конце письма, что это за фразы. Оказывается, цитаты французского автора, написанные в оригинале по-французски. Что сие значит? Что читатель не должен обольщаться, что такой гладкий правильный французский язык – это не дубовый доморощенный Пастернаковский? Во-первых, читатель и сам бы мог оценить, если б ему предоставили пастернаковский текст, и к нему,

французскому, были бы весьма уместны комментарии, объясняющие, как и положено, что за отрывки цитируются.

«Евгений Борисович: Я как-то приспособился переводить целые тексты, сохраняя близкий ему note 18 стиль и лаконизм русского языка».

«Елена Владимировна: Это сложно, потому что по-немецки, по-английски он писал по-другому, а в книге это должно быть похоже на пастернаковский язык».
http://www.gzt.ru/culture/2004/03/16/012143.html

А во-вторых, если кому-то в полном собрании сочинений захочется прочитать текст не похожий – а подлинный? Могут ведь найтись такие привереды?
«Полное собрание сочинений Бориса Пастернака». Том 6 – стихотворные переводы. (Предыдущий том – рецензии и предисловия, следующий – уже письма.) Переводов – стихотворных (он делал и прозаические?) – на один том, страниц в 600. Рядом у меня на полке стоит пятитомник – «Собрание переводов Пастернака». Ну, это объяснено: остальные переводы – на CD. Респектабельности не прибавляет, но все-таки на задворки выброшены не оригинальные тексты Пастернака.

Не бог весть как важно для восприятия Пастернака его письмо на ломаном английском (Берлину) – но другого Пастернака для нас ни у кого нет, а сына единственное о чем просили – дать проявиться. Он же жонглирует способностью к воспроизведению фамильной интонации.

Женёнок считал за собой право судить о мировой литературе на основании своей крови. Что Илюша Толстой знал о Льве Толстом? Что, если бы он вырос смиренным, как Женёнок, исследователем его творчества?

«Е.Б.: „…говорить о своем отце как о гениальном поэте несколько неловко“».
www.gzt.ru/culture/2004/03/16/012143.html Наоборот – смешно подразумевать саму возможность этой неловкости.

В академическом издании им отводили слишком незначительную роль: «мало места». В их семейном издании не то что их слишком много – это их дом, частная собственность, они имеют полное право занимать все комнаты, но не претендовать

на то, что это «взрослое» полное собрание сочинений. Наверное, в фамильный особняк надо было впустить профессионалов, не боясь, что они что-то растащат.

В фантастическом томе «Воспоминания» основная масса комментариев – о персоналиях. Очевидно, минимум, на который мог бы рассчитывать читатель, тем более что один из составителей, Е.В. Пастернак, дипломированный филолог, что справки будут стандартизированы: хотя бы для всех – года жизни, (если неизвестно – отметить, чтобы не спросили строго), кто таков, если человек упоминается повторно – сделать соответствующую сноску. Ну и так далее. Содержание справки – исходя из контекста их упоминания в собрании сочинений. И наверное, они все-таки не должны быть смешными или нелепыми.

Елена Ефимовна Тагер и на стр. 796, и на 808 (скорее всего и еще где-нибудь пару раз), с датами жизни, и что она – «искусствовед». Елена Цезаревна Чуковская – без даты рождения, «кандидат химических наук». У некоторых дам даты рождения тоже не указаны, это понятно, но вот беда: у некоторых, таких же здравствующих и таких же дам, – указаны. Баронесса Мария Игнатьевна Будберг – «друг Горького», «переводчица». Ираклий Андроников – неизвестно кто. Николай Любимов – слава Богу, тоже переводчик. Даже упоминаются его труды: «"Дон Кихот", „Декамерон“ Боккаччо, „Гаргантюа и Пантагрюэль“, др.». «Др.» – это семь томов Пруста.

Про писателя Евгения Замятина нам сообщают только то, что он – это тот, кто, написав письмо на имя Сталина, смог эмигрировать (а уж чем в эмиграции занимался – бог весть), про Эммануила Манделя – слава Богу, большой список основных книг.

Е.Б. Пастернак ценит свои жизненные достижения – он кандидат технических наук – и уважительно внимателен к тем, чей кропотливый честный труд в близкой ему сфере был соответственно вознагражден.

Доброжелательные критики назвали бы это трогательной слабостью, но я доброжелательна только к Борису Пастернаку, и в комментариях его первого полного собрания сочинений мне кажутся неуместными педантичные упоминания об ученых степенях фигурантов комментариев, вне зависимости от того, имеет ли это какое-то значение для характеристики персонажа либо ситуации или нет. Вот примечания: «Мария Александровна Крашенинникова (1926—2003) – кандидат медицинских наук. Ирина Александровна Гулидова – биолог, кандидат наук».

ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 11. Стр. 814.

О чем это? О ситуации какой-то болезни Пастернака? Все медики и биологи. Вот сам комментируемый текст: «В начале февраля 1947 года Борис Леонидович позвонил в библиотеку и пригласил нас к М. В. Юдиной слушать чтение начала романа. Катя не могла или не захотела пойти, поэтому отправились втроем: ее младшая сестра Маша, наша приятельница Ирина Гулидова и я».

Там же. Т. 11. Стр. 540.

Какое значение для этого эпизода или для биографии Пастернака имеет тот факт, что Маша и Ирина выросли до кандидатов наук? В 1947 году они вряд ли уже обладали этим почетным званием, в силу возраста. Если бы их судьбы имели продолжение, важное для Пастернака или как всеобщее достояние: например, одна бы стала космо-навткой (как не написать о таком!), а другая вышла замуж за сына Пастернака (или за него самого) – тогда другое дело. В контексте воспоминаний Елены Берковской о Пастернаке могло быть интересно, например, то, стали ли Маша и Ира не кандидатами химических наук, а «балеринами» (помните: «покушались кругом и на Борю?»), своим поклонением Пастернаку отравляющими жизнь Зинаиды Николаевны. Если нет, то не о чем говорить (на страницах данного издания, естественно), – здесь тогда интересно только то, кем они доводились более близким людям из окружения Пастернака, кем были в тот период, когда общались с ним.

Катя Крашенинникова, которая принимала у Пастернака предсмертную исповедь для передачи священнику – она «кандидат химических наук»?

Пастернак находится в гостях у Чуковского, в обеденное время звать его домой приходит от Зинаиды Николаевны гонец: «… к нам робко приблизилась маленькая, миленькая, кудрявенькая, голубоглазенькая Люся П.».

ЧУКОВСКАЯЛ.К. Отрывки из дневника// ПАСТЕРНАК БЛ. Полн. собр. соч. Т. 11. Стр. 422. Кто такая? Тон Чуковской на что-то намекает. К имени есть примечание. Смотрим: имя и одно-единственное слово-определение – «художница». Все. И что нам такое примечание разъясняет? Какое нам дело до того, художницей эта «маленькая, миленькая» и пр. была или певицей? Что это объясняет? Круг знакомств Пастернака? Ну понятно, что он не только с доярками и ткачихами дружил. Известная какая-то художница, о которой нам не надо пространные примечания читать? Нет, просто так – художница и все. Иногда сообщают какие-то сведения одним словом – домработница, подруга, соседка, – это объясняет хотя бы приблизительный характер

взаимоотношений; «художница» – не объясняет ничего. Судя по всему, Чуковская уже тогда знала, что ЛЮСЯ П. была наперсницей и подругой Ольги Ивинской – и вот втерлась в доверие и к Зинаиде Николаевне. Зинаиду Николаевну Чуковская терпеть не могла (за то, что та Ахматову «пропахшей нафталином» считала, что огород поливала и ничем, судя по всему, от такого же занятия Пастернака не отвращала, в пользу сочинения стихов, что была грубо и примитивно настроена просоветски), но миленький и маленький Фальстаф в юбке ее тоже возмущал. Кратко можно описать и эту ситуацию – единственную имеющую значение для комментирования данного текста.

В одном интервью Е.Б. дает доходчивое объяснение, чем академическое издание (которого заслужил Б.Л.) отличается от их семейного, уютного, как домашнее варенье, и только с чуточкой претензий – комментарии должны быть объемнее основного текста. Как все просто…

30 мая 2006 года, в день памяти Бориса Пастернака, на радио «Орфей» состоялась передача – концерт из произведений его любимых композиторов: Скрябина (реставрированные записи в исполнении самого композитора), Шопена, Брамса вперемежку с пастернаковскими стихами и прозой. Редактор обратилась к сыну поэта, чтобы проконсультироваться, кто бы из артистов, по его мнению, мог бы прочитать произведения его отца. «Ответ был неожиданным: „Вы не возражаете, если читать буду я сам?“». Редактор не возражала, Евгений Борисович читал громко, старательно, не копируя известных чтецов и ничего не добавляя текстам, что-то у них отнимая своим частным обывательским восприятием, тщательно доносимым им до публики.

«Куда опасней для репутации Пастернака его письма к сыну – нужно немалое мужество, чтобы опубликовать (в книге „Существованья ткань сквозная“) эту переписку» (БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 700). (Сразу скажем, что в Полном (!) собрании сочинений, которое вроде бы категориями мужество – не мужество составителя не должно оперировать, письмо, о котором идет речь – «обидное» для получателя, – отсутствует.)

Быков до такой степени под гипнозом Евгения Борисовича, что ему кажется, что опубликование таких писем – это минус именно Пастернаку. Как же так – он был холоден к сыну, к идеальному первенцу, к требовательному, унылому, назойливому сыну. Женёнок, не помня зла, даже заступается за отца, придумывает оправдания злодею.

Придумывает Пастернаку оправдания и Дмитрий Быков: «Легче всего сказать, что у Пастернака в этот момент сердце рвется, что он принуждает себя (он еле сдерживает себя) быть жестким, чтобы исцелить любимого первенца (он хочет и для себя пожить – дожить, – не все же о первенце) – но и прочие его письма к сыну 1952—1954 годов дышат тем же холодом. В них заметна полная поглощенность работой (имеет право) и нежелание отвлекаться на чужие проблемы, а однажды он прямо проговорился, что неприятности сына отвлекли бы его (он знает характер и масштаб сыновних неприятностей и ответственность, с какой к разрешению их надо подходить). Стихи, присланные Евгением для отзыва, Пастернак разбирает брюзгливо» (но на многих страницах – отписок не примут) (Там же. Стр. 702). У Евгения не искренняя, простодушная жалоба к отцу, на которую тот, может быть, и откликнулся бы, рыдал же он над раздавленными собаками у Ивинской, а привычный расчет на проценты с отцовского чувства вины. Расчет холодный и бездушный, не допускающий неустоек. И действительно, через неделю вдогонку за «на чорта мне кровь» полетит привычное покаяние: «Дорогой Женечка! Боюсь, как бы предыдущее мое письмо не огорчило бы тебя своим мнимым холодом и кажущейся сухостью. Это не так, не печалься. Но мне неимоверно много надо еще сделать при небольшом, вероятно, сроке жизни, оставшемся мне».

ПАСТЕРНАК БЛ. Полн. собр. соч. Т. 10. Стр. 14. Женечка простит – и пошлет папе свои стихи: для подробного отзыва.

Комментариями, выбором писем для публикации решались задачи объяснить Пастернака изнутри, психологически, биографически – но в рамках одной, строго заданной концепции…

… И «на чорта мне кровь твоя или моя», выходит, Пастернак вроде как не писал. Если вы, уважаемый читатель, в споре с кем-то по давней привычке откроете томик писем в полном собрании сочинений – вам правоты своей доказать не удастся. Напрасно вы будете ссылаться на декларацию составителей: «…Издание < > главным образомрассчитано на то, чтобы дать полный текст Пастернака в том состоянии, в каком он его оставил, когда в 1960 году его не стало» (www.gzt.ru/culture/2004/03/16/012143.html).

Он, вообще-то, оставил и такое письмо (от 7 мая 1958 года): «Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной – Ольгой Всеволодовной Ивинской… Она и есть Лара моего произведения, которое я именно в это время и начал писать

< > Она олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней не заметно, что она в жизни (уже до этого) перенесла. Она и пишет стихи и переводит стихи наших национальных литератур по подстрочникам, как делают некоторые у нас, кто не знает европейских языков. Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела…» (ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Стр. 213). Мало ли что он писал! В полном собрании сочинений Пастернака не нашлось места и такому письму, будто не было пятнадцати лет его биографии.

«Няня, крестившая его, считала, что < > ангел-хранитель помогает ему все запоминать (Там же. Стр. 206)» (ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 10. Стр. 46). «Там же» в данном случае, очевидно, обозначает воспоминания Кра-шенинниковой. Хотя кавычки в конце предложения не закрываются, а следующая фраза начинается так: «По просьбе Пастернака Крашенинникова достала». То есть текст уже явно не из крашенинниковских воспоминаний, раз она названа в третьем лице, безграмотное употребление запятой (с этим – беда: «После смерти отца, (запятая!) в 1918 г. они с матерью переехали в Германию» (Там же. Т. 10. Стр. 416). Жэковская табличка, прикрученная к стенке лифта: «После нажатия кнопки, двери закроются автоматически») указывает также на то, что это текст не из профессионально подготовленной книги, но важно не это. Важно – отсутствие комментария о няне-крестительнице, даже если такой версии своей конфессии, кажется, придерживался и сам Пастернак. Видно, он сам никого не крестил и организацией крещения не занимался (крестины – в определенные дни, по предварительной договоренности). А свидетельство о крещении видел? Там прописаны отец, мать, их звание, вероисповедание, адрес, состоят ли в браке. И – восприемники. В каких-то исключительных случаях крестят без таких формальностей. Но это не в Москве, не в девятнадцатом веке (может, в Киеве, на горках, за тысячу лет до того никто никого не спрашивал), когда благообразная нянька приводит с улицы барчука определенного, судя по внешности, происхождения. Если она заявит, что нашла дитя на улице, его не крестить бросятся, а велят отвести в участок, а если нянька сообщит, у кого она служит – даже не у выкрестов, – это просто невероятно, чтобы священник не побеспокоился о тех совершенно неминуемых и серьезных неприятностях, которые он за свою апостольскую самодеятельность будет иметь. Если же нянька, влекомая тем не менее каким-то невиданным порывом, решила бы поступить с ребенком, как Анатоль Курагин с Наташей Ростовой, и крестить его тайно, за большие деньги (этот

пустяковый вопрос опустим), то ее бы, как и Курагина Долохов предупреждал: «Узнается дело, тебя ведь под уголовный суд отдадут».

Господа чеченцы или евреи, мои читатели! Что бы вы сказали (или сделали), если б в один прекрасный день вернулись с работы домой и ваш умытый и накормленный нанятой вами няней ребенок, хорошо одетый и причесанный, рассказывая о проведенном без вас дне, между отчетом о секции восточной борьбы и посещении логопеда, сообщил вам, что он, ваш и вашей чеченки (еврейки) жены сын и внук ваших родителей, – теперь является православным христианином?

В общем, комментарии здесь необходимы, даже если они признак академичности (излишней, по мнению составителей, в полном собрании сочинений). Впрочем, биографический аспект здесь более чем налицо.

Вот биографический аспект в другой книге тех же составителей: «Лирическая высота любовной трагедии не снижена переданными в письмах тяжестью нищенского быта коммунальной квартиры 1920-х годов и трудностями свободной творческой работы писателя и художницы, которые стали в конце концов причиной их расставания в 1931 году».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 4.

Письма Пастернака, как мы помним, публиковались выборочно, не полностью – из экономии места, так уж поставили себя наследники с издателем, зато нашлось место довольно экзотическому довеску, неслыханному в полных собраниях сочинений, – воспоминаниям современников (уже изданных давно отдельной книгой, с добавлением пары десятков страниц новых). Целый том, одиннадцатый, отдан более или менее достойным и интересным людям, чтобы они увидели (кто дожил) свои тексты под одной обложкой (во всяком случае, в рамках одного издания) с текстами Бориса Пастернака. Редкая и вряд ли всеми заслуженная честь. Набрав побольше воздуха в легкие, скажем уж тогда все: некоторые авторы увидят СВОИ тексты в пастернаковском полном собрании сочинений не единожды. Вот в томе № 10 приводится письмо Б. Пастернака к чете старых друзей, Черняков. Событийная часть письма щедро комментируется отрывками из воспоминаний Елизаветы Борисовны Черняк (ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 10. Стр. 67). ЭТИ ЖЕ воспоминания будут полностью приведены в томе № 11. Составитель не решился отослать читателя за подробностями обстоятельств, упоминаемых в письме, к воспоминаниям в

следующем томе. Елизавете Борисовне, таким образом, оказана честь дважды иметь опубликованными свои тексты в собрании сочинений Пастернака, а Пастернаку отказано в праве хоть разочек напечатать свои письма в своем же полном собрании сочинений.

Одиннадцатый том – самый большой из всего собрания сочинений, 822 страницы. Сколько писем Пастернака, не удовлетворивших строгому вкусу составителей и оставленных поэтому за бортом, можно было бы напечатать, правда?

В переписке отсутствует одно из самых резких, но оно же из самых программных писем. Оно – к первенцу, оно отвергает приоритет биологических случайностей над закономерностью личных усилий, выведший собственный дух на ту высоту, на которую смог: «Ты пишешь мы с тобой одной крови, папочка. На чорта мне кровь».

Пастернака упрекали, что он богат, что всеяден. В этом письме он отвечает, что работал не потому, что приучил так много ртов открываться на его голос, а потому что труд ради куска – основной закон бытия, и что мама его первенца потому-то и имела такую призрачную, отраженную судьбу, что ее художество никогда бы не прокормило ее, но что ей даже никогда не надо было ставить об этом вопрос.

Это письмо было опубликовано в избранной переписке Бориса и Евгении Пастернак, это была книга о личной судьбе Евгения Борисовича Пастернака, о взаимоотношениях его родителей, и там он был волен скрывать, что хотел, выносить на суд Божий – с человеческим он имел право не хотеть уже иметь дела. Что хотел – придумывать, он мог видеть и заставлять других видеть так, как хотелось ему, это была его книга из материалов, которые принадлежат ему по праву рождения.

Полное собрание сочинений – это другое.

Не до конца прожитые жизни

Надпись на «Гамлете»: «12 янв. 1948 г. Зине, моей единственной. Когда я умру, не верь никому. Только ты была моей полною, до конца дожитой, до конца доведенною жизнью. БП». Впервые опубликовано в Зининой книге воспоминаний. А кому еще надо было помнить это о Пастернаке?

Ольга Михайловна Фрейденберг, в хороших традициях патриархальных семейств позапрошлого века, была несостоявшейся невестой своего двоюродного брата Бориса Пастернака. Все было так, как это обыкновенно и бывает, подробности не важны. Молодые люди не сошлись, разошлись, всю жизнь поддерживали переписку, некоторое отличие от большинства романов – что «Вместо рядового человека, кузины, родственницы, которую случайная причастность к жизни великого человека выводит на миг из сумрака отшумевшей жизни <> note 19 блестяще владеющий пером собеседник поэта, говорящий с ним на равных» (аннотация к книге «Пожизненная привязанность. Переписка с О.М. Фрейденберг»).

Роман Пастернака с Ольгой Фрейденберг похож на роман Толстого с Александрой Толстой. Фрейденберг была двоюродной сестрой, гимназисткой, Толстая – двоюродной тетей (в письмах он звал ее бабушкой), фрейлиной, дамой множества достоинств. Пастернаку было еще слишком рано осознать прелесть сближения с умным, глубоким, родственным человеком (вообще-то и впоследствии он осознал, что найти равновеликого – Ольга Михайловна была по крайней мере соразмерна, – это значит разделиться с ним, перетечь, потерять свою глубину; он предпочел тех, от которых мог только отталкиваться, как от стенки), а Толстому наоборот – слишком определенный возраст собственный подступил, а Александра была старше его на десять лет, и ей было почти сорок. В сорок лет много не нарожаешь. Лев Николаевич намеревался строить свою семейную жизнь не менее Божьим и красивым порядком, чем был написан его главный роман – и поэтому отчетливо объяснился сам с собой в дневнике: «Если бы она была на десять лет моложе!..»

Вычеркнул, как вариант в рукописи. Ольга Михайловна, в свою очередь, была некрасива (хотя это только потом Пастернаку стало очевидным, что он может претендовать исключительно на очень красивых женщин – попалась, правда, какая попалась – хорошенькая, не более того, а в Зинаиду Николаевну он

влюбился, как в красавицу, первый раз пробуя, чего он стоит, отсюда такой бешеный и юношеский азарт), и – это понятно – слишком умна.

Ольга Михайловна была выдающимся ученым-филологом, создателем собственной кафедры, основателем школы, автором ярких научных работ, стала доктором наук в 45 лет, в геронтократические времена, жила – с мамой и братом – в прекрасной, большой и отдельной квартире в городе Ленинграде, на канале Грибоедова.

Ее жизнь с Пастернаком не сложилась, они ее и не начинали, чуть-чуть наметили, как в юности что-то намечается у случайных попутчиков. Но и собственную, индивидуальную жизнь Ольга не смогла дожить до конца, она выгорела, как Зина, до конца отпущенного ей срока. Да еще и не в своей топке.

«Где-то в поле возле Магадана» – стихотворение, которое ценил Бродский за то, что при неисчислимом множестве интерпретаций какие-то вещи все-таки называются двумя простыми словами. Вот эти два старика – скоро умрут. Большая печаль их положения в том, что час их им открыт. Знания умножают скорбь. Они хотели бы часа этого не знать, умереть себе на печи, пусть хоть на десять лет раньше, но посмотрев близким в глаза перед смертью. На чужого старика не глядится в смертном холоде. Зинаида Николаевна с Олей тоже обе умерли до смерти, и в пятидесятые годы они друг дружке не подруги. «Не судите Зины. < > Она целыми днями шьет на нас и плачет, – старший мальчик за месяц потерял пуд в весе. Температура с незапамятного времени все высокая, одним туберкулезом сустава не объяснимая».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Пожизненная привязанность.

Переписка с О.М. Фрейденберг. Стр. 233.

У Зины умер после тяжелой болезни двадцатилетний сын, у Оли в сталинских лагерях погиб брат.

«Жизнь совершенно умерла для меня. Я представила себе мое бедное доброе животное, гордого и несуразного Сашку, среди вшивых бандитов, на полу, на нарах, избиваемого, с руками за спиной, раздетого на морозе… < > В этом я жила. Надежды не было. Всем была известна сталинская лагерная каторга, так называемое „строительство“ – болото по пояс, избиванье до полусмерти < >… Некоторое время я еще чувствовала его страдальческие взоры к нам, а в один из тех дней властно ощутила какой-то предел его мук – и конец».

Там же. Стр. 216—217.

Зинаиде Николаевне конца пришлось ждать дольше – четыре

года, конечности Адику по частям ампутировали с ее согласия. Потом – из житейских горестей: ее муж полюбит, вернее, сойдется по естественным причинам с нестарой и бойкой женщиной – и от холода собственного дома почти уйдет к ней. Зинаида Николаевна эту битву проиграет без боя, но Борис Леонидович добивать ее, лежачую, не будет и к любовнице по-настоящему, с браком и переменой фамилии ей и детям, с прикреплением ее ко всяким писательским распределителям и поликлиникам – не уйдет. Та со своей матерью будут ей звонить, кричать про беременности, распространять по Москве слухи, будто дети той соломенной вдовы – все его, Пастернака. Деньги все уйдут к ней. Зинаида Николаевна будет как барыня разъезжать на пастернаковской машине и как батрачка копать маленьким совочком землю в их огороде-кладбище, – сын ее Адик будет похоронен на даче. В садово-огородной части участка, по краю. Картошка с могилы сына. Борису на ее фоне не только разлюли-малина Ивинская солнышком покажется, но даже и Женя Лурье, которой он все, что было, дал, разрушил, а потом как на восстановление от землетрясения ссуду выдал, и она воспользовалась с умом и сама уже не разрушила ничего, все пособирала, обустроила, поставила цветочков – и очень мило до конца его дней улыбается на семейных фотографиях.

Вот в семье Фрейденбергов узнают об аресте брата Саши. Предпринимают какие-то ужасные и ненужные шаги. «Я едва нашла эту старинную дачу, с калиткой, с колонками. Все лежало в зелени. Деревянный домик старинного фасона имел широкую внутреннюю лестницу с галереей, садик, газоны, огородик. В душевном беспамятстве я открывала калитку. < > Я присела на пыльную деревянную ступеньку дачи и, сгорбившись, принялась ждать. < > Подавленная, убитая глубоким горем, бессильная, я сидела в молчаливом саду, сгорбившись чуть не до земли. Вдруг пестрая курочка, глотая соринки, наткнулась на меня. Она в испуге остановилась. Повернув голову вбок, с еще приподнятой ножкой, она косо вперила в меня круглый перепуганный глаз. Я с горькой улыбкой ответила ей печальным взглядом. Боже мой, подумала я, сколько градаций и обманов есть в природе! Уже нельзя было существу быть более дрожащим от страха и бессилия, – а еще меня боится какое-то другое живое существо! Ах ты, дура! Да насколько ты сильней и счастливей меня!»

БОРИС ПАСТЕРНАК. Пожизненная привязанность.

Переписка с О.М. Фрейденберг. Стр. 215.

У Бориса Пастернака впоследствии тоже будет ситуация, когда государство, одно государство с Олей Фрейден-берг, будет

угрожать ему применением своей карательной системы – ну конечно, не забить до смерти в камере и пр., но все-таки. И Ольга Всеволодовна Ивинская проявит себя совсем не так, как ее питерская тезка, она будет прямо-таки героиней: «Никаких красивых слов больше быть не может. Я сделаю все, что угодно, чтобы спасти Борю» (ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Пастернак и Ивинская. Стр. 203). Сделает ВСЕ, не побережет сил, не пожалеет – и это достаточное условие, чтобы кого-то спасти. Что сделает? Напугает курицу?

Фрейденберг переживет еще блокаду, болезнь матери во время этой же блокады – болезнь, благодаря ее усилиям нескоротечную, требующую сложнейшего, даже на самый комфортабельный быт, ухода, и смерть матери. Пастернак не мог войти в эту жизнь. Сочувствовать Оле – это сочувствовать раздавленной собаке и понимать, что сам окажешься в таком же положении – скоро или не очень скоро. Здоровье Ольги Михайловны окажется непоправимо разрушено блокадой, а научная карьера – одинокой надорванной женщины – перечеркнута. Пастернак будет делать то, что в его силах – на что сил не жалко (а жалко их на разрыв аорты, на смерть вслед за Зиной или за Олей): звать ее приезжать к нему на лето на дачу. Каждый послевоенный год. После блокады и того, что она видела, – бывают ведь такие виды, после которых можно не найти внутренних ресурсов, чтобы заставить себя для чего-то жить. Оля не живет. Ехать на его солнечную огородную дачу с Адиковой могилкой не хочет. Пастернак утешается с Лелюшей, пишет в Ленинград: «Я здоров, полон внутренней силы и просто боюсь сказать, как счастлив» (БОРИС ПАСТЕРНАК. Пожизненная привязанность. Переписка с О.М. Фрейденберг. Стр. 378), – это уже сиделке, общей кузине Машуре Марковой, за две недели до Ольгиной смерти. Ольга Фрейденберг скончается в 1955-м, в год окончания «Доктора Живаго».

При всей одержимости Пастернак писал роман машинально. Он думал, что механическое писание, которым овладела его рука, поможет ему написать произведение, которое оправдает его. Он чувствовал себя не в силах заглянуть туда, где он мог бы найти ответ, – вот тогда его врожденный, наработанный, автоматический талант яркого изложения и многофокусного – собственного, пастер-наковского – видения мог бы пригодиться и оправдал бы его. На такой взгляд чего-то не хватило. Он отпустил вожжи и дал себе скатиться под гору. Он делал вид, что пишет нечто эпохальное и исповедальное. Он знал, что пишет отписку. Зачем ему было смотреть на мертвую Ольгу? Оправдываться было

нечем – да и незачем. Пастернак и сам уходил из жизни никому не должным. С нас действительно на этом свете спросить некому.

Все возвращается в прах, и тем не менее как-то приятно узнать о событиях, которые выбиваются из праха. Как проросшие после дождя былинки – скоро они тоже увянут, но пока чуть-чуть расцвечивают нам пейзаж. У независимого биографа Быкова в книге все написано, изученно и компетентно: «Она была одна. Ее труды не публиковались, удивительные научные прозрения остались достоянием немногих учеников, преданных, но неудачливых, не готовых толкаться локтями. Никто из них не сделал триумфальной карьеры. Лучшие ее сочинения остались в оттисках и рукописях. Никакого стимула работать дальше у нее не было, веры в будущее тоже».

БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 715.

«…[note 20] раздражал непрофессионализм антични-ка. Тот же упрек он предъявлял Ольге Фрейденберг – не забуду страстную демифологизацию ее работ и имиджа <>. Он с холодной усмешкой настаивал на запрете «читать в душе у автора»».

ЖОЛКОВСКИЙА.К. Звезды немного нервно. Стр. 202.

Но вот доходят вести, что среди специалистов имя Ольги Фрейденберг возвращается, набирает силу, входит даже в моду. Ее цитируют, вспоминают. Ее называют великим филологом. Ну и слава Богу.

Похороны – самое жизнеутверждающее событие в человеческом обиходе. Человеку (нехоронимому) ничего не остается делать, как жить, видя, как его друг или враг никогда больше не совершит никакого житейского отправления.

Ольга Фрейденберг умерла. Тем живее остался не поехавший к ней на похороны Пастернак.

Какие-то шансы у нее жить, переболев и зарубцевавшись, были.

«Я даже не представляю себе, что бы я мог такое отделить от себя и переслать тебе, чтобы тебе не было так одиноко! Ты должна была бы все же побывать у нас и тогда или бы осталась, или что-то бы с собою увезла отчего бы тебе стало светлее и лучше (потому что мне ведь ОЧЕНЬ легко – ликующе-легко, а не матерьяльно – и незаслуженно хорошо!)».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Пожизненная привязанность.

Переписка с О.М. Фрейденберг. Стр. 280.

Письмо это пишется до всякой встречи с Ольгой Ивин-ской, через полгода после смерти Адика, отнявшей у Пастернака какую-

никакую жену. Мотив легкости, счастья и радости – во всех письмах 1945 и 1946 годов. Зину Пастернак встретил в момент своих тягчайших скорбей, и она рассеяла ему мрак. Олюша подвернулась, когда Пастернак был готов обнять березу в поле. За этими перипетиями Ольге Михайловне совсем ни к чему было следить.

«Я утратила чувство родства и дружбы. Друзья меня тяготят, я не вспоминаю о Боре. Это мираж далекой, перегоревшей и отшумевшей жизни. У меня почерк изменился, походка. Я слепну. < > Я доживаю дни. У меня нет ни целей, ни желаний, ни интересов. Жизнь в моих глазах поругана и оскорблена. Я пережила все, что мне дала эпоха < > Дух < > не вынес самого ужасного, что есть на земле, – человеческого униженья и ничтожества. Я видела биологию в глаза. Я жила при Сталине. < > Перенести такие мучительства можно только при крепкой опоре любви и родства. Я осталась одна. Мою жизнь вырвало с корнем».

Там же. Стр. 276.

«Я оглядываюсь на путь моей семьи. Все, чем я жила, принадлежало ей. И я думала: вот прошли такие незаурядные, большие люди (готовые создать еще что-то большее, чем они сами), как мой отец, мама. Ничего, кроме меня, от них не осталось. Но они создали для меня все, в чем я живу, чтоб потом в моем лице ликвидировалась их жизнь. Это единственный смысл моих нынешних дней».

Там же. Стр. 302—303.

«13 июля 1945. Я страшно огорчен твоей болезнью. Приезжай к нам, поживи у нас на даче. Я уверен, тебе понравится».

«2.11.45. Я летал на две недели в Тифлис < > Жизнь в Тифлисе как эта [note 21], дух захватывающая гамма. Странно, что я вернулся».

Там же. Стр. 279.

«В моей жизни сейчас больше нет никакой грыжи, никакого ущемленья. Я вдруг стал страшно свободен. Вокруг меня все страшно свое. Эта атмосфера особенно велика бывает на даче, летом».

Там же. Стр. 280-281.

«1 февраля 1946. Я начал большую прозу, в которую хочу вложить самое главное… »

Там же. Стр. 281.

«31 мая 1946. Мне очень хорошо внутренне, лучше, чем кому-либо на свете < > (Все это до Ивинской.) Всего лучше было бы, если бы ты к нам собралась. Леня уже на даче, Зина и там и тут…

»

Там же. Стр. 283.

«5 октября 1946 (в этом октябре он познакомится с Ивинской. Ведь не в первые четыре дня месяца? Впрочем, не важно – даты проставлены и в письме, еще и „более широкими мазками“). Ко мне полностью вернулось чувство счастья и живейшая вера в него, которые переполняют меня весь последний год».

Там же. Стр. 285.

Живой – пока еще – о живом. Ольга Михайловна – о московских новостях: «Я поражена смертью жены Асмуса. Ведь она была, по-видимому, еще не стара. Почему-то ее преждевременная кончина очень меня поразила».

Там же. Стр. 297.

Ирина Асмус, влюбленная в Пастернака, тремя годами младше Ольги Михайловны. Ольга Ивинская была младше ее на двадцать два года – время, за которое может родиться и стать взрослым целый человек, появиться целая новая женщина. Пастернак перепрыгнул и через эту ступеньку и стал жить в новой жизни. Ольга Ивинская как будто даровала ему новое время для жизни. Он охладел к Фрейден-берг – просто недосуг было поддерживать в себе теплоту.

Писал по-прежнему с надеждой зазвать к себе на дачу – иначе ему пришлось бы хоронить еще и ее.

Так идет их переписка: ее тоска по родне и роду, его описания своей силы и счастья; ее очень профессиональная, выдающаяся, глубокая работа в ее античной литературе и мифологии, ничего не дающая ее душе (ее отдельной от тела радости, росту, бесконечности), – может, потому, что и там ей не дано было увидеть своих плодов; отдушины (от духоты и удушенья ее затлевшего мира) пастернаков-ских приглашений на дачу. Хочется крикнуть, как в театре: «Вот, вот спасение, давай сюда! Оглянись!»; потом ее отказы, неприезды; его чуть ли не раздраженность – и так до 1955 года. Конечно, сама по себе дача, какие бы там ни были елки, грядки и поля за калиткой, какие б там ни были соседи и гости, как бы ни играл Ленечка, а то и Стасик на рояле, внуки или предчувствие внуков, даже если б там не был за грядками похоронен Адик и если б не начал Борис свою «азартную игру» – и такая дача может вылечить, а может и нет.

Просто позвать на дачу к полной жизнью живущим родственникам – это не панацея, в фармакопее не прописана. Завершать род – конечно, это знак «минус» у судьбы. Но ведь и не приговор? Сколько бездетных – и беззаботных людей, подходящих к своему концу, не оглушенных эхом пустоты вокруг себя. Нет

наследников – ну и нет, есть вот такие и такие другие достижения. Большинство бездетных людей не более грустны, чем окруженные многоярусной семьей. Эти, гнездостроители, тоже поеживаются от предстоящего холода – разве что, как правило, поеживаются от него чуть позже, чем раньше примеряющиеся к вечности бездетные. В какой-то момент жизнь отойдет на угрожающее расстояние от каждого, и не в одиночестве не останется никто.

Наверное, Ольге не хватило жизненного таланта. Какой-то ангел не дул ей теплым ветром в лицо, когда смотрела она на Божий мир.

Судьбы наши написаны от века, и никаких шансов у Ольги Фрейденберг жить с Пастернаком – до конца ли жизни, до половины – не было.

Альтернатива арине родионовне

Как великому писателю обзавестись великой, под стать, подругой? Самым несчастным у нас считается Пушкин. У нас вообще чуть что – Пушкин. Пушкин – наше все, и если жена самая плохая, так сразу у Пушкина. Пушкин был счастлив. Потом запутался в одной истории, не из-за жены, жена была безупречна, но, значит, Пушкин был нам дан вот на такой срок. У Лермонтова не было никакой – но это, может, и к лучшему, для нее по крайней мере, поскольку он ни за кого и так погиб по-пушкински.

Безбрачие Гоголя – как раз тот пример для холостяков, как у него же в «Ночи перед Рождеством»: «…на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: „От бачь, яка кака намалевана!“ – и дитя, удерживая слезенки, жалось к груди своей матери», – не дай Бог, пусть уж хоть какие-нибудь, да детки. Детки, немало – были у Толстого: «Дома играли в винт „бородатые мужики“ – его сыновья» (ПОЛНЕР Т. Толстой и его жена. Стр. 131)…

Может, удалось Маяковскому по одной из двух взаимоисключающих версий – он ЕЕ и очень, больше всех, ну очень сильно любил, и ОНА интересовалась литературой, и помогала ему – критиковала с толком, мужу своему велела на собственные деньги издать книгу Маяковского, как женщина была безупречна, мечта поэта: держала всегда в тонусе, сохраняла архивы и пр., и пр., но он, правда, из-за нее и застрелился. У Достоевского считается самой лучшей. Но сначала надо было с Аполлинарией Сусловой (той самой, которая впоследствии юного мужа своего Василия Розанова физиономией об умывальник била) по Европам поездить да посходить с ума – бросать али нет умирающую жену по требованию юной инфернальницы, – тоже и прочая. Тогда самый лучший (если не единственный, одна беда – сделанный на компьютере) вариант – «миссис Владимир Набоков», Вера Слоним, его первая и единственная жена. Здесь не придерешься ни к чему. Она и помощница, и под стать за немецкую княгиню принимали, и редкая переговорщица.

Если вы были убеждены, что Набоков – неприятный тип, то утешьтесь тем, что от этого качества нельзя отмахнуться потому, что цветет оно на фоне педантичной, расчетливой, никогда не упускающей сладости отстаивания своих интересов (мужа – это

еще хуже, мелочнее) дамы. Постоять за права другого – действительно легче и благороднее, постоять за права собственного мужа или жены – эгоистичнее вдвойне. Этот своего не упустит – может быть и игра, и азарт. Не дам упустить выгоду моей жене – это уже только всерьез.

Холод произведений Набокова веет от дней его жизни.

Сила писателя проступает со всей очевидностью: читаешь, читаешь про Владимира Набокова и жену его Веру – и вплывает, как ледокол, в километровой толщины торосы, сообщение, что в тот же год опубликовался на Западе «Доктор Живаго». Господа Набоковы читали роман по-английски. Для начала Владимиром Владимировичем было сказано, что «перевод хорош. Это книга плоха».

Если кто не поклонник романа (да и нет у него поклонников, согласных на все), не удовлетворится, впрочем, и комментарием Набокова. Сказал остроумно: роман, мол, с бродячими разбойниками и тривиальными совпадениями. Ну это так и есть. Что дальше? Набокову есть что сказать дальше.

«Вера с горечью отмечала, что „Лолита“ все еще всюду стоит в списке бестселлеров, "хотя скоро ее, вероятно, вытеснит оттуда эта жалкая и ничтожная книжка безвестного Пастернака, о котором В. [note 22] не смеет сказать дурного слова из боязни, что его не так поймут"».

ШИФФ С. Вера. Миссис Владимир Набоков. Стр. 326. Набоков иногда смел.

«Он сдерживал себя как мог, но, узнав, что список заказов на „Живаго“ оказался длинней, чем список заказов на „Лолиту“, вознегодовал».

Там же. Стр. 325.

«Команда живаговцев старается изо всех сил подпереть заваливающегося доктора. Неужто и мы не можем предпринять то же ради нашей нимфетки?»

Там же. Стр. 326.

Можно представить себе Толстого (с которым Набоков чувствовал себя вровень, по крайней мере житейски, по итогам прожития судьбы, по дарованным жизнью наградам), уязвленного чьим-то незаслуженным, с его точки зрения, успехом и беспокоящегося об «Анне Карениной»: «Неужто и мы не можем пропихнуть нашу шлюшку?»

Пастернак получил Нобелевскую премию. Ее точно так же мог получить и Набоков – он просто был немного дальше от всего нобелевского контекста, но не от степени таланта, которым лауреаты призваны обладать. Набоков, правда, вряд ли бы послал

в Нобелевский комитет благодарственную телеграмму: «Бесконечно признателен, тронут, горд, удивлен, смущен». Никто не совершенен – зато Пастернак (и его жены) уж точно не стал бы злобствовать по поводу неудавшегося нобелиатства.

«Коммунисты преуспели в пропихивании своей низкосортной стряпни в клуб „Лауреатов Нобелевской премии“ – посредством чистого притворства, будто оно „незаконно вывезено“ из СССР! Массовый психоз идиотов, предводимых прокоммунистически настроенными подлецами» – так пишет Вера в дневнике.

ШИФФ С. Вера. Миссис Владимир Набоков. Стр. 326.

Набоков был не ледоколом. Он не шел по трудному, величественному, таким вот образом устроенному Господом океану жизни, работая над своим путем так, чтобы он был всем заметен. Он возился где-то в своем чуме – с маленькой девочкой, ну никак не мог удержаться, заставлял уважать свою жену, наблюдал за снегом. Мы знаем, что у каких-то северных народов и нет слова такого: «снег» – всё снег, тут важны оттенки. Набоков очень хорошо их видел и показывал нам. Для высокомерия оснований здесь не видно. Он не был особенно зорким. Он дал себе труд приглядеться. Спасибо, мы очень довольны.

Американский читатель (это от таких, как он, Вера многого не ждала): «Успех книги, которую Вера называла второсортным чтивом, лишь доказывает, что не следует многого ждать от общественного мнения», пишет: «"Доктор Живаго" – одно из величайших явлений в истории человеческой литературы и нравственности».

ШИФФ С. Вера. Миссис Владимир Набоков. Стр. 325.

Про нравственность – это не с Набоковыми.

Нравственность присуща человеку от создания – мгновения и процесса. Для приобщения же ко злу требуется посредник. Так повелось с самого начала, что каждый мелкий пакостник воображает себя Змеем, Искусителем, Тем, через Кого зло придет в мир (и, по писаному, Кому за это будет горе). Г-н Набоков наслаждается эффектом, который он производит: Первооткрыватель описанного в романе греха. Правда, еще не бог весть какой морализатор Лиля Брик недовольно морщилась: «Ну, нравились ему маленькие девочки. Ну, нравилось ему ее щупать, или там не только щупать. Всего и делов-то». О таких «делах» она знала не понаслышке, а от литературы привыкла ждать чего-то большего. Возможно, в рассказе о ситуации ей чего-то не хватило.

Хотя и невозможно быть более талантливым писателем, чем Набоков.

Набоков отстаивал «как в романах, так и в жизни» – возможность «страстной любви, пленительной любви в рамках обычного брака. В подтверждение он привел отношения Кити и Левина у Толстого. На что Триллинг заметил, что роман назван не „Кити“ или „Левин“, а „Анна Каренина“».

ШИФФ С. Вера. Миссис Владимир Набоков. Стр. 315.

Литературовед Набоков, конечно, разбирался в иерархии сюжетных линий «Анны Карениной», но и нам намек понятен. Пленительная любовь, страстная – это в «обычном» браке Владимира Владимировича и Веры Евсеевны.

Обычный брак, который, правда, как все обычные браки, пережил пленительную и страстную любовь мужа к другой женщине, как обычно, когда муж оказался вдали от дома, в ход пошли обычные приготовления к другому обычному браку: знакомство с мамашей и пр. Потом Вера Евсеевна проявила строгость, и Владимир написал Ирине Гуаданини, парижской возлюбленной: верните, мол, все письма, в них нет ни слова правды. Месяц назад писалась страстная неправда.

Когда-то не играли с читателем, и Толстой не был постмодернистом. Не мог не сказать правды устами совершенной в художественном отношении тещи и получившей увесистый щелчок по носу Кити. В литературе Толстому пришлось расписывать красками простую, но главную идею, в жизни выбор красок перед ним не стоял: черное он называл черным, а белое – белым. Выбирал – белое.

Попробуйте поставить чету Толстых в парижскую ситуацию Набоковых. На каких условиях и во имя чего Софья Андреевна бы простила публичную измену?

Софья Андреевна не находила его писем к новым возлюбленным, не читала их, ее принято презирать за такие качества – но это ее брак был пленительным и страстным.

Может, Толстому не повезло с женой. Может, Наташе Ростовой не следовало бы так поражать эмансипированных старшеклассниц своими пеленками в четвертом томе.

На всякого мужчину всегда есть спрос. На нищего эмигранта с громкой славой в узких эмигрантских литературных кругах – тоже. Там в ходу эфемерные, но надо же иметь какие-то фишки; так дети играют в фантики, так играют на щелбаны – ценности: импозантность (Набоков гордо щеголяет перед знакомым иностранцем небрежно элегантным пиджаком, не зная, что тот забыл его у общих знакомых, которые, в свою очередь, облагодетельствовали бедствующего Набокова), литературное реноме (узок, узок, микроскопичен тот круг, который при взгляде

изнутри кажется бесконечным космосом), и даже аромат былой значительности рода…

Набокова обкладывают точно по таким же правилам, как на настоящей охоте обложили бы любого Ротшильда: мать работает на пару с дочкой… При случае они могли бы предъявить доказательства, что не были самозванками. «Слезы струились по щекам Владимира, когда он признавался ее матери, что совершенно не может без Ирины жить» (ШИФФ С. Вера. Миссис Владимир Набоков. Стр. 120). В отсутствие жены в Париже они везде появляются вместе, в собраниях она сидит «опершись на его руку».

Наконец Владимир едет к жене, а вдогонку летит Вере анонимное письмо на четырех страницах, описывающее бурный роман. «Вера была убеждена, что письмо было послано матерью Ирины для того, чтобы ускорить распад семьи» (Там же. Стр. 118).

Вера простит это.

Вера была очень горделива. И как все женщины, имеющие это качество – «горделивость», или «гордость» сами по себе, не приложимые к каким-то обстоятельствам, проще бы их назвать фанаберией – она с легкостью идет на унижения, чтобы оттянуть на себя то, за что было заплачено горделивостью. «Вера видела во всем происшедшем свою вину. Ей казалось, она пренебрегла вниманием к мужу из-за того, что вынуждена была заниматься ребенком, а также из-за невыносимых материальных условий берлинской жизни» (Там же. Стр. 123).

Самые отчаянные героини в таких обстоятельствах детей топят, а чтобы заработать деньги на покупку мужа, идут в прачки. В красивых драмах они продаются сами. Это уже считается гордостью. Но других женщин не проведешь. «Мать Ирины этому ничуть не удивилась: она как раз предсказывала, что Вера станет шантажировать мужа и не отпустит его» (Там же. Стр. 123).

Впоследствии Вера утверждала, что ее реакция была проста: «Я полагала, раз он любит, то должен быть с любимой женщиной» (Там же. Стр. 118).

«Вера впоследствии яростно отрицала, что у них когда-либо случались скандалы. Она готова была поклясться, что сцен – о которых с сожалением пишет муж и которые Ирина и ее мать старательно записывали с его слов в дневники – вовсе не случалось».

Там же. Стр. 123.

Роман закончился так: «Ирина отбыла в Италию, убежденная, что Вере хитростью удалось удержать Владимира при себе».

Там же. Стр. 124.

Об этом не стоило бы писать так подробно и с иронией, читатель мог бы сам прочитать о Набокове, который «напоминал одного из своих героев, раздавленного собственной страстью, не способного избежать глубокого внутреннего разлада» и пр. – если бы он не вытаскивал на свет божий Льва Толстого.

В пленительной и страстной любви были трещинки. Владимир был замешан «в целой серии мимолетных связей – с немочкой, случайно встреченной в Груневальдском лесу; с подружкой-француженкой, с которой в 1933 году провел четыре ночи; с ужасной, трагической женщиной с чудными глазами; с томной дурой, которой он давал уроки и которая сама себя предложила; были еще малозначительные встречи».

Там же. Стр. 126.

Это не Вера разузнавала по крупицам. Это «Набоков перечислил все это, чтобы показать Ирине, что она на особом счету».

Там же. Стр. 126.

Роман с Ириной – на пятнадцатом году брака с Верой. Срок достаточный, чтобы понять, что ни хуже, ни лучше он не был и не стал. (Характер его притязаний впоследствии к американским студенткам можно не расписывать – кому интересно, те дочитают сами. Скажем только, что здесь тоже плюс на минус: отношеньица, конечно, были гаже, это минус, но страданий Вере они не причиняли – это плюс.)

«Вера упивалась мыслью, что при всей неоднозначности своей репутации Владимир славой вознесен на этой земле до небес».

Там же. Стр. 362.

Слава придет позже, но хорошие генералы женятся лейтенантами, а Вере, как хорошей генеральской жене, не приходилось выбирать.

Когда поднебесная слава достигла и ее, она стала выдумывать себе жизнь и играть с ней.

Вера Набокова категорически отрицала свою похожесть на Зину, героиню «Дара». «Вера, постоянно дистанцировавшаяся от Зины», «…и поскольку Вера никогда не узнавала себя в Зине – даже не признавала, что такое может быть» (Там же. Стр. 128). Единственный раз в книге приводится объяснение. «Разумеется, я

не Зина, – категорически заявляла Вера. – Зина только наполовину еврейка, а я – чистокровная» (Там же. Стр. 125). Ужели слово найдено? Как все просто, а мы-то гадали: как бы найти простую и эффективную классификацию для литературных героинь? А вот он, истинный критерий.

На Итальянской Ривьере – по всей Европе успех ошеломительный, изгнанники вернулись сюда, чтобы насладиться самой шумной, самой очевидной славой – Вера прекрасно выглядит, она «была старше Лолиты на 45 лет. В норковом палантине и светло-сером костюме она смотрелась в высшей степени европейской дамой» (Там же. Стр. 340), – они решили подыскать себе место, где могли бы перезимовать и спокойно поработать. Искали в Лугано, в Рапалло, в Сан-Ремо. Вы думаете, это так просто? «Владимир ворчал, что в Италии нет вилл, достойных героев Тургенева и Толстого» (Там же. Стр. 349—350).

Конечно, можно сказать, что это и трогательно – когда пожилая пара представляет себя литературными героями, довольно трудно, правда, переварить смешение в одну кучу Толстого и Тургенева. Даже когда за этим стоит Набоков, подтекста разглядеть не удается, и в нос бьет запах интуристовского коктейля: пейте, это и есть загадочная русская душа и великая русская литература.

В Италии – огромное количество самых прекрасных вилл, достойных разнообразнейших героев.

Какие еще герои? Вот эти?

«Вера согласилась на одно интервью в отеле, во время которого с удовольствием сообщила репортеру, как отвратительно ей это мероприятие» (Там же. Стр. 347). Не могу, правда, не подклеить еще одну цитатку: «Вера наслаждалась как никогда. В каждом своем описании парижско-лондонского вихревого тура она с энтузиазмом заключает, что все происходящее ужасно приятно» (Там же. Стр. 340). «Она призналась, что первой читает книги мужа; что она спасла „Лолиту“; что именно она настояла на ее издании. Внезапно Вера, поменявшись с репортером ролями, стала пытать его, где можно подыскать приличную виллу. Вывод Владимира: „Ну разве не прелестная беседа? Не правда ли, моя жена просто чудо?“» (Там же. Стр. 347).

Это похоже на Кити и Левина?

«Лолита» к тому времени продалась миллионами экземпляров, и вкус денег кружил Набокову голову; из шикарных, умеющих пожить героев он напоминал уже только Кису Воробьянинова.

В расцвете славы, в Нью-Йорке, на Пятой авеню, Набоковы встретились с женой бывшего коллеги по университету в Итаке, немкой по происхождению. «Вера была ослепительна в палантине из голубой норки. „В Калифорнии я вспоминала вас каждый день!“ – сообщила Вера молодой женщине. „Право, миссис Набоков, с чего бы вам так часто меня вспоминать?“ – заметила ей в недоумении жена профессора. „Видите ли, дорогая, у нас в Голливуде была немка экономка!“ – последовал надменный ответ» (Там же. Стр. 360).

Они прожили в Америке, давшей им кров перед начинавшейся в Европе войной – Владимиру грозила мобилизация в ряды воинов, защищающих Францию: какой-то стране они должны были быть обязаны? Вере надо было держаться подальше от Германии, да и любого другого места в доступности сухопутными военными средствами от державы, за которой первоначально был военный успех, давшей статус и средства к существованию, среди достойного преподавательского окружения, не сделавшего им ничего плохого. Вера склочничала с соседями по мелочи: «Они страшились даже звука собственных шагов; рев пылесоса или дневной воскресный просмотр телесериала вызывали громкий стук снизу. Не раз грозная Вера возникала у них на лестничной площадке. Кроугены „с покорностью слуг“ выслушивали ее претензии».

Там же. Стр. 213.

Германия была первой страной, приютившей их в пространствах эмигрантской судьбы. Поводов для мести немке-профессорше не было, был повод для мести прошлому.

Письмо после войны сестре Лене, вышедшей замуж за русского князя Масальского, княгине Лене Масальской, после разлуки в сорок лет – и в зените славы и богатства Веры. «В этой связи у меня к тебе вопрос. Знает ли Михаэль, что ты еврейка и что он, соответственно, полуеврей? Можно ли говорить с ним открыто на эту тему и обо всем, что с этим связано? Учти, что мой вопрос не имеет ни малейшего отношения к твоей католической вере или к тому религиозному воспитанию, которое ты предоставила своему сыну. Все это не главное, и я не хочу это обсуждать. Меня интересует только то, о чем я спрашиваю. Если М. не предполагает, кто он, то мой приезд к тебе не имеет смысла».

Там же. Стр. 349.

Религия не имела значения. Не имело значения и то, что

Лена Слоним за свое еврейство заплатила цену побольше, чем Вера, – она пережила годы нацизма в Германии, имея статус «польской еврейки» со всеми его последствиями, а сын ее, «Михаэль», князь Масальский, будь он хоть трижды «полуевреем» в глазах тетки, матери и всего света, имел право на свою собственную самоидентификацию – вне зависимости от того, что тетка всеми силами хотела быть дерзновенной, объявляя всем и каждому, отнюдь не дожидаясь «бестактного» вопроса и многих ставя в недоумение по поводу этого подвига, что она – чистокровная еврейка.

«В феврале 1962 года ей уже неловко за свои претензии к правительству Германии. Книги мужа переведены на немецкий и пользуются громадным успехом. К концу года Вера узнает, что ей назначен скромный месячный пансион за утрату трудового дохода. Она довольна результатами, хотя Гольденвейзер считает, что останавливаться с требованиями не стоит, и продолжает тяжбу».

Там же. Стр. 381.

Скажем так, что не всем из репрессированных фашистами евреев повезло в дальнейшей жизни так, как Вере Набоковой. Здесь нужно совсем немного, чтобы чуть-чуть приподняться над своей собственной житейской удачей и требовать своих компенсаций с поднятой головой, не на сирость, а на закон.

До такого понимания Вера не дошла. Правда, она не смогла не только отказаться от притязаний, потому что ей лично компенсации не нужны – потребовала бы тогда за какого-нибудь замученного и безвестно сгинувшего еврея, не оставившего после себя ходатаев, – но она пошла еще дальше в мелочности: «Из опасения, что адрес „Палас-отеля“ может показаться немцам вызывающим, Вера для ежемесячных выплат из Германии воспользовалась подставным адресом».

Там же. Стр. 382.

Шанс был прекрасный. Но сколько-то марок перевесили гордость и груз ее еврейства – думаю, что если не об этом, ей больше не о чем говорить с племянником.

Она же, как заклинание, сообщает ему о своей обывательской эпатажности (это – из того же письма):

«Я постоянно повторяю репортерам разных стран, кто я такая, так что теперь общеизвестно, что я стопроцентная еврейка».

Там же. Стр. 349.

«Обозреватель воскресного приложения к „Таймс“, признавший новизну „Бледного огня“, однако выразивший

предположение, что писать книгу было увлекательней, чем будет ее читать».

Там же. Стр. 384.

Они стали богаты. Деньги считают тщательно, не по-молодому – слава с деньгами пришла, когда обоим было под шестьдесят. Деньги приняли по-стариковски мелочно, запоздалую славу (ведь и «Дар», и «Защита Лужина», и «Приглашение на казнь», – все давным-давно уже было) – с прекрасным, жизнеутверждающим, молодым голодом. Вера Набокова, 1902 года рождения, в 1959 году выглядит так: «На фотографиях мы видим сияющую, ликующую, полную достоинства фарфоровую красавицу» (Там же. Стр. 341).

А их взаимоотношения, просто бытовые сценки, – так: «Посреди разговора они спариваются, точно бабочки за каждым кустом, и отъединяются друг от друга настолько быстро, что замечаешь это не сразу».

Там же. Стр. 368.

Как идеальная писательская жена, Вера берет на себя отношения с издателями.

«Более всего Веру заботили финансовые обстоятельства их жизни, так как Набоковы предполагали, что в ближайшие годы доход от „Лолиты“составит астрономическую сумму… Айзмен (адвокат семьи, которого Вера перепроверяла сама), обожавший Веру, восхищался ее интуицией и умением не упустить ни одной мелочи. Однако ее корыстный интерес был для него совершенно очевиден. „Сколь бы ни были теплы отношения между Верой и мной, налоговые льготы для нее были важнее“».

Там же. Стр. 379.

Вот маленький пример: Набоковы в очередной раз уходят от издателя к издателю. Обстоятельства таковы, что говорят не только об удачной сделке, а об измене: «За столом переговоров еще оставалось обсудить кое-какие детали, когда Айзман по холодному взгляду Веры понял, что его призывают идти дальше, чем он рассчитывал. Исходя из профессионального опыта Айзман считал, что Вера как никто рождена для ведения переговоров. „Миссис Набоков заставила меня выцыганить добавочные проценты (намного выше оговоренных цифр): не произнеся ни единого слова, сидя, откинув назад голову с разметавшейся седой гривой, с выражением отчужденного презрения ко всем этим ничтожным переговорам“».

Там же. Стр. 423.

Вера выступала как представитель фиктивной фирмы, чтобы вместе с сыном получать там и зарплату. Но кроме этой фиги налоговому законодательству ее второй родины, Америки, в сделке была и более сладостная сторона – лицезрение мук брошенного издателя. «Сликованием Вера заявляла, что по поводу измены Набокова он пребывает „в трауре“, „ярости“, „на грани истерики“. (Ничего подобного с Минтоном не происходило, поскольку коммерсант он был опытный, а каждое новое произведение Набокова после „Лолиты“ приносило ему дохода все меньше и меньше. Тем не менее Владимир прозвал его „Бадминтоном“)».

Может, при случае и плюнул на него – Вере было бы приятно.

Они подписали свой судьбоносный контракт (на «Лолиту»), простенький, короткий, на две странички, как для начинающего автора, но у нотариуса и все как положено, и вот когда слава, тиражи и деньги стали прибывать – а они прекрасно знали, как такие поступления надо перерабатывать! – Набоковы пустились в бесконечное плавание дезавуирования, обставляя собственного рисунка декором.

«Вера принимается убеждать, что контракт с „Олимпией“ следует считать не имеющим юридической силы».

Там же. Стр. 297.

«…объясняла суть запутанной и в высшей степени неприятной истории в связи с мертвой хваткой „Олимпии“».

Там же. Стр. 337.

Кто из авторов не проходил этого вначале?.. Очевидно, этим надо переболеть, как детской болезнью. А еще лучше давать молодым авторам просто-напросто написать расписку: «Я согласен, что меня грабят, облапошивают и надувают. Я согласен, чтобы у меня забрали все мои деньги, но только напечатайте меня». Ну, процентов девяносто и подпишут.

Владимир Набоков, правда, не был начинающим.

«Набоковых так и не удалось убедить, что Жиродиа соблюдает условия контракта».

Там же. Стр. 356.

Верой был придуман поистине гениальный ход: господа коммерсанты, навострите уши и берите на вооружение. Вера пишет адвокату: «Можно ли в контракт включить пункт о возможности расторжения отношений, если те будут сочтены неблагоприятными? Разумеется, инициатива должна исходить от Вас, а не от В.Н.».

Там же. Стр. 422.

Разговор Бориса Пастернака с книгоиздателем (иностранным, искушенным) по поводу мирового коммерческого значения романа «Доктор Живаго». «Ну, почитают; я сказал, что я не против, если он им понравится – пожалуйста: пусть используют его как хотят».

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 233. Может, был разговор и не совсем таким, но вряд ли более вразумительным.

«Мы абсолютные тупицы!» – убеждали Набоковы своих адвокатов. (Представьте чуть приоткрытые в детской наивности рты В. и В., прямо смотрящие глаза и хлопанье ресниц.) Вера клялась, что абсолютно беспомощна по части контрактов. Все это было до такой степени наоборот… »

ШИФФ С. Вера. Миссис Владимир Набоков. Стр. 376.

А ведь для чего-то надо было затевать эту игру. Игру, игру – все, что касается господ Набоковых, надо обязательно называть словечком «игра». «Игра» – и нет расчетливости, мелочности, вселенского холода. Холода, кстати сказать, сообщающегося – мы тоже ждем с потребительским безразличием: когда же нас рассмешат, растрогают, удивят?.. Там, где, если б не игра, мы бы уже сами сто раз рассмеялись, растрогались, удивились…

«"У меня нет никакой изобретательности", – саркастически замечает Вера, консультируясь, можно ли задним числом свести убытки к минимуму, и если да, то как. Она предлагает свой совершенно оригинальный взгляд на доход от изданий, однако, увы, ее консультант не убежден, что этот план устроит Налоговое Управление США. В отсутствии изобретательности Веру невозможно упрекнуть.

«Интересно, что другие писатели (или их жены) предпринимают, чтобы как-то с этим разобраться? По-моему, я ничего в этом деле не смыслю», – сетует она».

Там же. Стр. 451.

«В характере же Ивинской он note 23 неспособен был разобраться, мне кажется, еще и потому, что в пору его созревания таких женщин, как она, в России не существовало».

СОКОЛОВ Б. Кто вы, доктор Живаго? Стр. 183. Наверное, всегда существовали всякие женщины, в каких-то кругах – больше одного типа, в каких-то – другого. Женя Лурье, как тип писательской жены, была, конечно, самым распространенным

вариантом: эгоистичная, амбициозная, беспомощная, требовательная. Вариант более прагматичный, рациональный, способный работать над проектом в команде и не предавать корпоративные идеалы, был не востребован: какие там команды в Советской литературе! Ольга Всеволодовна была из семьи хозяйственных работников, в семье за спекуляцию сиживали – она и ухватилась за возможность поцеховить на Пастернаке, но закончилось, как неотвратимо убеждало советское правосудие, снова тем же – тюрьмой. Вера балансировала, как могла, над налоговым законодательством, но границу между твердой землей и пропастью видела – или прибегала к помощи людей, которые могли помочь рассмотреть.

«Ситуации с авторским правом в его случае превращались в сущий кошмар. Претензии супругов еще больше осложняли ситуацию. Их требования были выше понимания международного издательского сообщества».

Еще бы! Ведь в России поэт – больше чем поэт. А тем более – писатель, прозаик, пишущий так много и подробно.

«Привычным становится раздражительный тон. В конце 1962 года Джордж Уайденфелд предложил Владимиру составить иллюстрированный альбом европейских бабочек, на что тот с готовностью согласился. Через три года, несмотря на то, что Набоков много часов посвятил этому проекту, Вере было поручено передать раздражение мужа в связи с тем, что задуманное издание „остается у него только в мыслях, поскольку сильно мешают другие крупные дела“. Набоков не желал больше возиться с нелитературным материалом, однако ожидал платы за время, потраченное на него».

ШИФФ С. Вера. Миссис Владимир Набоков. Стр. 400.

Полагаю, что время тратилось также и на то, чтобы особенно продвинутые поклонники догадались, что его подпись – «бабочковидная», но что, разумеется, сделалась она такой совершенно случайно.

Жизнь их тяжела: круг их жизни – литература – не приносит им нисколько радости. Беллоу – «Кошмарный, до крайности скучный» (Там же. Стр. 419), об «Уловке-22» – «Вере было поручено передать мнение Набокова. „Эта книга – сплошной поток помоев, бездушный и нудный продукт пишущей машинки“, – объявила Вера, хотя ей было велено назвать произведение „Речевым поносом“» (Там же. Стр. 386).

«Когда Б.Л. что-то нравилось, то он был необычайно щедр и царственно расточителен в своих похвалах. Я почти не помню его отрицательных оценок. Он или молчал, или хвалил».

ГЛАДКОВ А.К. Встречи с Пастернаком. Стр. 163.

Они живут в Монтре в отеле «Монтре-Палас», зеваки (вы назвали бы их иначе?) приходят посмотреть на Набокова. Их довольно много, и Вера, конечно, пишет: «Какая-то дурацкая Ясная Поляна». Ведь и Монтре-то выбиралось не без влияния бывавших здесь «родственных душ» («В этих местах незримо присутствовали родственные тени: здесь бывали Толстой и Чехов; „Мертвые души“ были начаты где-то поблизости»).

ШИФФ С. Вера. Миссис Владимир Набоков. Стр. 378.

Совсем по-графски ведется и переписка. Вот образчик письма Набокова. Переписка с дамой. Ей сообщается рецепт «яиц по-набоковски». Начинается он с описания опускания двух яиц в кипящую воду. «Следует стоять над ними, столовой ложкой не давая им (имеющим обыкновение вертеться) стукаться о дурацкие стенки кастрюли. Если, однако, яйцо в воде лопнет (вон кипят как оголтелые) и начнет выпускать белое облачко, как какой-нибудь допотопный медиум во время своего сеанса, немедленно выловите и выкиньте прочь. Возьмите другое и будьте аккуратней».

Там же. Стр. 402.

Наиболее ценно в этом messaged, который Набоков выдал человечеству, прелестное выражение: «дурацкие стенки».

Конечно, пасти народы и писать исключительно на темы неизмеримо более значимые, чем яйца, тем более всмятку (с равной степенью таланта) – может быть, не менее пошло, но как тянет их всех сравнивать себя с Толстым.

«Я все время представляю себе, как ты в своих новых черных сапожках летишь через океан после остановки в туманном Париже. Обожаю тебя, мой ангел, в твоем норковом манто».

Там же. Стр. 393.

Евгения Владимировна Пастернак тоже бы выглядела великолепно и европейской дамой, дойди и у нее до норкового манто. У нее оказалась только шуба, неизвестно какая (очевидно, неплохая все-таки, хотя маловероятно, чтобы норковая), по воспоминаниям Зои Масленниковой, «разорившая семью», – правда, семью уже не Бориса Пастернака (его семью разорила Ольга Ивинская), а сына: после смерти Бориса Евгения Владимировна не оставляла свои привычки. В меховой шубе –

Ольга, кстати, предпочитала «нейлоновые», но она была женщина-бабочка, всё на один день, на одну ночь – Евгения Владимировна смотрелась бы несомненно более изящно, чем в шубе же – Зинаида Николаевна. Барыней Зинаида Николаевна выглядела бы безусловной, звездой – нет. Шуба для русской женщины – нечто большее, чем просто шуба, чем просто одежда. Из-за того, что шуб нет у семидесяти пяти миллионов других женщин (половина населения великой страны – женщины, и у кое-кого, для статистической поправки, все-таки что-то меховое есть), – у обладательницы в ее мехах концентрируется какое-то электричество этих семидесятипятимиллионных желаний, всей силы страны, бросившей свои ресурсы на что-то великое, а не на обновки для дам. Только с советской женщиной мог познакомиться в аэропорту французский модельер – из-за шубы. Ив Сен-Лоран знакомится с кем-то на улице – из-за того, что на даме надета дорогая вещь. Девку в хороводе могли выбрать за красный платок, папуаску – за блестящие бусы. Ив Сен-Лоран вроде бы должен насмотреться уже на норковые шубы, но он подсылает к Лиле Брик своего ассистента знакомиться, прельстившись ее зеленой норковой шубой от Диора – такой заряд посылается советской женщиной в шубе. Лиле Брик было за восемьдесят. Жене Лурье шубы не досталось. Она в тридцать лет, еще замужняя, опрометчиво написала Пастернаку, что жизнь ее (с ним, с его помощью, из-за него) состоялась («из бедности – к возможности большого богатства»). Она отдала себе в этом отчет, и не то чтобы слишком поздно, – но она, Женя, ничего не решала. Пастернак обязался ее содержать до конца дней, но не обещался большего.

«Во время работы над „Адой“ Владимир выспрашивал у сына Креспи, подростка, подробности его сексуального опыта».

ШИФФ С. Вера. Миссис Владимир Набоков. Стр. 441.

Сравните с роскошным выпадом Набокова против критика, углядевшего автобиографические следы (всегда очень прозрачные у Набокова, когда они есть) в одном из его романов: «Что, черт побери, сэр, известно вам о моей супружеской жизни?» Критиком был многолетний сослуживец

Набокова по университету Корнелла. Автор монографии добавляет, что он «несомненно знал кое-что о супружеской жизни Набокова» (Там же. Стр. 426).

Возможно, знал не что-то из подробностей сексуальной стороны этого брака. Об этом узнать у Набокова было бы затруднительно, за себя он несомненно смог бы постоять, это не так просто, как когда опытный взрослый человек с

коммерческими целями выспрашивает подростка. С коммерческими: и что интрига «Лолиты» выбрана в результате маркетингового исследования – это очевидно хотя бы потому, что то, что писатель хочет сказать сам, без подсказки маркетологов, он выписывает из себя, из своей жизни и из своего сердца. Толстой не прикрывался джентльменским рыком: что вам известно, сэр, о моей супружеской жизни? Он просто сказал: «Я взял Соню, перетолок с Таней, и получилась Наташа». Но в «Войне и мире» главны не те мысли, которые можно получить, интервьюируя кого бы то ни было в поисках клубнички. Жизнь с женой дает тот опыт, который человек считает своим.

Вера Набокова считала Марка Твена неподходящим чтением для ее двенадцатилетнего сына.

Если бы жизнь ее сына развивалась по сюжету, близкому к чуть более старшей Долорес Гейз, – считала ли она это подходящей темой для высокохудожественного повествования?

Он тщательно расспрашивал ребенка знакомых – надо полагать, с той же основательностью, с какой Гумберт Гум-берт ласкал Лолиту. Жаль, что в соответствии с милой американской традицией этот ребенок, повзрослев, не подал на него в суд, обвинив в каких-то особенно изощренных фрустрациях и особенном чувстве вины: видя неуязвимость взрослого, пожалуй, начнешь винить себя.

Он не родил, не создал эту проблему: он придумал ее. Достоевский не ходил и не расспрашивал.

Один критик назвал ей Набокова, в письме, ее «другом»: «"… вашего талантливого друга", – она с трудом сдержала ярость. Слово „друг“ ее явно не обрадовало» (ШИФФ С. Вера. Миссис Владимир Набоков. Стр. 296). Странная реакция женщины, к тому времени уже 35 лет бывшей женой. Наверное, история с Ириной Гуаданини все-таки надломила их брак фатально – впрочем, она же перевела его в разряд «связи», любовных отношений. Этот же шанс изначально был у Евгении Пастернак с Борисом – они никогда не полюбили друг друга, даже в самом начале, – значит, у них это всегда еще могло быть впереди.

«"Проще говоря, книга поражает как продукт воображения, парализованного тщеславием", – высказался Ана-толь Бройард в „Нью-Йорк таймс“».

Там же. Стр. 468.

Для определения их брака подходит слово «консума-ция». Свое супружество они так тщательно, основательно использовали

в каждой его составляющей, что можно и сказать – потребляли его. Потребителями были притязательными, придирчивыми – их единственный сын Дмитрий предпочел остаться неженатым. Он очень был похож на мать, не может быть, Вера не могла не заметить, что он представлял собой ее вариации там, где была свобода для этих вариаций; там же, где феномен – супружество – мать полностью «отработала» в положительном значении, ему не осталось ничего другого, как поставить прочерк.

«Знакомая привезла из Нью-Йорка и подарила Набоковым скраббл с русскими буквами, и на этой доске супруги каждый вечер устраивали свои профессиональные состязания (Вера отличалась скорее оригинальностью, выносливостью, чем истинным талантом. Владимир в большей степени сосредотачивался на восхитительной trouvaille)».

* Trouvaille (фр.) – находка.

Там же. Стр. 443.

Супругам далеко за семьдесят. Загадки жизни, надо полагать, все разгаданы; Набоковы идут дальше отпущенного им срока, создают жизненное пространство искусственно – играя. Игра – вечное понятие, наверное, можно представить ее и так – как иллюзию бесконечности жизни, но вот беда: Набоковы даже не были так наивны, чтобы хотя бы для этого играть, как наполняет ее сильными страстями картежник, – а они действительно состязались профессионально, чтобы Владимир не терял формы, был бы изобретательнее в выборе слов – главной теме его сочинительства, – вот что значит слово «профессионально».

В этом возрасте Толстой уже не размышлял и о том, как ему отказаться от заработанного, – он совсем освободился от этих вопросов.

«Эту игру Набоковы считали самым приятным из подарков, хотя она и сделалась в некотором роде источником недовольств: „Своим подарком вы оказали на Владимира пагубное воздействие, – с легким смешком говорила Вера. – Он мухлюет. Изобретает заведомо несуществующие слова“. Пожалуй, впервые Вера жалуется на то, на что, можно сказать, положила всю жизнь».

Там же. Стр. 443.

Действительно, слова эти затейливы. Действительно, те книги, которые писал Набоков, как остроумно подметил критик, – из того разряда, которые интереснее писать, чем читать. Набоков придумал прием, чтобы простимулировать интерес читательской массы (формула массы – n минус 1, где 1 – это Вера, Вера – это он, а n – ну это мы с вами): он придумал Лолиту, Аду. Про любовь

взрослого мужчины к неполовозрелому ребенку, брата – к сестре (секс, эротика – кто не клюнет!). Хотели клубнички – вот и продирайтесь через все найденные в скрабблах слова.

«Вера была почитательницей музыки, чего нельзя сказать о ее супруге, не воспринимавшем музыку ни на цветовом, ни на каком ином уровне».

На музыкальном – вот на каком бы хотелось. Это и неудивительно – все эти фиолетовые «м» и прочие диковины явились эрзацем отсутствующего чувства. Одаренный человек Набоков, знающий, что такое ДАР, и умеющий отличить, имеет он в себе его или нет, не мог не чувствовать недостатка в себе музыкальности Невообразимые цветные «м» легко конструировать, уверять окружающих, что ты именно так и представляешь, препираться с другим «посвященным», но это не дар, а имитация дара. В музыке это невозможно, потому что музыкант из любой страны мира сразу назовет «до» третьей октавы, а музыкально одаренный, но неграмотный, скажет, тот ли это звук – что «до-диез» или нет. В определении же си-реневато-розоватости звука «м» слишком большой простор для вариаций – или трюков. Трюки интересны нам в цирке именно тогда, когда они правдоподобны. Если необыкновенно изобретательный трюкач начнет показывать нам никем в мире не воспроизводимые фокусы по мгновенному изменению розового цвета звука «м» на голубой или даже зеленый – боюсь, большого энтузиазма у зрителей этот фокус не вызовет.

Они были «способны язвительно препираться за завтраком, какого цвета понедельник, каково на вкус „Е“ такого-то шрифта. < > Набоков с восхищением открыл для себя: несмотря на то, что палитры у них с Верой были разные, природа время от времени смешивала цвета. Например, „м“ у него было розовое (точнее, „розовое фланелевое“), у Веры – голубое, а у их сына – розовато-голубое».

ШИФФ С. Вера. Миссис Владимир Набоков. Стр. 58.

Вслед за ними и биограф повествует о событиях их жизни не по-простому: «По возвращении, как бы в повторение ихжизненной темы, ключи от чемодана затеяли с Набоковым длительную игру в прятки».

«У Веры было несомненное чувство красоты, которое обнаруживается в готовности, например, увидеть над сковородкой нимб или разглядеть сходство плакучей ивы со скайтерьером».

Там же. Стр. 59.

Что нам скайтерьер? Это хорошо или плохо? Что от этого иве?

Об иве, иве разрыдаюсь…

Это уже совсем другое. Конечно, Вера могла бы спокойно предоставить Пастернаку рвать на груди рубаху и рыдать, но в этой фразе нет школярства, нет расчетливости, нет работы на публику, дважды повторенное слово «ива» литературными средствами передает всхлип. А может, и само «разрыдаюсь» говорит о большой и истинной сдержанности – просто человек настолько уверен в своей несентиментальности, в отсутствии желания разжалобить, – что свободно может писать, что – разрыдался. А уж похожа ли та ива на скайтерьера – дело десятое.

Это какая-то самая первая ступень метафоричности (рассаженные за столами ученики литературной студии отвечают поочередно на вопрос: «Дети, на что похож этот куст плакучей ивы? Вера!»), но на этот раз это становится достоянием гласности.

Евгения Владимировна кажется исследователям личностью вровень с Пастернаком на том основании, что, приехав на писательский курорт, она первым делом принимается описывать в письмах, какие там цветут тамариски.

«Набоков восхищался Вериным описанием пейзажа, окружавшего их дом: „Вера уверяет, что верх западного фасада дома Гопкинсов, что на нашей улице, напоминает (sic!) череп (легко заметить, мансардное окно – впалый нос, окошки по обеим сторонам – впалые щеки, ведь старому Гопкин-су уже восемьдесят), и что дом Миллеров своим фасадом поразительно напоминает Джеймса Джойса“».

ШИФФ С. Вера. Миссис Владимир Набоков. Стр. 59.

Здесь важно слово «уверяет»: если ей кажется, ей напоминает – то нечего и уверять, достаточно сказать один раз. Мне – не напоминает. А если и напоминает – то что? Все эти облака, похожие на раскрытый рояль – ничего не меняют ни в нашей жизни, ни в художественном поле.

Вот жена, которую не удалось бросить с ребенком, которая не дулась в карты, не хоронила сыновей, которая в издательских договорах оговаривала количество не тюбиков губной помады и нейлоновых юбок, которая была притязательна и с горечью отмечала, что в стране Италии нет достойных вилл, и которая могла мгновенно подхватить разговор о цвете – и даже оттенке цвета! – звука «ю».

Любовь

Сводить с ума – геройство.

Вот наши героини. Ольга – подруга последней кампании, санитарка-звать-Тамарка, без которой пропасть; Евгения – штабная писарица, негласно при командире, ревниво следит за заслуженными привилегиями. Зина – вся брань мира, трофей и полководец, Елена Троянская и «в железо грудь младую заковала и Карла в Реймс ввела принять корону…». Ее полем сражения тоже был Пастернак, и, поскольку он был у нее только как МУЖ, то полем ее сражения был ВСЕГО ЛИШЬ Пастернак.

«Внешне Зинаида Ник. была очень хороша. Высокая, стройная, яркая брюнетка. Прелестный удлиненный овал лица, матовая кожа, огромные сияющие темно-карие глаза. Такой я ее помню в ранней юности, еще невестой Нейгауза в Киеве. < > В 1931 году она была полнее, овал лица немного расплывчатее, но еще очень хороша».

Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 137.

А вот 1949 год: «Грузная женщина с тяжелым, огрубевшим лицом и самоуверенными манерами»

Там же. Стр. 140.

Людмила Ильинична, последняя Толстая, красная графиня, та, которая уже через год после замужества, из секретарш (удалось найти нового мужа, когда его, пусть и опрометчиво, и всего лишь в педагогических целях, но – оставила жена), принимала посетителей (дочерей небогатых писателей) в утренние часы в «меховой накидке на плечиках и блестя бриллиантами» – была все-таки младше своей побежденной соперницы на тридцать лет. Крандиевской было легче утешаться: «свирепые законы любви»… , сын ее оскорбляет Людмилу «жестоко, скверно, грязно» (ВАРЛАМОВ А.Н. Алексей Толстой. Стр. 470). А Женечок только разок и напишет, через семьдесят лет, что Зинаида Николаевна книжку почитать взяла и не вернула. Она не один на один со своим горем. Женя же была права, вскрикивая, что «ни зеркало, ни люди не дают ей ответа» на ее страшный вопрос. Любовь, единственный раз в жизни посетившая Пастернака, не беспокоилась о том, чтобы отвечать кому бы то ни было на справедливые вопросы.

Пастернаку было сорок лет, когда, «подходя < > к дому, в

партере которого проживали Асмусы, <он> с мальчишеской прытью подбежал к окну и потом, с наигранной „мужской грубоватостью“, воскликнул, умерив свой гулкий голос: „А Нейгаузиха уже здесь!“ И чтобы простонародно-южнорусское окончание фамилии не показалось < > принадлежностью одной лишь Зинаиды Николаевны, поспешил что-то сказать об Ирине Сергеевне, назвав и ее на сей раз Асмусихой. Это и тогда меня поразило».

ВИЛЬМОНТН.Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. Стр. 147.

Слово «Нейгаузиха» заменяло дерганье косички у самой красивой девочки в классе. Что-то же надо было делать, просто так сидеть нету сил, всем можно себя выдать, подойти, что ли, подставить ей подножку? Пастернаку надо что-то делать с Зинаидой Николаевной. У него почти ни на что нет прав, он поможет потрогать ее только словами, надо найти слово какое-то грубое, чтобы ей тоже стало больно, и очень интимное, как никто ее не называет, – кто так назовет жену Нейгауза?

Осмысливать прошлое – самое ненужное занятие. Можно осмыслить его очень глубоко и связно, все выйдет необыкновенно всесторонне и поучительно, и интересно только тем, что осмысливает его человек – сейчас, а вот для материала себе выбрал давно прошедшие события. Он может создать целый мир позади себя, а когда наступит следующий момент в его жизни – куда шагнет он? Что подскажет ему осмысленное прошлое? Будет ли это сознательный, для завершения только что созданной картины сделанный шаг – и она завершится искусственным, сконструированным, вымороченным поступком? Или это будет все-таки новый фрагмент хаоса, который надо осмысливать заново, а то, что было осмыслено и вспомянуто, интересно только как рисунок поиска, но ни в коем случае не как этот случайно, необязательно выбранный материал – какое-то «прошлое».

Толстой реконструировал события пятидесятилетней давности, как будто сам по дальним лугам Ясной Поляны скакал на коне, нарываясь на отряд французов, как будто, щурясь от презрения, переводил глаза от письменного стола и прямо в глаза смотрел напыщенному жалкому Бонапарту.

У Достоевского все происходит под тиканье дешевых ходиков, которые стоят перед писателем. Он сверяет необыкновенные свои сюжетные ходы по ним – успеть бы, в какое-то прошлое уж точно времени лезть нету. Роман Пруста называется многозначительно: он не может гулять, не может разъезжать, навещая друзей и салоны, не может испытывать

пространства и стихии, в его руках только время, причем – он боится – только уже прошедшее время; а нам-то что? Мы приняли его декорации и следим за его мыслью.

Пастернак, усланный в 1959 году от Олюши и британских премьер-министров из Москвы, далеко в Грузию, дочитал роман Пруста. Если писать классическое повествование, как отпрепарировать своего героя в стерильного носителя какой-то сиюминутной идеи, куда деть все то, что видел он и пережил в предыдущих сценах?

Домом скорби называется не лепрозорий, не хоспис, не туберкулезный санаторий, а психиатрическая лечебница. Это только там нет отчаянной надежды, вспышек смирения, благодарного восприятия участия ближнего, благородного труда над осмыслением провидения Божьего, знания, часто и приумножающего и благоприятные прогнозирования. Женя от своих горестей, от крушений (если признать мир одного человека, одной женщины, за мир, то эта вселенная пережила катастрофу, распад от столкновения с каким-то астрономическим образованием, природу которого никто никогда не разгадает, не будет разгадывать) – с гулом ушли в вечность все части этой системы, и Женю не хватил удар, она не заболела грудью, она не ослепла и не поседела от горя. Читая ее подробные и требовательные письма из Мюнхена, делаешь это за нее. Она всего лишь заболела психически, не сломалась, а согнулась, сплющилась в бесформенную массу неподдающегося изучению безумия. Эластичность – это не способность выстоять; раздушившись под каблуком, не демонстрируешь стойкость. То, что можно собрать, не предъявляется как доказательство масштаба личности.

Анна Ахматова видела про всех все (она надеялась, что не увидят ничего в ней), припечатала и ее: «Женя была мила и интеллигентна». Женя с такими качествами (с другими все равно к Пастернаку заметно не приблизишься), возможно, была больше подходяща Пастернаку, чем вторая жена, даже этим минимумом не обладавшая. Зинаида Николаевна не была мила, она не была и интеллигентна – но масштабы их личностей, ее и Жени, были несопоставимы. Зинаида Николаевна была вытесана подходящим Пастернаку куском из каменоломен творения, запечатывала его дух, Женя была мила и все остальное.

Зинаида Еремеева поздно начала учиться игре на фортепьяно, как поздно начал учиться играть Рихтер и танцевать – Нуреев.

Пастернаку нравятся две музыкальные пьесы: «Рихтер сыграет этюд или 4-е скерцо, те самые, которые ты играла по возвращении с Кавказа».

ПАСТЕРНАК БЛ. Полн.. собр. соч. Т. 9. Стр. 229 (Письмо к Зинаиде Николаевне).

Ему все равно: Рихтер ли сыграет, или сама Зина. Разборчивость его в изъянах заподозрена быть не может – что касается музыки. Зинаида Николаевна была «драконом на восьми лапах» – так называла ее та же Ахматова (а может, и на шестнадцати она была, как повнимательнее посмотреть, от рассмотрения они действительно только множатся в глазах), но музыка внутри ее никуда ведь не могла деться, она всегда оставалась с ней – и Пастернак не мог ее не чувствовать.

Быков принимает на веру, что «Зинаида Николаевна, отлично разбиравшаяся в людях, не могла не понять, что рядом с Евгенией Владимировной она явно проигрывает, что называется, в масштабе личности».

БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 369.

В польском журнале «Przekroj», в еще его любимые Бродским времена, публиковались рисунки, в манере (чтобы дать идею) Тюнина: бородавчатый бугор земного шара, далекий космос с Луной, два носатых мечтательных пана, отвлекшиеся на созерцание вечности. Тот, что покрупнее и, очевидно, посолиднее, поражен мыслью: «Как я мал по сравнению со звездами!» На следующем рисунке он, наклонившись к своему малорослому приятелю, орет: «Однако ж побольше тебя!»

Такова же разница и в масштабах личности обеих мадам Пастернак. Более заметными их делала прикрепленность или отстраненность к каждой из них самого Пастернака. Хотя и здесь «Все – суета и томление духа!». В чем еще их отличия? Зинаида Николаевна писала грубо: «Просьба моя об одеялах и была потому, что я думаю головой, а не чем-нибудь другим» (Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак. З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 450). А Женя – всегда с поэзией: «Когда я приехала, цвели розы, их было так много, что они не в состоянии были держаться на кусте, они расцветали, а к вечеру уже увядали. Цвел тамариск, маслины. Воздух был такой, что все время ловила себя – вот тут рядом тамариск, а там маслины. Теперь цветут белые лилии и метиола. Второй день гроза круговая и буря. Крепко тебя целую (1959 год)» (Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка… Стр. 548).

Или это все тот же нежный стон Офелии: «Вот розмарин, это для воспоминания; прошу вас, милый, помните; а вот троицын

цвет, это для дум». Красотой ли они отличались? На привычный бытовой вкус, Евгения Владимировна ладнее, аккуратнее, миловиднее. Зинаида Николаевна – как из куска была сделана, так куском и осталась. Но вот влюблялись страстно только почему-то в нее, за Женей – какие-то глухие воспоминания, признания подруг дома: не могла, мол, Женя не вызывать внимания. То, что было в них не отраженным от Пастернака и возникшим не для отражения мужских вкусов (у Зинаиды – более самостоятельно), – их гражданские таланты, оставшиеся от воинственной женственности. Рисовать дотянуто-похоже, учась рисунку во ВХУТЕМАСе до тридцати трех лет, на заказ делать портреты, до дыр затертые резинкой, – и играть Шопена, так, чтобы тебя, в пятнадцатилетнем возрасте впервые севшую к фортепиано, приняли в Петербургскую консерваторию – вот это действительно разница уже не в цифрах, а в другом масштабе. Пастернак был такой, такой же комковатой была и Зинаида. Евгения затекала сладкой лессировкой в его грубые щели. Что ему подходило больше?

Горовиц – лучший в мире исполнитель Шопена. Шопен – любимый композитор Пастернака. Великие поэты медиумичны. Медиумичны и великие женщины – между Шопеном и Пастернаком стояла Зинаида Николаевна Ней-гауз, которая запросто, по-домашнему, играла с Горовицем в четыре руки. Советская пианистическая школа не имела изъянов. Можно было приехать на троллейбусе в Большой зал консерватории и знать, что нигде в мире никто не может предложить ничего более изысканного и величественного; все, что создано и/или позволено быть создавшимся, – предоставлено здесь. Но когда в Советский Союз приехал (он перед смертью, и Союзу тоже оставалось недолго) Владимир Горовиц, на него пришли все, не для коллекции, а потому, что именно его здесь тем не менее недоставало. Горовиц явился, потому что тоже знал, откуда он. Генрих Густавович давно лежал в могиле, Зинаида Николаевна тоже, но Пастернак ее не пережил, и она до его смерти прожила рядом с ним, носительница своего знания игры Шопена, и это было так же материально, как сам Горовиц, усаживающийся перед роялем, – для всего остального был Пастернак.

Вот вам и разница в масштабах. Была ли разница в масштабах женской обольстительности? Если была, то тоже в пользу Зинаиды Николаевны. Да, с ее приклеенными волосами и черными сбитыми плечами ничто не могло сравниться по антиэстетичности. Изящные шляпки Евгении Владимировны, выбранные с большим вкусом, в самом кокетливом и вымеренном

(особенно важном при тотальном дефиците, когда каждый чуть-чуть неосторожный шаг выдает ночное сидение модницы или ее модистки – это почти все равно, всякий труд дешев – за швейной машинкой или за раскрашиванием зеленого тушкана) приближении к экстравагантности, давали ей сто очков вперед, о ней охотнее можно было говорить как о жене Пастернака, она была писательской женой в самом его желательно цивилизованном варианте, Зинаида Николаевна была нон грата даже в ряду высокомерных дам в плюшевых шапках. Среди них, правда, хотя бы о масштабах личности никто не говорил.

Про Зинаиду Николаевну все помнят, что она «прекрасна без извилин» – хотя как бы мог Пастернак в любовном стихотворении такую бурсацкую насмешку любимой бросить? Жене еще друга, глядишь, вступился бы. Написал «без извилин», имея в виду – «без загогулин», по ловкости и отточенности формулировки одинаково. А вот про Евгению Владимировну, что все ее художества заключались в том, что пачкала краской траву, ее сторонники – молчок. Можно установить премию тому, кто найдет упоминание о ней без приставки: «художница».

Разницей в масштабах личности размеры любви не измеряют. Вот невеста Пушкина, Оленина, вот вдова его Наталья Николаевна. У Натальи в деревне дочерей по щекам хлещут, дед сумасшедший, мать «целый день пьет и со всеми лакеями <…>» (ВЕРЕСАЕВ В.В. Пушкин в жизни. Стр. 377), в Москве на бале знакомые дают целые башмаки переобуть взамен рваных. У Олениных (невестой Анна, конечно, не была – вряд ли Пушкин и предложение делал, но намеревался, это уж известно доподлинно) в Петербурге – квартира на Дворцовой набережной, где «собиралось многочисленное общество литераторов, ученых, художников, артистов. Посещали Олениных и приезжавшие в Петербург знаменитые иностранцы» (Быт Пушкинского Петербурга. Опыт энциклопедического словаря. В 2 томах. Т. 2. Стр. 129). Шарады, спектакли, папаша – директор Публичной библиотеки, президент Академии художеств, член государственного совета.

Разве сравнить масштабы?! Жениться потянуло на Наталье Гончаровой.

Вот Марина Цветаева и Зинаида Николаевна. Марина Ивановна тоже считала, что масштаб ее личности был крупнее, чем у Зинаиды Николаевны, – как не согласиться? «Знаю, – наивно прибавляла она, – что будь я в Москве – или будь он за границей – что встреться он хоть раз – никакой З<инаиды>

Н<иколаевны> бы не было и быть не могло бы, по громадному закону РОДСТВА ПО ВСЕМУ ФРОНТУ: сестра моя жизнь. Но – я здесь, а он там, и все письма, и вместо рук – рукописи. Вот оно, то „Царствие Небесное“, в котором я прожила жизнь… Потерять – не имев».

СААКЯНЦ А.А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. Стр. 540 (Письмо Марины Цветаевой – Ломоносовой).

Пастернак все это знал. Он все бы мог описать не хуже, но он приехал в Париж через четыре года и грубо сказал: у тебя нет ее прекрасной груди.

Здесь вроде бы все ясно, но ведь прекрасная грудь была и не у одной Зинаиды Николаевны во всей России. Значит, Пастернак просто копил в себе любовный заряд, который на что сдетонировал, на то и сдетонировал. Ведь он сообщал Зине, что и душу ее он любит чуть ли не больше ее груди. Для любви к душе у Марины Ивановны было ресурсов больше, чем у кого бы то ни было. Куда уж там «масштабной», с точки зрения жен других писателей и артистов, Жене Лурье! Пастернак не хотел мешать свою любовь с чьей бы то ни было, особенно с любовью таких масштабных. Он хотел любить сам – вот и полюбил Зинаиду Николаевну. Женю Лурье не полюбил.

О приятной полноте. «… у меня сердце сжимается от Жениной худобы. Ты не можешь себе представить, как это меня терзает. Ей не то что надо поправиться. Она – не она, пока она худа! < > Женя нравственно искажена, пока она не прибавит пуда. Я не смеюсь, в крайнем случае ошибся фунтов на десять. Жонечка! Поправляются же в санаториях! Неужели этого нельзя достигнуть? На своих детских и гимназических карточках она круглее, душевнее, гармоничнее и туманней».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 314—315. Случилось похудение и с Зинаидой Николаевной. «Ирина Сергеевна [note 24]часто приходила ко мне на огород и говорила, что я так худа, что, наверное, скоро умру… »

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.

З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 331.

Пастернак и раньше жаловался, что Зинаида Николаевна «худа, как щепка».

Субъективной этой ламентации документов в подтверждение во всей иконографии Зинаиды Николаевны не найдено, а вот «худобу, что краше в гроб кладут», можно увидеть на дачной фотографии Зинаиды Николаевны 1946 года. Она в белом платке на плече, с двенадцатилитровым оцинкованным ведром, пустым,

позировать для достоверности с полным она бы не стала – с пустым ей кажется достаточно натуральным и уместным. Она еще более отрешена от мира на этой фотографии, чем обычно, можно было бы сказать – подчеркнуто, если бы она подчеркивала, но ей никто бы не нашелся ничем возразить: горя большего, чем у этой женщины в 1946 году, не бывает. Для горя она была и готовлена жизнью, она получает свое. Но это портрет упитанной женщины, грудь лежит на подпоясанном животе, икры равны по длине окружности хорошей талии, точеными бочонками поднимаются над изящными щиколотками и стройными босыми ступнями.

Самый чуждый Толстому тип женщины – толстовки. «Маленькие босые ноги ее были пыльны и тоже темны и сухи от загара, как это, подумал я, ходит она босиком по навозу и всяким колким травам! От того, что она была из нашего круга, где не показывают босых ног, мне всегда было и неловко и очень тянуло смотреть на ее ноги».

Бунин. Жизнь Арсеньева. Бунинской толстовке толстовство в тягость, но, оказывается, и женщины с изящными ступнями могут быть самозабвенными огородными работницами; это исключение

только подтверждает общее правило. Сколько найдешь женщин, равных Зинаиде Николаевне Пастернак, столько и найдешь органично забывших себя в земле толстовок. Но Пастернак подстраховался – от его толстовства не отмахнешься, когда надоест, он создал у себя в доме реальную нужду для Зины. «…мы похоронили старшего Зининого сына Адриана, 20 лет, умершего от костного туберкулеза, которым он проболел всю войну в больнице. Жизнь такова, что не чаявшая в нем души мать, зная, что это последние дни и считанные минуты < > ездила к нам <вскапывать> картофельные гряды накануне его агонии, чтобы не упустить горячей огородной поры».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 759– 760. За страдания женщин не любят. А тут еще и худоба. Бог послал Ольгу Ивинскую. «В Консерватории < > он был вместе с какой-то толстой, румяной, с волосами, крашенными перекисью, особой лет, как мне тогда показалось, 35-ти».

БЕРКОВСКАЯ Е. Мальчики и девочки 40-х годов// ПАСТЕРНАК БЛ. Полн. собр. соч. Т. 11. Стр. 543.

«Все же в том, что касается личной жизни Пушкина, Блока или Ахматовой, сохраняется оттенок тайны, так оно и должно быть».

ВЕНЦЛОВА Т. Бродский в воспоминаниях // Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников.

Книга вторая. Стр. 149. Самое обычное дело – сравнивать

Пушкина и Ахматову: тайны их личной жизни. Пушкин строго и не напоказ оберегал свою личную жизнь – странно даже подумать, чтобы он что-то мог вынести на всеобщее обозрение, чтобы он хотел сформировать общественное – публичное, площадное мнение о своей личной жизни или хоть о какой-то ее детали. Нельзя поверить, будто он сознательно – то есть не для себя, для пиара – хотел создать пару первый поэт – первая красавица. Просто Пушкин без красавицы себя не мыслил. Как ему не на красавице было жениться, с чего бы это? То, что они складывались потом в рифмованную по смыслу пару, так это так случилось.

Это смрадное слово, если воспользоваться словарем Анны Ахматовой, – тайна – в его одном, узком и пошлом значении, она же, Анна Андреевна, и ввела в литературный обиход. В ее полном собрании сочинений ее биограф, соблюдая крещендо, пишет: «здесь мы подходим к тайне Анны Ахматовой». «Тайна» поэта Анны Ахматовой заключалась в том, что первый в ее жизни половой акт – дефлорация, потеря невинности – произошел у нее ДО свадьбы. Комментатор – ученая дама, кандидат наук и пр. – пишет об этом очень серьезно. Анна Андреевна относится еще серьезнее. Своему летописцу, юному Лукницкому, подведя его к высшей точке заинтересованности, она завесу тайны чуть-чуть приподнимает – а может, чуть-чуть больше туману напускает.

«О том, о первом, кто узнал АА, Николай Степанович помнил, по-видимому, всю жизнь, потому что уже после развода с АА он спросил ее: „Кто был первым и когда это было?“ Я: „Вы сказали ему?“ АА, тихо: „Сказала“…»

ЛУКНИЦКИЙ П.Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой.

Том 1. Стр. 145.

Пусть современники и потомки мучатся над разгадкой. Вот Томас Венцлова до сих пор считает, что ТАЙНЫ есть. У Бориса Пастернака, по счастью, тайн нет.

У Пастернака жены были одна хуже другой. Он относился к Зине гораздо хуже, жестче, чем к Жене, – просто потому, что Зина была проще и жестче ее. Женя была с «вызовом и неуступчивостью в характере, отчего все и случилось» (БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 689), – но это была черта ее продуманной личности, а у Зины – грубой простоты. С ней мог справиться Нейгауз, дело которого – музыка – более чем условно и дальше, чем что бы то ни было, отдалено от того, что может быть положительно охарактеризовано словесно. Слов на Зину надо мало: красота, сексуальность, честность, трудолюбие и чадолюбие; для Нейгауза было более

чем достаточно, он никогда бы ее не бросил, не оставил, она была бы скорее всего стройнее, оживленнее, могла бы быть кокетливой – может, завела бы и роман как-нибудь почти тайный, чуть-чуть заметный, нисколько не нарушающий покой Генриха Густавовича и условий для его работы (и проказ). Пастернаку не надо было на ней жениться, при такой сильной любви трудно жениться, любовь здесь намного важнее ее предмета. При пожаре все погибает, но самое первое, на что обращают внимание пожарные, как прибудут, – есть или нет сам огонь? «Зина сгорела в романе со мной». В пожаре полопались и потускнели все зеркала, и Пастернаку некуда было глянуться и самому.

Пастернак не был первооткрывателем женщин, он их не создавал, он ни для кого не стал Пигмалионом – и себе не завел Галатею. Евгения Владимировна такой и была с самого начала – тонкой, с культурными интересами и пополнявшимся багажом, не упустившая возможности обеспечить свой престиж респектабельной будто бы специальностью, всегда беленькая и изящная, она стала бы идеальной женой для медленно идущего в гору, но знающего себе цену писателя, типичной – придирчивой, неумелой, недовольной и требовательной – хозяйкой писательского дома; Пастернака ей было многовато, она удовлетворилась выделенной частью на всю жизнь. Зинаиду Николаевну он разглядел, только когда ее уже осветил своим огнем другой, – невероятно, чтобы он обратил на нее внимание, если б она потерялась в Гражданскую войну и осталась без Нейгауза. Ее иную будущность трудно вообразить – Зинаида Николаевна штучный товар и не имеет массового хождения. Он же ее еще и обуглил «в романе с собой». Ну а лепить из чего-то и для чего-то Ольгу Всеволодовну – для этого совершенно не надо было бы утруждаться, такие веселые и добрые маркитантки есть при каждом обозе – «…редкостно хороша – ладная, гармонично сложенная (рост Венеры – чуть выше ста шестидесяти, нога тридцать пятого размера), золотые волосы, улыбка, большие светлые глаза, музыкальный голос… » (БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 681—682).

Разбираться в Зине тяжело, редко можно найти чье-то воспоминание хоть с каким-то добрым словом в ее адрес, хочется махнуть рукой и сказать: была красива, за то и влюбился, больше не было ничего. К словам таким полагается прилагать фотокарточку, но здесь уже придется пометаться в поисках какой-нибудь допастернаковской, ранней.

«Все кругом блестело, одежда „хрустела“ от крахмала, мальчики одеты всегда были безупречно».

«Она была величаво спокойна, сдержанна, никогда не повышала голоса. В ней чувствовалась оправданная уверенность в себе».

Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 370. (Воспоминания М. Анастасьевой).

«Недоставало одного лишь Нейгауза: он задерживался в консерватории, или, как помнится, на „закрытом“ концерте в каком-то почтенном учреждении (так пополнялся скромный бюджет и тогда уже давно прославленного профессора московской консерватории)».

ВИЛЬМОНТН.Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. Стр. 139.

Женя выражала недовольство (когда ее выражений уже вроде в расчет не полагалось принимать, но все равно их почтительно выслушивали), что Зине достался Пастернак когда он стал богат, а на ее долю выпали трудности. Так ведь за такого Женя выходила замуж, на большее она и ее семья не рассчитывали. «Ни с того ни с сего Евгения Владимировна мне поведала, что их поженил ее брат < >. „Сеня, он самый умный в нашей семье, прямо сказал Боре, чтобы он на мне женился“» (ВИЛЬМОНТ Н.Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. Стр. 63). А с чего Зине было выходить за кого-то бедного?

О сходстве Зинаиды Николаевны и Наташи Ростовой. Зинаида Николаевна не баловала Пастернака своей фортепьянной игрой.

«Наташа не следовала тому золотому правилу, проповедуемому умными людьми, в особенности французами, и состоящему в том, что девушка, выходя замуж, не должна опускаться, не должна бросать свои таланты, должна еще более, чем в девушках, заниматься своей внешностью, должна прельщать мужа так же, как она прежде прельщала не мужа. Наташа, напротив, бросила сразу все свои очарованья, из которых у ней было одно необычайно сильное – пение. Она оттого и бросила его, что это было сильное очарованье. < > Она чувствовала, что связь ее с мужем держалась не теми поэтическими чувствами, которые привлекли его к ней, а держалась чем-то другим, неопределенным, но твердым, как связь ее собственной души с ее телом».

Л. Толстой. Война и мир.

Кто жил в лесу на даче, в деревянном доме, где есть рояль, на котором играют профессионально, или кто имеет самое

элементарное воображение, чтобы это представить, тот имеет представление если не обо всем рае целиком, то хотя бы о единице райского блаженства: в отличие от многих других прекрасных мгновений, которые нельзя остановить, это может длиться столько, сколько длится. По крайней мере – часами. А уж великие музыканты все трудолюбивы.

Поймать Пастернака на музыку было бы легко – у него «было для этого достаточно данных», при его разборчивости.

Она же даже пресекала занятия игрой Ленечки, у которого были явные способности (почему бы им не быть?).

«Его мечте о музыке, которой он страстно увлекался, не суждено было осуществиться. Она не встречала сочувствия у Зинаиды Николаевны, которая говорила, что это просто зависть к Стасикину фраку. В то время Станислав Нейгауз уже стал знаменитым пианистом и выступал с концертами, на которые ходили всей семьей. Леню не учили музыке с детства, и он занимался ею самостоятельно».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 522.

«Стасик делал огромные успехи в музыке. Все больше и больше он мне нравился как пианист. Его игра меня захватывала и удовлетворяла моим строгим требованиям».

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.

З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 328.

«Приехав однажды в Переделкино и встретившись с Зинаидой Николаевной у входа, я услышала, что кто-то в глубине дома играет на рояле, и спросила ее: „Это Стасик?“ Зинаида Николаевна возмутилась: как это я могла перепутать блистательную игру Стасика с Лениными экзерсисами?»

МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 301.

Из письма Пастернака: «Зин. Ник. очень хорошо, с нематеринской трезвостью говорит о Стасике и о поездке, отделяя вопрос о его успехах от вопроса о том, как он играл… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 488.

Ну а Ольга Ивинская – это уж совсем другое, здесь попроще. «Когда очередь дошла до хлопушек, все были уже порядочно пьяны – не столько от шампанского, сколько от возбуждения. Пели <…>. Мать затянула, конечно, „Стеньку Разина“… »

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка.

Стр. 169—170.

«Мы иногда играли с Горовицем в четыре руки, я получала большое наслаждение. Часто играли мы в четыре руки и с

Генрихом Густавовичем, этим ограничивались мои занятия музыкой – заботы и радости материнства отнимали у меня все мое время».

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.

З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 259. Строгость «ограничений», надо сказать, весьма специфическая.

Кто поверит, что Горовиц или Нейгауз могли играть с кем-то, кто играл тупо? Это было бы просто невозможно – Зинаида Николаевна просто не могла не играть талантливо. Он мог быть невеликим, ее талант, но в ней должна была быть безупречно естественная музыкальность.

Декабрь, 1931 год. «Как и всегда после удачного концерта, мне показалось, что я смертельно люблю Генриха Густавовича и никогда не решусь причинить ему боль. После концерта он пришел ко мне, и тогда возобновились наши супружеские отношения. Это было ужасно. Через двадцать дней, уезжая в Москву, он сказал мне: „Ведь ты всегда меня любила только после хороших концертов…“»

Там же. Стр. 270.

Туманная фраза, которую из-за простоты, прямолинейности (в том смысле, что сближает их с примитивностью) ее литературного слога трудно понять. А сама резкость постановки вопроса заставляет часто это высказывание цитировать. Вряд ли сама Зинаида Николаевна стала бы писать такое о себе, если бы Нейгауз разгадал, что ее любовь к нему (то, что осталось от любви к нему, и то, что осталось от Пастернака) находилась в зависимости от подтверждения – хорошим качеством очередного концерта – его статуса. Остается другое – Нейгауз признавал за ней способность так равновелико ему и честно оценивать его творчество, что она становилась сама ровней ему, и ему еще надо было ее заслуживать. Если так было киевской зимой, скорее всего так было и киевским летом, и в Ирпене на веранде Пастернак видел кумира своего Нейгауза и равную ему Зинаиду Николаевну.

Первое, за что Пастернак возненавидел бы Зинаиду Николаевну, разлюбив, была бы ее немузыкальность, в ее неповторимом случае, узурпаторство, она же была замужем за воплощенной для Пастернака музыкой – и он бы настаивал, чтобы его оправдали.

Зинаида Николаевна была из самородков, из тех, кто начал поздно – лет в шестнадцать, сейчас в эти года уже вовсю идет профессиональная карьера. Наверное, гораздо больше таких самородков остается в безвестности, поражая окружающих

какими-то глубинами и откровениями, теряющимися в хаосе отсутствия и школы и общей культуры. Они – из феномена Маугли, который никогда не научится говорить, если не сделал этого в подходящем возрасте, а Рихтер с Нуреевым – из Ильи Муромца. Это – сказочно, но сказочным были и Нуреев с Рихтером. Зинаида Николаевна?

«…готовилась к выпускным экзаменам. В этом же году я стала заниматься музыкой с преподавательницей, которую прислал и оплачивал Николай (растлитель Лары Кома-ровский). Я занималась с большим увлечением и делала успехи. Когда я с серебряной медалью окончила институт, я держала экзамены в консерваторию и была принята сразу на средний курс к профессору Лембе, ученику Блуменфель-да к которому все стремились попасть как к лучшему профессору. Экзамен принимал Блуменфельд (впоследствии я вышла замуж за Г.Г. Нейгауза, его родного племянника). После экзамена Блуменфельд подошел ко мне, ласково поздравил, рекомендовал заниматься с Лембой и обещал на старшем курсе взять меня в свой класс. Успех с музыкой потряс меня своей неожиданностью, и я стала серьезно заниматься. Любовь, увлечение – все заслонила музыка, и я дала себе слово никогда не выходить замуж и посвятить ей всю мою жизнь».

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.
З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 242.

«Больше всего на свете я любил музыку… »
ПАСТЕРНАК Б. Охранная грамота.

О разнице масштабов. Женя: «Она любила БЛ. подлинной сильной любовью, которая пережила Б Л Потеря его была для нее горем, надломившим ее жизнь и заслонившим все уколы женского самолюбия» [Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 137

(воспоминания Е. Черняк)]. А Зинаида Николаевна – «Он рассказывал, что Зинаида Николаевна совершенно сгорела в романе с ним» (Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка… Стр. 528).

Не только с ним. Ее предыдущий роман – и еще более предыдущий, тот, который Пастернак переживал гораздо более сильно, и ревновал к его герою куда жгуче, чем к любезному Генриху Густавовичу, – они тоже требовали душевных сил. Два великих человека влюбляются в нее самой страстной любовью, а потом самые заурядные личности шарахаются от нее, разве что в карты садятся рядом играть. Прожиты жизни или промерены

пропасти несравненно большего калибра, чем у удобно и требовательно устроившейся рядом с совестливым бывшим мужем Евгении Владимировны.

Зинаида Николаевна – женщина, судьба которой рождала бы Пруста в каждом отдельно взятом мужчине, который был бы с ней знаком на протяжении какого-то достаточно большого количества лет. Пастернак постоянно читает Пруста (вернее, все никак не может дочитать, а бросить не хочет: еще в 1924 году захлопнул на пятой странице – и оставил своим важным писателем), о его размышлениях над ним постоянно пишут мемуаристы и биографы. И сам объем, и такая сладкая русскому взору беллетристичность, и именно из-за этого все возрастающая непонятность – все вынуждало и вынуждало Пастернака высказывать свое мнение о Прусте. Пруста Пастернак прочел до конца только в 1959 году. «Он хотел узнать, что такое найденное время у Пруста, и понял, что это одновременное присутствие в каждом моменте настоящего двух времен, прошедшего и наличного, и через ежемгновенно существующее просвечивает как воспоминание прошлое, связанное с происходящим невидимыми нитями ассоциаций. Такое понимание всегда было очень близко ему самому… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 546.

Когда он видел Зинаиду Николаевну на переделкинской даче: «У Зинаиды Николаевны много тучных плеч и очень много тучной, черной от солнца спины: она в сарафане» < > «Плечи и руки у нее сильные, как у борца» note 25, то просвечивало ли для него вот это: «Яхорошо помню, как на одном из концертов Нейгауза, когда Борис Леонидович уже ухаживал за Зинаидой Николаевной, я увидел их в комнате перед артистической в Консерватории. Зинаида Николаевна сидела, подняв лицо к Пастернаку, а он, наклонившись к ней, что-то говорил. Я никогда не забуду этого поворота головы, ее профиля. Так она была прекрасна» (Ц. Воскресенская. Что вспомнилось… Стр. 145. Цит. по: Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак. З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 7).

А когда у тебя по дому ходит «верещащий кусок мяса» (это наблюдение Андрея Синявского, но оно ядовито и неопределенно настолько, что можно заподозрить, что верещали на него и никто не заступился) или по крайней мере «чистый носорог, и эти фестончики, которые она носила всю жизнь!» (БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 413), – просвечивает ли «Она была так юна, так несказанно притягательна… кузен ее, гвардейский офицер, водит

ее под вуалью в отдельные кабинеты ночных ресторанов!.. » (это сам Пастернак фантазирует о том, что ему не досталось).

Непререкаемы ли, как физические, законы обязательности просвечивания времен, или такой был многослойный взгляд у Пруста (осознанный, ведь это он открыл этот закон) и Пастернака (он его чувствовал, но не хотел подчиниться, не хотел любить Зинаиду Николаевну как девочку под вуалью), так что даже близкие смотрели на то, что постоянно было перед глазами Пастернака, его взглядом. Есть и другие, например, взгляд Вильмонта – ему, наверное, просвечивание было явственнее сегодняшнего рисунка:

«Я не раз видел Зинаиду Николаевну в самых мучительных положениях и всегда вспоминал сказанные о ней пастернаковские строки. Я застал ее в Переделкине, постаревшую и изнуренную тяжкой болезнью. Она лежала в постели. Но на подушке высилась все та же гордая итальянская голова (рожденная Еремеева, дочь русского генерала инженерной службы, умершего еще до революции, она по матери – итальянка). На одеяле покоились ее обнаженные, все еще в меру полные руки, удивительно, по-античному изваянные природой. Все о ней сказанное поэтом оставалось в силе. Такова точность Искусства».

ВИЛЬМОНТН.Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. Стр. 183.

Зинаида Николаевна нефотогенична – наверное, потому, что слишком ярка. На черно-белой фотографии ее черты говорят ярко и однозначно, как буквы, складывающиеся в знакомое и всем понятное слово: красота. От русского лица, как национальной черты, ждешь зрительного изображения для всех очевидной духовности. Если ее – а черта-то не особенно широко распространенная – нет (в смысле не видать), то обязательно выставляется претензия. Кому-нибудь другому бы простили. Живописные портреты Елены Дмитриевны Дьяковой, бессменной музы Сальвадора Дали, Галы, отвратительны по сходству с какой-то много раз виденной фотографией довоенной или сразу послевоенной эпохи, повсеместно распространенным типажом надменной, брезгливой, с большими претензиями сановной дамы, никак не меньше обкомовского уровня (и губы, и локоны, и воротнички, и номенклатурное выражение лица). Меж текущих циферблатов и расчлененных лошадей эта нешуточная конкретность притягивает взгляд к себе как самый сильный элемент. Фестончики Зинаиды Николаевны так же вызывают ненависть зрителей. Пастернак говорит: красавица моя, все – монстриха. Пока дама не стала вечной красавицей с локонами,

они просто выдают ее возраст. Нелепая куафюра – не как благоуханный знак времен, а как протухший кусок недавно ушедшего времени: когда все еще просто старо, старомодно, достойно свалки, а не антикварной витрины. Модные прически – как метрика.

Сильнее всех Пастернак любил Зинаиду Николаевну. Одно самоубийство Маяковского кого хочешь загонит в депрессию. Его самого, Бориса, не пустили за границу. Расстреляли хорошего молодого поэта, которому он покровительствовал и сочувствовал его жене. Как в «Анне Карениной» – все несчастные семьи все-таки похожи друг на дру га. Семейное согласие надломилось все в том же месте: Женя была холодна, требовательна, ленива, она хотела стать художницей, Пастернаку негде было это купить.

Его не могла бы вытянуть какая-нибудь хорошая женщина с приличным набором достоинств, тем более равная ему по масштабу, каковой бы считалась, например, стоящая при людях у мольберта. Совершенства не бывает. Нельзя найти его, особенно если искать. Любови (во множественном числе), в частности любови-поклонения, когда объект любви кажется совершенством, случаются так: готовый влюбиться замечает в женщине ее высшую точку – ту, которую он в данный момент наиболее готов заметить (чаще всего влюбляются в красоту, в сексапильность, в легкость нрава). А потом по этой высшей точке влюбленный описывает окружность, будто бы возлюбленная его во всех радиусах так же высока. Пустоты, даже и сильно зияющие, заполняются собственно его любовью. Совершенная фигура – совершенство; любовь, основанная на поклонении совершенству, – готова.

Редкий случай в мировой литературе – в лирической поэзии, – когда точно известно, за что конкретно Поэт полюбил свою Музу (Лауру, Беатриче, Зинаиду Николаевну). В последнем случае – за трудолюбие и сноровку в домашней работе. Казалось бы, посетители, гости дома должны были бы с интересом присматриваться к хозяйке: вот она, которую полюбили за то, что она так быстро бегает по кухне. И кто полюбил! И как! Но времена были скрытные, затаенные, глянцевых журналов не было, интервью на такие темы писатели не давали. Все живилось преданиями, а предаваться хотели посвященные – писатели, которые кое-какие подробности кухонного и спаленного быта знали, – вещам гораздо более крупного масштаба: государственным делам, политике, писательской карьере.

На Зинаиду Николаевну никто внимания не обращал, никто не восторгался, никто не ужасался. Одна Анна Андреевна

Ахматова, имея досуга больше, чем остальные писатели, не могла не исследовать всех качеств Зинаиды Николаевны. Жены великих людей – это была ее коронная тема, поскольку роль, которую играли эти дамы, она считала достойной лишь себя. Обладая поистине великой наблюдательностью, она одна сказала: «Когда нечем было восхищаться, он восхищался тем, что она сама мыла полы». Она не знала, что, как правило, влюбляясь, каждый восхищается чем-то приблизительно таким же малоценным – и очень часто гораздо менее утилитарным.

Зинаида Николаевна мыла полы. По крайней мере оригинально. За что Маяковский полюбил Лилю Брик? За яркие глаза, решительный нрав, передовые взгляды на вопросы (и решение вопросов) пола. Слишком много достоинств для одной возлюбленной – таких замечательных барышень немало можно встретить. Скорее всего сначала была искра, а уже потом было не отвертеться от достоинств. Говорят, что в Пастернака искрой ударил Нейгауз – и только после подоспела с кастрюлями Зинаида Николаевна, но это самый бесплодный разговор, к тому же и нейгаузы на дороге не валяются.

Зачем для любви нужна женщина? Зачем было разбивать семью Зинаиды Николаевны, когда все ее недостатки он видел и знал? Он придумал достоинства, но он мог бы придумать эти достоинства сам по себе, не закрывая ими конкретную женщину. Ведь это была энергия, родившаяся в нем самом, в Борисе Пастернаке.

Написать Цветаевой значило объяснить ей, почему он предпочел не ее. Цветаева называет себя «малокрасивой» – это красиво как слово, но женщине нельзя быть малокрасивой: здесь какой-то душевный, нравственный или какой-то иной, непонятый собой и себе необходимый изъян. Цветаева отвечает Борису более кратко – ей скучна его любовная история. Думаю, она вздыхала от пережима, когда читала во все новом письме: «на то он и брат мне» (о Нейгаузе) (Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922—1936 гг. Стр. 537), «Он играет совершенно неслыханно, с неожиданностями ТАКОГО полета, что право авторства самим звучаньем переуступается от Шопена и Шумана ему, он побеждает такое страданье, что, скрючившись, я реву и ноги готов ему целовать, думая, что меня не заметили. Но в антракте меня зовут к нему. Я говорю, что его на руках надо отнести с концерта» (Там же. Стр. 538).

Действительно, можно поверить в неревность Ольги Ивинской и поверить, что Пастернак влюбился в Генриха, а не в Зинаиду. Наверное, более яркого момента любви к Зинаиде

Николаевне, чем во время этого концерта, он не переживал за весь их роман. Потом они поехали вместе пить – тут бы еще есенинского «бить Зинке морду».

Письма к Цветаевой не самые интересные, но в них какая-то совершенно особая нота искренности, он не стесняется ее. Придворный лис князь Василий (Курагин, отец Анатоля и Элен), врожденный лжец, выбирает такой тон: «как бы человека, убедившегося в невозможности лгать перед проницательностью собеседника», – в каких-то нотках слышится, что Пастернак готов рассмеяться от отсутствия необходимости приукрашивать или выкристаллизовывать свои чувства перед Мариной Ивановной, она и так все понимает. Каждое слово, сказанное им. Ей просто ИСТОРИЯ не очень интересна. Возможно, неинтересно даже то, что было потом в этой компании: «"Как гениально! – слышится со всех сторон. – Гениально. Гениально", – твердит вполголоса Гаррик» (Там же. Стр. 538). Это Пастернак читает компании Цветаеву. «Сейчас звонит (все тот же Гар-рик). <…> „Да, знаешь, я все утро читал. Какая высота! Какой родной, единственно нужный человек, единственно необходимый!“» (Там же. Стр. 539), – она не влюблена в Нейгауза, Нейгауз не влюблен в Цветаеву. Пастернаков-ский восторг слога кажется преувеличенным.

Странно, совершенно нелитературные воспоминания самой Зинаиды Николаевны, написанные через тридцать пять лет после пастернаковских писем, полностью соответствуют их фактической последовательности. Писем – к Цветаевой, к родителям, к Фрейденберг она, конечно, никогда не читала. Они очень правдивы оба, она и Борис Леонидович. На удивление, что странно, все-таки любовь – это не тот предмет, о котором не может быть двух мнений, какого она цвета: что казалось синим одному, может показаться красным другому. Пастернак написал, а она запомнила одни и те же события – как будто, кроме них, ничего больше не было. Все это вехи, конечно, развития отношений – и объяснение в поезде, и признание Нейгаузу, и рыдание последнего во время концерта (замечательный биограф яростно упрекает Зинаиду Николаевну в неточности и передергивании непреложных фактов: не посредине концерта Нейгауз зарыдал, опустив голову на рояль, а только в конце. Зинаида Николаевна уличена!).

Ее «пугающее обаянье» – биографы недоумевают: звучит угрожающе, так не воспевают, однако о последующей «фурии из парикмахерской» написано так, как есть. Автор не хочет добавлять ей «женственности» – добавляет страха сам; сам же и пугается, отступает, сдается. И это не эрудиция вывела его на этот

тон, не калейдоскоп культурологических реминисценций, это такой древний зов, который одним известным мотивом трубит в крови уже не первое тысячелетие. Кто прочитал один раз, помнит, как камертон: «Ибо прекрасна ты, возлюбленная моя. <> И грозна, как полки под знаменами» (Песнь песней Соломона). Зинаида Николаевна была более грозна, чем Евгения Владимировна, больше, тяжелее, – и Пастернак подумал, что он нашел единственно верное воплощение любви. Единственной он называл ее не раз (единственными в своем роде могут быть и уродства – как индивидуальный message данного конкретного человека всему миру), с годами договаривает: для меня.

И о великом человеке можно написать невнятный сусальный текст, и о маленьком человеке – роман. Кто знает, был ли реальный прототип у Акакия Акакиевича и не был ли это просто фрагмент из автобиографии: «Один день из жизни Николая Васильевича»?

Довериться одной-единственной биографии нельзя, какой бы скрупулезный исследователь ее ни написал. Все с течением времени все равно будет меняться. Читать о Пушкине интересно потому, что Пушкин – замечательный герой романа, который каждый пишет сам. Приятно же читать роман с прекрасным, достойным, интересным, непредсказуемым героем.

Пастернак – герой этого любовного романа. Ничего не выдумано – только посмотрено с разных углов. На Пастернака смотреть интересно, и не мучает вопрос: а стоит ли этот герой романа? Роман о Пастернаке написало множество людей – все, кто хоть что-то биографическое о нем читал. Кто не читал о нем, а читал только его, – те читали только его романы о себе. О чем еще стихи?

И фамилия Нейгауз красивее фамилии Пастернак. Удивительно, как это он из внимательности к семантическому bon ton не поостерегся от участия в треугольнике «Виноград» (Елена) – «Листопад» (Сергей) – и тут еще и он со своей огородной фамилией. У Жени Лурье фамилия из таких, которые требуют порядкового номера («Иванов седьмой. Хоть ты и седьмой, а дурак…») – и тут выходят Генрих Густавович Нейгауз и жена его Нейгауз Зинаида Николаевна (очень наглядно: вот ей бы и оставить во втором браке «фамилию детей»).

Зинаида Николаевна Нейгауз тоже значительно красивее Зинаиды Николаевны Пастернак. Первая – красавица, незнающий может предполагать в ней пусть яркую, знойную, но хрупкость. Тонкие музыкальные (и по Нейгаузу, дарителю ассоциаций, и по

ее, с готовностью, музицированию иначе их не назовешь) пальцы – и тяжелый подбородок. Одно из немногих и оттого отчетливых толстовских определений женской красоты: «как бывает у вполне привлекательныхженщин, этот недостаток казался ее особенным, одной ей присущим достоинством».

Тяжелый волевой подбородок обманывал и заставлял обманываться: железная воля Зинаиды железом была повернута к ней одной: воля диктовала ей правило не растрачивать предназначенные семье силы на перевоспитание других, железная воля не делала ее деспотом. Но тяжелый подбородок заставлял задумываться, опасаться, сопоставлять с сияющими легкими глазами, все с теми же тонкими пальцами и будто только-только затяжелевшей (так и виделось, что опять по-толстовски: сильная, молодая и здоровая самка, вылупившаяся из кокона Наташи Ростовой) фигурой. Это – таинственная Зинаида Нейгауз.

А с Пастерначихой все ясно: уже в тридцать четвертом году она вдвое шире Пастернака. Сидит в конной повозке – это, конечно, было очень распространено, но не модно, не шикарно; Лиля Брик сама водила «автомобильчит», Пильняк ездил автопробегом из Ленинграда в Москву, – вот это да! А Пастернак сидел в повозке с Зинаидой Николаевной, будто она на ней непосредственно из каких-то короленков-ских времен въехала в нашу индустриализацию. С ними сын Зинаиды Николаевны, она при нем как нанятая бонна, как какая-то «тетка по отцу», как законная соперница заплаканной дамы с собачкой: «жена говорила басом: „Димитрий, тебе совсем не идет роль фата“». Фатоватым даже от такого соседства Пастернак не стал, но был худ, как студент, нервен – через год после этого форменно попадет в больницу с нервным расстройством: Зинаиду Нейгауз он проживал всю. «Ты была моей единственной до конца прожитой жизнью», заменить ее никем было невозможно. Нервное расстройство было ревностью к делам двадцатипятилетней давности.

Мемуары Зинаиды Пастернак по литературным достоинствам похожи на воспоминания Матильды Кшесинской. Уж что бы завлекательнее – а читать неинтересно. Когда нет литературного таланта, чтение становится неинтересным. Это другой вид науки – химия, а не гастрономия. Кулинария – увлекательнейшее занятие сродни поэзии, а химия имеет дело с веществами, главные характеристики которого – состав в цифрах и конфигурациях молекул: белки, жиры, углеводы.

Генрих Густавович Нейгауз не был Великим Пианистом, не

был Рахманиновым, тогда что – его жена, которую вместо него полюбил Пастернак, становилась тоже мельче? При силе и мощи назовем это массой любви, которую он испытывал к Зинаиде Николаевне и не испытал больше ни к кому в жизни, – на этой любви есть кратеры, пятна, которые мы никогда не узнаем, что обозначают, рыхлости, провалы, сквозные дыры, готовые способствовать тому, что небесное тело хрустнет по ним, по причудливым линиям и разломается на миллиарды осколков, которых уже никогда не сложить, да и не вообразить, как же это было – и как блистательно было. Он пишет дарственную на книге няне – извинительную и полную раскаяния за суетные годы смены семьи, пишет жуткую по отрешенности, как будто из космоса пришедшую фразу Жене: если «бы Она была первой, а ты второй». Только Млечные пути с их мириадами комбинаций, одинаково реальных и безразличных Вселенной, могли предложить такое разнообразие вариантов. В нашем мире «если бы» не бывает. Если есть «если бы» – значит, он уже стал снова вместе с этой женщиной в сердце своем.

Маргарита Николаевна не знала примуса. Этому завидовали. «Маргарита» самого Булгакова была женой военачальника, – Булгаков знал, чем ему жертвовали. Зинаида

Николаевна драила кастрюли у себя на кухне, потому что поколесила по российскому югу в теплушках Гражданской войны и знала, что эта страна уже никогда не даст непоколебимой буржуазной праздности генеральской дочке.

Любовь к Зинаиде Николаевне забылась. Что-то увидеть в ней самой не удавалось и самым дальнозорким, уже ничего не отражалось в Борисе Пастернаке. Все разве что помнили и припечатывали: она хорошо вела дом, обихаживала домочадцев, а влюбился Пастернак в пианистическую игру ее замечательного первого мужа, Генриха Нейгауза. За что влюбился Нейгауз – слава Богу, об этом вопрошать некому. Никто не помнит вот этого: «Еще когда мы были с Женей, позапрошлой зимой, когда мне становилось грустно и что-то как мотив der Todesfhnung (зов смерти) проплывало по душе, всецело еще преданный жене и ребенку и погруженный в заботы дома < > я всегда думал, что последний день, отчетный, прощающийся и благодарный, провел бы весь день с утра до вечера < > с Зиной, тогда еще Зинаидой Николаевной, женой изумительного Нейгауза, – таково было с первой встречи действие ее особой красоты на меня, ее крови, ее тайны, ее истории. Я провел бы его с ней, я в ее лице простился бы с землей. Я ей сдал бы дела и ей рассказал бы, как много с

самого детства хотел сделать для нее, для женщины, для подруги всех нас < > хотел и не сделал, но все, что попробовал, лишь для нее одной. < > Вот кто она, вот как я ее люблю».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 528.

Пастернак однажды из-за Зины травился йодом, а однажды только задумался о возможности самовольного конца, но на другую чашу весов встало то, что «с Зиной, страшно любимой той недомашней (какие кастрюли!) – убийственно мгновенной любовью, которую можно проверить именно мигом прощанья со всею жизнью и со всею землею, проститься не успею… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 356. Это он пишет Жене, Женя это читала.

Перед войной Пастернак прошел с Зиной все круги ада: нарисовал их сам, дал пройти ей, смотрел на нее и шел по аду за ней вслед. Любовь их иссякла, ему негде было взять дров в ее топку, она родила ему еще одного сына, и он, уже выворачиваясь наизнанку, выскребая остатки страсти, любил хотя бы этого сына, а потом началась война, приблизилась невыдуманная, как мечтал он, смерть, – и он снова полюбил Зину, снова захотел последний день жизни пожить с ней, снова написал ей страстные письма, даже с новой «Нейгаузихой» – сволочь ты нелюбящая, – а потом как-то все стало налаживаться, знакомые устраивались по эвакуациям, Женя с Женечком были «окружены» в Ташкенте, вращались в самом изысканном обществе, Зинаида Николаевна считала простыни в детдоме, сам Пастернак колол мерзлый человеческий кал – тоннами, грузовиками. Умереть от любви не получалось. «Если бы я был моложе, я бы повесился» (ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 9. Стр. 316).

По какому-то случаю Зинаиду Николаевну и треугольники пастернаковской судьбы стали вспоминать в печати, и статью о Зинаиде Николаевне назвали, желая уязвить неуязвимую, «Жена двух господ». Господа, правда, и сами знали, кто у них госпожа. «Зина понаделала из его (умершего старика Густава Вильгельмовича Нейгауза, бывшего свекра, девяноста двух лет) фуфаек и кальсон целый гардероб для Ленечки (Пастернака, сына Зинаиды Николаевны и Бориса)».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 714.

Представьте себе, читатель, что вы заслуженный и выдающийся старичок и у вас есть талантливый и знаменитый сын. Сын женился, а эта жена наставила ему рога, ушла к другому и от него родила. И нашила этому, выражаясь пушкинским языком, выблядку, после вашей смерти, из ваших же кальсон – целый гардероб! И вы не переворачиваетесь в гробу, вы ей сами

завещали эти кальсоны, обидчик сына – ваш сердечный друг, он горячо в письме родителям оплакивает вашу кончину, расточая вам самые искренние комплименты. «Он любил говорить со мной иногда даже

больше, чем с сыном…» (Там же. Стр. 713). Такую ситуацию с легкостью цирковой наездницы, невозмутимой дагомей-ской амазонки-наездницы, крутящей булаву (провезли таких парадом по Москве, женщин-телохранителей сиамского принца – таковы были первые восторги и страхи Пастернака о женщине), может создать поистине только та, которой нужно что бы то ни было на земле гораздо меньше, чем она сама нужна земле.

Лара – это мы

Зинаиде Николаевне не нашлось места в Ларе. Героини «Доктора Живаго» – это Евгения Владимировна, Тоня и Ольга Всеволодовна – не Лара, конечно (Лара – женщина без свойств, характера, речи и поступков), но все равно из «Доктора Живаго» ее не выкинешь. Названа, расписана, постоянно упоминается и подробностями прокалывает повествование насквозь история ее «растления». Это – Зинаида Николаевна, несомненно, и чуть-чуть прошлой боли о ней, больше вспомнить нечего. Лара, пусть она же Ольга Всеволодовна, – это тепло женщины и тепло к женщине, которые, по счастью, случились у Пастернака в годы его не заката, но ставшие закатными.

«И она [note 26] совсем не < > «вдохновительница» или «натура» для героини (в истории литературы всегда эти пошлости далеки от правды)» (письмо Пастернака).

ПАСТЕРНАК БЛ. Полн. собр. соч. Т. 10. Стр. 97.

Герои Пастернака (герои «Доктора Живаго») – самые безликие из знаменитых героев мировой литературы. Как многозначительное открытие, многое проясняющее, имеющее вес в спорах, пишет Е.Б. Пастернак, что в первоначальной редакции Лара была брюнеткой: все ясно, Лара была списана с Зинаиды Николаевны. Споры прототипов: «я или она» – лучшее тому подтверждение. Перепутать Ольгу Ивинскую с Зинаидой Николаевной – как это возможно? Каждый штрих их внешности, характера, судьбы, все противоположно, и если в романе трудно отличить, на кого похоже больше – значит, у героини нет ни одной не то чтобы яркой, запоминающейся, только ей присущей и пр. – а ПРОСТО черты. «Женщина без свойств». Пастернак написал слишком – в «плохом» смысле – традиционный роман. Если так ему хотелось воспеть вечную женственность, он должен был писать свою «Frau ohne Eigenschaften», как четки, как стихи нанизывая отдельные сплетающиеся эпизоды… Они больше бы запомнились, чаще бы читались.

Зинаида Николаевна и Ольга Всеволодовна могли бы четко делить абзацы на четные и нечетные. Глядишь, и Евгении Владимировне что-то бы перепало. Если эпизод падения Лары казался Пастернаку таким необыкновенным, на однородном, здоровом фоне потока мужского сознания он мог бы прописать его во всех так волновавших его подробностях. Это был бы вставной, повествовательный, классический элемент романа –

пусть не его, чуждого ему по стилю, но случившегося в реальной жизни. А так без него он обойтись не мог – было странно самой Зине – и посчитал, что все остальное надо подогнать под такую же фабульную форму. Но на одном эпизоде целого романа и целой судьбы не построишь.

Эту тему, как новый Марбург, он вынашивал еще с тех, поразивших сестру Жозефину в Берлине, пор, когда он, славный, знаменитый и хоть в своей семье не гений, но необыкновенный человек, со страстью и болью стал излагать ей единственно занимавший его сюжет – вернее, сцену из него. Дальше нее не пошло, как и в «Докторе Живаго».

«Вдруг он сказал мне: „Знаешь, это мой долг перед Зиной – я должен написать о ней. Я хочу написать роман… Роман об этой девушке… Красавица под вуалью в отдельных кабинетах ночных ресторанов. Кузен ее, гвардейский офицер, водит ее туда. < > Она была так юна, так несказанно притягательна…“ < > Я не верила своим ушам. Тот ли это человек, которого я знала, – единственный, возвышающийся высоко над всем плоским, всем тривиальным, над любыми легкими путями в искусстве, над всем в нем дешевым, – и этот человек < > собирается отдать свою неподражаемую прозу столь заурядному сюжету».

Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 27—28 (воспоминания Жозефины Пастернак).

В этом эпизоде ясность атрибуции есть. А что своего видела Ольга Ивинская в Ларе? Заявлений «Лара – это я» и «Лара – это она» – много. Но нет пояснений, что же «ее» там есть. Разве что: «Интересно отметить, что Лара в первом варианте была брюнеткой».

«"Девочка из другого круга" была значительно длиннее, чем в окончательном виде, и написана с большим чувством. < > Казалось, что эти главы были многократно продуманы и пережиты уже давно, но записаны теперь совсем по-новому, как бы другим человеком. < >

Главным здесь была мгновенно запоминающаяся, выпуклая живописность отдельных сцен и положений, которые сразу отпечатались у меня в памяти именно в первоначальном варианте. При последующем чтении я болезненно подмечал перемены… »

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 474.

«Периодически отношения с Ольгой Всеволодовной

создавали отцу мучительные ситуации, особенно в те моменты, когда, по ее словам, она ставила вопрос ребром и требовала легализации их отношений. Ей казалось, что Борино имя защитит ее от ареста, которым ей угрожали. Уступая, папочка достаточно открыто афишировал свою „двойную жизнь“ и называл ее Ларой своего романа».

Там же. Стр. 563.

«Как-то <> Зинаида Николаевна затеяла разговор с папочкой. „Как же так, Боря, ведь ты всегда говорил мне, что Лара – это я. И Комаровский – мой первый роман, мое глаженье, мое хозяйство“. Папа, по ходу, подымаясь по лестнице к себе наверх и не желая заводить долгий разговор, спокойно ответил: „Ну, если это тебе льстит, Зинуша, то – ради Бога: Лара – это ты“».

Там же. Стр. 563.

Чья это издевка? Бориса Леонидовича или пересказа сына? Сказал ли Пастернак: раз тебе льстит, что твой позор теперь бы всеми стал отмечен, то заявляй, а я подтвержу, что так с тобой и было в юности, или скорее всего он имел в виду другое: если тебе льстит факт, что ты стала прототипом большого романа, что твой характер и твоя судьба не случайны, – что ж, это действительно так (и Зинаида Николаевна это знала).

Ольга Всеволодовна защищала свой титул в горших обстоятельствах и перед не таким человеком. «…Начальник конвоя начинает дико материться. <> "А ну, падла… " – „Сволочи! – кричит мама. – Подлецы. А вы слышали когда-нибудь про Пастернака? „Доктора Живаго“читали? Знаете, кто такая Лара?“».

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка. Стр. 237. Надеюсь, что это все-таки не плод фантазии и Ирина Ивановна не сама выдумывает этот случай, а в какой-то отчаянный момент на самом деле Ольга Всеволодовна использует свое, как ей кажется, победительное оружие. Эта сцена – как единичный, действительно душераздирающий эпизод – невозможна хотя бы потому, что не могло быть такого, чтобы она так закричала один только раз – и сразу нашлись свидетели, записали. Если это было, то кричала она так время от времени. Одному надзирателю, другому, начальникам, товаркам, мужчинам-зекам, с которыми зечкам удавалось видеться (ведь познакомилась же, именно в тюрьме, Ирина Емельянова с Вадимом Козовым – поэтом, переводчиком, который стал ее мужем и сделал ей судьбу более надежную, чем ненужный выигрышный билет незаконной и унизительной близости к Пастернаку). Так она кричала –

периодически.

На что она рассчитывала? Что надзиратель действительно читал «Доктора Живаго», помнил всю прелесть описаний Лары? В лучшем (худшем) случае он смутно припоминал слово «Живага» (так будто бы говорили, по воспоминаниям Ивинской, в народе) и, более вероятно, из политзанятий усвоил новое государственное ругательство: «Пастернак». И уж тогда, если он правильно понимал суть хвастовства зечки, она хвалилась тем, что этот мерзавец Пастернак ее там вывел. Тут гадать не надо – под видом кого вывел (да разве они, героини, бывают другими!) – полная, крашеная, с потасканным лицом, отсвечивающим распутной веселостью… Ольга сильно рисковала.

Мертвая львица

Две пары: красивые – Ахматова и Пастернак, и некрасивые – Цветаева и Мандельштам. Вот фотография Гор-нунга 1948 года: скуластый, глазастый, ротастый, загорелый, подтянутый и порывистый, почти тридцатилетний, похожий одновременно на Мика Джаггера и Антонио Бан-дераса, галстук не по-фрейдовски завязан коротко, ну да это все равно. О чем тут думала Зинаида Николаевна, отказываясь от своих супружеских обязанностей? У них у обоих не было выхода.

У Пастернака была своя часто цитируемая теория влияния внешности женщины на ее судьбу. Никому внешность не дается просто так. Блок и Маяковский были оригинально и бесспорно красивы, Достоевский и Толстой – невыразительно, по-мужичьи некрасивы, Пушкин, Лермонтов и Гоголь были штучны и каждый в своем роде, а остальные классики имели внешность типажную для своих сословий.

Даже Ирочка Емельянова признает и поэтично описывает, как возник его роман с Зинаидой Николаевной: «она, героиня „Второго рождения“, ворвалась в его жизнь вместе с музыкой, ее музыкальное окружение, ее собственное музицирование, концерты Генриха Нейгауза, ее мужа, были бурным, страстным, порой трагическим фоном их вспыхнувшей любви».

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Пастернак и Ивинская. Стр. 42.

Куда все это делось? Ведь это же не спала пелена с глаз, не превзошла Ивинская прелестью Зинаиду Николаевну – просто та умерла, той не стало, тем и лучше была Ольга: как живая собака – мертвой львицы.

«Душевная рана матери не могла залечиться. Смерть Пети оторвала половину ее жизни. Через месяц после известия о смерти Пети, заставшего ее свежей и бодрой пятидесятилетней женщиной, она вышла из своей комнаты полумертвой и не принимающей участия в жизни – старухой».

Лев Толстой. Война и мир.

Дети расширяют сознание. Дети дают простое и ясное ощущение бессмертия, а еще более наглядно они вводят родителей в состояние смерти, если умирают раньше их. С какими-то вариациями кто-то более ярко воспринимает бесконечность их с детьми бытия – кто-то никогда не ощутит себя живущим, пережив смерть ребенка. Так устроено или так черна чернота (это понятие уникально: мы можем все представить в

своей жизни, кроме собственной смерти, ребенок показывает нам эту краску, оттого она и так впечатляюща), что кажется, что дети менее способны подарить радость, чем дать горе.

Радость может находить и отходить волнами, горе запахивает более глубоко. Избави Бог! Приготовиться к этому нельзя – разве что стоять в полумраке храма и молиться, чтобы Господи учил радоваться приближению своего царствия, а здешние времена уж бы и сократил. Смерть неизбежна, кому-то суждено умереть самому, кому-то – пораньше – от смерти ребенка. Зинаида Николаевна Пастернак приняла смерть мученическую: старший сын умирал в сознании, по времени, – никакие крысы пять лет внутренности грызть не будут. Ее пытка длилась именно столько, Адик состояние свое понимал, конечности ему резали частями, шла неизвестно чем долженствующая окончиться война, отец был арестован, мать – в далекой эвакуации в Татарии с его младшими братьями. Он сильно страдал перед смертью. Значит, о Зинаиде Николаевне Пастернак после 1945 года (день смерти старшего сына Нейгаузов – 25 апреля) – или хорошо, или ничего.

Пастернак совершенно точно знал, что если б он женился на Ивинской, они все равно остались бы с ней дачничать в кривой сторожке Кузьмича, в деревне, за ручьем – рядом, но не вместе с писательскими ДАЧАМИ. Для Пастернака это был бы лишний кукиш оставшимся в казенных хоромах коллегам. А к тому же больше похоже на юность – и Ивин-ской такие игры тоже по душе, это почти что переодевание. О чем лучше мечтать, когда уже седьмой десяток к концу идет, да и худо-бедно – не на расстеленном в ширину плаще, можно и пристройку какую сделать, а то и домик купить – в общем, хорошо, хорошо, все было бы хорошо, и она не стала бы изумлять его ранними претензиями к Зинаиде Николаевне. Он бы оставил, как оставлял «простой и кроткой» Евгении Владимировне с сыном, выданную ему двухкомнатную квартиру на Тверском бульваре, а сам вчетвером ехал в не устраивавшую более Женю коммуналку на Волхонке. Только вот после его смерти, случись (случилось скоро), времена были безбытные, бесписьменные (вон по скольку детей на директоров заводов матери записывали, ко Льву Ландау на смертном одре являлась любовница, заявляя, что он не успел развестись с женой, и ей приседали и врачи, и физики) – может, на всякий случай и Пастернак поостерегся: у Ивинской на руках какие-то бумаги, доверенности, свидетели были и пр. Он не звал Ивинскую проститься и, когда Зинаида Николаевна предложила, не разрешил пригласить ее навестить его перед смертью. Пишут, что, мол, не хотел, чтобы видела его в неприглядном болезненном виде. Исследователи услужливо передергивают,

превращая в пародию на и без того слишком резкий эпизод: когда Пастернак отказался встречаться с вернувшейся после лагеря Ивинской, попросив ее дочь передать ей, что отношения должны закончиться (дочь могла ответить материнскими словами по подобному же случаю: с какой стати!) – все из-за того, что боялся, что Ивинская за пять лет лагеря подурнела и постарела и ему, очевидно, уже не понравится.

Очевидно, его пугала мысль о том, как, какими словами надо будет от нее отказываться, как, глядя в глаза, объяснять (упаси Боже, не прямо, прямо он отказать никому не умел, покуда не спрашивали так же прямо – или уже не прямо, а нагло), что в ней и в нем есть все, что было и раньше, но нет того единственного, что его к ней привлекло, – красоты, легкости, успешности.

Бывают такие судьбы: похоронив двух мужей, тяня двух детей (в нашем быте при любых любовниках, при любой изворотливости двое детей были почти непосильны, если не уметь иметь легкости), занимая блестящую (тогда все, что не у станка – блестело), но очень мелкую должность (Ахматова таким даже не предлагала сесть на стул у себя в доме, что тоже было перегибом, и говорило уже не о мелкости посетительниц, а о мелочности хозяйки) – некоторые при таких обстоятельствах чувствовали себя и были успешными, или, что еще важнее, по крайней мере всем довольными.

К этому счастливому большинству (будем считать человечество здоровым и самодовольным) относилась Ольга Всеволодовна, к несчастному меньшинству (редкие удачи выпадают редким) – Зинаида Николаевна. Хотя она – пока не встретилась Пастернаку, уже полная трагедией в его видении – никого не хоронила (до поры, но поры эти наступают неизбежно, и единожды похоронивших можно отличить по этому признаку как остальных – выделить как смертных); никого не собирала и не собиралась в тюрьму; полностью обеспечила себя блестящим и не мелким браком. Такой же (не сомневаясь в ее праве) ей предоставил и Пастернак. Неблагодарные недоброжелатели (неблагодарность их миссии заключалась в слишком большой очевидности их претензий к Зинаиде Николаевне и полном равнодушии к ним ее судьбы) выставляли напоказ «вторые семьи» Ней-гауза и Пастернака. «Вторые семьи» существовали лишь в женских (и даже с детьми) половинах. Мужья оставались мужьями Зинаиды Николаевны. Трагедия (в глазах Пастернака – только Пастернак считал ее трагедийным персонажем) заключалась лишь в раннем начале половой жизни, но об этом нужно писать романы, чтобы это стало очевидным для окружающих, и тем не менее для него (а решающее лицо здесь все-таки он) она была

трагедийной маской. Зинаида Николаевна была не шуткой – трагедией.

А Ольга была лишь весела и удачлива – за это, когда она вернулась из лагеря, Пастернак и не хотел ее больше видеть: подурнела, постарела, еще, поди, и подопустилась, подожесточилась (силы Зины он в ней справедливо не предполагал). Эпизод этот известен, о нем говорят скороговоркой: никому не хочется лицемерно восхищаться величием, изощренным каким-то самопожертвованием и прочими не идущими к делу деталями, а все было очень просто: так мало было у Пастернака к Ивинской, что так много (если в цифрах, то – пять лет) не придвинуло его к ней. Постарела, подурнела… Как после курортного романа встречаются в Москве – а там городская бледность, круги под глазами, служба…

Те же авторы приписывают для симметрии и самому Пастернаку о себе, Пастернаке, перед смертью размышления в таких вот «высоких» категориях: не хочу, мол, предстать перед любовницей в непрезентабельном виде…

«…я познакомился с Зинаидой Николаевной. Это было важным событием в моей жизни. Воспринимал я ее как инопланетянку. Все в ее облике удивляло. < > нас увлекало музицирование. Мы играли сонату Франка. Держа скрипку, я пристально сквозь прорези пюпитра разглядывал смуглую темноволосую красавицу и думал: в эту женщину влюблен Пастернак, так яростно и открыто влюблен… < > Смуглота, спокойное сияние глаз и всего облика Зинаиды Николаевны подсказывали сравнение с итальянской живописью эпохи Возрождения. Сравнение было уместным. Как я позднее узнал, мать Зинаиды Николаевны – итальянка… »

ОЗЕРОВ Л. Сестра моя – жизнь //Воспоминания о Борисе Пастернаке.

Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 444—445.

Псу живому лучше, чем мертвому льву. Живые биографы – на стороне живших родственников.

Зинаиде Николаевне, кроме всего прочего, приписывается склонность к мелодекламации – за ее грубый и народно-трагедийный тон. Вот она описывает попытку возвращения в семью: «Я сказала [note 27]чтобы он смотрел на меня как на няньку детей и только». Биограф этот тон определяет как драматичный. Не писать же в воспоминаниях: я сказала ему, что спать с ним не буду, а за детьми ходить же кому-то надо? Довольно прямо

написано и так. «< > Я находила утешение в детях < > и мне тогда казалось, что это хорошо и нравственно».

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.

З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 276.

Зинаида Николаевна вспоминает, как Нейгауз расплакался во время концерта (в день получения письма об измене), отменил гастроли и явился в Москву. Зинаида, не

представляющая себе возможности обмана и уверенная, что он это переживет (наверное, за сорок лет – к моменту писания мемуаров – не простила измену с Милицей), испытывает катарсис поглубже, чем Анна Каренина на смертном одре: «Увидев его лицо, я поняла, что поступила неправильно не только в том, что написала, но и в том, что сделала. Пришел Борис Леонидович и мы сидели втроем и разговаривали, и каждое наше слово ложилось на всех троих, как на оголенную рану» (Там же. Стр. 269). Ну как тут по-другому написать? Здесь чем тоньше и психологичнее, тем вычурнее и претенциознее. Уж как сказалось. Нейгауз, правда, догадался рассказывать (много впоследствии, естественно), что он дал толстенной партитурой Пастернаку по голове и тот упал, а они с Зинаидой Николаевной бросились его отхаживать. Биограф видит в таком рассказе знак того, что Нейгауз не переживал так уж страшно, раз так ерничает. Кажется – наоборот.

На даче бодрствуют

«Вместе с ним пришли: его жена (плотная смуглая женщина, в свое время отбитая у Нейгауза, а теперь полуоставленная ради Ольги Ивинской < >; за столом жена не поднимала глаз от тарелки и, не обращая внимания на происходящее, непрерывно ела)… »

ЖОЛКОВСКИЙ А. Звезды и немного нервно. Стр. 69. Булимия. Как у принцессы Дианы.

Имя «Зина» сейчас звучит не очень, Зины – как правило, Зинки – водятся в кругах весьма простых и грубых. Зинки работают подавальщицами, табельщицами, непосредственно укладчицами шпал – вместе с Валькими, Тайками, Клашками и прочей публикой, они водятся там, где мало, например, даже просто Ирин. Так было не всегда. О совершенно роскошной Зинаиде Вольской Пушкин пишет: «Вольская взошла». Здесь все против вкуса: и величественная инверсия, и блестящая фамилия «Вольская», и нелепое слово «взошла». Пушкин только тренировался, как поймать ему не требующий иных доказательств блеска и элегантности тон. Имя Вольской было – Зинаида. Пушкин не стал писать такой шикарный роман. В любом случае в тридцатых – сороковых годах имя «Зина» было переходным, пограничным, но уж Зинаиду Николаевну Пастернак это никак не волновало – это точно.

Анне Ахматовой было неприлично не оставить никаких воспоминаний о Пастернаке. Когда ее просили написать о Маяковском, она отказалась: «Мне ни к чему бежать за его колесницей, у меня своя есть», Блока почти не знала; про остальных, про которых написала знаменитое «Нас четверо», ее мнения известны. Марину Цветаеву назвала рыночной торговкой, о Мандельштаме – сходила с ума от негодования и зависти, когда в шестидесятых собрались издавать его книгу: «Зачем, кому она нужна; кто его любит – у них все есть, а остальным он не нужен, непонятен», третья – она сама, о четвертом – что-то надо было из себя выдавить. Она попыталась, получилось полторы странички.

«Появилась дача (Переделкино) (в 1936 году), сначала летняя, потом (в 1956-м) и зимняя (неторопливо, эпически вещает Анна Ахматова о важнейших вехах в судьбе Пастернака, а речь не идет даже, как можно бы было понять из ее очерка, что были получены две дачи: летняя, а потом еще и зимняя, дело всего лишь было в том, что неотапливаемую, без внутреннего

водопровода и санузлов дачу оборудовали за свой счет, усилиями Зины, отремонтировали до цивилизованного состояния, пригодного для зимнего проживания, все это значимо для Ахматовой). Там, в Подмосковии (то ли в Путивле, то ли в Перемышле, в некой былинной Подмос-ковии, одним словом), – встреча с ПРИРОДОЙ (слово

«природа» выделено Ахматовой, как нечто действительно новое и неожиданно значимое для Пастернака, как некий объект его интереса, в этом качестве ускользающий от взгляда исследователей, но только вот подмеченный проницательной Ахматовой; до сорока шести лет встретиться с природой не удавалось – он, правда, писал о ней много стихов, где-то он видел «утренники», когда ему «сводило челюсти» – до сдачи ему в аренду литфондовской дачи, но стихам Анна Андреевна не верит: в стихах ведь все поэты интересничают, для того и пишут. Чуковская: «По вашим стихам видно, что вы очень любите лебеду». – Ахматова: «Да, очень, очень». Оказалось, что она лебеду никогда не видела). Природа всю жизнь была его единственной полноправной музой (имеется в виду, что Зинаида Николаевна была музой по-луправной, формальной, но это вечный и схоластический досужий разговор, что первично – Зина или поэзия?), его тайной (бесконечные ахматовские явные всем, на показ, «тайны») собеседницей, его невестой и Возлюбленной, его Женой и Вдовой (здесь уж она просто отписывается по-ахматовски – бессмысленно, незаинтересованно, ей кажется – красиво, ей кажется, что не заметят, что поет с чужих голосов. Написал Блок: «Русь моя, жена моя», ну и она напишет: «Дача моя, супружница моя». Еще добавит: «вдова» – выйдет и трагически, и оригинально)».

АХМАТОВА А.А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 5. Стр. 153.

Жена – это земля, землевладение – брак, дача – это вроде проститутки. Наслаждаться природой, ничего не давая взамен, не беря на себя никаких обязательств, то есть не как с женой, а купив за деньги то, что может дать жена, не создав семьи, – зависимости друг от друга.

Жизнь просто на природе, гостем, не закрепив за собой дачевладения, – это как свободный любовный союз, тоже без обязательств, но и без покупки услуг любви. Дачевла-дение – проститутопользование. И сажание картошки на ней – это покупка для содержанки кухонного фартучка, как жене. Это род сексуальной игры: мог бы разбить фонтаны или грот, как вроде полагается на даче, – а сажаю картошку. Лев Толстой жил с природой, как с женой: насадил фруктовый сад, который давал

реальный, жизненный доход, выкопал пруды, по дешевке прикупил башкирских земель, разводил лошадей и японских поросят, зависел от этого.

Ольга Ивинская – женщина типа «гейша». Если кто-то и был гейшей, то гейшей было что-то – его дача.

Они играли в Ясную Поляну, только поляны были меньше, хозяева – мельче, а из сути взяли только то, что ненавистно было неряженому хозяину – барство. «С Фадеевым были сложные отношения, но дружелюбные. Фадеев называл его Боренькой. Однажды они с Зиной уехали в Москву, а когда вернулись, то увидели десять яблонь, посаженных кем-то у них в саду. Они поразились: кто это посадил их? Потом работница рассказала, что яблони посадил садовник Фадеева – Фадеев ему велел. Боря был очень тронут».

ТАБИДЗЕ Н. Радуга на рассвете //Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 301.

В доме-музее Пастернака в Переделкине имя Ольги Ивинской под запретом. Зато мемориальный дух – об отсутствии которого сокрушаются многие наши музеи, возобновленные из разоренности с нуля, когда ложки подлинной нет – от этого достигает невиданной крепости.

А когда еще литературоведами становятся живые сыновья бывших живыми женщин…

Умирать, окруженному женой и детьми, – это одно, умирать, окруженному любовницей и ее детьми с любовниками, – это другое, уже в одном описании содержится насмешка. Поэтому такая смерть приходит не в Ясной Поляне и не на многовековой старости ферме на холмах Тосканы, а в казенном доме, в дачном кооперативе «Советский писатель». Он и кооператив-то был странный – взносы на постройки брали, а писателю (Пастернаку) могли объявить (объявляли, он все выполнял): в эту зиму просим выселиться с дачи, в ней разместим бригаду строительных рабочих, они будут работать в зимний период над дальнейшим благоустройством поселка. С природой, пожалуй, удавалось встретиться, лишь когда брел размокшей тропкой через чужой лес – они там, писатели, тогда и не знали, где их владения заканчиваются – или когда руку по локоть в рыхлую картофельную лунку запускал. Жизнь с природой и умирание с ней – это не переделкинские штучки.

Без детей – не имея детей – надо жить у моря, с детьми –

умирать при лесе. Цикличность леса и ежегодные возрождения дубов – не скороговорка – долгая цикличность жизни: когда-то там народятся новые жизни, когда-то расцветут, но зато уже точно после тебя останется кто-то молодой и шумящий. Короткая цикличность моря – всего времени на раздумье – между приливом и отливом, дважды в сутки, непрекращающиеся волны – бесконечная рябь смерти. И никто не сказал, что худшая…

Умереть на даче – это умереть в курилке ЦДЛ.

Пастернак счастлив последние – предпоследние – годы. Он ни секунды не медлит, чтобы сообщением об этом завершить письмо одинокой родственнице, в одиночку ухаживающей за умирающей Олей Фрейденберг; пишет, возобновив чуть ли не через двадцать лет переписку с родными сестрами: «Знайте одно, – мне хорошо последние годы, – и не бойтесь, не страдайте за меня» (БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 791).

Он ходит на концерты и окружает на них себя поклонниками, холодно констатирует алкоголизм Стасика Ней-гауза, посещает театры. Ивинская гордится, что через раз – попеременно с Зинаидой Николаевной – он выходит с ней и ее дочерью, но она бывала бы ежевечерне, если она была в другом статусе, – сколько раз ей это виделось? Как она молилась бы о продлении его лет, если б все их течение у нее был бы такой спутник на театральных лестницах? Его счастье – он считает себя счастливым – не возвышает уже его. «Для меня же печально, что мальчик (Ленечка) так преувеличивает провиденциальность музыки, что окруженный если не прямо, то на втором плане (на втором плане у него единоутробный брат), музыкантами-профессионалами, он не замечает, как много хороших музыкантов и как музыка обыкновенна» (Там же. Стр. 817).

За музыку он ни в кого бы уже не влюбился. Зина – это была она плюс музыка, Ольга – ее круглые колени минус музыка. Он разговаривал с нею о бремени века. Интересно, что в этом разговоре было за нею?

Перед смертью человек отстраняется от того, что было его жизнью. У большинства людей единственное, что действительно было – это взаимоотношения: с женой, детьми, у самых больших людей – с друзьями, с учениками, с последователями. Они-то и замечают безразличие умирающего к повседневным делам близких. Борис Пастернак был шире обычного человека. В число его пожизненных привязанностей входила музыка. Он был еще крепок физически и счастлив, а музыка уже ничего не давала ему, как не дают старику ничего ни вино, ни бараньи котлетки, ни бег

трусцой. Значит, умереть в вонючей больничной палате – это все равно что на дачном ветру под негромко доносящиеся звуки фортепиано, или в благословенной провинции у моря, хоть и кровать подвинута к окну?

А Мария Юдина и Рихтер играли ему даже мертвому… Впрочем, он уже не общался так тесно с ними под конец жизни – вернее, не общался живо.

Дома у него были обильные, без изысков, застолья со случайными людьми – не обед готовится гостям, а гости приглашаются к обеду. Шалман у Ольги – это было еще более случайное, маргинальное, декоративное общение, он мог говорить там – да, но общение тамошнее ему было нужно еще менее, чем музыка.

«…человек, с которым я связан, внутренне подобен мне и душевно свободен, то есть способен к самопожертвова-нью и, так же как и я, не роняется никаким видимым „позором“».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 337.

Это он в самом начале связи пишет родителям о Зинаиде Николаевне. И она же по своей грубой несентиментальности защищает Бориса Леонидовича от фарса еще одного бросания семьи. Пусть она не хочет быть брошенной женой – но и Пастернаку не пристало с виноватой улыбкой разводить руками на водевильную цикличность своих семейных драм.

Ирочка с Ольгой завидуют даче, хотят большого дома. В «большой даче» – Зинаида Николаевна.

Иностранка навещает Пастернака, беседует с ним в его кабинете. «Г-жа Зина прислала нам большой поднос с кофе, куличом и пасхой…» note 28. Потом они выходят из дома и идут к Ивинской, прочь от дачи, по лесной, не огородной, части участка. Половина окон дома выходит на эту сторону. «Борис Пастернак шел подле меня в светло-сером летнем костюме, как юноша». «Г-жа Зина» могла прекрасно видеть их, мужа вдвоем с гостьей-иностранкой, направляющихся в деревню к Ивинской, как делал он это и один почти ежедневно. Потом они с этой же гостьей вернутся на дачу снова, сядут за стол с семьей… Какие-то особые психологические тренинги надо проводить с собой, давать себе какие-то установки, чтобы смотреть – или не смотреть – на садовую дорожку, ведь вопросы уже все заданы.

Июнь 1947 года, дача Пастернаков в Переделкине. «Обед прошел в полном молчании: Зинаида Николаевна и Борис Леонидович ели поспешно и друг с другом не разговаривая»

[Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 413 (воспоминания Л. Чуковской)].

Пастернак уже знаком с Ольгой, и даже – на дворе июль – уже БЫЛО «Четвертое апреля», но атмосфера застолья сформировалась задолго до этого.

Чуковская подробностей не знает, и Зинаида Николаевна ей неприятна тем, что не создает Пастернаку атмосферы легкой поэтичности, пусть и в семейном доме, и что нельзя взять на себя даже пожелать Пастернаку бросить такую заскорузлую, подчеркнуто и не подчеркнуто естественно прямолинейную и – ну ведь видно же! – примитивную жену. Веселая коллега по «Новому миру» Оля Ивинская, из семьи каких-то все проворовывающихся хозяйственников, ловительница мужчин и даже – она удачлива – мужей, тоже страшна Чуковской без загадок. И участь Пастернака совершенно справедливо вызывает у нее тоску и сочувствие.

Тяжелую книгу написала скульптор-дилетант, подозреваемая, естественно, в том, что и агентка, – Зоя Масленникова. Маленькая книга достоверных наблюдений и добросовестно отраженных разговоров. Но это – книга, у нее есть автор, при всей своей малости он создает свой мир и в этом маленьком, непонятном, никому не интересном мирке сидит, в него залезши и покряхтывая, Борис Пастернак.

Многие мемуары написаны незначительными людьми о великих современниках. Некоторые выпячивают и себя: я, говорят, тоже был в своем роде великолепен. Простительно или нет, поди проверь, человек сравнивает две личности, две бессмертные души…

Зоя Афанасьевна полем своего сражения (простодушный, простодушный Борис Леонидович) выбрала его поле: творчество. Она пришла к нему в дом не как почитательница, а как равная, заниматься СВОИМ творчеством. В творчестве ее не было даже того оправданья, что оно было профессиональным, и Пастернак мог бы ненужность и обременительность ее компании списать за счет своей деликатности: уважения к чьей-то необходимости зарабатывать свой хлеб.

Нет, Зоя Афанасьевна хотела именно удовлетворять высшие потребности души, иметь развивающий и увлекательный вид досуга. И зуд этот нельзя, в свою очередь, оправдать потребностью в самовыражении – почему-то это надо уважать, даже когда человек выражается прилюдно, то есть используя для своих выражений органы чувств других людей, иногда нуждающихся в спокойствии, – в любом случае не спрашивая их согласия.

В данном случае она не уважила Пастернака – и его домработницу, и равнодушную к музе скульптуры (не существующей в виде полной, но грациозной девушки в хитоне и все-таки вполне реальной) Зинаиду Николаевну: они вдвоем занимались уборкой в тесных помещениях, в которых после долгих семейных советов устанавливали громоздкий и не нравящийся домашним пластилиновый бюст.

С другой стороны, Пастернак был посажен перед портретисткой добровольно; в какой-то момент даже ему, с его просчитанной деликатностью (просчитанной в хорошем смысле: просто быть терпеливым до известного предела способствует сохранению больших сил), пришлось сказать: «Лимит исчерпан».

Но остается главный корыстный мотив ее самовыражения: то, что она изображала не птицу, не лес, не море, не пожар, а Бориса Пастернака, автора известных стихов. Все, что вокруг птицы, что удалось бы выразить Зое Афанасьевне, – это то, что Зоя Афанасьевна и создала бы; то, что вокруг Пастернака, – это то, что создал он. Ваяя Пастернака, она изначально лишалась возможности творить, она могла только примазываться.

Воспоминания ее читаешь в ожидании разоблачения, работа все не кончается и не кончается, в ней нужны все новые и новые доработки. Какие-то челюсти, шеи, профили (как ни удивительно, вообще-то бюст довольно экспрессивен и жив). Наконец его разбивают – по случайности, из пренебрежения к автору; она снует по дому, выполняет мелкие поручения, обижается (надо же!), шпионит, поучает. Добросовестно записывает, и смешно упрекать ее, что она примитивно передает речь и даже смысл речей Пастернака.

Книга З. Масленниковой написана как будто на тонированной бумаге – так трудно сквозь занимательный текст (именно его нелитературность позволяет верить, что она механически писала по памяти все, что могла запомнить за день – на это уходили все литературные и душевные силы, выдумывать что-то было бы совершенно невозможно) – избавиться от ощущения, что читаешь мемуары человека, сделавшего что-то некрасивое, непристойное, какой-то ужасный gaff. А все-то дело в том, что при общении с Пастернаком предлогом этого общения был ее тяжкий бездарный труд по ваянию его скульптурного портрета. Там вокруг были поэты и писатели, чем-то выдающиеся люди, хотя бы дружбой с ними Пастернака (большинство поэтов и писателей – именно этим), но выбранные им или случаем, или волей судьбы, Господом – значит, неспроста – на эту роль. Масленикова пролезла с локтями. Читать не очень приятно.

«Он заговорил о необходимости отливать работу, потому что этого требует и ее состояние, и наши отношения, и мера моего таланта. „Лимит исчерпан“, – сказал он. „На это мне возразить нечего“, – ответила я».

МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 174.

Господь все делал не перетруждаясь, и мы сами важные дела тоже можем поделать, не утомившись чрезмерно. Что может быть благороднее сажания дерев? Как это просто, и лучше всего они берутся там, где и нужны – на выжженных солнцем ветрах. Как полнокровны, кряжисты солитеры; и если он один такой величественный перед каким-то домом, конечно, родовым, растет – это значит, его одного и посадили. «Куда бы вас, кроме помещичьего дома, ни закинула судьба на ночлег, вы всюду мученик. Всюду одно и то же. < > Страшный зной, и никакой потребности посадить под окном деревцо» (ФЕТ А.А. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. Стр. 148).

Кто так планировал переделкинский участок Пастернака, прочему он пустовал, пока Пастернак не решил обменять на него свой предыдущий дремучий, лесной? Наверное, даже малым ландшафтным вкусом обладающие совписатели просто побоялись его вывернутого, ненормального вида?

Огородом вперед, мокрым фартуком, мозолистой пяткой – так оставил его и Пастернак, не посадил на пустыре ни елки, ни барской лиственницы. Юрий Нагибин рационально – и возвышенно – удивлялся: какой Париж, что Тургеневу не сиделось в Спасском-Лутовинове, когда столько соток?!

«Тетя Ася права, ругая мой почерк. Но виновата не рука, карандашом я пишу каллиграфически, а не везет мне на перья. Нормальных, не щепящихся и не зацепляющих за бумагу, я уже давно не помню».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Пожизненная привязанность.

Переписка с О.М. Фрейденберг. Стр. 233. Так нужно было жить целую жизнь, пятьдесят сознательных лет, шестьдесят, семьдесят – обладая, например, художественным вкусом, искусствоведческой эрудицией, интуицией и азартом модника, и работать, например, декоратором на киностудии, за вечер создавать десяток эскизов, обозначающих интерьеры до мельчайших деталей – художник так мог забелить пространство, что комната и под белилами казалась бы набитой вещами, – и довольствоваться в жизни самоделками, или быть вынужденным любителем антиквариата – и просто не иметь писчего пера.

Пастернак не был художником и антикваром, естественно – вещистом, в хорошем смысле: не знал сладострастия вещи, но имел атавизмы хорошего быта. В грязные тарелки еду накладывал, а вот с ножа уже (или еще?) не ел. Писать свои письма и стихи хотел бы качественными перьями.

«Мы сели за покрытый клеенкой стол друг против друга. < > Второе он положил мне и себе в глубокие тарелки, освободившиеся от супа. Все было очень просто, посуда дешевая и некрасивая, но обед получился продуманный и вкусный».

МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 62.

«В городе есть электричество, но оно гаснет как раз в тот миг, как ты стал что-нибудь делать, исходя из его наличности. То же самое с водой, то же самое с людьми, то же самое со средствами сообщенья. Все они служат лишь наполовину, достаточную, чтобы оторвать тебя от навыков, с помощью которых человек справляется с жизнью, лишенной водопровода, телефонов и электричества, но вполне мыслимой и реальной, пока она верна тебе».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 371.

Это – суть советского быта, когда еще Пастернак понял и охарактеризовал его! Сейчас, когда появилось неизмеримо больше водопроводов, телефонов и электричества, всякому, кто жил в советские времена в достаточно зрелом возрасте – во всяком случае самостоятельно умел пользоваться прерывающимися в функциональности благами цивилизации – тот и в нынешние времена пользуется ими немного с чрезмерной осторожностью: бензин в машину заправляет чуть-чуть чаще, чем полагалось бы, и зеленый горошек к Новому году покупает пусть в «Стокмане», но уже в самом начале декабря.

Англичанин Исайя Берлин: «Мы прибыли к домику Пастернака» (БЕРЛИН И. Подлинная цель познания. Стр. 531). Ольга Карлайл: «Веранда делала дом похожим на американские каркасные дома сорокалетней давности» (Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейн-берг. Стр. 647).

«Г-жа Пастернак села слева. Стол был просто сервирован, покрыт белой льняной русской скатертью с красной вышивкой крестиком. Серебро и фарфор были простые» (Там же. Стр. 659). А вы говорите – роскошь. Совершенно простое серебро, хотя, очевидно, «серебром» она по привычке называет все, что не фарфор и не стекло в сервировке – просто столовые приборы. На

советских столах в роли серебра могли выступать мельхиор, нержавейка, алюминий – далее везде.

О зверином быте других домов: «Вошли в дом и оказались в затрапезной прихожей. Луговской постучал своей палкой в дверь. Ее открыла маленькая, очень некрасивая женщина. На худом, загорелом, морщинистом лице как-то особенно выделялись светлые, прозрачные глаза. Женщина, увидев Луговского, улыбнулась, обнажив торчащие желтые зубы. „Луговской!Какими судьбами?!“ Платье на ней было обтрепанным и грязным, как на нищенке. Луговской почтительно склонился к ее маленькой, темной и сухой, как у обезьянки, ручке и поцеловал с совершенно непонятным мне подобострастием. „Проходите, – сказала она, – проходите. Это ваша жена? Хорошенькая“. В закопченной, полутемной комнате царил бедлам. На столе и грязной постели – книги, бумаги, газеты, тарелки. Перевернутый табурет, везде окурки. < > Я ничего не могла понять. Что это? Кто это? „Почему ты с ней здороваешься, как с королевой?“ – „Она и есть королева. Это Надежда Яковлевна Мандельштам!“ < > Очень довольная, Н.Я. появилась с четвертинкой в руке. Взяв с полки два грязных стакана и чашку с отбитой ручкой, разлила водку на троих. „Выпьем!“ – сказала она весело. Все это могло бы шокировать, если бы не ее глаза, смотревшие с таким умом и пронзительностью, что я невольно тушевалась под этим взглядом, чувствуя свою несостоятельность и малость».

ГРОМОВА Н.А. Все в чужое глядят окно. Стр. 274—275 (слова Е.Л. Луговской).

Как еще было жить женщине, когда нет денег, нет воды, нет домработницы, нет товаров в магазинах?.. Стоит чуть-чуть попустить себя, потратить на что-то чуть более важное, чем уборка, ценное время (девять часов, с обеденным перерывом, рабочее время, дорога, очереди, очереди – в каждый отдел своя очередь, в кассу – своя). Если в голодном Ташкенте «отделов» было немного, их с успехом заменяли пробежки в поисках: где хоть что-то продается?.. А если и таких мест было немного, то все возвращается на круги своя: очереди. Потом готовка на одной конфорке (в очередь), очередь к воде для мытья. Если женщину (только женщину – влюбленный полумуж писал Ахматовой: «Чтобы к моему приходу ужин и вино стояли на столе, собака была гуляна», и сам имел вид довольно импозантный) что-то занимает, помимо быта, очень легко соскользнуть в пучину вечной немытости, отчаянного беспорядка, тяжелого советского слова «без-бытность». Как всякое слово, оно давало явлению оправдание: раз появилось слово, значит, в мироздании было

задумано и это – маленький вульгарный хаос.

Железная дворянка Марина Цветаева опуститься до такого не могла – это уже и было бы смертью, – но, как и другие слова, она не использовала его по-гусарски, без любви, она их верблюжьим трудом тащила на поверхность во всей тяжкой сути, и в ее биографии жутко читать, ЧТО она скребла, мела и мыла. Отмывая эту жизнь, она ее и назвала: «Жизнь, что я видела от нее, кроме помоев и помоек?» (САКЯНЦ А.А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. Стр. 392. Письмо Марины Цветаевой к О.Е. Черновой).

Она не могла лежать и ждать, как Ахматова: «К Ахматовой по лесенке поднимались хорошо одетые, надушенные дамы, жены известных и не очень советских писателей, с котлетами, картошкой, сахаром – с дарами. Нарядные дамы порой выносили помойное ведро и приносили чистую воду. Бывали и такие дни, когда ее никто не посещал. Тогда она смиренно лежала на своей кушетке и ждала или нового посетителя, или голодной смерти».

ГРОМОВА Н.А. Все в чужое глядят окно. Стр. 53.

Легкий человек Борис Пастернак не особенно задумывался: за жену Женю выполнял всю работу сам; Зину – за то, что она работала без надрыва – полюбил. А ведь она еще и С РАДОСТЬЮ работала. Это было уже счастье!

Записки Зинаиды Николаевны смешны. Юмор ее – не плод изощренной и тренированной игры ума, а старомодный, царский, происходящий от важного спокойствия, с которым она описывает более или менее абсурдные ситуации. «Опять стали прибывать корреспонденты, снимали дачу, Борю, его кабинет и даже собак».

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.

З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 367.

«После войны начался повальный разврат. В нашем писательском обществе стали бросать старых жен и менять на молоденьких, а молоденькие шли на это за неимением женихов. Первым бросил жену Вирта, потом Шкловский, Паустовский и т.д. Покушались кругом и на Борю. Молоденькие девушки из Скрябинского музея окружили его поклонением, засыпали его любовными письмами и досаждали ему навязчивыми визитами. Почему-то всех их он шутя называл балеринами».

Там же. Стр. 344.

Зинаида Николаевна – дочь приличных родителей, институтка, жена знаменитого музыканта и знаменитого литератора, богачка, дачевладелица (риелтерское объявление о Переделкине: «65 тысяч долларов за сотку». Зинаида Николаевна

и Борис Леонидович формально не владели, но на все есть свои эквиваленты, и получить ту дачу в аренду требовалось столько же сил, комбинаций и везений, как накопить денег на 70 соток сейчас), – и при этом они стучат по батарее, едят котлеты в тарелке из-под супа. «Говорит она как-то странно – отрывисто – в сторону, – глядя при этом не в лицо собеседнику, а куда-то мимо» [Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг.

Стр. 413 (воспоминания Л. Чуковской)], – будто мама ей ни разу не говорила, как надо разговаривать.

Это была уже даже не та жена, с которой можно съездить получить Нобелевскую премию. «Не хочет брать Зинаиду Николаевну с собой в Швецию» note 29. Она была очень загрубелая. Обгорели в романе с ним все тонкие окончания, даже те, которые отвечали всего-то за светский лоск.

Читать о романе с Зиной – даже в воспоминаниях самой Зины – это читать о жизни Пастернака; история с Ольгой – это уже о ком-то другом, о чем-то – о немощной плоти, о каких-то забавах германских студентов – с веселыми, непраздничными выпивками, с отзывчивыми подругами, с одиночеством и собственной, с ними не связанной, жизнью (у Пастернака – смертью) впереди.

Некрасивый пейзаж Переделкина у пастернаковской дачи – самый некрасивый из окрестностей бывших Самаринских угодий.

Ужасный, безвкусный садовый боярышник.

В советских пособиях по ландшафтному дизайну как аксиома принимается, что у всех не хватает пространства, главный совет касается животрепещущего: как зрительно расширить границы участка. Совет универсален: сделайте по окраине ваших владений переходную зону к общественному ландшафту, часть которого вы намереваетесь визуально присоединить к собственному. Если за участком лес – высадите высокие кустарники, если луг, то подведите к границе участка газон, и пр. Все, чтобы ваш собственный подлесок становился вашим же – пусть только зрительно – вековым лесом, а ваши, сэр, трехсотлетние газоны переходили в объеденные овцами поля, а там – в бескрайние вересковые пустоши…

Пастернак, очевидно, ландшафтной архитектуры не изучавший, но по природе своей считавший все своим, пошел от противного. Перед его участком – это и было частью знаменитого переделкинского пейзажа – простиралось колхозное картофельное поле. Малоромантично, правда? Пастернак перед своим домом на участке, подозрительно свободном от старых

деревьев (не вырубал ли?), посадил картофель. Картофельный огород, переходящий в картофельное поле. Поле прямоугольной формы, по-пригородному, по-промзоновски врезающееся в пейзаж, впритык к шоссе, заборы, заборы, само поле было огорожено – сейчас хоть поля не огораживают. А тогда времена были голодные, картофель – не колоски: в контрабанде легок, соблазн большой. Как Пастернак зимой в метели там ходил – понятно (состояние этих заборов легко себе представить), а летом, может, и рисковал со сторожами.

Пейзаж перед улицей Павленко неживописен и нелогичен, как вырубка. А перед вырубкой – лесополоса. Все это и есть вид из окна кабинета Пастернака: он выходит на две стороны, и другая – совсем иной разговор. А в эту – вид программный: огород, лесополоса, поле. Над полем – кладбище. Лесополоса, комковатая, заросшая обезумевшими травами, случайными деревьями, которым не суждено стать лесом, среди которых все признаки ненатуральной, несельской, нелесной природы – садовый вид боярышника, на который тяжело смотреть, зная, что это изуродованный, бройлерный, перекормленный агрогормонами вид настоящего дикого боярышника.

Наш дикий боярышник, растущий по жарким косогорам, – совсем не тот, о цветах которого, как букеты на алтарь положенных, писал Пруст, – наш не цветет так ярко, но имеет необыкновенно изящную форму куста, с легкими, правильными, обильно облиственными ветками, и каждый листочек – плотный, небольшой, узорчатый. Не говоря уже о ярких цветках с высокими бутонами и о ягодках. Как пишет другое пособие по садоводству, научая любителей определять чайно-гибридные сорта роз: «Если при виде на них вы воскликнете: „Вот настоящая роза!“ – значит, это и есть одна из чайно-гибридныхроз». Вот прекрасный куст – это и есть боярышник! – вьющийся правильной спиралью ровного конуса, как молодая елка, но все старающийся помягче закруглиться. И все это с тонкими, очень корявыми, но равномерно распределяющимися в общем объеме веточками, серо-коричневым ярким стволом, длинными шипами, – всего этого совершенно лишены садовые сорта. Они мясисты и с рыхлым стволом, у них невыразительные бестрепетные листья, нет шипов, ватные рыжие ягоды, у них унылый пыльный вид. Сейчас это большие деревья, безвозрастные, как безвозрастны люди с болезнью Дауна, заставляющие своей неуместностью думать о себе. У Пастернака у одного в Переделкине такой солнечный – солнце солнцу рознь; его солнечный – это пустынный, выжженный, такой некрасивый участок. Лидия Чуковская, каждый раз бывая у Пастернака, записывает свежее

впечатление: темный дом, мрачный дом, дом беды.

Сначала Пастернаку дали другой дом – больше, зеленее, темнее, там точно не посадишь ни клубники, ни картошки, – мало что вообще возьмется на лесной почве: овощи боятся лесного суглинка, замирают, не растут, как домашние животные в присутствии дикого зверя, будь он хоть за семью замками. Переделкино – сильно смешанный лес, почти исключительно еловый, под елями не до веселья, еловый лес – это не Ясная Поляна, это Шварцвальд.

Пастернак любил все, что сделано не руками. Но страна, в которой он жил, – по счастью, не дожил до эпохи массового строительства и садовых товариществ, – становилась все некрасивее. Поступь индустриализации и демографической тектоники размывала топографические контуры и городов и природных ландшафтов, затирала их заскорузлыми глыбами нечищеного, неотделанного железобетона и трущобными заплатами домиков и наборных – тоже из заплаток – заборчиков.

Борис Пастернак не хотел приукрашать родную страну. Облитую кислотой невесту он хотел поддержать тем, что остался ей предан и изо всех сил работал на нее. Его участок в Переделкине – действительно самый некрасивый, облеплен солнцем, как усадьба пристанционного смотрителя. Дрова, картошка, крашенная суриком будка. Он все это выбрал сам.

Только что не запах креозота. Как Андрея Платонова, его тянуло к поездам, к железной дороге – к самому временному, артельному, не зависящему от воли человека, ужасающему и возбуждающему его, готовящему к прощаниям, к случайным, плохим, на всю жизнь запоминающимся встречам.

«По-своему, на свой манер, лицо у него, вопреки загару и здоровью, не менее страшное теперь, чем у Зощенко. Но, глядя на него, сразу замечаешь болезнь. Михаил Михайлович худ, неуверен в движениях, у него впалые виски и жалкая улыбка. Он – „полуразрушенный, полужилец могилы“. А Борис Леонидович красив, моложав, возбужден, голосист – и гибель на лице».

Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 426 (воспоминания Л. Чуковской).

У Пастернака могли отнять дачу – во время нобелевского кризиса. Таких случаев прежде не было: отнимали, как правило,

жизни, но и дачи тоже раздавались и могли соответственно быть отняты – не массово. Собственно, пользование дачей приравнивалось к долгосрочной путевке в дом творчества. И никаких основных инстинктов.

«Он был поразительно красив: с выдающимися скулами и темными глазами и в меховой шапке он выглядел как какой-то персонаж русской сказки». Ольга Карлайл, внучка Леонида Андреева, дочь Вадима, племянница Даниила (Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак,

М.И. Фейнберг. Стр. 647).

На даче спят…

Ревет фагот, гудит набат. На даче спят под шум без плоти, Под ровный шум на ровной ноте, Под ветра яростный надсад.

Я просыпаюсь. Я объят Открывшимся. Я на учете. Я на земле, где вы живете, И ваши тополя кипят…

Баллада. Ирпень, лето 1930 года.

Земляничные поляны имени лили брик

«В том же самом крематории, где огню был предан Маяковский, состоялась и кремация Лили. < > К тому времени Василий Васильевич Катанян уже нашел укрытое среди ее бумаг письмо-завещание Лили, написанное десятью годами раньше, когда она всерьез помышляла о самоубийстве. Лиля просила развеять ее прах где-нибудь в Подмосковье. Вероятнее всего, ей хотелось быть погребенной рядом с Владимиром Маяковским, но она знала, что эта просьба обрекла бы близких на мучительные хождения по инстанциям, а ее саму на посмертные унижения».

ВАКСБЕРГА. Загадка и магия Лили Брик. Стр. 458—459.

Лиля Брик и Ольга Ивинская. «Эту параллель не надо затягивать, как всякую параллель, но время от времени ею для удобства можно пользоваться» (Бродский). Про них нельзя сказать, что ни одна из них не была ЖЕНОЙ, – Лиля не была женой, но большей женой, чем она, никто не был. Романы и Маяковского с Лилей Брик и Пастернака с Ольгой Ивинской длились приблизительно по пятнадцать лет,

для Пастернака комфортная форма доживания, для Маяковского – вся жизнь. Имя Лили Брик даже не стало нарицательным, потому что слишком неповторимо. Ольга Ивинская, наоборот, слишком расхожий тип – и женщины, и отношений.

«Лиля Юрьевна никогда не была красива, зато неизменно была желанна. Ее греховность была ей к лицу, ее несомненная авантюрность сообщала ей терпкое обаяние; добавьте острый и цепкий ум, вряд ли глубокий, но звонкий, блестящий, ум современной мадам Рекамье, делавший ее центром беседы естественной королевы салона добавьте ее агрессивную женственность. Властную тигриную хватку < > все это вместе с широтою натуры, с демонстративным антимещанством, – нетрудно понять ее привлекательность» (Леонид Зорин. Цит. по: ВАКСБЕРГ А. Загадка и магия Лили Брик. Стр. 460). Характеристика, к каждому пункту которой легко дать параллель из характера и обихода Ольги Всеволодовны, – параллель со знаком минус.

Женщины разные бывают нужны, и интересны нежные, жертвенные, недополучающие – но и тогда уже не ропщущие и

уважающие свою жизнь, все эпизоды жертвенности и недополучения с легкостью радостного бытия проживающие один за одним. Те же, которые, разнежившись, или прикинувшись чересчур нежными, свое упустили – или не смогли ухватить, и вместо новых ошибок и радости пытающиеся создать более респектабельную ретроканву своей женской биографии – в чьих головах создавать? для чего? – они образуют тип Ольги Всеволодовны. Некрасивы неоцененные, нереализовавшиеся. Не всем удается попасть в нужное место в нужное время. Ольга Всеволодовна могла бы посетовать, что ей не попался «красивый, двадцатидвухлетний» и соответственно неженатый, – тогда бы она тоже не обиделась бы, если б ее прах развеяли в поле. Но разница в том, что Лиле Юрьевне тоже попадались женатые – у нее были разные случаи, и Маяковский не был мужчиной ее жизни, – и она себя ставила с ними так, что эти объяснения оставались между ними: оправдываться перед публикой надобности не возникало.

Да и Пастернак без вставных зубов (стоматологическая проблема существовала всегда, поэты в России только-только стали ее замечать, при помощи подруг (не матерей), и некоторые, как наши герои, – решать), готовый взвалить на себя несколько семей, твердо разбиравшийся сам в своих финансах (поскольку никому не был должен), всех, в том числе и кредиторов, считал за людей и потому не запутывался, – такой, в поисках сестры и жизни, он тоже не заинтересовался бы Ольгой.

Раскрываю книгу, изданную наследниками Лили Брик. Все, что было личного у Маяковского, осталось у Лили Брик. Все, что не бумаги, доставшиеся, как архив самого лучшего, талантливейшего, жалователю таких титулов – государству, и что не взяли сестры, – все было у Лили, потом досталось ее четвертому мужу, тишайшему Васику, Василию (Абгаровичу) Катаняну, после него – его сыну от первой жены Васику-младшему, преданному рыцарю Лили Брик (степень родства – как если б Пастернак не разлюбил Зину, а Женечок сделался бы ее сторонником и душеприказчиком, при этом оставаясь любящим сыном матери). Умер и Васик. Лиля и все вокруг нее уходило бездетным, как будто жизнь лепила их как символы и не находила нужным давать им продолжение: если они какую-то идею представляли, то она в них уже была окончательно воплощена. Эльза Триоле с Арагоном тоже свое поместье-мельницу под Парижем хотели оставить каким-то собирательным духовным чадам, которым приятно было бы над чем-то литературным потрудиться в прелестном месте, но и у

пережившего Эльзу Арагона завелся жесткий и алчный «друг его старости», – и судьба мельницы интересна только тем, кто хочет именно ее конкретно судьбу знать.

У Лили случилась судьба символа, живущего дольше, чем живут генетические наследники. В любом случае вдова Васи (Васильевича) Катаняна по какому-то рукоположительному праву имеет прав на архив Маяковского больше, чем что-то (кто-то, естественно), зародившееся без ведома и желания Маяковского (его биологические дети). Это как в священстве: личные качества иереев – их личные трудности, вернее, трудности их личного спасения, а благодать у законно рукоположенного самого пьяного батюшки, – такая же, как у самого жертвенного подвижника, – апостольская, переданная беспрерывно по прямой.

Архив Маяковского передавался строго по любви. И прислушивающиеся к доводам крупной круглоглазой феминистки из Америки, очень действительно похожей на недалеких, дремучих сестер Владимира Владимировича, больше чем к профессиональным – добросовестно профессиональным, – не состоящим в неоспоримом кровном родстве наследникам Лили Брик, которая единственная что-то значила для САМОГО Маяковского, демонстрируют зоологический подход к правам личности. А ведь Маяковский должен что-то значить сам по себе, полагать у своей воли наличие прав не меньших, чем у продукта жизнедеятельности своих тестикул, разве не так?

Вот разворот дневников Лили Брик: «Реф революционный фронт искусств> был переполнен. Володя вступил эффектно. Осю слушали очень внимательно. Володя зря прерывал слишком громкими и остроумными вставками – мешал. Он зря сделал второй и третий доклады, зря так длинно крыл Сельвинского. Оппонентам не дал говорить, кроме Инбер. Ответил Ося очень складно… Володя стал совсем профессионал-выступатель перед платной публикой».

БРИК Л. Пристрастные рассказы. Стр. 191. Это не кто-то сказал, чтобы указать на гибельную роль Лили Брик, это она в нем заметила сама. Все это можно объяснять как угодно, вплоть до того, что он хотел быть как можно более полезным СВОЕЙ РЕСПУБЛИКЕ, что он хотел поэтически СРАБОТАТЬ побольше, поударнее, – сущность поэтического поприща утеряла для него истинное значение. Он хотел хорошо трудиться и на это хорошо жить – просто для того, чтобы знать, что это ему под силу.

Ну и Лилечке нравится. «На улице встретили Полонскую с Володей и Яншиным по бокам под ручку – тусклое зрелище» (Там же. Стр. 190). Письмо от Эли про Татьяну: «она конечно выходит замуж за франц[note 30] виконта. <> Представляю себе Володину

ярость и как ему стыдно» (Там же.
Стр. 191).

Это были платные женщины, по которым он тоже хотел стать профессионалом. Оговоримся сразу: платные – только для него, это он не хотел ничего дармового, и Нора Полонская была платной только для Маяковского он сам хотел за всех платить и за Полонской видел назначенную цену: муж, карьера, родители. Бросит все – значит, у него хватило чем заплатить. Даже самая отпетая авантюристка вряд ли клюнула бы на такие перспективы: было видно, что он ни капли не влюблен и даже не азартен, просто раздражен и эгоистичен: будет по-моему или… что? Для себя – застрелился, для нее – ославил в предсмертной записке. Тут же он страдает по Татьяне – Полонской даже этого объяснять не стал, и Лиля ходит стороной, как лесник: погонит – не погонит? Норе не было ни одной зацепочки, чтобы уважаемого Владимира Владимировича всерьез воспринимать. И он этого не знать не мог, за что ж было обижаться? И Татьяна Яковлева тоже подсластила пилюлю: ну как тягаться с виконтами! Даже слово-то какое, титул какой не бог весть какой высокий, но звонкий, и тем не менее для него – вот ОНА не захотела. Что бы было «товарища правительство» и ей не попросить что-то отстегнуть из гонораров?

Зинаиду Николаевну тоже кремировали. Она была готова к повторению участи Лили Брик. Рядом с ее мужем Пастернаком его сын уже положил свою мать, Евгению Владимировну.

Ольга Ивинская умерла в 1996 году. Самые были времена, чтобы и ее к Пастернаку в могилу доложить. А что? Заброшенное переделкинское кладбище переживало те же трудные времена, что и вся страна.

Почему Мария Вениаминовна Юдина хоронила Зинаиду Пастернак? Почетность попастернаковского вдовства уже перешагнула необходимый приличиями срок – после смерти Пастернака прошло шесть лет, да и какие приличия нужно было соблюдать Юдиной, уже и к его смерти едва передвигавшей ногами? Что еще могло привезти ее к чужому катафалку? Общего у Юдиной и петербургской консерваторки Зинаиды Еремеевой была только музыка. Только положение достойной почитательницы (надо было быть не меньше чем достойной) могло вызвать у Юдиной ответное чувство долга.

«Когда в 1966 году в похоронном автобусе на пути в крематорий я сидел у гроба вместе с Марией Вениаминовной Юдиной, то заметил, как она шевелит губами и крестится».

ОЗЕРОВ Л. Сестра моя – жизнь //Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 446.

Ничто не может приучить человека к мысли о скоротечности жизни. На сколько хватает воображения, человек играет со своим временем и с прожитым временем доступных его полю зрения людей – и все забывается. Самые наглядные и азартные игры, грубые и простые – как в шашки на щел-баны, «в Чапаева» – это перезахоронения и подзахоронения. Давно надо бы забыть, а родственники делят. Дележ (под него надо подводить базы оправданий и бывших реальных событий) приобретает абсурдный постельный оттенок.

Молодой сильный мужчина Евгений Пастернак против воли смертельно больной и старой – она не снизила темпы своего старения, взятые с пятнадцатилетнего возраста, и к середине шестидесятых была мужественной (мужеподобной и окаменелой) развалиной – вдовы похоронил свою мать в могиле своего отца. При здравствующей вдове в могилу ее покойного супруга похоронили чужую женщину. Чужой для вдовы молодой мужчина решил, что его мать этого заслуживала. Евгений Борисович был моложе Ольги Всеволодовны и борьбу развернул над ложем смерти.

Анна Саед-Шах: «<…> дело было <…> в признании статуса. Помните, как Сталин пригрозил Крупской, что, если она будет себя неправильно вести, он назначит Ленину другую вдову. А Ольга Ивинская очень активно претендовала на роль вдовы гения. И, если я не ошибаюсь, старший сын Пастернака Евгений готовил на эту же роль свою мать, первую жену Бориса Леонидовича».

Наталья Анисимовна Пастернак: «При живой еще Зинаиде Николаевне Женя захотел похоронить свою мать вместе с отцом. Но в конечном итоге не получилось, и он захоронил ее рядом, прямо у дороги. Зинаида Николаевна категорически не хотела устраивать из могилы поэта общежитие жен и просила не хоронить ее там. Урна с ее прахом простояла больше десяти лет в кабинете. И, когда отняли дом, волю вдовы все-таки нарушили. Теперь она лежит рядом со своим мужем».

http://2004.novayagazeta.ru/nomer/2004/38n/n38n-s28.shtml .

Евгения Владимировна похоронена не над дорогой, как сказано в интервью, и не в могиле Пастернака, как запальчиво заявлено в предшествующем пассаже, но, несомненно, на общей семейной площади, вниз от тропинки, по которой проходят туристы, вполне однозначно для изучающих литературный

обиход: Евгения Владимировна Пастернак – в семейной усыпальнице Пастернаков, наглядно и правомочно, никому не придет в голову спрашивать, если бы в момент захоронения не была еще жива Зинаида Николаевна?..

Жить семьей, быть женой – во времена, когда титулы «жены» и «не жены Бориса Пастернака» раздавал сам Пастернак. Когда он был жив, он сделал свой выбор в пользу Зинаиды Николаевны. Наверное, заступился бы и за нее, если б в контору кладбища явился молодой мужчина с его фамилией и потрясал бы документами умершей однофамилицы, своей матери.

Зинаиде Николаевне, очевидно, предлагалось завещать развеять свой прах над полем за Тучковым… Все свои дни и вечера один с мамочкой – здесь нет ничего для насмешки, все эти разбитые семьи представляют собой две стороны одной трагедии (больше сторон – меньше осколки трагедии, пастернаковская жизнь треснула пополам в тридцатых, а под конец пятидесятых жизнь, как старческий зуб, стала стачиваться энергичной жизнерадостностью Ольги Всеволодовны, но больше не треснула) – он мечтал об этом часе: когда мамочка ляжет с папой снова в одну постель (наверное, Зинаиде Николаевне полагалось бы провалиться в тартарары заранее), – но он хотел видеть триумф Евгении Лурье при своей жизни.

Величие не значит ничего. Софья Андреевна Толстая слышать ничего не хотела о пожеланиях Льва Николаевича. Она лично, Софья Андреевна, произвела на свет некоторое количество детей и желала, чтобы ЕЕ ДЕТИ были материально обеспечены в жизни так, как она полагала достойным звания сыновей мужчины, которого удалось заполучить ЕЙ.

Мы – не современники и не потомки – еще менее ее приглашаемся оценивать вздорность или не вздорность взглядов вышеупомянутого Льва Николаевича. Толстой не значил ничего, никаких пожеланий высказывать не мог (мог сотрясать воздух или марать бумагу). В свое время называя ее женой, представлял себе достаточно ясно, о чем идет речь, даже расцвечивал особыми красками сцену перехода в зависимое, мужнее состояние при этой Софье – беллетризи-рованно, с художественными обобщениями, – но все это было его решение.

Величие мертвых значит еще меньше – к гробу Маяковского явилась совсем уж посторонняя женщина, его дочь от сексуальной партнерши на короткое время, очень на него – и его печально активных сестер – похожая: крупная, мясистая, длиннорукая, с большим лицом и крупными, его, чертами; американка, ни слова не знающая по-русски, совершенно, естественно, некрасивая, феминистка, считающая большим своим достоинством то, что

попросту знала, кто такой Владимир Маяковский, – и прикопала в его могилу на Новодевичьем кладбище горсть праха своей матери.

Лиля Брик («На цепь нацарапаю имя Лилино… » и пр.) была развеяна над полем под Звенигородом – за нее некому было вступиться. Все, что говорили и писали о ней злопыхатели, мог бы повторить – многократно повторял в стихах – сам Маяковский (узурпировала, захватила, присвоила), но таков был его выбор, а лежа в могиле, он был бессилен.

«Ты пишешь мне: мы с тобой одной крови, папочка. На чор-та мне кровь, твоя или моя. Фауст мне ближе…»

Пастернак тоже мог анализировать – Зинаида Николаевна была по крови все же ближе всех. Жить с ней было невесело как не весело или весело самому с собой. «Глубину одиночества, которая уменьшается, если приходится ее с кем-то делить…» Она была слишком близка, пусть некрасива (для всех скажем: внутренне, и для читавших ее мемуары о том, как поражала своей прекрасной внешностью, скажем: внешне), как может быть некрасив нос или руки – и человек не обязан заставлять себя их полюбить, как бы ни понуждали его современные теории гигиены психологического здоровья, гораздо легче признать просто-напросто некрасивость носа и отказаться от услуг ринопластических Моцартов – и Пастернаку остаться при неукрашающей его поздние фотографии неотделимой Зинаиде Николаевне. Но она была единственной, при которой его одиночество не увеличивалось и его глубина оставалась на удовлетворявшей Пастернака отметке. Ничего другого искать не приходилось. Разве что посмотреть в сторону более веселой, блондинистой, компанейской, пусть похоронившей двух мужей, но не державшей урны с прахом на буфете (урны ведь не только стоят – они иногда и притягивают взгляд).

В любом случае относительно того, на чьих руках умирать и подле кого упокоиться, Пастернак никаких дополнительных – сверх вытекающих из его общеизвестного семейного статуса – волеизъявлений не регистрировал.

Надо отметить, что и сама Зинаида Николаевна была безмятежна, как камни, – очевидно, стоит задуматься, почему бы это: при том, что ангелоподобная бойкая девочка-студентка, сожительствующая с иностранцем, живущая с матерью, сожительствующей с писателем, которого без иронизирования над потугами вселять уверенность в себе и чувство тыла можно называть «классюшей», и с бабушкой, в семьдесят лет вступившей в брак – уже законный, – эта девочка часто выражала неотличимое от искреннего недоумение: с чего это в ее институте

кто-то распускает слухи, что она – дочь Бориса Пастернака: то ли внебрачная, то ли приемная, то ли просто дочь. Кто бы это мог быть?

Дети были бесспорно слабым местом в отношениях Зинаиды Николаевны и Пастернака.

У детей легче чем у пташек крылья. Они вспархивают легче, чем воробышек любви – они могут появиться и без любви, и немного после любви, а то и припорхнуть из чужого гнезда.

У Зинаиды Николаевны были Нейгауз и Пастернак – слишком много, по московским меркам, для одной, даже самой самоуверенной дамы. Они выпали ей, как два туза, – может быть, и незаслуженно. Заслуги на каких-то непредставимо нами точных весах вымеряются, и что туда кладут – тоже не сразу и заметишь. Мы можем бесконечно только воротнички ее обсуждать и плечи. Жестокость наказания, как известно из юриспруденции, на уменьшение преступности не влияет, а закона, который бы только и действовал – неотвратимости – конечно, нет никакого и в помине, как нет его нигде в ведомой нам жизни. Зине помучить завистниц безнаказанной удачей не довелось. Она ответила за «пользование не по чину» сполна: за Нейгауза – Адиком, за Пастернака – изуверством ситуации с Ивинской.

За Пастернака пришлось ответить дважды: ведь она увела его не только у сонма безымянных, пусть в высшей степени достойных балерин и обитательниц переделкинского Дома творчества, подыскивающих себе утонченного и способного их понимать – это так непросто! – мужа (можно писателя, можно генерала) – за это платила при жизни, но отняла его и у случайно (эта первая причина, первопричина – Женя – была в жизни Пастернака случайна) захватившей Пастернака Жени – за это был посмертный счет.

После случайной Жени Зинаида приближалась к Пастернаку, как неумолимая, рассчитанная учеными и нострадамусами комета. Но кометы в семейном кодексе не прописаны, на небо взглядывать никто не обязан. За животные, раздирающие страдания Жени Зине отомстили не в отвлеченном, фигуральном виде, не трагической случайностью, которую можно истолковать как БОЖЬЮ кару (хотелось-то бы лично разорвать ее на куски), а совершенно человеческой оплеухой, чем-то, перечеркивающим ее жизнь. Как бы, например, она подошла с кем-то из «своих», своего лагеря – не дождавшимися справедливости «поклонниками Жени», они же – враги Пастернака, свободы его воли и его ошибок, – к могиле Пастернака, навестить ее, как показала бы соседнее надгробие: а это кто, мадам Пастернак? – так, положим,

спросил бы какой-то иностранец. Отомстили чем-то нецеломудренным: Пастернак оставил Жене быть другом рядом с ним, а сын своднически стал УКЛАДЫВАТЬ их рядом, надсмеялся над отцом – тот ложе хотел и делил не с Зиной, но и не с Евгенией Владимировной ведь, сражался на «поле сраженья» – за Зинаиду Николаевну, защищая то, что у нее и до Евгения Борисовича хотели отобрать – пусть даже самая милая его сердцу и чреслам блондинка, – но не уберегся от удара с тылу. Первенец взял на себя какие-то совершенно фантастические, никакими законами не предусмотренные функции. «При живой еще Зинаиде Николаевне Женя захотел похоронить свою мать вместе с отцом… »

Так просто. За то, чтобы ответить за Женю, не пришлось и просить судьбу дать Зинаиде Николаевне какой-то многозначительный удар.

Какие-то суды, оказалось, можно вершить и не забираясь в высшие, надмирные, инстанции.

…общежитие жен – вообще-то с «женами» Пастернак разобрался сам и никакого их количества, достаточного для общежития, общемертвия, не было, была одна законопослушно определенная в супружеский статус Зинаида Николаевна, а она была уверена, что, кроме Бориса Пастернака, – при жизни его, естественно – назначения эти никто не волен делать.

…просила не хоронить ее там.

Это все, что ей оставалось делать. Других способов постоять за себя не было – за год до смерти, подходившей основательно, с крепкими болезнями. Ленечка был не боец.

Да это уже было бы и не так важно.

Во всю ширину плаща

Хмель

Под ракитой, обвитой плющом, От ненастья мы ищем защиты. Наши плечи покрыты плющом, Вкруг тебя мои руки обвиты.

Я ошибся. Кусты этих чащ Не плющом перевиты, а хмелем. Ну так лучше давай этот плащ В ширину под собою расстелем.

Борис Пастернак

«…после потрясшей меня смерти Адика мне казались близкие отношения кощунственными… »

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.

З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 340.

Борису Леонидовичу в год смерти пасынка было 55 лет. Он познакомился с Ольгой Ивинской через год, в 1946 году.

«Пастернак был поэтом, а не моралистом, и не стремился к святости. В „Докторе Живаго“ он пишет: „безнравственно только лишнее“. Совесть его была спокойна: для него шла речь о необходимом».

СОКОЛОВ Б. Кто вы, доктор Живаго? Стр. 185. Итак, речь идет об Ольге Ивинской – о «необходимом».

Шевелящиеся в уплотненном – теснее постели – и темном коробе автомобиля, везущего их впервые вместе на домашний вечер к Юдиной, Пастернак и Ивинская – вот когда был ИХ момент, тот, когда у них произошло «все». После этого их уже несло течением, мощным потоком, решать ничего было не надо. У нее были бесспорно сияющие глаза, бесспорно светлая, манящая в темноте кожа, бесспорно рот открывался летящим движением губ, возбуждение ее было полновесным, ненатужным, сила любви, страсти, житейской хлопотливости и агрессии билась, закрытая в плотно и аккуратно сбитом теле так реально, что хотелось найти в нем краник, который можно по нужде открывать и пользоваться.

«Давайте я повезу вас к одной своей знакомой пианистке. Она будет играть на рояле, а я обещал прочитать там немного из новой прозы. < > Так мы поехали к Марии Вениаминовне Юдиной, прямо в рождественскую метель, блуждали среди снежных сугробов на чьей-то чужой машине. < > в снегу, в лунном, снежном бездорожье, среди одинаковых домиков за „Соколом“, и не можем найти нужного дома. < > Тогда-то мы

увидели среди домов мигающий огонь канделябра в виде свечи (Ольга Всеволодовна, милая, редактор отдела поэзии! Ну какой там огонь у канделябра! Ну как это – канделябр в виде свечи? А свеча в виде канделябра? Ладно, ладно!). Это оказалось окно, где нас ждали. <> Мария Вениаминовна долго играла Шопена („долго играла“ – сказано как-то подозрительно, уж не надоело ли слушать?); БЛ. был

особенно возбужден музыкой, глаза его блестели. А я себя не помнила от счастья».

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 210—211.

Познакомились осенью, в октябре, интимную связь установили 4 апреля. Столько ждали – не по добродетели, надо полагать, Ольги Всеволодовны. «С какой стати?» Это все боролся и мучился Пастернак. Интересно, чем мучился?

Ивинская была будто бы столь темпераментна, что «отдалась попутчику в поезде». Приврала, может.

Фотография молоденькой Ольги Ивинской, начала 1930-х годов. Она сидит на подлокотнике кресла, выставив со всем тщанием обутые ладные ножки на сиденье, халат шелковый и с оторочкой, чулки светлые, тонкие, со складкой под коленкою, руки подняты, губы приоткрыты. Раньше так фотографировались мало. Не зря даже опубликовать впервые такой снимок И. Емельянова решилась только во второй своей книге, через десять лет после первой.

Пастернак-1

Пизда
Взошла пизда полей
В распахнутом пространстве.
Пизда поводырей,
Печаль непостоянства…

В. Сорокин. Голубое сало. Стр. 91—92. Ее мемуары – как будто выдуманные. Описание творческого пути Пастернака, литературной ситуации, прописи про поэта и царя – какое кому дело до ее мнения обо всем

этом? Если кто-то берет ее книгу, то затем, чтобы увидеть Пастернака в жизни. Боже упаси, не в постели – это, собственно, и

неприятно: то и дело, при описании ее жилья, натыкаться все на одну и ту же деталь – ЗАНАВЕСКИ. Какие – да насколько плотные. Да звуконепроницаемость какая!..

На Евгении Владимировне оскорбительно женился, когда пришло время жениться – в тридцать два года. Зинаида Нейгауз явилась как готовый восхитительный многоплановый, с проработанными линиями, роман и сама за собой стирала белье, готовила на семью обеды, мыла полы – мечта гусара. Гуттаперчевая в юности – «меня за гибкость называли женщина-змея», Анна Ахматова до старости считала волнующими «глубокие наклоны перед публикой, касаясь лбом колен», а про Пастернака со стерильным, по-ахматовски бесплотным высокомерием цедила: «Когда нечем было восхищаться, он восхищался тем, что она сама моет полы». Как для «барыни» и женщины, для которой в эротике нет «тайн» («тайна» по-ахматовски – это то, что видишь, когда подглядываешь) – звучит странновато: разве неизвестно, что редкому господину можно доверить смотреть на женщину, наклонившуюся мыть полы, – только такой невинный и наивный человек, как Борис Пастернак, мог бесхитростно признавать, что роман кристаллизовался, когда увидел жену (чужую), моющую на террасе полы… Не боялся быть смешным – и, как видим, зря.

В романе с Ивинской он тоже оставил все как есть: шелковый халат, расстеленный на земле плащ, занавески и пр. – и тоже здесь нет любви ради любви. Ритуальный, здоровый супружеский секс – многие физически крепкие и с хорошими дружескими отношениями пары цивилизованно держат в порядке свою физиологию – и не более того. Борис Пастернак каким-то образом оседлал машину времени и просто сбросил себе тридцать лет.

В полусвете тринадцатого года, в «Twilight of the Tsars» остались Анна Андреевна Ахматова с ее старомодным французским языком и английским, которого никто не понимал, – и Зинаида Нейгауз с дореволюционными декадентскими хождениями под вуалью и отдельными номерами в «развратных гостиницах».

Он был тонконогим моложавым юношей, шестидесятником во дни шестидесятнической молодости, он трепался о своих интрижках с четырнадцатилетним Андрюшей Вознесенским: «Когда ты падаешь в объятье в халате с шелковою кистью…„Это не слишком откровенно?“ < > Андрюша уверенно отвечал, что не слишком».

БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 682.

Зоя Масленикова называет Ольгу Ивинскую «полной». Сама Зоя Афанасьевна мала, черна, с мелкими и плоскими чертами лица на мелкой же и сухой голове. Кудряшки, загар, припыленные морщинки у прищуренных в улыбке глаз. Народ мы восточный, голодный, приятная полнота в наших скифских широтах считается синонимом красоты, наши кинозвезды и наши фотомодели всегда были очень, гораздо полнее своих коллег по цеху с Запада. Светские красавицы иногда приближались к западным стандартам – но они прошли по краю небосклона, не оставив следа в истории, и ими полны только фотоальбомы в хороших семьях. У ки-нодив же наших были полные бедра, крупные икры и короткие голени, плотные плечи, сыто наеденные шеи. Тонкой талии не было ни у кого Слово «талия» в русском языке было, но не обозначало оно ничего. По тогдашним – тем более по тогдашним – меркам Ольга Ивинская не была полной. Любой мемуаристке приходится соблюдать санитарные нормы недоброжелательности к описываемым чаровницам, и Масленикова дает адекватный (в смысле «в такую влюбиться можно») портрет Ивинской.

Неуловимая детскость карлицы: недлинные ноги с маленькой ступней, просящейся в башмачки с тупыми мысками, чуть крупноватая в этих пропорциях голова, рисунок лица – короткий нос и крупный подбородок молодят (с возрастом носы тяготеют к крючку или хотя бы к капле – их подрезают, подбородки наращивают – они проедаются, прошамкиваются), пластической молодости ей было дано с запасом. Ольга Ивинская была стареющей девочкой. Кому не понравится, когда самому под семьдесят! И еще – как тут не убедиться, что девочку Зину под вуалями он все-таки просто так простить не хотел и сурьмой по сердцу была ему нарезана – она.

Мужчины были не плечисты и носили очень широкие брюки, высоко и туго подпоясанные ремнем. Женщины были крепки собой. У Ольги Ивинской, при миловидном – короткий нос всегда у нас был отличительным признаком миловидности, у нее, правда, был еще и железный подбородок (воли никакой, но страстное и неотступное желание) – лице были короткие же и очень, чрезмерно полные руки. Она и вся была полна: Пастернак всегда любил полноватых – и общество диктовало свои вкусы (самый независимый из нас не признает черные как смоль зубы признаком красоты), и его собственная конституция хотела бы чего-то «мягкого, женского» для звона его подсохших суставов.

Наверное, для него тайн в ее тайнах не было: проймы на

платье вырезаны очень высоко, до подмышек, – это вам не кончик туфельки. В церковь, например, нельзя заходить в платье без рукавов, руки – это доступ ко всему.

Вот какие свойства любви – ведь и не скрывает, что увлекся внешностью Зинаиды Николаевны, что любовь была сугубо неплатоническая (так и пишет родственникам: «то, что было неотвратимо и случилось» (БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 511), «конечно, если бы Зина была некрасива, ничего бы не произошло» (Там же. Стр. 556), «… наконец все разошлись, Зина постелила себе на полу рядом с моим диваном <> я не знаю, зачем тебе, сестре и женщине, доверять ту непостижимость, что если у меня будет дочь…» (Там же. Стр. 530), а Марина Цветаева на все это – потому она и интересуется не «тайнами», а жизнью – прозорливо отмечает: «Баллада хороша. Так невинно ты не писал и в семнадцать лет» (Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922—1936 гг. Стр. 534). Любви же на расстеленных плащах позже приходится стесняться, как требующей снисхождения сенильной заместительной романтики.

«И со свойственной ему в былые дни грубостью, которая вновь стала появляться у него с тех пор, как он перестал быть несчастным, и на некоторое время понижала его нравственный уровень, он мысленно воскликнул: „Подумать только: я попусту расточил лучшие годы моей жизни, желал даже смерти, сходил с ума от любви к женщине, которая мне не нравилась, которая была не в моем вкусе!“»

ПРУСТ М. В сторону Свана.

«Мама с улыбкой напомнила ему его давнишние слова о том, что он может влюбиться только в очень красивую женщину, а теперь… Он смущенно пробормотал: „Да, вот так“».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 475.

Пастернаку понравилось влюбляться в красавиц. Такая влюбленность избавляла его от многих сомнений, от необходимости оправдываться, очищала совесть, можно было спокойно пользоваться измененным влюбленным сознанием. Все внутри нас, никаких грибов жевать не надо. Ему казалось, что в некрасавицу влюбиться слишком трудно, нужно больше душевных сил, к тому же красавица настроит на более высокий, классический лад – со всего лишь очаровашкой придется больше о земном, о прелести, о житейском тепле. Дали посильное.

«И далее она [note 31] поясняет, что Б.Л., якобы, не хотел ехать без жены, «а его посадили в авион и повезли». Я не помню, чтобы Боря мне впоследствии рассказывал об этом эпизоде, но сомневаться в свидетельстве Цветаевой, разумеется, нельзя».

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 90.

Сначала – о неряшливой скороговорке. Потом – о сути. Понятно, что история с нервным срывом Пастернака от любви и ревности к Зинаиде Николаевне, к Зине с ее любовником (здесь можно бы было сказать, что только от ревности, БЕЗ любви, но такой ревности все-таки совсем уж без любви не бывает) неприятна не только Женeнку, но и Ольге. Уж в доставшейся ей старческой страсти должна же быть никем до нее не превзойденная эротическая составляющая, зачем тут какие-то истории, что он сладострастие свое не ей, Ольге, копил, а на кого-то еще растрачивал. Вся неграмотность фраз происходит от нежелания хоть одно слово сказать в подтверждение того парижского исступления. Неприятно. У них, Ольги с Борей, ничего подобного во всей истории не случилось. А здесь не хотел ЯКОБЫ ехать без жены. «Якобы» в таком контексте может вставить лишь рассказчик, имеющий СВОЕ собственное мнение. Пересказывая не с ней бывшие события двадцатилетней давности, она не имеет оснований, чтобы вставлять свои замечания. Слово «якобы» могла написать только сама Марина Цветаева. «Борис рассказал, что он якобы не хотел ехать без жены. А я-то видела прекрасно, что никакая жена ему была не нужна». Ивинская, которую Пастернак любит двадцать лет спустя как отлюбил Зину, поджимая губки, высказывает сомнение, что Пастернак мог не хотеть ехать в Париж один, без жены. Пассаж «я не помню, чтобы Боря мне это рассказывал» – если не знать, что Ольга Всеволодовна просто-напросто хочет сказать, что это ей кажется враньем (чьим и зачем – не важно, просто как правду ей это не перенести), то тогда ее «я не помню» можно принять к сведению и посочувствовать, что у нее плохая память. Или же она пытается сказать, что Боря ей этого НЕ ГОВОРИЛ? Никогда? Что-то вроде: «Я точно помню, что Боря такого мне не рассказывал, не было у него такого мотива в нежелании ехать в Париж – что он не хочет ехать без жены. Жена эта ему была до лампочки». Нет – «я не помню». Не помню – так что ж поделать, нам-то что? Плохая память, бывает. Ах, тут что-то другое? – «Он, наверное, не говорил». «Я не помню» – это в данном случае заменяет однозначную, выражающую абсолютное недоверие конструкцию: «Что-то я не припоминаю»… Впрочем, благородный жест в сторону Цветаевой – та-то, разумеется, не врала, как можно

заподозрить, что вы, – надо оценить. Сомневаться, разумеется, в отсутствии склонности ко лжи Цветаевой – нельзя.

Это все, что касается грамматики. По сути, конечно, – трагедия. Мелкая, локальная, безразличная миру трагедия отдельно взятой любви, которая не стала великой любовью.

Как бы ни была неумела в письме редакторша Ивинская, зацепки ее на каждом слове выдают, что история парижского срыва, очевидно, все-таки была ей рассказана Пастернаком в какую-то откровенную минуту. Их, наверное, было и немало, неоткровенные-то ему зачем? Другое дело, что прошлое при Ольге вспоминать, наверное, не очень хотелось – она при нем не для того, чтобы его судить и в жизни его разбираться, она ничего не изменит ни в прошлом, ни даже всего лишь в будущем.

Эмма Герштейн сама была не богачкой, она всю жизнь едва-едва сводила концы с концами, она была не замужем, была женщиной, не сделала карьеры, не унаследовала ничего из богатого докторского дома, пережила страшные потери всех близких, жила только в потерях, в некрасивости, в многолетней связи (недолго – интимной, на всю жизнь – неотпускающей) с сыном Ахматовой Львом Гумилевым, была с ним в период его заброшенности матерью, но потом, когда Ахматовой потребовалось подулучшить одну из составляющих ее имиджа – материнскую, встала на ее сторону, отказалась от Левы, тем более что сделать это было нетрудно ввиду общей закрученной Ахматовой обстановки и даже спасительно в самотерапевтических целях – Лев Николаевич женился.

Не самая страшная как на XX век судьба, но неотступная язвительность ее по отношению к Ивинской, княжне Долгоруковой, светлейшей княгине Юрьевской литературной советской Москвы, сильно отличалась от светлой ярости не меньше настрадавшейся по-женски Лидии Корнеевны Чуковской. «Она была патетически бедна, ободрана, ходила в простеньких босоножках и бедненьких носочках, часто забрызганных грязью, плохо читала стихи… » (ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Пастернак и Ивинская. Стр. 64). Чуковской веришь и презираешь Ивинскую вместе с ней, Герштейн даже не жалеешь. За мать Иры Емельяновой хочется заступиться вместе с ней.

«У мамы были десятки мужчин до „классюши“». Это сказано в пику Зинаиде Николаевне, единственное непреодолимое достоинство которой было в том, что она рано – раньше, чем могла бы наговорить на себя Ивинская (в двенадцать? в четырнадцать?), – начала половую жизнь. Ну, сказала, что

отдалась попутчику в поезде – проглотили. Ну, дочь добавила, что были десятки мужчин («классюша» появился, когда дочери было девять лет – или она все наблюдала и подсчитывала воочию в шесть, в семь, в восемь лет, или мама рассказала с точными цифрами сама). А ведь «десятки» – это не десять и не двадцать, пожалуй, и не тридцать. Чтобы сказать «десятки» (а тебя бы не осудили за то, что наговариваешь), надо бы начать с шестидесяти. Вот какая она была недотрога. «Недотрога, тихоня в быту», – с иронией воспроизводит надпись под фото Ивинской (не дай Бог с такой тихоней еще более тихим женщинам встретиться – «в быту», где-нибудь на кухне или в трамвае) биограф Пастернака Д. Быков. Первой это фото опубликовала Ирочка, «недотрога» – это тоже она написала о матери (написала, конечно, не она, но она первая посмеялась над этим словом).

Ольга Ивинская в свои тридцать четыре года работала редактором в «Новом мире». В те годы – и еще сорок лет после того – человеку с самым лучшим филологическим образованием (у Ивинской были всего лишь Высшие литературные курсы после одного года на биофаке) было неимоверно трудно устроиться на редакторскую должность, разве что в отдел какой-нибудь технической литературы, где инструкции издают, брошюры. В издательство художественной литературы – это невероятно было попасть, а уж в толстый журнал (особенно в хороший!), а в «Новый мир» – это вообще, как говорят сейчас, нереально.

В «Новом мире» дамы образованные, чиновные, состоятельные работали десятилетиями на общественных началах, без зарплаты, с полным набором служебных обязанностей, но – внештатно, только ради престижа (морального удовлетворения, интереса, причастности и пр. – можно назвать как угодно). После перестройки, когда сократились тиражи и штаты, они же снова стали работать бесплатно. В «Новом мире» одновременно с Ивинской работала Лидия Корнеевна Чуковская – кроме безупречной добротной слу-жилости, она могла продемонстрировать и уровень требуемой при случае принадлежности к литературной табели о рангах… У Ивинской – только служба в «За овладение техникой» и карьера в журнале «Самолет», куда ушла в жены главному редактору. После войны пробивалась в одиночку.

Вторая молодость Пастернака – скорее поставленная на ходули первая, ведь это была только видимость, только один ее аспект, он не пережил новой, иной, творчески плодотворной молодости, будь она хоть какой по счету, а так имел только ее внешние атрибуты, включая доступный в те времена аналог

пластической операции.

«Несмотря на свое безобразие, я был много раз причиной женских слез». «В те сороковые годы его желтоватые конские зубы, широко раздвинутые посредине, дополняли великолепным своеобразием его удивительное лицо. Мне трудно писать о нем сорок шестого года, потому что слишком он классически покрасивел на свою позднюю наивную радость. <> … всемогущая техника изменила и облегчила африканскую челюсть. Зубы, такие ни на чьи не похожие – как это непривычно было – подменились искусно и верно сделанным заграничным протезом. <> Стоило уменьшить челюсть, под медные губы древнего божества подселить совершенную американскую равнозубость – и вот он, Пастернак пятидесятых годов».

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 220, 16—17.

«Она беременела от Пастернака дважды» (БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 684), но Быков свечку не держал, и за два года (речь идет о беременности во время первого ареста) два аборта – возможно, а вот за четырнадцатилетнюю связь, по советским меркам, их должно было быть гораздо больше. Итак – первый, известный детям. Второй – в тюрьме, аборт в медицинском смысле, то есть выкидыш, не искусственный. Раз эта беременность довелась до срока пяти месяцев, так что были уже ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ, то если беременность была на самом деле – вот так Ивинская пожинает плоды обычно сомнительной достоверности своих свидетельств, – арест ее происходил, когда перед ней стояла уже и другая проблема: «что делать с» или «как использовать» беременность? Аборты были запрещены, Пастернак разводиться не собирался. Здесь ответ только один, который ей показался бы оскорбительным по своей жестокости, если б это был не день накануне ареста: пусть это будет вашей самой большой бедой. Подступила горшая.

Забеременевшая второй раз за два года связи, очевидно предохранявшаяся, поскольку Пастернак обещаний не давал, а ва-банк с ее стороны был бы преждевременным (время его, впрочем, так никогда и не наступило) – Пастернака тоже еще надо было хорошенько ослабить годами и нездоровой жизнью, – Ольга проблем с фертильностью явно не имела. «Десятки мужчин до „классюши“» тоже знали свое дело, и Ольга должна была бы уметь с первого дня замечать досадные признаки злокозненной задержки.

Последний вечер перед арестом, проведенный ею на лавочке

с Пастернаком, однако, записан ею вполне безмятежно, подробно и поэтически: «…на осенней скамейке у Красных ворот.<> Мне не хотелось расставаться с Борей даже на несколько минут, и у него было такое чувство, что расставаться нам в этот день нельзя. Но я в то время переводила книгу „Корейская лирика“… » (ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Стр. 103– 104). (Ольга Всеволодовна горько иронизирует, совсем как Анна Андреевна Ахматова, когда той не писалось: «Вы что-то пишете сейчас свое?» – «Какие стихи, вот сижу, перевожу корейцев». Вот и Ольга Всеволодовна не может тратить время на Пастернака.) Пастернак зовет ее на дачу: «Я тебе прочитаю еще одну главу», «Слава Богу, никого в Переделкине не будет…» (Там же. Стр. 103). Ни о какой беременности речь не шла, хотя понятно, под каким знаком проходят встречи в такие дни.

«Я, помню, больная (что за болезнь?) лежала у Люси в доме на Фурмановом переулке (не у себя дома? что это за болезнь?). И вдруг туда пришла Зинаида Николаевна (вот это действительно – „вдруг“). Ей пришлось вместе с Люсей отправлять меня в больницу, так как от потери крови мне стало плохо (здесь все ясно, что за болезнь и что за потери, кто вызывал Зинаиду Николаевну; почему-то вызываль-щицы были довольно сильно уверены в сострадательности пастернаковской супруги – плохо только, что в своей книге она не называет самоуважительно все вещи своими именами. Это ЕЕ книга, это она сама, Ольга, взялась рассказать нам честно и спокойно – а почему она должна стыдиться? – если она не стыдится. „И теперь не помню, о чем мы говорили с этой грузной (а у чьего же любовника не грузна законная жена?) твердой женщиной, повторяющей мне, что она не любит Б.Л. (Ольге Всеволодовне было бы сладко слушать, как та растекается в любви к „Б.Л.“ – ее влюбленному любовнику, вожделеющему не жену, а ее, только что обрюхатившему ее, – тяжкое, но несомненное доказательство его выбора – жаль, что Зинаида Николаевна настолько заскорузла, что не может с ней соперничать на женском, физиологическом поле), но семью разрушать не позволит“».

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 35.

Этой сцене есть параллель – о походе Жени Лурье в профком с жалобой, чтобы ей вернули беспартийного, но все-таки советского писателя – мужа.

Зинаида Николаевна явилась не в профком, а к разлучнице в дом, не в просчитанной надежде на действенность, а по вызову «умирающей». Евгений Борисович именно, очевидно, твердое

заявление Зинаиды Николаевны о том, что она семью разрушать не позволит, имеет в виду, когда сочувственно передает мамочкины сожаления, что та добровольно отдала мужа сопернице. Не поборолась за него. Поборолась, да еще как – но не действующим на него оружием. Увещевания профкомовской активистки для него – как заклинания шамана.

«…прошло несколько дней, а она не появлялась. Из приглушенных разговоров старших мы узнавали страшные вещи: она в сумасшедшем доме. В больнице имени Ганушкина. Бабка сама написала заявление, чтобы ее забрали. Это оказалось неправдой. Она отравилась, но была не в больнице, а у своей приятельницы Люси П., которую бабка считала источником многих неприятностей (у „бабки“ все были виноватые: и Люся, и Пастернак, кричала она и на Зинаиду Николаевну), и домой возвращаться не хочет (какие там дети, бабка, когда тут такой роман!). Мы с Митькой присмирели и притаились. Мы уже привыкли жить без матери, как вдруг она вернулась, виновато просунув в дверь бледное личико, как-то по-новому, по-больничному, повязанное простым платком».

На самом же деле скорее всего Ольга Всеволодовна делала подпольный аборт, чуть, вероятно, не умерла, вызывала Зинаиду Николаевну – непонятно для чего, показывала нарисованные трупные пятна, – но опять-таки трудно вообразить рассчитываемый положительный эффект. То, что это был аборт, по виноватому личику и по-простому повязанному платку поняли и запомнили на всю жизнь ее дети. Женщине полагалось в таких делах чувствовать себя виноватой – и показать это своим детям: кому еще, чтобы надрыв и стыд были виднее? «Она вернулась тихой и какой-то маленькой и долго не выходила из дома. Но потом все пошло по-прежнему».

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка. Стр. 21. Это неукротимый темперамент разудалой охотницы, которая не остановится ни перед какими средствами. Для Пастернака других средств у нее не нашлось.

Вторая половина 1950-х. «В конце августа я поехала на пикапчике смотреть какую-то дачу. По дороге менярастрясло, я очутилась в загородной одинцовской аптеке, откуда вызвали „скорую помощь“. По дороге в больницу у меня произошел выкидыш. <> Все на меня рассердились, все обиделись. Ира горевала, что я не сумела сохранить ребенка; Боря плакал в ногах моей постели и повторял свою горькую фразу: „Неужели ты думаешь, что нашему ребенку не нашлось бы места на Земле? Как

же мало ты в меня веришь!“»

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 51—52. Выкидыши не случаются от недостатка веры, да и пи-капчикам не под силу вытрясать из здоровых женщин младенцев, род бы людской прекратился. Много уже понимающая Ира употребляет эвфемизм «не сумела сохранить» (умение нужно склонным к привычным выкидышам женщинам, для остальных никаких овладений специальными искусствами не предусмотрено) – вместо простого «вытравить плод».

«Кубарем скатываюсь с кровати, мы прыгаем с братом вокруг моложавой худенькой женщины, одетой в страшную телогрейку, с грязным мешком – и с милым, забытым лицом. < > У меня совершенно молодая и очень милая мама. Надо сказать, что и потом в свою лагерную бытность я не раз сталкивалась с этим чудом женской лагерной моложавости, – несмотря на тяжелую работу и скверную пищу, иная заключенная, „отволокшая“ уже десятку, на вид – полуподросток, стройна, загорела, не то сорок, не то двадцать. И отсутствие косметики, которой мама не пренебрегала на воле (БЛ. часто ей выговаривал: „Олюша, не наводись, Бог тебя не обидел!“), и выгоревшие волосы, и даже сломанный зуб спереди – не портили ее, а, наоборот, как-то освежали».

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка. Стр. 55—56.

«…странное поручение, которое дал мне все в ту же встречу на Чистых прудах Б.Л. Как всегда, это было достаточно туманно и загромождено попутными рассуждениями, однако суть я поняла, она сводилась к следующему: маму он никогда не оставит, но прежние их отношения невозможны… Ядолжна это маме втолковать < > Ну, я была достаточно и начитана, и деликатна, чтобы не принять такие заявления, как бесповоротные, и, как могла, отнекивалась от поручения».

Там же. Стр. 56—57.

Если это по отношению к матери, то тогда надо сказать гораздо проще, всего-навсего: «Я не буду, я не начитана и деликатна, мне жалко мать – и все». Если по отношению к Пастернаку, то тоже не так уж сложно: «Я не была начитанна или деликатна, я была хитра, мне незачем было разводить мать с Пастернаком, который…» Тем более что она убедилась, что против Пастернака будет выставлено оружие гораздо более сильное, чем ее начитанность и деликатность: «…увидев маму во

всем ее прежнем обаянии, совершенно искренно забыла недавний туманный и в чем-то довольно жестокий разговор. Сами разберутся!»

Там же. Стр. 56—57.

Люди равнодушны друг к другу. Люди мало интересуются чужими судьбами. Кто уж очень внимательно читал о жизни и житейских перипетиях Бориса Пастернака? Интересующиеся творчеством, как правило, не слишком любопытны к личной, а уж особенно к интимной жизни, интересующиеся клубничкой – находят чтение более зажигательное, чем довольно-таки банальная биография Пастернака. Пожалуй, кто хоть когда-то что-то о нем читал биографического, этот эпизод все-таки запомнил: после лагеря (из-за него, это тоже часть легенды) Пастернак не захотел встретиться со своей Ларой, жизнью и пр. – потому что боялся, что она там пообтрепалась внешне. Большинство и не начинало производить свои исследования: неужели так все было, в чем же тогда такая необыкновенная любовь заключалась, – это, собственно, нигде и не описано, никто из современников, из близких людей тоже не счел важным клубок этот распутать, не стал искать каких-то смыслов и объяснений – все как в обыкновенной интрижке. Вот и Ирочка никаких бездн перед собой не видит: мама не потеряла своей привлекательности, о чем еще можно говорить? Поступок Пастернака – «в чем-то довольно жестокий». В чем-то – в чем именно? Довольно – кто-то остался доволен? (каламбур ввиду полного несоответствия жеманного «ДОВОЛЬНО жестокий» холодной однозначной жестокости) жестокий? – да полно вам, девушку всякий может обидеть, но хорошая девушка – это та, которая знает свои цели и понимает, когда выпал шанс, а не холит свои обиды.

«Любовную связь Бориса Леонидовича в <> дружеском кругу не только не романтизировали, но справедливо считали очередной прихотью стареющего поэта».

ЛИВАНОВ В.Б. Невыдуманный Борис Пастернак. Стр. 96.

В 1946 году Борис Леонидович был, несомненно, полон сил и тестостерона. Возможно, по прошествии двенадцати лет это было уже не так. Мало кого это вообще может интересовать – если б Ивинская в своих воспоминаниях с просчитанной регулярностью, но каждый раз неожиданно, потому что читатель настраивается на то, что все-таки книга о Пастернаке, который и сам по себе интересен, не этим, да и какие-то близкие еще живы и пр., не выдавала бы гигиенические подробности. Здесь подошло бы слово

«нескромно», если б это было ненамеренно.

Никто не сомневается в темпераменте Ольги Всеволодовны и тем более не обладает легковерием (или положением) Зинаиды Николаевны, чтобы поверить в то, что «Боре» «она просто является секретаршей и помощницей в его издательских делах и нужна ему только для этого».

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.

З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 362.

Поэтому подчеркивать недетский характер их взаимоотношений вроде никакой нужды нет – оттого и остается впечатление, что Ольга Всеволодовна по обыкновению что-то скрывает или хотя бы приукрашивает. А казалось бы, здесь именно тот случай, когда можно было бы просто-напросто, пусть и многозначительно, но – промолчать.

«Я помню, как в это утро семидесятилетия мы выпили коньяку (такой привлекательно бесшабашный – для критиков – образ жизни: „с утра“ в его годы), как жарко мы целовались у трещащей печки… »

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 362.

Пастернак говорит Ивинской, почему они не будут видеться во время болезни: «…не делай никаких попыток меня увидеть. Я должен поправиться и прийти к тебе здоровым, чтобы тебя заслужить».

Там же. Стр. 367.

Поскольку речь идет о последней болезни, о которой тоже слишком хорошо известно, что не хотел ее видеть, то это документальное свидетельство – его слова, пересказанные ею, нужны для подтверждения ее версии. Хотя аргументация довольно оригинальная: представим себе, что болезнь не та, последняя, а обычная болезнь, во время которой любовник считает себя незаслуживающим любовницы. Вот выздоровеет – тогда. А что тогда? Что за заслуги у здорового? Он же не поля пахать начнет, как поздоровеет? Чем таким заслужит перед ней здоровый? У здорового перед больным «заслуга» одна – гренадерская.

О своем первом аресте (не будем здесь касаться его наиболее вероятной прозаической причины) она пишет так поэтически, как про себя не пишут, разве что для примера, как надо об этом событии впредь говорить: «Ей (Ариадне Эфрон, но это не важно – кому) он писал < >, что с ним случилась беда (единение их таково, что она готова поступиться своими страданиями ради

признания главенства ЕГО боли): оторвали меня от него в страшную осеннюю ночь 1949 года» (ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Стр. 154). Поскольку для писания от первого лица, как мы уже отмечали, это слишком отстраненно, остается понимать буквально: оторвали от него именно ночью.

Ну и сам Пастернак откровенен: «Олюша, как грустно почему-то в минуту пробуждения по утрам!»

Там же. Стр. 430.

«Утром раздался звонок из ЦК. „То, что сейчас выкинул Борис Леонидович, – возмущенным голосом говорил Поликарпов, – еще хуже истории с романом“. – „Я ничего не знаю, – отвечала я, – я ночевала в Москве“… »

Там же. Стр. 346.

Как будто Поликарпов должен знать, где ночует обычно Ольга Всеволодовна, и как будто он спрашивал у нее, где она ночевала. Он намеревался говорить с ней о каком-то поступке Пастернака, а она (очевидно, «снова и снова», как со всеми) умудряется вставить замечание о том, что сведения о Пастернаке она может иметь или не иметь только в зависимости от того, где она провела ночь.

Критика Розанова

Василий Васильевич Розанов написал тома о семейном вопросе в России. Тома, когда они писались и энергично публиковались – Розанов был одним из самых богатых, безбедных, работящих литераторов в России, – вызывали оживленную полемику в обществе. Статьи и письма самых ярких (по его выбору) своих корреспондентов Розанов включил в собственную книгу. Точка зрения оппонентов вызывает большее сочувствие, поскольку мракобесы главным образом высказывают свои чистые – не продвигающие идеи для разрешения личной житейской ситуации – мысли. Василий же Васильевич находился в сложном, неприятном, ужасном положении. Его жалко до слез. Он добродетельно жил, до конца дней своих – половину этого времени при ее тяжкой болезни – с порядочной (негулящей, домовитой) женщиной, прижил детей, именовался семьянином – и все незаконно, надрывно, непризнанно.

Как известно, Василий Васильевич, женясь на добродетельной вдовице (не нашедшей себе более однозначного мужа), был уже женат. Не в том смысле, как говорят сейчас – побывал женатым, а в том, что его статус в тот момент, когда он вел в церковь невесту (обойдя предварительно с ней под руку по кругу центральную площадь маленького городка, в котором происходило все дело – этим демонстративным, но при всем том, как ни странно, тайным демаршем новобрачная намеревалась узаконить малозаконный союз) был самым неподходящим для этих кружений: жених был женатым, не добившимся развода, человеком. Обряд венчания (на котором, разумеется, настаивала невеста) вел ее родственник – тоже очень религиозный и тонкий человек, – однако затребовавший за процедуру какие-то совершенно невообразимые деньги (тысячу рублей).

Невозможно жениться более «ridicule», чем сделал это даже и не по бог весть какой молодости Василий Василье-

вич (если кто позабыл, как поступки нелогичные, абсурдные, курьезные, они забываются – как всякий анекдот, – Розанов женился на двадцатью годами его старше бывшей любовнице его кумира, Федора Михайловича Достоевского, героине «Игрока», Аполлинарии Сусловой, роковой «Суслихе»). Иногда со схожими целями отчаянные писатели переписывают от руки все сочинения недостижимого автора.

Бились за слово. Розанов – чтобы Варвара Дмитриевна, его «мамочка», они нарожали многих детей, оставшихся бездетными и незамужними дочерей, а ее дочь от первого брака даже и повесилась – называлась бы не «сожительницей», а «законной супругой». Кроме того, было неприятно, что Суслихой Достоевский в свое время пренебрег, не женился, хорошо бы, чтоб закон такого не допускал.

Людям приходится класть жизни на выправление ошибок судьбы – своих ошибок или даже сделанных другими. Мальчик Афанасий Афанасьевич Шеншин (Фет) в один день, посреди учебного года, лишился имени, дворянского звания и законной принадлежности к собственной семье – и почти всю свою сознательную жизнь и даже творчество (в конце концов его искания удовлетворили, приняв во внимание заслуги на поприще отечественной словесности) потратил не на изменение общественного сознания и соответствующих уложений, а на достижение «законного» – лично законного, для себя и своей жены (детей, чтобы их положение в зависимости от этой гонки не ставить, Бог не дал) – положения. Лев Николаевич Толстой даже раздражался на такую одержимость «пустяками» (это он-то!) и просто смотрел со своей точки зрения – по которой Фет был и так равным, братом – по рангу квалифицированности и литературного, и помещичьего труда, а не братцем Мишей, единокровным братом с деревни: «…этот впавший в нищенство (определенный в почтальоны, но „сбившийся с пути“) брат мой, очень похожий (более всех нас) на отца, просил нас о помощи и был благодарен за 10—15 рублей, которые давали ему».

ТОЛСТОЙ Л.Н. Воспоминания детства.

Совершаются ошибки и собственноручно. Некоторые и убивают: под влиянием злой минуты или еще по какому-либо попущению Господнему, а потом дико раскаиваются, и в раскаяние их можно верить, но это вовсе не значит, что они могут претендовать на то, чтобы не называться впредь убийцами: они бы очень этого хотели, поскольку такое клеймо доставляет им невыносимые страдания. Но – так уж случилось в их жизни. Мы не собираемся их казнить, просили бы и за себя, если б не отвел Господь от такого, и пусть даже не будет им совсем никакого наказания, раз уж так они сами себя казнят, – но они все равно останутся УБИЙЦАМИ – до тех пор, пока в следующем рождении не родятся баобабами. В честь чего Василий Васильевич Розанов, сочетшийся законным браком с девицею Апол-линарией Прокофьевной, должен именоваться ХОЛОСТЯКОМ? Как жена, по

переписке полюбившая раскаявшегося убийцу, знает, за кого выходит замуж и какие неприятности ее будущее положение ей сулит, так знал и он. Мы не призываем самодовольно всех нагруженных нести свой крест – каждому свой личный кажется всех тяжелее, – но хотим, чтобы нас не соблазняли возможностью возвысить голос и выставить на публику свои рассуждения о том, почему именно нас с нашими грешатами стоит признать очень белыми и пушистыми – ну почти как г-н Розанов. А может, кому-то он покажется все-таки чернее – не все же при двух женах числятся.

Суслиха – как евреи – была для Розанова и отвратительна и недоступна, и поругана и недосягаема, и помечена Божьим перстом, и мешала жить.

У Толстого во всем путаница. Вот как видит Василий Розанов разрешение вполне жизненной (литература Толстого – это та же жизнь) ситуации романа, а заодно и самого Василия Васильевича.

Браки не нужны. Достаточно обменяться некими кольцами. Суслихе – кольцо, авось к настоящему венцу не потянет, второе кольцо – милому другу Варваре Дмитриевне. Выход истерический, бессмысленный, нелепый, что-то imbecile.

«У меня он (злой критик) не заметил выражений, всюду выдвигаемых: „Слияние двух полов, ЛЮБЯЩЕЕ, НРАВСТВЕННОЕ, ЧАДОРОДНОЕ, ЧАДОЛЮБИВОЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ДРУГ ДРУГУ ИЗМЕНУ“. < > Если < > их принять за АБСОЛЮТНЫЕ МОМЕНТЫ БРАКА < > конечно, получится целомудренная жизнь общества. Обратимся к фактам. Нехлюдов (в „Воскр < есеньи“ > Т < олсто > го) погубил Екатерину Маслову». Сюжет «Воскресения» – «факт», по Розанову. Пусть. Но вот слияние Мити с Катюшей трудно назвать чадородным – это уж так получилось, сходились не для того; чадолюбивым – кто уж так очень сильно полюбил чадо-то? исключающим друг другу измену, – у Катюши действительно никого на примете больше не было, а вот Дмитрий явно не без задней мысли о еще более интересных приключениях смылся после слияния из гостеприимной деревни. Нравственным – сомнения вытекают из всего вышеперечисленного.

«Моя идея облегченной формы брака через мену колец спасала бы Екатерину. Она честна. Она любит Нехлюдова. В одно из воскресений она приходит к священнику после литургии и говорит: „Я люблю и кажется любима но я ничего не хочу без благословения моей веры; в предупреждение несчастия – благослови меня отче в брак и дай мне кольцо именное и с днем

моего рождения (с открытой датой „брака“ и прочерком в имени жениха). Священник благословляет ее, а после вечерни (можно и сразу бы перед вечерней прийти, без предварительных визитов) дает – не от себя – а от лица и имени церкви (иерей ВСЕ делает только от лица и имени церкви), – церковное обручальное кольцо с надписью: „р.б. (еще и расшифровывается!) (раба Божия) Екатерина, рожденная тогда-то“. И вот пришел вечер, настала минута, подробно описанная Толстым, непредвиденно, внезапно, и каковые моменты, увы, были и всегда останутся до конца мира („увы“ под пером Розанова немножко неясно). Тут – транс! Тут – самозабвенье! Тут – потемнение рассудка; слабость ног и рук, парализованных от любви (все описано в точности, точно так же все происходит и с законными молодоженами, ничуть не хуже. Идут долгие рассуждения: он – мужчина, Адам, муж, женская слабость, размножьтесь, бедняги, правда, меньше всего мечтают в данный момент размножиться… мущине (sic!) дан порывистый напор, < > женщине дана нега, привлекательность и слабость сопротивления, коими мы измеряем красоту души ее. (Все, как оно и бывает). Таково – кольцо церковное. Имея его на пальце, в минуту восторга, от него и ее заражающего, она лепечет простое: „Если ты любишь меня, и не для погубления теперь со мною: обручись этим кольцом, надень его с моего на свой палец и дай мне свое такое же церковное кольцо, также именное и с обозначением дня рождения (что-то вроде американского SS#, номера социальной страховки, удостоверения личности). Ну а Нехлюдов пролепечет и еще более простое: «А я его как раз вчера где-то потерял!“ Но нет: Мы слишком знаем психологию Нехлюдова в этот час, его подлинное и глубокое к ней восхищение, чтобы сомневаться, что он обручил бы ее себе. И она и младенец ее были бы спасены от нарекания. Но предположим другое; возьмем случай < >, что действительно происходит соблазнение наивной девушки злым человеком. Он, конечно, не дал бы залогового кольца. Гипноз девушки с этим оскорблением моментально проходит. Он не только не любит ее, но не уважает (Ларисы Огудаловы, почти наивные девушки, бесприданницы, колец не просят – они прекрасно знают, что им ничего не дадут). Он в точности – волк, а не агнец < >. Пыл ее в ту же секунду опал бы до ледяного равнодушия. Она закричала бы, забилась. Ничего бы не произошло. (Как вам такая история?) Но возьмем ту сумму данных, какую описал Толстой < >. Вскоре Нехлюдов оставляет Катюшу. У нее кольцо и у нее ребенок. Его тетушки ее не судят. По родству – она мила им, и мило будущее ее дитя. Ей нечего таиться. И их одинокий, скучающий, ненужный ми –ру дом – оживляется криком нового жителя земли, нового христианина,

и беззаветно счастливой матери (мать озаботится только устройством своей личной жизни, Василий Васильевич). Бог дал этим старым девам средства – и они ими поделятся с нею (могут и не поделиться. И так далее и тому подобное)“.

РОЗАНОВ В.В. Семейный вопрос в России. Стр. 519—521.

И что сие вручение кольца Катюшею означает? Что отдалась она в полном искреннем томлении страсти и в надежде, что партнер ее сексуальный не пятидесятирублевую бумажку ей оставит, а назовет женой? Так ведь не назвал же невестой. Этот расклад ясен и так, без кольца. Ну придет она в церковь. Вы пробовали обратиться к священнику с разговорами на тему «я люблю и, кажется, любима»? «Благословите» – что? Секс, к которому вы очень близко подвинулись? Его Катюша называет несчастьем? Или рождение, возможное, ребенка? Ах, наверное, секс или рождение именно без благословения. Ребенка Бог благословит, секс – это в каком же, матушка, смысле? Если ты, с чего начала, любима – так вот опять же с Божьего благословения – любите друг друга, венчайтесь, там, глядишь, не одним ребенком вас благословят, а многочисленным потомством… Нет, не об этом? А что? Женат, может, избранник, хочешь благословиться на разрушение чужого очага? А? Нет – жениться не хотите? Не собираетесь, не хочет? Так что благословлять-то? Поход на сеновал? Грех. Хоть с кольцом, хоть без кольца, молись. Думаешь, надеешься, что навсегда? В добрый час. Сейчас перетерпи, а там и за свадебку… Ах ты какая настойчивая – иди, матушка, не греши, согрешишь – покаешься. Вот такую воду в ступе толочь придется с Катюшей. Ну не на разовые же ей сеансы кольца после вечерни выносить.

А что у нас с Митей? Ему когда надобно озаботиться заготовкой кольца для раздачи возлюбленным? Также накануне? Восстания плоти определить как достаточные и не бриться, вина не пить, на фортепьянах не играть – скакать в соседнюю деревню, в церковь, вызывать батюшку, кольцо просить? Люблю и кажется, любим? Да потерпи, батенька. Вон граф Лев Николаевич Толстой тоже разжегся, однако ж, потерпел недельку всего одну – и законный брак получил, пользуйся девицей сколько хочешь, и вот живут. Сроки-то не устанавливаются, хоть назавтра перевенчаем. А-а, тебе не для того, тебе для баловства? Ну…

Или загодя надо такие кольца приобретать, носить на шнурке, до нужного момента? В какой-то определенный срок, по каким-нибудь физиологическим признакам, волоски там или еще что-то – не сообразующееся с общими правилами нашей недикарской религии, или в день исполнения, например, двенадцати лет – раздавать? Боюсь, мамаши будут против. Начнут

свою антикатехизацию проводить: обойдись, мол, чадо, без колец, выбери девушку честную, тебе по сердцу, в жены годную, – да и что мудрить-то? А кольца не раздавай, милый. Отдашь одно – захочешь другое. А с браком, да с семьей, да с детишками – дай-то бы Бог…

Ну и друзья – смотря какая компания будет. Одни хвалиться начнут: я целую шкатулочку колец пораздавал, другие будут пыжиться от романтизма: обменял свое игрушечное только на настоящее обручальное…

Если в кольце – смысл, то есть другие обряды со смыслом, если кольцо только для игры, так всякие колечки-ошейнички всегда и до Розанова существовали.

Нехлюдов кольцо бы сразу дал. А вдруг бы одумался? Ну а злодей-то, тут гадать нечего, – у него таких колечек припасено впрок немало, он-то как раз и не задумался бы, коварный!..

Наконец и счастье Кати: «У нее кольцо и ребенок», – тоже сомнительно. Ребенок у нее и так. В кольце что проку? Бабки и так знают, что Митя обрюхатил ее от страсти, от чего же еще, а давал ли, дурочке, кольцо или нет – это вопрос их сексуальных забав, им не до этого. Бабка добренькая, романтическая – может, наоборот, оскорбилась бы, и прогнала Катеньку, бабка злая, прагматическая – может, подумала бы что лишний работник в доме будет, оставила бы. Пришлось бы рассчитывать уже только на воспитание при доме – хуже, конечно, и Катюшиного.

А про Россию в Европе бы рассказывали: «Брачный закон таков: идешь к девушке в спальню, кольцо – вперед. А назавтра – адью, мадемуазель. И деньги можно не оставлять, девушки вполне удовлетворяются кольцами».

Ольга Всеволодовна Ивинская, может, скорбно бы гордилась кольцом. Зинаида Николаевна Нейгауз не поняла бы, что ей тычут, да и до кольца бы у них не дошло, им было не до пошлостей, они только смотрели, чтобы соседка по коммуналке не услыхала, а жениться – так вопроса не было. Евгения Лурье тоже гимназию заканчивала, вращалась среди столичных художников, смехотворными кольцами никакими при свободе нравов не интересовалась. Так что единственным практическим применением кольцу остается – соблазнение горничной. Василий Васильевич Розанов был сладострастник. А милого друга Варвару Дмитриевну хотел все-таки чем-то наградить, порадовать.

«Для второй жены его, Варвары Дмитриевны, глубоко православной, брак был таинством религиозным. И то, что она „просто живет с женатым человеком“ (на самом деле было бы

лучше, если б она действительно „просто бы жила с женатым человеком“, а то она ведь настояла на совершении незаконного, колдовского обряда венчания ее с „просто женатым человеком“) вечно мучило ее, как грех. Но злая старуха (Аполлинария Суслова) ни за что не давала развода. Дошло до того, что к ней, во время болезни Варвары Дмитриевны, ездил Тернавцев, в Крым, надеясь уломать. Потом рассказывал, со вкусом ругаясь, как он ни с чем отъехал. Чувствуя свою силу, хитрая и лукавая старуха с наглостью отвечала ему, поджав губы: „Что Бог сочетал, того человек не разлучает“. „Дьявол, а не Бог сочетал восемнадцатилетнего мальчишку с сорокалетней бабой! – возмущался Тернавцев. – Да с какой бабой! Подумайте! Любовница Достоевского!“

ГИППИУС З.Н. В.В. Розанов в литературе русского зарубежья. Стр. 23.

Хорошо ему рассуждать, кто их соединял. Может, и дьявол – только «мальчишка» сам лип к прелестнице, не насильно же его прилепливали. И почему-то он хотел не только прелестными прелестями попользоваться, для чего-то хотел жениться. Уж жениться-то точно никто не заставлял. Хотел сам получить не только «тайные местечки», но и Достоевского в придачу – ее, Суслихин, капитал, то, что она заработала себе трудами своей юности.

«Лицо ее, лоб – было уже в морщинах и что-то скверное, развратное в уголках рта. Но удивительно: груди хороши, прелестны note 32 – как у 17-летней (лучше и доподлинное свое знание семнадцатилетних грудей удержать при себе), небольшие, бесконечно изящные. Все тело – безумно молодое, безумно прекрасное. Ноги,руки < >, живот особенно – прелестны и прелестны, «тайные прелести» – прелестны и прелестны».

НИКОЛЮКИНАЛ. Розанов. Стр. 76. О прелести «истинной» супруги своей, честной вдовицы Варвары Дмитриевны, Розанов не рассуждает. Там – домик, мать-старушка, ребенок сирота. Держат квартирантов, холостых мужчин-учителей. Сильно плачут, как по родному, когда один из них умирает скоропостижно. Со всей своей проповедью интимности Розанов хотел бы, чтоб сожительство его с Варварой Дмитриевной (и старушкой «тещей», и расцветающей падчерицей) назвали бы браком (народились и дети), а Суслиха уж куда-нибудь бы провалилась. «В сущности, я скоро разгадал, („потрогай меня“), что она была онанисткой…» (Там же. Стр. 76).

Аполлинарию описывает обстоятельно, как жену, которую сам вывел на площадь к людям. Любовницу так побоишься

подробно живописать – можно нарваться на брата или там жениха. Так позорить можно только жену. «Всегда чувство благодарности… Ведь я был мальчишка… » (ГИППИУС З.Н. В.В. Розанов в литературе русского зарубежья. Стр. 24). Натешившись, мальчишка захотел, чтобы развод Суслиха, бывшая на 18 лет старше, дала бы без разговоров – и была бы свободна «к вступлению в новый брак». Сусли-хе же, по ее личному вкусу, был милее статус замужней дамы, пусть и в разъезде с мужем. Василий Розанов, как известно, – большое дитя, эгоистичное, как все дети. Простить только его? Ее за развратность – нет? Но тогда он пусть не перечисляет тайные местечки.

Что было бы, если бы Розанов женился третий раз? «Женился» третий раз так же, как «женился» второй, – то есть незаконно, то есть НЕ женился, – вот не сложилось бы с милым другом, какие-то все более и более противные недостатки все всплывали бы, все становились бы очевиднее, все скучнее было бы в доме, а ведь это так часто случается, и никто не может предугадать, когда это накроет, въедет ли в жизнь это несчастье. Но несчастных семей, сходившихся навсегда самым честным образом, – миллионы. Думаю, у него не хватило бы энтузиазма еще раз, новой кампанией, ратовать за развод – да было бы и не нужно. Официально признанного брака у него с Варварой не было, разбежаться (разъехаться – вдова была дамой степенной и строгой), оплачивая потребности детей, а то и по обоюдному согласию взяв с собой жить самого любимого – можно было бы устроить, но Василий Васильевич был бы все равно несчастен. Думаю, что его заблуждением двигало то, что движет всеми заблуждениями – любовь. Очень целомудренно он полюбил Варвару – и всю свою теорию семейного вопроса в России посвятил только одной проблеме: как сделать «милого друга» законной, официальной, такой же, как все презираемые нелюбимые, но законные супруги.

Конечно, он жалуется и злобствует из самого сердца – но саму тему честно изучать и рассматривать не хочет, ответ ему известен, никакой другой истины ему не надо. Зачем ему Толстой со своей невинной невестой, зачем ему сам Толстой, который до тридцати шести лет мог всеми московскими невестами перебирать, никаких эскапад с женитьбами на брошенной любовнице кумира, да еще известного кумира, прославившегося (вдова-то его, при вполне уже оформившемся авторском праве, при вышедших в люди детях, при незабытой честности прожитого брака – не за всякого бы пошла), – в общем, какой-то скверный анекдот.

«Гражданская жена». Ольга Ивинская иногда наивно (вернее, в расчете на людей еще более наивных) называла себя «женой» Пастернака. Спору нет: степень их близости, вовлеченности в дела друг друга, осведомленности, искренности, свободы и пр. и пр. – все именно такому статусу и соответствует. И даже с верхом. И играет против нее: получается, что всем этим (и пр. и пр.) – она жертвует за ложное наименование жены. Ведь она ею не была? Значит, не было близости и прочего? Те, кто называет себя тем, кем они не являются, теряют право на действительные права. Советское изобретение (правда, последних, несоветских лет) – «гражданская жена», – будто все остальные живут исключительно соединенные церковным браком. Церковных браков очень мало. А уж если изобрести простой и точный, как двадцатирублевый тест на беременность, тест с положительной реакцией на мотивацию проведения церковной брачной церемонии как средства насыщения помпезностью обычной свадебной церемонии (в дополнение к лимузинам и отбытию на близкие к экватору острова), то церковных браков и почти нет (избранных-то мало). Остаются все гражданскими мужьями и женами. Однако «гражданскими» себя именуют просто-напросто сожители и сожительницы. Сожительницы, разумеется, чаще. Размножилось столь это явление в последнее время оттого, что сожительств (бойфрендов с герлфрендами) стало действительно, по западному образцу, больше, чем в былые непро-двинутые времена.

Однако там, где это просто незарегистрированный брак, у нас – обязательно «гражданский». Сомнений нет – кто-то ждет лучшей партии, а кто-то не хочет жениться. В любом случае, пока это не муж и не жена. А граждане они секуляр-ного государства. Никто не обязан идти под венец.

В общем, правило здесь простое: любой добровольный союз имеет право на существование, и очень может быть более глубоким, прочным, искренним и долговечным, чем рутинный брак, но брак – это брак, а все, что не может считаться простым и обычным браком, – оно может быть в сто раз лучше чем брак, но – не брак. Когда они называют свой не брак браком, как мы должны называть наш (не вокруг аналоя, но в полном соответствии с принятыми в актуальном обществе протоколом)?

Дайте нам любое, самое уничижительное наименование, и мы назовем Ольгу Всеволодовну Ивинскую, долговременную подругу Пастернака, такого близкого ему человека и пр. и пр. – его женой: тем, кем она не была в существующей терминологии.

«Он подтвердил, сказав, что Зинаида Николаевна последние

годы, после смерти Адика, глуша свое горе в общественной деятельности и помощи чужим детям, сказала, что не может больше быть его женой, оставаясь лишь хозяйкой дома и воспитательницей Лени».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 475.

Очевидно, Зинаида Николаевна не предполагала, что и Пастернак будет ничьим мужем? В год смерти Адика ему было 55 лет. Пожалуй, вариант Ивинской был для нее наиболее щадящим. Женщина более красивая, более лощеная, более похожая на жену, чего доброго, могла бы ею и стать – ведь и в истории с Ивинской у него было не до конца все просчитано и кое-где слабину он давал больше допустимого, оставив после себя Ивинскую, например, более богатой, чем Зинаида Николаевна.

Он столько вел материальных расчетов в своей жизни (половину из этого – в плане материальной же бескорыстной помощи друзьям, их семьям), многие из которых были долговременными, тщательно учитываемыми – это про Женю, – что мог бы и уследить за тем, что Зинаида Николаевна оставалась без пенсии, полагавшейся даже домработницам, на казенной, не ей выданной даче и с обремененными доверенностями и давно выбранными гонорарами.

Чемоданы заграничных роялти Пастернак предполагал по совести делить. Но человек предполагает, а Бог располагает… В общем, не женился он все-таки не потому, что слишком был тверд, а потому, что Ивинская недотянула. Более тонкая штучка могла бы и женить. Некоторый, впрочем, запас прочности Пастернака известен – Зинаида Николаевна осталась бы в полном попечении благородного гаремного законоуложения. Пастернак остановился на полпути между гаремом (в бытовом, для среднего мусульманского класса, не сказочном варианте, то есть ограничивающем воображения четырьмя равноправными гражданками) и домостроем.

Православная церковь БРАКОВ вообще не допускает. В смысле что во множественном числе. Умерла там жена, изменила, пропала ли куда – нет никакой разницы. Вдовцу дозволяется жениться (имеется в виду, что не ведут под уголовный суд), только чтобы схватить его на краю пропасти над более страшным грехом прелюбодеяния (не измены, Боже упаси, а просто не освященного, пусть по виду самого брачного, сожительства), но благодати полной брак этот не имеет, и разве что вдовец остался еще пока бездетным. Безукоризненному Андрею Болконскому, например, на самом деле надо было еще постараться законное разрешение получить. Впрочем, времена были веселые,

вольтерьянские.

Еще хорошо, что Ивинская не была актрисой. По всему раскладу, должен был Пастернак увлечься актрисой – повеселее и побойчее жены. Такой был образ у этой связи.

«Мамочка жалела, что она сама предложила отцу уйти. Что не поборолась за него». На первых порах это казалось благородным, а потом увидела, как вцепилась Зинаида Николаевна в Пастернака и не отпустила к Ивинской. Евгения Владимировна, конечно, не простила никогда, и в конце сороковых, когда об Ивинской стало известно, она надеялась, что это будет ее реванш. В таких делах обычно не важно, что Пастернак уйдет не к ней, – страсть (не любовь – нелюбовь) разгорается как заново.

«Несколько раз, когда он предлагал ей, тяжелобольной, отдохнуть в санатории, она в страхе отказывалась: „Вы хотите остаться без меня ОДНИ“ (для дурного, легкомысленного). „Вы хотите „ОТВЯЗАТЬСЯ ОТ МЕНЯ““.

НИКОЛЮКИН А.Н. Розанов. Стр. 297.

А как же «кольцо»? Уж ей-то Розанов точно бы дал КОЛЬЦО. Это через сорок лет на самом деле супружеской жизни… Это так она верила в то, что их тайное хождение вокруг аналоя имело какой-то смысл? Только жена после дурной, недружной, натужной жизни может заподозрить, что от нее больной хотят избавиться… Она ведь не сошла с ума? Значит, так подспудно она в это и не верила. Значит, браком Василий Васильевич считал свое сожительство с Варварой Дмитриевной только потому, что они были в хороших отношениях, не зря он зовет ее – «друг». Везде, еще до ее болезни, пишет – «друг». Ей, по их обстоятельствам, была бы приятнее «жена». Как им повезло, что много лет они были близки и дружны, – вернее, оказалось, что они могли быть близкими и дружными: такую совместимость очень трудно предположить до начала брачных отношений, какая-то общечеловеческая совместимость в браке может как-то расползтись, разъехаться без электричества, без любви – и люди не смогут понять, как все это могло произойти…

Заранее предсказать трудно, вероятность – очень высока. Сейчас выход один – развод (если «пробный брак» не продлился годы), раньше – терпеть. Незаконный сожитель, примерный семьянин, к какому разряду себя бы отнес Василий Розанов, если б и второй его союз – сплошь и рядом в браке женщина с годами, приживаясь, раскрывает не самые лучшие черты – оказался бы неудачным? Вернул бы кольцо и пошел искать легкомысленного

счастья (ведь он – за развод и за признание законными всех последующих браков, заключенных после освобождения от страданий неудачливых супругов), или признал бы святость и нерушимость брака и стал бы терпеть (ну или там убил бы такую жену или разъехался бы с ней на худой конец, как сделал он с Суслихой), а там и снова вступил бы в «брак» – в какой-то долговременный, основанный на первоначальной любви союз (надеюсь, на этот раз все-таки без хождения кругами по городскому саду под ручку, а потом такими же кругами вокруг аналоя за закрытыми церковными дверями).

Ох и боязно, наверное, что-то запретное, уголовное, греховное, прямо в церкви делать! Трудно выстроить логическую цепочку мотивации. Положим, эти мятежные люди очень религиозны, законам церковным не верят, а, как святые, непосредственно с Богом общаются и перед ним непосредственно хотят соединиться, освятить свой союз. Да разве и так Господь их чистоту и серьезность намерений не видит без тысячерублевых спектаклей?

«Я – поле твоего сраженья». Вот вам, Василий, Васильевич, поле сраженья без церковников в епитрахилях: узаконить-то все можно, да вот надо побиться еще за мужчину. Василий Розанов не был завидным женихом, таким, как Пастернак, и вдовица пошла за него, потому что других ей по бедности было не сыскать, даже просто неженатого оказалось не найти. Общего у них только одно – что называли себя супругами, таковыми не являясь. Все законные семьи законны одинаково, а все незаконные незаконны по многообразнейшим причинам.

«Приходит в суд муж, плачет. „Тебе чего?“ – „Жена четвертый год у соседа живет и надо мной насмехается“. – „Свидетели есть?“ – „Как же, вся деревня – свидетель“. – „Не, не такой свидетель“ и пр.».

НИКОЛЮКИНА.Н. Розанов. Стр. 326.

Это в разъяснение трудности процедуры развода. Ну, дадут ему развод: что, деревня над ним смеяться перестанет? Сразу бы надо было прибить ее, иль другую какую в дом привести, а этой сказать – ни ногой, кто его защитит, что это ему Василий Васильевич церковь в помощники зовет? Или нельзя уж без нее? Вот они, забитые мужья, вот Василий Васильевич: «Надо было бы ей показать „кнут“ (это о Суслихе – и верно, и Варвара Дмитриевна была бы свободна) – и, в сущности, она стала бы „в стойло“. Такие люди – истязают, истязают, если их кто-нибудь не порет».

Там же. Стр. 77.

Суслиха считала, чувствовала себя чем-то – какой-то частью – Достоевского. Розанов был ей не ровня. Она была взбешена против него, как Женя Пастернак против мужа Бориса, который с деньгами от проданной золотой медали школьной отправил ее на убогую дачу под Питером, а Маяковский в это же самое время – надо же было Жене эти афиши разглядеть – разгуливал по «набережным» и «заглядывал в витрины».

Какие-то великие умеют жен приструнивать, какие-то —

нет.

«Вчера, говорят, мимо нас прошла по большой дороге в отъезжее поле чья-то охота вместе с охотой молодых Толстых. Как это удивительно – я современник, и даже сосед с НИМ! Ведь это все равно, как если бы жить в одно время и рядом с Пушкиным. Ведь это все ЕГО – эти Росто-вы, Пьер, Аустерлицкое поле, умирающий князь Андрей…»

Бунин И. Жизнь Арсеньева.

Бунин жил в Орловской губернии – сейчас это Липецкая область, граничащая с Тульской. Свою худобу, нищенство, талант, амбиции, гиперсексуальность он очень поэтично описал… Кому он мог это предложить? Графине Софье Андреевне? Молодым графиням? Такими, как он, могли быть половина молодых мелкопоместных дворян и в Тульской губернии. Он лишь оставил эту мимолетную, поэтическую, промелькнувшую как кавалькада, запись о чужой охоте – и пошел охотиться один за добычей, которая только ему причиталась.

Пусть тот был лев (это проще всего представить), но и он – волк, или пусть тот был матерым волчищем, а уж этот – тоже претендующим на свое молодым длинноногим шакалом. Действительно, по иронии судьбы, вернее, по ее игре (Нобелевская премия – это кидание костей), Толстой от премии отказался, а Бунин – взял. «Горячо покраснел, но взял» (это Бунин про первый аванс в редакции). А вот Розанов – женился.

Розанов, несомненно, более велик, чем Бунин. Вернее, Розанов – великий человек, а Бунин – нет. Писатель Розанов только потому, что записывал свои великие мысли, но дело его не писательское, а богоискательное.

Розанов собрался посетить Толстого первый раз в 1898 году. Толстому было ровно 70 лет. Вопрос, который Розанов намеревался обсудить с Толстым, формулировался так: «вопросы брака и пола».

Эта книга – о Пастернаке, и изо всей его биографии в ней есть только жены, любовницы и браки; в какой-то самой

минимальной степени – и вопросы «пола». Жены – вопрос личный, о женах и Розанов бы не рискнул с Толстым говорить (одну свою ругать, другую нахваливать, одобрять Толстого за приличный брак?), любовницы у Пастернака были потому, что до брака дело не дошло, а не потому, что жены было мало (здесь Толстой его бы не понял: такие тяжеловесные любовницы – эрзац-жены ему были совершенно без надобности, а вот куда глаза девать и какому богу молиться, когда девки хоровод ведут, – вот в чем вопрос).

Вопросы пола Пастернака вообще не волновали. Его темперамент был скорее центростремительным, а не центробежным. Никаких равномерно мучительных ВОПРОСОВ ПОЛА, пожалуй, они волнуют специфических людей, которые посвятили этому всю жизнь и ни о чем другом, кроме вопросов пола, думать не могут. Некоторые гении вроде Розанова могут и о другом, но о поле думают непрестанно.

Если разговаривать со Львом Толстым, то «о вопросах брака и пола». Хорошо, что за Розанова были ходатаи – роль записного эротомана, в сытом, полном, семейном проявлении эротизма наверняка Толстому наскучила, но множество людей писало ему письма ОБ ЭТОМ, будучи уверенными, что, как Толстой выражался, «он пойметь». Вот и г-н Розанов едет из Ельца с незаконной женой – все об этом.

Сначала Розанова волновали в видении Толстого и другие, более общие вопросы христианства. Хорошо было всем взваливать на Льва Толстого решение всех жизненно важных вопросов: мол, ты Толстой, ты и реши нам. Для простоты и чтобы Толстому было не отвертеться, вопросы эти назывались именно христианскими.

Что он мог с этим поделать?.. А ведь он был еще и охотник! С этим он разбираться вообще не стал: постарел, да и перестал ходить на охоту. Наверное, старался не думать: за легкий морозец и лай собак в далекой роще он убивал зайцев. Ну вот он вам и «ответил»: оставил французам убивать Платона Каратаева. «Велел удерживаться» – как злобно через двадцать лет после встречи пишет Розанов о других проблемах (совсем в ином ключе, чем вначале, по горячим следам)… Мяса не ел: зайчихе он в глаза смотреть не успевал, а на бойню сходил, увидел в «спокойной обстановке» – хватило с первого раза. Не открылось даже ему.

Что Розанов хотел услышать? «Нет даже мыслей». В главных «вопросах» нет решений, а мыслей Толстой не хотел уже иметь, он и раньше декларированно от них отрекался.

«Когда я говорил с ним <> о семье и браке, о поле, – я увидел, что во всем этом он путается <> и, в сущности, ничего в этом не понимает, кроме того, что „надо удерживаться“. Он даже

не умел эту ниточку – „удерживайся“ – развернуть в порядочки льна, из которых она скручена. Ни – анализа, ни – способности комбинировать; ни даже – МЫСЛИ, одни восклицания. С этим нельзя взаимодействовать, это что-то imbecile…»

РОЗАНОВ В.В. Семейный вопрос в России. Стр. 203—204.

У Розанова был потребительский настрой (он кормился со всего, что выпадало в жизни): он долго добивался аудиенции у Толстого, был в восторге от того, что она состоялась, написал об этой короткой встрече сорок статей, обдумал все вдоль и поперек, но потом стал недоволен: стало казаться, что чего-то недополучил. Хотел больше мыслей. Был ведь у Толстого! А мыслей-то? Пересказывать больше (через десять лет) стало нечего. Раз Толстой – давай выдавай мне мысли. Что ж междометиями-то!

Ирочка Емельянова с ГОРЕЧЬЮ называет мать «незаконной», в кавычках, женой. Пишет даже так: «мир „незаконных“ жен и ДЕТЕЙ» (выделено автором). То есть даже она была бы не прочь называться – ведь не быть же? – ЗАКОННОЙ дочерью Бориса Пастернака. Горькая ирония над простым и непреложным фактом, фактом в третьей степени, если выразиться так для простоты. Первая степень – что она не была не только законной или незаконной дочерью, но даже просто биологической. Вторая степень неуместности иронии – Борис Пастернак в описываемые

Емельяновой времена был женат и, поэтому, даже поучаствовав в зачатии Ирочки, он не мог дать ей более высокого титула, чем «внебрачный ребенок». «Незаконный» – это действительно термин не официальный, просторечный и в таковом качестве достойный заключения в кавычки, – но выбор его сделан Емельяновой, и к тому же он когда применим – отражает реальные обстоятельства. А вот что касается третьего момента: возможности сделать ее законной (можно брать и не брать в кавычки) – просто официально признать отцовство – дочерью, – это действительно дело довольно нетрудное с юридической точки зрения, но для этого потребовался бы сущий пустяк: желание на это, не-воспоследовавшее в объявлении и осуществлении, самого Бориса Леонидовича.

Василий Розанов горой стоит за права «незаконных» детей – каковыми считались его по нынешним временам многочисленные дети от второго «брака». Очевидно, права их, подводя под это теоретическую, разумеется, базу, он отстаивал бы и если у ненавистной Суслихи остались бы законные дети, воспитанные скорее всего в ненависти и презрении к отцу. В более обычных

семейных несчастных обстоятельствах – это с разломанной судьбой дети, более или менее интересующие оставившего их ради новой любви отца. Любовь, по Розанову, превыше всего, брак должен быть по любви, нет любви – долой брак, вон – жену, про оставляемых детей он как-то умалчивает (у него самого не было, а вот появившиеся от брака по любви, незаконные – были). «Незаконных» немедленно признать законными!

Оппонент (в редакции, публикующие его статьи, приходили большие письма) совершенно резонно пытается его образумить: дать «заслуженное» незаконным – это значит отнять от законных. Представьте себе женщину с ребенком, которая девушкой на выданье выходила замуж по обоюдной симпатии за господина с хорошим положением, своим домом и ста тысячами в банке (об этом было осторожно, но доподлинно выведано). По совокупности качеств он был предпочтен другим претендентам (положим, таковые были, или, во всяком случае, было время, чтобы каких-то иных надежных спутников жизни поискать).

И что ей и ее детям остается после того, как супруга опостылет, теплота (так Василий Розанов называет жар чресел, поскольку просто теплота может сохраниться и в дружеском, без достойного специального упоминания разожженного влечения между супругами) исчезнет – и брак умрет (он не обязательно умрет, не говоря уж о том, что браки не умирают)?

Ее детям должно оставить отнюдь не сто тысяч с процентами, а уж сколько будет не жалко заново влюбленному отцу и его полной забот о собственном гнезде подруге. Или сколько-то, вполне определенная часть, какая будет полагаться по продвигаемому Василием Розановым новому закону «О счастливой семье». Но ведь не столько же, на сколько рассчитывала благоразумная девушка, вступая в брак с человеком, который представлялся ей подходящим! А что? Разумная осмотрительность вменяется нашему полу в обязанность, в противовес Евиному легковерию.

Рассудительна и нелегковерна была Дева Мария, когда ей было сделано предложение о рождении неоднозначного младенца. Что ж говорить о девушках из различных социальных слоев, которые перед браком предугадывают, будет ли это наилучший вариант для того, чтобы создалась крепкая семья, чтобы был у нее надежный глава и достойный отец. За девушку некому вступиться, г-н Розанов против того, чтобы государство гарантировало девушке свою опору. Полюбит муж другую – значит, полюбит; дети его, новые, ни в коем случае не должны страдать. Старые, от разлюбленной – должны?

Дело только в слове. Розанов хочет, чтобы незаконным дали слово, которое их отец уже отдал при свидетелях другой. Пусть. Они тоже не виноваты. Они тоже хотят всего. Им не повезло родиться во втором (или четвертом, или пятом) браке родителя, как кому-то другому не повезло не родиться первенцем Билла Гейтса. С оставленной разлюбленной женой легче мериться правами, чем с Биллом Гейтсом, – явиться к нему в дом, когда вся семья за чаем, и объявить: а чем я хуже вас, ядящих на золоченом фарфоре?

Дети Василия Розанова от незаконной жены были всем хороши – ему нравились, он их любил; если б у Суслихи остались прижитые от него дети, он бы не дрогнул окоротить их аппетиты. Ну а Варвару бы Дмитриевну – не разлюбил. В очередь за законным наследством никто больше не встал.

«В святом законе Божием <> написано: „Ты с нею соединился – и она твоя жена. Если ты не хотел ее взять в жену – ты не должен был прикасаться. Ты отвечай как сильнейший и мудрый, как господин, как Адам и вождь супружества“».

РОЗАНОВ В.В. Семейный вопрос в России. Стр. 310.

А ведь это же он написал: тайные местечки прелестны, прелестны – надо полагать, прикасался. К чему ж тогда его тома о праве на развод? По его слову – жена ему Суслиха.

Розанов хочет жить как птичка (весеннею порою), хотя по робости и покладистости своей готов хлопотать над гнездом и летом, а уж следующей весной – смотря откуда ему ветер принесет тонкие волнующие запахи. И второе – чтобы называлось все это как можно приличнее, не хуже, чем у других, даже если эти другие организовали для себя какие-то правила и в свой клуб принимают только соблюдающих их – соблюдающих с охотой или без охоты. Розанов не согласен. Завидует, ропщет, стучится, пишет много (заодно и платят построчно, собратья по перу примечают), приводит для примера даже корову, которую привязывают в дальнем углу сада, когда у ней ее теленка закалывают. Страдания коровы не помню, для иллюстрации чего, но читать больно. Согласиться тем не менее нельзя – потому что жалко не только Василия Васильевича. Жалко и брошенных (пусть и законных, как ни горько Варваре Дмитриевне знать, что кто-то все-таки верит законным, которые тоже плачут, или Ольге Всеволодовне – той вообще все равно, лишь бы на ней Пастернак женился).

Розанов очень осуждает истории, когда не взятая замуж мать убивает рожденного ею ребенка. Осуждает, конечно, не мать.

Если она и утопилась сама, не сумев заставить жениться, – то тоже виноват и не могущий на каждой жениться, и, в частности, не расположенный на это мужчина, и – опять же плохо организованное общество, которое не приготовилось изгонять из себя мужчину, а евину дочку – и прощать, и наделять правами женить на себе каждого взглянувшего на нее с вожделением, которое было ею спровоцировано, ею организовано и ею доведено до стадии ва-банка.

…он защищает детоубийц, как будто рожают они исключительно от женатых мужчин, которым злые жены не дают развода, а так бы они сразу – на всех, на каждой, в каждом городе – женились бы.

Аргумент здесь только один – неравноправие, колоссальное неравноправие в самом основном деле человеческой жизни, в людях и их детях. Как это переживают феминистки – непонятно, права не только вожделенно уравнены, но мужчины обесправлены абсолютно, женщина – наделена божеской властью, она может рожать, может убивать, может равнодушно отворачиваться. Аргумент для предоставления всевластия один – чтобы отвести материнскую убивающую руку. То есть женщина априорно признается существом настолько кровожадным, бездушным, меркантильным, что считается способной – каждая женщина – ради лишнего куска хлеба, лишней пары колготок, лишнего ужина в ресторане под музыку ресторанного же оркестра убить свое дитя, если законы не будут столь гуманны, что разрешат ей оставить его в родильном доме без своего материнского внимания.

Ирочка Емельянова считает свою правоту настолько очевидной, что в полной уверенности в понимании и согласии читателя расставляет кавычки.

Причем законного можно не любить, можно отречься от него в сердце своем, можно видеть – не усмотреть, а видеть предъявленной – точную копию нерассмотренной в подходящее время матери – и отдаться незаконным детям, которые, дай им Бог, подрастая в любви и заботе добрых родителей, в свой час дождутся лучшей семейной доли. Может, несчастье незаконных детей рукотворное, созданное людьми и ими же могущее быть устраненным, но ценой того, что сразу же на сцену выступят еще более несчастные люди – дети, которым не то что недодали, а отняли. Отнятого – жальче, чем небывшего никогда.

Розанов, с пятьюдесятью учительскими рублями и когда негде ночевать, – кто пойдет за женатого?

«Тяжелая старуха». Зинаида Гиппиус приезжает в какой-то волжский город, их – с супругом и писательским кружком – принимают с большим почетом по философской и теологической части, поповна показывает ей семейный альбом: «…седая, совсем белая, толстая старуха. В плоеном чепчике, губы сжаты, злыми глазами смотрит на нас. „А это кто?“ – спрашиваю. „А это наша знакомая. Жена одного писателя петербургского. Ее фамилия Розанова“. – „Как Розанова? Какая жена Розанова? Василия Васильевича?“ – „Ну да, Василия Васильевича…“»

ГИППИУС З.Н. В.В. Розанов в литературе русского зарубежья. Стр. 22. Конечно, жена. А кто еще она Розанову? «Его первый брак был, воистину, страшен. 18-летним мальчишкой Розанов женился на 40-летней женщине, любовнице Достоевского. Она была похотлива, ревнива и зла».

ПИЛЬСКИЙП.М. В.В. Розанов. Стр. 111.

«…поповна продолжает: „Она очень злая. Такая злая, прямо ужас. Ни с кем не может жить, и с мужем давно не живет. Взяла себе, наконец, воспитанницу. Ну, хорошо. Так можете себе представить, воспитанница утопилась“.

ГИППИУС З.Н. В.В. Розанов в литературе русского зарубежья. Стр. 23.

Утопилась воспитанница. Так ведь и у Розанова падчерица – повесилась. До какого градуса должна дойти неправота в деле всей жизни, в любовном и теплом разрешении дурно поставленного семейного вопроса В РОССИИ (конечно, во всей России), чтобы девушка из его семьи сначала в монастырь стала уходить, а потом – повесилась? Не вешались даже у Достоевского. У Толстого – никчемные, бойкие – все были счастливы.

Он жил напряженной половой жизнью со своей «немолодой, некрасивой и, вообще на посторонний глаз, лишенной всего того, что в наше время получило кличку sex appeal» (БЕНУА А.Н. Кружок Мережковских. В.В. Розанов. Стр. 195), женой, подробно и «нескромно» все впечатления от этого дела описывал, «движимый своим супружеским энтузиазмом»; она, за свой сомнительный статус и незлобливость супруга все терпела, а дети не видели никакого просвета. Многодетная семья Василия Розанова распалась, затухла самым неплодородным, наказатель-ным образом.

Борису Пастернаку играть словами не приходилось, государство и общество дали ему полную свободу в самовыражении, он и принял, интуитивно, данный Богом закон:

жена – она и есть жена. Женя хоть и лучше Суслихи была, физиономией об умывальник не била, разве что скандалы устраивала, за Достоевского саму себя почитала, – но не разженишься, она была и осталась семьей. Взял Зинаиду – не бросил. Ольге – не обещался. Пел, как господин Бобров (ужасный человек, не отказавший поклоннице, которая, как выяснилось, претендовала на большее и со зла утопилась) в астраханском театре – тенором.

«Влюбилась в баритона, но он ее оставил; потом она отравилась».

РОЗАНОВ В.В. Семейный вопрос в России. Стр. 292. Баритон Бобров выступал в Астрахани. Студенты во время концерта зашикали на него, выражая свое неодобрение, что – не женился. Остальная, не студенческая, публика, однако, желала, чтобы выступление состоялось. Г-н Бобров заявил, «что роман с девушкою „его домашнее дело“». «"Девушка отдалась, но не обязан же я ее любить; она покончила с собой, но это ее дело, а не мое дело". Таково resume над усопшей г. Боброва. „Девушка сбежала от родителей и бросилась на шею мужчине. Таковская была и таковскую получила себе смерть. Пойте, г. Бобров“. Это resume слушателей в театре».

Там же. Стр. 295.

Розанов целиком на стороне студентов. Баритон должен жениться на каждой гастроли, тогда и студентам будет незазорно брать в жены вдов оперного премьера.

Розанов заставляет всех соблазнителей жениться – это потому, что было ему обидно, что Суслиха Достоевской не была, что пришлось ему жениться на том, чем Достоевский пренебрег. Погорячился; вдова, Анна Григорьевна, занималась увеличением и распределением доходов, не до студентов же в самой жаркой и несообразной стадии юношеской сексуальности было ей! Вот Достоевского бы по площадям потаскать, чтоб не брался честных девушек (у Сусловой и до «классюши», правда, нашлось бы чем побряцать на поле ее сраженья) использовать для холостяцких утех и раз-гулки воображения.

Сущность семейного вопроса в России, который был, как всё тогда, на просвещенный и либеральный взгляд, плох и несовершенен, и подавлял человека с его благодатной, конструктивной, исключительно во всем положительной СВОБОДОЙ, состояла, во-первых, в том, что человеку не велено было разводиться с женою и жениться на новой, бросая прежнюю жену и детей (предполагалось, по-роза-новски, что все первые

жены очень плохие и бездетные), а новую с детьми признавать наизаконнейшими, со всеми исключительными материальными и социальными правами, а во-вторых (Розанов – мыслитель противоречивый), чтобы всех прелюбодеев, развратников и просто шалунов заставлять тут же сразу жениться. Чтобы девушки, которые беременеют от наиболее, по их мнению, ценных представителей этой сладострастной породы, детей своих по недостижении просчитанной цели не убивали, да и сами бы не топились (некоторые истерички и на это ведь идут), а были б уж доподлинно уверены: кто посмотрел на них с вожделением – тот и женится (при их, девичьем, на то благоволении).

И вот таким образом искоренится понятие греха (в «вопросах пола») и все станут счастливы – Розанов ведь имел в виду положительную и общественного широкого значения цель. Причины всеобщего несчастья человечества (Розанов Толстого не особенно чтил и считал, что все несчастливые семьи несчастливы одинаково – вот как он, Василий Васильевич) и причины, приведшие к краху его, Василия Васильевича, семейной жизни, – они одинаковы для всех. Если б Суслиха была женой (не его, а того, кого он видел рядом с собой в постели), то уже была бы соответственно в этом качестве (не только сексуальном) им испытана, и, наверное, была бы хоть на что-то удобоваримое в быту похожа. Это как минимум. Ну а как superflu* – то, ради чего все, собственно, и затевалось, – был бы женат Розанов практически на Достоевском, а так – на отброшенной тем вещи.

Люди всегда будут крутиться, чтобы не идти прямыми путями, но те тем не менее предначертаны для тех, кто захочет справиться, куда вынесет. Даны с прямотой и прямо* Superflu – излишек, избыток (фр.).

О ней известно главное, что она – любовница Достоевского. О нем (его семейной жизни) известно главное – что он женился на любовнице Достоевского.

линейностью не обрастающего теплыми интимными подробностями закона: прилепись к жене. Розанов прилепился к Достоевскому. С Достоевским ничего просто так не получится.

«Убита семья, убито дитя, отняли имя…» Да почему же им не сохранить это дитя, не сохранить семью, не дать ребенку имя? Ведь так все просто! Ах вот в чем дело: за каждым из членов этого воспеваемого Розановым союза (кроме несчастного дитя, разумеется – рожденного безответственными родителями

несчастным) стоит кто-то другой. Брошенная жена или брошенный муж. Пренебрегая, разумеется, их страданиями (не страданиями – разбитой жизнью, позором и частичным освобождением – чем угодно, только не нормальной счастливой семьей), Розанов подробно и жалостно живописует страдания тех, кому злые люди и бесчеловечные законы не дают объединиться в новый радостный союз.

Описывая необходимость развода, Розанов неуклонно, раз за разом, в качестве положительного аргумента, сообщает, что брошенная ушедшим к другой женщина остается свободной вступить в другой брак и непременно в него вступит, как только законы не будут связывать ее губящими ее жизнь прошлыми обязательствами.

Оставленная мужем за прелюбодеяние, может, и спод-вигнет любовника на брак с прелестной прелюбодейкой, а вот просто, как чаще всего бывает, брошенная мужем ради молоденькой, жена вовсе не факт, что тут же и сразу устроит новый счастливый союз.

В нашем веке и в нашей стране, когда развод – дело двух недель и двухсот рублей пошлины, статистика повторных браков у женщин, особенно с детьми, – ужасна. У женщин почти нет шансов. У их вообще не принимаемых Розановым в расчет детей – тоже.

Государство вмешивается в дела семьи – вмешивается, выполняя нужды самих семьянинов, – назначает пенсии, например, распределяет спорные наследства. Без формального критерия в таких массовых, запутанных делах не обойтись. Вводя свой, справедливый критерий, Розанов предлагает не учитывать институт существующего брака (то есть просто брака), упразднить его – и назначить новый.

Государству вменится отслеживать и учитывать количество, или факт наличия, или еще какой-то объективный признак – теплоты, интимности и счастья брака. Новизны в революционной этой мысли мало – вроде бы так и пред аналоем вопрошают, прежде чем в брачном свидетельстве крючок поставить: по любви ли, мол, и по теплому ли согласию брачуетесь? Нового ничего не изобретено. Ноу-хау Розанова: как только жена стала не так-то уж очень интересна, а соседка – тепла и приветлива, – никаких препон извольте не чинить!

По нему и назначать пенсии. В своем глобальном изменении законоуложения по брачному вопросу Розанов, однако, комически узко доходит только до одной цифры смены браков – два (у самого Василия Васильевича и было два брака), со своей широтой

и нестесненностью фантазии он не начинает взахлеб писать: а там оставить вторую жену, а потом – третью и восьмую!

Достоевских, которых, безусловно, надо бы было заставлять жениться на Суслихах (чтобы тех незазорно впоследствии было брать в большого литературного значения жены), – мало, перечесть по пальцам; теноров – даже и тех не на всех хватает. Беременеющие девушки входят в свое состояние от неосмотрительной связи и с людом попроще. Частая причина: мало задумываются над задачей найти честного мужа, задачу родить и поинтриговать считают более легкой, чем порасставлять сети до того, как в игру будет выдвинута отнюдь не всесильная фигура несчастного, никому не нужного ребенка. Та простая, не интересантка, которая забеременела потому, что забеременела и по этой же причине родила, – она и не станет убивать ребенка.

«…он взял бы своего ребенка на руки и не спустил бы его с колен, если бы всемирно услышал: „Радуемся тебе и ему и вашей связи“».

РОЗАНОВ В.В. Семейный вопрос в России. Стр. 295.

А княгиня Дарья Александровна Облонская не радуется и не хочет одобрять эту связь, не за себя не хочет – за свою беленькую дочь, играющую с французской лопаткой. Она не хочет, чтобы ее, когда она станет взрослой, оставил муж и легко, законно, пролоббированно господином Розановым нашел одобрение и всемирное приветствие общества за то, что водрузит себе на колени ребенка, рожденного женщиной, которая все поставит на то, чтобы муж оставил дочь Дарьи Александровны и Степана Аркадьевича. Сам очень безнравственный, Стива, со стоицизмом и грустью признающий прискорбную распространенность феномена суженности брака, и то содрогнулся бы и открестился от перспективы водружать себе на колени плод радующей весь мир связи. Он того и гляди от удовольствия теплого и интимного общения с мамзелями отказался бы перед перспективой такого опыта над женой и детьми – если и им посмотреть на это зрелище свободной радостной связи предложат.

«…дети, которым не дается имя (фамилия) родителей, безмолвно отнимаются у них, – семья хоть не фактически, но юридически расторгается, убивается. Убита семья, убито дитя, между тем как они живы, вот тут же, держатся крепко за руки друг друга».

РОЗАНОВ В.В. Семейный вопрос в России. Стр. 287.

Ну и пусть держатся, никто никого не отнимает, не убивает на самом деле никого, а вот если они хотят убить другое дитя,

другую семью – ту женщину, которая была частью другой семьи и без семьи себя не представляла, для семьи выходила замуж, – то все-таки неплохо, что за эту первую семью кто-то бы заступился.

Пастернак, видя, что государство и общество ему не собираются помогать, труд и грех взял на себя. Женю ему подсовывали в легкомысленные супруги: «думал, женюсь, а там видно будет»; женой ему была Зина: «Когда я умру, не верь никому, только ты была… » и пр. За это он и назвал союз с Женей «преступным» – «преступным образом Я… (выделено автором)», – вовсе не винил не дающее ему с легкостью петушка отскочить от нее общество и вовсе не требовал своих прав на свободные счастливые союзы, а был несчастлив, как несчастны все многоженцы.

Эти двое, сошедшиеся по неодобренной обществом любви, притесненные ужасной суженностью брака, сами себя простившие за ошибки, почему-то не хотят уединиться в свою собственную ячейку, работать самим на своего ребенка.

«…долголетние связи, полные семьи, в которых, напр., дети даже не подозревают о судьбе своей, видя вокруг себя всю нежность и заботу попечения родителей. Родители тут у них на глазах, и одни знают, а иногда от давности даже забыли сами, что в их отношениях есть только любовь и согласие, но нет уз законных».

РОЗАНОВ В.В. Семейный вопрос в России. Стр. 288.

Над узами иронизирует – зачем же они тогда желательны? Жили бы себе в нежности, заботе и попечении без всяких уз. Нет – хотят уз. Хотят гарантий от непредсказуемого момента, когда брачные узы покажутся слишком «суженными».

«"Незаконные сожития" суть плод суженности брака или опасения вступить в брак». На эту последнюю тему, об опасении, пусть читают молодые люди и матери мальчиков, герой нашего романа, к счастью, избежал поимки в сети отъявленной хищницей или распутницей. У дам было всего понемножку: и собственной сексуальности, и знания ей и себе при ней цены, и ум, и разгул, и жажда счастья – любовь к себе, любимой. Девушки, как правило, не сожительствуют из боязни брачных уз. Суженность же брачных норм, действительно, досаждает очень многим. Это целая категория, которая «обнимает людей, которые любят друг друга, но им невозможно вступить в брак по причине суженности брачных норм. Самый обычный пример этого – фактически распавшаяся семья, которая умерла во всем своем реальном

составе, но юридически продолжает существовать. Так как живой человек живет не с „юридическою женою“, а с настоящею и кровною и нуждается не в документе супружества, а в фактическом супружестве, то, чувствуя первую семью для себя лично умершею, – он вступает во вторую».

РОЗАНОВ В.В. Семейный вопрос в России. Стр. 287.

«Брак, будучи чрезвычайно интимною и живою вещью, расстраивается, когда нет правды в этой его интимности и жизни».

Там же. Стр. 287.

Рукой Толстого кто-то водил – у него нет ни слова неправды. Стива Облонский женился по огромной любви – «Мы смеялись, когда он к каждому слову прибавлял: „Долли – удивительная женщина“», по такой же, по какой удалось (не удалось отвертеться?) жениться тяжеловесному Левину. И даже по большей: Левин мечтал не о Кити – о семье, семью хотел как у Щербацких, Кити просто освободилась в нужное время, а так, сама по себе, не поразила его в самое сердце, как поразила гуляку Облонского юная Дарья Александровна.

Облонскому никакие семьи были не нужны – он просто не смог в тот момент представить себя и свою жизнь без Долли. Да и симпатичнее Долли, чем Кити, – не такая вздорная, жестокая, без апломба, непонятно почему выросшего после унижения. Про унижение знали только родные – только на родных ПРАВДИВАЯ Кити и отыгрывалась. Суженность брака Степан Аркадьевич осознал довольно скоро, а главное – совершенно ясно. Посчитать Долли с семьей умершими и выбрать чистое и теплое новое сожительство, по счастью, не читая трудов Розанова, – не пришло в голову.

Василий Розанов пишет много, он плодовит, а брак его – нам хорошо из охлажденной для удобства обработки статистикой снисходительности двадцать первого века без всяких кавычек называть его сожительство браком – все не получает закона, он и обрабатывает почву. Для себя, для вялой Варвары Дмитриевны, а еще для всяких легкомысленных, развратных, ну и просто запутавшихся – по недомыслию оступившихся, но требующих пересмотра законов, приведения их в бессмысленную кашеобразную сумятицу – субъектов. Мыслит глобально (в географическом смысле) – неладно все не только в Русском царстве, за морем также худо. Тут и мальчик, повесившийся от равнодушия (заботы, добросовестного воспитания, обеспечения

всем необходимым) отца и учителей (мать сбежала неизвестно с кем и без любви – но в поисках, в надежде на любовь. Розанов называет ее «развратницей» – конечно, в кавычках).

Виновато, кто б сомневался, отсутствие развода – мальчик, правда, все равно бы повесился, но до поры повесившиеся дети Розанова в качестве повесившихся детей не интересуют. В его личной судьбе еще счет на них не пошел, а когда случится и это, Розанов будет уже и сам близок к смерти, а значит – конец философии. Умер оттого, что на эту тему не нашел бы и он, что такое написать.

Другой случай, из иностранной жизни, к тезису «католический брак умер» таков: муж жену сварил в «чане» и вроде бы даже и съел (во всяком случае, Розанов пишет: «телом ее полакомились» (РОЗАНОВ В.В. Семейный вопрос в России. Стр. 37), почему-то варил, – на дне чана нашли улики, по которым и дозналось, – в одежде и драгоценностях: сталь от женского корсета и бриллиант, крупный, из перстня, – варилось долго, перемешивалось с превосходящим необходимость усердием – раз уж и камень из оправы выбился. Мораль Розанова: вот этому бы мужу – да право развода! Правда, начинает описание ужасающего случая честным упоминанием, что и первая жена описываемой Синей Бороды также скончалась скоропостижно и при странных обстоятельствах. Любой криминалист самый средненький сразу бы сказал, что господин тот интересовался не разводами.

«Кто же не знает, что в католических землях развод не существует и что семья в них умерла, полторы тысячи лет поборовшись с постоянным внутренним самоотравлением» (Там же. Стр. 91). Не знают, видимо, только сами насельники католических стран – хоть Розанов и приводит красноречивые примеры.

Почему же мертва нормальная, здоровая, счастливая семья, даже если ее члены – главные члены, муж и жена – знают, что они связаны не только узами любви и дружбы, но и словом, данным ими перед людьми, которые еще об услышанном им выдали бумажку (перед Богом – это другое, Розанов считает, что перед Богом можно болтать о многом и много)? Это – вопрос свободы. Некоторые не представляют себе свободы без анархии, некоторые считают, что свобода – это осознанная необходимость. Давший обет свободен при произнесении его, свободен и после; не должный никому и ничего – кто знает, по своей ли воле выбрал свою вольницу, или взял просто первое, что попалось, – без выбора, без своего решения, без свободы.

Лев Толстой счастлив не был – не по молодости, а с течением

лет, когда жизнь уже поповорачивалась к нему слишком многими сторонами, когда уже было прожито время, за которое над жизнью можно было поразмыслить.

Софья Андреевна не была ни единомышленником, ни другом, она была венчанной женой, но в кошмарном сне не приснилось бы Толстому сесть за описания того, как было бы здорово, если бы можно было завести новые законы и ему бы, оставив постылый – но, к сожалению, это совершенно очевидно – отнюдь не УМЕРШИЙ брак, радостно сойтись в теплом и чистом союзе с более прогрессивной дамой.

Василий Розанов, старик, затрепетал и присутствовавших своим трепетом в неловкое положение поставил, из-за гадкого оттенка сцены, когда на философском собрании – для опрощения, для демонстрации покорности, для разных других целей – было собрались помыть ноги (как Ученикам Его, конечно) Зинаиде Николаевне Гиппиус.

Толстой баловал по деревне, заводил серьезных дам, где это было более принято. Все – ДО женитьбы. Жениться с надрывом не собирался. Александрина Толстая – не чья-то любовница, не растерзательница и без того растерянного человека, пусть и гения (удержавшегося, впрочем, и от «неправильных», разрушительных браков) – была старше Толстого всего на десять лет, пару-тройку детей смогла бы, может, родить, – но Толстой отказался. Потом не сокрушался, что несовершенен институт брака.

Борис Пастернак брачными законами был полностью удовлетворен. Его никто и ни в чем не ограничивал. Прекрасные законы ничего не изменили ни в его жизни, ни в жизни близких ему женщин.

…Розанов страшно убивается о судьбе незаконнорожденных детей. Их топят, душат. Он-то не утопил, не утопила и Анна Каренина, оставляли жить и при менее очевидных родителях. Сокрушается, что дальнейшая (выживших) судьба отягчена по сравнению с «законными». Вообще-то бывают разные тяготы в жизни, можно бы было начать и с более ужасающих и зависящих не только от доброй воли родной МАТЕРИ и ее системы жизненных ценностей. В пример, правда, часто приводит очень удачных и состоявшихся людей, страшно подавленных тем не менее. Как показалось Розанову – своим прожитым незаконством. Один, например, директор гимназии. Если уж был носитель такого клейма, да еще в сфере семейственных отношений – допустить носителя такого примера в воспитательную, образовательную сферу – свидетельствует только о том, что

проблема эта, хоть и неприятна, как бывают неприятны некоторые другие обстоятельства жизни (просто некрасивая фамилия, например, низкий социальный или имущественный уровень семьи и пр.) – но отнюдь не фатальна. Повесилась, во всяком случае, у Розанова, не его незаконная и будто бы клейменная дочь, а в законном браке от честных родителей рожденная его падчерица.

Лев Николаевич Толстой, граф из известной семьи, не какой-нибудь лунатик князь Мышкин, спокойно женился на дочери незаконнорожденного ребенка, члена дружественной Толстым семьи, все дети выбились в люди, все сделали карьеры, жили в Петербурге – кто сенатор, кто губернатор. И все – Ислявины-Исленьевы, путаница, неловкость, – но все преодолимо. Вот и Женя Пастернак к месту и не к месту объявляла, что она жена Пастернака. «Чтобы услышать: бывшая. Потом плачет и уходит». Это вот та самая зловредная половина, которым при теперешней народной власти не дают развернуться, а уж при царизме-то она бы с Суслихой потягалась бы еще как!

Но разве ее не жалко?

Пастернак бы в Толстовские времена с нею бы не развелся, с Зиной бы в лучшем случае съездил бы на сезон в Италию, ну – трагедии, слезы, все бы смешалось в доме и у него и у Нейгауза, – а там, глядишь, пошла бы жизнь по-старому. На Суслихе жениться – ну это чересчур. Олю-ша, конечно, могла бы и взять над ним власть, тут уж чистая физиология и изученные наукой геронтологией поправки к психологическому статусу, но планов бы, конечно, не строила. Велика ли разница, Василий Васильевич, чтобы так биться?

Дело совсем в другом.

Вот и Ирочка Емельянова рассуждает о законных и незаконных женах и детях, ставя кавычки, то есть меняя первых и вторых местами. Это Зинаида Николаевна, Нейга-узиха – незаконна. И Василий Розанов бьется – незаконна, мертва, преступна. Ирочка – даже не плод любви, но, отряхиваясь после расстеленного в ширину плаща, надо дать слово, имя, закон.

Пастернаком двигало другое. Придуманный и даже названный до него нравственный закон внутри нас.

Он отзывал в сторонку в ЗАГСе Зинаиду Николаевну и просил ее отдать свое, Нейгаузовское, имя детям, а самой стать им, Пастернаком, как в строгих католических правилах: «Mrs. Борис Пастернак». Жене в свое (ее) время дар такой казался дешевеньким, никчемным, она сама великодушно предложила

супругу стать господином Лурье – и посмеялась, и уязвила, – за то потом выслушивала от писателей, что никаких жен писателя Пастернака Евгений они не знают, и мест в писательских вагонах выделять не будут. Когда он давал, а, жеманничая, не брали – легче и ему себя не казнить, если другая радостно подставляла ладони. Первая была пусть преступлением – на всякий грех есть милосердие, но вторая незаконной стать уж точно не могла.

Я – поле твоего сраженья…

Для женщины очень плохая судьба – быть подругой гения. Она никогда не станет ему вровень – и за это с нее спросят. О Софье Андреевне пишет даже сын: «Если бы случилось, что она умерла в начале восьмидесятых годов, ее память осталась бы навсегда идеалом русской женщины».

ТОЛСТОЙ И.Л. Мои воспоминания. А еще лучше, если б Толстой и не начинал своих писаний, – цены б ей не было. Ирочка Емельянова пишет ясно, светло, благодарно – ей только не нужно было доказывать, что ее мать – главная часть Пастернака, и все было б по-другому.

Что называет Е.Б. Пастернак толстовской закваской? Толстой, как и Пастернак, не расхаживал по борделям. Этого сходства мало, чтобы твердыми толстовскими установками объяснять двоеженство Пастернака в четвертой части его половозрелой жизни. Биограф пишет: «…железная воля нужна была для того, чтобы жить так, как хочется и не стыдиться того, что делали решительно все – но скрытно, боясь огласки» (БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 752). Воли совсем не надо, он просто махнул рукой и не нашел в себе сил конспирироваться – и выдерживать с «женщиной в шлеме» сражения за возможность сладкой мужской тайны. Он делал все, что она хотела, безо всякого мужества, и, как к стене, прислонился к крепости Зинаиды Николаевны. Она не отступила – некуда было отступать и ему. Позиция самая легкая, слабая, безответственная, но по мало от него зависящим причинам устойчивая. А то, что так поступают решительно все, положительных красок его нравственному выбору не прибавляет. Толстой даже в хорошем остерегался «быть как все»: все – это посудная лавка горшечника, который изваянные сосуды наполняет грехом, или они грехом наполняются сами, – и ни один человек не убережется.

Соблазнительно, но неблагодатно идти по следам «всех». Пастернак будто бы не убоялся греха и вил его дерзко, тогда как все боятся, греша. А он один сделал, только вот не «грех мой предо мной есть выну», а «пред вами». Доблесть малая. Даже если Борис Леонидович ни во что не ставил моральный суд своих знакомцев – тех, для кого имело значение, с женой или не с женой ходит Пастернак в театр – все-таки маловероятно, чтобы предметом оправдания или бравады было «вы все делаете это, но тайно. А я – явно». Как-то даже ради самоуничижения гаже «всех» становиться – это не по-пастернаковски. В общем, другого

объяснения нет – не скрывался Пастернак с Ивинской только потому, что ЕЙ ХОТЕЛОСЬ эту связь афишировать, связывать его, а у него не было сил ей (Ивинской, не страсти) противиться.

Если бы в этот научный спор вступил бы еще и «зять» (Вадим Козовой, муж Ирины Емельяновой) – это уже внесло бы несколько водевильный характер. Но «Ивинские» от Пастернака жизненно быстро отступились – раз сорвалось – и стали жить своими отдельными, не связанными с Пастернаком жизнями.

В Ирочкиной переписке с мужем, обширной и подробной – супруги были на годы разлучены, она с одним сыном – в Москве, он, с другим, больным, Борисом, под предлогом лечения которого (ну и необходимости личной встречи с современным французским поэтом, которого Козовой переводил – фантастический мотив на те времена! выезд был продавлен не без участия самых высоких инстанций), в литературных, наблюдательных, вязких письмах нет ни слова о Пастернаке, кажется, один раз. Ольга Ивинская тоже выходит замуж, подряжает кого-то привести в малоудобоваримый, но все-таки выложенный на бумагу вид своей повести о любви. Повести, основанной на реальных событиях, – так можно определить жанр ее книги «воспоминаний». «Воспоминания» – слишком куцо, сухо и достоверно для ее беллетристики.

«Огромное число женщин в литературных кругах жутко завидовали Ивинской, так как многие мечтали стать последней музой Пастернака».

СОКОЛОВ Б. Кто вы, доктор Живаго? Стр. 191.

«Как много прекрасного портили пересуды близких. Без конца мне гудели в уши, что БЛ. должен переменить свою жизнь, что если он меня любит, то пусть бросит свою семью и т.д.».

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 33. Гудели, успокаивая гулом себя, потому что в воздухе носилось, что Пастернак семьи не оставит. Пусть и Ольга знает.

Аля Эфрон по-цветаевски страстно отдала себя всю любви, или пусть всего лишь – это виднее – служению не любившей ее матери. Мать ревновала ее к ее красоте – Аля ревновала все к той же Зине за мать. Впрочем, они были ровесницами с Ольгой, но лагеря Али были не лагерями Ольги и сидела она не столько, сколько дают за краденные ложки. Аля была очень некрасива (такой выросла из красивой девочки и прерафаэлитного подростка), даже бросаясь на ее защиту, Пастернак не находит других слов, как сказать: «почему несчастная дочь Цветаевой

должна работать как лошадь». Она действительно как-то (было в кого) не умела устраиваться. Марина Цветаева называет себя женщиной «малокрасивой», дочь ее от красавца была в той плоскости, где осями координат не были значения красоты и не красоты. Пастернак любил красивых и даже просто хорошеньких женщин (найти красоту и тем более ее описать – это совсем легко, это – как дышать).

Как повезло Пастернаку, что борьба самолюбий, борьба за власть так незначительны в его случае. Ну хочется Ольге Ивинской ходить в шубе и сидеть рядом с ним в театре – это и все. Интриги, дворцовые перевороты, предвыборные кампании, ядерные державы, Мария Каллас и Жаклин Кеннеди, яды, престолонаследники, ссылки, Сибирь, казнь – что только не делится за мужчину.

А уж тут с Олюшей, потихоньку, на плаще, а то и на мягком диванчике, да натопить пожарче, да рюмочку!.. Да халаты у Олюши все шелковые, не на пуговицах, все – на широких поясах…

Это – этюды о личной жизни.

Хочется назвать по-французски «les etudes», потому что на русском, кроме корректного значения «исследования», «наброски», появилось – и почти всегда означает – что-то лирическое, чуть жеманно изящное, из эстетики шестидесятых годов, когда если что-то надо было вешать на стенку, то вешали этюды, эстампы.

О Пастернаке в этом стиле сказать почти ничего нельзя, разве что о нейлоновой шубе Ольги Ивинской или о том, как поразил их итальянский издатель «Доктора Живаго». «Джанджакомо Фельтринелли… Нам не удалось с ним встретиться, но он настолько вошел в нашу жизнь, что под Новый 1960 год я, насмешничая, конечно, подарила маме его портрет в резной рамочке, намекая на ее к нему неравнодушие. Богач, красавец, авантюрист. „Аристократ в революции обаятелен“, – говаривал Петруша Верховенский. Тем более аристократ-миллионер».

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Пастернак и Ивинская. Стр. 200. Такому обаянию Ольга, осмотревшись и поняв себе цену, не считала необходимым противиться. С какой стати? Было бы пошикарнее, если б был радикал какого-нибудь правого, не отдававшего совдеповским, коммунистического толка. Пропускной способности ее вкуса хватало, чтобы шутливо вызывать ревность Пастернака. Вовсю ей подыгрывала девушка-дочь, студентка: еще бы, при таких сказочных обстоятельствах, какими поворачивался к ним каждый день, все могло произойти! Сколько было случаев

по Москве!

РГ: «В книге приемной дочери Пастернака Ирины Емельяновой много говорится о вашем участии в судьбе ее отчима, особенно во время присуждения ему Нобелевской премии за роман „Доктор Живаго“. Вы когда его прочитали?»

http://www.rg.ru/2006/09/15/a124285.html Иванов – Вячеслав Всеволодович – на этот вопрос отвечает. Ни приемная дочь, ни отчим даже его не смутили. Спрашивают о том, что так и было. Он прожил огромную жизнь, по размеру сравнимую с пастернаковской (Евгения Борисовича). Живя так долго, не станешь забивать жизнь чужими житейскими и бытовыми обстоятельствами – и более важными и близкими делами сама набьется. Может, уже не хочется вспоминать, разводился ли Пастернак с женою, сходился ли с сожительницей, усыновлял ли ее детей. Но на всякий случай, для публики, признает и «приемную дочь» и «отчима» – для публики звучит привычнее.

Ирочка Емельянова активно участвует в строительстве новой семьи: она подслушивает телефон, судит маминых соперниц, воображает себя семьей. Некоторым женщинам выпадает это – желать увести мужа от жены себе в мужья. Если жена против, и даже страдает, то совестливые иногда мучаются. Есть и дети, которые хотят лишить другую девочку или другого мальчика их отца. Грех большой – не детям. Что они его ценой купят? Семью – не простую: «отстояла свое счастье», «любим друг друга», «жить не можем», – а респектабельную. Не было никакой – какие-то повесившиеся отцы («считается моим отцом»), а тут сразу еще и респектабельная.

Когда Зинаида Николаевна уходила к Пастернаку, у нее было более чем респектабельное положение, Галина Вишневская о таком пишет «самое высокое, какое есть в этой стране» (концертирующий пианист может быть приравнен к оперной солистке, а жена – к мужу); были муж, дом, она даже стихов-то не любила, Бориса Пастернака не понимала – она просто влюбилась в него самого. Категории любовных родов – это то, над чем Ирочке с детства пришлось много поразмышлять: чем еще мать могла объяснить ей свою воровскую, позорную позицию «женщины в шлеме» – в сражении за чужого мужа? Страсть к Зинаиде Николаевне она поняла верно.

«Она, героиня „Второгорождения“, ворвалась в его жизнь вместе с музыкой… »

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Пастернак и Ивинская. Стр. 42. Сказано

щедро и прагматично. Ольге ничего такого не досталось.

Пастернак практически был без жены, был молод и полон сил. Он не был виноват в том, что хотел жить. Зинаида Николаевна жить не могла, и это тоже не был ее выбор, – по-другому не могло быть для нее после смерти Адика.

В Ольге не было ничего, кроме жажды и энергии жизни. Она не хотела никаких высот и глубин для себя и ничего не могла дать для другого, но жить она хотела каждую минуту. Пастернаку большего было не надо. Поскольку и меньшего – тоже, то он был счастлив с ней.

Нейлоновая шуба, присланная оттуда, – это не так уж и мало.

Бродский пишет подруге юности, сообщая аргумент против оставления родины навсегда: «Он „сожалеет“, что не гулять мне больше под высокими стенами Исакия < >, не проносить гордо замшевую вещь под несытыми взглядами фарцов из кафе „Север“… »

ШТЕРН Л. Бродский: Ося, Иосиф, Joseph. Стр. 135.

«Герцогиня Германтская села. Прибавлявшийся к ее имени и присоединявшийся к ее облику герцогский титул отбрасывал вокруг пуфа, на котором она сидела, тень и наполнял салон золотистою густолиственною свежестью гер-мантских лесов».

ПРУСТ М. УГермантов.

Герцогский титул и леса Германтов – таков был эквивалент настоящей, даже не замшевой, но «привозной» вещи, не импорта из ЦУМа, чего-то неприметного, может, даже не слишком качественного, но неподдельно иностранного, пахнущего Хемингуэем и Ремарком и раскрывающего перед женщиной все пути.

Правда, Ирочка Емельянова была хороша и в арестантской робе. Кукла. Ее прозрачные косенькие глазки фотографировали с номером. Это, конечно, уже совсем другая книга.

Пастернак писал грубые письма в конце жизни. Он, который считался таким деликатным, разражался многословными унижениями корреспондентов, в то время как было бы гораздо легче просто не отвечать тем из них, которые были несимпатичны или как-то задевали. «Напрасно Вы говорите, будто знаете и цените меня. < > Если бы

Вы знали меня, Вы не написали бы мне в таком тоне. Вы не взяли бы на себя смелости делать умозаключения на мой счет: «Мир Достоевского, очевидно, так чужд и безразличен Вам…» < > (Здесь бы и прервать переписку!) Наконец Вы не забылись бы и не дописались до того, чтобы давать мне советы, с кем мне

сравнивать Макбета… < > Если можно, не пишите мне больше. И не оттого, что Ваши письма так неприятны < >, но оттого, что Вы настаиваете на ответе, в отличие от прочих пишущих мне, которые догадываются о моем недосуге».

ПАСТЕРНАК БЛ. Полн. собр. соч. Т. 10. Стр. 238. «Не пишите мне» – писателю случается получить личное и настойчивое письмо от читателя: у читателя может ведь не хватить культуры сделать над собой усилие и понять, что такое личное, такое для тебя написанное произведение – вовсе не повод на самом деле решить, что автор общается с тобой лично. Один очень любящий поэзию Бродского человек, проживавший с ним в одно время в Америке и даже практически по соседству, и из каких-то не самых далеких кругов, будучи спрошен: как же так, почему он не познакомился с Бродским лично, ответил: «Зачем? У меня и так в эти годы не было ближе человека, чем он». Ну а дама пишет Пастернаку письмо: так мол и так, я считаю… прошу мне ответить.

Пастернак не издал свои произведения ограниченным тиражом, распространяющимся не в открытой продаже, а каким-то другим, лично им контролируемым способом – в общем, занимался деятельностью публичной, где признание и признательность можно счесть за отрадную награду за труд, Но и при другом раскладе, не дорожа славой и знаменитость считая неприглядностью – легче ему и спокойнее в мире, если б он не расчехлял своего пера.

…Переводчик спрашивает его, нельзя ли имя герою дать не «Риццио», а «Риччио», – Пастернак пишет, не ленится, на двух страницах объясняя свой выбор. Излагает он все, в общем, правильно, но не совсем. Действительно, транскрипция «Риццио» относительно более правильно передает звучание имени fRizzˆ, но как сам же Пастернак в середине письма спохватывается и пребывает в раздумьи: ведь действительно, пишем мы (и произносим – вслед за итальянцами) «Мадзини», не «Маццини». «Ридзио» было бы более точно. И что? Редактор, не знающий языка, но совершенно справедливо апеллирующий к уже известными ему традициям транскрибирования (в каждом языке складываются такие общепринятые, даже пусть ошибочные, но ставшие традиционными, формы произношения), хотел избежать неграмотного щеголяния осведомленностью в языке оригинала, и уточнил у Пастернака, оставлять ли Риццио, или же это узаконенный традициями, более часто встречающийся Риччио. Письмо в ответ написано длинное. «Милый Марк Семенович, мне передали Ваш вопрос или просьбу, нельзя ли Риццио переименовать в Риччио. И без того нет минуты свободной, а тут

теряй еще время на совершенно зряшние, ничем не вызванные, праздные размышления» (ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 10. Стр. 525). Можно было просто ответить – «нет». Таких избранных мест в переписке много – и озлобился Пастернак, очевидно, не просто так, а было это реакцией на мезальянс, ошибочный свой альянс с Ольгой Ивинской.

Она была неподходящим ему человеком, поверхностным, цепляющимся за внешние признаки его имиджа, зовущая его в третьем лице классиком – чтобы себя лишний раз подбодрить. У него было множество поклонниц, он мог попасть более точно, но выбирать и взвешивать слишком хлопотно, он взял наугад, как делается это по любви, но любовь оказалась какая-то чересчур простая, а человек она была не его круга, вот он и ополчался на малейшие проявления некомпетентности, неэрудированности, некультурности, нетактичности и всего того, что он получил с избытком в Ольге Всеволодовне вместе с ее коленками – у других.

Пастернак был осаждаем разного рода поклонниками и теми, кто хотел использовать свою профессию, чтобы с ним как-то пересечься в жизни: журналистами, художниками-портретистами, даже врачами. Изнурительные два года «сеансов» отняла у него любительница ваяния Зоя Масленникова. «Меня не раз просили позировать – и Конча-ловский, и Фаворский, и Сара Лебедева, и Коненков, и другие. Года два назад скульптор Григорьев просил меня. Но я всем отказывал» (МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 25). Почему тогда она? Она дилетантка – и пусть бы была какой-нибудь народной художницей, примитивисткой, naif, – нет, все ее приемы, слова, достоинство – все профессиональное. Спокойно-привычное, отстраненное от профанов. Работа идет медленно, немного валится из рук, требует – от пастернаковских домочадцев – усилий и беспокойств, выполняется в каком-то неподготовленном пластилине, пугает некоторых, наконец разбивается и погибает от неумелой консервации, напугав Пастернака (ее никто не упрекнет, а он умрет довольно скоро, разбив предварительно свою голову, вышедшую из-под ее резца, или мастихина, или пальцев. Это такой распространенный прием колдовских практик). Кто бы мог ее заслать? Знатоки пастерна-ковского обихода были уверены, что – КГБ. Послужной масленниковский список, сдержанность, необидчивость прекрасно с этой версией совпадают, но большого значения не имеют. По долгу ли службы, по влечению ли сердца – «Вы, наверное, думаете: почему именно она и почему именно меня (она – потому что все, меня – потому что это он) она хочет лепить?Я объясняю, что люблю поэзию больше того искусства,

которым занимаюсь, а в современной поэзии выше всех ставлю его и особенно ценю его нравственный облик».

Выделило ли ее такое признание из толпы? В предисловии она пишет более откровенно: «Пастернак < > станет сквозной темой всей моей жизни, моей тайной неразделенной любовью, которая приведет в конце концов к разрыву с мужем и оставит навсегда в женском одиночестве» (МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 8), но и это не ново. Тем более что никакой любви на подробнейших страницах не заметно. Не быть им заинтересованной, очарованной, а еще более не мечтать, что тайная любовь станет разделенной, что в конце концов это приведет к разрыву с мужем и женское одиночество украсится венцом прекраснейшего брака – невозможно, это так, а просто «тайной любви» как-то не чувствуется.

Она дилетант. Приблизительно, похоже, честно, неинтересно – она описывает разговоры Пастернака. Им веришь безоговорочно: так не придумаешь, и это так похоже на реальный пастернаковский разговор, как канва, аккуратно разложенная на живописной картине, которую готовят для копирования – в технике вышивания крестом. Он тем более не был заинтересован, не рассчитывал на то, что она донесет его облик потомкам. Ее записи очень аккуратны – как действительно донесения – и при их достаточной откровенности и подробности мало нам что рассказывают о Пастернаке. Может, именно этим она его и не оттолкнула – дилетантизмом. Возможно, ему уже стали в тягость ровни, и поиски тех, кто был бы ему вровень. Он отказался от поиска таких среди женщин – уж какая попалась, такая и попалась, – снизив себя по уровню женщины, он махнул рукой на поиск сердечного друга.

На большой даче круг тех, кого угощала обедами Зинаида Николаевна, не был обедами Пушкина с Мицкевичем или с Гоголем, или Толстого с Фетом. Пастернак дал уйти тем, кто был вокруг него в юности, – увы, он рано осиротел друзьями и ничего не ждал от общения. У него собирались вокруг стола приличные случаю едоки – и после он шел в другой дом, где пели «Стеньку Разина». Кто здесь был первичен? Он дал сидеть в своем доме основательной и вопрошающей Зое Масленниковой – потому что через час шел в такой же непритязательный, беспрофессиональный дом. Здесь была простенькая вежливость и корректность, там – простецкая теплота.

«Мы были вместе в театре еще один раз – последний, зимой последнего I960 года. В Москве тогда гастролировал Гамбургский театр Грюнгенса, и Б.Л. трогательно поделил свои выходы – на

„Фауста“ он пошел с Зинаидой Николаевной и Леней, а на „Разбитый кувшин“ – с матерью и мной».

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка. Стр. 149.

Литература витала над всем домом Ивинских, над всеми домочадцами. Иру, правда, даже с рекомендательным письмом Пастернака не приняли на сценарный факультет ВГИКа – она сама с дерзкой откровенностью пишет, что «Надо сказать, что в 1955 году его имя опять очень много значило. <> отнеслись ко мне с повышенной внимательностью. Но увы, и данные мои, и познания оказались не на требуемой высоте» (Емельянова. 82). Да и то – при чем здесь слово «трогательный», зачем она его пишет? Что трогательного в этой ситуации? Оскорбительно для всех, и для всех ясно, в какой степени Ивинские-Емельяновы считали такой демарш все-таки уступкой в свой адрес и, не зная, как назвать такой знак внимания, чтобы и скрыть свое унизительное положение, и чтобы Борина жертва была для всех очевидна, с ходу придумали слово «трогательно».

«Разъясняя сестре свои семейные обстоятельства, он писал, что по-прежнему живет на своей даче с Зинаидой Николаевной и Ленечкой, ничего не меняя в жизни. Жозефина получила ошибочное представление об этом <>из слов Ольги Ивинской, которая на оборотной стороне письма Пастернака от 10 июля 1958 года писала: „Живем мы с Борей в маленькой комнатушке в том же Переделкине, где его дача и протекает показная часть его жизни“. Эта фраза ввела в заблуждение Жозефину. <> В „маленькую комнатушку“ О. Ивинской в деревне Измалково Пастернакрегулярно приходил в гости во время своей предобеденной прогулки, иногда он там встречался с друзьями, но никогда в полном смысле не „жил“ в ней».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 840.

В воспоминаниях Ивинской (и Емельяновой) много эпизодов, определенных как «трогательный» или «деликатный», – а речь идет о поступках грубых, вызванных отсутствием уважения и осознанием, что ни при каких обстоятельствах положение Зины никакая женщина поколебать не посмеет.

Мы удивляемся неправдоподобным совпадениям в романе «Доктор Живаго» – а вот они, в жизни; впрочем, как сама она признается, свои воспоминания она хотела назвать «Роман о романе» – вот, «роман», как говорят блатные, охочие за неимением других развлечений до подобных невероятных совпадений, написан. Автор – не жизнь, а Ольга Ивинская. Вот эпизод – все происходит практически за двадцать четыре часа.

Ивинская с Пастернаком собираются начать новую жизнь и «прожить зиму» в Тарусе. Правда, уже «мели затяжные январские метели, и на душе было сумрачно и тревожно», было 29 января, зимы оставалось мало. Пастернак ехать отказывается: «…ты знаешь, что ты моя правая рука, что я весь с тобою… Но нельзя, мол, обездолить людей, которые этого не заслужили и сейчас уже ничего не требуют, кроме видимости привычного уклада… » (ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Стр. 345). Ивинская «объявила о своем незамедлительном отъезде в Москву». Пастернак пошел домой, написал стихотворение «Я пропал, как зверь в загоне…», где оплакал разрыв: «Нет руки со мною правой (помните? только что сам сказал Олюше про правую руку, и вот – уже в стихотворении) / Друга сердца нет со мной», пошел назад к дому Ивинской, встретил в лесу иностранного корреспондента, «рассказал, что только что потерял любимого человека» (стихотворение, очевидно, об этом – или о том, что у Пастернака вообще нет друга сердца?), и все пошло еще быстрее – корреспондент завладел стихотворением, в тот же вечер передал его на радиостанции, они немедленно стали его транслировать, это стало известно в ЦК (в сумерки? к ночи?) – и вот уже утром зав. отделом культуры звонит О.В. Ивинской, ночевавшей, как ни странно, подчеркивает она, – у себя дома: «То, что сейчас выкинул Борис Леонидович < >, еще хуже истории с романом. „Я ничего не знаю – отвечала я. – Я ночевала в Москве“. < > „Сейчас по всем волнам передается его стихотворение, которое он передал одному иностранцу. Все, что стихло, шумит вновь. Поезжайте, миритесь с ним, всеми силами удержите его от новых безумств“» (Там же. Стр. 345—346). Ну что тут поделаешь?

Это еще не все.

«На следующий день на снежной (конечно же, „снежной“) дороге от переделкинского магазина меня догнал Юрий Олеша. „Подождите минуточку! – Я остановилась. – Вы не бросайте его, – сказал Юрий Карлович, умоляюще глядя на меня – Я знаю, вы хорошая женщина Не бросайте его!“»

Там же. Стр. 347.

Все известно всем – от ЦК до «фадеевского шалмана».

Книжка Ивинской написана так, будто это перевод, будто слова, по большей части правильно употребленные, автор находил по словарю. «Интуитивно я догадывалась, что больше чем кто бы то ни было нуждаюсь в защите именем Пастернака, и заслужила его». Его – кого? Чего? А как можно догадываться, что нуждаешься в защите? Я догадалась, что нуждаюсь в защите, когда увидела перед собой тигра… Я интуитивно догадалась…

что нуждаюсь в защите палкой и заслужила… его? – нуждаюсь в защите ружьем и заслужила его. Заслужила Пастернака? Ах вот в чем дело – она нуждалась в защите ИМЕНЕМ Пастернака, заслужила имя – «…если бы было закреплено официально…» – речь в таких изысканных, отрешенных от всего житейского, и даже правозащитного толка выражениях идет всего лишь о том, чтобы Пастернак на ней женился. «…в шестидесятом (если бы было закреплено официально) оно бы предотвратило катастрофу».

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 345. Нет, не предотвратило бы. Если бы и Зинаида Николаевна, официально закрепившая за собой имя Пастернака [note 33], таскала чемоданами деньги, ее тоже замели бы за милую душу.

«Теперь Парфенов предлагал отцу после больницы ехать с Ольгой Всеволодовной в Баку на нефтяные промыслы. Там его поместят в прекрасные условия, и он сможет собрать материал о героическом труде наших нефтяников и таким образом загладить все грехи. Нам с мамой это предложение показалось совершенно диким, папа соглашался с нами, но жаловался на настойчивость Ольги Всеволодовны, убежденной в том, что только так его можно спасти».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 533—534.

Ехать в Баку – похоже на поездку с Зинаидой Николаевной в Грузию. Это только так кажется, что Баку – выжженный соленый Каспий. Там ошеломляющие для москвички, отстраненные, как в кино, но частые и без разделяющего экрана – не зоопарк, а сафари – экзотические картинки, рассказы об огне и огнепоклонниках, дивная панорама хорошо отстроенного, богатого нефтяного города, украшающая залив, как прекрасный город над Неаполитанским заливом.

На нефтяниках и стесненный обстоятельствами Борис Леонидович мог бы подзаработать (переводы да плюс результат «сбора материалов о героическом труде» – эта сторона могла бы очень хорошо устроиться, Ольга Всеволодовна принимала все близко к сердцу…), ну и, наконец, вдали от всего и от всех Бог знает как далеко можно продвинуться в отношениях со старым, только что из больницы [note 34] упорствующим любовником. Такими и были ее мотивации – двойными, тройными, всегда многослойными и непрозрачными.

Заведующий отделом культуры ЦК Поликарпов звонит

директору Гослитиздата Котову: «К вам сейчас приедет Ольга Всеволодовна и договорится относительно того, когда она привезет к вам Пастернака».

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 240.

«Связь с Пастернаком <> Ивинская выставляла напоказ всеми доступными ей способами».

СОКОЛОВ Б. Кто вы, доктор Живаго? Стр. 185.

Д'Анджело. «Вскоре он пришел ко мне и познакомился с моей дочерью (с Ирой Емельяновой – Ивинская использует формулировку „моя дочь“, чтобы подчеркнуть свою самостоятельность. Ирочка Емельянова – это кто? Это дочь любовницы Пастернака. А „моя дочь“ – это дочь меня, Ольги Ивинской. А любовник мой – Борис Пастернак). Далее идут скобки самой Ивинской: (тогда это все ей было еще интересно)» (ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Стр. 239). Такие пустяки ей были все еще интересны – «Доктор Живаго», Нобелевская премия и пр.

Пастернак очень болен и стар – подхватил старость, как болезнь, лежит дома, ему ничего не нужно. Ольга Ивинская молода душой, и она может сделать очень многое – женить Пастернака на себе. «Ни в коем случае не предпринимай ничего со своей стороны непредусмотренного, неожиданного. Никого не посылай на дачу, ни, тем более, не пробуй зайти сама. Любое отклонение от заведенного и ставшего привычным перевернуло бы весь образ жизни, и это было бы хуже перелома рук, или ног, для чего у меня не хватило бы сил (без Зины в тридцатом он не мог бы жить, как ни пытаются оговорить: мол, просто стал умнее, мог бы и тогда не ломать семейного уклада, – ничего подобного, не мог). Но я знаю, что ты не сделаешь этого, моя золотая» note 35.

Во время последней болезни знал про золотую уже не так твердо и – мог себе позволить – переложил охрану себя на других, те могли ей не объяснять про переломы рук и ног, а просто не пускать – по его отчетливому желанию.

Письма к Ивинской, которые она публикует (какая бы малость от них ни осталась после изъятия при аресте, хотя вроде слишком много их и не должно было быть, судя по обстоятельствам), совсем не такие, какие он писал Зине, даже в самые поздние годы, когда по всем свидетельствам известно, что отношения были совсем неважные, а на портреты ее смотреть страшно. И все равно письма ей он пишет как стихи – и даже как

стихи о любви. Что бы ни говорили о причине того – воспоминание ли только, служила ли Зина, как стенка, только отражением его творческой активности, – да хоть что, но Лелюше он пишет бытовые письма, а Зине – любовные.

Ира Емельянова преподает русский язык в Сорбонне. Она пишет: «Чудится в этом и частое у Цветаевой <> желание „интересно“ сказать» (ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка. Стр. 52), – честно говоря, мурашки пробегают, когда переписываешь это. У Марины Цветаевой – желание «интересно» (в кавычках) сказать. «Частое желание». Вот такое в Сорбонне рассказывают студентам о нашей Марине Цветаевой. Странно, что Ирина Ивановна как-то не обратила внимание на то, что у Цветаевой слишком много и «интересных» мыслей, и так много она их записывала, что просто кажется, что ей и времени было бы не найти, чтобы удовлетворять желанию ПРОСТО (ведь имеется в виду бессмысленное интересничанье, правда?) «интересно» сказать.

Ирочка Емельянова и русский язык: «Признаться, мы мало смотрели на сцену, так как постановка и игра мне вовсе не нравились» (ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка. Стр.148—149). Отвернуться всем!

«…рассказал (иностранному корреспонденту в лесу), что только что потерял любимого человека», – речь шла о том, что «только что» поссорился с Ивинской. По-русски «потерять любимого человека» можно только в одном случае – когда тот, к большому сожалению, умер. Она потеряла любимого человека. Если от кого-то ушел любовник, то это не тот случай. Она рассталась… в лучшем случае – если не обойтись без красивостей (а при расставаниях красивости, как правило, улетучиваются сами) – она потеряла свою любовь. А «человек» – вот он, остался.

«Имущему дастся, а у неимущего отнимется» – Наташа Ростова говорит о кузине своей Соне: «Она – неимущий: за что не знаю, <> но у нее отнимется, и все отнялось. Мне ее ужасно жалко иногда; я ужасно желала прежде, чтобы Nicolas женился на ней; но я всегда как бы предчувствовала, что этого не будет. Она ПУСТОЦВЕТ, знаешь, как на клубнике? Иногда мне ее жалко, а иногда я думаю, она не чувствует этого, как чувствовали бы мы».

ТОЛСТОЙ Л. Война и мир.

Ивинская чувствует, горит, ей хочется «зависти и признания». Она горит этим непрекращающимся огнем, как ведьма, – но Пастернак в нем не сгорает. Она не имела, и ей не дается. Она

хороша всем… Она сексуальна. Она деятельна. Более того – она жалеет животных, это перекрывает многое. «"Я так и знал, что это она… – говорил он, глотая слезы. – Мне сказали, что целый день визжала раздавленная собака… А сейчас на шоссе у шалмана сказали, что какая-то женщина увезла ее. Я так и знал, что это она… " Мама подбирала замерзающих кошек, писала несчастным старухам жалобы в райсовет… »

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка. Стр. 76.

Но, как плоской местности, им, этой милой семье, не присущи глубины и вершины, у них все только веселые перелески. Они легко и много прощают – это даже хуже, чем просто закрывать глаза или пропархивать мимо, потому что они умеют страдать от обид, но прощают все. Это не высокое христианское прощение РАДИ себя, это – прощение ДЛЯ чего-то. Вот как они судят Пастернака: «Как-то, говоря о доброте Б.Л., о его даре сострадания, М. Цветаева писала, что его жалость к людям – это вата, которой он затыкал раны, нанесенные им самим. Аля, ее дочь < >, вторит матери: „Необычайно добр и отзывчив был Пастернак. Однако его доброта была лишь высшей формой эгоцентризма: ему, доброму, легче жилось, работалось. Крепче спалось… своей отзывчивостью смывал с себя грехи – сущие и вымышленные“. Мне все это неприятно читать. Чудится в этом и частое у Цветаевой (да и у Ариадны Сергеевны тоже) желание „интересно“ сказать, и натуга человека, несущего свои домашние, семейные, дружеские обязанности как крест, понять нормальность, естественность сострадания».

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка. Стр. 52. Емельянова не вчитывается в Эфрон, не всматривается в Пастернака, она высказывает свое мнение. По советской привычке, едва завидев «крепче спалось», да еще «легче работалось», она бросается осуждать того, кто не идет трудностям – только трудностям – навстречу. Эгоцентризм – это очень плохо. Вокруг чего другого должен вращаться человек? Мелко и бессмысленно трепыхаться в коллективе? О своей душе думать (легче жить, крепче спать после дум и подвигов) – неестественно? А уж про «натугу» «человека» (Али Эфрон), может, удалось интересно сказать, но смысла не заложено ни крупицы: «креста» – ни «домашнего» (восемнадцать лет в лагерях – вот и не до дома), ни «семейного» (семьи не было: мать, отец, брат погибли, своей не завела), ни даже «дружеского» (Емельяновой виднее, но зачем-то она опубликовала Алины письма, полные искреннего дружеского, как на первый взгляд, участия) Аля не несла.

«По просьбе Б.Л. в Гослитиздате < > Ариадне Сергеевне и матери давали переводные работы».

Там же. Стр. 262.

Але Эфрон, одинокой, только что из ссылки, эти переводы были – хлеб, можно было бы без большого поколеба-ния совести составить ей протекцию.

Для чего переводы были нужны Ольге Всеволодовне, кроме всего прочего (кроме полной и сверх того материальной обеспеченности), еще и довольно сильно занятой делами Пастернака, – неизвестно. А вот телеграмма его «Дайте работу Ивинской, я отказался от премии» получает еще более нелепое звучание. Ведь если он требует восстановления справедливости по отношению к человеку, чего-то добившемуся самостоятельно, а потом в отместку кому-то третьему ущемленному в правах, – это одно, а так он в свое время попросил о любезности для себя, о переводах для своей дамы, а потом эту любезность ему перестали оказывать – требования здесь неуместны. Пастернак мог быть из чистого золота, но переводы Ивинской могли не давать или перестать давать.

Ивинской хотелось зависти – она хотела обменять свою зависть на их. «Мы с моим приятелем по институту, красивым, талантливым молодым поэтом Тимуром Зульфика-ровым, провожаем Б.Л. до „большой“ дачи. < > Мы спускаемся в овраг и как будто попадаем в теплую ванну из мяты, огуречника, зверобоя – вечерний настой подмосковных трав в поймах бывших речушек, ныне превратившихся в грязные канавы, одурманивает. Заставляет забыть о разговоре; хочется дышать и молчать. < > Пройдя через овраг, подходим к калитке дачи Б.Л. Стемнело, окна дачи светятся, обратно в темный овраг не хочется. Есть другая дорога – через участок его дачи, противоположная сторона которой выходит на освещенное переделкинское шоссе, по нему можно вернуться в нашу деревню. Но Б.Л. медлит у калитки. „Вот что, Тимур, – говорит он моему спутнику. – Все же вы лучше проводите Ирочку обратно через овраг (дорога через овраг гораздо короче – об этом лучше не напоминать), мне не хочется, чтобы она проходила мимо моей дачи, мимо всего этого великолепия (или роскоши, не помню точно, как он сказал), – ей будет больно… “

Там же. Стр. 77– 79.

Ира считает, что это какая-то особая деликатность. Если б он просто не проводил их по участку, как-то незаметно направил назад по старой дороге – это, может, и было бы деликатностью: сказать вслух при постороннем: «Ире будет больно» – это что-то излишнее. А почему должно быть больно Ире? Они не прачки, ведут с матерью весьма барский, по советским меркам (а на

другие претендовать с чего бы?), образ жизни. «Квартирка» их в Москве – не хуже московской пастернаковской: три комнаты, в хорошем доме, в центре; то, что дачку сняли маловатую, – так это причуда Ольги Всеволодовны была, не нужда. Пастернак хотел другую, выговаривал; ездили за город только на такси, дом держали открытый, что уж тут сжиматься сердцу, если увидеть ярко освещенные два этажа бревенчатой дачи? Здесь зависти заслуживало разве что состояние дома, участка, дворовых построек, то, что горели все огни, подшиты были занавески, вымыты окна, – это заслуга домовитости Зинаиды Николаевны. Пожалуй, и в адресате деликатности Ирочка ошиблась: разрешить ей с кавалером не возвращаться опять «в овраг», в «темно и сыро» (хотя вроде и в пьянящие запахи подмосковных трав) – это значило разрешить пройти мимо дома, под окнами дома, где жила Зинаида Николаевна с Леней. Ирочка была готова, Пастернак – он был очень проницателен – нет. «Всю обратную дорогу Тимур не перестает восхищаться деликатностью Б.Л. „Нет ты подумай, как он тебя почувствовал! Он увидел тебя Козеттой, которой не может сейчас купить куклу…“»

Там же. Стр. 79.

«Утром этого счастливого дня (начала близких отношений) Б.Л. сделал надпись на красной книжечке своих стихов: „Жизнь моя, ангел мой, я крепко люблю тебя. 4 апр. 1947г.“. Эта красная книжечка имеет свою историю. Во время моего первого ареста забрали все подаренные мне Борей книги. А когда следствие закончилось и „тройка“ в образе молодого прыщавого лейтенанта вынесла мне приговор – Борю вызвали на Лубянку и отдали книги, принадлежащие мне; и он вырвал страницу с надписью. А другим утром, когда я вернулась из лагеря и мы снова были счастливы, и даже счастливее – я все-таки упрекнула Борю: как он мог? Теперь уже на оборотной стороне переплета было написано: „Явырвал надпись, когда принес домой. Что тебе в ней?“»

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 31. Он даже не счел нужным заменить этот экземпляр (раз уж не смог его сохранить нетронутым где-нибудь на дальних полках) новым и повторить надпись. Биограф простодушно (легкомысленно) пишет: «они были просто счастливы». Может быть, но даже не просто, а – простовато. Высоты счастья подрезаются и глубины его подсыпаются песочком до довольно плоской, простенькой картины вот такими эпизодами: вырванной страницей со сладким и горячим посвящением, решением оборвать связь после лагеря, предположив, что в тех краях любовница за четыре года

неизбежно постареет, нежеланием проститься перед смертью – из-за того, чтобы не создавать лишней суеты семье и друзьям. Этот сюжет напоминает «Отчаяние» Набокова – там герой намеревается убить своего двойника (очень похожего, как ему кажется, на него человека) ради получения страховки. Когда убийство удается совершить, сюжет идет совсем в другую сторону – никто ни разу не обмолвливается словом о схожести жертвы с героем, это никому ни разу не придет в голову. Ольга Ивинская вообразила себя двойником ЖЕНЫ и предполагала, что его смерть поставит ее на подобающее ей место. Смерть поставила все на свои места: грозно вышли на сцену смерть Пастернака, его семья, жизнь без него. Ольга Всеволодовна, защищенная адвокатами, могла бороться только за свою частную собственность. ЖЕНУ, вдову она никому не напоминала.

«Его приходы к нам всегда были связаны с ощущением праздника – рассказы, впечатления, подарки… Как будто он приходил не из соседнего дома, а приезжал откуда-то издалека, из иной жизни, богатой событиями».

Там же. Стр. 73.

Это наблюдение и делает их жизнь, от прихода до прихода, второсортной. Собака целый день ждет хозяина и, как пишут пособия: «время, которое вы проводите со своей собакой, – для нее это апофеоз дня, смысл жизни», – но она вовсе не считает, что вы пришли из какой-то лучшей жизни. Она абсолютно уверена, что лучшая, настоящая жизнь – это вот она, когда вы вместе, здесь самые лучшие события, здесь вся полнота, она никогда не поверит, что где-то для вас есть что-то более интересное, чем жизнь с нею, она страшно огорчена, что тяжелые обстоятельства заставляют вас менять ваше общение на какие-то невыносимо скучные иные обязанности. Ее жизнь – не второсортна.

Богатый дом, крестьяне, хозяйка за столом, девки на деревне. Богатый дом был не свой – такой даже в карты не проиграешь.

«Его жизнь – счастливая, осуществившаяся – „все, до мельчайшей доли сотой в ней оправдалось и сбылось… “ Мало кто так мог сказать о себе. И старость могучая, евангельская (какое бессмысленное и красивое, типично ахматов-ское сочетание) – даже старостью не назовешь: последние годы жизни – щедрые, открытые, полные до краев. По интенсивности проживаемых дней – разве что с Толстым можно сравнить».

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка. Стр. 260.

Толстой, заменивший изработавшуюся жену на другую. Интересный выход придуман для человека, но, скажем прямо, подозрительно простой.

«Открытая и людям, и судьбе, красивая, по-женски бесшабашная, доверчивая, не сумевшая укрыться от вихрей кровавого времени, несущих ее на своей страшной волне – такой он видел маму, и это любил в ней».

Там же. Стр. 76.

Потерянная или готовая потерять себя женщина не увеличивает цену того, за кого готова платить собой. Великому не нужны жертвы. «Всесожжения не благоволи-ши», Господь отвел руку Авраама. Готовностью жертвовать собой Толстой наделил пустоцвета Соню – дал свершиться и ее судьбоносным, просчитанным жертвам – и жертвенности каждого дня. Мир несовершенен, человек одинок, Лев Николаевич с Софьей Андреевной образовывали образцовую пару – образца одиночества человека, – но Ольгой Всеволодовной в более длинной юбке он бы не утешился. «Она олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла… Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела… »

Письмо Б. Пастернака от 7 мая 1958 г. Цит. по: ИВИНСКАЯ О.В.

Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Стр. 213.

У многобрачия есть математическая формула. Только единственный брак равен единице, все последующие – дроби: вторая жена – это 1/2, все жизненные достижения умножаются на эту невеликую цифру и дают несравнимо меньший конечный результат. Куча детей от трех браков – это и непонятно, есть ли вообще дети, состояние тоже можно разделить по женам так, что неизвестно, с чем останешься, и пр.

Ивинская, как все у нас люди, проходящие под званием переводчика, объясняется на европейских языках через переводчика.

Пройдут года, ты вступишь в брак, Забудешь неустройства…

Похоже на школьную самодеятельность из «Дениски-ных рассказов»:

Пройдут года, наступит старость. Морщины вскочут на лице. Желаю творческих успехов, Чтоб хорошо учились дальше все.

Да и ситуация ему виделась вовсе не судьбообразую-щей.

«Как-то он взял с собой на пасхальную обедню Ольгу Всеволодовну, которая ни на минуту не давала ему сосредоточиться, все время отвлекая попутными наблюдениями и замечаниями на разные темы. Он жаловался Кате, что теперь

только понял, как далека ему эта женщина».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 477.

Пастернак устроился тоже хорошо: и было с кем делить расстеленный в ширину плащ, и девушка была из таких, на которых можно не жениться.

«6 января 1948. „Рядом со мной по другую руку села Ольга Всеволодовна – раскрашенная, усмешливая, приветливая, фальшивая. Сразу же возле нее закружилась ее постоянная свита <.> Выступающие садились за стол, но Борис Леонидович прошел в публику и расположился возле нас, точнее – возле Ольги Всеволодовны. Весь наш ряд был уже занят, поэтому, чтобы оказаться лицом к ней, он сел на стул предыдущего ряда верхом – то есть спиной к столу выступающих. Со мной он сначала забыл поздороваться (что так противоречит его обычной доброте и внимательности), вспомнил через несколько минут <> Я никогда еще не видела его таким взбудораженным. Волновался он перед чтением, что ли?“»

Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 416—417 (воспоминания Л. Чуковской). Уже Данте догадался назвать божественные игры с нами комедией. Почему выбран этот жанр? И не только с «простыми» людьми – им чем еще развлечься, а с великими, у которых в жизни и так все ярко и поучительно. Нет, у Пастернака каждую семью перерезали на две части и соединяли.

С Зинаидой Николаевной были – самая сильная любовь, многоплановый и закрученный роман, невозможность адюльтера, долголетняя история, дети, домовитость, дача, трагедия, с Ольгой – легкомыслие, очарование, адюльтер, водка с селедкой, бесконечные «плотный гобеленовый материал для занавесок и покрышки (это уж стиль редакторши из „Нового мира“) на тахту», мятый плащ.

И Зина была красивее Ивинской – просто красивее, ярче. И мужья получше, и не надо мазать лицо сажей, чтобы удержать Пастернака.

Январь 1959 года, Зинаида Николаевна на вечеринке, в период после Нобелевской премии. «Была она оживлена, что очень идет ей и редко с ней случается <…>» Что могло идти Зинаиде Николаевне в 1959 году? Ее некрасивость, огромное черное лицо, приклеенные локоны и воротнички стали вызовом –

она ничего не могла противопоставить улыбкам и бойкости Ольги Ивинской. Аля Эфрон не меньше других имела причины быть в претензии к Зинаиде Николаевне. Пастернак нашел ее, чтобы заполнить пустоту своей души и жизни во время разгара романа с Мариной Цветаевой.

«Август», программное стихотворение. Из «Доктора Живаго», из тех, что на похоронах читали студенты, вернее, не студенты, студенты – это опасно политизировано, —

просто молодежь. О чем строки его страстной концовки? Простимся, бездне унижений Бросающая вызов женщина! Я – поле твоего сраженья.

Эти строки можно читать как мантру, не вдумываясь в их смысл – он содержится в пелене смыслов, опутывающих каждое слово, разгадывать, подбирать варианты некогда, – и слушатель наслаждается звуком. Только само обращение, если не воспринять и его обобщенно – однозначно, бедно, унизительно – к сожалению, для всех. Героиня – кто пропотип, сомнений нет, сражаться не нужно, Ольга Ивин-ская – сражается только за то, чтобы Пастернак на ней женился, никаких более высоких пожеланий, унижение – во множественном числе автор употребляет это слово, потому что проявлений этого унижения действительно много – тоже одно: Пастернак жениться не хочет.

Назвать сражением битву за приведение его в ЗАГС – вообще-то чрезмерно, даже если он выходит победителем и в ЗАГС не ведется. Чем бы ни обросло его представление о ежедневных Ольгиных сражениях, написал он об этом четко и однозначно. Анна Ахматова когда-то была недовольна и более одухотворенными материями: «"Второе рождение" – это стихи жениховские. < > Перед одной извиняется, к другой бежит с бутоньеркой – ну как же не растерянный жених» (ЧУКОВСКАЯ Л.К. Записки об Анне Ахматовой. В 3 т. Т. 1 (1938—1941). Стр. 155), но жених, упорхнувший от одной к другой, лучшей, и чирикающий на эту тему, – все-таки птица более высокого полета, чем тот, кто счастливо избегнул женитьбы и назвал эти перипетии сражением.

«После тяжелой семейной сцены Пастернак написал Ольге (так в воспоминаниях Емельянова время от времени называет мать, когда хочет придать рассказу патетичность) письмо, в котором говорилось, что их отношения не могут продолжаться. < > Но Ольга не поверила этому вынужденному отказу, она хотела, чтобы Б.Л. сам сказал ей о том, что все кончено между ними… »

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Пастернак и Ивинская. Стр. 93—94.

Сквозь невразумительные (как объяснить слово «вынужденный»? вынуждение наступает ведь только после того, как вынуждаемый убеждается в отсутствии шансов вынуждению не уступить, а Пастернак оставался волен и полон вариантов) банальности («не поверила» писаному, «она хотела» – мало ли что она хотела, значит, оставил зазор для исполнения желаний, «сам сказал») – яснее ясного, что коленки и голубые кофточки должны были сыграть решающую роль в сражении и самому сказать Пастернаку ничего бы не удалось.

«Хотелось < > зависти и признания».

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 38. Ивинской приходится писать это, чтобы расчистить себе путь для дальнейших признаний, – без этого верить невозможно бы было ничему.

«Хотелось, наверное, сочувствия и признания».

ИВИНСКАЯ О.В, ЕМЕЛЬЯНОВА ИИ. Годы с Пастернаком и без него. Стр. 39.

Так отредактировано (исправлено, заменено другим словом, произвольно искажено по смыслу) дочерью, наследницей литературных прав, откровенное высказывание в переизданной в 2007 году Ириной Емельяновой знаменитой книге «Годы с Борисом Пастернаком…». Читатели предыдущих, в том числе прижизненных, изданий помнят эту строчку, написанную самой Ольгой Ивинской с необлагораживающей, но, впрочем, заставляющей замолчать завистников честностью. Судьба Евгении Владимировны и Зинаиды Николаевны тоже была незавидной, но они хотя бы желали не – зависти.

На теплоходе музыка играет

«"Живьем" появилась Аля у нас в Потаповском в 1955 году, уже поселившись в Москве, и, как она говорила, „сразу выбрала наш дом, потому что в нем веселее“».

ИВИНСКАЯ О.В, ЕМЕЛЬЯНОВА ИИ. Годы с Борисом Пастернаком и без него…

Судьбы скрещенья. Стр. 262.

Аля Эфрон Ивинским пишет залихватски, задорно, они с радостью, что из таких утонченных кругов, из таких историй женщина (Марина Цветаева Ивинской не соперница, таким она себе голову не забивает) выбрала их, везде с наслаждением от безнаказанности дурновкусия мелькают «нервочки», «Аришка», «промблема». Зачем Ариадне Эфрон, внучке основателя музея изящных искусств, какие-то «Аришки»? И городские добытчицы Ивинские никакими Аришками становиться вовсе не собирались. Так – присказки, заговоры, поют, как птицы в ожидании любовных утех, а там и гнезда. Ариадна готова радоваться и чужим, ей более чем понятно, что ничего похожего с ее матерью у Пастернака случиться не могло, было видно, чем победила Оленька, чем – грозная, как надсмотрщица, Зинаида Николаевна.

Иринка, Людмилка, Галинка, мамча.

Ариадне негде учиться большой требовательности. «Ты пишешь, что Лида < > – очень ХОРОШИЙ человек (подчеркнуто тобой). Можно сказать, что она человек добродушный < >. Но ведь этого очень, очень мало!»

ЭФРОНГ.С. Письма. Стр. 72—73. Мур – на свободе. Он за всю свою жизнь ни разу не сидел (за девятнадцать лет). Ну был на немножко арестован, когда от голода украл. Жизнь его, правда, – хоть на тюрьму и меняй.

К сидению Ольги Ивинской в тюрьме.

«Думаю также, что если бы М. Цветаева попала не в Ела-бугу, а в лагерь, то она могла бы выжить: уж во всяком случае, там скорее она нашла бы дружескую поддержку, среду, тепло товарищества и бескорыстную медицинскую помощь… »

ГЛАДКОВ А.К. Встречи с Пастернаком. Стр. 71.

И ТАМ каждый проявляется, как он есть. Ольга – такая.

Любимые слова, поскольку никакого иносказания не придумывается, а правда слишком тяжела, то повсюду объяснения поступков Пастернака «трогательно» да «деликатно».

Трогательно разделил походы в театр – один раз с неприступной и черной Зинаидой Николаевной в старомодной прическе и с Ленечкой, другой – с дамами полусвета в нейлоновых шубах и нейлоновых юбках – Ольгой Всеволодовной и Иринкой. Деликатно сказал Ольге, что после лагеря, как любовница, скорее всего, она ему уже не подойдет.

Дети неизвестно от кого. Ирочка Емельянова про своего отца пишет: «Он был вторым (или третьим?) маминым мужем и считается моим отцом» (ИВИНСКАЯ О.В., ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Годы с Борисом Пастернаком и без него… Судьбы скрещенья. Стр. 15). На что намекает? Про десятки мужчин до «классюши» мы слышали, но когда уж и дети неизвестно от кого – это совсем как-то не комильфо. Неужели на Пастернака? То, что представляла собой Ольга Ивинская в 1936 году (год рождения Иришки), и то, что еще год назад представляла собой Зинаида Николаевна (и сам Пастернак – от любви к ней, ведь это всего год после парижского ужаса), – куда там маленькой гризетке до вынутой из каменоломен творенья женщины, едва не раздавившей самого Пастернака. Но для чего-то же пишутся без комментариев такие пассажи: «считается моим отцом». Этим травили Зинаиду Николаевну – жестче хода у противника не было, вернее – тяжелее: жесткость подразумевает какую-то прямоту, твердость. Сражаться с женщиной детьми, все равно какими детьми, чьими, зная, что спорный мужчина открыто не возразит, не заступится, что побиваемая грязным тяжелым оружием будет молча и одиноко страдать, – ну почему бы и нет, раз и дети не восстают. Вот, через сорок лет как все отжили, пишут: «Иван Емельянов, считается моим отцом… » А уж там…

К старости стал еще красивее.

«…слишком он классически покрасивел впоследствии на свою позднюю наивную радость» (из Ивинской).

Не растратил того, зачем такая красота дается. Сейчас легко потратить деньги на воссоздание красоты, но важно не пожадничать на главное: красота, особенно последняя, дается только тем, кто готов ее подарить, ею осчастливить. А сплошь и рядом пациентки пластических хирургов этот фаустовский договор забывают. И – прочь года – как встарь, на этой же красоте хотят еще раз заработать. Конечно, так обмануть никому не удалось. Если вернет хирург общий абрис красоты, то чтобы только зрителей пожалеть, порадовать, а снова вскачь пускаться, Настасью Филипповну изображать – это уж действительно никто не сумел…

Они похожи на кота Базилио и Лису Алису. Прихрамывающий Борис Пастернак – старый, больной, моложавый, сияющий вставными зубами, и Ольга Всеволодовна – милая, радостная, с ямочками на щеках и помятым лицом, в новой шубке, с крашеными волосами и без ванны на даче.

Один из первых анекдотов про новых русских был – иностранцы им удивляются: «Где они столько работают, что столько отдыхают?» Вокруг Пастернака все женщины беспрерывно отдыхают в писательских санаториях, он достает путевки даже кратковременному мужу Евгении Владимировны. Мало ездит только Зинаида Николаевна, да всю жизнь одержимо работавшая, пережившая травмы и сложнейшие болезни, разрушенная блокадой Оля Фрей-денберг едет в санаторий в Териоки единожды: «Я совершила революцию, отправившись в Териоки. Жизнь в Териоках стоила колоссальных денег, зато я жила свободно, в гостинице, представлявшей собой ограбленный финский дом. Природа в Териоках была финская, суровая. Весенний крепкий воздух благоухал свежими почками. Зелень еще только просыпалась. Местность была безлюдна, море холодное, необжитое. Я преследовала одну цель: дышать. В состоянии глубокой депрессивной апатии я сидела и дышала. Через девять дней я набралась сил и вернулась домой. Температура и сердечные припадки держались».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Пожизненная привязанность.

Переписка с О.М. Фрейденберг. Стр. 310. Все лето отдыхает в Сухуми даже девятнадцатилетняя Ирочка Емельянова. «Семейство» переписывается, каждый в своем жанре, Борис Леонидович – отца семейства (как он эти задачи понимает), Ивинская – в своем, собственного выбора. Вот коллективное письмо: Пастернак: «Ирочка золотая < > не отказывай себе ни в чем». Ивинская: «В самые трудные дни Боря говорил: „Вот Ирочки нет, а она бы меня поддержала“, и причем серьезно, а ты, свинья, ему мало написала». Пастернак: «Если хочешь, оставайся в тропиках, сколько тебе будет угодно, мама дошлет тебе денег». Ивин-ская: «Ируня, это мы с классюшкой твоим выпили вдвоем четвертинку и окосели. А вначале ругались, и от всего нас спасло твое нахальное письмо, где ты свою мать не ставишь ни во что, как дипломата. Ах, гадина!.. Мы тебя без памяти любим, и когда останемся одни на свете (что бы это могла быть за ситуация? кто должен бы был уйти со света, кто остаться?), не гони бедного классюшку со двора, дай ему выпить чашку чаю и 20 коп. на трамвай (водки не давай)». (ИВИНСКАЯ О.В., ЕМЕЛЬЯНОВА И.И.

Годы с Борисом Пастернаком и без него. Судьбы скрещенья. Стр. 96). Выпито, очевидно, было все же больше «четвертинки на двоих». А вообще пили и шутили беспрерывно. Жили широко и без комплексов. «Мы выставляли на стол купленные Жоржем бутылки. < > Начинали болтать о всяких пустяках – о письмах, о Фельтринелли, в пристрастии к которому мы подозревали маму, о Ренате Швейцер (его постоянной немецкой корреспондентке), над нежной перепиской с которой также подтрунивали…» (Там же. Стр. 162).

Пастернак в гробу в доме. «Из дома вышел Женя, старший сын БЛ., и направился по дорожке к нам. Никого из семьи мы еще не видели, и при его приближении – он шел как посланец „клана“, „семьи“ – мама напряглась, и мы кольцом окружили ее. Не уйдем! Увы, больно сейчас вспоминать те холодные и странно звучащие фразы, которые он с трудом выдавливал из себя. Он видел, как мы страдаем, каково горе мамы, но ответная волна не поднялась в нем. Он не позволил себе разделить это горе с нами. Он просил, чтобы не было никаких „спектаклей“ или „театра“ (не помню точно, как он выразился), о чем якобы просил отец. О боже, мог ли БЛ. думать об этом! „Специально просить!“ Мама, по-видимому, ничего не понимала, потому что он говорил обиняками, и она никак не могла взять в толк, что за „театр“»

ИВИНСКАЯ О.В., ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Годы с Борисом Пастернаком

и без него… Судьбы скрещенья. Стр. 187. «Театр» – это, очевидно, сцены, подобные решению совершить одновременное самоубийство. Пастернак приносит 22 таблетки нембутала, потому что Лелюша говорила, что 11 – это смертельно. «Давай это сделаем! < > А „им“ это очень дорого обойдется… Это будет пощечина…» При сем разговоре присутствует малолетний сын Ивинской Митя. «Боря выбежал и задержал его (вот он, театр! По крайней мере в записи Ольги Всеволодовны): „Митя, не вини меня, прости меня, мальчик мой дорогой, что я тяну за собой твою маму но нам жить нельзя а вам будет легче после нашей смерти. Увидите какой будет переполох какой шум я им наделаю. А нам уже довольно хватит уже всего того что произошло. Ни она не может жить без меня ни я без нее. Поэтому ты уж прости нас. Ну скажи прав я или нет?“»

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 277.

«Маруся отравилась /В больницу повезли» Ни одна Маруся не хотела отравиться до смерти. То, что остается из этого жеста

после вычета главной составляющей – это просто неэлегантный, вульгарный поступок. Что нам делать с травившимся Борисом Пастернаком? Ну, признаем, что он хотел выпить йоду, как спирта, а главное – чтобы Зина после этого оставила его у себя дома, положила лежать на диван и давала бы ему чашки с питьем. А там и наступит ночь, и она себе постелит рядом (не просить же Генриха Густавовича перейти на диван) – за это можно и закатить сцену с пузырьками. У Ивинских-Емельяновых кто только не травился!

Люди иногда не стесняются писать о своих попытках самоубийства. Часто с затаенной гордостью, показывая, на какой накал страстей они способны. Кроме того, что это пошловато, они еще сами показывают свою планку: вот сколько стоит моя жизнь. Ирочка травится (у них в семье женщины время от времени травятся или даже изображают травление). После больницы Б.Л. ее журит. «Ах, дурочка, дурочка, – говорил он мне ласково и как бы мечтательно – Надо же, что устроила»

ИВИНСКАЯ О.В., ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Годы с Борисом Пастернаком

и без него. Судьбы скрещенья. Стр. 148.

Борис Пастернак прожил меньше всех в своей семье, все его ближайшие родственники были солидными долгожителями; отец – 83 года, сестры: Жозефина – 93, Лидия – 87, брат Александр – 89. Лидия Корнеевна Чуковская считает – затравили. Травили, скажем прямо, не больше многих, затравленным его заставляли чувствовать близкие, а точнее – «вторая», «незаконная» семья. У этой семьи не было дна, не было дела, были потребности, препятствия преувеличивались, потребности росли. Им нечем было заняться вместе. Маловероятно, чтобы дома Пастернаку с утра предложили бы коньяк. У Ивинской все время были застолья и свои посиделки при свечах. Ивинская спаивала его – не намеренно, но и не останавливаясь перед мыслью о возможном вреде. «Ивинская вела отчаянную борьбу за то, чтобы Борис Леонидович оставил семью и соединился с ней. Помня его слова: „Менять свою жизнь я не могу и не буду“, – я уговаривала ее смириться с ее положением и не терзать его. „Да с какой стати?“ – отвечала она» (МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 319).

Поддерживать его здоровье для продолжения жизни в прежнем статусе – с какой стати? А так он доволен, он воспринимает ее дом как отдушину – его не ограничивали, естественно, и дома, – но ограничения уже ставил он, не мог же он пить беспрерывно, а общая картина получалась все-таки такой:

дома – рамки и сдерживание, а у Лелюши – выход напряжению. И свидания пролетают незаметно.

Долголетию также не способствуют половые эксцессы. Здоровая регулярная половая жизнь – замечательно, связь с женщиной, декларирующей свою безудержную сексуальность и ясно понявшую, чем она привлекательна для своего мужчины, – это довольно опасно. Сейчас санитарно-гигиеническое просвещение сделало свое дело, и люди ведут себя сознательно. Вот комета Галлея поэтического небосклона конца XX века – Иосиф Бродский. Встречает и почти сутки беспрерывно общается в 1989 году с постсоветской молодой поэтессой, впервые оказавшейся на Западе. Увлечен ее стихами (ей рассказывают, что он держит книги ее стихов у себя на столике), интервьюер еще более льстива: «Сознайтесь, если бы вы не были так хороши собой, разве бы он взял вас за руку и повел за собой?», коллеги – собратья по перу завидуют. Но поэтесса проявляет похвальную предусмотрительность: «…дело в том, что конец нашего общения в Роттердаме к этому сюжету note 36 и привел, что меня испугало. Во-первых, я знала, что у него больное сердце, он всю ночь не спал, курил одну за другой и пил «Bloody-Mary». Я боялась, что сердце не выдержит» (ПОЛУХИНА В. Иосиф Бродский глазами современников. Стр. 351, 362). Для примера менее выдержанной молодежи такое резонерство опубликовано тиражом 5000 экземпляров. А ведь Бродскому только 49 лет, Пастернаку уже в начале знакомства с Ивинской было 56, к концу – и 70. Ну ладно, не будем так занудливы, Ивинская уверяет, что любит, а наша поэтесса посвящает Бродскому стихотворное признание:

Можете угрожать,
НАПРАВЛЯТЬ Betacam,
Я не буду рожать
И без любви не дам.

С любовью и без любви – это две большие разницы. Порадуемся заодно о последних годах Бродского – он женился через несколько лет после этой встречи, на молодой женщине, конечно, на красавице и аристократке, горячих итальянских и роковых русских кровей, – и сердце выдержало. Умер, будучи оперированным на сердце еще до женитьбы, от него, проклятого, но все же не на ложе любви, как действительно конфузно могло произойти в Роттердаме. Хотя – как знать – уж такой ли был бы накал?..

Пострадать – хорошо. Не в таком прямолинейно-макабрическом смысле, как «страдала» Анна Ахматова.

Бродский в интервью передает слова Льва Гумилева: «<…>

Для тебя было бы даже лучше, если бы я умер в лагере. То есть имелось в виду – „для тебя как для поэта“».

ВОЛКОВ С. Диалоги с Иосифом Бродским. Стр. 245.

Тебе было бы лучше… Или «Какую биографию делают нашему рыжему» – просто для галочки, для биографии и для взбудораживания творческих сил, поставить «катар-сисики», как пиявки, чтобы работалось широко и свободно. «А страдание только еще больше углубит мой труд, только проведет еще более резкие черты во всем моем существе и сознании. Но при чем она тут, бедная, не правда ли?» (ПАСТЕРНАК Б. Чтоб не скучали расстоянья. Стр. 332). Отдавая дань безупречному профессионализму Пастернака, но не отказывая в чувствах совершенно простых, нельзя не отметить, что страдания Ивинской он считал немного игрушечными.

Ревность Пастернака – он не ревновал и к Копернику. Ревновал к советской карательной системе – какой-то мордовский «Ночной портье». «Наверное, соперничество человека никогда в жизни не могло мне казаться таким угрожающим и опасным, чтобы вызывать ревность в ее самой острой и сосущей форме. Но я часто, и в самой молодости, ревновал женщину к прошлому или к болезни, или к угрозе смерти или отъезда, к силам далеким и неопределенным. Так я ревную ее сейчас к власти неволи и неизвестности, сменившей прикосновение моей руки или мой голос».

Там же. Стр. 332.

В романе с Ольгой – кого он мог счесть равным соперником? Угроза смерти, отъезд, лагерь – вот это было крупнее его, это бросало ему вызов. Сама Ольга такого напряжения не содержала.

Ревновал Зинаиду Николаевну к какому-то давно прошедшему прошлому – это тоже не отдельно стоящая ревность, а часть, совершенно необходимая, его любви.

У отцов-братьев все проще. Да, они хотят пристроить дочерей замуж. Не хочешь жениться – к барьеру (может, разве что с небольшим предлогом – девушка там забеременела или письмо ее кому показал), на этом роль заканчивается. Матери дочерей пристраивают вернее, настойчивее. Сюжет один – и Вера Набокова, и Ольга Ваксель в семействе Мандельштамов, и мать Ивинской. Ольга Всеволодовна называет этот феномен «святым материнским чувством», хотя матерями движут какие-то врожденные тяжелые и темные чувства, дикие инстинкты, не подлежащие умилению в зверях и требующие обуздания в людях.

Природа не свята. Она неисправима, это так, но святость – это то, что стоит НАД природой. За это нас называют венцом творения (мы сами себя), а не за то, что мы можем одним пролетом взгляда определить ступеньку социальной лестницы, на которую нам по силам, сбросив в пропасть предыдущую стоялицу, встать самим или усадить наших дочерей.

«В середине января 1925 года Мандельштам встретил на улице и привел ко мне Ольгу Ваксель, которую знал еще девочкой по Коктебелю и когда-то по просьбе матери навестил в институте. Ольга стала ежедневно приходить к нам, все время жаловалась на мать, отчаянно целовала меня – институтские замашки, думала я, – и из-под моего носа уводила Мандельштама. А он вдруг перестал глядеть на меня, не приближался, не разговаривал ни о чем, кроме текущих дел, сочинял стихи, но мне их не показывал. В начале этой заварухи я растерялась. Избалованная, я не верила своим глазам. Обычная ошибка женщины – ведь вчера он минуты не мог обойтись без меня, что же произошло!.. Ольга прилагала все усилия, чтобы я скорее все поняла и стала на дыбы. Она при мне устраивала сцены Мандельштаму, громко рыдала, чего-то требовала, обвиняла его в нерешительности и трусости, настаивала на решении: пора решать – долго ли еще так будет?.. Все это началось почти сразу. Мандельштам был по-настоящему увлечен и ничего вокруг себя не видел. Это было единственное его увлечение за всю нашу совместную жизнь, но тогда я узнала, что такое разрыв. Ольга добивалась разрыва <… > Ее бросил муж, и она с сыном целиком зависела от матери и отчима. <… > всем заправляла мать, властная и энергичная женщина, и делами дочери занималась тоже она. Она вызывала к себе Мандельштама и являлась к нам для объяснений, при мне уточняя и формулируя требования дочери. Она настаивала, чтобы Мандельштам „спас Ольгу“, и для этого немедленно увез ее в Крым – „там она к вам привыкнет и все будет хорошо“… Это говорилось при мне, и Мандельштам клялся, что сделает все, как требует Ольга. Он ждал большой получки из Госиздата и к весне собирался отправить меня в Крым. Об этом Ольга узнала в первый же свой приход и сказала, что тоже хочет на юг, и я ей тогда предложила ехать вместе. Поэтому однажды, когда мать говорила о „спасении“ Ольги, я вмешалась в разговор и сказала, что еду весной в Ялту и предлагаю Ольге ехать со мной. (Мать называла ее Лютиком, простым желтым цветочком.) Вот тут-то мать Ольги огрела меня по всем правилам. Искоса взглянув на меня, она заявила, что я для нее чужой человек, а она разговаривает о своих семейных делах со старым другом – Мандельштамом. Это была

холодная петербургская наглость, произнесенная сквозь зубы. Я не представляла себе, что настоящие светские дамы (она была фрейлиной при дворе) так открыто устраивают дела своих дочерей. Для матери после катастрофического падения ее круга Мандельштам представлялся, вероятно, выходом, если не постоянным, то хоть временным. По нашей кукольной гарсоньерке она, я думаю, считала Мандельштама лучшим добытчиком, чем он был на самом деле».

МАНДЕЛЬШТАМ Н.Я. Вторая книга. Стр. 173—174.

«В чувствах к Набокову Ирину с самого начала поддерживала ее мать. „Если он тебя любит, значит, пусть не сразу, но ты сумеешь увести его от нее“ (ШИФФ С. Вера. Миссис Владимир Набоков. Стр. 124). „Подозрения <…> подтвердились до мельчайших подробностей в анонимном письме на четырех страницах <… > Вера была убеждена, что письмо послано матерью Ирины и, вероятно, для того, чтобы ускорить распад семьи“ (Там же. Стр. 118). „Мадам Кокошкина была не так очарована Владимиром, как его дочь. Эта опытная дама считала Набокова блестящим писателем <…>, однако человеком ненадежным“ (Там же.

Стр. 119).

«Слезы струились по щекам Владимира, когда он признавался ее матери, что не может без Ирины жить» (Там же. Стр. 120). «Мать Ирины <этому ничуть не удивилась, она> как раз предсказывала, что Вера станет „шантажировать мужа и не отпустит его“». «По описаниям Владимира, в семье творилось такое, что он боялся, как бы для него это не кончилось сумасшедшим домом. Вера впоследствии яростно отрицала, что у них когда-либо случались скандалы. Она готова была поклясться, что сцен – о которых с сожалением пишет муж и которые Ирина и ее мать старательно записывали с его слов в дневники – вовсе не случалось» (Там же.

Стр. 123).

Чтоб не скучать, Вера училась у Владимира ремеслу. У него был свой бизнес, у нее – свой: тонко и скрупулезно приводила видимость их жизни в соответствие с ее представлениями, какой она должна была быть.

«Не хочу сказать ничего плохого о маме, но и она тут была очень виновата. То она устраивала какие-то глупые сцены Б.Л., например, звонила, что я заболела из-за него, когда у меня был простой грипп, то возмущалась его жестокосердием, когда он два или три дня не мог прийти. „Я люблю вашу дочь больше жизни, Мария Николаевна, – говорил Б.Л. маме, – но не ожидайте, что

внешне наша жизнь вдруг переменится“. Конечно, мамой руководило святое материнское чувство, ей хотелось для меня настоящего счастья, как она его понимала. Ей казалось, что это не дело, когда он приходит ко мне как муж, а потом уходит и может два дня не приходить».

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 33.

«…ее мать кричала в телефонную трубку, что мой муж негодяй и мерзавец, что ее дочь забеременела от него» (Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак. З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 341—342). В таких случаях, наверное, лучше уж драться, таскать за волосы: что объясняют только слова? А кричать тогда уж на дочь, раз она беременеет от мерзавцев. Но это Ивинские заводят нас совсем уж на какие-то периферии нашей истории, здесь уже совсем не Лара. «Опять звонила мать. На этот раз она говорила с Борей. Она утверждала, что он погубил ее дочь… » (Там же. Стр. 343).

Когда карта о рождении «ему» ребенка разыгралась (карты пришлось бросить под стол и распечатать новую колоду), несдающаяся Ивинская все-таки каких-то детей продолжала использовать – своих: сомневаться не приходилось, что всякие дети были болезненным местом Зинаиды Николаевны. «До меня доходили слухи и сплетни, очень плохо характеризовавшие эту даму. <… > Главная ее политика заключалась в распространении лживых слухов, и даже ее дочка и сын ни с того ни с сего оказались детьми Пастернака. Когда я приезжала в город, сейчас же раздавался звонок и просили дочку Пастернака Ирину. Тогда я вообразила, что он их усыновил, но это было бы незаконно, так как для этого нужно было иметь мое согласие. Видимо, это делалось с целью поссорить меня с Борей и разлучить нас. Это было похоже на дурной сон… » (Там же. Стр. 359—362).

Само по себе замечательно, что матери пекутся о дочерях. Плохо то, что потенциальных мужей, мужчин они считают не людьми, а только средством достижения их лютиками каких-то определенных целей. Отношения к мужчинам жесткое, бездушное, бесчеловечное.

В семействе Лурье все благополучно. Самый умный из семьи брат Сеня пристроил Женечку, намекнул Боре Пастернаку, что ему надо жениться – тому тоже вроде было время, и Женя ну чем могла бы не подойти – брак совершенно удался. Но может, Женя заслуживает чего-то лучшего?

«Мама (мать Евгении Владимировны), развивая свою

затаенную мысль (чтобы тебе с мальчиком за границей остаться), неожиданно порекомендовала мне, как более, чем ты, уступчивому, переехать к вам, бросить писать (какая, дескать, от этого радость) и заняться чем-нибудь другим, ну, скажем, коммерцией».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 199.

Устройство Жени отшлифовывается.

«59 год, 23 апреля. За это время я раза три виделся с Пастернаком. Он бодр, глаза веселые, побывал с „Зиной“ в Тбилиси, вернулся помолоделый, самоуверенный».

Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 278 (воспоминания К. Чуковского). Фотографии нобелевских дней – Чуковский с раскрытыми для объятия руками стоит одетый посреди комнаты, словно Дед Мороз, Пастернак довольно смеется, как избалованный ребенок, которому удалось угодить, у Зинаиды Николаевны с белыми воротничками все идет по плану, в дверях – дамы, идеальная чистота, блестящий спинкой венский стул, жить бы и жить. Потом Чуковских (деда с Люшей) сажают за стол с двойной, очень крахмаленной скатертью, с разложенными приборами, сервизом, натертыми по воску до блеска яблоками… Щелк!

Зинаида Николаевна в своих воспоминаниях называет Пастернака «Борис Леонидович», а Ивинская – «Боря». Одна видела в нем Бориса Леонидовича, другая делала Борю. И безвкусно – и гораздо менее пикантно, если (без если) это была цель.

«Быт был самый непритязательный. Жорж Нива ходил к колодцу за водой, на электрической плитке жарилась яичница, водку закусывали селедкой и зеленым луком. Но деньги у Ивинской были она ездила в Переделкино только на такси и вообще не стеснялась в расходах».

МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак.

Встречи. Стр. 302.

«Она < > скинула черную каракулевую жакетку, пуховый платок, и вот передо мной оказалась полная женщина порядком за сорок, с пучком светлых волос, завязанных черной лентой в конский хвост. Ее миловидное лицо не портили ни укороченный нос, ни крупный треугольный подбородок. У нее была прелестная нежная, очень белая кожа. Светло-голубым глазам слегка навыкате соответствовал цвета перванш шерстяной свитерок на манер футболки. Такие свитерки были в ту пору очень в моде, за

ними стояли километровые очереди в ГУМе, но у спекулянток их можно было тут же перекупить втридорога. Туалет ее завершала черная юбка и черные замшевые ботинки на каблучках, самые дорогие и недоступные в ту пору. Она вела себя обаятельно и бесцеремонно. Любовно держала меня за руки, сидела напротив, упираясь коленями в мои, и густой волной от нее исходил шарм беззастенчивости, ума, лукавства и доверчивости, била струей женственность, пряная, как мускус».

«Весной следующего 1948 года к нам на Тверской бульвар пришла Ольга Всеволодовна Ивинская. Она назвала себя. Я был в полной растерянности. Я знал, как все в Москве, о папином увлечении, но мы с ним никогда об этом не говорили. И теперь – ее внезапное появление. Она сразу сказала, что хочет видеть маму, но ее не было дома, она попросила позволения подождать. Растрепанная, небрежно одетая, в слезах, она сидела передо мной в ожидании маминого прихода. Она жаловалась на Борю, который ее бросил, и просила помочь ей с ним помириться. Что я мог ей сказать? Она обвиняла Зинаиду Николаевну, которая заставила Борю расстаться с ней и держит его в постоянном страхе. Но истерика, путающиеся слова и жалкий вид не вызывал во мне сочувствия. Мне становилось физически страшно. Я с тоской ждал маминого прихода, как освобождения. К тому же мне казалось, что она слишком близко подсела ко мне и слишком горячо убеждала меня в папином предательстве и жестокости. И чем больше она старалась меня разжалобить, тем неприятнее она мне становилась. Каким облегчением был мамин приход! Разговор был очень короток. Мама сказала, что никоим образом не станет их мирить и считает это совершенно для себя невозможным. И если Ольга Всеволодовна думает, что их должно объединить общее отношение к Зинаиде Николаевне как сопернице, то она ошибается. Она не будет разрушать Борину семейную жизнь и советует ей абсолютно отказаться от своих домогательств и настойчивости».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 475—476.

«В один из этих дней мама вернулась из Переделкина < > старая, страшная, зареванная. Она просто вползла в квартиру цепляясь за стены растрепанная с криком что никогда никому этого не простит и не забудет, что „классик“ страшно плакал, не мог идти домой, что они с ним никак не могли расстаться там, на дороге, чуть ли не лежали в канаве и что решили умереть. Мы с братом бросились к ней – она была в грязи и так, прямо в пальто, упала на диван, не переставая рыдать»

ИВИНСКАЯ О.В., ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Годы с Борисом Пастернаком

и без него.. Судьбы скрещенья. Стр. 125.

«Он говорил, что был воспитан с юности на крепком нравственном тормозе, и пример родительского дома привил ему толстовский взгляд на семью. Но лирика, которая стала его профессией, постоянно раскачивала его».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 528.

Зина – производственная необходимость, Ольга – хал-турка, приработок на стороне, Евгения Владимировна – единственно правильная семейная жизнь.

«Он рассказывал, что Зинаида Николаевна совершенно сгорела в романе с ним, но тем не менее он всегда на страже ее интересов и никогда этого не изменит. Его короткий роман с Ольгой Всеволодовной был резко оборван им через год и никогда бы не возобновился, если бы ее не арестовали. И теперь, когда она освободилась, он, по требованиям своей совести, не может ей ни в чем отказать и полностью покорился всем ее желаниям».

Там же. Стр. 528.

Можно бы сказать, что какую биографию сделали нашей крашеной блондинке – но на биографии это отразилось мало, поскольку напоминало анекдот про декабристов: «Вы тоже пострадали за декабрь? Да, в декабре был оклеветан, что украл часы, невинно осужден и выслан…» Но судьбу ей сделали – это точно. Хоть и завела она себе «новую жизнь» после Пастернака и до него даже официально жила бурно, судьбу ее – Пастернака – ей обеспечила «посадка».

«К тому времени, как я доверила Ивинской деньги, вещи, книги и тем самым – в некоторой степени и чужую судьбу, я уже имела полную возможность изучить суть и основные черты этой женщины (Мы работали вместе в отделе поэзии в редакции симоновского „Нового мира“). Началось с дружбы. Кончилось – еще до ее ареста – полным отдалением с моей стороны. Ивинская, как я убедилась, не лишена доброты, но распущенность, совершенная безответственность, непривычка ни к какому труду и алчность, рождавшая ложь, – постепенно отвратили меня от нее. Ивинская была арестована в 1949 году, а вернулась из Потьмы, из лагеря, в 1953-м. Там, в лагере, она познакомилась и подружилась с моим большим другом, писательницей Надеждой Августиновной Надеждиной (1905—1992). Воротившись, Ивинская ежемесячно, в течение двух с половиной лет брала у

меня деньги на посылки Надежде Августиновне (иногда и продукты, и белье, и книги, собираемые общими друзьями). Рассказала я Анне Андреевне и о том, как сделалось мне ясно, что Н.А. Надеждина не получила от меня за два с половиной года ни единой посылки: все присваивала из месяца в месяц Ольга Ивинская. В ответ на мои расспросы о посылках она каждый раз подробно докладывала, какой и где раздобыла ящичек для вещей и продуктов, какую послала колбасу, какие чулки, длинная ли была очередь в почтовом отделении и т.д. Мои расспросы были конкретны. Ее ответы – тоже. Через некоторое время я заподозрила неладное: лагерникам переписка с родными – и даже не только с родными – тогда уже была дозволена, посылки издавна разрешены, а в письмах к матери и тетушке Надежда Августиновна ни разу не упомянула ни о чулках, ни о колбасе, ни о теплом белье. Между тем, когда одна наша общая приятельница послала ей в лагерь ящичек с яблоками, она не замедлила написать матери: „Поблагодари того неизвестного друга, который… “ Я сказала Ивинской, что буду отправлять посылки сама. Она это заявление отвергла, жалея мое больное сердце, и настаивала на собственных заботах. Тогда я спросила, хранит ли она почтовые квитанции. „Конечно! – ответила она. – В специальной вазочке“, но от того, чтобы, вынув их из вазочки, вместе со мной пойти на почту или в прокуратуру и предъявить их, изо дня в день под разными предлогами уклонялась. (Вазочка существовала, квитанции нет, потому что и отправлений не было.) Н.А. Адольф-Надеж-дина вернулась в Москву в апреле 1956 года. Лишенная жилья, лето она провела у меня. Мои подозрения подтвердились: ни единой из наших посылок она не получила. Надежда Авгус-тиновна сообщила мне: в лагере Ивинская снискала среди заключенных особые симпатии, показывая товаркам фотографии своих детей (сына и дочери, которые были уже довольно большие к началу знакомства ее с Борисом Леонидовичем) и уверяя, будто это „дети Пастернака“. Правда, симпатии к ней разделяли далеко не все: так, Н.И. Гаген-Торн (1900—1986) и Е.А. Боронина (1908—1955), вернувшиеся из той же Потьмы отзывались об Ивинской в разговорах со мной, с недоумением. По их словам, начальство явно благоволило к ней и оказывало ей всякие поблажки.

Свой первый арест и пребывание в лагере Ивинская объясняла тем, что она – жена гонимого поэта. Для меня эта версия звучала в новинку: накануне ареста 1949 года она рассказывала мне, что ее чуть ли не ежедневно тягают на допросы в милицию по делу заместителя главного редактора журнала «Огонек», некоего Осипова, с которым она была близка многие

годы. Осипов, объясняла мне тогда Ольга, присвоил казенные деньги, попал под суд, и во время следствия выяснилось, что в махинациях с фальшивыми доверенностями принимала участие и она. (За истинность ее объяснения я, разумеется, не отвечаю, но рассказывала она – так.) После ареста – сначала в лагере, а потом и на воле – она сочла более эффектным (и выгодным) объяснить причины своего несчастья иначе: близостью с великим поэтом. «Муза поэта в заточении»… За подобную версию – очень смахивающую на правду – я, впрочем, тоже не отвечаю.

Мало того, что, вернувшись в Москву, Ивинская регулярно присваивала деньги, предназначавшиеся друзьями для поддержки Н.А. Адольф-Надеждиной. Когда в 1953 году, освобожденная, она уезжала в Москву, – она взяла у Надежды Августиновны «на несколько дней» плащ и другие носильные вещи, обещая срочно выслать их обратно, чуть только доберется до дому. Приехав домой, однако, она не вернула ни единой нитки. «< > Ивинская, освободившись по мартовской амнистии 1953 года, уезжала в Москву, – пишет Майя Ула-новская, – моя мать поручила ей для передачи своей дочери, моей сестре < > связанные ею шерстяные свитера и разные поделки, полученные ею в подарок за годы заключения от разных лагерных подруг. Месяцами моя мать и другие бывшие солагерницы Ивинской, поручения которых она взялась выполнить, ждали известий, подтверждений. Месяцы, годы шли, никаких известий не поступало ни для кого. Когда моя мать освободилась и вернулась в Москву, выяснилось, что ее посланница присвоила переданные через нее вещи. Будучи спрошена по телефону, призналась в этом, сославшись на потерянный адрес, просила прощения, откупилась деньгами». Таким образом, она крала у лагерниц не только то, что им посылали из Москвы, но и то, что они через нее посылали в Москву. Улановской она объяснила свой поступок потерей адреса, а Надежде Августиновне созналась, рыдая, что отправлять мои посылки препоручила будто бы одной своей подруге, а та, злодейка, не отправляла».

ЧУКОВСКАЯ Л.К. Записки об Анне Ахматовой. В 3 т. Т. 2 (1952—1962). Стр. 658—660.

«Дух шалого авантюризма и легкомыслия пропитывал весь уклад дома».

МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 318.

То уважение, которое Зинаида Николаевна оказывала мужу, в том же самом размере возвращалось к ней. Он уходил и жил там, где ему хотелось (не жил – ночевал), но когда ему грозили

высылкой из страны (угроза, ужасающий смысл которой все-таки размазывался в двусмысленность, и глаза говорящих о ее тяжести предательски бегали: Ольга Ивинская с дочерью с восторгом были готовы бежать из этой страны с Пастернаком куда угодно – всюду, где примут Нобелевского лауреата) – он был согласен на худшее, но не готовился к отъезду, узнав, что Зинаида Николаевна эмигрировать не собирается.

Тип внешности Евгении Лурье и Ольги Ивинской (нечетные женщины) был немного близок: высококачественная, стандартизированная, бесспорная миловидность – чистый лист, о котором Пастернак мог писать все, что выпевалось, мы же не требуем от соловья точности в деталях закатного вечера, который он воспевает. Он мог писать и о робкой крутолобости (на самом деле Женя была вздорной, эгоистичной, мечтающей о лучшей участи: в момент, когда муж осознает это, черты лица жены болезненно искажаются) – и о том, что Ольга Ивинская была «недотрога, тихоня в быту». Ольга Всеволодовна гордилась своим – будем надеяться – не распутством, а темпераментом, разбитной, непугливой и пронырливой была уже самым видимым образом. Какой бы и ни была она в «быту», даже слово само это раньше чем за десять строчек до ее имени нельзя упоминать: это женщина-звезда, таким женщинам трудно жить во все времена без хорошего штата прислуги. За что их наказывают советским «бытом»? Может, в какой-то момент она при Пастернаке махнула легко на какую-то очередную трудность – не царицынское это дело ей о таком пустяке печалиться, а он и записал: непритязательна, тихоня. Если вообще о ней в тот момент думал, а не какой-то идеал той минуты описывал.

Газоотводная трубка – приспособление для предупреждения перегрева агрегата, а в переносном смысле – ситуации.

«В спальне у нее стоял телефон, а в комнате у Иры находился еще один аппарат. Все важные разговоры матери, по ее желанию, Ира слушала. Однажды, когда я была у нее, позвонила Тагер, Ивинская непременно желала, чтобы я услышала этот разговор, и попросила пойти в Ирину комнату. Ира уже держала трубку у уха, а вплотную к ней сидели и прислушивались Инна и француз Жорж Нива, в то время аспирант МГУ».

МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 318.

«Мама подошла к телефону, а я взяла отводную трубку и, хотя это было с моей стороны неделикатно и подобного я себе никогда не позволяла, подключилась к разговору. В ответ на вопросы матери о самочувствии он сказал далеким и слабым голосом: „Ну нельзя же жить до ста лет!“ – и я, вдруг заплакав, закричала в эту отводную трубку: „Можно, можно!“»

ИВИНСКАЯ О.В., ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Годы с Борисом Пастернаком
и без него.. Судьбы скрещенья. Стр. 174.

Можно представить, какие разговоры ей доводилось подслушивать в эту – слово-то какое сточное – «отводную» трубку! Пастернак в стихах писал «ты так же сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья», некоторые считали, что этого можно стесняться, раз все знали, с кем и по какому адресу эти листопады происходят, – наверное, иногда не удерживался и что-то подобное и в трубку ей шептал. Но Ирочка вела себя при этом ДЕЛИКАТНО. Дух венецианского карнавала. Ирочка пишет свои воспоминания в 1993 году, ей сильно за пятьдесят, она живет в Париже конца соответственно двадцатого века, знакома, надо полагать, с европейскими, с начала уже как минимум девятнадцатого века принятыми правилами приличия, но понятия о чести у нее, как у пойманной на воровстве средневековой служанки: как могли про меня подумать, что я украла сто монет?! Я честная девушка, я взяла только двадцать! «Я никогда ничего подобного себе не позволяла, и это было бы с моей стороны неделикатно». А ПРОСТО ПОДСЛУШИВАТЬ, не объявляя о своем участии в разговоре, не выдавая себя и уж тем более и не встревая, – это и деликатно, и можно себе позволить.

Ивинская со своим именем для хорошей женской повести за неимением реальной подвижки в судьбе подбирала беллетристические штампы: любовника звала «классю-шей». Будто бы интимно снижая пафос его официального звания, но напоминая всем, даже не обеспеченным опекун-

ством, алиментами или еще чем-нибудь столь же вселяющим уверенность, собственным детям – о величине рыбки, попавшейся им в сети. При простом муже или любовнике ее имя (отчество-фамилия) не значило бы столько. При Пастернаке оно само будто бы просилось на страницы страстных и драматических любовных перипетий. И-вин-ская? Неужели он не раздумывал о сюжете с элегантной, роковой, очень своеобразной героиней? Все будут звать ее – «Ивинская»… Неужели она сама не мечтала о его мечтах? Пока все только знали, что «когда ты сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья», и что-то про плащ, который расстилают в лесу на землю в ширину, «под нами», – это о ней. Многие, возможно, предпочли бы, чтобы перед ними не распахивали одеяло.

Дело доктора живаго

Пастернак был не меньше Фельтринелли заинтересован в подписании контракта, в том, чтобы найти зарубежного издателя, такого, кто согласился бы выпустить роман в строго определенные сроки после выхода романа в СССР и заплатить Пастернаку деньги. Пастернаку нужно верить, что он хотел опубликовать «Доктора Живаго» в «Новом мире», получить за это замечательный советский гонорар, год на него погулять с Олюшей и успокоить Зину, потерять вконец нервы на реакции на него критики и знакомых – роман никому однозначно никогда не нравился – и не помышлять о большем. После этого он никогда не получил бы ни одной копейки за него от заграничных изданий, где бы и сколько его бы ни издавали.

«Русские писатели после первого издания в Советском Союзе не защищены Конвенцией об авторских правах. < > Если издатель < > публиковал „Доктора Живаго“ в течение тридцати дней после выхода его в СССР, он получал эксклюзивные права на это произведение на западном рынке. < > Если бы издатель не уложился в тридцать дней и опоздал хотя бы на один день, произведение стало бы „достоянием государства“, кто угодно мог бы опубликовать свое собственное издание, не нуждаясь в специальных правах на него и не выплачивая автору никакого гонорара с проданных экземпляров».

ФЕЛЬТРИНЕЛЛИ К. Senior Service. Стр. 104.

Если бы Пастернак заблаговременно не нашел издателя, не передал ему рукопись и не согласовал бы все, что надо, с ним – никто не смог бы за один месяц после публикации его в «Новом мире» (или где-нибудь еще) связаться с автором, договориться, ну а потом еще перевести, сделать верстку, отнюдь не компьютерную – набор! – и прочие мелочи…

Пастернак получил Нобелевскую премию не за «Доктора Живаго», в разговор об этом лучше не пускаться, его номинировали неоднократно и до романа, он получил бы ее и без него, у Нобелевского комитета было бы меньше проблем с СССР, роман запечатали бы с удесятеренным тиражом – но у него без Фельтринелли не было бы ни копейки от заграничных изданий. Он, правда, о лучшей доле не мечтал, но стоит ли удивляться, что Ольга была ему самой верной помощницей? Все совпало: «Сразу после создания нашего акционерного общества „Издательство Джанджакомо Фельтринелли“ со мной связался Серджо ДАнджело, в ту пору бывший директором книжного магазина ИКП в Риме и отправлявшийся в Москву в качестве партийного

редактора для программы итало-советских совместных радиопередач. Он предложил мне свои услуги по поиску в Советском Союзе литературных талантов для моего миланского издательства» (Там же. Стр. 104). Даже Фельтринелли «с самого начала отдает себе отчет в том, что дело может оказаться щекотливым» (Там же. Стр. 105), что же говорить о Пастернаке с Ивинской? Ольга решает подстраховаться самым верным, по ее представлениям, способом – сотрудничает с КГБ. У Карло Фельтринелли сколько угодно доказательств об этом, включая ее собственные заявления, в письме Хрущеву, например, но он – «та сторона», и он патетически восклицает: «Но кто присутствовал в момент передачи романа? Кто мог знать о переписке Пастернака с его итальянским издателем?» Тут же несколькими строками ниже приводит письмо Ивинской Хрущеву: «Стоит ли говорить, что в свое время в ЦК мне подсказали имя Д'Анджело и с помощью ДАнд-жело мне удалось задержать публикацию романа в Италии на полтора года». Вот кто, оказывается. Впрочем, у Фель-тринелли-мл. есть и другие версии: «Вдруг какая-нибудь дородная домработница входила и выходила из комнаты как раз в те моменты, когда Пастернак и Д'Анджело обсуждали условия соглашения» (Там же. Стр. 110).

…Пастернак лично, сам, любил дородных женщин, и Зинаида Николаевна в дом подбирала работниц: худенькая, некрасивая – уверена, она не унижалась до сознательного антивыбора – просто не набивать же дом одними красавицами? Тут же сообщает и смягчающее обстоятельство: «Ольга Ивинская к тому времени уже отсидела три года» (Там же. Стр. 110), и заслугу, которая, разумеется, только ухудшала картину: «С помощью Д'Анджело мне (Ивинской – это она пишет Хрущеву) удалось задержать публикацию романа в Италии на полтора года» (Там же. Стр. 109). Тогда как Пастернак был ее словами, восклицаниями, шепотом уверен в том, что Ольга – его верный и неподкупный солиситор. Ну а для Советской власти что полтора года, что два – абсолютно все равно, ведь она же не уговорила его сжечь роман в печке. Заключение, как водится, беспроигрышное: «Родные и близкие поэта, судя по их многочисленным намекам, проистекающим, вероятно, из ревности, всегда разделяли убеждение, что информацию органам госбезопасности поставляла Ольга Ивинская» (Там же. Стр. 109). Для Ольги это был вопрос жизни и смерти: Зинаиде Николаевне ничего было не надо, и она могла себе позволить разделять участь Пастернака, а Ольга могла его использовать только живого и только здесь. «ДАнджело не боится, что скандал с публикацией будет иметь для Пастернака какие-то серьезные последствия: в крайнем случае его вышлют из

СССР, что его нисколько не опечалит» (Там же. Стр. 117). Не опечалит при одном условии: если с ним поедут Зинаида Николаевна с Леней. Для Ольги этот вариант – нулевой, и она старается вовсю. Единственная зацепка, и наследники Ивинской (о тяжбе есть материалы и в XXI веке) намеревались пустить в ход свое самое сильное, «почему-то» все время скрываемое оружие – «рассказать о каком-то документе», очевидно, о «завещании Бориса в пользу Ольги». Завещание, естественно, было «потеряно», «во время сильного ливня» (Там же. Стр. 180).

Здесь два момента. Первое: вступая с Фельтринелли в деловые отношения и написав ему первое письмо, фактически подписывая контракт, «перед тем как отправить письмо, он показывает его сыновьям, Леониду и Евгению». < > А написав «завещание в пользу Ольги», отнимая «пользу» от сыновей, – не показал? Завещание не могло быть в пользу одной только Ольги, и это главное возражение: точно такое же завещание он мог написать у себя дома, не вставая с постели, и никуда его не передавать, оно имело бы точно такую же силу и, захоти он проявить свою волю, в пользу Ольге могла быть простая бумага, подписанная у переделкинского нотариуса.

Фельтринелли же отстоял интересы Ольги (которые не захотел признать Пастернак) в Инъюрколлегии в 1969 году. Как пишет Емельянова, на эти деньги ее мать купила маленькую квартирку на Савеловской.

Быть женщиной и сводить с ума – это действительно и великий шаг, и геройство, но чаще всего женщине хочется быть еще и женой, и вдовой, и законной наследницей. Когда это смешивается, то великий шаг кажется просто хорошо продуманным и просчитанным pas.

Ивинской подвернулся шанс. Она сама организовать его бы себе не смогла, но она его и не упустила – до той точки, до которой давал собой манипулировать Пастернак.

История с передачей «Доктора Живаго» на Запад – плохо, что в Италию, в КПИ, какой-то появился налет опе-реточности, жуликоватости с самого начала – тоже очень плоха. По сути своей все ясно: Пастернак не был уверен, что его напечатают в Советском Союзе (не «был уверен, что не напечатают» – могло быть все), и имел право страстно хотеть опубликовать его во что бы то ни стало и где угодно (так устроены авторы, особенно искренне считающие, что закончен главный труд жизни). И он вполне бы удовлетворился российскими журнальными гонорарами. Видя, что здесь тормозят, – передал. Они напечатали. Здесь все ясно. Не ясно и, как всегда, когда

появляется Ивинская, видно, что неясность нужна для прикрытия нечистоты, появляются многочисленные объяснения, в которых не разобрался, наверное, ни один читатель ее воспоминаний: через слово, кто бы что бы ни говорил, ей надо возразить, противореча самой себе, Пастернаку, здравому смыслу. Рукопись он не передал, а «отдал», «просто так». «Ну, почитают; я сказал, что я не против, если он им понравится – пожалуйста, пусть используют его, как хотят». Почитают, понравится – не понравится. Не всеобщие западные читатели почитают, а один или два человека, неизвестных Пастернаку, незнакомые ему; он ничего не знал, ни их вкусов, ни направления – и вот если им понравится, то Борис Пастернак будет публиковать труд своей жизни, нет – порвет его, как мальчишка черновик. Пусть используют его, как хотят. Какие есть варианты использования? «Ну, Лелюша, делай какзнаешь, конечно, ты можешь даже позвонить этому итальянцу, потому что я ничего без тебя не собираюсь предпринимать. Так вот, ты можешь позвонить этому итальянцу и сказать, чтобы он вернул роман, раз тебя так волнует это. Но давай тогда хоть дурака сваляем, скажем: вот знаете, какой Пастернак, мол, вот отдал роман – как вы к этому относитесь?» (ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Стр. 234). Вы что-нибудь поняли?

Пастернак был каким-то старомодным человеком, человек не зря рождается в девятнадцатом веке, когда он пишет «варьяция», когда он наполняет ванны водой из ведра, когда он катает сына в «мальпосте», – в год присуждения ему Нобелевской премии двадцатиоднолетняя Франсуаза Саган уже пять лет как опубликовала «Здравствуй, грусть», ездит в Сен-Тропе на «ягуаре», снимает трехэтажный особняк в Париже, подписала еще три контракта – их просматривают юристы ее семьи и ее никто не обманывает. А Пастернак пишет десятистраничные письма Жаклин де Пруайар, случайно попавшейся в этот клубок Фельтринел-ли и д'Анджело. Итальянские джентльмены разгневаны вмешательством рационального французского элемента в их заварушку, Пастернак урезонивает их: «Генералы, не ссорьтесь», пишет деловое письмо д'Анджело: «Общей доверенности на все средства я Вам дать не могу, потому что дал ее уже гораздо раньше Mme de Proyart. Да вам такой доверенности и не надо. Обратитесь к ней за советом. Если она одобрит Вашу меру < >, она выделит для Вашей доброй цели сумму достаточно большую, скажем, до ста тысяч долларов. Черпайте тогда отсюда безотчетно < >, с некоторой пользой и для себя… » (С. Д'АНДЖЕЛО. Дело Пастернака: воспоминания очевидца. Стр. 96). И еще более деловое – Жаклин: о цвете

обложки. Жаклин в ужасе, что может попасть под суд и что дело ее помощи находящемуся в положении интеллектуальной и политической несвободы гению XX века имеет на его родине не только политический, но и – а это всегда перечеркивает любые высокие порывы – уголовный оттенок. Строгим и изобретательным французам можно не объяснять, что хоть в Монтре, хоть в Лионе, хоть в Москве писатель, имеющий автомобиль с шофером, небольшой штат прислуги, загородный дом и две (две с половиной? три?) семьи, может иметь финансовые затруднения, а тот, кто берется помогать ему в делах, должен быть уверенным, что его помощь не сведется к проведению финансовой схемы, осуществимой лишь при нарушении – досадного и грабительского! – закона. И она просит Пастернака освободить ее от его доверенности, да еще и объявить об этом, дать ей в руки документ.

Пастернак не хочет найти доверенного юриста, очень доверенного здесь, или просто перепоручить вести свои дела кому-то за границей по рекомендации сестер. Родные сестры, вполне обустроенные и обжившиеся, живут в Англии. Все услуги можно было оплачивать из этих же гонораров, вместо того чтобы давать своим уважаемым издателям невнятное поручение сделать подарки тем, кто принимал участие в подготовке издания «Доктора Живаго», – в результате больше половины гонорара ушло одним переводчикам. В Советском Союзе процессом руководит человек, который «всегда все берет на себя», и Пастернак подписывает контракты с легкостью пугачевского же министра. Получать причитающееся по столь тщательно подготовленным документам предполагается в чемоданах. Фельтринелли, прослышав про близящуюся реформу, скупает рубли (тут уж так счастливо проворачивалось дельце – близилась реформа денег в СССР) по дешевке на черной бирже в Германии. Для таких операций лондонские юристы ни к чему – здесь вполне достаточно финансового темперамента Ольги Ивинской. «Мать вошла во вкус и начала засыпать Серджио просьбами – туфли, кремы для лица…» (ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка. Стр. 211). (Лицо – на фотографиях – остается миловидным, дряблым и испитым.)

«Нас начали преследовать почти сразу после опубликования романа в Милане в ноябре 1957 года…» (ИВИН-СКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Стр. 174). Ольга пишет «нас», несомненно, машинально.

Две книги русских авторов выходят на Западе почти

одновременно, и обе имеют огромный, в том числе коммерческий, успех.

«Если голландские предложения содержат что-либо материально выгодное, пусть вся прибыль будет отдана в Ваше распоряжение, пользуйтесь ею по своему усмотрению, денежные вопросы меня не касаются». Это – Пастернак.

ПАСТЕРНАК БЛ. Полн. собр. соч. Т. 10. Стр. 302.

Набоков: «Вера без устали твердила требовавшим встречи лично с Набоковым, что это невозможно, она говорила, что если бы пришлось принимать всех, ему потребовались бы гонорары раз в десять больше предлагаемых».

ШИФФ С. Вера. Миссис Владимир Набоков. Стр. 420.

Какая здесь связь? Что бы он стал делать на эти удесятеренные гонорары? Выдавать посетителю по доллару за каждую сокращенную минуту визита? Просто он свои социальные контакты, кроме как в цифрах, не представлял. Пастернак же привык ничего в цифрах не планировать. Назовет его Бухарин на съезде – ему дадут перевод, выйдет Постановление партии – заморозят все договора. Если он в силе – Олюша будет переводить тоже, не хуже его. Нет – съедет и с дачи, Зина шубу продаст, Ленечка в автомеханики пойдет, не пропадем.

«Это не моя заслуга, что денежная сторона дела для меня незначительна или вторична».

ФЕЛЬТРИНЕЛЛИ К. Senior Service. Стр. 107.

«"Олюша, ну куда же мы положим такие деньги?" – горестно советовался он с матерью. „А вот в этот чемодан“, – отвечала еще менее искушенная мать, и они успокоились. (Деньги, немалые, почти сумма Нобелевской премии – все воздается, – начали в обговоренном виде поступать в Москву, по спискам Ольги Всеволодовны.) Там фигурируют и „галстуки с курами“, и кофты, и знаменитая нейлоновая шуба для меня. Были и деньги. Однажды весной, в 1960 го-ду < > Джузеппе передал нам чемоданчик. < > Мы принесли чемоданчик домой, открыли – там было 150 тысяч (старыми) деньгами. Б.Л. им чрезвычайно обрадовался. Дал на хозяйство Зинаиде Николаевне, Леня купил себе машину… »

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка. Стр. 211.

«Как смешно приходил Б.Л. в отчаянье, когда представители вынимали из портфелей новые и новые проекты контрактов, каждый раз страниц по 15 убористого машинописного текста! Ведь все эти контракты, цифры были тогда пустым, абстрактным звуком. < > Мы не предполагали, что они могут обернуться

весьма реальной решеткой».

Там же. Стр. 160.

Вот сцена, запомнившаяся Емельяновой на всю жизнь: «Мы садились у освещенного подъезда в такси – респектабельная семья, мать – в новой, присланной уже „оттуда“ нейлоновой шубе, я, провожаемая несколькими знакомыми корреспондентами, Б.Л., сияющий, раздарив автографы счастливым немцам, – и это всего спустя год после переделкинской канавы, ночного похода к Федину, оскорбительных писем. Но ощущение какой-то ирреальности происходящего, мимолетности, чувства, что судьба ошиблась, одарив нас внезапным благополучием, что это – миг, миг, вдруг остро охватило меня тогда».

Там же. Стр. 151.

Что здесь не миг? Вот так, респектабельной семьей, они ходили в театр по очереди с Зинаидой Николаевной. Зинаида Николаевна выглядела барыней. Ольга – напарницей карманника из незабвенного сериала про Жеглова и Шарапова. «Респектабельный» – это, как часто у случайно, наспех, «как пришлось», употребляющей слова лит-институтской выпускницы и сорбоннской профессорши Емельяновой, – не то слово. Для просто респектабельности вроде и многовато – «иностранные корреспонденты», «автографы». Для респектабельности вполне было бы достаточно и одной новой шубы. Но Ивинским-Емельяно-вым ничего не дано в единоличное и всамделишное пользование – ни «семьи», ни «респектабельности», ни славы, – она и сваливает все в кучу: если кому-то недосуг разбираться, проглотит все.

А счастья – они ведь все-таки были на самом деле очень довольны в этот вечер – им действительно было отпущено на миг. Пастернак умер рано, прожив на двадцать лет меньше среднего члена своей семьи, для того, чтобы в русской литературе не случилось эпизода, когда солнечный жизнерадостный поэт, труженик-поденщик, аскет, семейственник и хороший друг многих друзей и обездоленных людей, оказался бы разоблаченным сам; не только Лиса-Алиса с круглыми коленками и улыбочками, Ольга, а сам он, великий поэт Борис Пастернак, был бы пойман с чемоданами полуфальшивых и уже достоверно контрабандных денег. Поднявший жизнь толстым тяжелым пластом и весь его полюбивший, рассмотревший, принявший, об этом написавший прекрасные, запутанные, как жизненные пути, стихи, он – и попасться с чемоданами.

Она представляла себе, какие «щедрые», бесстыдные пиры

закатывались бы на «большой» пастернаковской даче, будь она ее хозяйкой.

«Мама колдовала над столом, превзойдя даже свою всегдашнюю щедрость – на каждого приходилось чуть ли не по три курицы!»

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка. Стр. 169.

«Щедрость» здесь тоже весьма неуместное слово. Ольга Ивинская жила не на свои деньги и поэтому не могла быть щедрой. Непонимающе, неуважительно относилась к чужим деньгам – да; была щедрой – это как? Такси и шубы – это не щедрость, как не противоположность щедрости единоличное присваивание чужого чемодана (это – воровство,) и гипертрофированное отсутствие щедрости в эпизоде с Нобелевкой: здесь она пожертвовала тем, что несомненно перепало бы ее семье, но перед лицом так же неизбежного дележа с другими семьями (здесь все равно – более или менее законными).

Ну а даже если б все было чисто, на свои «по три курицы на человека» говорит тоже не о ЩЕДРОСТИ просто мотовствующей хозяйки.

Она хотела понадкусывать эти курицы, чтобы меньше досталось Зинаиде Николаевне.

«Та [note 37] поступила по отношению к маме, прямо скажем, не очень благородно. Она потребовала у главного редактора Гослитиздата, чтобы он выбросил из книги стихов Тициана Табидзе < > принятые переводы мамы (надо сказать, очень талантливые)».

Там же. Стр. 153.

Приписка о талантливости – имеет полное право – очень важна. Возможно, Ивинская была очень талантлива, но со стихов или переводов не жила. Она потребовала, чтобы Пастернак обменял Нобелевскую премию на ее переводы, – он обменял. На те же переводы менять вдову друга не стал. Ирочка перебарщивает в очернительстве: ничего неблагородного в поступке Нины Александровны не было, наоборот, он весь был – благородство. Пусть даже по отношению к Зинаиде Николаевне и семье Пастернаков. Это было таким высоким благородством (она рисковала дружбой и гостеприимством Б.Л.), что уже по одному этому не могло быть НЕБЛАГОРОДНЫМ ни в каком другом отношении. Недружественным и даже агрессивно недружественным по отношению к Ольге Ивинской – да, но именно благородство запрещало ей делать какие-либо другие шаги, кроме этого.

«Имея кормление от толмачного дела… »

Переводческая деятельность Пастернака обширна и благодарна. Дочь Ингрид Бергман Изабелла Росселини в одном интервью рассказывала о своем опыте приемной мамы. Она, имея и родных и приемных детей, живя с ними одной семьей, не в теории, а в практике знает, что ее жизнь обогащена совершенно особым знанием: родные дети объединяют ее с ее родом, с ее прямыми предками, а приемные – со всем человечеством. Свои стихи – это родные дети Пастернака, переводы – приемные. Дети (приемные) попались удачные (пять томов). Поднимая их, он много чего пережил. Это было какое-то благословение, за что-то награда. Как благородно, как нужно ему, и столько людей кормилось! Как и в семье – дети выросли, у родителей начинается своя, новая жизнь. В каждом периоде есть что-то свое, и очень часто самое радостное (не только спокойное и безбедное, о чем тоже, конечно, нужно попечься) – в старости. У Пастернака все сошлось, и родные и приемные на ногах, и тут – Нобелевская премия! Ах, если б бес не в ребро, если б не Ольга Всеволодовна…

«…Когда Пастернаку пригрозили высылкой, Ивинскую охватила паника. Грозивший отъезд Пастернака за границу превращал ее в ничто. Этого она не могла допустить, пусть ценой сотрудничества с гонителями поэта. < > Ивин-ская < >рассудила, что лучше униженный Пастернак здесь, чем опальный нобелевский лауреат где-то там».

ЛИВАНОВ В.Б. Невыдуманный Борис Пастернак. Стр. 99.

Одной славой сыт не будешь, снижать уровень жизни она не собиралась – с какой стати, она и так всем пожертвовала, деньги нужны. И вот «…Ольга Всеволодовна хлопотала о новых заказах для него на переводы, самая мысль о которых вызывала тогда у отца ужас» (Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка… Стр. 548). Он все это прошел, он хотел бы все оставить в прошлом. Но она понесла ему библейских детей его старости (правда, непрошеных).

Как в апокрифических рассказах Хармса: «Лев Толстой очень любил детей. Когда к нему приходили гости, он наберет детей, и давай их раздавать. Тургенев очень этого не любил, ему всегда доставались то вшивые, то кусачие». После Нобелевки, замаячившей возможности прокормить всех только собой, переводы (пусть «совершенно особый мир, очень высоко разработанный, гениальный и глубокий») КАЛЬДЕРОНА покажутся и вшивыми, и кусачими.

Ольга Ивинская всегда очень хорошо одета на фотографиях:

все новое, качественное, импортное, очень новые сумки, хорошие часы, короткие рукава. А что пальтецо – так и Жаклин Кеннеди все рукава 3/4 носила, и пальто – 7/8, косынки. Такая была мода, и если Зинаида Николаевна не переменила фасонов за 30 лет, так на то она и была цельной натурой. Высеченной из одного куска мироздания. Насчет Ивинской все как-то попроще.

«И это пальтецо» – Пастернак изъясняется как иностранец. Ну да, пальто не с каракулем, но у кого же в Советском Союзе было не пальтецо?

«Он < > побежал на телеграф, где дал две телеграммы. Одну в Стокгольм с отказом, а другую в ЦК: „Дайте Ивин-ской работу в Гослитиздате, я отказался от премии“». Что Ивинской было до этой работы?

«…она в ответ на папины успокоительные слова резко сказала: „Да, конечно, тебе ничего не сделают, а от меня костей не соберешь“».

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак.

Переписка… Стр. 538.

Тогда ей еще возможность такой комбинации с чемоданами не приходила в голову, потом – пришла, но пострадавшей она себя считала за Пастернака.

Первый чемодан привезли при жизни Пастернака. Он отдал часть Зинаиде Николаевне, как презрительно пишет Ирочка – «на хозяйство» (и больше ей ни на что не надо, не то что мамины «кремы для лица…», это ведь для большего женского геройства), да и просто ставя ее на место экономки при писательском доме; далее, со сдержанным возмущением – «Леня купил себе машину», Леня еще тут кто такой, чтобы машины покупать на деньги Пастернака, когда ни у Ирочки нет, ни у ее жениха, маме приходится на такси ездить в деревню.

Второй чемодан был получен Ивинскими уже без Пастернака. Они считают, что издатели поступили «благородно» – поддержали… Они не имели права так делать – после смерти Пастернака никакие его доверенности Ивинской на получение денег не имели законной силы. Все должна была получать Зинаида Николаевна. Благородные издатели знали, что Зинаида Николаевна не стала бы брать от них никаких чемоданов, Зинаида Николаевна никогда не делала ничего противозаконного. Это у них, немного неправильно, немного по-мещански, называлось «благородством», «сблагородничала».

«Зина сблагородничала и заплатила за себя и детей за все эти

месяцы в Литфонд, хотя с лихвой все это отработала и могла бы не платить ни копейки» (Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка… Стр. 427), «… я ей отвечала, что такие вещи, как честность, порядочность и благородство (все то же неворовство), не требуют похвалы, они должны быть обычным явлением. Она сказала, что, как ни странно, из сорока восьми матерей, ехавших с нами, я была в этом смысле единственной» (Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак. З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 307). (Зина пишет это про себя, при ее абсолютной правдивости – это так и было.)

Но это гораздо ближе к истинному благородству, чем афера благородного издателя, который, будучи информирован о грядущей денежной реформе, провернул валютно-финансовую операцию а-ля Сорос, с обычным эффектом снижения имиджа обратно пропорционально сумме сделки. К Зинаиде Николаевне он сунуться бы с чемоданом не посмел – она точно отнесла бы его в казавшиеся ей самыми компетентными и суровыми органы. И разгорелся бы международный скандал, в котором Зинаида Николаевна выглядела бы дурой, писатель Пастернак – запутавшимся, слабым, попавшим в маркое положение человеком, Советское государство – злодеем и грабителем, жуликоватый издатель – мошенником, а вороватая пронырливая дама, присвоившая себе чемодан не принадлежащих ей денег – так, как есть, – воровкой.

Мечта Достоевского – полный чемодан денег.

«Я встревожилась и спросила его, откуда эти деньги. < > Эти последние три года я жила в полном неведении относительно его материальных дел и не знала, верить или не ве-

рить < >. На другое утро я прямо и откровенно заявила ему о своих сомнениях и о тревоге, внушаемых мне его делами с этой дамой. Я говорила ему: «Я не хочу ничего незаконного, и если ты отказался от этих заграничных денег, то нужно быть верным своему слову, наша жизнь на пороге смерти должна быть чиста…»».

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.
З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 384.

Серия невынужденных ошибок

Пастернак и внешне теряет респектабельность: охромевшая, восторженная и какую-то достаточно сильную позицию отстоявшая Ивинская; быстрая и остроглазая, еще более миловидная и лисичкообразная Ирочка; Борис Леонидович в резиновых сапогах, ломающий ноги на пруду, пробираясь от любовницы домой; спаиваемый иностранец, явившийся эмиссаром Жаклин и закончивший предложением руки и сердца Ирочке, – все ситуации сказочные и водевильные. Нобелевский комитет ничего этого во внимание не принимает, и Пастернаку присуждается Нобелевская премия по литературе.

Он ей в угоду заговорил о двойном самоубийстве, Шварцвальд на задах его дачи вполне мог сойти за подмосковный Майерлинг. Прожить жизнь Пастернаком, чтобы так кончить? К этому времени он хотел лишь «одного» – чтобы роман был напечатан и его знали все, кто хочет его знать, чтобы Ольга Всеволодовна не отказывала ему в своей близости («они были просто-напросто счастливы», пишет биограф) и чтобы у него были наличные деньги (без денег многое в его жизни разладилось бы).

Ольга Всеволодовна хотела гораздо большего: она хотела, чтобы Пастернак изменил свою жизнь, чтобы она при этом была женщиной, которая изменила Пастернаку жизнь, хотела перемен, изменений, перестроек, в которых он ничего не понимал и никогда не согласился бы. Зато он ни за что, что выходило бы за рамки его единственного тройственного желания, не цеплялся и ничем не дорожил – ни Нобелевской премией (ни ее статусом – он мог знать и мог не знать, снимает ли с него отказ само звание лауреата, ни ее деньгами – столько ему было не нужно, такими суммами он не привык распоряжаться, а строить планы на далекое и долгое будущее он уже не собирался), ни работой, ни своей репутацией, ни честью. Он подписывал все, что писала за него озаренная Ивинская (у нее-то детальных планов было множество), писал покаянные письма: и Хрущеву, и в «Правду», и какие-то еще покаянные записочки – его никто, кроме Лелюши, о них не просил. Ольга сама пишет, что отказа от премии от них никто не ждал: и деньги для страны большие (ему предлагали их отдать в Фонд мира – он и на это соглашался), и демонстрация такая всех ставила в непонятно какое, но никому не интересное положение; вслед за этим слал телеграмму: «Дайте Ивинской работу, я отказался от премии». Так никто вопроса не ставил, и это было уже истерикой. Он вместе с Ивинской считал деньги в

контрабандном чемодане, как Остап Бендер, и по привычке делил их: Зине, Нине Табидзе, к большому неудовольствию Ольги Всеволодовны, которая следующий транш решила пощипать еще до дележа: Пастернак повел себя без достоинства, немужественно, непоследовательно, следуя логике баламутств милой и очаровательной подруги, которой и в этой ситуации надо было устраивать свои дела: говорят, на крушении империи можно больше заработать, чем на ее создании?

Чтение о нобелевских днях – как сценарий какой-то оперетты, эти поездки на нескольких машинах в ЦК, костюмы, встречи с Поликарповым.

«…мне удалось получить кусочек записи Солженицына о Пастернаке – не то из дневника, не то из будущей автобиографической повести».

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 289.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ, да еще и ПОВЕСТЬ – жанр действительно женский и женственный, несерьезный, пустяковый, легко ложащийся под насмешку – Ольги Всеволодовны Ивинской над Александром Исаевичем Солженицыным. Однако не сочинителем по большей части повестушек был он. А уж если и «повестей», то не по контрасту с Ольгой Всеволодовной – разве она сама создавала исключительно эпосы? «Вот что, оказывается, записал в дневнике note 38 < > в то время, когда был еще безвестным учителем физики в рязанской средней школе (здесь счет открыт: Ольга Всеволодовна безвестной училкой и вправду никогда не была, да еще по сельским рязанским округам, – она всегда ей известными способами оказывалась при столичных редакциях), что не мешало ему уверенно размышлять о том, как он распорядится своей Нобелевской премией (сомнений в том, что он ее получит, у него, очевидно, не было)» (человек, ПОЛУЧИВШИЙ Нобелевскую премию, мог и никогда не иметь сомнений в том, что ее получит, – ирония Ивинской не имеет логической посылки и остается примером беспредметного дамского завистливого шипа). Цитирует Солженицына:

«Я мерил его своими целями, своими мерками – и корчился от стыда за него как за себя: как же можно было испугаться какой-то газетной брани, как же можно было ослабеть перед угрозой высылки, и униженно просить правительство, и бормотать о своих „ошибках и заблуждениях“, „собственной вине“, вложенной в роман – от собственных мыслей, от своего духа отрекаться… < > Нет, если позван на бой, да еще в таких превосходных обстоятельствах, – иди и служи России! Жестоко-упречно я осуждал его, не находя оправданий. Перевеса привязанностей над

долгом я и с юности простить и понять не мог, а тем более озверелым зэком» (ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Стр. 289—290). Ивинская снова хлестко иронизирует: «Превосходно сказано! По форме; а по смыслу – поразительно несправедливо. Несправедливо дважды: во-первых, потому, что не учтена ситуация и время (учтены – названы, правда, превосходными обстоятельствами, каковыми и являлись), когда Пастернак своим романом решился на одно из самых волнующих в середине века сражений духа против насилия; во-вторых, потому, что совершенно не поняты мотивы подписания им двух покаянных писем» (Там же. Стр. 290). И далее сообщает назидательно: де задумал Пастернак свой роман в роковом 1946 году (когда познакомился он с ней, Ивинской, а рыданий перед Жо-ней в Берлине в 1935 году о замысле романа о девочке под вуалью будто и не было), – но свою решающую роль Ольга Всеволодовна как бы ненавязчиво микширует (но ведь догадаются, не идиоты, и сами) и напоминает о том, о чем говорят только с придыханием: год, когда был зачат «Доктор Живаго», был тем самым годом, да, это был именно тот самый год, когда – и лучше продолжить цитатой: «…не только писатели – все думающие и что-то понимающие люди были потрясены постановлением о журналах „Звезда“ и „Ленинград“…» (Там же. Стр. 290). Этого, считает она, никогда не бывшего совпадения – «Доктор Живаго» был задуман не в памятном Ольге 1946 году, и Постановление свою зловещую тень отбрасывало только на тех, кто без теней казался себе не таким интересным, – более чем достаточно, чтобы через двенадцать лет отказаться от Нобелевской премии. Солженицын повержен.

Обычное гаденькое объяснение, но от него мало кто может удержаться: «Да, хорошо, что у Солженицына есть друзья и покровители, его поддержавшие» (Там же. Стр. 288), жаль, что она не намекнула попрозрачнее, какие услуги он за это оказывал «покровителям».

Нобелевская история – это, как говорят в теннисе, серия невынужденных ошибок.

«И как мы, Лелюша, вдвоем вышли из всех неприятностей. И все счастливо! И так бы всегда жить. Стыжусь только этих поликарповских писем. Жалко, что ты заставила меня подписать их». Я возмутилась – как скоро он забыл смертельные наши волнения! Он сказал: «Сознайся, ведь мы из вежливости испугались!»» (Там же. Стр. 362).

«"Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка" – так называлась передовая „Правды“ от 26 октября 1958 года. < > „Все ясно, – сказала мама, открыв газету. – На нас идет танк. Никаких красивых слов больше быть не может. Я сделаю все, что угодно, чтобы спасти Борю“».

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Пастернак и Ивинская. Стр. 203. Где она родилась, Ольга Всеволодовна, чтобы ей поверили? Где это в Советском Союзе в волнении привставшие со стула дамочки обещались спасти от репрессивной машины, от Ежова, от Берии, от застенков и лагерей, от ГУЛАГа своих возлюбленных – и действовали, не мешкая ни минуты, и спасали? Иностранцы компетентно подтверждали: если б не Марья бы Петровна, сгнить бы нашему гению лагерной пылью, как безумный, больной, мнительный и ненавидимый Осип Мандельштам. Где, когда не проявила должной решительности Надежда Яковлевна? Что бы было не отбросить все: «Все! теперь не до красивых речей!» Иностранцы, конечно, верят. «Если его не арестовали, – пишет Серджо д'Анджело, – то только благодаря Ольге Ивинской» (ФЕЛЬТРИНЕЛЛИ К. Senior Service. Стр. 116).

Какой-то меченый – метящий – атом: Нобелевская премия. Мало что конкретное обозначая на самом деле, бродила по двадцатому веку и метила то одно, то другое. В девятнадцатом веке роль Нобелевской премии исполнил Наполеон Бонапарт. Стало ясно, что за личные заслуги, амбиции и удачи можно стать Наполеоном. Награда эта была столь штучна (где «столь» означает «абсолютно»), что не особенно к ней и рвались. Для получения же Нобелевской премии голой удачи надо было немногим меньше, но этих крохотных цифр хватило, чтобы к ней стремились тысячи. Тысячи ушли в могилы, не получив и не приблизившись, – будучи гораздо более значительными персонами в своих отраслях, чем законные состоявшиеся нобелиаты.

Альфред Нобель не Господь Бог, он судил и награждал на земле – но не всех. Он давал только имущим. У неимущих не отнимал – но им ничего не прибавлялось. «Нобелевскую премию получили в последнее время и другие поэты: Дерек Уодкот, Шимас Хини, Вислава Шимборска. То есть „на наши деньги“ примерно Роберт Рождественский, Евгений Винокуров, Маргарита Алигер. < > Причисление Бродского к сомнительному сонму нобелевских лауреатов стало для него не только не возвышением, но разве что только не понижением. Нобелевских лауреатов среди

поэтов много, а Бродский – один».

ТОПОРОВ В. Похороны Гулливера в стране лилипутов. Стр. 15. Поэт Пастернак тоже не много блеску приобретает от Нобелевской премии.

«Да, Лелюша, представь себе, я получил эту премию, и вот сейчас я хочу с тобой только посоветоваться… » (ИВИН-СКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Стр. 263). Это его разговоры, записанные Ивинской.

Он всегда много зарабатывал. Нобелевскую премию можно было принять. Считая по тем временам, расклад был такой: премия – 160 000 долларов, доллар – 62 копейки (если всю премию по закону перевести в СССР), подоходный налог 13%, остается почти 80 тысяч рублей, на старые деньги – 800 тысяч. Автомобиль «Волга», на который не было денег у Зинаиды Николаевны, но были под подушкой на карманные расходы у Ольги Всеволодовны, и Зинаида со скандалом заставляла Пастернака бежать за пруд и деньги приносить (с покупкой автомобиля подвернулась срочная оказия), стоил 45 тысяч.

Безразличие Пастернака к деньгам и к славе, как должно быть в старости, он отказался не под давлением, просто отмахнулся: «Согласись, мы отказались из вежливости… » А так хотелось посидеть среди студенческого веселья, доступности женских ласк, и Олюша – стандарт женской красоты по версии «Плейбоя»: в меру полная, тонкая талия, маленькая нога, невысокая, блондинка…

Как некрасиво Пастернак отказался от Нобелевской премии! Что-то спутав в общей картине – и не желая сказать ничего своего.

Письмо к никому, кроме него, не известной стажерке, француженке Жаклин де Пруайар: «Не подумав о Вашей нечеловеческой занятости и нехватке времени, я предлагал Вам воспользоваться Вашей прежней доверенностью, НАПИСАННОЙдо грозных событий, до скандала. Я представлял себе как Вы, может быть, отправитесь в Ст<окгольм> и не по моему поручению, а в соответствии с Вашими собственными правами, примете вместо меня свободное участие в церемонии выдачи премии и по-своему скажете ответную речь, обращенную к королю» (ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 10. Стр. 405). Письмо – в стилистике переписки Пастернака с издателем, с Фельтринелли, когда он

обращается к нему «Мой дорогой, большой и благородный друг», а приветы его матушке, не быв с ней знакомым, передает, называя ее уважаемой и достойной восхищения. Такие скифские и азиатские церемонии. Молоденькой парижанке Жаклин – свои экивоки. Он писал ей свое фантастическое предложение о свободной поездке в Стокгольм, совершенно не приняв во внимание единственно важный и имеющий значение момент – ее нечеловеческую занятость. Получил НОБЕЛЕВСКУЮ премию – а она тем и знаменита, что самый презирающий ее человек, – ах, сколько их говорит о нобелевке совершенно пренебрежительно, совершенно уничижительно, – но и он, этот продвинутый и такой изысканно-снобистский человек – он тоже знает, о чем, о какой такой премии идет речь. Ее знает все человечество. И если кому-то по какому-то редчайшему раскладу выпадает необходимость представлять достойного нобелиата на респек-табельнейшей в мире церемонии – ну что тут доверителю спохватываться, бить себя по лбу, осознав оплошность и навязчивость: «Ведь вы так нечеловечески заняты! Столько дел у Вас! А я тут со своей ерундой! Брось все свои дела, срывайся тут и в Стокгольм поезжай! Будто ближний свет». А дальше просто жутко представить себе бедную Жаклин, как она читает письмо о том, что предлагалось ей в пропавшей открытке в соответствии с ее собственными правами отправиться в Стокгольм и свободно и радостно принять Нобелевскую премию, запихать ее в чемодан и по-своему что-то сказать королю.

Борис Пастернак опозорен в своем «Полном собрании сочинений».

Вот Нобелевская премия. Она ходила за Пастернаком долго. Евгений Борисович приписывает отцу исступленное выискивание признаков ее приближения.

«Мне хорошо, Ася. Не знаю, за что небо меня так балует. О, если бы Вы знали, о, если бы Вы знали!Но нельзя и не надо знать». К строчкам этим комментарий: «Эти намеки относятся к дошедшим до Пастернака слухам об обсуждении его кандидатуры на Нобелевскую премию» (ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 10. Стр. 54). А возможно, относятся совсем к другому.

Комментатор за плечом у Пастернака не стоял, под руку его не спрашивал. Намеки могли относиться совсем к другому, сладостный вздох: «О, если б вы знали, о, если б вы знали», – это пожилой писатель относит не к карьерному продвижению, здесь что-то другое щекочет ему губы. А «Не знаю, за что небо меня так балует?» – Нобелевские премии раздают не на небе, баловала его в 1954 году Ольга Всеволодовна. Это была первая зима, когда

Пастернак остался один на даче, «Зина отделала дачу на зимний лад, по-царски, и я зимую в Переделкине» (Там же. Т. 10. Стр. 59).

Зинаида Николаевна жила с сыновьями в Москве, а Ольга Всеволодовна сняла тесную каморку в деревне через пруд.

«В стеклянной комнате установился стол, большая, тоже под ситцем, кровать. Это была полная иллюзия гнезда, но БЛ. был снова недоволен: ему были нестерпимы стеклянные, крайне звукопроницаемые стены» (ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Стр. 52). Звукопроницаемость была единственным, что отравляло ему баловство неба в этот год. «О, если б вы знали, о, если б вы знали Но нельзя и не надо знать»

О Нобелевской-то премии – почему нельзя знать? Почему – «не надо»? Анна Ахматова, например, постоянно сама распространяла слухи, что над ней «маячит Но-белевка». И презрительно добавляла: «Но я без внимания». Пастернаку, правда, она же приписывала большую жажду этой награды. Все имеющиеся свидетельства о его ребяческом (в его положении; другие соискатели – другое дело, во многих случаях это и правда – судьба, вся писательская судьба и значение, выживание и жизнь) тщеславии – от нее.

А может, и был искателен; сыну, возможно, виднее. Но ведь написал же: «Быть знаменитым – некрасиво». Когда у Евгения Борисовича был выбор, как истолковать намеки письма: на тайную сладкую любовь или на слухи о премии (знать наверное здесь нельзя, надо только выбрать) – почему он не встал на сторону отца?

Хотел, допустим, приуменьшить роль Ивинской в жизни Пастернака.

Ольга Ивинская подпортила первым Пастернакам жизнь – не так, конечно, как Зинаида Николаевна, но тоже без нее было бы лучше. Она оттянула на себя эмоции отца, его время, деньги, она замешала его в порочащие его махинации, она лишила его премии – потому что ей, получи он ее, не дали бы переводов, а премию, не в чемодане, перевели бы на банковский счет семейного человека Пастернака. Но все-таки не настолько, чтобы намеки на «последнюю любовь» заменить важным разъяснением, что на самом деле жизнь Пастернака наполняли расчеты и виды на рост его статуса…

«…нам всегда казалось, что самое главное – объяснить изнутри, психологически, биографически…»

Интервью Е.Б. Пастернака. www.gzt.ru/culture/2004/03/16/012143.html

Вот снова пример психологической и биографической трактовки письма Бориса Пастернака к Ольге Фрейденберг. «Но вообще ничего, нельзя жаловаться. А ПОДСПУДНАЯ СУДЬБА НЕСЛЫХАННАЯ, ВОЛШЕБНАЯ» (выделено нами). Конец письма. К последней фразе – примечание, хотя, казалось бы, нетрудно догадаться, на что она намекает. Письмо написано 9 апреля 1947 года. Дата достаточно красноречивая для знакомых с биографией Пастернака даже не ИЗНУТРИ, а поверхностно. Из третьих рук, из многочисленной биографической литературы.

В мемуарах самой Ольги Ивинской знаменательному дню посвящено несколько страниц, он важнейший в ее судьбе, она помнит эту дату, и она мелькает изредка по всей книге: «А в шесть утра – звонок. За дверью – Борис Леонидович. Оказалось, он ездил на дачу и обратно, ходил всю ночь по городу… Мы молча обнялись… Была пятница четвертого апреля сорок седьмого года. <> И подобно тому, как у молодоженов бывает первая ночь, так у нас это был наш первый день <> Он был воодушевлен и восторжен победой» (ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Стр. 30). Красноречивая надпись Пастернака на подаренной ей его книге – тоже с этой же датой, у надписи своя судьба: «Жизнь моя, ангел мой, я крепко люблю тебя. 4 апр. 1947 г.». Об этом – же – в книге Дмитрия Быкова: « вскоре произошло то, что и должно было произойти; четвертое апреля сорок седьмого года…» (БЫКОВ Д.Л. Борис Пастернак. Стр. 682).

А теперь читаем примечания составителя, взявшего на себя труд растолковать нам пастернаковские тексты «изнутри, психологически, биографически» – что же так радовало Пастернака 9 апреля 1947 года и делало его судьбу, подспудную, неслыханной и волшебной. Вот это объяснение: «Возможно, до Пастернака дошли слухи, что С.-М. Баура, как номинатор Нобелевского комитета выставил его кандидатуру на премию» (ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 9. Стр. 495). Борис Пастернак считает свою судьбу неслыханной и волшебной – из-за того, что до него дошел слух, будто его выдвинули на Нобелевскую премию? И что бы изменилось в его судьбе, в его жизни? Если б это был современный поэт, нашедший канал для выезда за границу, какие-то связи и знакомства, приносящие регулярные гранты, лекции, семинары, прочую поденку, как бы ни был такой поэт популярен в узких литературных кругах, стань он нобелевским лауреатом – его судьба изменилась бы неслыханно и волшебно, он выскочил бы из своей оси координат на сто пунктов. А Пастернаку-то что бы дало это лауреатство? Он даже в деньгах этих ничего не понимал. И неужели лауреатство –

слухи о нем! – было его подспудной судьбой? Не естественнее ли предположить, что подспудной судьбой Пастернак все-таки называет появление в своей явной, всем видимой, не предназначенной к переменам жизни – важной женщины, тайной любовницы, подспудной судьбы?

Положим, так детально, по датам, составителям полного собрания сочинений разбираться в пастернаковской биографии было недосуг. Однако хоть и не изнутри, но просто психологически, биографически – вполне было ясно, что жизнь Пастернака в этот период была счастливой, волшебной, неслыханно-радостной. В письмах Ольге Фрейденберг он безудержно пишет о будоражащем его счастье. После черноты войны и потери Зины он своими собственными, подспудными ресурсами вывел себя на тропу жизни, стал любить жизнь и быть счастливым – и фраза соответственно не означала ничего конкретного. Зачем понадобилось давать такой, возможно, обобщающей характеристике состояния Пастернака такие непрошеные, пошлые комментарии?

…Когда Пастернаку приходит время высказаться на Нобелевскую тему, он и пишет (той же Оле Фрейденберг) – естественно, без милости неба и пр.: «Такие же слухи ходят и здесь» (ПАСТЕРНАК Б.Л. Полн. собр. соч. Т. 10. Стр. 58). Коротко и ясно. Знают, стало быть, все, кому надо и кому не надо знать. «Нельзя знать» – это не об этом. В положении Пастернака премия ничего бы не добавила ему, мировой славой он воспользоваться бы не смог и не захотел бы – перестройка отняла бы все оставшиеся годы и силы. «Я скорее опасался, как бы эта сплетня не стала правдой, чем этого желал, ведь это присуждение влечет за собой обязательную поездку за получением награды, вылет в широкий мир, обмен мыслями, – но ведь опять-таки не в силах был бы я совершить это путешествие обычной заводной куклою, как это водится, а у меня жизнь своих, недописанный роман (то есть о премии говорилось и до романа), и как бы все это обострилось!» (Там же. Т. 10. Стр. 58).

Зима была действительно счастливой, и Пастернак пишет близким людям: Юдиной – «Я зимую на даче. Мне хорошо» (а ведь Нобелевка – мимо!), Чернякам: «Мне хорошо. Мучительною и мудреною ценой я – счастлив, иногда на удивление себе» (Там же. Т. 10. Стр. 64, 66). Вот и нам предлагается удивляться: как можно быть счастливым, если в далекой Швеции тебя обнесли премией? Или мы о Борисе Пастернаке, несмотря на черным по белому прописанные толкования его состояний, лучшего мнения?

Как говорится, премия – почему бы и нет? Но не любой

ценой. В условиях, в которых жил Пастернак, премия не принесла бы ничего, к сожалению, кроме скандала, а ему хотелось жить и работать.

«…ты (Ольга Фрейденберг) не представляешь себе, как натянуты у меня отношения с официальной действительностью и как страшно мне о себе напоминать. При первом движении мне вправе задать вопросы о самых основных моих взглядах, и на свете нет силы, которая заставила бы меня на эти вопросы ответить, как отвечают поголовно все. И это все обостряется и становится страшнее < > И мне надо жить глухо и таинственно».

Там же. Т. 10. Стр. 58.

В общем, не до страстного желания скандалов.

И без ложных толкований премия радости не принесла – радость идет к радостной жизни.

«Мне начинает казаться, что, помимо романа, премии, статей, тревог и скандалов, по какой-то еще другой моей вине жизнь последнего времени превращена в бред и этого могло бы не быть».

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 428.

Чертков в юбке

У Льва Толстого была своя Ольга Ивинская – Владимир Чертков. Но поскольку Толстой за свою жизнь хорошо проборолся с дьяволом, у его последней привязанности не было ни круглых колен, ни улыбок, ни приятной полноты. По мере приближения принципала к смерти вопрос, конечно, стоял о наследстве. У Черткова было свое издательство «Посредник», которое «нуждалось для своего развития в материальных средствах» (ПОЛНЕР Т. Толстой и его жена. Стр. 181).

«Отношение к нему Софьи Андреевны вначале было довольно благожелательное. Правда, она ревновала мужа. Порою ей казалось, что Чертков „отбивает“ у нее Льва Николаевича. Но с течением времени она привыкла и научилась терпеть этот образец всех толстовских добродетелей».

Там же. Стр. 181.

«Желаю, значилось далее в завещании, чтобы все рукописи и бумаги, которые останутся после меня, были переданы В.Г. Черткову, с тем, чтобы он и после моей смерти распоряжался ими, как он распоряжается ими теперь».

Там же. Стр. 184.

Это то распоряжение, которое должна была бы добиться Ольга Всеволодовна – чтобы слово «желаю» сказал и Пастернак.

Толстовцы упрекали Толстого: «…вопреки своему отрицанию частной земельной собственности, вы все-таки взяли и перевели имение ваше на имя жены и детей» (Там же. Стр. 185). В этом есть принципиальное различие – Софья Андреевна, бесприданница, выходила за Льва Толстого, графа и богача. Ей повезло – но это было то, что он обещал ей и детям. Не завещать ей и детям имения он не мог. По закону мог бы попробовать, но по совести не стал. Зинаиде Николаевне тоже полагалось солидное положение. После его смерти она не должна была начинать сама, вместо дворника, топить печи – он ей это обещал.

«Отдать сочинения Льва Николаевича в общую собственность я считаю и дурным и бессмысленным. Я люблю свою семью и желаю ей лучшего благосостояния, а передав сочинения в общественное достояние, – мы наградили бы богатые фирмы издательские, вроде Маркса, Цетлина (евреев) и другие. Я сказала Льву Николаевичу, что если он умрет раньше меня, я не исполню

его желания и не откажусь от прав на его сочинения, и если бы я считала это хорошим и справедливым, я ПРИ ЖИЗНИ его доставила бы ему эту радость – отказ от прав, а после смерти это не имеет уже смысла… »

Дневник С.А. Толстой. Цит. по: ПОЛНЕР Т. Толстой и его жена. Стр. 181 – 182.

Толстого заставляли толстовцы проучивать Софью Андреевну, не потакать ей в ее капризах и истериках, ставить на место. Толстой сам ее ранить не хотел. «…невозможно, мне, по крайней мере, совершенно невозможно ей contrecarrer и тем явно увеличивать ее страдания. В то же, что решительное отстаивание моих решений, противных ее желанию, могло бы быть полезно ей, я не верю, а если бы и верил, все-таки не мог бы этого делать… » (ПОЛНЕР Т. Толстой и его жена. Стр. 188). Мучить сознательно Софью Андреевну, во благо или во зло (такие грамматические круги могло пройти желание провести графине спасительную шокотерапию, и таким образом простое «назло» стало бы «благом», но для Толстого все благие отдаленные цели оставались ЗА чертой первого злого шага и заносить для него ногу он отказывался).

Зинаида Николаевна была сильнее и жестче Софьи Андреевны, она не сходила с ума – за это жестче были и ее мучители. Ивинская звонила и откуда-то появлялись слухи, будто дети ее – дети Пастернака. «…закрадывалось в душу горькое сомнение, уж не поощряет ли он ее в этих действиях. Он всегда отрицал это и приписывал сплетни зависти. Наконец я <> пригрозила уехать с Ленечкой навсегда. И будь у меня больше воли, я бы это сделала. Боря свирепел и кричал, что я убью его этим» (Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак. З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 362). «…Толстой еще медлил и колебался. Софья Андреевна давно уже твердо и решительно обещала мужу покончить с собой в день его ухода» (ПОЛНЕР Т. Толстой и его жена. Стр. 190). Все несчастные семьи похожи друг на друга.

Сыновья – бабники и пьяницы, дочек замуж не берут, жена бойкотирует его интересы, от церкви отлучили, царь на письма не отвечает, книги его запрещают.

«Работа Черткова по собиранию, хранению и изданию произведений Толстого, в глазах последнего, была самоотверженным подвигом (религиозно-философских произведений, естественно, не „Анны Карениной“). К этому

присоединялись нежные чувства к человеку, подвергшемуся преследованиям за открытое исповедание толстовских взглядов» (Там же. Стр. 180). Пастернак тоже считал, что Ольга пострадала за него.

Были некоторые буквальные совпадения (в зеркальном отражении). Толстой на смертном одре. Чертков – рядом. «С особенным оживлением он сказал мне, что нужно принять все меры к тому, чтобы Софья Андреевна не приехала к нему. Он несколько раз с волнением спрашивал меня, что она собирается предпринять. Когда я сообщил ему, что она заявила, что не станет против его желания добиваться свидания с ним, то он почувствовал большое облегчение».

ЧЕРТКОВ В.Г. О последних днях Л.Н. Толстого// Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 2. Стр. 336—337.

Последние стансы к августу

Табидзе: «Ивинская пыталась проникнуть к умирающему Пастернаку, для чего написала мне письмо, на которое я не ответила, для того, чтобы получить нужные ей завещательные распоряжения».

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка. Стр. 177.

«"Ирка, как же мы теперь будем жить?" – вырвалось у нее как-то однажды. Имелось в виду – жить, когда Б.Л. не станет».

Там же. Стр. 175.

Его не стало.

У нее были все шансы если не быть законной вдовой – все-таки однозначно на эту роль Пастернак себе жену уже подобрал, то стать законной наследницей – такие вакансии есть всегда. Дети Пастернака были совершеннолетними, никто не инвалид, не пенсионер, им, будь их лишающее завещание написано, наследства не полагалось. Даже если бы Пастернак забыл о слове, данном Зинаиде Николаевне, и ВСЕ завещал бы Ивинской (на правах ЛАРЫ – это

его право), все равно наследство (за исключением литературных произведений) разделилось бы так: половина всего просто принадлежит Зинаиде Николаевне как нажитое в совместном браке. Оставшаяся половина – собственно наследство – при любом раскладе в определенных пропорциях разделилась бы между Зинаидой Николаевной, Ольгой и скорее всего Евгенией Владимировной – ей нетрудно было бы доказать, что она находилась на иждивении Пастернака.

Вот представления Ирочки Емельяновой о Пастернаке: «И эта обстановка скандала даже на похоронах нравилась мне, как понравилась бы она, может быть, и самому Б.Л. И будучи мертвым – он не давал им покоя. То-то они понервничают» (Там же. Стр. 197).

«Видимо, ее [note 39]съежившаяся фигура, приткнувшаяся на завалинке около крыльца, многим надрывала сердце, но высказать этого никто не смел. Один К.Г. Паустовский подошел к ней, поцеловал руку – как вдове – и сел рядом».

Там же. Стр. 196.

В доме вдовы – настоящей – подходить к любовнице – это действительно надо посметь через что-то переступить особое… Впрочем, среди приходящих и свободно входящих в дом, в «большую дачу», было немало тех, кто посещал избушку у

Кузьмича, выпивал-закусывал и не отводил со стыдом взора от веселой хозяйки и ее влюбленного, довольного ею и всей их жизнью любовника.

«Но вот доступ к гробу закрыт на двадцать минут для всех, кроме самых близких. Ивинская осталась в саду. Потом она взбирается на скамейку и смотрит в окно. Газетчики в восторге. Сразу защелкал десяток камер».

ГЛАДКОВ А.К. Встречи с Пастернаком. Стр. 243.

Это будто бы бесшабашное, отчаянное, барачное: «Ирка, как мы будем жить?!» Она была непотопляема, Ивин-ская, – но из тех непотопляемых, которые уже на дне, и отвага их стоит столько, сколько они имеют за собой что терять, скольким рискуют. Мужества нужно гораздо больше для того, чтобы вернуть себе свое достоинство – а оно даже легче, подчиняясь нравственной гравитации мироздания, которое стремится к добру, возвращается к тем, кто на дно был опущен насильно. У Ивинской были все шансы на то, чтобы не остаться в истории литературы девахой.

«Как во сне от усталости, от слез, виделись мне какие-то люди, которых мать собрала на поминки, пьяный мой соученик по институту, читавший „Марбург“, заплаканная Люся Светловская, Марк Семенович, Юля, деловито помогавшая матери. Мы остались ночевать в избе. Разложили оставшихся на полу. Все затихло, но мало кто спал. Вдруг, среди ночи, мама, до этого державшая себя в руках, закричала, охваченная почти пророческим предчувствием: „Ирка, что же теперь будет!“»

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка.
Стр. 202—203.

«После встречи с Ольгой Ивинской Лидия Леонидовна поняла, что в ее участии нет никакой необходимости, Ольга Всеволодовна была уверена в том, что теперь она будет распорядительницей наследных дел. Но в действительности ее положение было весьма ненадежно и угрожаемо, потому что Пастернак не оставил завещания и никого не назначил своим душеприказчиком, а доверенности теряли силу с его смертью».

БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 867 (текст комментаторов Е.Б. Пастернака
и Е.В. Пастернак).

Наступил еще один «Август» – Август Второго Чемодана, Пастернака не было в живых, деньги за «Доктора Живаго» ему продолжали причитаться, и у него остались наследники. Ольга

Всеволодовна больше не хотела бездны унижений.

«И выглядело это благородно – после смерти Б.Л. поддержать непризнанную вдову, которой отказано во всех наследственных правах на родине».

ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Легенды Потаповского переулка. Стр. 212.

Вдове отказал в признании Пастернак.

«Супруги Бенедетти <> явившись к нам <>, передали матери еще больший чемодан. <> Нашим изумленным взорам открылись толстенные пачки денег, скрепленные иностранными булавочками, уложенные тремя рядами в большом дорожном чемодане. <> Мать машинально переложила эти скрепленные пачки в сумки и чемоданчик, и мы распрощались. Дальше все помнится как в тумане. Мама поставила сумку под кровать, остальные пачки разнесла трем своим подругам. Часть – маленькую – мы дали Полине Егоровне (домработнице). Сыпались советы – купить загородный домик, поехать на курорт».

Там же. Стр. 213.

«16 августа мама купила пресловутый полированный шкаф. Ей хотелось заняться устройством дома, чтобы заполнить свой зиявший непривычной пустотой досуг, чтобы как-то употребить эти свалившиеся деньги». Свалившиеся деньги сдают в милицию, если совсем уж невдомек, кому они принадлежат на самом деле. Далее Ирочка говорит встревоженно: «Она все мечтала о памятнике на могиле (хороший памятник, хорошего скульптора, изготовленный в дар, был поставлен вовремя над могилой Пастернака). Но кто бы допустил ее тогда, когда были живы две законных жены, до хозяйничанья на могиле!»

Там же. Стр. 216.

«Я подавлен всей идущей кругом жизнью, полетом, огромным количеством честных людей, живущих как надо, как требуется временем, и только я один подозрителен сам себе, и не собираюсь исправиться, и буду чем дальше, тем все хуже…» (Письмо Пастернака от 21 февраля 1959 г.)

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком.

В плену времени. Стр. 427.

Однако для него уже – круг разорвался.

«Когда Советский Союз уже прекратил свое существование, незадолго до смерти Ольги Ивинской, я встретился с ней в Москве. Она уже не поднималась с постели, однако водки и сигарет для этого долгого разговора было предостаточно. Потом она написала мне письмо о Фельтринелли, Пастернаке и о двух

звездах, говорящих друг с другом, как в стихотворении Лермонтова».

ФЕЛЬТРИНЕЛЛИ К. Senior Service. Стр. 188.

Из-за того, что русские женщины после застолий пишут письма, которые напоминают иностранцам стихотворения Лермонтова, те всегда замечают, что и сколько русские женщины пьют. Маргерит Дюра под конец жизни, под восемьдесят лет, выпивала по нескольку бутылок вина в день, вид имела от этого не очень опрятный, Франсуаза Саган стаканами пила виски после заключения своего первого литературного контракта (который подписывал ее отец за ее малолетством) на издание своей первой триумфальной книги. Ей было восемнадцать лет. Никто не обращал на это большого внимания. Анна Ахматова выпивала несколько стопок водки – и это было уже хуже.

Ивинская много пила и получила разрушение личности по алкогольному типу: истерию, беспорядочные половые связи, потерю памяти… «Ольга Всеволодовна жаловалась, что совсем разрушилась память, ничего не помнит, смогла только сделать двадцатиминутную запись воспоминаний на магнитофоне, писал за нее совсем посторонний Пастернаку человек, заимствуя материалы, где придется» (МАСЛЕННИКОВА З.А. Борис Пастернак. Встречи. Стр. 328). Поэтому ей на пользу, по замечанию ее дочери, шли лагеря, где все-таки были ограничения.

Ольга Ивинская ушла из Пастернака бесследно, как уходит случайная любовница. Кто-то написал ей бесцветные, ни о чем мемуары, Ирочка – сама, более живо – с детским потребительским правом урвать все, что дарит сегодняшний день (мать, правда, поначалу строит далеко идущие планы и отсюда – тягостная глава, как девятилетнюю Ирочку готовят для произведения на Пастернака огромного впечатления – девочка! – даже заставляют учить его стихи).

«За рукописью ко мне пришел ее реальный автор, к сожалению, не запомнила ни его имени, ни фамилии. Это был маленький немолодой мужчина, кандидат, если не ошибаюсь, сельскохозяйственных наук, который собирал отовсюду разные материалы и писал книгу с тогдашних диссидентских позиций. Особенно это чувствовалось в очень политизированной главе „Поэт и царь“, где много места уделялось взаимоотношениям Пастернака и Сталина».

Там же. Стр. 329.

«Вскоре стало известно, что она вышла замуж за какого-то литератора. <> Вообще она спряталась и жила какой-то иной, новой жизнью».

Там же. Стр. 327.

Что же стало дальше? По счастью, годы наказания – не Пастернака, его уже не было, его уже приструнивать было не надо, дам брали за уголовные преступления, спровоцированные, да, – от чемодана денег не каждый может отказаться – закончились. Ирка, что же будет дальше? – красивая жизнь, все вознаграждается.

Круги от Пастернака расходятся далеко – Ирина Емельянова живет с мужем, поэтом и переводчиком Вадимом Козовым во Франции.

«В бухте, где форт, где и расположен, собственно, порт Антиб, на причале среди роскошных освещенных яхт, огромных, есть и под русскими и украинскими флагами. Наши миллионеры? Кое-где музыка, освещенные окна, пьют вино, женщины в туалетах курят на палубе (дамские „туалеты“ должны иметь какое-то определение: вечерние они или еще какие. Просто в туалетах курят, как правило, не женщины, а девчонки-старшеклассницы. Впрочем, и любые „места для курения“ – не для дам в „туалетах“, как бы здесь ни выразиться) – непонятная жизнь. Как Аня говорила с недоумением в Сан-Сите: „Ирка, это какая-то ненастоящая жизнь!“ И тонко, странно звенят металлические рейки – гоголевская „струна в тумане“» (ИВИНСКАЯ О.В., ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Годы с Пастернаком и без него. Стр. 525). Флер Лазурного берега, Амальфитанского побережья, Пор-тофино и прочих подобных мест и составляет сочетание средневековых башен, рыбацких домиков – и роскошных яхт. Смотреть на все это и едут люди, не имеющие возможности жить «непонятной» жизнью. Впрочем, жизнь «"Вадика", человека трагической судьбы» note 40, по крайней мере человека, видевшего голод и холод, но нашедшего им довольно убогие противопоставления, в Антибе довольно непонятна тоже. Об этом мечталось?

«В годы (!) своего бесприютного мыкания по парижским углам (1981—1982) он по десять дней отдыхал <> в этом благословенном месте у Даниэль Бургуа, сестры владельца знаменитого издательства. Жил в самом старинном центре <>. Ездил, конечно, и в Монако, где продувался безбожно (то есть ездил все-таки в Монте-Карло, и, стало быть, было что продувать, тем более по-крупному, „безбожно“), но приходила необходимая разрядка… »

Там же. Стр. 517.

Конечно, сейчас известно, что это – болезнь. Игромания, лудомания, гэмблинг, надо жалеть, – очевидно, все же не такая болезнь, о которой можно заговорить с больными чем-нибудь более традиционным. Впрочем, в данном случае все-таки, как нам дают понять, речь идет не о болезни, а об элегантном чудачестве – чем-то не всем понятном, одним словом.

Здоровый человек с удовольствием выпьет и даже хватит лишку – при замечательном поводе, качественных напитках, хорошей закуске и располагающей компании, – а алкоголик начнет заглатывать любую жидкость, как скоро она окажется в пределах досягаемости. Неигроман с удовольствием (а то и без удовольствия, но для возможного прихода необходимой разрядки) с супругой в драгоценностях на наемном лимузине или размеренным променадом отправится в казино, а нездоровый аддиктор пропустит отходящий поезд, рвя заедающий рычаг однорукого бандита в прокуренном привокзальном зале игровых автоматов. Вы говорите – казино в Каннах? – можно было не уезжать из Урюпинска.

«Левочка, смотри, какие уморительные стихи пишет Тургенев, < > почему он не едет сюда:

У вас каждый день мороз, А я свой жалею нос. У вас скверные дороги, А я свои жалею ноги. < > У вас черный хлеб да квас, Здесь – рейнвейн да ананас!

Дмитрий Алексеевич очень ими недоволен остался и, говорит, в его годы это гадко».

КУЗМИНСКАЯ Т. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Стр. 405.

В год безвременной кончины Козового, может, это и не было гадко.

Козовой проводит время в Антибе, в апартаментах – на съемной квартире, без телефона, в новом районе. Играет в казино. Тот, кто играет, желает выиграть. Хочет стать богатым или – ведь это бывает посредством рулетки, разве это не единственный реальный способ именно самого быстрого и головокружительного достижения цели? – стать очень, очень богатым. Тот, кто играет просто так, для небольшого азарта, для бездумного времяпрепровождения – даже о сюжете оперы в программке справляться не надо, – не приходит в казино в мокрой майке и не играет на последние.

В ожидании этой единственной, фантастической, такой возможной победы человек не боится, что его разгадают, что

ссылки на Достоевского будут вызывать усмешку, что запас прочности семьи велик и волна любви пройдет над его приступами распущенности, как толща океанической глади над небольшим подземным толчком – и он, чтобы не пережигать все в себе, хочет хоть изредка наяву, в руках подержать крупицы неминуемого владычества.

Казалось бы, лучший способ – поехать в Венецию. Ты можешь идти по ней быстрым шагом, без бриллиантовой пряжки на поясе, без своего обычного шитого мешочка на тонкой лайковой подкладке, туго набитого и с таким трудом развязываемыми кожаными шнурками, что чаще платят другие, если ты сам не захочешь бросить мешочек на стол весь, только с – ну пусть даже самой простенькой – кредиткой. Тебе достаточно клочка шелкового белья – пусть китайского, но из самого качественного шелка и сшитого вручную с затеями. Все. Ты можешь пробегать по этому городу крадучись, ощущая себя кем угодно, ты можешь даже не вспоминать о том, что у тебя не было денег заказать здесь гостиницу – но и никто не должен знать, кто ты такой, и гид-сопровождающая не должна выкликать тебя по номеру вместе с твоей женой в списке туристической группы.

«Вадик тоже обложился литературой (это они первый раз в Венеции, спустя десять лет их совместного пребывания на Западе), но, по-моему, он больше всего переживает, что наша гостиница не пять звездочек, а всего три» (ИВИН-СКАЯ О.В., ЕМЕЛЬЯНОВА И.И. Годы с Пастернаком и без него. Стр.483). Это – непонятно на самом деле. Октябрь в Венеции – высокий сезон, но роскошных гостиниц много и места всегда можно найти. Козовые едут, правда, с туристической группой, понятно, что это делается в целях экономии, но непонятны переживания, что в «бюджетную» поездку не заложили дорогой и престижный отель. Это было их совершенно осознанное решение. Каждый волен быть снобом столько, сколько ему нужно, чтобы вылить свою желчь на не дотягивающих до его уровней. Но быть снобом в туристической группе глупо.

Худшее, что может случиться с человеком, впервые приехавшим в Венецию, – это когда между ним и городом есть прослойка сбившейся на палубе группки связанных с ним людей – связанных туристической путевкой, групповым ваучером, одинаковыми с его правами на скамейки и места в автобусе. И оплаченная – недорого, особенно если разделить на всех – трескотня неквалифицированного гида. А то, что может после перелета, после очередей, перед суетой размещения целой группы в гостинице рассказать гид, можно все-таки и самому прочесть о

городе заранее в туристической брошюре.

Гостиница – если б они, как полагается настолько притязательным гостям, заказали б себе пятизвездночную Da-nieli – отель большой, всегда можно найти номер, даром что один из лучших в Венеции и самый пафосный, или оторвались бы в него от группы, осознав странную, но очевидную ошибку, а еще лучше – все-таки что-то более сдержанное, утонченное и дающее пищу для обоснования сложности своего выбора четырехзвездночное, – прислала бы за ними собственный транспорт. Или – такси (все водное, конечно). Обошлось бы без «завтрака туриста» ненужной, неряшливой экскурсии – в то время как приезжим надо, молча взявшись за руки, вглядываться в город. «Конечно, полное ошеломление. Когда нас везли вечером по каналу на vaporettto <.> девушка-гид, все время сама смеющаяся своему плохому французскому, пыталась что-то рассказывать о венетах, Риальто, „Венеции – держательнице льва“, но я от волнения ничего не понимала. Запомнила только густую, очень темную воду и на ней, как пятна разлитого масла, отражения…» (Там же. Стр. 484), и т.п. Доставили БЫ, естественно, по адресу, не так, что на Сан-Марко, откуда они пешком шли к Риальто – полгорода назад. Раз из аэропорта они плыли на вапоретто и по каналу – значит, добирались с пересадкой: от аэропорта до автомобильной стоянки у вокзала Венеции, оттуда – рейсовым вапоретто (такси доставило бы под крыльцо гостиницы). Экскурсию в Венеции мог при желании провести искусствовед с ученой степенью, который, если захотите, не будет стесняться своего русского – будучи его носителем (-цей). Обговорите интересующую вас тему экскурсии заранее с турагентством (требуется, правда, не такое, которое возит группы).

«Остепененную» девушку, конечно, никто не запрещает для срыва собственной закомплексованности жестоко уличить в незнании каких-то специальных, вами для этой цели выуженных фактов. После более или менее бурных споров вы сможете или сэкономить на чаевых, или, наоборот, добить ее презрительной щедростью. Частную экскурсию, одну, Козовым провел знакомый знакомых, житель венецианского гетто, – о еврейской Венеции. Самостоятельно осматривали все остальное. Очевидно, во время трансфера в гостиницу гид не объяснила строения города, и они сами не разобрались – везде по Венеции они ЕЗДЯТ («плавают»). От Риальто до Академии – дожидаются вапоретто. Пользуются привезенным из дома (из Парижа) кипятильником, не могут сообразить, что типичную венецианскую кухню надо искать не на туристических перекрестках (вывод: «надо найти французский

ресторан»), а попробовать свежевыловленной рыбы на Дорсодуро. «Были в Академии. < > Причал так и называется: Академия! Начали почему-то с заднего зала, вошли не с той стороны – и сразу остолбенели. Во всю стену картина Карпаччио < >. В изумительном охристом колорите. Вадик еле сдерживал слезы, по-моему, примирился с нашей трехзвездночной гостиницей… » (Там же. Стр. 484—485).

Поняли, что счастье в их собственных руках, поехав в Прагу. «Затем – гостиница. Ему надо самую дорогую, пять звездочек, а Ксения с Никитой, которые только что вернулись оттуда, сказали, что лучшие гостиницы в Праге – в центре города, в стиле secession, с имперским шармом (имперский – шарм. Свежо), но они три звездочки, а пятизвездочные – брежневский комфорт и на окраине. < > Но он, конечно, сделал по-своему».

Там же. Стр. 498.

Сейчас – мыс Антиб, последняя поездка. Один день семейного уик-энда, подробно описанный Емельяновой: едят два обеда в знаменитых ресторанах, недовольны, естественно, кухней, спускаются пешком в страшном раздражении по шоссе к Жуан-ле-Пэну, лавируя среди машин и ругаясь, посещают Канн. Вадик, конечно, устремился в казино. Это – «понятная жизнь». «Но даже просто за вход надо заплатить 50 франков (меньше 10 долларов), поэтому я, как неиграющая, решила не ходить и прогуляться по набережной. Договорились, что я зайду за ним через два часа. Шел дождь, несильный, предупреждающий (конец октября), где-то на горизонте над морем и молнии поблескивали. Стало зябко, ведь вышли мы рано, я была просто в майке, быстро промокла. Вернулась в казино, вижу: Вадик стоит в холле у guichet и вынимает деньги. Наверное, уже не в первый раз. Проигрался. Пришлось устроить маленький скандал в стиле Анны Григорьевны Сниткиной и вытащить его оттуда. Со мной не разговаривал. Но вскоре, заметив мой жалкий, промокший вид, обрел свой всегдашний купеческий размах: „Давай сейчас на Круазетт купим тебе свитер!“ И купили! В шикарном магазине для шейхов…» (Там же. Стр 524).

Заканчивается книга дочери Ольги Ивинской – не дневники, не воспоминания, совместная публикация мемуаров ее матери и ее собственных воспоминаний и прозы, Большая Книга ее жизни, 525 страниц, такими словами: «Сегодня после обеда уезжаю. Утром купались. Вадик заплыл далеко, что-то кричал мне из воды непонятное. С трудом разобрала: „Ура! Сегодня 18 октября! А вода 22 градуса! Это – Антиб!“»

Вадиму Козовому – сына которого, последнюю беду Ирины

Емельяновой, зовут Борька – оставалось жить пять месяцев.

Природа, мир, тайник вселенной Я службу долгую твою, Объятый дрожью сокровенной В слезах от счастья, отстою. Б. Пастернак. Когда разгуляется.

С миром отпустили.

Список источников

«А за мною шум погони…» Борис Пастернак и власть. Документы: 1956—1972 гг. / Под ред. В. Ю. Ариани и Н. Г. Томилиной. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001.

Антипина В. А. Повседневная жизнь советских писателей. 1930—1950-е годы. – М.: Молодая гвардия, 2005.

Ахматова А. Собрание сочинений: в 6 т. – М.: Эллис Лак, 2000.

Бенуа А. Н. Кружок Мережковских. В. В. Розанов // Настоящая магия слова. В. В. Розанов в литературе русского зарубежья. / Сост., предисл., коммент. А. Н. Николюкина. – СПб.: Росток, 2007.

Берберова Н. Н. Курсив мой. – М.: Согласие, 1996.

Берлин И. Подлинная цель познания. Избранные эссе. – М.: Канон + , 2002.

Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1996.

Биографический альбом. Борис Пастернак / Автор-составитель П. Пастернак. – М.: ГАММА-ПРЕСС, 2007.

Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З. Н. Пастернак. З. Н. Пастернак. Воспоминания. – М.: Дом-музей Бориса Пастернака, 1993.

Борис Пастернак. Письма к родителям и сестрам. / Вступ. Е. В. и Е. Б. Пастернаков, коммент. и подг. текста Е. В. и Е. Б. Пастернаков. – М.: Новое Литературное Обозрение, 2004.

Борис Пастернак. Пожизненная привязанность. Переписка с О. М. Фрейденберг. / Составители Е. В. и Е. Б. Пастернак. – М.: Арт-Флекс, 2000.

Борис Пастернак. Чтоб не скучали расстоянья… Биография в письмах. /Составление, комментарии и предисловие Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака.– М.: Арт-Флекс, 2000.

Брик Лиля. Пристрастные рассказы. – Н. Новгород: Деком, 2003.

Быков Д. Л. Борис Пастернак [note 41]. – М.: Молодая гвардия, 2005.

Быт пушкинского Петербурга. Опыт энциклопедического словаря. В 2-х т. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2005.

Ваксберг А. И. Загадка и магия Лили Брик. – М.: Астрель, 2003.

Варламов А. Н. Алексей Толстой [note 42]. – М.: Молодая гвардия, 2006.

Вересаев В. В. Пушкин в жизни. – Минск: Мастацкая Литература, 1986.

Вильмонт Н. Н. О Борисе Пастернаке: Воспоминания и мысли. – М.: Советский писатель, 1989.

Волков С. Диалоги с Бродским. – М.: Издательство «Независимая Газета», 1998.

Волков С. История русской культуры XX века от Льва Толстого до Александра Солженицына. – М.: Эксмо, 2008.

Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е. В. Пастернак, М. И. Фейнберг, – М.: Слово, 1993.

Вспоминая Нейгауза / Составитель Е. Рихтер. – М.: Классика XXI, 2007.

Гаспаров М. Л. Записи и выписки. – М.: Новое Литературное Обозрение, 2008.

Гаспаров М. Л., Поливанов К. М. «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: опыт комментария. – М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2005.

Герштейн Э. Г. Мемуары. – СПб.: ИНАПРЕСС, 1998.

Гиппиус З. Н. Задумчивый странник. О Розанове. // Настоящая магия слова. В. В. Розанов в литературе русского зарубежья. /Сост. предисл., коммент. А. Н. Николюкина. – СПб.: Росток, 2007.

Гладков А. К. Встречи с Пастернаком. – М.: Арт-Флекс, 2002.

Громова Н. А. Все в чужое глядят окно. – М.: Коллекция «Совершенно секретно», 2002.

Д'Анджело С. Дело Пастернака: воспоминания очевидца. – М.: Новое Литературное Обозрение, 2007.

Емельянова И. И. Легенды Потаповского переулка. – М.: Эллис Лак, 1997.

Емельянова И. И. Пастернак и Ивинская. – М.: Вагриус, 2006.

Жолковский А. К. Звезды и немного нервно. Мемуарные виньетки. – М.: Время, 2008.

Иванов В. Дневники. – М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001.

Ивинская О. В. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. – М.: Либрис, 1992.

Ивинская О. В. Земли раскрытое окно. – М.: Синее яблоко, 1999.

Ивинская О. В., Емельянова И.И. Годы с Борисом Пастернаком и без него. Судьбы скрещенья. – М.: Вагриус, 2007.

Козовой В. М. Выйти из повиновения. Письма, статьи, переводы. – М.: Прогресс-Традиция, 2005.

Козовой В. М. Из трех книг. – М.: Прогресс, 1994.

Кузин Б. С., Мандельштам Н. Я. Воспоминания.

Произведения. Переписка. 192 письма к Б. С. Кузину. – СПб.: ООО «ИНА-

ПРЕСС», 1999.

Кузминская Т. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. – М.: Правда, 1986.

Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2 т. – М.: Художественная литература, 1955.

Ливанов В. Б. Невыдуманный Борис Пастернак. – М.: Дрофа, 2002.

Лукницкий П. Н. ACUMIANA. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. —Париж: YMCA-Press, 1991.

Мандельштам Н. Я. Вторая книга. – М.: Московский рабочий, 1990.

Мандельштам О. Э. Сочинения. В 2-х т. / Сост., подготовка текста и коммент. П. Нерлера; Вступ. статья С. Аверинцева. – М.: Художественная литература, 1990.

Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922—1936 годов / Издание подготовили Е. Б. Коркина и И. Д. Шевеленко. – М.: Вагриус, 2004.

Масленникова З. А. Борис Пастернак. Встречи. – М.: Захаров, 2001.

Николюкин А. Н. Розанов. note 43. – М.: Молодая гвардия, 2001.

Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические записки. – М.: Изобразительное искусство, 1974.

Пильский П. В. В. Розанов // Настоящая магия слова. В. В. Розанов в литературе русского зарубежья. /Сост., предисл., коммент. А. Н. Николюкина. – СПб.: Росток, 2007.

Пастернак А. Б. Воспоминания. – М.: Прогресс-Традиция, 2002.

Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений: в 11 т. – М.:

Слово, 2003—2005.

Пастернак Б. Л. Собрание переводов: в 5 т. / Сост. и вступ. Статья Е. Б. Пастернака. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2003.

Пастернак Е. Б. Борис Пастернак. Материалы для биографии. – М.: Советский писатель, 1989.

Пастернак Е. Б., Пастернак Е. В. Жизнь Бориса Пастернака. Документальное повествование. – СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2004.

Переписка Б. Пастернака с М. Баранович / Подг., вступ. статья и коммент. К. М. Поливанова. Биографич. очерк. А. А. Бара-нович-Поливановой. – М.: Издательство «МИК», 1998.

Переписка Бориса Пастернака / Вступ. Лидии Гинзбург. Сост., подг. текстов и коммент. Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака. – М.: Художественная литература, 1990.

Плахов А. Катрин Денев от «Шербурских зонтиков» до «8 женщин». – Тверь: Colonna Publications, 2005.

Полнер Т. И. Толстой и его жена. – М.: Наш дом – L'Age d'Homme, Екатеринбург: У-Фактория, 2000.

Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников. Книга вторая (1996—2005). – СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2006.

Пунин Н. Н. Мир светел любовью. Дневники, письма / Сост., предисл., коммент. Л. А. Зыкова. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000.

Розанов. Семейный вопрос в России // Розанов В. В. Собрание сочинений. / Под общей ред. А. Николюкина. – М.: Республика, 2004.

Саакянц А. А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. – М.:

Эллис Лак, 1999.

Соколов Б. Кто вы, доктор Живаго? – М.: Яуза, Эксмо, 2006.

Сорокин В. Г. Голубое сало. 6-е изд. – М.: Ад Маргинем, 2002.

Спок Бенджамин/Перевод с английского Н. Я. Перовой. – Алма-Ата: Фабрика книги, 1992.

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак (дополненная письмами к Е. Б. Пастернаку и его воспоминаниями). – М.: Новое Литературное Обозрение, 1998.

Тарковская М. А. Осколки зеркала. – М.: Вагриус, 2006.

Твой нерасшатанный мир. Памяти Вадима Козового. – М.: Прогресс-Традиция, 2001.

Толстой И. Л. Мои воспоминания. – М.: Издательство «Правда», 1987.

Толстой И. Н. Отмытый роман Пастернака. «Доктор Живаго»

между КГБ и ЦРУ. – М.: Время, 2009.

Топоров В. Л. Двойное дно. Признания скандалиста. – М.:

Захаров, АСТ, 1999.

Топоров В. Л. Жесткая ротация. – СПб.: Амфора, 2007. Топоров В. Л. Похороны Гулливера в стране лилипутов. – СПб.: Лимбус-Пресс, 2002.

Труайа А. Борис Пастернак. – М.: Эксмо, 2007. Файнштейн Э. Анна Ахматова. – М.: ЭКСМО, 2006. Фельтринелли К. Senior service: Жизнь Джанджакомо Фель-

тринелли. – М.: О.Г.И., 2003.

Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. – СПб.: Академический проект, 2005.

Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. В 3-х т. – М.: Согласие, 1997.

Чуковский К. И. Дневник в 2-х томах. – М.: Современный писатель, 1995.

Чуковский Н. К. Литературные воспоминания. – М.: Советский писатель, 1989.

Шифф С. Вера. Миссис Владимир Набоков. – М.: Издательство «Независимая газета», 2002.

Штерн Л. Бродский: Ося, Иосиф, Joseph. – М.: Независимая газета, 2001.

Эдрих Марсель. Загадочная Коко Шанель. – М.: Глагол, 2006. Эфрон Г. Письма. – М.: Дом-музей Марины Цветаевой. Королев. Музей М. И. Цветаевой в Болшеве, 2002.

Электронные ресурсы

Время Пастернака. Интервью с Евгением Пастернаком note 44 / Время новостей, 11.12.2006. Режим доступа: www.bigbook.ru/articles/detail.php?ID=2022

«Говорить о своем отце как о гениальном поэте несколько неловко». Интервью Евгения и Елены Пастернак note 45 / Газета. 16.03.2004. Режим доступа: www.gzt.ru/culture/2004/03/16/012143.html

Ирина Колесникова. Альфред Нобель боялся повторить участь Николая Гоголя note 46 / Газета. 04.10.2004. Режим доступа: www.gzt.ru/world/2004/10/04/095254.html

Я не полиглот, но читаю на ста языках note 47. Интервью В. Иванова / Российская газета. 15.09.2006. Режим доступа: www.rg.ru/2006/09/15/a124285.html

Интервью с Евгением Борисовичем Пастернаком / Вестник. № 13 (194). 22.06.1998. Режим доступа: www.vestnik.com/issues/98/0623/koi/nuzov.htm

notes

Примечания

Note2

гимназическая подруга, парижская студентка

Note3

Пастернак

Note4

Борис и Евгения

Note5

Нейгауз

Note6

в Sanatorium

Note7

в Париже

Note8

Толстой

Note9

«Дорогой Федичка! < > я почти убежден, что к моим бесконечным письмам по 20 страниц ты должен относиться со справедливым предубежденьем человека, который из жизни шутки не делает и которому дорога каждая минута» (Там же. Стр. 319)

Note10

невестка

Note11

Зина

Note12

Нейгауз

Note13

уже женатый Стасик с молодой женой Галиной

Note14

матери

Note15

теща

Note16

Борис

Note17

в Планерском

Note18

Борису Пастернаку

Note19

переписку с Пастернаком вел

Note20

Гаспарова

Note21

цвета моря

Note22

Набоков

Note23

Пастернак

Note24

Асмус

Note25

Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 413 (воспоминания Л. Чуковской)

Note26

Ольга Ивинская

Note27

Генриху Густавовичу

Note28

Воспоминания о Борисе Пастернаке. Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. Стр. 666 (воспоминания Ренате Швейцер)

Note29

Там же. Стр. 287 (воспоминания Е. Чуковской)

Note30

узского

Note31

Марина Цветаева в письме Тесковой

Note32

все это пишет в сожительстве с Варварой Дмитриевной, другом, первым читателем, воспитывая умненькую девочку падчерицу. «Обеих этих женщин Розанов ценил безмерно, и это свое отношение к ним постоянно выражал вслух, гордясь ими и цитируя их слова и мнения, хотя бы и самые обыденные» (БЕНУА А.Н. Кружок Мережковских. В.В. Розанов. Стр. 188)

Note33

«В загсе меня спросили, какую фамилию я хочу носить. Из-за детей я хотела оставить фамилию Нейгауз, но Борис Леонидович отвел меня в сторону и сказал, что он суеверен, что не может с этим согласиться и просит меня быть Пастернак. Мне пришлось вернуться и заявить, что я передумала» (Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак. З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 278)

Note34

«Боря был страшно бледен в дороге и я боялась, что не довезу его живым» (Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак. З.Н. Пастернак. Воспоминания. Стр. 364)

Note35

ИВИНСКАЯ О.В. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Стр. 426—427 (Пастернак Ивинской)

Note36

«произойдет что-то более личное»

Note37

Нина Табидзе

Note38

OH

Note39

Ольги Ивинской

Note40

Там же. Стр. 8 (предисловие Д. Быкова)

Note41

Серия «Жизнь замечательных людей»

Note42

Серия «Жизнь замечательных людей»

Note43

Серия «Жизнь замечательных людей»

Note44

электронный ресурс

Note45

электронный ресурс

Note46

электронный ресурс

Note47

электронный ресурс